

ДЗЮНЪИТИРО
ТАНИДЗАКИ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



ДЗЮНЪИТИРО
ТАНИДЗАКИ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1

ДЗЮНЪИТИРО
ТАНИДЗАКИ
■
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ



Москва
«Художественная
литература »
1986

ДЗЮНЪИТИРО ТАНИДЗАКИ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ
ТОМАХ

Москва
«Художественная
литература»

1986

ДЗЮНЪИТИРО ТАНИДЗАКИ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ

1

РАССКАЗЫ

▪

**ЛЮБОВЬ
ГЛУПЦА**

роман

▪

**ПОХВАЛА
ТЕНИ**

эссе

▪

*Перевод
с японского*

Москва
«Художественная
литература»

1986

ББК 84.5Я
Т18

Составление, предисловие, комментарии
и научная подготовка текста
И. ЛЬВОЙ

Иллюстрации художника
Б. ТРЖЕМЕЦКОГО

Оформление художника
Н. КРЫЛОВА

Т $\frac{4703000000-228}{028 (01)-86}$ 187-86

© Составление, переводы, кроме
отмеченных в содержании *,
комментарии, оформление. Из-
дательство «Художественная
литература», 1986 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дзюньитиро Танидзаки (1886—1965) — классик японской литературы, продолжатель ее многовековых традиций, один из самых значительных и оригинальных писателей Японии первой половины XX века. Творческая судьба его сложилась счастливо — с первых шагов в литературе его признали и критики, и широкие читательские круги, а за пределами Японии его сочинения стали известны даже раньше, чем творчество многих других крупных японских писателей. Общеизвестно, что, когда решался вопрос о присуждении кому-либо из японских писателей Нобелевской премии в области литературы, Танидзаки называли в качестве возможного кандидата наравне с Ясунари Кавабатой, несмотря на то что к тому времени (1973 г.) писателя уже не было в живых.

Разумеется, за долгие годы литературного труда творческие принципы писателя претерпели радикальные изменения. Система его этических и эстетических взглядов, запечатленная в его лучших произведениях, покоится на глубоко национальной традиции, в ней нашли отражение эстетические категории, формировавшиеся на протяжении веков и в конечном итоге определившие неповторимое своеобразие национального японского искусства. Танидзаки по праву может считаться подлинно национальным писателем, творчество которого выражает общенародный эстетический идеал.

Через все творчество Танидзаки красной нитью проходит ярко выраженное эстетическое начало. Как подлинный представитель своего народа, он придавал большое значение *красоте*, ибо, по его глубокому убеждению, только в ней может найти отдохновение и радость человеческая душа в этом несовершенном мире...

Не все, созданное писателем, равноценно, не все выдержало испытание временем, но лучшие его творения, отмеченные боль-

шим, своеобразным талантом, и по сей день безусловно относятся к самым привлекательным страницам современной японской прозы.

* * *

Еще на школьной скамье Танидзакэ увлекался литературой и с юных лет твердо решил, что будет писателем. Однако первые рассказы, которые ему с трудом удалось опубликовать, прошли незамеченными, вызвав у молодого автора горестные сомнения в собственных силах. Но в 1910 году в первых четырех номерах литературного журнала «Син-ситё» («Новые течения»), созданного группой студентов Имперского (ныне — Токийского) университета, один за другим появились его рассказы, среди них наиболее примечательные — «Татуировка» и «Цзилинь». Небольшие по размеру, они сразу привлекли внимание к дотолде никому не известному молодому студенту. Критика приветствовала появление нового оригинального таланта, известный писатель Нагай Кафу (1879—1959) посвятил рассказам Танидзакэ отдельную хвалебную статью, в которой сравнивал рассказ «Цзилинь» со знаменитой «Таис» Анатоля Франса...

Впоследствии, вспоминая это время в своем произведении мемуарного типа «Повесть о моей юности» («Сэйсюн-монокатари», 1932—1933), Танидзакэ писал, что, разумеется, не смеет и помышлять о том, чтобы сравнивать себя с Байроном, но тоже мог бы, подобно великому английскому поэту, сказать в одно прекрасное утро: «Я проснулся и был уже знаменит...»; когда же он читал статью о себе, написанную Нагаем Кафу, от волнения у него так дрожали руки, что журнальные строчки прыгали перед глазами...

Современному читателю может показаться странным и непонятным, чем именно оказались столь актуальны и примечательны эти произведения, где действие происходит в первом случае — в так называемую эпоху Эдо (XVII — сер. XIX в.), а во втором — в совсем уже незапамятные времена, в V веке до н. э., и к тому же в Китае?

Чтобы в полной мере оценить смелость и новаторство молодого автора, студента III курса литературного факультета Танидзакэ, нужно вспомнить, что представляло собой японское общество, его духовная жизнь, его литература в те уже далекие от нас годы. Здесь не место вдаваться в исторический экскурс; напомним лишь, что в том же 1910 году, когда состоялся столь удачный дебют Танидзакэ в литературе, произошли два события, в концентрированной форме воплотившие в себе суть того курса, которым с начала XX века неуклонно двигалось японское государство как в своей внешней, так и во внутренней политике. Этими событиями стали окончательная аннексия Кореи, (лицемерно названная «слиянием») — очередной этап наступления японского империализма на соседние азиатские страны — и арест, а вскоре за тем и казнь выдающегося японского социалиста Котоку Сюсюя и группы его единомышленников. Эта расправа, означавшая дальнейшее усиление реакции, произвела удручающее впечатление на японское общество, и без того скованное тисками чисто феодальных традиций, регламентировавших всю частную жизнь человека, традиций, в сравнении с которыми ханжеская мораль викторианской Англии могла бы считаться идеологией вольнодумцев. Не удиви-

тельно, что в такой обстановке японская литература оказалась в тупике. Растеряв критическую направленность, свойственную лучшим произведениям натуралистической школы — ведущего литературного направления Японии начала века, — литература натурализма свелась теперь к мелочному бытописательству, нарочито безыскусному описанию безрадостных, серых будней. Такая литература никак не могла служить вдохновляющим образцом для молодого поколения писателей, слабость и антихудожественность ее были чересчур очевидны. Молодая литература оказалась как бы на распутье — но если одни искали выход в утверждении абстрактных гуманистических идеалов, то другие открыли для себя новую Мекку в так называемой литературе «конца века», давно уже существовавшей в Европе, в первую очередь в Англии и во Франции. Первым толчком, как то всегда бывало в Японии, заимствовавшей из Европы не только технику и науку, но и духовные веяния, явились переводы поэзии. Знакомство с творчеством Бодлера, Рембо, Верлена стало настоящим откровением для молодых японских поэтов. Затем последовало знакомство с прозой — от произведений Эдгара По и Оскара Уайльда до сочинений ныне полузабытых Октава Мирбо, Пьера Лоти, Клода Фаррера. С жадным интересом встречались также и теоретические работы европейцев об искусстве символизма и импрессионизма. Литература «конца века» попала в Японию, когда для Европы она уже стала вчерашним днем, но для Японии она была ошеломляюще новым словом, теория и практика символизма и импрессионизма обрели там как нельзя более благоприятную почву. В японском искусстве — не только в живописи, но и в литературе — эстетическое начало всегда было выражено особенно ярко, издавна культивировались принципы мгновенного впечатления, «постчувствования»; аллюзия, удачный намек всегда служили знаком высшего мастерства. Культ красоты, исключительное внимание к орнаментальной декоративности стиля, присущие европейской литературе «конца века» и так выгодно отличавшиеся от унылой прозы японского натурализма, вызвали восхищение; дерзкие парадоксы Оскара Уайльда, бросавшие смелый вызов буржуазной морали, встречались с восторженным сочувствием, а экзотический фон, всегда притягивающий сердца в эпоху, когда окружающая жизнь представляется безрадостной, однообразной и тусклой, вводил прочь от постылой действительности. Но если для европейского импрессионизма и постимпрессионизма экзотикой были Китай, Япония или острова Тихого океана, то их японским последователям пришлось искать «собственную экзотику». И таковая нашлась — в экзотическом свете стали восприниматься минувшие века, в первую очередь эпоха Эдо, когда в японских городах процветало искусство — театр, живопись и литература, — далекий XVII век, когда в Японию проникли первые европейцы, таинственные «падэрэн»¹ (испанские и португальские миссионеры), совратившие в «чужеземную ересь» не одну японскую душу... И вот уже поэт Китахара Хакусю (1885—1942) пишет стихотворение, так и озаглавленное — «Чужеземная ересь».

Как будто оживают предо мной
все ереси истерзанного века,

¹ Искаженное испанское слово «padre» — священник (букв.: отец).

И чудеса, что силой чар волшебных
 творит могучий христианский бог,
 И капитаны черных кораблей
 из сказочной страны рыжеволосых,
 Багряное заморское стекло,
 манящий пряный аромат гвоздики,
 Хлопчатые одежды, ром и вина —
 товары южных варваров в порту...
 Мне слышатся хоралы литургии;
 голубоглазые доминиканцы
 Поют о божестве запретной веры,
 поют об окровавленном кресте...¹

Вскоре эти новые веяния нашли отражение в прозе — раньше всего в творчестве Дзюньбитиро Танидзаки.

В рассказе «Татуировка» соблюдены все этические и эстетические посылки литературы «конца века» — экзотический фон («Это было во времена, когда люди почитали легкомыслие за добродетель, а жизнь еще не омрачали, как в наши дни, суровые невгоды...»), культ красоты (действующие лица — красавица и человек искусства, художник), четкая композиция, динамично развивающийся сюжет, изящный, орнаментальный язык, но главной темой была апология жестокой власти, которой обладает чувственная женская красота, ведущая к гибели каждого, кто познает власть ее чар, — такая тема звучала дерзким вызовом традиционной морали. В рассказе «Цзилинь», имевшем успех даже больший, чем «Татуировка», эта же тема раскрыта еще более выразительно. Рассказ поражал читателей вовсе не только потому, что действующим лицом там выступал сам Конфуций² (напомним, что конфуцианство на протяжении более чем двух с половиной веков, вплоть до буржуазной революции 1868 г., являлось официальной идеологией феодальной Японии, то есть еще сравнительно недавно). Центральной фигурой повествования, сюжет которого построен на основе одной из многочисленных легенд о жизни Конфуция, писатель сделал не великого мудреца древности, а прекрасную Нань-цзы, воплощение красоты, жестокости и порока. В соревновании за власть над душой влюбленного в Нань-цзы государя жестокая красавица одерживает решительную победу над мудрецом.

В раннем творчестве Танидзаки тема служения красоте неразрывно связана с темой любви — правильнее было бы сказать, с изображением сугубо земной, даже болезненно-извращенной плотской страсти, лишенной какого бы то ни было романтического ореола.

Критика сравнивала «Цзилинь» то с «Таис» А. Франса, то с «Искушением Святого Антония» Флобера, то с «Саломеей» О. Уайльда... Так или иначе, но в раннем творчестве Танидзаки зло и порок торжествуют, а красота воплощается в образе женщины, прекрасной, но непременно жестокой — таковы в ту пору

¹ Перевод А. Долина.

² Озорные повести, где фигурировали мудрецы и святые, встречались в городской литературе еще в XVIII в., например, анонимная повесть «Святые мудрецы в веселом квартале» (1757), героями которой выступают Конфуций, Будда и Лао-цзы.

героини многих его произведений. «Предположим, существуют две женщины, одна добрая, другая жестокая. — говорит Дзётаро, герой одноименного рассказа (1912). — Которая, по-твоему, прекраснее? Конечно, вторая, злая. Иными словами, злобная натура гораздо больше способна стать подлинным воплощением красоты».

Можно, разумеется, объяснить изображение прекрасных, но непременно жестоких женщин в раннем творчестве Танидзаки личными пристрастиями и склонностями автора, как это делают некоторые японские и западноевропейские критики, но бесспорно, что в создании таких образов немалую роль сыграло стремление, пусть неосознанное, эпатировать общество, где женщина по-прежнему оставалась бесправной рабыней, которую можно было купить или продать точно так же, как в самую мрачную эпоху феодализма. Нет, Танидзаки отнюдь не был поборником женского равноправия, среда, в которой прошли его детство и молодость, была далека от идей такого рода, уже волновавших передовые умы тех лет. Но дерзкое желание ниспровергнуть затхлые моральные догмы, объявить идеалом властную, гордую женщину, а высшей радостью — покорное ей служение, безусловно присутствуют в его творчестве. В этом и заключалось главное новаторство, поразившее современников, к тому же блестяще воплощенное с помощью формальных принципов европейской литературы «конца века», которой молодой Танидзаки подражал с чисто юношеским увлечением. Впрочем, не только он один. «Жизнь человеческая не стоит и одной строчки Бодлера...» — писал современник Танидзаки, другой выдающийся писатель, Акутагава (1892—1927), утверждая приоритет искусства над жизнью. «Цветы зла» — само это название импонировало молодым литераторам, казалось исполненным глубокого смысла, звучало вызовом лицемерной буржуазной морали. Но Танидзаки пошел даже дальше своих европейских учителей, утверждая приоритет зла над добром, декларируя, что только зло может стать источником вдохновения для истинно высокого искусства. Так, его герой Дзётаро говорит, что «Божественная комедия» Данте стала бессмертным произведением именно благодаря описанию Ада, а «Потерянный рай» Мильтона намного превосходит его «Обретенный рай», потому что рисует грехопадение Адама и Евы...

Критика приветствовала рассказы Танидзаки (Дзётаро сравнивали с лордом Генри из романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»), издатели готовы были платить за рукописи молодого писателя больше, чем платили обычно, его сочинения шли нарасхват, а цензура, со своей стороны, случилось, налагала запрет на некоторые его рассказы, с точки зрения этой цензуры вопиюще предосудительные... Так, сопровождаемый шумным успехом, вступил в литературу Дзюнъитиро Танидзаки.

* * *

Танидзаки родился в Токио, в семье купца. Впрочем, отцу его так упорно не везло во всех его коммерческих начинаниях, что его лишь условно можно причислить к купеческому сословию. В раннем детстве семья Танидзаки не испытывала нужды благодаря помощи деда, тоже купца, так что первые годы жизни будущего писателя прошли в сравнительно благополучной обстановке. Впоследствии он с любовью вспоминал свои первые детские впе-

чатления, в частности, посещение театра Кабуки с матерью и тетками или поразившую его детское воображение икону богородицы в доме деда (дед принял православие; увлечение христианством во всех его разновидностях было модным поветрием в конце XIX в.) — в этой иконе ему чудилось что-то бесконечно «благородное, страшное и прекрасное». Тема детства, счастливого и несчастного, часто присутствует и в раннем, и в зрелом творчестве Танидзаки. Он умел понять душу ребенка и передать переживания детей с тонким и сочувственным проникновением в детскую психологию (рассказ «Маленькое государство», 1918). Танидзаки горячо любил свою мать, слывшую красавицей, и не раз обращался в своем творчестве к теме сыновней любви, к образу матери (рассказы «Тоска о матери», 1919¹; «Лианы Ёсино», 1931; «Мать Сигэмото», 1957). Отметим все же истины ради, что интерпретация этой темы — изображение тоски ребенка по безвременно умершей или таинственно исчезнувшей (как в рассказе «Мать Сигэмото») матери была подсказана отнюдь не личным опытом автора (Танидзаки потерял мать, когда ему было уже за тридцать), а, скорее всего, трудами Фрейда, увлечение которыми было модным в те годы в Европе, а следовательно, и в Японии.

К тому времени, как Танидзаки окончил начальную школу, дела отца окончательно пришли в упадок. Нужно было идти работать — учеником в лавку или в какую-нибудь контору. К счастью, школьному учителю, обратившему внимание на незаурядную одаренность подростка, удалось преодолеть сопротивление отца и уговорить его позволить сыну продолжить образование. Так Танидзаки посчастливилось стать учеником одной из лучших гимназий Токио. Об этом эпизоде жизни, сыгравшем решающую роль в его дальнейшей судьбе, Танидзаки написал в 1903 году для гимназического литературного журнала автобиографический рассказ. Это было еще совсем незрелое сочинение, традиционно названное в духе старомодной восточной стилистики «Записки о весеннем ветерке и осеннем дожде». Рассказ начинается с того, как мальчик, вернувшись домой после блестяще сданных выпускных экзаменов в школе, узнает от отца, что на этом его учение закончено, теперь ему придется работать. Мальчик заливается слезами.

«Что за слезы то были? Слезы благодарности за отцовскую заботу (о моем будущем. — *И. Л.*)? Нет... Слезы негодования, что мир устроен так беспощадно? Нет... То были слезы о том, что я не смогу учиться и мне придется работать в каком-нибудь коммерческом заведении.

С самых ранних лет я больше всего не любил военных, а после них — бизнесменов. Даже если человек прославился на весь мир, разве он поступает, как подобает поступать человеку, если отнимает жизнь других людей и проливает кровь своим мечом? Даже если человек нажил огромное состояние и непрерывно купается в роскоши и богатстве, есть ли смысл родиться человеком, чтобы превратить жизнь в нашем бренном мире в пустой и эфемерный сон?»

¹ В русском переводе — «Та, которую я люблю» в кн.: Танидзаки Дзюнъитиро. Мать Сигэмото. М., Наука, 1984.

Не стоило бы цитировать это раннее, в сущности еще совсем ученическое сочинение, если бы в нем не отразились взгляды (во всяком случае, в том, что касается японской армии и войны), которые будущий писатель с неизменной последовательностью сохранил на протяжении всей своей долгой жизни.

Годы учения в гимназии, затем в колледже и, наконец, на литературном факультете Токийского университета, куда Танидзакки поступил вопреки воле родителей, были, пожалуй, самым тяжелым периодом в его жизни. Дома царил нищета, было время, когда Танидзакки даже пришлось наняться «сёсэем» (учеником), а фактически — репетитором и домашним слугой к некоему хозяину ресторана, терпеть унижения. Студентом он вел полуголодное существование в университетском общежитии, а посещая родительский дом, выслушивал упреки отца и матери — вместо того чтобы помочь семье, сын увлекался литературой, делом, с их точки зрения, вполне никчемным, к тому же не проявлял усердия в учении и вел, мягко говоря, рассеянный образ жизни. Впоследствии Танидзакки описал это мрачное время в автобиографическом рассказе «Печаль еретика», где с впечатляющей откровенностью в самом неприглядном свете вывел себя самого и трагическую, безобразную нищету, в которой прозябала его семья. Да он и был настоящим еретиком по отношению к своей мещанской среде, демонстративно пренебрегавшим всеми традиционными добродетелями. Мало что изменилось в его поведении и после того, как к нему пришел литературный успех; напротив, Танидзакки вовсе бросил университет, не закончив третьего курса, и еще глубже погрузился в беспорядочную жизнь токийской литературной и художественной богемы.

Вспоминая в письме к брату слова О. Уайльда о том, что «весь свой гений он вложил в свою жизнь, а в искусство — только талант», Танидзакки писал: «Почти то же можно сказать и о моей жизни с прошлого года до этого лета. Не буду описывать ее в подробностях. Во всяком случае, я ни о чем не жалею.

Что касается меня, то теперь *жизнь как искусство* важнее для меня, чем *искусство жизни...*» (слова «жизнь как искусство» и «искусство жизни» были написаны по-английски: «Life of art» и «Art of life»¹).

В другом письме к брату (1916) он продолжает:

«Для меня искусство было на первом плане, а реальная жизнь — на втором. Сперва я стремился, насколько это возможно, жить в соответствии с моим искусством... Было время, когда мне казалось, что это возможно. И я умудрялся жить в величайшей тайне от всех такой ненормальной жизнью чувств. Но постепенно я понял, что между моей жизнью и искусством образуется пропасть, которую я не мог не заметить. И я стал думать, как жить, чтобы использовать свою жизнь с наибольшей выгодой для искусства...» и т. д.

Такая чересчур прямолинейно наивная трактовка принципов

¹ «Life of art» — жизнь как искусство, термин, заимствованный у О. Уайльда, под которым подразумевается так называемый дендизм, т. е. жизнь как источник чувственных наслаждений, начиная от экстравагантной одежды и кончая разнообразными «элегантными» развлечениями, в том числе и эротическими.

«служения искусству» не замедлила отрицательно сказаться на творчестве писателя. К концу 10-х годов Танидзаки стал повторяться, наступил определенный творческий кризис.

* * *

На рубеже 20-х годов Танидзаки по-прежнему писал много, не только рассказы, но и пьесы для нового, уже возникшего в ту пору современного театра, однако когда в 30-х годах готовилось к изданию собрание его избранных сочинений, он решительно отказался включить в него многое из написанного в те годы. Новым увлечением его в этот период стал кинематограф, делавший тогда в Японии свои первые шаги. Едва ли не единственный среди японских писателей, Танидзаки предугадал великое будущее кинематографии, написал несколько сценариев и даже согласился стать литературным консультантом одной из киностудий. В то же время усиливается его интерес к Западу, растет увлечение не только духовной культурой, но чувственным, материальным аспектом западной цивилизации. Со свойственным ему темпераментом всегда целиком отдававшийся своим увлечениям, Танидзаки заводит знакомство с иностранцами, переезжает в Йокохаму, где колония европейцев была наиболее многочисленной. Он поселился в европейском доме, одевался только по-европейски, увлекался европейскими бальными танцами... Даже совершив недолгую поездку в Китай (1918), он вынес из этого путешествия наиболее яркие впечатления именно от европейских кварталов Шанхая и Нанкина с их высокими европейскими зданиями, благоустроенными мостовыми, автомобилями и прочими атрибутами современной цивилизации — итог тем более неожиданный, что со школьных лет Танидзаки выделялся замечательными успехами в изучении классической китайской литературы и был горячим поклонником китайской культуры...

Не удивительно, что, несмотря на множество опубликованных произведений, главным образом рассказов, в творческом отношении это время оказалось малоуспешным. Но в 1925 году был создан роман «Любовь глупца», в котором отразился этот период жизни писателя, разумеется, в творчески преломленном виде.

«Любовь глупца» — не автобиографический роман, хотя в основу его в какой-то мере положен личный жизненный опыт, как, впрочем, во всяком значительном произведении любого писателя. Так же, как почти всегда у Танидзаки, это история любви, но на сей раз и «он» и «она» — люди вполне современные, живущие в реальной обстановке Японии начала 20-х годов. На этот раз Танидзаки создал произведение, основанное на четкой социальной конкретизации современного ему общества. И хотя в основе конфликта лежит уже знакомая по предыдущему творчеству Танидзаки идея всемогущества прекрасной, но порочной женщины и бессилия человека перед neodолжимой силой неподвластных рассудку, откровенно плотских желаний, «Любовь глупца» — несомненно, социальный роман, как бы демонстративно ни чурался этого жанра сам автор.

Быстрое развитие японского общества в 20-х годах порождало не только кардинальные сдвиги в важнейших областях жизни, но и неизбежно влекло за собой проникновение даже чисто внешних

элементов западной цивилизации. Несмотря на все усилия правительства оградить и сохранить нормы старой морали, жизнь брала свое — западные обычаи, вкусы, западная «массовая культура» все больше проникали в Японию, размывая былые устои, порождая брожение в умах. Город, мелкобуржуазные городские слои прежде всего подвергались воздействию этих новых тенденций, а Танидзакэ был коренным токийцем, потомственным горожанином, и, как прозорливо отмечал Нагай Кафу, приветствуя появление первых рассказов Танидзакэ, все его творчество было детищем современного города.

Инженер Дзэдзи Кавай, главный герой романа «Любовь глупца» — живое воплощение новомодного поветрия тех времен: увлечения Западом, вернее сказать, самыми пустыми, поверхностными проявлениями западной цивилизации. «Ты — моя Мэри Пикфорд!» — восторженно, как высшую похвалу, произносит Кавай, обращаясь к своей возлюбленной, на которую и внимание-то обратил вначале лишь потому, что чертами лица она напоминала европейскую женщину, сам же Кавай непрерывно терзается «комплексом неполноценности», с огорчением сознавая себя «типичным японцем». Образ Наоми неразрывно слит в его сознании с тем прекрасным, таинственным и экзотичным, чем представляется ему Запад. Эта губительная страсть разрушает всю его жизнь добродетельного мещанина, приводит к моральной деградации. Добродетельный сын, он грубо обманывает любимую мать, усердный работник — манкирует службой и в конце концов вовсе перестает работать...

Танидзакэ недаром назвал свой роман «Любовь глупца». Книга была написана в ту пору, когда писатель разочаровался в своем пристрастии к Западу, вполне осознав пустоту и несостоятельность своих былых увлечений. В этом смысле «Любовь глупца» может считаться своего рода итоговым произведением, подводящим черту под целым этапом в творчестве Танидзакэ. Здесь кончается «ранний» Танидзакэ и начинается новый, непохожий на прежнего...

Любопытно отметить, что современники не сразу восприняли критическую тональность романа. Напротив, многим казалось, что в образе Наоми писатель изобразил современную, «раскованную» женщину. Возник даже термин «наомиизм», обозначающий ниспровержение старой морали. Излишне говорить, сколь беспочвенным было такое суждение. И снова цензура ополчилась на Танидзакэ, прервав публикацию «безнравственного» романа, печатавшегося из номера в номер в осацком филиале газеты «Асахи». Во времена, когда из каждого зарубежного фильма в обязательном порядке изымались все кадры «с поцелуями», отношения Танидзакэ с цензурой явно не ладились... Писатель опубликовал «Любовь глупца» в литературном журнале, впоследствии роман вышел отдельным изданием. Он оказался актуальным, чтобы не сказать — злободневным, и, как все, выходявшее из-под пера Танидзакэ, имел шумный успех¹.

Как же случилось, что писатель, еще недавно сам искренне разделявший увлечения инженера Кавая, сумел так критически, так живо и убедительно изобразить своего героя? Этому

¹ Роман был издан в СССР. Танидзакэ Дзюнъитиро. Любовь глупца. Л., Прибой, 1929.

в значительной степени способствовали обстоятельства, круто изменившие образ жизни и самый характер творчества Танидзаки.

* * *

1 сентября 1923 года в районе Токио-Йокохама произошло сильнейшее землетрясение, во время которого погибло более ста пятидесяти тысяч человек. Нетрудно представить себе, какое страшное впечатление произвело стихийное бедствие такого масштаба не только в Японии, но и во всем мире, в те годы еще не подозревавшим о грядущей трагедии Хиросимы и Нагасаки... Поток беженцев устремился прочь из более чем на две трети разрушенных городов. Уехал и Танидзаки. Он обосновался в так называемом районе Кансай (западная Япония), в городе Кобе, крупнейшем после Йокохамы портовом городе Японии, где также имелась довольно значительная колония иностранцев, и можно предположить, что для Танидзаки, искавшего привычные условия жизни, это обстоятельство поначалу в известной мере определило выбор временного пристанища. Вместе с тем Кобе находится совсем рядом с древними столицами Японии Киото и Нарой и в непосредственной близости к старинному торговому городу Осаке.

Танидзаки рассчитывал пробыть в Кансае лишь короткое время, а остался там на долгие годы. «Потому что район Кансай — я имею в виду не только Киото, но и старую Японию Осаки, Киото и Нары — покорила меня прежде, чем я успел это осознать», — писал годы спустя Танидзаки в эссе «Думы о Токио» (1934).

Весь этот обширный район по праву считается колыбелью японской культуры, здесь зародилось и расцветало японское искусство — архитектура и скульптура, живопись и декоративное садоводство, литература — поэзия и проза, отсюда пошел японский театр Кабуки, где играют актеры, и «дзёрури», где действуют большие, чуть ли не в рост человека, куклы. Здесь возникли и развивались замечательные художественные ремесла — ткачество, керамика, роспись по лаку и многое другое. Но, может быть, не менее важным было то, что здесь, в этой японской «глубинке», все еще бытовали старинные нравы, сохранилась утонченная, веками отшлифованная культура общения, исконные, традиционные обычаи старины.

Не удивительно, что воображение Танидзаки все больше занимают проблемы национальной культуры, национальной эстетики. Он много размышляет о соотношении восточной и западной культур, которой еще недавно так восхищался. Симптоматично, что в 1920 году, после вторичного недолгого пребывания в Шанхае, он уже сетует на то, что в городе слишком сильно чувствуется европейское влияние. «Чтобы узнать Китай, надо ехать в Пекин», — пишет он в «Записках о Шанхае». Он по-прежнему много работает, публикует рассказы, эссе, в том числе известные «Записки болтуна»¹. Среди разнообразных проблем литературного характера в них затронут и вопрос об особенностях культуры Востока: «Прежде всего, что подразумевается под этим термином? (Тани-

¹ «Понемногу о многом» (1927, дзёдзэцуроку — букв.: записки болтуна) — в кн.: Танидзаки Дзюньитиро. Мать Сигэмото, М., Наука, 1984.

дзакки имеет в виду английское слово «ориентализм». — И. Л.) Это не вполне ясно мне самому, по, коротко говоря, речь идет о восточных эстетических вкусах, образе мышления, физическом сложении, характере. Не знаю, как точнее все это описать, но я ощущаю в Востоке что-то своеобразное, отличное от Запада, не только в литературе и искусстве, но и во всем, начиная от политики, религии, философии и кончая делами повседневными, одеждой, едой, жилищем»¹.

Желая доказать правомерность популярной литературы, доступной широкому кругу читателей, а не только интеллигенции, Танидзакки берется за создание широкомасштабного романа на материале исторических событий XVI столетия («Заросли хризантем», 1930). Роман остался незаконченным, но еще за год до того, в 1929 году, вышел в свет другой, не столь обширный роман «О вкусах не спорят»², свидетельствующий о новых эстетических горизонтах, открывшихся перед творческим воображением Танидзакки. Герой этого произведения, страдающий от разлада в семье (супруги давно уже равнодушны друг к другу и по молчаливому согласию оба имеют связи па стороне), открывает для себя новый, прекрасный и чистый мир в традиционном искусстве, в «чисто кансайском» укладе жизни, где изящная, деликатная, скромная женщина О-Хиса, истинная уроженка Кансаю, являет собой образец идеальной женщины, так непохожей на его европеизированную, по-современному образованную жену.

В начале 30-х годов Танидзакки создал серию произведений, составивших лучшие страницы его творчества. Наступил расцвет его дарования. Один за другим выходят в свет рассказы «Лианы Ёсино» (1931), «Рассказ слепого» (1931), «Асикари» (1932), «История Сюнкин» (1933), эссе — в том числе знаменитая «Похвала тени» (1934)³ и «Думы о Токио» — и многое другое. Это время совпало со счастливыми переменами в личной жизни писателя — в начале 30-х годов он встретил свою будущую жену, Мацую Нэду, разведенную жену осакского коммерсанта, любовь к которой пронес до конца жизни (два его предыдущих брака оказались несчастливыми). Танидзакки было уже больше сорока лет, юность, полная творческих исканий и увлечений, осталась позади, наступила пора творческой зрелости.

Рассказ «Лианы Ёсино», по единодушной оценке японской критики, — одно из самых проникновенных и поэтических произведений Танидзакки, подобно лианам, растущим в Ёсино, всеми корнями глубоко вросшее в родную почву, но, может быть, именно поэтому наиболее «закрытое» для европейских читателей. А между тем японским читателям одно географическое название «Ёсино» уже говорит о многом, рождает бесчисленные аллюзии.

Горы Ёсино на полуострове Кии, к югу от старой столицы Киото, испокон веков славилась деревьями сакуры, недолгое весеннее цветение которой воспевали поэты с древних времен. «Как

¹ Т а н и д з а к к и Дзюнъитиро. Мать Сигэмото, с. 84.

² Японское название «Тадэ куу муси» — в букв. переводе: «Червяк, поедающий польнь» — начало поговорки, означающей, что вкусы у людей разные. Бывают же червяки, которые любят горькую польнь...

³ Похвала т е н и . — Восточный альманах, № 12. М., Художественная литература, 1984.

любому поэту известно о цветении сакуры в Ёсино...» — распевали средневековые сказители уже в XIII веке. Но Танидзакки переносят действие в другой сезон — в осень, когда становятся ярко-красными листья японского клена и тоже справляется праздник красоты, так же освященный традицией, как любование сакурой, но менее известный за пределами Японии.

Трудно определить жанр рассказа. Что это — дневник путешествия, жанр, удивившийся в японской литературе тысячу лет назад и по сей день любимый японцами? Или новелла о любви молодого горожанина к крестьянской девушке? Или, может быть, гимн труду-искусству, потому что изготовление знаменитой японской бумаги «васи» издавна считалось искусством, а бумага «васи» — художественным изделием, предметом эстетического любования, в древние времена ее, как лучший подарок, преподносили придворным дамам? Или, может быть, главное здесь — сочувственный рассказ о крестьянской девушке, проданной в «веселый квартал» города Осаки, о крестьянских детях, отданных в услужение? Все сплетено в один клубок, окрашенный в идиллические тона.

И любовь здесь совсем другая, и женские образы уже не те, что в ранних произведениях Танидзакки. Куда девались демонические героини его прежних рассказов, жестокие и порочные? Теперь красота неразрывно связана с верностью, с традиционными женскими добродетелями. Такой верной возлюбленной была легендарная Сидзука, такой же была и добродетельная купеческая жена, покойная мать Цумуры (Танидзакки не забывает упомянуть, что она осталась чистой вопреки обстоятельствам), такой же верной и преданной будет крестьянская девушка О-Васа.

В рассказе то и дело происходит смещение времен. Прошлое тесно переплетается с настоящим. Легендарные события, связанные с танцовщицей Сидзукой, восходят к далекому XII веку, борьба Северной и Южной династий — к феодальным распрям XIV столетия, пьесы дзёрури «Имосэяма» и «Вишни Ёсицунэ» — реминисценции детских впечатлений писателя, — создание XVIII века. Вся история покойной матери Цумуры отнесена к началу так называемой эпохи Мэйдзи, т. е. к 70-м годам XIX века, и наконец, о себе самом писатель сообщает, что его поездка в горы Ёсино состоялась «лет двадцать назад».

Так что же, в конечном итоге, главное в рассказе «Лианы Ёсино»? О чем хотел поведать автор своим читателям? Думается, не будет ошибкой сказать, что главная тема рассказа — любовь к родному краю, о которой рассказано очень просто, без излишней патетики, подчас даже с юмором. Это проникновенный рассказ о родине, о ее старине и преданиях, о ее природе, искусстве, о ее людях, простых людях труда.

«Рассказ слепого» — также одно из лучших произведений Танидзакки. Здесь в полной мере воплотился композиционный талант писателя, один из основных его творческих принципов: повествование должно быть увлекательным, сюжет — упругим и динамичным. В основу рассказа положены подлинные исторические события, действуют подлинные исторические личности под своими настоящими именами. Даже незначительные детали и отдельные реплики почерпнуты из зафиксированных наукой хроник, писем и других документов. Творческая фантазия опять увлекает Танидзакки к минувшим временам, он считает, что на историческом фоне его замыслы могут осуществиться наиболее эффективно.

«...Буду читать произведения, насколько возможно, далеко отстоящие от современности по своей тематике, — пишет он в «Записках болтуна». — Пусть это будут исторические повести или фантастические рассказы, а если и реалистическая проза, то написанная за полвека до нас»¹. Уже первый свой рассказ «Татуировка» он перенес в XVII век, но тогда это определялось в первую очередь стремлением к экзотике, теперь же доминантой выступает эстетический идеал — прошлое кажется Танидзак и более живописным, и более романтическим.

«Рассказ слепого» — это повествование о красоте и любви в их нераздельной слитности, о верном служении красоте, воплощенной в образе женщины, прекрасной и добродетельной, гордой и мужественной. Увлеченный этой своей идеей, Танидзак иронично интерпретирует исторические события, окутывая их романтической дымкой; ясно, что в действительности движущими мотивами описанных в рассказе событий меньше всего были любовь или ревность. Искусству, в данном случае — музыке, которой он посвящает проникновенные строки, также уделено большое внимание, но главная идея, несомненно, состоит в служении совершенной во всех отношениях женщине.

Бросается в глаза, что если в раннем творчестве Танидзак и любовь предстает как некая злая и разрушительная сила, то теперь, наоборот, она — животворное, созидательное начало. Такая метаморфоза подкреплялась личными переживаниями писателя в эти годы. Обращаясь к своей будущей жене, он писал в начале 30-х годов:

«С того самого дня, когда я впервые увидел Вас, мне казалось, что для меня было бы величайшим счастьем всю жизнь служить Вам. Мне казалось, особенно в эти последние несколько лет, что только благодаря Вам я сумел преодолеть застой, в котором очутилось мое искусство. Я не могу творить, как мне хотелось бы, если нет благородной женщины, которой я поклонялся бы, и только теперь я встретил впервые такую женщину. По правде сказать, когда я писал «Рассказ слепого» и другие произведения, я все время думал о Вас и писал так, как будто сам был этим слепым массажистом. Я уверен, что с Вашей помощью мое искусство будет становиться все более совершенным и, даже если судьба разлучит нас, творческие силы не покинут меня, пока я смогу мечтать о Вас. Пожалуйста, не пойте меня превратно — дело не в том, что Вы существуете для моего искусства, нет, это мое искусство существует для Вас».

В рассказе, построенном в форме одного длинного монолога, живо переданы не только переживания рассказчика, по профессии — массажиста, по призванию — артиста и музыканта, но и взволнованное, эмоционально насыщенное отношение автора к описываемым событиям. Рискаю впасть в трюизм, отметим все же, что Танидзак и всегда творил, вкладывая в свои произведения всю душу. Он и сам отдавал себе в этом ясный отчет. «На упрек же в том, что «сам автор чувствует себя замороженным, опьяненным занимательностью своего сюжета», — писал он в «Записках болтуна», — я отвечаю, что, вероятно, именно так оно и должно быть... Даже когда я пишу какую-нибудь пустяковую вещь, я не могу работать, если не испытываю легкого опьянения. Выстраивать сюжетные линии повествования — вовсе не значит рассчитывать все

¹ Танидзак и Дзюнъитиро. Мать Сигэмто. М., 1984, с. 246.

математически. По-моему, и замысел, и композиция должны рождаться изнутри»¹.

«Рожденным изнутри», созданным как бы на одном дыхании можно назвать и «Рассказ слепого». Нетрудно заметить, что в этом сравнительно длинном повествовании о человеческой жизни, единственным смыслом, счастьем и горем которой была любовь, ни разу, ни одним словом о любви прямо не сказано, и в этом — мастерство Танидзаки. Он блестяще использует широко распространенный в японском искусстве «прием умолчания», представляющий «имеющим уши» самим уловить лейтмотив, главную тему произведения.

«История Сюнкин» — еще одна вариация той же темы, здесь тоже слиты в одно целое служение искусству и поклонение красоте, но если в «Рассказе слепого» слепой музыкант безмолвно обожал свою госпожу, то в «Истории Сюнкин» зрячий Сасукэ посвящает всю свою жизнь своей возлюбленной, талантливой слепой музыкантше Сюнкин. Чтобы полностью лишить себя всякого преимущества перед любимой женщиной, Сасукэ добровольно ослепляет себя. «Невероятно!» — скажет читатель. Но Танидзаки и не стремился к правдоподобию. «Произведения, материалом для которых служит непосредственная действительность, никак не преобразованная, или, скажем, даже реалистические — мне не по душе ни писать, ни читать», — писал он в «Записках болтуна»². Образ Сасукэ от начала и до конца создан писателем для воплощения своей идеи беззаветного служения красоте. В этом смысле он — типичный образ мужчины в произведениях Танидзаки, где все мужские персонажи более или менее на одно лицо. Танидзаки отводит им пассивную роль, чем-то напоминающую, если позволено такое сравнение, ампула танцовщика в старинном балете, роль которого сводилась в основном к тому, чтобы вовремя подать балерине руку или придержать за талию, в то время как она прорывала свои головокругительные пируэты.

Женские образы выписаны детально, характеры женщин разнообразны, о внешнем облике их рассказано со всеми подробностями, мужчинам же всем присуща только одна черта — верность, беспрекословное поклонение своей владычице-женщине, даже об их внешности Танидзаки не считает нужным упомянуть хотя бы мимоходом.

Всегда и во всем искавший и умевший находить красоту, Танидзаки тщательно заботился о внешнем оформлении своих произведений. Тем из них, где действие происходит в старинные времена, он старался, насколько возможно, придать вид старинных изданий. Он писал на старинный манер, то и дело используя главным образом слоговую японскую азбуку, вышедшие из употребления сокращенные знаки и другие приемы старинных изданий, когда книги печатались ксилографическим способом. По его просьбе художник Цунэтоми Китано (1880—1947), известный своей серией картин, изображавших красавиц, прославленных в японской истории, нарисовал для фронтисписа «Рассказа слепого» портрет О-Чачи, знаменитой госпожи Ёдогими; моделью служила Мацуко Нэдзу, будущая жена писателя.

В полном объеме свою концепцию красоты Танидзаки изло-

¹ Танидзаки Дзюнъитиро. Мать Сигэмото. М., 1984, с. 251—252.

² Там же, с. 246.

жил в эссе «Похвала тени» (1934). В этом сочинении, едва ли не самом известном за пределами Японии из всего написанного писателем, он говорит не только от своего лица — в «Похвале тени» изложена концепция прекрасного, сформировавшаяся на протяжении долгих веков существования японского искусства, главным образом в XVII, XVIII и в первой половине XIX веков. Несомненно, что в «Похвале тени» нашли свое выражение эстетические идеалы, присущие — во всяком случае, в прошлом, да в значительной степени и в наше время — всему японскому искусству в целом. Тень, темноту, таинственный полумрак, скрадывающие очертания предметов, рождающие недоговоренность, намек, передающие лишь «тень», а не всю фактуру предмета, Танидаки называет непременным условием красоты. В остроумной, блестящей форме он перечисляет различные аспекты жизни, от повседневного быта до театральных спектаклей и религиозного культа, в которых отразились эти эстетические понятия. При этом наслаждение, даруемое приобщением к прекрасному, носит у Танидаки не только сугубо духовный, но также и чувственный, материальный характер. Гедонистические тенденции всегда были присущи ему и как писателю, и как человеку: в «Похвале тени» они дают себя знать особенно ощутимо.

Проблема соотношения культур Запада и Востока всегда живо интересовала Танидаки; в «Похвале тени» многие разделы в полемическом тоне посвящены рассмотрению различий в эстетических представлениях японцев и европейцев. «...наклонность искать красоту в темноте свойственна одним лишь людям Востока», — утверждает он и приводит в качестве иллюстрации многочисленные примеры. Это расшитое золотом облачение буддийского духовенства, особенно эффектное, когда «большая часть пышного узора золотого шитья окутана мраком, из которого время от времени поблескивают золотые и серебряные нити»; или «золотые крапинки, украшающие узор ширм и дверей» в глубине сумеречного покоя, которые «вдруг вспыхивают, лишь только вы зайдете сбоку. И вы недоумеваете, каким образом эти золотые крапинки могут собрать в такой темноте столько лучей. Теперь я понимаю, почему в старину так любили покрывать золотом изваяния Будды и стены комнат, где жили знатные люди. Современному человеку такая красота золота неизвестна». Множество тонко подмеченных, выразительных деталей иллюстрирует авторскую мысль, раскрывает перед читателем то сокровенное, что вдохновляло и одухотворяло японское искусство. Однако когда речь заходит об эстетике европейцев, Танидаки, ни разу не бывавший в Европе, в полемическом задоре нередко приходит к поверхностным и, прямо скажем, необоснованным выводам. Не вызывает сомнения, что красота золоченых иконостасов и окладов вокруг темных ликов святых в тусклом мерцании лампад и свечей в древних византийских соборах апеллировала к сердцам людей не меньше, чем торжественный сумрак буддийских храмов, и, конечно же, зодчие и художники-европейцы вполне сознательно рассчитывали именно на такой же эффект. «...я прихожу в восхищение перед тем искусством распределения светотени, которое свойственно только японцам, постигшим тайну «тени», — утверждает Танидаки и продолжает: «...ими (европейцами). — *И. Л.*» еще не разгадана загадка «тени». Чтобы опровергнуть это суждение, достаточно, наверное, напомнить хотя бы об одном лишь Рембрандте... На известный «перехлест» в суждениях о европейской эстетике указывает и японская

критика. В «Введении в историю японской литературы» видный современный критик и литературовед Сюити Като пишет, что красота цветных витражей в средневековой Европе создавалась в расчете на гармонию с темной глубиной средневековых построек. Что же касается китайцев, пишет далее Като, уж бесспорно принадлежащих к «людям Востока», то они специально устраивали террасы наверху многоярусных дворцов, чтобы любоваться красотой окрестных пейзажей «при ярком солнечном свете, под синим пекинским небом». Впрочем, зарубежный читатель охотно простит Танидзаки недостаточную осведомленность в вопросах европейской эстетики и культуры; несравненно более ценно и важно, что, прочитав «Похвалу тени», он сумеет лучше, глубже понять оригинальную красоту искусства Японии, эстетику, запечатленную не только в музеях, дворцах и храмах, но и по сей день пронизывающую многие сферы повседневной жизни и быта широких слоев народа.

Сколь ни велик был интерес Танидзаки к искусству, все же он был в первую очередь писателем, делом его Жизни была литература. В 1935 году он приступает к труду, занявшему несколько лет, — к переводу на современный японский язык классического романа «Повесть о Гэндзи», созданного писательницей Мурасаки Сикибу, служившей при дворе японских императоров почти тысячу лет назад.

«Повесть о Гэндзи» — этот «главный роман» японской литературы — занимает одно из центральных мест в истории не только литературы, но и всей японской культуры. Как в оптическом фокусе, в нем сконцентрированы все аспекты мировоззрения людей той далекой эпохи, в том числе и эстетические представления японцев, и можно понять, что Танидзаки, для которого проблемы эстетики играли первостепенную роль, захотел, если можно так выразиться, припасть к первоисточнику национальных эстетических представлений. Но писателем руководили не только личные интересы. Написанная в отдаленные времена, на старом японском языке, «Повесть о Гэндзи» давно уже стала доступна широким читательским кругам. Вернуть японцам роман, по праву считающийся гордостью японской национальной литературы, чтобы сделать его достоянием не только специалистов-филологов, но и широких читательских кругов, — такую благородную задачу взял на себя писатель, на выполнение ее ушли годы нелегкого, усердного труда. Ради «Повести о Гэндзи» Танидзаки пожертвовал даже собственным творчеством, за время работы над переводом он почти не выступает в печати, публикуя лишь отдельные небольшие заметки или участвуя в беседах на литературные темы. Исключением явилась лишь небольшая новелла «Кошка, Сёдзо и две женщины» (1937). В несколько необычной для Танидзаки юмористической тональности здесь изображена хитроумная борьба двух энергичных, предприимчивых женщин за право быть хозяйкой лавки, а заодно и женой ее номинального владельца Сёдзо — так зовут этого незадачливого взрослого недоросля, вокруг которого разыгрываются полукوميческие, полудраматические события. В этих семейных интригах, где важную роль играет любимца Сёдзо — кошка Лили, активно участвует и третья женщина, мать Сёдзо, фактическая владелица лавки, по своему усмотрению организуя и развод, и новый брак сына. В конце концов безвольному, робкому Сёдзо — типичному персонажу в творчестве Танидзаки, где мужчине чаще всего отводится пассивная роль, — не

остаётся ничего другого, как по-настоящему привязаться... к кошке, единственному существу, которое не может им помыкать. В новелле живо воспроизведены достоверные картины быта и нравов мелкого торгового люда, хорошо знакомые Танидзаки по его детским и юношеским воспоминаниям; такие мелкие собственники, хозяева небольших лавок и магазинчиков, даже в наши дни все еще составляют значительную прослойку населения японских городов.

Между тем работа над переводом «Повести о Гэндзи» продолжалась без перерыва. С 1937 по 1939 год журнал «Тюо-корон» регулярно публиковал очередные главы классического романа. Надо ли говорить, что Танидзаки, с первых шагов в литературе выделявшийся стилистическим мастерством, блестяще справился и с этой необычайно трудной задачей. Однако, когда в 1939 году работа была закончена — на нее ушли полных четыре года, — оказалось, что перевод Танидзаки не может быть напечатан отдельным изданием. Цензура запретила публиковать древний классический роман госпожи Мурасаки из-за того, что одна из сюжетных линий романа повествует о любви главного героя Гэндзи к своей юной мачехе, супруге императора, — с точки зрения цензуры, этот эпизод был бы равнозначен оскорблению императорского дома. Запрет публиковать древний шедевр японской литературы, перевод которого на современный японский язык потребовал столь долгого и, без преувеличения, вдохновенного труда, явился тяжелым ударом для Танидзаки.

Что же происходило в Японии в конце 30-х годов, если стали возможны столь абсурдные, парадоксальные акции? Ответ на этот вопрос мог бы занять много томов, но можно сказать и кратко: Япония воевала.

* * *

Шла война, хотя само это слово до поры до времени находилось под строжайшим запретом; даже самые кровопролитные боевые действия на земле Китая именовались в официальной прессе не иначе как «инцидентами». В наши дни в Японии пишут иногда о «пятнадцатилетней войне» — счет ведется с начала 30-х годов, т. е. от оккупации Северо-Востока Китая и создания там марионетчного государства Маньчжоу-го до разгрома японского милитаризма в 1945 году. Действительно, все 30-е годы прошли под знаком нарастающей агрессии Японии против соседнего Китая. И хотя тысячи японских семей уже получали известия о гибели своих близких вместе с маленькими деревянными ящичками с прахом мужей, сыновей и братьев, полагалось считать, что все это еще не война, а всего лишь «инцидент», — там, где-то далеко, за морями, на далеком Азиатском материке... «Настоящая» война началась лишь в декабре 1941 года внезапным налетом японской авиации на военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе.

Понятно, что с усилением власти милитаристов ужесточалась и реакционная политика внутри страны. В истории японской литературы время с 1937 по 1945 год принято именовать «периодом мрака», своеобразным провалом, когда японская литература попросту перестала существовать. Действительно, литература, достойная этого наименования, исчезла в Японии. Но это не означает, что прекратилась литературная продукция, — напротив, в изобилии

печатались романы, повести и рассказы, целые поэтические антологии, но все это читыво было сплошным восхвалением агрессивной войны, низкопробной лестью в адрес милитаристов, славословием «подвигов» «императорской армии». Как же случилось, что японская литература, японские писатели пали так низко? Одних физически уничтожили, других принудили к молчанию, занеся в «черный список», а третьи — и таких, увы, оказалось сверх ожидания много — добровольно превратились в прислужников милитаристских диктаторов. Чтобы пересчитать тех, кто не пошел на сотрудничество с реакцией, пальцев одной руки оказалось бы слишком много. Среди этих немногих — двоих, троих, самое большее — четверых, — был Дзюнъитиро Танидаки.

Как известно, жизнь не укладывается в схемы. В то время как многие писатели, известные в прошлом своими «левыми» убеждениями, изоцрялись в восхвалениях «священной миссии Японской империи», Танидаки, этот эстет, певец прекрасного, поклонник искусства и красоты, не написал ни строчки, не произнес ни слова в защиту того, что творилось в Японии на протяжении всех этих лет. Не удивительно, что впоследствии японская критика пыталась по-своему объяснить этот феномен. Для объяснения неприемлимой позиции Танидаки по отношению к милитаризму чаще всего ссылаются на его якобы независимое материальное положение, в то время как подавляющему большинству писателей, не имевших других средств существования, кроме собственного пера, в случае отказа от сотрудничества с милитаризмом грозила, мол, голодная смерть... Это неверно. В Японии имелись писатели, владевшие достаточно солидным состоянием, наследственным или благоприобретенным; тем не менее они весьма активно и вполне добровольно переходили на службу реакции. Это правда, что некоторые издатели, в частности, журнал «Тюо-корон», с которым Танидаки связывала долготелная дружба, оказывали ему некоторую материальную поддержку по мере того, как в стране все острее ощущалась нехватка продовольствия и других жизненно необходимых предметов. И все же такая эпизодическая помощь отнюдь не могла избавить Танидаки от материальных лишений; любитель комфорта и сибарит, он вынужден был страдать и от недоедания, и от холода в зимнее время, и все-таки ничто не заставило его пойти на сделку с собственной совестью художника. Добавим к этому, что в Японии никогда не существовала традиция эмиграции, подобно тому как это было в Европе, где многие честные писатели укрывались в других странах от гитлеровского террора. В те годы литературный японский мир был еще слишком изолирован от мировой прогрессивной общественности. Да и куда было бежать, когда кругом, по всей Азии и Европе, полыхала война?

В этих тяжелейших условиях Танидаки начал работу над новым произведением. Как видно, он не мог поступить иначе, творчество было смыслом всей его жизни. И Танидаки приступает к созданию книги, ставшей его главным, лучшим произведением. Это был роман «Мелкий снег» («Сасамэюки»),

* * *

Через двадцать с лишним лет после окончания второй мировой войны, в 1966 году, литературная общественность Японии отмечала первую годовщину смерти и одновременно восьмидесятилетие со

дня рождения классика современной японской литературы Дзюньитиро Танидзаки. По этому случаю в Доме новой японской литературы («Нихон киндай бунгаку-кан»), прекрасном, современном здании, совмещающем функции архива, музея и научно-исследовательского центра по изучению новой литературы, была устроена выставка, посвященная жизни и творчеству писателя. Среди многочисленных экспонатов внимание привлекала витрина, за стеклом которой лежал напечатанный на скверной бумаге военных лет 4-й номер журнала «Тюо-корон» за 1943 год. На развороте страниц, очерченное темной рамкой, было помещено объявление, в котором редакция журнала «с глубоким сожалением» извещала читателей о прекращении «в порядке самоконтроля» публикации романа «Мелкий снег» как не соответствующего духу нации в переживаемое страной чрезвычайное время. Журнал успел опубликовать только два начальных отрывка романа, в 1-м и в 3-м номерах, когда главного редактора вызвали в Военное министерство, где под угрозой закрытия журнала ему было предложено немедленно прекратить публикацию «антипатриотического» сочинения.

«Упрямец» Танидзаки все еще не сдавался. В 1944 году он отыскал маленькую частную типографию, где на свои личные средства отпечатал 200 экземпляров первой части романа (к тому времени он уже успел закончить не только первую, но и вторую из будущих трех частей), и раздал эти экземпляры друзьям и знакомым. Поступок этот вызвал новое грозное предупреждение, на этот раз уже непосредственно в адрес самого писателя. Как же поступил Танидзаки? Продолжал писать — правда, теперь уже без надежды на публикацию.

Невольно задаешься вопросом, где истоки такого стойкого неприятия всего, связанного с военщиной и войной, которое так прочно владело душой писателя? Не в том же «отвращении к военным», которых он «с детских лет не любил больше всего на свете», о чем, если помнит читатель, Танидзаки писал в одном из своих ранних рассказов. И все же не будет ошибкой сказать, что неприязнь к военщине, к самурайству Танидзаки впитал, если можно так выразиться, с молоком матери, унаследовал от длинной вереницы предков, своих дедов и бабок. По рождению и воспитанию Танидзаки принадлежал к сословию горожан, мелкого торгового люда, в течение веков занимавшего подчиненное, бесправное положение по отношению к господствующему классу военного дворянства — самурайства. Он принадлежал к тем, о которых замечательная поэтесса Ёсано Акико писала еще в 1904 году, во время русско-японской войны в своем знаменитом антивоенном стихотворении:

...Купец — твой предок, а не воин хмурый,
Не завещал своим сынам набег!¹

¹ Стихотворение Ёсано Акико, написанное в форме письма-обращения к брату, призванному в армию и принимавшему участие в осаде Порт-Артура, называлось: «Не отдавай, любимый, жизнь свою!» и было напечатано в сентябре 1904 г. в поэтическом журнале «Утренняя звезда» («Мёдзё»). Журнал был немедленно конфискован. Японцы смогли познакомиться с этим замечательным произведением только после окончания второй мировой войны, когда старые цензурные ограничения были сняты. См. перевод Веры Марковой в кн.: Японская поэзия. М., ГИХЛ, 1956, с. 313.

На протяжении веков городское сословие создало свою замечательную, демократическую по духу культуру. В атмосфере этой культуры прошли детство и юность Танидзаки, он впитал в себя ее достижения, знал и любил ее, воздавал ей хвалу в лучших своих произведениях. Теперь па его глазах все то, что было ему так дорого, что он ценил превыше всего, беспощадно разрушала война. Его неприятие войны — закономерный итог противостояния двух антагонистических культур.

Но вместе с тем ведь Танидзаки был достаточно осторожен, он прекрасно понимал, в какой обстановке живет. Еще свежа была память о суде над писателем Тацудзо Исикавой, осужденным «за клевету на доблестную императорскую армию». «Преступление» Исикавы состояло в том, что в своей повести-репортаже о военных действиях японцев в Китае в конце 1937 года, опубликованной в марте 1938 года в журнале «Тюо-корон», он написал правду о зверствах японских солдат в Китае — разумеется, далеко не всю, но все-таки правду... Даже само название репортажа — «Живые солдаты» — и то инкриминировалось писателю, ибо, в соответствии с официальной идеологией, японским солдатам надлежало думать не о жизни, а только о «героической смерти во славу Японской империи».

Памятуя об этом и о многих других столь же прискорбных примерах, Танидзаки писал свой роман, стараясь по возможности не давать повода для раздражения военных цензоров. Как видим, ему это не удалось. Характерно, что еще до официального запрета коллеги-писатели неодобрительно высказались об опубликованных начальных главах романа «Мелкий снег». Один лишь Ясунари Кавабата осмелился подать робкий голос в защиту Танидзаки, заявив, что тот, конечно же, не имел намерения сказать своим произведением «ничего такого...».

Что же все-таки настолько взбесило военщину, что она решилась так открыто и беззастенчиво прервать работу писателя, давно уже получившего общенациональную известность? Единственный, но зато и непростительный «грех» Танидзаки состоял в том, что вместо прославления войны и «священной миссии Японской империи» роман «Мелкий снег» славил мир и мирную жизнь, в которой нет, да и не может быть места войне.

* * *

Роман «Мелкий снег», от начала и до конца выдержанный в традициях реализма, написан в жанре так называемой семейной хроники. Время и место действия обозначены вполне конкретно: с середины 30-х годов, иными словами, еще до ширококомасштабной агрессии против Китая, начавшейся летом 1937 года, и до весны рокового сорок первого года. Таким образом, писатель расстается со своими героями, когда самое страшное — сплошные «ковровые» бомбежки, голод, разруха, трагедия Хиросимы и Нагасаки — все это было еще впереди. Действие происходит в Кобе, Осаке, Киото, в небольшом городке Азии между Кобе и Осакой — короче, в том самом районе Кансай, сердцевине старой японской культуры, которая, по собственному признанию Танидзаки, так его покорила, — лишь ненадолго перемещаясь то в Токио, то в Центральную Японию, в местность, по старинке все еще именуемую «краем Гифу».

Сюжетный стержень романа — жизнь четырех сестер Макиока, по рождению принадлежащих к старинному, известному на всю Осаку купеческому роду, хотя со смертью их отца, главы семейства, былому богатству пришел конец, и мужьям обеих старших сестер уже приходится сотрудничать в «чужих», но, разумеется, достаточно солидных торговых фирмах и банках. Иными словами, эта своеобразная «Сага о Макиока» рисует жизнь привилегированного слоя японского общества, социальные корни которого уходят в традиционное занятие «третьего сословия» — коммерцию и банковское дело.

Как и во многих других произведениях Танидзаки, центральное место в повествовании принадлежит женщинам, мужчинам отводится второстепенная роль. Зато все четыре сестры Макиока предстают перед нами как живые — каждая наделена неповторимой индивидуальностью, у каждой свой характер, своя судьба. И все же есть нечто общее, что объединяет всех четырех — все они, каждая на свой лад, типичные «женщины Кансая», носительницы культурных традиций, выработанных веками, — скромные, деликатные, предельно сдержанные в проявлении эмоций, решительные и мужественные, когда этого требуют обстоятельства, и не чуждые артистических дарований — это последнее свойство, наряду с трудолюбием, и впрямь очень точно соответствует жизненной правде, хотя, конечно, не является привилегией только «уроженок Кансая». В образах сестер Макиока Танидзаки воздал хвалу «идеальной японской женщине», в своем понимании этого идеала, создал законченный образ положительной героини, верной подруги, любящей матери.

Японская критика немало потрудились, стараясь установить прототип каждой из сестер Макиока, выявить совпадение эпизодов романа с событиями личной жизни писателя и на этом основании квалифицировать роман в целом как некое автобиографическое сочинение. Такая оценка столь же мелкобуржуазна и узка, как если бы кому-нибудь вздумалось утверждать, что в образе Наташи Ростовской перед нами всего лишь портрет свояченицы Толстого — Т. Кузминской, а старый граф Ростов — просто-напросто его дед с материнской стороны. Так и роман «Мелкий снег», в основе которого, конечно же, лежит житейский опыт писателя, рисует не конкретные портреты, а обобщенный положительный образ японской женщины, как его понимал Танидзаки.

Мирно течет жизнь сестер с ее будничными радостями и огорчениями, повседневными житейскими заботами: никак не ладится сватовство все еще незамужней третьей сестры Юкико, не спешит с замужеством младшая Таэко, ищущая самостоятельную дорогу в жизни... Подобно старинным свиткам картин «эмакимоно», последовательно иллюстрировавших содержание знаменитых средневековых романов, перед нами разворачиваются сцены быта, традиции, занятия, времяпрепровождение и душевные переживания людей, живших во времена, уже далеко отстоящие от современной Японии. Война еще не нарушила течение их жизни. Танидзаки сознательно стремился по возможности избегать всего, что могло навлечь гнев цензуры на его детище. Но совсем избежать упоминания о том, что творилось в те годы в мире, он, как писатель, при всем желании оказался не в силах. Газеты, которые читает Тэйноскэ, муж Сатико, второй по старшинству сестры, то

и дело сообщают то об «аншлюсе» — так называемом добровольном присоединении Австрии к гитлеровской Германии, — то о вторжении нацистских полчищ в Чехословакию вслед за пресловутым Мюнхенским сговором, то о заключении «антикоминтерновского пакта» между Японией, Германией и Италией... Тэйносэ невольно приходит в голову мысль, что его маленькой дочке Эдзуко и впрямь надо бы побольше заниматься физической подготовкой, так как, кто знает, возможно, девочкам придется служить в военизированных отрядах... Однако любопытно, что речь идет только о событиях в далекой Европе — ни слова о высадке японских войск в Шанхае, об оккупации Пекина, о потрясшей соседние народы кровавой резне мирного населения, учиненной японской военщиной в Нанкине... Несомненно, что зловещая тень военной цензуры все более угрожающе тяготела над сознанием писателя. По мнению некоторых японских критиков, если бы не цензура, в японской литературе появилось бы сочинение, по значимости не уступающее «Мадам Бовари» Флобера.

Однако покамест жизнь героев романа течет в обстановке мира (ведь то, что творилось в Китае, считалось «еще не войной»), но это вовсе не означает, что течет она безмятежно, — как в настоящей жизни, наряду с радостями бывает в ней и великое горе. С исключительной художественной силой описаны стихийные бедствия, столь часто посещающие Японию, — опустошительный тайфун в Токио, страшное наводнение в Кансае, во время которого чуть не погибла младшая сестра Таэко; драматична, по сути, вся жизнь третьей сестры Юкико; случаются и болезни, и даже смерть в жестоких страданиях возлюбленного Таэко, скромного фотографа Итакуры. Но все эти беды, даже сама смерть, происходят, как ни парадоксально это звучит, по неумолимым законам *жизни*, т. е. самой природы, а не в результате бессмысленного взаимного истребления, навязанного народам злой волей ничтожной горстки людей. Вот почему не будет преувеличением сказать, что роман «Мелкий снег» от первой до последней строчки славит мир и мирную жизнь; цензура, запретившая публикацию романа, проницательно учуяла именно этот его настрой.

«Жизнь прекрасна!» — как бы говорит писатель, описывая праздник цветущей сакуры, ловлю светляков (занятие, опоэтизированное японской литературой еще тысячу лет назад), изящные старинные японские танцы, нарядные кимоно, распланные талантивыми художниками, каждое из которых — неповторимое произведение искусства... Прекрасны добрые, истинно человеческие отношения, соединяющие сестер в одну большую, разветвленную семью, связанную крепкими семейными узами, прекрасен весь уклад этой прочной, устоявшейся жизни. Писатель как бы чувствует себя летописцем, призванным запечатлеть для будущих поколений все то, что было ему так дорого, поведать о культуре быта, о культуре человеческих отношений. В романе явственно звучат ностальгические нотки, воспоминания «of days that shall be no more»¹, ибо дни эти беспощадно — и навсегда — разрушила

¹ О днях, что не вернутся боле (англ.). Строка из стихотворения Байрона «Remind me not, remind me not» дана в переводе автора предисловия,

война. Не забудем, в какое время работал Танидзаки над своим романом; то были страшные годы — сорок четвертый, сорок пятый, когда американская авиация чуть ли не ежедневно сбрасывала свой смертоносный груз на Японию. Танидзаки жил в эвакуации, в префектуре Окаяма, в небольшом городке Цуяма, испытывая все лишения, выпавшие на долю мирного населения. Что ж удивительного, если в этой тяжелой обстановке Танидзаки — писатель, художник, по-прежнему не мысливший жизни без творчества, — предпочел «погружаться душой» в милое сердцу прошлое и, подобно многим зарубежным писателям, тоже стать эмигрантом, только не на чужбине, а в своей же родной стране? Критик Сюити Като, перефразируя название романа Марселя Пруста, пишет, что роман Танидзаки «Мелкий снег» тоже своего рода «Поиски утраченного времени»; с этим метким высказыванием трудно не согласиться. Такую позицию писателя принято считать эскапизмом, но в конкретной ситуации Японии тех лет эскапизм был, пожалуй, единственной и, наверное, самой благородной позицией литераторов.

Остается добавить, что после разгрома японского милитаризма в 1945 году, когда, по прошествии сравнительно недолгого времени, в 1947 году роман «Мелкий снег» вышел, наконец, в свет, он сразу завоевал популярность и имел огромный успех. Не странно ли, что в разрушенной, оккупированной стране люди, пережившие все ужасы войны, потерявшие близких, голодные, лишенные крова, с жадным интересом читали, как радостно взволнованные сестры Макиока наряжались, готовясь к поездке в Киото, чтобы любоваться цветением сакуры, или в который раз обсуждали, подойдет или нет очередной кандидат в мужья их кроткой сестренке Юкико? Но, как известно, не единым хлебом жив человек. Изголодавшиеся по «пище духовной» японцы, которых в течение долгих лет потчевали только эрзац-литературой — низкопробным чтивом на военные темы, прославлявшим кровавые «подвиги» новоявленных самураев, восприняли роман — по образному сравнению японской критики — с тем же чувством, с каким человек, долгое время вынужденный ютиться в грубом, наспех сколоченном дощатом бараке, внезапно очутился бы в добротном, по всем правилам построенном доме. И «дом» этот оказался знакомым, родным, а значит, и дорогим сердцу.

В заключение позволим себе пояснить, почему Танидзаки дал своему роману такое название. Снег издавна считался в Японии объектом эстетического любования, наравне с сакурой или красными осенними кленами, поэты воспевали красоту снега с самых древних времен. «Что ж тут оригинального? — подумает, наверное, читатель. — Уж где-где, а в России, от фольклора до высокой поэзии, умели радоваться «проказам матушки-зимы», в том числе, конечно, и снегу...» Дело, однако, в том, что в Японии, особенно в юго-западной ее части, где снег выпадает нечасто и, во всяком случае, долго никогда не лежит, снегопад всегда воспринимался как явление редкое, экзотическое, недолговечное, а следовательно — прекрасное, ибо идея недолговечности, краткости — одна из важнейших, чуть ли не основных категорий японской национальной эстетики. Спросите любого японца, и вам ответят, что цветы сакуры, например, вообще не стоили бы внимания, если бы держались на ветках, скажем, месяца два подряд... Таков же и снег — прекрасна его белизна, прекрасна сама по себе,

но также и потому, что прошел час-другой, и ее уже нет, исчезла, растаяла без следа.

До вчерашнего дня
белел он вдали неизменно,
снег окрестных вершин, —
а сегодня, в утренней дымке
растворился, скрывшись от взора...¹

Думается, сказанного достаточно, чтобы стала ясной символика романа Дзюнъитиро Танидзаки.

И. Львова

¹ Рёкан (1758—1831). — Перевод А. Долина.

РАССКАЗЫ





ТАТУИРОВКА

Это было во времена, когда люди почитали легкомыслие за добродетель, а жизнь еще не омрачали, как в наши дни, суровые невзгоды. То был век праздности, когда досужие остроусловы, услужливые шуты могли жить припеваючи, заботясь лишь о безоблачном настроении богатых и знатных молодых людей да о том, чтобы улыбка не сходила с уст придворных дам и гейш. В иллюстрированных романах и на театральных подмостках популярные герои Садакуро, Дзирая, Наруками выступали в женоподобном обличье.

Повсюду красота сопутствовала силе, а уродство — слабости. Люди шли на все ради красоты, не останавливаясь и перед тем, чтобы покрыть свою нежную кожу несмываемым раствором. Причудливые пляшущие сочетания линий и красок испещряли тела.

Посетители веселых кварталов Эдо выбирали для своего паланкина носильщиков с затейливой татуировкой. Женщины из Ёсивары и Тацуми охотно дарили благосклонность татуированным. Среди любителей подобных украшений встречались не только игроки, пожарники и прочая шушера, но также зажиточные горожане, а иногда и самураи. Время от времени в Рёгоку устраивались смотры, где участники, демонстрируя свои обнаженные изукрашенные тела, гордо похлопывали по татуировкам, хвалились новыми приобретениями и обсуждали достоинства рисунков.

В те времена жил необычайно искусный молодой татуировщик по имени Сэйкити. Сравнить его можно было лишь с такими мастерами, как Тярибун из Асакусы или Яцухэй из Мацусима-мати; кожа десятков людей словно шелк ложилась под его кисть, а затем и под его иглы. Немало работ из тех, что снискали всеобщее восхищение на смотрах татуировок, принадлежало ему. Дарума Кин славился изяществом ретуши, Каракуса Гонта — яркостью ки-

новари, Сэйкити же был знаменит непревзойденной смелостью рисунка и красотой линий.

Прежде Сэйкити был художником Укиё-э школы Тоёкуни и Кунисады. Уже после того, как он променял высокое искусство живописи на ремесло татуировщика, прежние навыки давали о себе знать в изысканности манеры и особенном чувстве гармонии. Люди, чья кожа или телосложение не привлекали его, ни за какие деньги не могли добиться услуг Сэйкити. Те же, кого он принимал, должны были полностью вверить на усмотрение мастера рисунок и цену, чтобы затем на месяц, а иногда и на два отдаться мучительной боли от его игл.

В глубине души молодой татуировщик лелеял тайное наслаждение и тайную мечту. Наслаждение доставляли ему судороги несчастного, в которого он вонзал свои иглы, терзая распухшую, кроваво-красную плоть. Чем громче стонала жертва, тем острее становилось блаженство Сэйкити. Самые болезненные процедуры — нанесение ретуши и пропитка киноварью — доставляли ему наибольшее удовольствие.

После того как люди выдерживали пять или шесть сотен уколов за обычный дневной сеанс, а потом еще парились в ванне, чтобы лучше проявились краски, все они, обессиленные, полумертвые, падали к ногам Сэйкити.

Художник хладнокровно созерцал это жалкое зрелище. «Что же, я полагаю, вам и впрямь больно», — замечал он с довольной улыбкой.

Когда малодушный кричал под пыткой или сжимал зубы и строил страшные гримасы, словно в предсмертной агонии, Сэйкити говорил ему: «Послушайте, вы ведь эдоко. К тому же вы пока еще едва почувствовали уколы моих игл». И он продолжал работу все так же невозмутимо, поглядывая искоса на залитое слезами лицо жертвы.

Порой человек самолюбивый, собрав все силы, мужественно терпел боль, не позволяя себе даже нахмуриться. В таких случаях Сэйкити только посмеивался, показывая белые зубы: «Ах ты упрямец! Не хочешь сдаваться?.. Ну ладно, посмотрим. Скоро твое тело будет корчиться от боли! Я знаю — такого тебе не вытерпеть».

Долгие годы Сэйкити жил одной мечтой — создать шедевр своего искусства на коже прекрасной женщины и вложить в него всю душу. Прежде всего для него был важен характер женщины — красивого лица и стройной фигуры здесь было мало. Он изучил всех знаменитых красавиц веселых кварталов Эдо, но ни одна не отвечала его

взыскательным требованиям. Несколько лет прошло в бесплодных поисках, но запечатленный в сердце образ совершенной женщины продолжал волновать воображение Сэйкити. Надежда не покидала его.

Однажды летним вечером, на четвертый год поисков, Сэйкити проходил мимо ресторанчика Хирасэй в Фукагаве, неподалеку от своего дома. Неожиданно перед ним предстало дивное зрелище — белоснежная обнаженная женская ножка выглядывала из-под занавесок паланкина, ожидавшего у ворот. Острому взгляду Сэйкити человеческая нога могла поведать не меньше, чем лицо. То, что он увидел, было поистине совершенством. Изящно очерченные пальчики, ногти, подобные перламутровым раковинам на побережье Эносимы; округлость пятки, напоминающей жемчужину; блестящая кожа, словно омытая в водах горного потока, — да, то была нога, достойная окунуться в кровь мужчин, ступать по их поверженным телам. Он понял, что такая нога может принадлежать единственной женщине — той, которую он искал столько лет. Сдерживая биение сердца, в надежде увидеть лицо незнакомки Сэйкити последовал за паланкином. Однако, миновав несколько улочек и переулков, он вдруг потерял паланкин из виду.

Давняя мечта Сэйкити превратилась в жгучую страсть. Как-то раз, через год после этой встречи, поздней весной Сэйкити, выйдя поутру на бамбуковую веранду своего домика в Фукагаве, в квартале Сага, стоял, любуясь лилиями омото в горшочке и одновременно орудя зубочисткой. Внезапно раздался скрип садовой калитки. Из-за угла внутренней ограды показалась девушка. По хаори, украшенному драконами и змеями, он заключил, что пришла посыльная от знакомой гейши.

— Сестрица просила передать вам это кимоно и спросить, не сообразовали ли вы нанести на него узор с обратной стороны, — сказала девушка.

Развязав сверток цвета шафрана, она достала женское шелковое кимоно (завернутое в лист плотной бумаги с портретом актера Тодзюку Иваи) и письмо.

В письме подтверждалась просьба. Далее знакомая общала, что подательница письма вскоре станет гейшей и как «младшая сестра» поступит под ее покровительство. Она надеется, что и Сэйкити, памятуя их прежнюю дружбу, не откажет девушке в протекции.

— Мне как будто не доводилось видеть тебя раньше.

Ты не заходила сюда в последнее время? — спросил Сэйкити, внимательно изучая внешность гостьи.

На вид девушке было не более пятнадцати — шестнадцати лет, но лицо ее было отмечено необычайно зрелой красотой, словно она уже провела многие годы в веселых кварталах и погубила души десятков грешников. Она казалась волшебным порождением целых поколений прекрасных мужчин и обольстительных женщин, живших и умиравших в этой огромной столице, где сосредоточились все пороки и все богатства нации.

Сэйкити усадил девушку на веранде и принялся разглядывать ее изящные ножки — босые, если не считать легких соломенных сандалий бинго.

— Не случилось ли тебе уезжать в паланкине из Хирасэя в июле прошлого года? — осведомился он.

— Возможно, — ответила девушка, улыбнувшись странному вопросу. — Тогда еще был жив мой отец, и он часто брал меня с собой в Хирасэй.

— Вот уже пять лет я жду тебя. Да, да, лицо твое я вижу впервые, но мне запомнилась твоя нога... Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Давай поднимемся на минутку ко мне.

И Сэйкити, взяв за руку девушку, уже привставшую, чтобы распрощаться, увлек ее в свою мастерскую на втором этаже, откуда открывался вид на полноводную реку. Там он достал два свитка с картинами и развернул один из них перед девушкой. На картине была изображена китайская принцесса, фаворитка древнего императора Чу из династии Шан. Как бы изнемогая под тяжестью золотого венца, обрамленного кораллами и ляпис-лазурью, она томно облокотилась на балюстраду. Подол богато изукрашенного платья раскинулся по ступеням. Правой рукой она подносит к губам большой кубок с вином, глядя на приготовления к казни в дворцовом саду. Руки и ноги жертвы прикованы цепями к полуму медному столбу, внутри которого будет разведен огонь. Выражение лица мужчины, покорившегося своей участи, стоящего перед принцессой со склоненной головой и закрытыми глазами, передано с потрясающим мастерством.

Стоило девушке посмотреть немного на странную картину, как глаза ее невольно заблестели, а губы задрожали. Лицо ее приобрело поразительное сходство с лицом принцессы. В картине она нашла свое скрытое «я».

— В этом полотне отразилась вся твоя душа, — с до-

вольной улыбкой произнес Сэйкити, заглядывая в глаза девушки.

— Зачем вы показываете мне такие страшные вещи? — спросила она, подняв к Сэйкити побледневшее лицо.

— Женщина на картине — это ты. Ее кровь течет в твоих жилах.

С такими словами он развернул второй свиток. Картина называлась «Тлен». В центре помещена женщина, приклонившаяся в стволу сакуры. Она созерцает бесчисленные трупы мужчин, распростертые у ее ног. Рядом вьется стайка птиц, распеваяющих победные песни. Глаза женщины светятся гордостью и радостью. Что здесь изображено — поле битвы или цветущий весенний сад? Глядя на картину, девушка почувствовала, как ей открылось то сокровенное, что таится на самом дне ее души.

— Здесь, на картине, ты видишь свое будущее. Точно так же мужчины отныне будут жертвовать жизнью ради тебя, — сказал Сэйкити, показывая на портрет женщины, чьи черты как две капли воды походили на черты девушки.

— Я будто вижу себя в ином перерождении. О, прошу вас, уберите скорее эту картину! — взмолилась она. Отвернувшись от свитка, как бы стремясь уйти от его притягательной силы, она простерлась на татами. Наконец она снова заговорила: — Да, я признаюсь вам, вы правы, в душе я такая же, как эта женщина. Поэтому, умоляю вас, уберите картину, я больше не могу!

— Ну-ну, по бойся. Вглядись получше в картину. Сейчас тебе страшно, но это скоро пройдет! — И на лице Сэйкити появилась его обычная злорадная улыбка.

Девушка не поднимала головы. Припав к полу и уткнувшись в рукав кимоно, она твердила:

— Пожалуйста, отпустите меня! Я не хочу у вас оставаться, мне страшно!

— Подожди немного. Я сделаю из тебя настоящую красавицу, — прошептал Сэйкити, осторожно приближаясь к ней. У него на груди под кимоно был спрятан флакон с хлороформом, полученный от голландского врача.

* * *

Солнце сияло, отражаясь от глади реки, и вся мастеровская в восемь татами казалась объятай пламенем. Лучи, скользя по воде, золотистыми волнами окатывали бумажные сёдзи и лицо девушки, погруженной в глубокий сон.

Сэйкити, закрыв двери и вооружившись инструментом для татуировки, на какой-то миг замер в восхищении. Впервые он по-настоящему ощутил всю прелесть женщины. Сэйкити подумал, что мог бы вот так безмолвно просидеть десять лет, сто лет, не в силах наглядеться на это безмятежное лицо. Подобно тому, как обитатели древнего Мемфиса украсили чудесную землю Египта пирамидами и сфинксами, он собирался окрасить своей любовью чистую кожу девушки.

Но вот Сэйкити взял кисть в левую руку между безмянным пальцем, мизинцем и большим, коснулся кончиком кисти спины девушки, а правой начал наносить узоры. Душа молодого татуировщика растворялась в густой краске и словно переходила на кожу девушки. Каждая капля смешанной со спиртом киновари с Рюкю становилась кровью его сердца. Страсть его обретала цвет татуировки.

Вскоре миновал полдень, и тихий весенний день незаметно сменился сумерками. Рука Сэйкити не останавливалась ни на минуту, и сон девушки ни разу не прерывался. Посыльного от гейши, пришедшего узнать, почему задержалась девушка, Сэйкити отправил обратно, сказав, что она давно уже ушла.

Когда луна поднялась над крышей ресторанчика Тёсю на противоположном берегу реки, заливая прибрежные постройки фантастическим сиянием, татуировка еще не была готова и наполовину; Сэйкити продолжал сосредоточенно работать при свечах.

Нанести даже один-единственный штрих было для него нелегким делом. Каждый раз, вонзая и вынимая иглу, Сэйкити выпускал глубокий вздох, как если бы укол ранил его собственное сердце. Мало-помалу следы иглы начали обретать очертания огромного паука дзёро, и ко времени, когда ночное небо посветлело, это странное злобное создание раскинуло все свои восемь лап по спине девушки. Когда весенняя ночь сменилась рассветом, с лодок, сновавших вверх и вниз по реке, донесся скрип уключин, рассеялась утренняя дымка над белыми парусами, заблестели под солнцем крыши домов в Тюсю, Хакодзаки и на острове Рёган.

Сэйкити, отложив кисть, любовался пауком на спине девушки. Его жизнь была заключена в этой татуировке. Теперь, закончив работу, он ощущал какую-то пустоту в душе.

Некоторое время обе фигуры оставались неподвижными. Наконец прозвучал хриплый, низкий голос Сэйкити:

— Чтобы сделать тебя прекрасной, я вложил в татуировку всю душу. В Японии нет женщины, достойной сравниться с тобой. Твой страх уже исчез. Да, все мужчины превратятся в грязь у твоих ног...

Как бы в ответ на его слова слабый стон слетел с губ девушки. Понемногу она приходила в себя. При каждом затрудненном вдохе и сильном выдохе лапы паука шевелились, как живые.

— Тебе, должно быть, тяжело. Паук держит тебя в объятиях.

При этих словах девушка открыла глаза и бессмысленно огляделась. Зрачки ее постепенно прояснились, как разгорается вечером неясная луна, и блестящие глаза остановились на лице мужчины.

— Скорее покажите мне эту татуировку на спине. Раз вы отдали мне свою жизнь, я, наверное, действительно стала очень красива!

Слова девушки звучали как в полусне, но в ее интонации он внезапно почувствовал острие меча.

— Да, но сейчас тебе нужно принять ванну, чтобы лучше проявились краски. Это больно, но потерпи еще немного, — прошептал с состраданием Сэйкити ей на ухо.

— Если это сделает меня красивой, я готова вытерпеть что угодно! — И превозмогая боль, пронизывавшую все ее тело, девушка улыбнулась.

* * *

— Ах, как горячая вода разъедает кожу! Пожалуйста, оставьте меня одну, поднимитесь к себе в мастерскую и подождите там. Я не хочу, чтобы мужчина видел меня такой жалкой.

Выйдя из ванной, она была не в силах даже вытереться. Оттолкнув руку, которую предложил ей Сэйкити, она, извиваясь от боли, бросилась на пол, стеная, словно одержимая демонами. Распущенные волосы свисали на лоб в диком беспорядке. За спиной женщины стояло зеркало. В нем отражались две белоснежные пятки.

Сэйкити был поражен переменой, происшедшей в поведении девушки со вчерашнего дня, но, подчинившись, отправился ждать в мастерскую.

Всего какие-нибудь полчаса спустя она поднялась к нему, аккуратно одетая, с расчесанными волосами, свободно ниспадающими на плечи. Глаза ее были ясны, в них

не осталось и следа боли. Облокотившись на перила веранды, она смотрела в небо, чуть подернутое дымкой.

— Картины я дарю тебе вместе с татуировкой. Возьми их и возвращайся домой.

С этими словами Сэйкити положил перед женщиной два свитка.

— Я совсем избавилась от своих прежних страхов. И вы первый стали грязью у моих ног! — Глаза женщины сверкнули как лезвие. Ей слышались раскаты победного гимна.

— Покажи мне еще раз твою татуировку перед тем, как уйди, — попросил Сэйкити.

Молча кивнув, она скинула с плеч кимоно. Лучи утреннего солнца упали на татуировку, и спина женщины вспыхнула в пламени.

ЦЗИЛИНЬ

Феникс, феникс!
Зачем добродетель в упадке?
Порицать уходящее поздно,
Лишь грядущее достижимо.
Полно, полно, пора отступиться,
Ныне быть подле трона опасно.

493 год до новой эры. По свидетельству Цзо Цзю-мина, Мэн Кэ, Сыма Цяня и других летописцев, ранней весной, когда Дин-гун, князь земли Лу, в тридцатый раз совершил ритуал жертвоприношений «цзяо», Конфуций с горсткой учеников, бредущих по обеим сторонам его повозки, покинул родную страну Лу и отправился проповедовать Путь на чужбине.

В окрестностях реки Сышуй зеленели ароматные травы, и хотя снег на вершинах гор уже растаял, северный ветер, налетавший словно полчища гуннов, швыряясь песком пустынь, еще доносил воспоминания о суровой зиме. Впереди повозки шел исполненный бодрости Цзы-лу в развевающихся лиловых одеждах, отороченных мехом куницы. За ним в льняных башмаках следовали задумчивый Янь Юань и Цзэн Цань, чей вид выражал рвение и преданность. Воплощенная честность, возница Фань Чи управлял четверкой лошадей и, время от времени украдкой бросая взгляд на постаревшее лицо Мужа Мудрости, ехавшего в повозке, ронял слезу о горькой доле Учителя, обреченного на скитания.

Когда они наконец достигли границ земли Лу, каждый с грустью оглянулся на родную сторону, но дорога, по которой они пришли, была не видна, сокрытая тенью Черепашьей горы. Тогда Конфуций, взяв в руки лютню, печальным хрипловатым голосом запел:

Я землю Лу хотел узреть,
Но чаща горная ее закрыла,
Без топора в руках
Как совладать с горою Черепашьей?

Еще три дня все дальше и дальше на север пролегал их путь, и вот среди широкого поля послышался голос, поющий мирную, беззаботную песню. Это пел старик в одежде из оленьей шкуры, подпоясанный веревкой, подбирая с тропинки на меже упавшие колоски.

— Что скажешь об этой песне, Ю? — спросил Конфуций, обернувшись к Цзы-лу.

— В песне старика нет той высокой печали, что звучит в песнях Учителя. Он поет беззаботно, словно птичка, порхающая в небесах.

— Ты прав. Это не кто иной, как ученик покойного Лао-цзы. Зовут его Линь Лэй, и ему уже сто лет, но всякий раз с наступлением весны он выходит на межи и неизменно поет песни да собирает колоски. Пусть кто-нибудь из вас пойдет туда и поговорит с ним.

Услышав это, Цзы-гун, один из учеников, бегом бросился к тропинке меж полями и, обратившись к старику, спросил:

— Учитель, вы поете песни и собираете опавшие колосья... Неужели вы ни о чем не жалеете?

Но старик, даже не взглянув на него, продолжал прилежно подбирать колоски и ни на шаг не остановился, не прервал своей песни ни на мгновение. Когда Цзы-гун, последовав за ним, вновь подал голос, старик наконец перестал петь.

— О чем мне сожалеть? — сказал он, пристально поглядев на Цзы-гуна.

— В детстве вы не утруждали себя науками, возмужав, не заботились о чинах, состарившись, оказались один, без жены и детей. И вот теперь, когда близок час кончины, какое же утешение вы находите в том, чтобы собирать колоски и петь песни?

Старик громко рассмеялся:

— То, что я почитаю отрадой, имеют все живущие в мире, но вместо того чтобы радоваться, напротив, скорбят о том. Да, в детстве я не утруждал себя науками, возмужав, не заботился о чинах, состарившись, оказался один, без жены и детей, и час моей кончины близок. Оттого-то я и весел.

— Люди все желают долгой жизни и печалются о кончине, как же вы можете радоваться смерти? — вновь спросил Цзы-гун.

— Смерть и рождение — это уход и приход. Умереть здесь — значит родиться там. Мне ведомо, что цепляться

за жизнь есть заблуждение. Грядущая смерть, полагаю, ничем не отличается от минувшего рождения.

Сказав так, старик снова запел. Цзы-гун не понял смысла его слов, но когда, вернувшись, он передал их Учителю, Конфуций сказал:

— Старик весьма красноречив, но, как видно, он еще не до конца постиг сущность Пути.

Еще много, много дней длилось странствие, и вот они пересекли поток Цишуй. Шапка из черной ткани на голове Благородного Мужа запылилась, и одежда из лисьего меха поблекла от дождей и ветра.

— Из страны Лу прибыл мудрец Кун-цю. Должно быть, он преподаст нашему самовластному государю и его супруге урок благодатного Учения и мудрого правления! — так говорили люди на улицах, указывая на повозку, когда она въехала в столицу страны Вэй. Лица этих людей исхудали от голода и усталости, а стены их домов источали скорбь и уныние. Прекрасные цветы этой страны были пересажены во дворец, чтобы усладить взор властительницы, тучные кабаны отняты у владельцев, чтобы тешить изощренный вкус госпожи, и мирное весеннее солнце напрасно озаряло серые пустынные улицы. А на холме в центре столицы, словно упившийся кровью хищный зверь, над трупом города возвышался дворец, сиявший пятицветной радугой. Звон колокола из глубины дворца, словно звериный рык, гремел на всю страну.

— Что скажешь о звуке этого колокола, Ю? — вновь спросил Конфуций у Цзы-лу.

— Этот звук не похож на мелодии Учителя, исполненные брэнностью бытия и словно зывающие к небесам, не похож он и на согласную с волей небес свободную песнь Линь Лэя. Колокол поет об ужасном, славя греховные радости, противные Небу.

— Ты прав. Это «Лесной колокол», который в старину велел отлить князь Сян-гун, отняв для этого сокровища и выжав пот своих подданных. При звоне этого колокола эхо передается из одной рощи дворцового сада в другую, производя ужасающий звук. Звон этот столь зловец еще и потому, что вобрал в себя проклятья и слезы людей, истерзанных деспотом, — объяснил Конфуций.

Вэйский государь Лин-гун велел поставить слюдяную ширму и агатовое ложе у самых перил Башни духов, отку-

да были хорошо видны его владения, и, любуясь весенними полями и горами, спящими под густой дымкой тумана, обменивался чарками ароматного вина, настоянного на благовонных травах, со своей супругой Нань-цзы, облаченной в небесно-голубое платье, подол которого ниспадал светлой радугой-драконом.

— И в небесах, и на земле потоком льется ясное сияние солнца, отчего же в домах жителей моей страны не видно красивых цветов и не слышно сладостных птичьих голосов? — промолвил князь, недовольно нахмутив брови.

— Это оттого, что народ в избытке восхищения благочестием государя и красотой его супруги приносит сюда все без изъятия красивые цветы и высаживает их в дворцовом саду, — ответил прислуживающий князю евнух Вэн Цюй, как вдруг, нарушив тишину пустых улиц, мелодично прозвенел нефритовый колокольчик повозки Конфуция, проезжавшей под башней.

— Кто это едет в той повозке? Чело его напоминает Яо. Его глаза похожи на глаза Шуня. Его затылок подобен затылку Гао Яо. Плечи у него точь-в-точь как у Цзы Чаня, а ноги лишь на три цуня короче, чем ноги Юя, — удивленно всматривался в пришельца полководец Ван Сунь-май, также находившийся при князе.

— Но каким, однако, печальным выглядит этот человек! Военачальник, ты всеведущ, объясни же мне, откуда он прибыл, — сказала Нань-цзы и, обратившись к полководцу, указала на быстро удалявшуюся повозку.

— В молодые лета я побывал во многих странах, но, кроме Лао Даня, что служил летописцем в Чжоу, мне еще не доводилось видеть человека с такой благородной внешностью. Это не кто иной, как Кун-цзы, мудрец Лу, тот самый, что отправился проповедовать Путь, разочаровавшись в правителях у себя на родине. Говорят, когда он родился, в стране Лу явился Цзилинь, в небесах звучала стройная музыка и небожительницы спускались на землю... У этого человека губы полны, словно у буйвола, ладони мощны, будто у тигра, спина крепкая, как панцирь черепахи, ростом он девяти чи шести цуней, телом схож с Вэнь-ваном. Это несомненно он, — так объяснил Ван Сунь-май.

— Какому же искусству обучает людей мудрец Кун-цзы? — спросил у полководца Лин-гун, осушив чарку, что держал в руке.

— Мудрецом считается тот, кто владеет ключом ко всем знаниям в нашем мире. Он же учит государей раз-

ных стран только искусству правления, укрепляющего семью, обогащающего страну и дающего власть в Поднебесной, — вновь пояснил полководец.

— Я искал земной красоты и обрел Нань-цзы. Собрал сокровища отовсюду и воздвиг сей дворец. Теперь мне хотелось бы сверх того установить владычество в Поднебесной, достигнув власти, достойной моей супруги и этого дворца. Во что бы то ни стало пригласите сюда одного мудреца, и пусть он научит меня, как подчинить себе Поднебесную! — И князь взглянул на губы сидевшей напротив него супруги. Ведь что бы ни происходило, он обычно выражал свои мысли не собственными речами, а словами, оброненными Нань-цзы.

— Мне угодно видеть необыкновенных людей нашего мира. Если тот человек с печальным ликом настоящий мудрец, он, верно, покажет мне разные чудеса, — молвила супруга и устремила мечтательный взор вслед далеко уже уехавшей повозке.

Когда Конфуций и его спутники поравнялись с северными чертогами дворца правительницы, навстречу им выехал чиновник благородного облика в сопровождении многочисленной свиты. Он стегнул кнутом четверку лошадей цюйнаньской породы и, открыв правую парадную дверцу своей кареты, с почтением приветствовал странников.

— Мое имя Чжун Шу-юй, князь Лин-гун приказал мне встретить Учителя. Все края облетел слух, что Учитель отправился ныне проповедовать Путь. В долгом странствии ваш драгоценнейший зонтик, Учитель, истрепался на ветру и глуше звенит колокольчик в упряжи. Почтительно просим вас пересесть в сию карету, навестить дворец и открыть нашему князю мудрость правителей древности, умевших смирять народы и править странами. Для вашего отдохновения в южной стороне Западного сада бьет кристально прозрачный горячий ключ. Для утоления вашей жажды во фруктовом саду дворцового парка, наливаясь нежным соком, зреют лимоны, мандарины, для вашего угощения в клетках и загонах дремлют, покоя толстые, как перины, утробы, кабаны, медведи, леопарды, буйволы и бараны. Нам хотелось бы, чтобы вы прервали бег своей колесницы и оставались в нашей стране два или три месяца, год или десять лет, чтобы вы пролили свет в темные, неразумные наши души и открыли бы незрячие наши очи, — выйдя из кареты, почтительно произнес Чжун Шу-юй.

— Искреннее стремление монарха постичь Путь Трех правителей радует меня превыше всех его богатств и великолепных чертогов. Чтобы насытить жажду роскоши, Цзе и Чжоу не хватило даже сана Владыки мириад колесниц, и в то же время государство всего в сто ли не было тесно для мудрого правления Яо и Шуня. Если князь Лин-гун поистине желает избавить Поднебесную от несчастий и печется о благе народа, я без сожаления дал бы схоронить свой прах в этой земле, — так ответил Конфуций.

Затем, следуя за проводниками, странники двинулись в глубь дворцовых строений, и черные башмаки их гулко стучали по шлифованным камням мостовой, на которых не было ни пылинки.

Женщин тонкие запястья
Для шитья даны им свыше... —

пели хором толпы дворцовых служительниц, проходя перед ткацкой палатой, где громко стучали берда, творя парчу. А под сенью персиковой рощи, где цветочные лепестки словно тканым пологом усеяли землю, доносилось из стойла ленивое мычание буйволов.

Вняв совету мудрого Чжун Шу-юя, князь Лин-гун удалил от себя супругу и прочих женщин, чистой водой ополоснув губы, пропитанные пиршественными винами, и, в подобающем облачении встретив Конфуция в отдельной зале, вопрошал его, как править, дабы богателя его держава, росла мощь его войска и стал бы он повелителем всей Поднебесной.

Однако мудрец не промолвил в ответ ни слова о войне, причиняющей вред отчизне и уносящей жизни людские. Не сказал он и о богатстве, ради которого выжимают кровь народа и отнимают его имущество. Торжественны и непреложны были его слова о том, что превыше воинских побед и умножения довольства следует почитать добродетель. Он истолковал разницу между узурпатором, силой подчиняющим себе страны, и подлинным государем, покроящим Поднебесную человеколюбием.

— Если князь и впрямь взыскует державных достоинств, он должен прежде всего одолеть свои страсти, — поучал мудрец.

С того дня сердцем Лин-гуна повелевали уже не слова его супруги, но глагол мудреца. По утрам князь приходил в залу заседаний, чтобы спрашивать Конфуция о Пути

истинного правления, вечерами же, взойдя на Башню духов, под руководством Конфуция постигал ход планет и смену лунных фаз и ни в одну ночь не посетил опочивальню супруги. Шум станков, ткущих парчу, сменился гудением тетивы многих луков, конским топотом и мелодией флейт — то придворные упражнялись в Шести искусствах. Однажды, когда рано утром, поднявшись на башню, князь взглянул на свою страну, то увидел, что на просторах полей и гор порхают ярко оперенные певчие птицы, прекрасные цветы распустились возле домов селян, и пахарь, выйдя в поле, с усердием возделывает его, славя в песнях доброту князя. Горячие слезы восторга пролились из глаз правителя.

— О чем это вы так плачете? — послышалось вдруг, и князь почувствовал, как волнующий сладкий аромат ласкает и дразнит его обоняние. Это был запах благовоний «Петушинные язычки», которое Нань-цзы всегда держала во рту, и туалетной розовой воды из западных провинций, неизменно окроплявшей ее наряды. Чары ароматов, исходявшие от позабытой красавицы, грозили острыми когтями вонзиться в нефритово чистую душу князя.

— Прощу тебя, не смотри так сурово и пристально своими дивными очами в мои глаза, не сжимай моего сердца этими ножными ручками. Я узнал от мудреца Путь преодоления зла, но еще не научился противостоять власти прелестниц. — И отстранив руку супруги, Лин-гун отвернулся.

— Ах, этот Кун-цю неведомо когда успел похитить вас у меня! Нет ничего удивительного в том, что я давно уже не люблю вас, но вы ведь не вольны разлюбить меня.

При этих словах губы Нань-цзы пылали от ярости. До своего нынешнего замужества она имела тайного любовника, сунского царевича Сун Чао. И теперь гнев ее был вызван не столько охлаждением к ней мужа, сколько потерей власти над ним.

— Я не сказал, что не люблю тебя. С этого дня я стану любить тебя, как надлежит мужу любить супругу. Доныне я любил тебя, как раб служит господину, как человек поклоняется божеству. Я предал тебе мою страну, мои богатства, мой народ, мою жизнь, единственным моим занятием было приносить тебе усладу. Но из слов мудреца я узнал, что есть дела достойнее этого. Доселе высшей силой для меня была твоя телесная красота, но мудрец силой своего духа открыл мне, что существует власть мо-

гущественнее твоей плоти. — И объявляя о твердости своего решения, князь невольно поднял голову и встретился взглядом с разгневанной супругой.

— Вы отнюдь не так сильны, чтобы решиться преколовить мне. Вы поистине жалки. В мире нет презреннее человека, не имеющего собственной воли. Я могу теперь же вырвать вас из рук Кун-цзы. Пусть язык ваш только что изрекал высокопарные слова, но разве взгляд ваш уже не устремлен с восхищением на мое лицо? Я сумею похитить душу любого мужчины. Вскоре вы увидите, что этот мудрец Кун-цзю тоже будет пленен мною. — И с надменной улыбкой, небрежно, искоса взглянув на князя, супруга покинула башню, звучно шелестя одежаниями.

В сердце князя, где до сего дня царил мир, уже боролись две силы.

— Среди достойных мужей, приезжавших сюда, в страну Вэй, со всех концов света, нет ни одного, кто прежде всего не просил бы моей аудиенции. Мудрец, я слышала, дорожит этикетом, отчего же он не показывается у нас?

Когда придворный евнух Вэн Цюй передал это повеление владычицы, смиренный философ не смог воспротивиться.

Конфуций вместе с учениками явился во дворец Нань-цзы осведомиться о ее здравии и простерся ниц в направлении севера. Из-за парчового полога, обращенного к югу, едва виднелся сафьяновый башмачок правительницы. Когда, приветствуя посетителей, она наклонила голову, послышалось бряцание драгоценных камней в подвесках ее ожерелья и браслетов.

— Все, кто, посетив страну Вэй, видели меня, говорят: «Челом госпожа подобна Дань-цзи, глаза же у нее — как у Бао-сы», — и всякий поражен мною. Если Учитель воистину мудрец, пусть он скажет, жила ли на земле с давних времен Трех царей и Пяти императоров женщина прекраснее меня. — С этими словами правительница отбросила в сторону полог и с сияющей улыбкой поманила гостей ближе к своему трону. Увенчанная короной в виде феникса, с золотыми заколками и черепаховыми шпильками в волосах, в платье, сверкающем драгоценной чешуей и подолом-радугой, Нань-цзы улыбалась, и лик ее был подобен лучезарному диску солнца.

— Я слышан о людях, обладающих высокой добро-

детелью. О тех же, кто имел красивую внешность, мне ничего не известно, — сказал Конфуций.

Тогда Нань-цзы вновь спросила:

— Я собираю все необыкновенное и редкостное в этом мире. В моих кладовых есть и золото из Дацюй, и нефрит из Чуйцы. В моем саду живут и черепахи из Лоуцзюй, и журавли с Кунлуня. Но мне все еще не доводилось видеть Цзилиня, что является в мир с рождением святого мудреца. Не видала я и семи отверстий, которые, говорят, есть в сердце праведника. Если вы и вправду святой, не покажете ли мне все это?

Изменившись в лице, Конфуций сурово отвечал:

— Я не сведущ в редкостях и диковинах. Учился я лишь тому, что знают или должны знать даже мужчины и женщины из простонародья.

Супруги князя молвила еще мягче и ласковей:

— Обычно у мужчин, узревших мое лицо и услышавших мой голос, разглаживаются морщины на челе и проясняются мрачные лица, отчего же Учитель так печален все время? Все грустные лица кажутся мне уродливыми. Я знаю юношу по имени Сун Чао из страны Сун, чело его не так благородно, как у вас, зато глаза ясны, как внешнее небо. В числе моих приближенных есть евнух Вэн Цюй, голос его звучит не столь торжественно, как у вас, зато язык легок, как весенняя птичка... Если вы подлинно мудрец, лик ваш должен быть светел под стать великодушному сердцу вашему. Сейчас я рассею облако печали на вашем челе и сотру с него скорбные тени. — И она взглядом подала знак, по которому в залу внесли ларец.

— Есть у меня всевозможные благовония. Стоит лишь вдохнуть их аромат в грудь, полную уныния, и человек душой и телом уносится в страну чудесных грез.

При этих словах семь служительниц в золотых коронах и с поясами, украшенными узором лотоса, неся в поднятых руках семь курильниц, со всех сторон окружили Конфуция.

Супруга князя, раскрыв ларец, одно за другим бросала в курильницы различные благовония. Семь столбов тяжелого дыма тихо поплыли вверх по парчовой занавеси. В их желтоватых, лиловых, белых клубках, рожденных составами из мелии, сандала и красного дерева, таились волшебные прекрасные сновидения, столетиями покоившиеся на дне южных морей. Двенадцать сортов благовония «Златоцвет» впитали в себя всю жизненную силу душистых трав, взлелеянных весенней дымкой. Muskusный запах курения,

замешанного на слюне дракона, что обитает в болотах Дашикоу, благоухание порошка, добываемого из корней аквиларии, — все увлекало душу в далекие страны сладостных мечтаний. Но хмурая тень только глубже легла на лицо мудреца.

Правительница ласково улыбнулась:

— Наконец-то ваш лик просветлел! У меня есть всевозможные вина и чаши. Подобно тому как дым благовоний влил сладкий нектар в горечь вашей души, несколько капель вина даруют благодатный покой вашей суровой плоти.

При этих словах семь служительниц в серебряных коронах и с поясами, украшенными узором винограда, почтительно расставили на столиках сосуды с разнообразными винами и чаши.

Одну за другой брала правительница диковинные чаши и, зачерпнув в них вина, предлагала его гостям. Вкус этого вина обладал непостижимым действием: он рождал в душах презрение к добродетели и пристрастие к красоте. Вино, налитое в отсвечивающую зеленым полупрозрачную чашу из лазоревой яшмы, было подобно сладкой росе эликсира бессмертия, сообщающей человеку не изведенное им прежде блаженство. Когда охлажденное вино наливали в тонкую, как бумага, «греющую чашу» сапфирно-голубого цвета, оно через некоторое время вскипало и разливалось огнем по телу невеселого гостя. Чарка, изготовленная из головы креветки, что водится в южных морях, свирепо оцетинилась красными усами длиной в несколько чи, сверкая золотой и серебряной инкрустацией, словно брызгами морской волны. Но суровая складка лишь глубже залегла в бровях мудреца.

Хозяйка заулыбалась еще приветливее:

— Все прекраснее сияет ваш лик. Есть у меня разная дичь и птица. Кто смыл свои скорби благовонным дымом курений и винным возлиянием расслабил утомленное тело, должен отведать обильных яств...

При этих словах семь служительниц в жемчужных коронах и с травяным узором на поясах расставили на столиках блюда, наполненные мясом разнообразных птиц и зверей.

Хозяйка одно за другим предлагала блюда гостям. Там были и детеныши черной пантеры, и птенцы феникса с Киноварной горы, и сушеное мясо дракона с горы Куньшань, и слоновьи ноги. Стоило лишь вкусить лакомого мяса, и в сердце человека уже не оставалось времени для

помышления о добре и зле. Но туча на лице мудреца по-прежнему не рассеивалась.

В третий раз весело улыбнулась правительница:

— О, ваш облик становится все достойнее, и лицо ваше — все прекраснее. Кто дышал этими изысканными ароматами, пригубил этих терпких вин и отведал тучного мяса, тот способен, покинув мирскую юдоль печали, пребывать в мире всесильно, безумно упоительных видений, что и не снились черни. Я открою сей мир вашему зору.

Кончив говорить, она взглянула на приближенных евнухов и указала перстом в тень завесы, пополам перегородившей залу. Тяжелый парчовый занавес в глубоких складках открылся, разделившись надвое.

За ним показалась лестница, ведущая в сад. А там, на земле, среди ярко зеленевших душистых трав, в свете теплого весеннего солнца валялось, ползало и копошилось великое множество существ самого разного обличья; иные из них обратили головы к небу, другие сидели на корточках, одни подпрыгивали, другие дрались меж собой. Непрерывно слышались то низкие, то высокие пронзительные, жалобные вскрики и лепет. Одни были багряны от крови, словно пышно расцветшие пионы, другие трепетали, как раненные голуби. Это была толпа преступников, понесших суровую кару: кто — за нарушение строгих законов страны, а кто — на потеху правительнице. Ни на одном из них не было одежды, и тело каждого покрывали язвы. Здесь были мужчины, с лицами, изуродованными пыткой раскаленным железом, с закованными в одну кангу шеями и проткнутыми ушами — и все это лишь за то, что вслух дерзнули осуждать пороки госпожи. Были тут и красавицы с отрезанными носами, отрубленными ногами, скованные вместе цепью за то, что снискали благосклонность князя и тем вызвали ревность его супруги. Лицо Нань-цзы, самозабвенно наблюдавшей эту картину, казалось вдохновенно-прекрасным, как у поэта, и величественно-строгим, как у философа.

— Порой я вместе с Лин-гуном в карете проезжаю по улицам. И если замечу среди прохожих женщин, на которых князь искоса бросит увлеченный взгляд, всех их тотчас хватают и их постигает эта же участь. Я и сегодня собираюсь проехать по городу вместе с князем и с вами. Увидев этих преступниц, вы вряд ли станете перечить мне.

В ее словах таилась власть, способная раздавить слушателя. Таков уж был ее обычай — с нежным взглядом говорить жестокие вещи.

Неким весенним днем 493 года до новой эры в краю Шансуй, что расположен между реками Хуанхэ и Цишуй, по улицам вэйской столицы катились две кареты, влекомые четверками лошадей. В первой карете, по обеим сторонам которой стояли девочки-прислужницы с опахалами, а вокруг шествовали сонмы чиновников и придворных дам, вместе с вэйским князем Лин-гуном и евнухом Вэн Цюем восседала Нань-цзы, почитавшая для себя превьше всего мораль Дань-цзы и Бао-сы; во второй же, оберегаемый со всех сторон учениками, ехал мудрец из деревенского захолустья, Конфуций, идеалом для которого была душа Яо и Шуня.

— Да, видно, добродетель этого праведника уступает жестокости нашей владычицы. Отныне ее слова вновь станут законом для страны Вэй.

— Какой горестный вид у этого мудреца! Как надменно держится правительница! Но никогда еще не казалась она такой красивой, как нынче... — говорили на улицах в толпе народа, с почтительным страхом взиравшей на процессию.

В этот вечер супруга князя, еще ослепительнее украсив свое лицо, до поздней ночи возлежала на златотканых подушках в своей опочивальне, когда наконец послышался вкрадчивый звук шагов и в дверь робко постучали.

— А, вот вы и снова здесь! Отныне вам не следует так долго избегать моих объятий. — И протянув руки, супруга заключила Лин-гуна в завесу своих широких рукавов. Ее нежно-гибкие руки, разгоряченные винным хмелем, обвили тело князя нерасторжимыми путами.

— Я ненавижу тебя. Ты чудовище. Ты злой демон, губящий меня. Но я никогда не смогу тебя покинуть.

Голос Линь-гуна дрожал. Глаза его супруги сверкали гордыней Зла.

Утром следующего дня Конфуций с учениками вновь отправился проповедовать Путь, на сей раз в страну Цао.

— Я еще не видел человека, возлюбившего добродетель столь же ревностно, как сластолюбие.

Это были последние слова мудреца, сказанные в час, когда он покидал страну Вэй. Записанные в священной книге «Беседы и наставления», они передаются до наших дней.

МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО

Каидземе Масаёси, коренному жителю Токио, исполнилось тридцать шесть лет, когда два года назад его перевели на службу в начальную школу города М. Жизнь у него сложилась неудачно, возможно из-за пристрастия к науке, которое он с детских лет унаследовал от отца, кангакуся старой закваски.

В самом деле, Каидзема был неудачником и теперь уже смирился с этим. Вот если бы, расставшись с мыслями о служении науке, он стал мальчиком на побегушках в каком-нибудь магазине, то при известном усердии из него мог бы получиться неплохой коммерсант. Во всяком случае, он смог бы прокормить семью и жить безбедно. Сыну малоимущих родителей, неспособных платить даже за обучение мальчика в средней школе, не следовало и мечтать о карьере ученого.

Когда он окончил начальную школу, отец настойчиво советовал ему наняться подмастерьем к какому-нибудь ремесленнику. Но вопреки советам отца Каидзема поступил в педагогическое училище в Отяномидзу и в двадцать лет стал учителем. В то время жалованье его составляло около восемнадцати иен в месяц, и он еще не собирался всю жизнь довольствоваться скромной ролью учителя, надеялся, что работа в школе обеспечит ему материальную независимость и он сможет заняться самообразованием. Он мечтал посвятить себя изучению истории Дальнего Востока, прежде всего Японии и Китая, и даже надеялся со временем получить ученую степень.

Но когда Каидземе исполнилось двадцать четыре года, умер отец. Вскоре после его смерти Каидзема женился. И прежние мечты постепенно угасли.

Немалую роль в этом сыграло то, что он без памяти любил жену. До сих пор, samozабвенно увлеченный наукой, Каидзема не обращал внимания на женщин. Теперь радости семейной жизни, не изведенные раньше, все боль-

ше поглощали его. И постепенно, подобно всем заурядным людям, он стал довольствоваться малым.

Вскоре родилась дочь, это событие совпало с прибавкой жалованья. И Каидзима как-то незаметно для самого себя совершенно забыл о прежних честолюбивых стремлениях.

К тому времени его перевели в другую школу. Там он стал получать двадцать иен в месяц. Оттуда его вскоре перевели в район Нихонбаси, затем в район Акасака. За пятнадцать лет, что он учительствовал в разных школах, жалованье постепенно росло — он получал уже сорок пять иен в месяц.

Но расходы на семью росли еще быстрее, и год от года нужда ощущалась все острее.

Спустя два года родился сын, потом один за другим появились еще четверо детей, а когда на семнадцатом году его учительства он с семьей перебрался в провинцию, жена была беременна седьмым ребенком.

Уроженцу Токио пришлось уехать в провинцию, так как жить с семьей в большом городе стало не по карману.

Последним местом его службы в Токио была начальная школа Ф., в Кодзимати, фешенебельном районе города к западу от императорского дворца, сплошь застроенном богатыми особняками. Ученики Каидзимы были в основном дети аристократов и высокопоставленных чиновников.

Его собственные дети, ходившие в ту же школу, выглядели на их фоне до боли жалкими и невзрачными.

При всей бедности супругам Каидзима хотелось лучше одеть своих ребят. Родительское сердце больно сжималось каждый раз, когда дети просили: «Хочу такое же платье, как у той девочки!», «Хочу такую же ленту!», «Хочу такие же туфли!», «Поедем летом на курорт!». А ведь на иждивении Каидзимы была еще овдовевшая мать-старушка...

Робкий, добрый сердцем Каидзима постоянно мучился сознанием вины перед семьей. Пожалуй, лучше покинуть Токио, где живет так трудно, и поселиться в провинции, где жизнь проще и где его домочадцы не будут так остро ощущать свою бедность...

Почему они выбрали город М.? Да потому, что один знакомый его жены, уроженки тех мест, замолвил словечко о переводе Каидзимы.

Этот маленький городок с населением около пятидесяти тысяч, примерно в тридцати ри к северу от Токио, сла-

вился производством шелка-сырца. Он приютился на краю равнины Канто, у самого подножия горного хребта. Вокруг городка тянулись бескрайние тутовые сады.

В ясные дни с любой улицы над рядами черепичных крыш, на фоне сияющего голубизной неба виднелись величавые очертания гор, знаменитых своими горячими источниками...

Свежая, голубая вода, с тихим журчанием бегущая по городским каналам, оживленная главная улица, по которой на трамвае можно было доехать до источников, — все это придавало провинциальному городку неожиданную прелесть.

Каидзима с семьей приехал сюда в один из тех майских дней, когда природа, проснувшись, сверкала живыми красками наступившей весны.

Домашние, привыкшие к жизни на грязных задворках улицы Саругаку в квартале Канда, с облегчением вздохнули, как будто из темной, затхлой берлоги их внезапно вытащили на свежий воздух.

Дети весело резвились на лужайке возле руин старинного замка, играли в прятки среди густо разросшихся вдоль плотины вишен и деревьев сакуры, в саду, у пруда, над которым свисали пышные гроздья цветущих глициний.

Супруги Каидзима и старушка мать — ей было уже за шестьдесят — раз и год ездили в Токио на могилу отца. Но, вкусив беззаботной провинциальной жизни, никто из них — ни мать, ни Каидзима, ни его жена — не скучал по столице.

Школа, в которой предстояло служить Каидзиме, находилась на окраине, в северной части города. За спортивной площадкой тянулись все те же тутовые сады.

Каждый раз, входя в класс и видя за окнами озаренные солнцем поля и сады, а вдали складки гор, подернутые фиолетовой дымкой, он испытывал радостное ощущение свободы.

Ему поручили класс мальчиков, и он вел этот класс в течение почти трех лет. Здесь не было таких нарядных детей, как в столичной школе. Но городок был центром префектуры, а не глухим захолустьем, и в школе учились дети довольно богатых родителей. Было много способных учеников, среди них попадались неисправимые шалуны, пожалуй, еще более изобретательные, чем столичные мальчишки.

Самыми способными были двое: Судзуки, сын местного текстильного фабриканта, вице-президента банка, и Накамура, сын директора фирмы «Гидроэлектроэнергия». По успеваемости эти мальчики все три года занимали первые места в классе.

Заводилой озорников считался Нисимура, сын торговца лекарственными травами. Другой мальчик, Арита, сын врача, слыл трусишкой и маменькиным сынком. Как видно, родители очень баловали его: он был одет лучше всех в классе.

Каидзима любил детей. За двадцать лет работы в школе он привык одинаково тепло заботиться о каждом ребенке. У него не было любимчиков среди мальчишек, так непохожих друг на друга.

Случалось, он прибегал к довольно суровым телесным наказаниям или повышал голос. Но за долгие годы работы в школе он научился хорошо понимать детскую душу и пользовался уважением не только учеников, но и коллег и родителей.

Дело было весной, в апреле. В конце семестра в пятом классе, который вел Каидзима, появился новый ученик: приземистый толстый мальчик с угрюмым взглядом. На его неестественно большой голове и смуглом квадратном лице виднелись кое-где лишай. Звали его Сёкити Нумакура. Наверное, его отец, ткач, перебрался сюда из Токио на недавно построенную шелкопрядильную фабрику. Непотесанный вид и грязная одежда Нумакуры свидетельствовали о том, что он из бедной семьи.

На первый взгляд Каидзиме показалось, что мальчик туповат и дурно воспитан. Но после короткого экзамена неожиданно выяснилось, что тот обладает неплохими способностями, хотя молчалив, замкнут и угрюм.

Как-то раз на перемене Каидзима находился на спортплощадке, наблюдая за увлеченно игравшими детьми. Он давно убедился: на спортплощадке возможности и характер детей раскрываются гораздо полнее, чем в классе.

Ученики, разбившись на две «армии», играли в войну. Не было бы ничего удивительного, если бы силы противников были равны. Но первая армия состояла из сорока, а вторая — всего из десяти человек.

Полководцем первой армии был уже упомянутый сын аптекаря, Нисимура. Оседлав двух ребят, исполнявших роль коня, он непрерывно выкрикивал команды своему войску.

Полководцем второй армии, к удивлению Каидзими, оказался новичок — Сёкити Нумакура. Сидя верхом на «коне» и грозно сверкая глазами, он тоже громко — куда девалась его молчаливость! — командовал своим малочисленным войском, совершавшим стремительный бросок в глубь огромной армии противника.

Интересно, когда же это Нумакура успел завоевать такую популярность? Ведь не прошло и десяти дней, как он появился в классе.

По-детски простодушно увлеченный ходом сражения, Каидзима стал еще внимательнее следить за игрой.

Внезапно маленькая группа Нумакуры в какой-то момент обратила в бегство многочисленную армию противника, и та, смешав ряды, бежала врассыпную. Казалось, бойцы Нисимуры больше всего боялись самого Нумакуру. Они бились довольно храбро, но стоило Нумакуре повернуть своего «коня» в их сторону, как они убегали, не приняв боя. В конце концов, не выдержав грозного взгляда Нумакуры, сдался в плен даже сам главнокомандующий Нисимура.

А между тем, Нумакура отнюдь не пускал в ход кулаки. Ничего подобного! Он командовал своим войском, восседая на «коне» и осыпая врагов бранью. И... прорывал позиции противника по всем флангам.

— Ну-ка, сразимся еще разок! На этот раз нас будет всего семеро. На вас и семерых хватит! — С этими словами Нумакура, добровольно передав противнику троих своих воинов, начал сражение во второй раз. Армия Нисимуры опять позорно капитулировала. В третий раз Нумакура сократил свое войско до пятерых бойцов. И все-таки после энергичного, жестокого боя они снова одержали победу.

С того дня Каидзима стал присматриваться к этому мальчику. В классе тот ничем не отличался от других. Он хорошо успевал и по чтению и по устному счету, аккуратно выполнял домашние задания, неплохо писал контрольные. На уроках Нумакура всегда сидел молча, облокотившись на парту, нахмутив брови. Каидзима никак не мог разгадать характер этого подростка. Во всяком случае тот не был похож на злого озорника, подстрекающего класс на всяческие проказы и издевки над учителем. Он, несомненно, верховодил этими чертенятами, но верховодил как-то странно.

Однажды утром, во время урока по этике, Каидзима рассказывал о Ниномии Сонтаку. Всегда мягкий с учени-

ками, Каидзима, как правило, был необычайно строг на занятиях по этике. В то утро этика была первым уроком: яркий солнечный свет заливал всю классную комнату. Лица учеников казались сосредоточенными и серьезными.

— Сегодня я расскажу вам о Ниномии Сонтоку. Сидите тихо и слушайте внимательно, — торжественно начал Каидзима.

В классе воцарилась тишина. Даже Нисимура, которого Каидзима часто бранил за болтовню с соседом, сегодня внимательно смотрел в лицо учителю, изредка моргая умными глазками. Из окон до самых тутовых плантаций отчетливо разносился голос Каидзимы, с увлечением рассказывающего о Ниномии Сонтоку. Пятьдесят учеников, чинными рядами сидевшие за партами, затаив дыхание, слушали речь учителя.

— Знаете, как удалось Ниномии-сэнсэю спасти от разорения дом Хаттори? Совет сэнсэя заключался в одном лишь слове: «экономия»...

Ничто не мешало страстной речи Каидзимы, как вдруг его слух коснулся еле слышный шепот в углу класса. Каидзима нахмурился. Даже сегодня, когда все наконец-то вели себя хорошо и так внимательно слушали, кто-то все-таки занимался пустой болтовней! Каидзима нарочито откашлялся и, бросив сердитый взгляд в тот угол, продолжал урок. На несколько минут еле слышный шепоток затих, но затем возобновился. Он действовал на нервы, словно зубная боль. Чувствуя нарастающее раздражение, Каидзима поспешно обернулся. В тот же миг шепот смолк. Поймать болтуна не удалось. Казалось, что шепот доносился из угла справа, где сидел Нумакура. Каидзима решил, что болтал именно он.

Будь это кто-нибудь другой, ну хотя бы шалун Нисимура, Каидзима без долгих раздумий отругал бы его. Но что-то мешало ему сделать замечание Нумакуре. Этот ребенок вызывал у Каидзимы чувство какой-то странной неловкости, отчитать его не поворачивался язык. Мальчик только недавно поступил в класс, и может быть, поэтому Каидзима не успел еще ни разу поговорить с Нумакурой по душам. Все их общение сводилось к вопросам и ответам на уроках.

«Что ж, попробуем обойтись без выговора. Может быть, он сам замолчит», — решил Каидзима, стараясь сохранить невозмутимый вид. Но шепот болтуна становился беззастенчиво громким, и наконец учитель заметил, как у него шевелятся губы.

— Кто там тараторит с самого начала урока?! Кто?! — Потеряв терпение, Каидзима сердито хлопнул тростниковым хлыстом по столу. — Нумакура! Это ты болтал весь урок?! Ты?!

— Нет, не я, — Нумакура невозмутимо поднялся с места и вдруг, оглядевшись по сторонам, сказал, указывая на соседа слева, мальчика по фамилии Нода: — Это он!

— Неправда! Я видел, что болтал ты. И не с Нодой, а с соседом справа, с Цураюки. Почему ты лжешь?! — Небывалое раздражение охватило Каидзиму, кровь бросилась ему в лицо. Нода, на которого Нумакура свалил свою вину, был тихий, послушный мальчик. Когда Нумакура указал на него пальцем, он испуганно заморгал и, как будто прося пощады, поднялся с места. Не спуская робкого взгляда с Нумакуры, он наконец произнес дрожащим, но решительным голосом:

— Сэнсэй! Это не Нумакура! Разговаривал я!

Все ребята насмешливо уставились на Ноду. Нода был как раз из тех, кто редко болтал на уроках. Несомненно, он жертвовал собой ради Нумакуры, кичившегося своей властью. Это больше всего взбесило Каидзиму. Возможно, Нода боялся, что Нумакура станет издеваться над ним после уроков. Поступок Нумакуры отвратителен. Он заслуживает строгого наказания.

— Я спрашиваю Нумакуру. Остальные молчите! — Каидзима снова громко хлопнул хлыстом. — Нумакура! Почему ты лжешь? Да, лжешь! Я видел, как ты разговаривал. Признался бы честно, и я но стал бы тебя наказывать. Но ты лжешь, да еще хочешь свалить свою вину на другого! Это хуже всего! Этого нельзя так оставить, иначе из тебя не выйдет ничего путного!

Ничуть не оробев, Нумакура исподлобья пристально смотрел на Каидзиму. На лице его вдруг проступили черты типичного испорченного подростка, оно стало наглым и жестоким.

— Почему ты молчишь? Тебе непонятно, что я сказал? — Захлопнув лежавший на столе учебник по этике, Каидзима быстро подошел к парте Нумакуры. Он твердо решил довести все до конца, а в случае необходимости проучить лгуна хлыстом. Ученики притихли, затаив дыхание. В классе внезапно воцарилась напряженная, предгрозовая атмосфера, совсем непохожая на прежнюю.

— Что такое? Отчего ты молчишь, Нумакура? Я уже потратил на тебя столько слов, а ты все упорствуешь!

В тот самый момент, когда хлыст, изогнутый в руках

Каидзимы, вот-вот должен был коснуться щек Нумакуры, тот, еще сильнее нахмурив густые брови, проговорил низким, хриплым и невыносимо нахальным голосом:

— Разговаривал Нода-сан. Я не лгу.

— Хорошо! Иди сюда! — С этими словами Каидзима крепко ухватил его за плечо, грубо поднимая с места. Тон учителя не сулил Нумакуре ничего хорошего.

— Подойди сюда! Стой возле этой кафедры, пока не раскаешься и не заслужишь прощения. Будешь упорствовать — простоишь до ночи!

— Сэнсэй! — подал голос Нода, снова поднявшись с места. Нумакура, скосив глаза, бросил на Ноду поспешный взгляд. — Правда, правда! Это не Нумакура-сан! Поставьте меня вместо него!

— Не надо, Нода. С тобой мы поговорим потом. — Каидзима продолжал тянуть к себе Нумакуру, но тут с места поднялся еще один ученик.

— Сэнсэй! — Это был озорник Нисимура. Сейчас на лице этого мальчика не было и следа обычного для него выражения непослушания. Его глаза излучали удивительную для двенадцатилетнего подростка важность, мужество и решимость вассала, отдающего жизнь за господина.

— Довольно! Я не собираюсь вас наказывать. Винават Нумакура, он и будет наказан! Тебя еще никто не обвинял, поэтому не болтай лишнего! — вспыхнул от гнева Каидзима.

Он не мог понять, почему все стремятся выгородить Нумакуру. Неужели этот мальчишка до такой степени подавил и запугал их? Это возмутительно!

— Ну, живее! Вставай! Я велел тебе подойти! Почему ты не двигаешься?

— Сэнсэй! — встал с места еще один мальчик. — Если вы хотите наказать Нумакуру, накажите и меня.

К удивлению Каидзимы, это был староста класса, отличник Накамура.

— Это еще что такое?! — Растерявшись, Каидзима невольно расслабил пальцы, сжимавшие плечо Нумакуры.

— Сэнсэй! Поставьте и меня рядом с ним! — один за другим встали со своих мест несколько мальчиков. Вслед за ними почти все ученики, твердя в один голос: «И меня! И меня!», собрались вокруг Каидзимы. В их поведении не чувствовалось злого умысла. Казалось, они не собирались ставить учителя в неловкое положение. Но все были исполнены решимости принести себя в жертву ради спасения Нумакуры.

— Ах так! Ну ладно! Тогда вставайте все! — Каидзима готов был кричать от досады.

Будь он молодым, неопытным учителем, так бы и случилось — до того были натянуты его нервы. Но опыт, приобретенный долгими годами, не позволил ему воспринимать этих мальчуганов как серьезных противников. И все-таки в глубине души он не мог не изумляться при виде странной власти этого мальчишки.

— Зачем вы наговариваете на себя? Ведь виноват один Нумакура! А вы все не правы, — в явном замешательстве произнес Каидзима. Однако наказывать Нумакуру не стал.

Этот случай, когда Каидзиме пришлось ограничиться выговором всему классу, часто всплывал в его памяти, заставляя глубоко задуматься.

Большинство его учеников были простодушными подростками. И хотя в этом возрасте дети обычно бунтуют против власти родителей и учителей, все они безоговорочно подчинялись Нумакуре, считая его своим повелителем. Не только Нисимура, который верховодил до прихода Нумакуры, но даже отличники Накамура и Судзуки, то ли из страха, то ли из чувства истинной преданности, готовы были, как это и случилось недавно, понести наказание вместо него.

Пусть Нумакура силен и смел. Все-таки он такой же сопливый мальчишка, как его сверстники. Почему же его слова находят дорогу к их сердцам гораздо быстрее, чем слова учителя?

За долгое время работы в школе Каидзиме приходилось сталкиваться с трудными, испорченными детьми. Но такого случая, как с Нумакурой, не встречалось еще ни разу. Каким образом этот мальчишка добился такой популярности у всего класса? Как удалось ему подчинить себе всех ребят? Ничего подобного еще никогда не бывало в многолетней практике Каидзимы.

Разумеется, нет ничего плохого в том, что Нумакура завоевал авторитет у ребят. Но если он и в самом деле так испорчен и жесток, как кажется, то может, пользуясь своим влиянием, исподтишка подстрекать класс, даже самых хороших мальчиков, на скверные поступки. Вот чего опасался Каидзима.

Но, к счастью, Кэйтаро, старший сын Каидзимы, учился в том же классе. Осторожно расспросив его, Каидзима убедился, что опасения напрасны.

— Нумакура неплохой мальчик, папа, — в ответ на

расспросы отца неуверенно, словно опасаясь сказать лишнее, ответил Кэйтаро.

— Вот как? Но я и не собираюсь бранить его. Не бойся, Расскажи мне всю правду. Как объяснить то, что произошло недавно, на уроке этики? Ведь Нумакура пытался свалить свою вину на Ноду!

И тогда Кэйтаро рассказал следующее: «Конечно, Нумакура поступил плохо, но он не хотел подвести товарища. Он решил обмануть учителя просто для того, чтобы испытать преданность своих «подчиненных». В тот день Нумакура убедился, что все охотно принесут себя в жертву ради него, не побоятся даже учителя. Нода, который первым героически пытался принять вину на себя, а за ним Нисимура и Накамура, как самые преданные, заслужили за свой подвиг похвалу Нумакуры».

Рассказ Кэйтаро звучал довольно правдоподобно. Но он не мог вспомнить, с каких пор Нумакура стал пользоваться такой властью. По-видимому, этот мальчик вел себя как храбрый, великодушный рыцарь, чем и заслужил уважение всего класса.

Нумакура не был первым силачом в классе. Напротив, во время борьбы сумо победу чаще одерживал Нисимура. Но, в отличие от Нисимуры, Нумакура не издевался над слабыми. Он не знал приемов сумо, зато в обыкновенной драке Нумакуре не было равных. Темперамент и достоинство — вот те качества, перед которыми пасовал любой противник. В первое время между ним и Нисимурой шла борьба за власть, но вскоре Нисимура был вынужден уступить. Больше того, Нисимура с радостью признал первенство Нумакуры. «Я стану вторым Тайко Хидзэси!» — говорил Нумакура. И в самом деле, ему были свойственны великодушие и храбрость. Даже те, кто сперва относились к нему враждебно, в конце концов стали выполнять его приказы. Даже отличники Накамура и Судзуки, с которыми не мог справиться бывший лидер Нисимура, стали самыми преданными вассалами Нумакуры.

Кэйтаро боялся Нумакуру и льстил ему. Но в глубине души он не переставал уважать Накамуру и Судзуки, хотя с появлением Нумакуры никто больше не восхищался их талантами. Теперь никто в классе и не помышлял о сопротивлении Нумакуре, все добровольно подчинилось ему. Иногда, правда, его требования бывали довольно вздорными, но чаще он поступал справедливо. Он редко злоупотреблял властью, ему было достаточно утвердить свое господство. А тех, кто издевался над слабыми или подличал,

он сурово наказывал. Поэтому такие слабые мальчишки, как Арита, больше всего радовались установлению диктатуры.

После рассказа сына Каидзима еще больше заинтересовался Нумакурой. Если Кэйтаро не лжет, то Нумакура и правда неплохой мальчик. Этот необыкновенный вожак мальчишек достоин даже восхищения! Кто знает, может быть, этот сын простого ткача когда-нибудь станет выдающимся человеком...

Конечно, нельзя целиком предоставить класс его влиянию. Но мальчишки подчиняются ему добровольно, поэтому нельзя вмешиваться силой. Это вряд ли даст хорошие результаты. Нет, лучше похвалить Нумакуру. Он еще совсем ребенок, а уже ценит справедливость. Такой сильный и благородный характер достоин уважения. Пожалуй, его следует даже поддержать. Направив его темперамент в нужное русло, можно извлечь пользу для всего класса. С этими мыслями Каидзима однажды после уроков подошел к себе Нумакуру.

— Я вызвал тебя не для того, чтобы ругать. Ты молодец! Не всякий взрослый может похвастаться таким сильным характером. Увлечь всех за собой порой бывает трудно даже учителю. А ты справился с этой задачей так хорошо, что мне даже неловко, — от души говорил добрый Каидзима.

Он учительствовал уже чуть ли не двадцать лет, но не мог так свободно управлять классом, как этот зеленый юнец. Да разве только он! Среди всех учителей школы вряд ли найдется человек, способный влиять на ребят так же, как этот предводитель сорванцов Нумакура.

«Подумать только, — рассуждал он про себя, — нас, школьных учителей, случай с Нумакурой должен кое-чему научить. Мы неспособны стать такими же, как они. У нас нет искреннего желания играть с ними. Вот поэтому мы и не пользуемся таким авторитетом, как Нумакура. Надо стараться, чтобы дети видели в тебе не строгого учителя, а друга, с которым интересно».

— ...Поэтому я хочу, чтобы ты и впредь помогал ребятам сделаться настоящими людьми. Наказывай тех, кто поступает дурно, и поощряй тех, кто ведет себя хорошо. Это моя просьба. Обычно те, кто верховодит ребятами, мешают учителю, подбивая других на шалости. Ты не можешь себе представить, как бы ты помог мне, заботясь об общей пользе! Ну как, Нумакура? Согласен?

Удивленно и нерешительно улыбаясь, мальчик испод-

лобья смотрел на учителя. Казалось, наконец он понял, чего хотел от него Каидзима.

— Я понял, сэнсэй. Все будет сделано, как вы просите, — ответил он, просияв радостной улыбкой.

Да, у Каидзимы были основания гордиться. Все-таки он знает путь к сердцу ребенка. Такого парня, как Нумакура, искусно направил на стезю добродетели. А ведь ошибись Каидзима хоть немного, и с ним невозможно было бы справиться. Все-таки изрядный опыт работы в школе чего-нибудь да стоит! При мысли об этом Каидзима улыбнулся.

На следующее же утро Каидзима убедился, что результаты беседы с Нумакурой превзошли все ожидания. Это удвоило его тайную гордость самим собой. Атмосфера в классе неузнаваемо изменилась: во время уроков все вели себя безукоризненно. В классе царила тишина, ребята боялись кашлянуть. Каидзима как бы невзначай поглядывал на Нумакуру и заметил, что тот, достав из-за пазухи маленькую записную книжку, обводит взглядом классную комнату. Заметив ученика, нарушающего порядок, он тут же записывает его фамилию.

«И в самом деле...» — думал Каидзима, не в силах сдержать улыбку.

Постепенно дисциплина стала железной. На лицах учеников был отчетливо написан страх перед малейшей оплошностью.

— Ребята! Хотел бы я знать, почему в последнее время вы стали так хорошо себя вести? Уж больно вы тихи. Я очень доволен вами. Мало сказать доволен, почти испуган, — нарочито округлив глаза, выражал свое удивление Каидзима.

Ученики, в глубине души с нетерпением ожидавшие похвалы, радостно рассмеялись.

— Если и дальше так будет, я, пожалуй, начну гордиться. В последнее время даже другие учителя хвалят наш пятый класс: вы, мол, самые примерные в школе! Сам директор не нарадуется вами, ставит вас в пример и удивляется: «Отчего это они такие хорошие?» Вы уж не подведите меня, не ударьте в грязь лицом!

Дети снова дружно расхохотались. Один Нумакура, встретившись глазами с Каидзимой, едва заметно усмехнулся.

После рождения седьмого ребенка жена Каидзими внезапно сильно сдала и все время полеживала, летом этого года у нее обнаружили туберкулез легких. В первое время жизнь в городе М. казалась легче, чем в Токио. Но новорожденный все время хворал, у жены пропало молоко. Хроническая астма старушки матери обострилась, с годами мать стала очень раздражительной. Жить как-то незаметно становилось все тяжелее, а болезнь жены поставила семью Каидзими и вовсе в безвыходное положение.

В конце каждого месяца Каидзима падал духом. Теперь ему казалось, что в Токио, когда они были бедны, но здоровы, жилось все-таки лучше, чем теперь. В семье прибавилось детей, а цены все росли. Ежемесячные расходы на жизнь сравнялись со столичными. А тут еще плата за лечение жены! Когда Каидзима был молод, он мог хотя бы надеяться, что со временем будет зарабатывать больше. Теперь впереди не было никакой надежды.

— Выходит, ты ошибся, выбрав этот городишко! Помнишь, гадалщик предупреждал, что здесь все мы будем болеть? Говорила я: давайте поедem в другое место! А ты только смеялся, мол, суеверие. Ну, что? Так оно и вышло! — хныкала старуха мать.

Не зная, что отвечать, Каидзима горестно вздыхал. Жена делала вид, что не слышит этих разговоров, и молчала. Глаза ео были полны слез.

...Это случилось в конце июня. В школе было собрание сотрудников. Вернувшись домой лишь к вечеру, Каидзима услышал детский плач у постели жены, уже несколько дней лежавшей с высокой температурой.

«Опять ему за что-то влетело...» — едва переступив порог, огорчился Каидзима.

В последнее время обстановка в семье стала нервной. Мать и жена все время бранили детей. А дети, раздраженные тем, что им не дают ни сэны на мелкие расходы, без конца дерзили родителям.

— Бабушка говорит с тобой, а ты не слушаешь! Ты что, решил, что мама больше не встанет, и хочешь стать вором? — услышал он голос жены, прерываемый слабым кашлем.

Обомлев от ужаса, Каидзима поспешно раздвинул фу-

сума, за которыми лежала больная. Бабушка и мать вдвоем осаждали вопросами его первенца Кэйтаро, а тот упорно молчал.

— Кэйтаро! За что тебя ругают? Ведь я же просил тебя не огорчать маму, когда она так больна. Ты старший в семье! Как же ты не понимаешь?

Кэйтаро продолжал молчать, опустив голову, и время от времени, словно спохватившись, опять принимался плакать.

— Вот уже полмесяца, как он ведет себя очень странно. Уж не стал ли он и впрямь мошенником? — со слезами на глазах сказала бабушка, взглянув на Каидзиму.

После расспросов выяснилось, что у бабушки были серьезные причины для гнева. С начала месяца Кэйтаро стал приносить откуда-то разные вещи и сладости. А ведь деньги ему давали только на покупку самых необходимых школьных принадлежностей. На днях он купил несколько цветных карандашей. Удивившись, мать обратилась к нему с расспросами. Он ответил, что карандаши ему дал кто-то в школе. Позавчера, вернувшись домой под вечер, он чем-то усердно набивал рот, спрятавшись в углу коридора. Тихонько подкравшись к внуку, бабушка увидела, что карманы у него полны сладостей. Тем не менее в последнее время Кэйтаро, как ни странно, не кланчил денег на мелкие расходы, как прежде. Вскоре обнаружилось еще много подозрительного. Поэтому бабушка и мать решили при первом удобном случае провести тщательное расследование.

И вот случай представился: только что Кэйтаро принес домой великолепный веер, ценой никак не меньше пятидесяти сэн. А в ответ на расспросы опять сказал, что веер дал ему товарищ, когда спросили, где живет этот товарищ, как его фамилия и когда именно он подарил Кэйтаро эту вещь, тот только молчал, опустив голову. Добиться ответа было нелегко. Наконец он признался, что вещи не подарены, а куплены. Но откуда у него деньги на эти покупки, ни за что не хотел сказать, как его ни ругали.

— Откуда у человека, если он не вор, лишние деньги? Отвечай! А будешь молчать... — С этими словами бабушка, забыв о своих болезнях, в пылу гнева уже готова была избить Кэйтаро.

Каидзима чувствовал себя так, как будто его окатили ушатом холодной воды.

— Кэйтаро, почему ты не скажешь правду? Если

украл, так прямо и скажи. Мне бы очень хотелось, чтобы ты имел все, что тебе нравится. Но сам видишь, в последнее время у нас в семье много больных, и у меня не хватает времени позаботиться о тебе. Я понимаю, тебе тоже тяжело. Но надо потерпеть. Мне не хочется верить, что ты плохой мальчик, воришка. Бывают случаи, когда соблазны сильнее нас и мы, сами того не желая, совершаем дурные поступки. На сей раз я прошу тебя, только скажи, пожалуйста, правду! Ну же, попроси прощения у бабушки и обещай, что никогда больше не будешь так себя вести. Кэйтаро, почему ты молчишь?!

— Но, папа... Я... я не брал чужих денег! — Кэйтаро снова заплакал.

— В таком случае, на какие деньги ты купил карандаши, сладости и этот веер? Я жду объяснения. В конце концов всякому терпению есть предел! Смотри, если будешь упрямиться, накажу! Ну, я жду!

Кэйтаро вдруг зарыдал. Губы его шевелились, он что-то часто, невнятно бормотал, но Каидзима не мог разоб- рать ни слова.

Наконец он услышал:

— Да деньги, только не настоящие. Фальшивые! — сквозь плач твердил Кэйтаро. Вынув из кармана самодельную ассигнацию, он вытирал мокрые от слез щеки.

Отец расправил ассигнацию у себя на коленях. На маленьком клочке бумаги было отпечатано: «100 иен». Это была всего-навсего детская игрушка. Выяснилось, что в кармане у Кэйтаро имеется еще несколько таких ассигнаций. Среди них были «деньги» достоинством в пятьдесят, тысячу и даже в десять тысяч иен. Чем больше была сумма, тем крупнее шрифт и размеры банкноты. А на обратной стороне бумажки, в углу, была оттиснута личная печать: «Нумакура».

— Печать Нумакуры? Что же, это он изготавливает деньги?

Поняв в чем дело, Каидзима с облегчением вздохнул. Но все-таки кое-что оставалось неясным.

— Да, да! — утвердительно кивая, продолжал громко рыдать Кэйтаро.

Наконец, потратив весь вечер на то, чтобы успокоить и подробно расспросить Кэйтаро, Каидзиме удалось выяснить происхождение этих ассигнаций. Вот, оказывается, к чему привела бесконтрольная власть Нумакуры! Выходит, что метод, которым Каидзима, понадеявшись на свой богатый опыт, думал удержать в руках вожака сорванцов,

имел не только благотворные результаты. После похвал учителя Нумакура весьма воодушевился. Он завел поименный список всех учеников и каждый день ставил ребятам отметки по поведению, оценивая их слова и поступки по своим собственным и очень суровым меркам. Пользуясь той же властью, что и учитель, он точно так же заносил в тетрадь сведения об отсутствующих, прогульщиках, опоздавших и прочих нарушителях дисциплины. Мало того, требуя докладывать о причинах отсутствия в классе, он проверял, правду ли сказал ученик, посылая своих «тайных агентов». «Разведывательная служба» сразу же уличала тех, кто опаздывал, заигравшись по пути в школу, и тех, кто прогуливал под предлогом болезни. Обманывать не удавалось никому.

Слушая рассказ Кэйтара, Каидзима вспомнил: в последнее время совсем не было ни отсутствующих, ни опоздавших. Даже болезненный Хасимото, сын владельца посудной лавки, худенький мальчик с нездоровым лицом, посещал школу удивительно аккуратно. Все, казалось, стали прилежными.

«Вот и отлично!» — радовался тогда Каидзима...

«Агентами» назначено около десятка ребят. Обычно они рыщут вокруг домов лентяев, ведут за ними слежку, бдительно контролируют. Учреждено строгое положение о наказаниях: каждый ослушник, будь то староста или даже сам Нумакура, подвергается штрафу. Постепенно наказаний становится все больше, способы наказаний усложняются и число «агентов» растет. Теперь, кроме тайных «агентов», появились различные должностные лица. Должность старосты, назначенного учителем, упразднена. Вместо старосты один озорник, обладающий здоровенными кулаками, исполнял роль надзирателя. Появились ответственные за журнал посещений, за спортплощадку, за игры, а также советники президента, судья, его заместитель, назначены ординарцы, обслуживающие сановников.

Президентом, само собой разумеется, стал Нумакура.

Среди «чиновников» самый высокий ранг у Нисимурь — он вице-президент. Первых учеников, Накамуру и Судзуки, вначале все презирали за слишком нежный нрав, но постепенно они заслужили уважение Нумакуры и были назначены советниками.

Далее Нумакура учредил ордена. По его приказу советники придумали правдоподобные названия игрушечным оловянным орденам и раздавали их заслуженным

подчиненным. Возникла еще одна должность: «ответственный за награды».

Однажды вице-президент предложил назначить кого-нибудь министром финансов и начать выпуск денег. Предложение было благосклонно принято президентом.

Министром финансов был немедленно назначен сын владельца магазина европейских вин Найто. В последнее время он безвыходно сидел у себя дома на втором этаже и вместе с двумя личными секретарями печатал бумажные деньги достоинством от пятидесяти до ста тысяч иен. Готовые банкноты приносят президенту, и тот ставит на них свою печать, после чего они вступают в силу.

Все получают от президента жалование соответственно занимаемой должности. Месячное жалование Нумакуры — пять миллионов иен, вице-президента — два миллиона, министров — миллион, ординарцев — десять тысяч.

Обладатели капитала стали активно пользоваться им, началась купля-продажа. Богатые, такие, как Нумакура, скупали у подчиненных все, что желали. В последнее время Нумакура часто конфисковывал дорогие игрушки у их обладателей. Сын директора Гидроэлектрокомпании Накамура вынужден был продать Нумакуре игрушечное кото за двести тысяч иен. Арита, которому отец недавно привез из Токио духовое ружье, получил приказ продать его за пятьсот тысяч и не смел возражать.

Сначала торговля шла потихоньку на школьной спортплощадке. Но постепенно дело встало на широкую ногу; ежедневно, как только кончались уроки, все собирались на лужайке в парке, или в зарослях густой, высокой травы за городом, или же в доме Ариты.

В конце концов Нумакура издал закон: те, кто получает от родителей карманные деньги, должны купить на них разные товары и доставить на «рынок». Дошло до запрещения пользоваться какими-либо деньгами, кроме выпускаемых президентом. На настоящие деньги разрешалось покупать только предметы первой необходимости. Сначала все просто считали это игрой, но теперь единодушно восхваляют «мудрое правление Нумакуры»...

Выслушав Кэйтаро, Каидзима предложил следующее: товары, поступающие на «рынок», очень разнообразны. Кэйтаро перечислил двадцать с лишним предметов. А именно: писчую бумагу, записные книжки, альбомы, художественные открытки, фотопленку, батат, европейские сладости, молоко, лимонад, всевозможные фрукты, детские журналы, сказки, акварельные краски, цветные

карандаши, игрушки, дзори, гэта, веера, медали, кошельки, ножики, авторучки. Таким образом, в оборот включался обширный ассортимент, на «рынке» можно было найти все что угодно.

Как сын учителя, Кэйтаро пользовался особым покровительством Нумакуры и поэтому не испытывал нужды в деньгах. Возможно, Нумакура, зная о тяжелом положении семьи Каидзимы, по-рыцарски хотел выручить его сына. В кармане у Кэйтаро всегда имелось около миллиона иен, то есть он обладал капиталом наравне с «министрами». По его словам, кроме цветных карандашей и сладостей, по поводу которых его допрашивала бабушка, он приобрел много разных вещей.

И все-таки Нумакура, уверенный во всех своих начинаниях, боялся, как бы учитель не узнал об этих деньгах.

Все договорились не вынимать деньги из кармана при учителе, следить, чтобы не проговориться. Нарушитель этого уговора будет сурово наказан согласно «закону». Как учительский сын, Кэйтаро все время находился под подозрением и поэтому очень нервничал. И вот сегодня вечером он проговорился, не стерпев, что его обвинили в воровстве. Он долго молчал, а потом плакал, потому что боится Нумакуру...

— Не из-за чего плакать! Как не стыдно! Пусть только посмеет мучить тебя — он у меня получит! Вот уж истине нелепая игра! Не возражай! Завтра получите награду! Не бойся, я не скажу, что ты проговорился...

Кэйтаро разревелся что было мочи:

— Все и так подозревают меня! Наверное, шпионы и сейчас подслушивают возле дома!

Каидзима некоторое время ошеломленно молчал. Завтра, вызвав Нумакуру, он сделает ему выговор. Но с какой стороны взяться за это дело? Какие меры принять? Он был так удивлен и возмущен услышанным, что не мог спокойно собраться с мыслями.

* * *

В конце осени у жены Каидзимы открылось кровохарканье, и она окончательно слегла. Казалось, она больше не встанет. С наступлением холодов у матери участились тяжелые приступы астмы. Очевидно, сухой горный воздух города М. оказался губительным для обеих женщин. Лежа рядом в проходной комнатухе, они попеременно захлебывались кашлем.

Все хозяйство легло теперь на плечи старшей девочки, первый год учившейся в школе второй ступени. Она вставала затемно, разводила огонь в очаге, ставила у изголовья больных столик с едой, одевала братьев и, наконец, наскоро вытерев потрескавшиеся, все в цыпках руки, бежала в школу. В полдень, в большую перемену, она снова прибегала домой и наскоро готовила обед. А после обеда надо было стирать и менять пеленки младенцу.

Не в силах смотреть на это, отец как мог помогал дочери: черпал воду из колодца, убирал комнаты, стирал на кухне.

Казалось, несчастьям, свалившимся на семью, не будет конца. «Чего доброго, я и сам заразился туберкулезом, — часто ловил себя на мысли Каидзима. — И дети тоже. Ну и ладно, умрем все вместе». В последнее время его тревожило, что Кэйтаро иногда потел по ночам и часто покашливал.

Бесконечные несчастья сделали Каидзиму раздражительным, на уроках он часто отчитывал учеников. Малейший пустяк выводил его из себя, нервы были напряжены до предела, кровь внезапно прилиwała к голове. Во время урока он не раз готов был, не помня себя, выбежать из класса.

В одну из таких минут он заметил, как кто-то из учеников вынул из кармана злополучную ассигнацию.

— Я уже порицал вас за это, а вы опять за свое! — О криком набросился он на ученика и вдруг почувствовал, как бешено застучало сердце, закружилась голова. Он едва не упал.

Ребята во главе с Нумакурой теперь дружно изводили его.

С Кэйтаро никто не дружил — очевидно, из-за отца. В последнее время никто не хотел с ним играть, и, вернувшись из школы, он целыми днями слонялся без дела по тесному дому.

...Это случилось в конце ноября, в воскресный полдень. Ребенок, лежавший на руках у исхудавшей жены Каидзимы, которая не расставалась с ним, несмотря на то что уже несколько дней у нее был жар, начал хныкать и, наконец, раскричался как резанный.

— Не надо плакать! Ну, ну, хороший мой, не плачь! Бай-бай, бай-бай! — усталый, бесцветный голос жены, как бы в забытии повторившей эти слова, постепенно сов-

сем умолк. Слышался только пронзительный крик ребенка.

Каидземе, сидевшему за письменным столом в соседней комнатухе, казалось, что от этого крика дрожат сѣдзи, звенит в ушах. Стены комнаты плыли у него перед глазами, голова кружилась. Но он решил терпеть и не вставать из-за стола.

«Ну что ж, плачь, плачь... Придется ждать, пока сам не перестанешь!» — как сговорившись, думали, казалось, и отец, и мать, и бабка, махнув на все рукой.

Сегодня утром выяснилось, что в доме не осталось ни капли молока, которого должно было хватить еще на несколько дней. Но троих взрослых тяготило не только это. Во всем доме не осталось ни сэны, чтобы дожить до послезавтра — до дня полочки. Все трое молчали, щадя друг друга, боясь даже обмолвиться об этом.

Как всегда в этих случаях, старшая девочка приготовила подслащенную воду и, сварив рисовую кашичу, попыталась накормить ребенка. Но тот почему-то не хотел принимать эту пищу и только кричал еще пронзительнее. Слышая этот крик, Каидзима чувствовал, что тоска сменяется у него острым желанием взять младенца и уйти с ним куда глаза глядят.

Голова все кружилась, ему казалось, что пол уплывает у него из-под ног. Незаметно для себя он поднялся из-за стола и стал нервно ходить из конца в конец комнаты.

«Конечно, я уже сильно задолжал в лавке — ну и что из того?.. Сын хозяина — мой ученик. Если я попрошу дать мне молоко в долг, он, конечно, скажет: «Пожалуйста, заплатите в любое удобное для вас время!» Ничего позорного в такой просьбе нет. Я слишком деликатничаю, это никуда не годится!» — Беспреданно твердя про себя эту внезапно пришедшую ему в голову мысль, он все кружил и кружил по комнате.

К вечеру Каидзима вышел из дома и направился к лавке винооторговца Найто. Один из продавцов магазина, стоявший у дверей, любезно поздоровался, и Каидзима, задержав шаг, с улыбкой ответил на приветствие. Позади кассы, на полке среди консервов и винных бутылок, он заметил несколько банок с молоком, но с безразличным видом прошел мимо и направился к дому.

— Уа-уа! — уже издали слышался плач ребенка. Каидзима, вздрогнув, повернул обратно, на этот раз сам не зная куда.

Ветер с гор, предвестник близкой зимы, со свистом

гнал вдоль шоссе холодные потоки воздуха. В парке, раскинувшемся вдоль реки, в укромном уголке под дамбой несколько ребят играли в какую-то игру.

— Нет, нет, Найто-кун! Зачем хитришь? Так дело не пойдет! Осталось всего три бутылки. Заплатишь по сто иен — забирай.

— Дорого!

— Разве это дорого? Скажи, Нумакура-сан!

— Верно! Найто хитрит. По дешевке хочет купить — ничего у него не выйдет! Нечего торговаться. Покупаешь, так не торгуйся! — слышались детские голоса.

Каидзима остановился:

— Что вы там делаете?

Ребята хотели было разбежаться, но Каидзима стоял слишком близко и скрыться было невозможно.

«Раз попались, делать нечего! Пусть влетит!» — явственно читалось на лице Нумакуры.

— Ну что, Нумакура? Примете меня в свою компанию? Что продается на вашем рынке? Может быть, поделитесь с учителем деньгами и поиграем вместе?

Каидзима улыбался, но глаза были зловеще налиты кровью. Никогда раньше дети не видели таким своего учителя.

— Ну что, давайте играть? Не бойтесь! С сегодняшнего дня я тоже становлюсь вассалом Нумакуры!

Нумакура испуганно, с растерянным видом отступил на несколько шагов, но, быстро придя в себя, подошел к Каидзиме. Выждав паузу, он с важностью школьного вожака, покровительственным тоном произнес:

— Вы это серьезно, сэнсэй? Ну что ж, дадим учителю деньги. Скажем, миллион и е н . . . — С этими словами он вынул из кошелька ассигнацию и протянул ее Каидзиме.

— Вот здорово! Учитель заодно с нами! — сказал один из ребят. Остальные весело захлопали в ладоши.

— Сэнсэй! Вам что-нибудь нужно? Все, что хотите! Табак, спички, сакэ, лимонад... — кричал кто-то из мальчиков, подражая зазывале в пристанционной лавке.

— Мне нужно только молоко. На вашем рынке есть молоко?

— Молоко? Это у нас в магазине. Завтра я принесу. Для вас уступлю за тысячу и е н , — сказал сын виноторговца Найто.

— Хорошо, хорошо. Тысяча иен — это дешево. Завтра я опять приду сюда играть с вами, так что смотри не забудь!

«Ну вот, — сказал сам себе Каидзима, — теперь я смогу достать для ребенка молоко. Нет, что ни говори, у меня есть опыт обращения с детьми».

На обратном пути, проходя мимо магазина Найто, Каидзима вдруг решительно вошел внутрь и попросил молока.

— Гм, и впрямь цена тысяча иен. Вот деньги, прошу! — Он протянул продавцу ту самую ассигнацию. В ту же секунду, словно очнувшись от кошмарного сна, он часто-часто заморгал. Лицо его заливала краска.

«Какой ужас! Какой позор! Я сошел с ума, меня примут за сумасшедшего! Хорошо, что вовремя спохватился, придется выкручиваться!» — пронеслось у него в голове.

— Ну какие же это деньги? Просто захотелось пощупать! — рассмеявшись, сказал он, обращаясь к продавцу. — Но все ж возьмите на всякий случай, — продолжал он, — тридцатого числа я обязательно заплачу наличными!

1918

ЛИАНЫ ЁСИНО

I

НЕБЕСНЫЙ ГОСУДАРЬ

Прошло уже больше двадцати лет с тех пор, как то ли в начале, то ли в середине 10-х годов я бродил и горах Ёсино, в провинции Ямато. В те времена там не было даже сносных дорог, не то что теперь, так что, начиная этот рассказ, нужно прежде всего пояснить, с чего мне вздумалось забраться в такую глушь, или, выражаясь по-современному, в эти «Альпы Ямато».

Возможно, кое-кто из моих читателей знает, что в тех краях, в окрестностях речки Тоцу, в селениях Китаяма и Каваками, до наших дней живут легенды о последнем отпрыске Южной династии — «Южном властелине», или, иначе, «Небесном государе». То, что этот Небесный государь — принц Китаяма, праправнук императора Камэямы, — реальное историческое лицо, признают даже специалисты-историки, так что это безусловно не пустая легенда. Если предельно кратко изложить, что говорится об этом хотя бы в школьных учебниках, получится, что примирение и слияние двух династий произошло при сёгуне Ёсимицу, в 9-м году Гэнтю¹ (согласно хронологии Южной династии), или в 3-м году Мэйтоку (если считать по хронологии Северной), и на этом пришел конец так называемому Южному царству, возникшему при императоре Го-Дайго в 1-м году Энгэн² и существовавшему на протяжении пятидесяти с лишним лет. Однако вскоре после примирения, а именно в 23-й день 9-й луны 3-го года Какицу, некий Масахидэ Дзиро Кусуноки, храня верность последнему отпрыску Южной династии, принцу Мандзюдзи, внезапно напал на резиденцию императора Цутимикадо, похитил все три священные регалии и заперся на горе Хизэй. Против мятежников был выслан

¹ 1392 г.

² 1336 г.

отряд карателей, принц покончил с собой, из трех похищенных регалий зеркало и меч удалось вернуть, священная яшма, однако, осталась в руках южан. И вот два клана, Кусуноки и Оти, объявив себя вассалами Южной династии, стали по-прежнему служить двум сыновьям погибшего принца и, собрав верных воинов, бежали с ними из провинции Исэ в Кии, из Кии — в Ямато, в самую глушь гор Ёсино, недоступную северянам. Там провозгласили они старшего принца Небесным государем, а младшего — Великим сёгуном, изменили девиз годов на Тэнсэй, Небесный Покой, и в течение шестидесяти лет прятали священную яшму в ущелье, куда враги никак не могли добраться. Но их предали — изменниками оказались потомки дома Акамацу, — оба принца погибли, и, таким образом, все отпрыски Южной династии в конце концов были истреблены. Случилось это в 12-ю луну 1-го года Тёроку¹; если прибавить к предыдущим пятидесяти семи годам еще шестьдесят пять, прошедших до гибели этих принцев, выходит, что, как бы то ни было, потомки Южной династии, непокорные столичным правителям, обитали в Ёсино в общей сложности целых сто двадцать два года.

Не удивительно, что жители Ёсино, безраздельно преданные Южной династии, от праотцов своих воспринявшие традицию нерушимой верности Югу, связывают конец династии с гибелью последнего Небесного государя. «Нет, вовсе не пятьдесят с чем-то... Южное царство длилось больше ста лет!» — категорически утверждают они.

Подростком я тоже зачитывался «Повестью о Великом мире», всегда интересовался подробностями неофициальной истории Южного двора и давно уже подумывал написать исторический роман, где центральной фигурой был бы этот Небесный государь. В «Сборнике устных преданий селения Каваками» сказано, что, опасаясь преследования северян, последние вассалы Южной династии покинули долину Сионоха у подножья вершины Одайгахара и переместились еще дальше в глубину гор, в ущелье Санноко, куда не ступала человеческая нога, к почти недоступному разлому Осути, на самой границе с провинцией Исэ. Там воздвигли они дворец для своего повелителя, а священную яшму схоронили в пещере.

Далее хроники домов Акамацу, Коцуки и некоторые другие источники гласят, что некий Хикотаро Мадзима

¹ 1457 г.

с тридцатью воинами — остатками дружин Акамацу — нарочно сдался южанам, и во 2-й день 12-й луны 1-го года Тёроку, воспользовавшись тем, что из-за глубоких снегов дороги стали непроходимыми, внезапно учинил мятеж. Часть предателей напала на дворец Небесного государя, другая часть — на обитель младшего принца. Небесный государь самолично защищался мечом, но в конце концов пал от руки изменников. Они бежали, захватив с собой его отрезанную голову и священную яшму, но помешал сильный снегопад, и сумерки застали предателей на перевале Обагаминэ. Пришлось зарыть голову в снег и провести ночь в горах. А наутро их настигла погоня — то были жители всех восемнадцати селений Ёсино. Завязалась ожесточенная схватка, как вдруг в том месте, где зарыли голову, из-под снега брызнула струя крови. По этому знаменю голову мгновенно нашли — врагам она не досталась... Вышеприведенный рассказ не вызывает сомнений, с небольшими вариантами его приводят все письменные источники — хроники «Путь императора к Южным холмам», «Тучи цветущей сакуры», «Хроника Юга», «Хроника реки Тоцу», в особенности же семейные хроники Акамацу и Коцуки, написанные непосредственными участниками тех сражений или их прямыми потомками. Согласно одной из этих хроник, Небесному государю было тогда восемнадцать лет... К тому же известно, что дом Акамацу, пришедший в упадок после смуты годов Какицу, снова был восстановлен — то была награда за истребление двух последних принцев Южной династии и за возвращение в столицу священной яшмы.

* * *

Вообще из-за плохих дорог связь всей этой округи с остальным миром очень затруднена. Поэтому там до сих пор сохранились старинные предания и нередко встречаются семьи с многовековой родословной, например, семейство Хори в деревне Ано, в усадьбе которого на какое-то время останавливался император Го-Дайго. Сохранилась в неприкосновенности не только часть того дома, но, говорят, потомки Хори в по сей день живут там... Или семейство Хатири Такэхары, того самого, о котором упоминается в «Повести о Великом мире», в главе, повествующей о бегстве принца Моринаги из Кумано. Принц какое-то время жил у них в доме, у дочери Такэхары даже родился от него сын — потомки этой

семьи тоже все еще здравствуют... Есть места, еще более овеянные легендами, — например, селение Гокицугу близ горы Одайгахара; местные крестьяне считают жителей этого села потомками демонов и ни в коем случае не вступают с ними в брак, а те, в свою очередь, и сами не желают заключать браки с кем-нибудь, кроме односельчан, и считают себя потомками демонов, служивших проводниками святому угоднику Эн-но Гёдзя... Таков характер всего этого края, там много старинных семейств, их называют «родовитыми» — все это потомки местных старейшин, некогда служивших Южной династии. В окрестностях деревни Касиваги, в долине Конотани, где стоял когда-то дворец младшего принца-сёгуна, и поныне каждый год пятого февраля справляют праздник «Владыки Южного двора», в храме Конгодзи происходит торжественное богослужение. В этот день десяткам «родовитых» мужчин разрешается надевать старинную одежду с гербами императорского дома — хризантемой о шестнадцати лепестках, — и занимать почетные места выше вице-губернатора, начальника уезда и прочих чиновников...

* * *

Все эти разнообразные материалы, с которыми мне довелось познакомиться, не могли не подхлестнуть мое давнишнее желание написать исторический роман. Южная династия, цветение сакуры в Ёсино, таинственные долины в горной глуши, юный восемнадцатилетний Небесный государь, верный вассал Кусуноки, священная яшма, спрятанная в глубине пещеры, фонтан крови, брызнувший из-под снега из отрубленной головы... — достаточно одного этого перечисления, чтобы понять — лучшего материала не найти! И место действия превосходно: горные реки и скалы, дворцы и скромные хижины, весеннее цветение сакуры и багрянец осенних кленов — все это можно использовать, изобразив на страницах книги. При этом речь идет не об измышлениях, лишенных всякого основания; в моем распоряжении не только строго научные данные — разумеется, в основе будут они, — но также семейные хроники и другие рукописные материалы. Писателю достаточно всего лишь умело расположить факты, и может получиться прелюбопытное произведение. А если добавить к этому еще чуточку вымысла, вставить там, где это уместно, различные предания и легенды, описать своеобразную природу Ёсино, рассказать о потомках де-

монов, о пустынных с вершины Оминэ, об идущих в Кумано богомольцах, поместить рядом с юным государем красавицу героиню — скажем, какую-нибудь правнучку принца Моринаги, — получится еще интереснее! Просто удивительно, что литераторы, пишущие исторические романы, до сих пор не воспользовались таким материалом... Правда, я слышал, будто у Бакина есть незаконченный роман «История рыцаря», я его не читал, но мне говорили, что главная героиня, дочь Кусуноки, девица Кома — вымышленное лицо и, следовательно, роман не имеет отношения к событиям, связанным с Небесным государем. Слышал я также, что в эпоху Токугава было одно или два произведения о государе в Ёсино, но совершенно неясно, в какой степени они основаны на подлинных фактах. Одним словом, ни в прозе, ни в пьесах дзёрури, ни в театре Кабуки, короче — среди произведений, популярных в широкой публике, — мне никогда не встречался этот сюжет. Вот почему я решил обязательно использовать этот материал, пока никто еще до него не добрался.

К счастью, неожиданные обстоятельства позволили мне ближе познакомиться с природой и обычаями этого края. Родные одного из моих товарищей по колледжу, молодого человека по фамилии Цумура, жили в деревне Кудзу, в Ёсино, хотя сам Цумура родился и постоянно жил в Осаке.

По берегам реки Ёсино есть две деревни Кудзу. Название той, что в верхнем течении, пишется одним иероглифом, а той, что в нижнем, — двумя, эта последняя и есть селение, получившее известность благодаря пьесе театра Но из времен древнего императора Тэмму. Впрочем, знаменитый местный продукт — крахмал «кудзу» — не производят ни в той ни в другой деревне. Не знаю, каким промыслом занимаются жители верхней деревни, а вот в нижней многие крестьяне кормятся изготовлением бумаги, причем вырабатывают они ее редкостным по нынешним временам, примитивным старинным способом, вымачивая волокна лианы «кудзу» в водах реки Ёсино. В этой деревне часто встречается причудливая фамилия Комбу, родственники Цумуры тоже носили эту фамилию и тоже занимались изготовлением бумаги, причем по этой части им принадлежало первое место во всей деревне. По словам Цумуры, семья эта тоже была довольно старинной, так что, должно быть, имела в прошлом какое-то отношение к последним вассалам Южной династии. Только по-

бывав у них в доме, я впервые узнал, например, какими мудреными иероглифами пишутся названия местных гор и долин Сионоха и Санноко... Глава семьи, Комбу-сан, рассказал, что от их деревни до долины Сионоха более шести ри, оттуда до ущелья Санноко — еще два ри, а до самого конца, до того места, где некогда обитал Небесный государь, так даже больше четырех... Правда, он знает об этом лишь понаслышке, из их деревни почти никто никогда туда не ходит... Только из рассказов плотогонов, которые спускаются с верховьев реки Ёсино, известно, что в глубине ущелья, на крохотном плоскогорье, именуемом «Полянка Хатимана», стоят несколько хижин углежогов, а еще дальше в ущелье, там, где оно как бы замыкается тупиком, есть площадка — она называется «Скрытная полянка», — и вот там-то и впрямь сохранились руины дворца Небесного государя, есть и пещера, где прятали священную яшму... Но даже монахи-ямабуси, идущие по обету на вершину Оминэ, не могут туда добраться, так как от самой горловины ущелья на всем его протяжении тянутся отвесные, поистине неприступные скалы и нет ничего похожего хотя бы на какую-нибудь тропинку. Жители деревни Касиваги обычно ходят купаться в горячих источниках, бьющих у речки Сионоха, но оттуда поворачивают назад... Да, в этом ущелье из-под земли бьют бесчисленные горячие ключи, образуя множество водопадов, самый большой называется Мёдзин, но любуются всей этой красотой разве лишь углежогои да дровосеки...

* * *

Этот рассказ о плотогонах еще больше обогатил мир моего будущего романа. У меня и без того уже скопилось много как на подбор прекрасного материала, а тут еще эти горячие ключи — еще одна великолепная деталь, лучше невозможно придумать... И все-таки, не будь приглашения Цумуры, я вряд ли отправился бы в такую глушь, потому что, находясь в Токио, уже подобрал все, какие возможно, письменные источники. Когда в твоём распоряжении так много материала, совсем не обязательно самому ехать на место действия, все остальное дорисует собственная фантазия... Пожалуй, может получиться даже эффектней... Но то ли в конце октября, то ли в начале ноября Цумура написал мне: *«Может быть, все-таки съездишь, бросишь взгляд? Как раз подвернулся удобный случай...»* Цумуре понадобилось навестить тех самых его

родственников в деревне Кудзу. *«До ущелья Санноко мы с тобой, пожалуй, не доберемся, — писал он, — по ты сможешь осмотреть окрестности Кудзу, познакомишься с тамошними краями, с местными обычаями, это безусловно пригодится для твоего романа. Я имею в виду не только события, связанные с Южной династией, — эта местность вся очень интересна, ты сможешь собрать по тамошним деревьям оригинальный материал, которого хватит для двух и даже для трех романов... Во всяком случае, напрасной твоя поездка никак не будет! Так что не ленись потрудиться в собственных профессиональных интересах! Время сейчас тоже самое подходящее, для поездки лучшего сезона не выбрать. Все стремятся попасть в Ёсино к весеннему цветению сакуры, но осень там тоже очень и очень недурна...»*

Боюсь, мое предисловие чересчур затянулось, но я хотел объяснить, что побудило меня внезапно пуститься в дорогу. Конечно, известную роль сыграли мои, как писал Цумура, «профессиональные интересы», но, по правде сказать, больше всего меня влекло желание беззаботно побродить на лоне природы...

II

ИМОСЭЯМА

Мы договорились встретиться в Наре; в условленный день Цумура придет туда из Осаки и будет ждать меня в гостинице «Мусасино», у подножия горы Вакакуса. Со своей стороны, я выехал из Токио ночным поездом, провел сутки в Киото и на следующее утро был в Наре. Гостиница «Мусасино» существует и поныне, но, говорят, хозяин там уже новый, не тот, что двадцать лет назад, да и само здание, на мой взгляд, раньше было более старинным, изысканным. Эта гостиница, да еще гостиница «Кокусуй» считались в те времена самыми первоклассными заведениями, отель, построенный министерством путей сообщения, появился гораздо позже... Цумура, как видно, меня заждался и хотел как можно скорее ехать дальше, да и я в Наре бывал не раз, и чтобы не терять времени, пока день стоит погожий, как на заказ, мы отправились в путь, полюбовавшись из окна гостиницы видом горы Вакакуса всего какой-нибудь час-другой.

Сделав пересадку в Ёсиногути, скрипучей узкоколей-

кой мы доехали до станции Ёсино и пошли оттуда пешком по дороге, тянувшейся вдоль берега реки Ёсино. У заводи Мацуда — как, наверное, помнят читатели, эта заводь упоминается еще в поэтическом собрании «Мангёсю» — дорога разветвляется надвое. Та, что сворачивает направо, ведет к прославленным местам любования сакурой Ёсино; перейдя мост, сразу попадаешь к Нижней Роще, затем идут Сэкия, храм бога Дзао, Ёсимидзу, Средняя Роща — всё места, где в сезон цветения сакуры толпятся приезжие. Мне тоже довелось дважды любоваться сакурой в Ёсино, один раз в детстве, когда мать взяла меня с собой в поездку по знаменитым местам Камигаты, а другой раз уже в бытность студентом колледжа. Помнится, тогда я тоже вместе со всей толпой свернул направо. Но налево я шел теперь в первый раз.

Недавно до Средней Рощи пустили автобус, появилась канатная дорога, так что сейчас, пожалуй, никто уже не ходит по этим местам пешком, не спеша обозревая окрестности, но в старину люди, приезжавшие любоваться сакурой, обязательно сворачивали у этой развилки направо и, добравшись до моста через заводь Мацуда, любовались видом реки Ёсино.

— Вот, взгляните туда... Видите, там виднеются горы Имосэяма. Слева — Имояма, а справа — это Сэяма... — непременно говорил проводник-рикша, останавливая приезжих на мосту и указывая вверх по течению.

Помню, моя мать тоже остановила здесь рикшу и, держа меня, совсем еще несмышленьша, на коленях, сказала, нагнувшись к моему уху:

— Помнишь пьесу «Имосэяма» в театре? А вот там — настоящие горы Имосэяма!

Я был еще очень мал, поэтому ясного впечатления не сохранилось, помню только, что было это под вечер, в середине апреля, когда в горном краю еще довольно прохладно. Под высоким, туманным небом издалека, где как будто смыкались бесконечные горные цепи, текла в нашу сторону окутанная дымкой река Ёсино, только посредине ветерок морщил воду, образуя как бы дорожку, похожую на полоску жатого шелка, а вдали виднелись сквозь вечернюю дымку две хорошенькие круглые горки. Невозможно было отчетливо разглядеть, что они находятся по обе стороны реки, но из пьесы я знал, что горки эти расположены на разных берегах, напротив друг друга. В театре Коганоскэ и его нареченная Хинадори живут в высоких теремах, она — у горы Имояма, он — у горы Сэяма.

В этой сцене сильнее, чем в других эпизодах, чувствуются сказочные мотивы, поэтому на меня, ребенка, она произвела наиболее сильное впечатление. «А-а, так вот они, горы Имосэяма!» — подумал я, услышав слова матери, и мне показалось, будто стоит только пойти туда, и я увижу Коганоскэ и Хинадори; я погрузился в детские фантастические мечты... С тех пор я хорошо запомнил этот вид с моста, иногда он вдруг всплывал в памяти, вызывая теплое чувство. Вот почему, когда я снова приехал в Ёсино — мне было тогда уже года двадцать два, — я снова облокотился здесь о перила и, вспоминая мать, в ту пору уже покойную, долго смотрел на открывавшуюся передо мной панораму. В этом месте река вырывается из гор Ёсино на довольно обширную равнину, стремительный горный поток превращается в спокойно, плавно бегущую речку, «течет привольно среди равнины...», а вдали, выше по течению, виднеется городок Камиити с его единственной улицей — скоплением простых деревенских домов с низко нависшими крышами и мелькающими там и сям белыми оштукатуренными стенами амбаров.

...Теперь, не останавливаясь на мосту и свернув у развилки влево, я шел, направляясь к горе Имояма, которую раньше видел только издалека. Дорога, бежавшая вдоль реки все прямо и прямо, казалась на первый взгляд удобной и ровной, потом становится крутой, каменистой; мне сказали, что после городка Камиити, оставив позади деревни Миятаки, Кудзу, Отани, Сако и Касиваги, она постепенно уходит все дальше в горы, к самым истокам реки Ёсино, и, пересекая водораздел между провинциями Ямато и Кии, в конце концов выходит к заливу Кумано.

* * *

Мы выехали из Нары довольно рано и потому добрались до Камиити вскоре после полудня. Дома вдоль дороги, как я и думал, когда смотрел на них издали, оказались очень простой, старинной постройки. Местами на бегущей вдоль реки улице линия домов прерывалась, но большей частью эти дома, с низким, словно чердак, вторым этажом и темными, как будто закопченными, решетками «сёдзи», вплотную примыкали друг к другу, заслоняя вид на реку. Бросив взгляд сквозь эти решетки в сумеречную глубину дома, можно было увидеть неперенную особенность деревенских жилищ — длинный немощный проход, ведущий через все строение во двор. Нередко над входом в

этот коридор висел традиционный короткий занавес «норон», на темно-синей ткани которого белой краской выписывают торговую марку и фамилию хозяина, — очевидно, в этих местах принято вешать такие занавески не только над входом в лавку, но и в обычные жилые дома... Карнизы повсюду нависают так низко, как будто крыша придавила весь дом к земле, вход тесный, за занавеской мелькают деревья в маленьком дворике, иногда видны отдельно стоящие флигельки. В здешних краях многим домам добрых пятьдесят, а то, пожалуй, все сто или, может быть, даже двести лет. Но при этом сёдзи повсюду оклеены безупречно новой, светлой бумагой. Кажется, будто их только что оклеили заново, нигде ни пятнышка, крохотные дырочки аккуратно заклеены кружочками, вырезанными в форме цветка — в прозрачном, чистом осеннем воздухе эти сёдзи сверкали прохладной белизной. Конечно, пыли здесь нет, отсюда эта безупречная чистота, но кроме того, здесь не знают застекленных сёдзи, как в городе, и люди относятся к бумаге бережнее, чем горожане. В Токио и в предместьях можно защитить сёдзи дополнительным слоем застекленных рам, там же, где это невозможно, из-за грязной бумаги в доме будет темно, а если она порвется, сквозь дыры будет задувать ветер, а это уже не шутка!.. Как бы то ни было, все эти стоявшие в ряд дома с их почерневшими от времени деревянными стенами и решетками напоминали красавицу, пусть бедную, но опрятную, тщательно следящую за своей внешностью. «Да, вот и осень...» — всем своим существом ощутил я при виде этой освещенной солнцем бумаги.

В самом деле, хотя небо было безоблачным, отраженные бумагой лучи не резали глаз, мягкий, прекрасный свет, казалось, проникал в душу. Солнце склонилось над рекой, освещая сёдзи на левой стороне улицы, но отблеск лучей чуть ли не до половины озарял дома на противоположной стороне. Особенно красиво выглядела хурма, выложенная рядами в лавке зеленщика. Плоды разной формы, разных сортов, спелые, кораллово-глянцевитые, блестели как живые в заливавшем улицу свете. Даже связки лапши в стеклянных ящиках у торговца лапшой казались необычайно яркими. Перед домами на расстеленных рогожах сушился в корзинах древесный уголь, откуда-то доносился звон кузнечного молота и шуршание крупорушки.

Дойдя до околицы, мы закусили в харчевне на берегу реки. Горы Имосэяма, казавшиеся такими далекими, когда я смотрел на них с моста, высились здесь прямо перед глазами, Имояма на этом берегу, Сэяма — на том. Несомненно, именно этот вид вдохновил автора пьесы «Имосэяма, или Семейные наставления для женщин», однако на самом деле река в этом месте довольно широка, не тот узкий поток, который мы видим в театре... Даже если Коганоскэ и Хинадори жили по берегам этой речки, они не могли бы переговариваться, как это происходит на сцене. У горы Сэяма, примыкающей к горному кряжу, очертания неправильной формы, зато Имояма — совсем отдельно стоящая округлая возвышенность, вся укутанная в пышную зелень. Городок Камииити примыкает к самому подножью этой маленькой горки. Со стороны реки видно, что у всех домов есть, оказывается, еще по одному этажу, двухэтажные дома на самом деле трехэтажные. У некоторых с верхнего этажа протянута к реке проволока со свисающим на веревке ведром, чтобы черпать воду.

— Знаешь, ведь кроме «Имосэямы», есть еще пьеса «Вишни Ёсицунэ»... — сказал вдруг Цумура.

— Но, насколько я помню, действие там происходит не здесь, а в Симоити... Говорят, там и сейчас есть лавка «У колодца», где продают суси...

В этой пьесе хозяин лавки усыновляет беглеца Корэмори. Я не бывал в Симоити, но слышал, что многие тамошние жители считают себя потомками этого хозяина. Сыновьям, правда, не дают имени «Гонта-Плут», до этого дело не дошло, но дочерей до сих пор называют «О-Сато», а суси придают форму, напоминающую колодезный сруб... Цумура, однако, имел в виду не этот эпизод пьесы, а барабанчик госпожи Сидзуки — Хуцунэ, Первый Вестник. Он сказал, что в деревне Нацуми есть семья, берегущая этот барабанчик как семейную реликвию, и предложил зайти туда по дороге.

До сих пор я считал, что селение Нацуми находится у реки того же названия, как о том говорится в пьесе театра Но «Две Сидзуки». «К берегам реки Нацуми, скитаясь бесцельно, женщина пришла...» — с этими словами на сцене появляется призрак Сидзуки. «Время грехов удручает меня, помолись за мой упокой...» — говорит она. Затем следует пляска, и, танцуя, она поет:

О горе мне! Сколь тягостно признание —
Но в силах сердце позабыть о прошлом.

Узнай же: не крестьянка пред тобою,
Хоть сборщицею траг я обратилась
На берегу Нацуми в Ёсино!..¹

Очевидно, есть какие-то основания у легенды, соединившей образ Сидзуки с рекой Нацуми. В старинном свитке «Знаменитые места Ёсино в картинках» сказано: «Селение Нацуми славится замечательно вкусной водой, ее называют «цветочной». Далее говорится, что в этом селении некоторое время пребывала госпожа Сидзука, так что легенда эта, очевидно, возникла очень давно. По словам Цумуры, семья, хранящая барабанчик, носит теперь фамилию Отани, но в прошлом именовалась «родовитым» семейством Муракуни. В старых семейных документах сказано, что Ёсицунэ и Сидзука некоторое время жили у них в доме, когда бежали в Ёсино в конце эпохи Хэйан. Неподалеку имеются известные красотой места — мост Дремоты, мост С и б а, — и туристы иногда спрашивают о барабанчике Хацунэ, но фамильное сокровище не показывают случайным людям, нужно заранее заручиться соответствующей рекомендацией... Цумура уже попросил своих родственников, живущих в Кудзу, замолвить за него слово, чтобы можно было посмотреть барабанчик, так что сегодня нас, наверное, уже ждут...

— Как только Сидзука ударяет в барабанчик, появляется лис, принявший облик самурая Таданобу... Потому что барабанчик обтянут кожей его матери-лисы... Об этом барабанчике идет речь?

— Да, так оно в пьесе.

— И эти люди считают, что у них хранится тот самый барабанчик?

— Да, говорят, они так считают.

— И он действительно обтянут лисьей кожей?

— За это поручиться не могу, поскольку сам не видел. Одно несомненно — это старинная семья.

— Боюсь, что это такая же выдумка, как «лавка суши»... Какой-то шутник придумал когда-то эту историю, посмотрев в театре пьесу «Две Сидзуки»...

— Возможно. Но меня интересует этот барабанчик. Я хочу побывать у Отани и посмотреть на него. Я давно уже собирался это сделать, это одна из причин моего нынешнего приезда... — Казалось, за словами Цумуры что-то скрывается. Но он добавил только: — Я расскажу тебе об этом потом... — и больше ничего не сказал.

¹ Здесь и далее в этом рассказе перевод А. Долина.

БАРАБАНЧИК ХАЦУНЭ

Дорога к деревне Миятаки по-прежнему тянулась вдоль берега. Чем дальше мы углублялись в горы, тем сильнее давала себя знать осень. В дубравах, то и дело встречавшихся на пути, под ногами шуршал ковер из палой листвы, сплошь устилавшей землю. Кленов здесь было не так уж много, и росли они не обязательно все вместе, большими рощами, но в целом осенние краски были сейчас в самом зените, на вершинах, в лесу, среди густых вечнозеленых криптомерий, то здесь, то там мелькали листья плюща, лакового и воскового деревьев всевозможных оттенков, от темно-багрового до самого бледно-желтого. Осенние листья принято называть багряными, но здесь убеждаешься, как разнообразен их цвет, есть и желтые, и коричневые, и алые, одного лишь желтого цвета можно насчитать десятки оттенков. «В Сиохаре осенью даже лица красные...» — гласит известная поговорка. Конечно, прекрасно, когда все листья сплошь красные, но такие разноцветные, как здесь, тоже удивительно хороши. «Без числа и без счета багрянец и пурпур...», «Пестрота, буйство красок...» — эти поэтические метафоры созданы, вероятно, для описания цветущих весенних полей, но здешние краски отличаются разве лишь тем, что в основе у них цвет осени — желтизна, что же касается богатства оттенков, оно вряд ли уступит весеннему разнотравью... И время от времени эти желтые листья падают на воду, сверкая золотой пылью в лучах солнца, заливающих все пространство от вершин до глубоких ущелий...

* * *

В поэтическом собрании «Манъёсю» упомянуты многие здешние места — загородный дворец императора Тэмму, усадьба поэта Каса-но Канамуры у перекатов реки Ёсино, гора Мифунэ, поля Акидзу, воспетые поэтом Хитомаро, — считается, что все это находилось в окрестностях селения Миятаки. Мы, однако, не доходя до Миятаки свернули с главной дороги и перешли на другой берег. Здесь долина постепенно сужалась, берег превратился в крутой обрыв, внизу воды бурной реки, брызгая белой пеной, разбивались об огромные камни на речном ложе или темнели в заводи,

образуя синий, как яшма, омут. Легендарный Мост Дремоты находился в том месте, где маленькая речка Киса, вытекая из густых зарослей, с легким, едва слышным журчанием впадала в эту заводь. На этом мосту будто бы однажды дремал Ёсичунэ, но, думается, это просто легенда, придуманная в последующие века. Так или иначе, этот хрупкий, красивый мостик, повисший над тонкой нитью кристально чистой воды, почти тонул в лесной чаще, а сверху над ним был устроен маленький изящный навес, похожий на крышу старинной лодки для переправы, не столько для защиты от дождя, сколько от опадающих листьев, иначе в такой сезон, как сейчас, мостик был бы, пожалуй, мгновенно погребен под палой листвой. Неподалеку виднелись две крестьянские хижины; как видно, жители использовали этот навес как собственную кладовку — мостик был завален вязанками дров, только посредине оставлена узенькая дорожка, чтобы можно было пройти. Место это называлось Хигути, дорога здесь снова раздваивалась, одна тянулась вдоль берега к деревне Нацуми, другая вела через мостик к храму Сакураги, к деревне Кисатани и дальше — к Верхней Роце, в Кокэ-но Симидзу и к Хижине Сайгё. «Сквозь снега на вершинах однажды пробрался...» — поет о Сайгё в своей арии Сидзука. Должно быть, поэт проходил по этому мостику, направляясь к долине Тюин в глубину гор Ёсино...

* * *

Мы не заметили, как перед нами внезапно выросли крутые утесы. Полоска неба сузилась еще больше, казалось, и дорога, и река, и дома — все упирается здесь в тупик, но на склонах гор, по крутым берегам реки, в похожих на мешок впадинках виднелись окруженные с трех сторон нагромождением камней террасы полей, камышовые крыши, распаханная земля. Это и была деревня Нацуми — как видно, нет конца человеческому жилью, было бы хоть маленькое пространство, куда можно его пристроить...

В самом деле, и бурная река, и горные цепи — все подходило здесь для убежища беглецов.

Мы спросили дом Отани и сразу же его отыскали. Это был дом под великолепной крышей, стоявший на спускавшемся к реке склоне, посреди поля, где росли туты. Камышовая крыша с выложенными черепицей карнизами выглядела поистине восхитительно, издали только она и

виднелась над тузовыми деревьями, похожая на островок среди моря. По сравнению с крышей сам дом, однако, оказался заурядным крестьянским жилищем. В двух смежных комнатах по фасаду сѣдзи были раздвинуты, и в той из них, где имелась парадная ниша, сидел мужчина лет сорока, по-видимому хозяин. Завидев нас, он вышел и поздоровался прежде, чем мы успели представиться. Грубоватое, сильно загорелое лицо, дружелюбный взгляд подслеповатых маленьких глаз, небольшая голова, широкие плечи — все выдавало в нем честного, простого крестьянина.

— Комбу-сан говорил мне о вас, я вас ждал!.. — сказал он на деревенском диалекте, который я с трудом разбирал. В ответ на наши расспросы он только вежливо кланялся, ничего толком не отвечая. Я подумал, что род этот, очевидно, захирел, утратив былой почет и достаток. Но такой простой, скромный человек был мне, напротив, гораздо больше по душе.

— Извините, что помешали вам в горячую пору... Мы слышали, что в вашем почтенном доме хранятся семейные сокровища, которые не показывают посторонним. С нашей стороны это, конечно, очень бесцеремонно, но мы все-таки надеемся их увидеть...

— Нет, не то чтобы мы не хотели никому их показывать, — смущенно и как бы с запинкой ответил он. — Видите ли, предки завещали нам семь дней совершать очистительные обряды, прежде чем доставать эти вещи... Но в наше время невозможно выполнять такие сложные церемонии... Мы охотно показали бы эти вещи всем желающим, но ведь мы целыми днями в поле, и когда приходят вдруг, без предупреждения, так и времени-то нет заняться с гостями. В особенности в такую пору, как сейчас, когда еще не закончилось осеннее кормление шелковичных червей... Обычно в эти дни все циновки в доме снимают, и если вдруг пожалует гость, так даже некуда его проводить, вот ведь как получается... Но если нас заранее предупредят, мы обязательно как-нибудь да устроимся и рады гостям... — как бы затрудняясь, говорил он, чинно опустив на колени руки с черными, перепачканными в земле ногтями.

В самом деле, очевидно сегодня, ожидая нас, он специально застелил циновками эти две комнаты. Сквозь щелку в сѣдзи виднелось соседнее помещение — кладовка, где на голом дощатом полу были грудой навалены разные крестьянские орудия труда, как видно, заброшен-

ные туда второпях. Все семейные сокровища, заранее приготовленные, уже лежали в парадной нише, и хозяин одно за другим благоговейно выложил их перед нами.

* * *

...Свиток, озаглавленный «История деревни Нацуми», несколько мечей и кинжалов — подарок рыцаря Ёсицунэ — и к ним каталог, старинные гарды, колчан, фарфоровая бутылочка для сакэ и, наконец, барабанчик Хацунэ, полученный в дар от госпожи Сидзуки... В конце свитка стояло: «По приказанию посетившего деревню Нацуми наместника Мокудзаэмона Найто, записал Гэмбэй Отани, семидесяти шести лет, как доклад о том, что он слышал», и проставлена дата: 2-й год Ансэй¹. Лето». Мы узнали, что, когда наместник прибыл в деревню, старый Гэмбэй Отани, доводящийся каким-то прапрадедом нынешнему хозяину, принял его, усевшись на землю в смиренной позе, но впоследствии, ознакомившись с этой рукописью, наместник уступил старику свое место и в знак почтения сам уселся на землю... Впрочем, бумага так загрязнилась и почернела, как будто ее насквозь прокоптили, разобрать, что там написано, было трудно, и к свитку прилагалась начисто переписанная копия. Не знаю, каков был оригинал, но копия изобиловала ошибками, многие иероглифы и даже буквы были искажены, так что никак невозможно было поверить, что писавший был по-настоящему образованным человеком. Из содержания явствовало, что предки семьи Отани владели здесь землей еще до эпохи Нара. В смуту годов Дзинсин некий Оёри, старейшина деревни Муракуни, держал сторону императора Тэмму, содействуя поражению принца Отомо. В те времена этому старейшине принадлежали пятьдесят тё земли, простиравшейся от упомянутой деревни вплоть до селения Камиити, а река Ёсино, на том отрезке, где она протекала по его землям, называлась тогда рекой Нацуми... Что же касается Ёсицунэ, то в свитке значилось: «Князь Ёсицунэ Минамото встретил праздник Пятой луны в верховьях реки на горе Белая Стрела, Сирая, а затем, спустившись с горы, поселился в доме Муракуни и прожил там тридцать или сорок дней. Увидев мост Сибя в Миятаки, он сложил нижеследующие стихотворения...» За сим следовали два стихотворения танка.

¹ 1855 г.

Сколько живу, ни разу еще не встречались мне стихи, которые сложил бы Ёсицунэ. Не нужно было быть специалистом, чтобы понять, как непохожи эти примитивные вирши на стихи XII столетия. Далее в свитке шла речь о госпоже Сидзуке: «В то время госпожа Сидзука, возлюбленная князя Ёсицунэ, пребывала в доме Муракуни. Когда князь Ёсицунэ бежал в северные провинции, она с горя утопилась в колодце. В деревне есть колодец, куда она бросилась, его называют Колодцем Сидзуки».

Получалось, стало быть, будто Сидзука умерла в этих местах. В заключение говорилось: «Но так как госпожа Сидзука очень тосковала в разлуке с Ёсицунэ, она целых триста лет кряду каждую ночь выходила из колодца в виде огненного клубка. Когда деревню посетил праведный Рэннэ, наставлявший всех живущих на путь спасения, деревенские жители попросили его помолиться за упокой души Сидзуки на том свете, и праведник, не колеблясь ни минуты, привел ее к Будде. В доме Отани сохранилось ее кимоно с длинными рукавами, на этом кимоно праведник написал стихотворение танка...» Затем следовало стихотворение.

Пока мы читали свиток, хозяин, не проронив ни слова, сидел по-прежнему, все в той же неподвижной, почтительной позе, но по выражению его лица было ясно, что он безоговорочно верит каждому слову этого манускрипта, доставшегося ему от предков. На наш вопрос — где теперь это кимоно, на котором написал стихи праведник? — он ответил, что еще предки его пожертвовали это кимоно в местный храм ради успокоения духа госпожи Сидзуки, но теперь в храме его нет, и куда оно подевалось — неизвестно... Потом мы рассматривали кинжал и колчан, они выглядели довольно старыми, в особенности сильно поврежден был колчан, но точно определить время их создания мы не могли. Пресловутый барабанчик Хацунэ вовсе не имел кожи, сохранился только корпус, покоившийся в ящичке из дерева павлонии. О нем мы тоже не смогли вывести никакого определенного суждения, гладкий, без всяких узоров лак казался сравнительно новым. На первый взгляд это был ничем не примечательный корпус черного цвета, без росписи, дерево, правда, выглядело довольно старым, так что, возможно, его когда-то вторично покрыли лаком. «Да, может быть...» — невозмутимо согласился хозяин.

Его добрый, смиренный взгляд удержал нас от каких-либо замечаний. Какой смысл было сообщать ему, какому

времени соответствуют годы Гэмбун¹ или приводить цитаты из «Восточного зеркала» или из «Повести о доме Тайра», где говорится о жизни госпожи Сидзуки? Хозяин свято верил всему, что было написано в свитке. Женщина, жившая в его воображении, не обязательно была той самой Сидзукой, которая танцевала перед Ёритомо на Журавлином Холме, Цуругаока... Для него она была благородной дамой, символом дней его дальних предков, милого сердцу прошлого... Фантастический образ знатной дамы, «госпожи Сидзуки», был средоточием его почтения и преданности «предкам», «господину» и «старине»... Зачем было спрашивать, правда ли, что эта благородная дама действительно искала убежища в его доме и некоторое время жила здесь? Не лучше ли было оставить его не поколебленным в своей вере, имевшей для него такое значение? А если отнестись еще снисходительней, то почему бы не допустить, что, когда дом его процветал, мог произойти случай, связанный если не с Сидзукой, так с какой-нибудь принцессой Южной династии или с беглянкой, спасавшейся от междоусобиц XVI столетия, и случай этот постепенно слился с легендой о Сидзуке?

* * *

Мы уже собрались уходить, когда хозяин сказал: «Угостить вас мне нечем, но, прошу, отведайте «спеляков»!» Он подал нам чай и принес на подносе горку хурмы и чистые металлические пепельницы.

Очевидно, «спеляками» назывались зрелые плоды хурмы. А пепельницы предназначались не для окурков, а чтобы пользоваться ими вместо тарелочек. Хозяин усиленно уговаривал нас отведать хурму, и под его уговоры я не без опаски взял в руки плод, такой спелый, что казалось, он вот-вот лопнет. Большой, конусообразный, с заостренным кончиком плод, такой спелый, что стал почти прозрачным, раздулся, как резиновый мячик, и хотя казалось, готов каждую минуту треснуть, был прекрасен, как драгоценная яшма. Какой бы зрелой ни была хурма, которую продают в городах, она никогда не бывает такого великолепного цвета и, став мягкой, совершенно теряет форму. Хозяин пояснил, что для «спеляков» отбирают хурму с толстой кожурой, сорта — «мино». Снимают плоды с дерева, когда они еще твердые, терпкие, складывают

¹ 1736—1741 гг.

в ящик или в корзинку, которую ставят куда-нибудь в уголок, по возможности защищенный от ветра, и примерно дней через десять, без всяких дополнительных ухищрений, плод становится мягким, приобретает сладкий, как нектар, вкус, наливается вязкой жидкостью. Хурма других сортов становится водянистой и никогда не бывает такой плотной, вязкой, как хурма сорта «мино». Ее можно есть, как едят сваренное всмятку я й ц о , — проделать отверстие и выбирать содержимое ложечкой, но все-таки гораздо вкуснее положить на тарелочку и есть, очистив от кожуры, хотя руки при этом, конечно, пачкаются... Однако приятный вид и вкус сохраняется лишь короткое время, если передержать плоды, так даже «спеляки» становятся водянистыми, пояснил он.

Слушая его, я глядел на лежавший у меня на ладони драгоценный шар, и мне казалось, будто я держу в руках сгусток солнечного света и духа гор. Говорят, в старину, побывав в столице, люди увозили оттуда горсть столичной земли на память; а я, если бы кто-нибудь спросил меня, какова осень в Ёсино, показал бы вместо ответа вот такой плод хурмы, который бережно привез бы домой.

В конечном итоге, самое сильное впечатление произвели на меня в доме Отани не старые рукописи, не барабанчик, а эти вот «спеляки». Мы оба с Цумурой с жадностью проглотили по целой паре сладких, тягучих плодов, наслаждаясь прохладой, заполнившей, казалось, все наше существо. Я досыта изведать на вкус осень в Ёсино... И думается, даже плоды манго, о которых говорится в священных буддийских сутрах, вряд ли были вкуснее...

IV

ЗОВ ЛИСЫ

— Послушай, в этой старой записке сказано только, что барабанчик принадлежал госпоже Сидзуке, а насчет лисьей кожи там нет ни слова...

— Да. Поэтому мне кажется, что рукопись старше пьесы, иначе в ней были бы какие-нибудь намеки на сюжет спектакля... Иными словами, вполне возможно, что автор «Вишен Ёсидзунэ» побывал в доме Отани или просто где-нибудь услышал эту легенду, и это натолкнуло его на создание пьесы, так же, как реальный пейзаж подсказал создателю «Имосэямы» идею его драмы... Правда, тут есть

известная неувязка — ведь написал-то «Вишни Ёсицунэ» Такэда Идзумо, значит, пьеса появилась уж во всяком случае гораздо раньше, чем эта рукопись, датированная 2-м годом Ансэй... Впрочем, там ведь сказано: «Гэмбэй Отани, семидесяти шести лет, записал, что слышал...» Значит, можно предположить, что сама легенда возникла намного раньше, а, как по-твоему?

— Пожалуй... Но барабанчик-то этот никак не выглядит старым.

— Да, возможно, он новый. Его могли еще раз покрасить или даже целиком сделать заново. Очень может быть, что это, так сказать, уже второе или третье «поколение», а раньше в ящичке лежал другой, гораздо, более старый...

Мы беседовали, сидя на камнях у реки, неподалеку от моста Сиба, тоже причисленного к местным достопримечательностям. Чтобы вернуться в Миятаки, нужно было перейти на другой берег.

* * *

В своих «Записках о путешествии в провинцию Ямато» Каибара Экикэн пишет: «Миятаки — не водопад, как можно предположить по названию. Река Ёсино течет здесь между огромных скал, вышиной около пяти кэн, и таких отвесных, что они похожи на стоящие ширмы. Ширина реки здесь около трех кэн, в самом узком месте устроен мост. Река стиснута берегами и поэтому очень глубока, вид исключительной красоты». Эти строчки точно передают пейзаж, который открывался нашему взору с того места, где мы сидели. «Местные жители прыгают с этих скал в воду, — продолжает далее Экикэн, — и выплывают ниже по течению реки. Во время прыжка руки у них прижаты к телу, ноги составлены вместе. Погрузившись в воду на целый дзё, они расставляют руки в стороны, благодаря чему выплывают». В старинном свитке «Знаменитые места Ёсино» есть иллюстрация, изображающая эту сценку. В самом деле, очертания берегов, река — все было точно так на той картинке. Река делает здесь крутой поворот, поток бьется о могучие скалы, брызжет белой пеной. Не удивительно, что каждый год плоты нередко разбиваются об эти скалы, как рассказал нам сегодня хозяин Отани... Обычно деревенские жители удят здесь рыбу или работают поблизости в поле, а завидев путника, тотчас зовут его посмотреть на их прославленную ловкость. Прыжок с утеса пониже стоит сто мон, с утеса повыше — двести, от-

сюда названия «Скала Сто мон», «Скала Двести мон»... Но сейчас остались одни названия, в последнее время мало кто интересуется таким зрелищем, и занятие это постепенно сошло на нет, хотя, рассказывал хозяин Отани, в молодости он тоже видал эти прыжки.

* * *

— Видишь ли, в старые времена не так-то просто было добраться в Ёсино, чтобы полюбоваться сакурой... Люди приходили сюда кружным путем, через уезд Уда, тогда ведь не было таких дорог, как теперь. Так что Ёсицунэ бежал в Ёсино совсем не тем путем, которым ехали мы с тобой... Поэтому я считаю, что Такэда Идзумо определенно побывал здесь и видел барабанчик Хацунэ... — Цумура почему-то все еще не мог отделаться от мыслей о барабанчике. — Я, конечно, не лис, но меня тянет к этому барабанчику, пожалуй, посильнее, чем лиса. Когда я его увидел, мне показалось, будто я вижу родную мать...

* * *

...Здесь нужно немного подробнее рассказать читателям о личности и образе жизни молодого человека по фамилии Цумура. По правде сказать, многое было неизвестно мне самому, пока он не рассказал мне все откровенно, когда мы сидели на тех камнях. То есть, как я уже говорил, мы вместе учились в колледже в Токио и в те годы очень дружили, но когда настало время поступать в университет, Цумура по семейным обстоятельствам вернулся домой, в Осаку, и с тех пор забросил учение. Я знал, что он вырос в Осаке, в квартале Симаноути, в старинной купеческой семье, из поколения в поколение державшей ломбард. Кроме Цумуры, в семье были еще две дочери, его сестры, но родители умерли рано, и детей растила главным образом бабушка. Старшая сестра давно вышла замуж, младшую тоже уже просватали, и бабушке не хотелось, да и боязно было оставаться одной; она пожелала, чтобы внук вернулся домой, к тому же кто-то должен был присматривать за делами, и Цумура внезапно решил бросить учение. «В таком случае почему бы тебе не поступить в университет в Киото?» — посоветовал я, однако в то время Цумура стремился не столько к занятиям наукой, сколько к литературному творчеству, так что, судя по всему, собирался, доверив коммерческие дела приказчикам, на досуге занять-

ся сочинением романов — такая перспектива привлекала его гораздо больше...

Иногда он писал мне, но ничто не указывало, чтобы он занимался литературой. Впрочем, когда человек, вернувшись домой, начинает вести жизнь обеспеченного молодого барина, честолюбие и задор улечиваются сами собой... Вот и Цумура незаметно для себя свыкся с новым окружением и, как видно, вполне довольствовался мирной жизнью купеческого сословия. Когда года через два он сообщил мне в одном из писем о смерти бабушки, я живо представил себе, как в скором времени он наверняка женится, возьмет в жены истинную уроженку Камигаты, настоящую «госпожу-хозяйшку», как принято на старинный манер именовать таких женщин, и постепенно окончательного превратится в типичного обитателя купеческого квартала Симаоути...

Он и после отъезда несколько раз бывал в Токио, но до этой поездки у нас все как-то не было случая поговорить по душам. Увидев Цумуру после долгого перерыва, я убедился, что в общем и целом мой товарищ стал именно таким, как я себе представлял. Когда студенты, будь то юноши или девушки, закончив учение, возвращаются в свои семьи, они меняются даже внешне, становятся блее лицом, полнеют, как будто вдруг стали лучше питаться... Вот и Цумура располнел, приобрел повадки молодого осакского барина. И хотя в его речи еще проскальзывали словечки студенческого жаргона, но осакский акцент — он немного чувствовался и раньше — стал теперь гораздо заметнее... Думаю, этого описания достаточно, чтобы читатели могли составить себе представление о внешности молодого человека по фамилии Цумура.

Мы сидели на камнях, когда он внезапно начал рассказывать мне о связи между барабанчиком Хацунэ и его собственной жизнью, о мотивах, побудивших его отправиться в эту поездку, о тайной цели, которую он до сих пор держал ото всех в секрете. Все это было довольно запутано, переплетено между собой, но я постаралась по возможности сжато передать главное содержание его рассказа...

* * *

— Только тот, кто родился и вырос в Осаке, — начал Цумура, — кто, как я, потерял родителей в раннем детстве, только тот, повторяю, может в полной мере понять мое душевное состояние.

Как известно, в Осаке сложились три своеобразные формы музыкальных произведений — баллады «дзёрури», песни «дзиута» и пьесы школы Икута для исполнения на кото. Я не бог весть какой знаток музыки, но она была частью моего окружения, и, таким образом, я имел возможность приобщиться к этим музыкальным произведениям, они как бы сами собой запечатлелись в сознании и незаметно оказали на меня большое влияние. Помню — мне было тогда лет пять, — в глубине нашего дома в Симаноути изящная, белолицая женщина с ясными, большими глазами играет на кото, а слепой учитель музыки аккомпанирует ей на сямисэне... Эта сцена осталась в памяти как отдельная, отрывочная картина, и мне кажется, будто уточненный облик той женщины, игравшей тогда на кото, — единственный образ матери, сохранившийся в моей памяти. Правда, потом бабушка говорила мне, что то была, наверно, она сама, потому что моя мать умерла еще раньше... Но вот что удивительно — я отчетливо помню, что женщина и учитель играли пьесу «Зов лисы», одну из пьес школы Икута... Впрочем, в нашей семье все женщины — и сестры, и бабушка — брали уроки музыки у этого мастера, так что мне и после того не раз случалось слышать эту же пьесу, и может быть, поэтому первое впечатление так закрепилося в памяти... Вот слова этой песни:

Жизни печальной измерены часы —
Цветы поникли под бременем росы.
Что лисицу к людям так манит,
Зеркало мудрости туманит?
Вот на пути ей встретился монах.
Убегает матушка, прячется в горах.
На бегу лиса оглянулась,
Только больше уж не вернулась —
И напрасно я на тропке стою,
Все зову ее, слезы лью:
«Хоть скажи, к кому ты, лисонька, шла,
Через горы, черед долы брела?»
«Только к тебе, родной!»
«Ты ответь, с кем свидеться хотела,
Или есть к кому какое дело?»
«Только к тебе, родной!»
«Так отчего же, матушка-лиса,
Ты убегаешь от меня в леса?»
«Сердце томится,
Снова я одна
И возвратиться
В дальний лес должна.
Там под лианами
Я найду приют.
Мне хризантемы
Убежище дадут.

Скрывает тень высокого бамбука,
С каждым шагом тяжелее разлука!
Узкой тропинкой
Я бреду назад,
Всюду цикады
Жалобно звенят,
Жалобно, жалобно, жалобно звенят.
Хмурое утро,
Дождик моросит.
Сколько опасностей
Каждый луг таит...
Горы и доли,
Селенья прохожу,
Крадучись, крадучись
Переиду межу.
Крадучись, крадучись
Все дальше от сынка,
Крадучись, крадучись —
А в душе тоска...»

До сих пор помню наизусть и мелодию, и слова... Но если я так прочно запомнил, как та женщина и учитель пели именно эту песню, значит, было в этих словах нечто, вызвавшее отклик в душе наивного маленького ребенка.

* * *

Вообще-то в песнях «дзиута» концы с концами зачастую не сходятся, порядок слов перепутан, есть много мест, смысл которых трудно понять. К тому же содержание заимствовано из пьес театра Но или драм «дзёрури», так что, не зная источника, тем более трудно уловить, о чем идет речь. Песня «Зов лисы» тоже, как видно, основана на каком-то классическом сюжете. Но слова: «И напрасно я на тропке стою, все зову ее, слезы лью...» — и дальше: «Так отчего же, матушка-лиса, ты убегаешь от меня в леса?» — живо передают горе ребенка, тоскующего о покинувшей его матери. Очевидно, они-то и произвели на меня тогда такое сильное впечатление. А эти слова: «Крадучись, крадучись все дальше от сынка, крадучись, крадучись — а в душе тоска...» — напоминают колыбельную песенку... Я не знал тогда ни иероглифов, которыми пишутся слова «Зов лисы», ни что означают эти иероглифы, но, много раз слушая эту песню, я все же смутно уразумел, сам не знаю, по какой ассоциации, что она имеет какое-то отношение к лисе.

Может быть, я сообразил это потому, что бабушка часто водила меня на спектакли кукольных театров Бунраку и

Хориз, и мне врезалась в память сцena расставания матери с сыном в пьесе «Листок лианы», это постукивание ткацкого челнока: «тон-карари, тон-карари», когда мать-лисица сидит за ткацким станом в осенних сумерках, и потом — финал, когда, скорбя о предстоящей разлуке со спящим мальчиком, она пишет на бумажных раздвижных ставнях стихотворение:

Если будешь грустить,
Навести мой приют одинокий —
А сейчас ухожу,
Чтобы в Идзуми, в облачном крае
От людей вдалеке поселиться...

Кто не ведал сиротства, тот вряд ли поймет, с какой силой эта сцена апеллирует к сердцу мальчика, никогда не знавшего родной матери. Я был всего лишь малым ребенком, но когда я слышал слова: «А сейчас ухожу, чтобы в Идзуми, в облачном крае от людей вдалеке поселиться...» — воображение рисовало мне узенькую тропинку в лесу, расцвеченном красками осени, белую лису, бегущую к своему старому логову, и, мысленно сопоставляя судьбу бегущего вдгонку за ней ребенка с собственной участью, я чувствовал, что тоска по умершей матери завладевает мной с новой силой. Добавлю, что лес Синода находится вблизи Осаки, возможно поэтому у нас с давних пор есть множество детских песенок для комнатных игр, например:

Мы в лесу Синода
Лисоньку ловили,
Белую ловили... —

поют дети. Один изображает лису, а двое других держат за концы веревку с петлей, это охотники. Игра называется «Охота на лису». В Токио тоже есть игра в этом роде; как-то раз, в одном чайном домике, я попросил гейш показать, как в нее играют, но оказалось, что в Токио играющие сидят, в то время как в Осаке все участники стоят, и тот, кто изображает лису, под звуки песни постепенно приближается к петле, с забавными ужимками подражая движениям лисы, — если это хорошенькая девушка или молоденькая женщина, игра становится еще интереснее... Мальчиком, на новогодних праздниках в гостях у родных я сам участвовал в этих играх. До сих пор помню одну юную красавицу, подражавшую лисице с необыкновенным искусством... Есть еще другая игра: все участники берутся за руки и садятся в кружок, а посередине садится «черт». Играющие

прячут в руке какой-нибудь маленький предмет, например боб, и, распевая песню, украдкой передают этот боб друг другу. С окончанием песни все неподвижно замирают, а «черт» должен угадать, у кого в руке боб. Вот эта песня:

Кто траву-лебеду,
Кто овес соберет.
Прячем, прячем бобы,
Кому надо — найдет.
Коль захочешь найти,
Так найдешь меня тут:
Из плюща, из лиан
Мой печальный приют,
Зеленеет листва вместо свода —
Приходи ко мне в лес Синода!

В этой песне звучит смутная тоска ребенка по родному дому. В Осаке всегда много девочек и мальчиков из близлежащих провинций, отданных на срок в услужение. Холодными зимними вечерами эти маленькие работники, сидя вокруг очага вместе с семьей хозяина, играют в разные игры и поют эту песню — такие сценки можно часто наблюдать в купеческих семьях, в кварталах Сэмба или Симаноути. И в самом деле, когда эти дети, присланные из глухих деревень обучаться торговому делу и городским манерам, поют: «Приходи ко мне в лес Синода!», они, наверное, вспоминают своих родителей, в этот поздний час уже спящих в тесных каморках под камышовой крышей... Много лет спустя, увидев в театре шестой акт «Сокровищницы вассальной верности» — ту сцену, где неожиданно появляются два самурая в низко надвинутых на лоб плетеных шляпах, — я услышал, что музыкальным аккомпанементом к этому эпизоду служит именно эта песня, и был поражен, до чего хорошо она гармонирует с ситуацией, в которой очутились Ёитибэй, О-Кару и О-Каю...

В нашем доме, в Симаноути, тоже было много учеников, и, когда они пели эту песню, я и жалел их, и в то же время завидовал. Жалел, потому что, разлучившись с родителями, им приходится жить в чужих людях, а завидовал оттого, что стоит им вернуться домой, и они снова увидят отца и мать, а у меня родителей нет. И вот я решил, что если пойти в лес Синода, я, может быть, встречу там мою мать... Помню, — да, точно, я учился тогда во втором или в третьем классе, — я потихоньку, тайком от домашних, отправился туда вместе с одним мальчиком из нашего класса. Сообщение было крайне неудобным, даже в наше время туда нужно ехать сперва электричкой, а по-

том шагать пешком добрую половину ри, а в те времена даже электрички, кажется, не было, потому что большую часть пути мы, помнится, проделали в громыхающей повозке и потом довольно долго плелись пешком. В лесу, среди больших камфарных деревьев, стоял маленький храм, посвященный богу Инари, рядом был колодец, он назывался «Зеркало госпожи Листок Лианы». В храме мы долго разглядывали картину, изображавшую расставание лисички-матери с сыном, и портрет какого-то актера, не то Дзякуэмона, не то кого-то еще. Несколько утешенный этим, я вернулся домой, а на обратном пути из крестьянских домов, встречавшихся по дороге, то и дело доносились постукивание ткацкого стана — «тон-карари, тон-карари и », — и эти звуки рождали в душе невыразимо теплое чувство. Должно быть, в тех краях растет знаменитый хлопчатник Кавати, и потому во многих семьях имелись ткацкие станы... Так или иначе, не могу тебе передать, как отраднo было мне слышать эти звуки.

* * *

Но вот что странно — я постоянно тосковал не столько об отце, сколько прежде всего о матери. Правда, отец умер отце раньше нее, так что если мать я еще в какой-то степени помнил, то об отце у меня не могло сохраниться ни малейших воспоминаний. Возможно, моя тоска по матери была связана со смутным томлением по некоей «неведомой женщине», иными словами, может быть, это было первым проявлением своего рода любовных чувств, возникающих еще в детские годы? Ибо женщина, в прошлом ставшая моей матерью, и та, другая, кто в будущем станет моей женой, в равной мере были для меня «незнакомками», одинаково связанными со мной невидимой нитью судьбы... Впрочем, даже без таких обстоятельств, как у меня, ощущения такого рода знакомы каждому, и вот тебе доказательство: в этой песне — я говорю о «Зове лисы» — поется как будто о тоске матери по ребенку, но вместо с тем слова: «С каждым шагом тяжелее разлука» отражают переживания любовников, женщины и мужчины, их горе, когда приходится расставаться. Кто знает, может быть, автор нарочно придал такое неопределенное звучание этим фразам, чтобы их можно было понять и в том и в другом смысле? Теперь я думаю, что с первого же раза, как я услышал эти слова, в моем воображении

возникал не только образ матери. Нет, разумеется, этот смутный образ был моей матерью, но в то же время — женой... Вот почему мать всегда представлялась мне не пожилой женщиной, а только юной красавицей, похожей на Сигэнои, героиню пьесы о погонщике Санкити, благородной дамой в роскошном наряде. В моих мечтах мать была похожа на Сигэнои, а себя я часто представлял на месте этого Санкити.

Возможно, драматурги эпохи Токугава были сверхожидания тонкими психологами, умевшими искусно затронуть тончайшие эмоции, таившиеся в подсознании зрителей. Вот и эта пьеса о Санкити — на первый взгляд в ней бесспорно речь идет о любви, соединяющей родителей и детей, действующие лица — девочка, дочь вельможи, и, как бы по контрасту, мальчик, сын простого погонщика, а между ними — фрейлина Сигэнои, кормилица девочки и, как потом выясняется, родная мать мальчика... Но между строк, в подтексте, есть, пожалуй, намек и на безотчетную, неосознанную детскую влюбленность. Во всяком случае, и мать и девочка, живущие в роскошном дворце даймё, могут в равной степени быть объектом любовного томления... А в пьесе «Листок лианы» и сын и отец одинаково тоскуют о покинувшей их матери и жене, и то обстоятельство, что эта мать — на самом деле лиса, еще сильнее уносит зрителей в мир несбыточных сладких грез... Я, например, тоже всегда мечтал, чтобы моя мать оказалась лисицей, как в этой пьесе. Как я завидовал мальчику, сыну Абэ! Ведь если мать — женщина, нет надежды снова ее увидеть, а если она — лиса, не исключено, что когда-нибудь она опять превратится в женщину и вернется... Каждый ребенок, потерявший мать, увидев этот спектакль, обязательно будет мечтать о том же... В пьесе «Вишни Ёсицунэ» этот ассоциативный ряд «мать — лиса — красавица — любовница» показан еще теснее. Здесь и мать и сын — оба лисы, больше того, хотя Сидзука и лис Таданобу находятся в отношениях госпожи и вассала, в глазах зрителей они прежде всего выглядят любовниками, вместе совершающими традиционное путешествие «митиюки». Этот эпизод так и задуман... Может быть, поэтому я больше всего любил эту балетную сцену. Я воображал себя на месте Таданобу и, мысленно пробираясь сквозь тучи цветущей сакуры, так же, как он, влекомый стуком барабанчика Хацунэ, обтянутого кожей матери-лисы, летел душой по следам госпожи Сидзуки. Мне так нравилась эта сцена, что я подумывал даже о

том, чтобы научиться танцам и исполнить роль Таданобу хотя бы на любительской сцене...

— Но это еще не все, — добавил он, вглядываясь сквозь сгустившиеся сумерки в смутные очертания леса на другом берегу. — На сей раз я и в самом деле приехал в Ёсино, влекомый стуком барабанчика Хацунэ... — И при этих словах на его добродушном лице мелькнула какая-то загадочная улыбка.

V

КУДЗУ

Дальнейший рассказ Цумуры я передам своими словами.

...Таким образом, то особенное, теплое чувство, которое испытывал Цумура при мысли о земле Ёсино, возникло в его душе отчасти под влиянием спектакля «Вишни Ёсицунэ», отчасти же потому, что его мать была родом из провинции Ямато, о чем ему стало известно уже давно. Но откуда именно из Ямато, из какого селения выдали ее замуж и остался ли кто-нибудь в живых из ее родни в тех краях, было по-прежнему окутано тайной. При жизни бабушки он расспрашивал ее, стремясь узнать как можно больше о своей матери, но бабушка отвечала, что все забыла, — вразумительного ответа он так и не получил. Между тем, поскольку в старинной семье Цумуры придавали большое значение родственным связям, было бы естественно, чтобы в доме бывали родственники матери и старшего и младшего поколения... В данном случае, однако, все осложнялось тем, что, судя по всему, его мать вышла замуж не прямо из родного дома в Ямато. Ребенком ее продали в веселый квартал, в Осаку, затем кто-то удочерил ее, и она вышла замуж уже как дочь почтенных людей из этой новой семьи. В семейной книге Цумуры значилось, что родилась она в 3-м году Бункю¹, затем в 10-м году Мэйдзи², в возрасте пятнадцати лет, как дочь некоего Кидзюро Уракадо, проживающего в 3-м участке квартала Имабаси, стала женой отца Цумуры и в 24-м году Мэйдзи³ скончалась двадцати девяти лет от роду. Вот и

¹ 1863 г.

² 1877 г.

³ 1891 г.

все, что было известно Цумуре о матери ко времени окончания средней школы. Лишь гораздо позже он понял, что бабушка и старшие родичи неохотно распространялись о его матери, потому что ее биография до замужества им не слишком-то импонировала, и они избегали разговоров на эту тему. Но для Цумуры тот факт, что в детстве матери пришлось, как говорится, вступить на «кривую дорожку», только усиливал его любовь к ней и вовсе не казался ни позорным, ни каким-то особенно неприятным. Тем более раз она вышла замуж пятнадцати лет, то, как ни рано считались девочки взрослыми в старину, грязь полусвета, в котором ей пришлось очутиться, вряд ли успела ее коснуться, наверняка она еще сохранила девичью чистоту, оттого и смогла стать в замужестве матерью троих детей. А вступив в семью мужа, эта юная невестка получила, наверное, разнообразное образование и воспитание, подобающее хозяйке старинного дома... Как-то раз Цумуре попала на глаза нотная тетрадь, которую вела его мать для занятий по музыке, когда ей было лет восемнадцать: на сложенной вчетверо японской бумаге «ханси» красивым почерком стиля Оиэ горизонтальными строчками были записаны слова песен, а между строчек красной тушью аккуратно вписаны ноты...

Потом Цумура уехал учиться в Токио, это отдалило его от семьи, но стремление узнать о родных со стороны матери, напротив, только усилилось. Можно сказать, что юность его прошла в тоске о матери. Конечно, он не без любопытства поглядывал на женщин — мещанок, скромных барышень, гейш, актрис, которые встречались ему на улицах, — но его внимание всегда привлекали те из них, которые, казалось, были похожи на его мать, чье лицо он запомнил по сохранившейся фотографии. Он и студенческую-то жизнь бросил и в Осаку возвратился не только потому, что выполнял волю бабки — ему и самому хотелось быть поближе к месту его стремлений, к родине матери, к дому в квартале Симаноути, где прошла половина ее короткой жизни. К тому же ведь его мать была уроженкой Кансаю, в Токио редко встречались похожие на нее женщины, зато в Осаке можно было увидеть женские лица того же типа... Детство матери прошло в веселом квартале — вот и все, что было ему известно, но где именно, в каком заведении — этого он не знал. Все же, стремясь как-то приобщиться к той атмосфере, в которой она жила, он свел знакомство с женщинами этого круга, стал бывать в чайных домиках, пить там сакэ, в результате не

раз влюблялся и приобрел репутацию гуляки. По сути, однако, все это было проявлением его тоски, поэтому он ни разу не влюбился серьезно, по-настоящему, и вплоть до сегодняшнего дня все еще сохранил чистоту.

* * *

Так прошло два-три года. Умерла бабушка.

Через несколько дней после ее кончины, решив навести порядок в вещах, принадлежавших покойной, Цумура перебирал содержимое стоявшего в кладовой комода, когда неожиданно, вперемешку с письмами, написанными, видимо, рукой бабушки, обнаружил ранее никогда не виданные старинные рукописи и разные бумаги. Это были любовные письма, которыми обменивались его родители, когда мать еще жила в веселом квартале, письмо от ее матери из провинции Ямато, свидетельства об окончании курса икэбаны и чайной церемонии, игры на кото и на сямисэне... Писем любовного характера было пять: три от отца и два от матери — наивный, простодушный обмен любезностями между юношей и девушкой, потерявшими голову от первой любви и таящими свои чувства от посторонних. Весь стиль этих писем, изысканные обороты речи свидетельствовали о ранней зрелости юношей и девушек того времени, в особенности примечательны были письма матери, написанные изящным классическим языком, удивительно для девочки четырнадцати лет, хотя почерк еще явно не устоялся. Письмо с родины имело всего одно, адрес на конверте гласил: «Осака, квартал Симмати, № 9, в дом г-на Конакавы, для О-Суми». Был указан и адрес отправителя — «Провинция Ямато, уезд Ёсино, деревня Кудзу, участок Кубокайто, от семьи Сукэдзаэмона Комбу».

«...Я пишу, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты такая хорошая дочь. Наступила зима, с каждым днем становится холоднее, но на душе у нас тепло, потому что с тобой все устроилось так благополучно. Твой отец и я, твоя мать, от всего сердца благодарны тебе...» — так начиналось это письмо. Затем следовало множество наставлений — почитать хозяина, как родного отца, и всячески ему угождать, усердно обучаться разным искусствам, никому не завидовать и не зариться на чужое, молиться богам и буддам... И так далее и тому подобное...

Сидя на пыльном полу в кладовке, Цумура несколько раз перечитал это письмо при свете угасающего дня. Он

опомнился, когда стало уже совсем темно. Взяв с собой письмо, он снова развернул его под электрической лампой у себя в кабинете. Поверх длинной полоски бумаги перед его глазами встал образ старой женщины, давным-давно, три или, может быть, четыре десятилетия назад писавшей это письмо длиной более двух хиро, при свете бумажного фонаря, в деревне Кудзу, в уезде Ёсино. Местами, как и следовало ожидать, орфография и некоторые слова выдавали, что письмо написано деревенской старушкой, но тем заметнее бросался в глаза почерк — иероглифы были написаны правильным стилем Оиэ, так что, как видно, писавшая была не простой бедной крестьянкой. Несомненно, только какие-то неожиданно возникшие трудности вынудили родителей обменять дочь на деньги... К сожалению, проставив дату — 7 декабря, — писавшая не указала год, но, судя по содержанию, это было первое письмо после того, как дочь отправили в Осаку. Чувствовалось, что женщину тревожила мысль о приближающейся старости, потому что в письме то и дело встречались фразы: *«Это тебе мое материнское завещание...»*, или: *«Даже если меня уже не будет на свете, я и тогда тебя не покину, всегда буду помогать, чтобы ты была счастлива...»* Среди различных поучений — не делать того, не делать этого — внимание Цумуры привлек подробный наказ беречь бумагу, занимавший не меньше двадцати строчек: *«Вот и эту бумагу тоже изготовили твоя мать и О-Рито-сан, смотри же, береги ее, никогда не расставайся, всегда держи при себе. Ты теперь живешь в роскоши, но все равно бумагу нужно очень беречь. Твоя мать и О-Рито-сан так тяжело трудились, изготавливая эту бумагу... Руки у нас опухли, все пальцы в трещинах и кровоточат...»* Из этих строк Цумура понял, что семья его матери занималась изготовлением бумаги. Узнал он также, что в семье была женщина по имени О-Рито, очевидно, старшая или младшая сестра матери. Упоминалась еще какая-то О-Эй: *«О-Эй каждый день ходит в горы, по глубокому снегу, выкапывает из-под снега корни лиан. Мы все стараемся заработать деньги и, когда накопим достаточно, чтобы заплатить за дорогу, приедем навестить тебя, так что жди нас, мы непременно приедем!»* Письмо заканчивалось стихотворением:

Вечной мглой объяты
родителей нежных сердца,
ослепленных любовью, —
но о дочери вспомню — и снова
перевал Темноты предо мною...

Перевал Темноты, о котором говорилось в этом стихотворении, находится па магистральной дороге из Ямато в Осаку, до появления железной дороги всем приходилось пересекать этот перевал. На самой вершине стоял какой-то храм, место славилось пением кукушки; в школьные годы Цумура тоже как-то раз побывал там. Было это, кажется, в начале июня, он попал в горы под вечер, остановился для короткого отдыха и ночлега в храме, и вдруг, не то в четыре, не то в пять часов утра, когда еще не полностью рассвело и сѣдзи едва озарились неясным светом, где-то в горах, за храмом, закуковала кукушка — сперва раз, другой, а потом — та ли птица или другая — принялась куковать так долго и часто, что это стало даже неинтересно... Письмо внезапно напомнило Цумуре тот голос кукушки, к которому он прислушивался тогда без особого душевного волнения, а теперь вспомнил как нечто бесконечно дорогое сердцу. И он подумал, как правы были в древности люди, отождествляя голос этой птицы с душой умерших...

Но самое удивительное в письме старой женщины заключалось в другом. Писавшая — его бабка с материнской стороны — то и дело толковала в своем послании о лисе. *«...Ты должна каждый день, каждое утро, усердно молиться богу Инари, Белой Лисе Мѣбу-но-син. Ты ведь знаешь, лиса всегда приходит на голос отца, а все потому, что мы веруем всей душой...»*; и дальше: *«...Вот и теперь все закончилось так удачно только по милости Белой Лисы...»*; или: *«...Мы по-прежнему каждый день молимся в посвященном ей храме о ниспослании счастья, долгой жизни, избавлении от невзгод и болезней. Надо веровать искренне, всей душой...»*

Судя по этим словам, дед и бабка Цумуры ревностно почитали бога Инари. Очевидно, у них в усадьбе имелась небольшая молельня, посвященная этому божеству. А посланец бога, Белая Лиса, Мѣбу-но-син, возможно, устроила себе нору где-нибудь поблизости от этой молельни. Что касается фразы *«лиса всегда приходит на голос отца»*, тут оставалась некоторая неясность, действительно ли лиса подходила к отцу, услышав его голос, или только как дух вселялась в старую женщину или в ее мужа... Во всяком случае, можно было заключить, что старик мог свободно вызывать лису, и она как бы маячила над жизнью старых супругов, управляя судьбами всей семьи.

Цумура и в самом деле прижал к сердцу это письмо, которое надлежало *«беречь и всегда держать при себе, по-*

тому что мы так тяжело трудились, изготавливая эту бумагу...». Если письмо действительно написано вскоре после того, как его мать продали в Осаку, значит, с тех пор прошло уже несколько десятилетий. За это время цвет бумаги изменился, она потемнела, как будто закоптелась от дыма, но прочностью и тонкостью волокон и теперь еще превосходила современную бумагу. *«Твоя мать и О-Рито-сан так тяжело трудились, изготавливая эту бумагу... Руки у нас опухли, все пальцы в трещинах, кровоточат...»*, — вспомнились Цумуре строчки письма, и ему показалось, будто в этом тонком листе бумаги пульсирует живая кровь женщины, родившей его мать. Она тоже, наверное, прижала к сердцу это письмо, когда получила его в богатом доме, в квартале Симмати... При этой мысли старая рукопись, от которой, говоря словами поэта, веял «аромат рукавов тех, кого уже нет», показалась ему еще более прекрасным, драгоценным подарком, оставленным ему на память.

* * *

Не буду описывать подробно, как благодаря этому письму, ставшему путеводной нитью, Цумуре удалось разыскать семью матери. Прошли долгие годы, совершилась Реставрация Мэйдзи, больше не существовало ни заведения Комакава в доме № 9, в квартале Симмати, куда продали мать, ни приемного отца Уракадо, удочерившего ее перед свадьбой, и никто не знал, куда они подевались. Учителя чайной церемонии, икэбаны и музыки, подписавшие свидетельства об окончании курса, тоже исчезли неизвестно куда, так что в конечном итоге не оставалось ничего другого, как отправиться самому в деревню Кудзу, в уезд Ёсино провинции Ямато, полагаясь на это письмо как на путеводную нить. И вот едва окончился стодневный траур по бабушке, зимой того же года, Цумура, полный решимости, один поехал в деревню Кудзу, скрыв истинную цель поездки даже от родственников.

...В провинции не могло произойти таких резких перемен, как в Осаке. Тем более в таком глухом, затерянном в горах углу, как уезд Ёсино. Даже бедная крестьянская семья не может исчезнуть там без следа... Окрыленный этой надеждой, Цумура ясным декабрьским утром нанял рикшу в городке Камиити и поспешил в деревню Кудзу по дороге, по которой мы шли сегодня. При виде домов заветной деревни ему прежде всего бросилась в глаза бумага, выставленная для просушки под карнизами крыши.

Точь-в-точь как в рыбацком поселке сушится морская капуста, так здесь сушились на поставленных ребром досках аккуратные, ровные листы бумаги. При виде этих листов, ярко светившихся в прохладных лучах зимнего солнца и как будто разбросанных чьей-то рукой, где выше, где ниже, по уступам холмов, слезы невольно выступили на глаза Цумуры — он сам не мог бы сказать почему... Это была земля его предков, родина его матери, о которой он так долго мечтал. Это древнее селение в горах выглядело так же мирно, когда она родилась. И сорок лет назад, и вчера здесь так же рассветал и смеркался день. Цумуре почудилось, будто он вплотную соприкоснулся с далеким прошлым. Стоит на секунду зажмурить глаза, и, открыв их, он, может быть, увидит свою мать, играющую в компании деревенских девочек за плетеной из прутьев оградой...

* * *

Он рассчитывал, что сразу отыщет дом Комбу — ведь это была редкостная фамилия, — но выяснилось, что на участке Кубокайто очень многие носят такую же фамилию, и найти семью, которую он искал, оказалось совсем непросто. Пришлось, не отпуская рикшу, заходить подряд во все дома, но всюду ему отвечали, что как оно было раньше, они не знают, а сейчас человека по имени Сукэдзэмон Комбу в деревне нет. Наконец, в мелочной лавке какой-то старик, выйдя на веранду и указывая пальцем на левую сторону дороги, сказал: «Может быть, там...» На невысоком холме виднелся дом под камышовой крышей. Оставив рикшу ожидать в лавке, Цумура направился к этому дому по идущей в гору тропинке.

Утро было холодное, но там, где под защитой отлогих холмов не было ветра и слегка пригревало солнце, сгрудились вместе несколько домиков и в каждом шла работа — женщины вымачивали бумагу. Поднимаясь по тропинке, Цумура заметил, что, ненадолго прервав работу, они удивленно провожали глазами молодого городского барина, облик которого казался таким непривычным в этих местах. Очевидно, вымачивать бумагу считалось здесь обязанностью молодых женщин и девушек, у всех головы были порбочему повязаны белыми полотенцами. Пройдя мимо этих ослепительно белых полотенец и белых листов бумаги, Цумура остановился возле указанного ему дома. «Ёси-мацу Комбу» — прочитал он на висевшей у калитки до-

щечке, имени «Сукэдзаэмон» нигде не значилось. Рядом с домом стояла небольшая хибарка, похожая па сарайчик, и там, сидя на корточках на дощатом полу, работала девушка лет семнадцати-восемнадцати. Опустив руки в воду, такую мутную, как будто в ней промывали рис, девушка двигала взад-вперед деревянную раму, время от времени встряхивала ее, затем ловким движением вытаскивала раму из воды. Вода сбегала сквозь дно, устроенное наподобие сетки, и появлялся бумажный лист. Девушка снимала его, клала рядом с другими, лежавшими на полу, и снова погружала раму в воду. Дверь хижины была открыта. Стоя за изгородью, возле увядших хризантем, Цумура смотрел, как девушка проворными движениями изготвила один бумажный лист, потом второй, третий... Она казалась гибкой, но, как настоящая деревенская девушка, была крепкого телосложения и рослой. На твердых, гладких щеках играл здоровый румянец молодости. Но сердце Цумуры дрогнуло при виде ее опущенных в мутную воду пальцев. В самом деле, не мудрено, что при такой работе *«руки пухнут и кожа на пальцах трескается до крови...»*. Но даже в этих красных, опухших, загрубевших на холоде пальцах чувствовалась несокрушимая энергия молодости, была какая-то своеобразная, трогающая душу красота.

Случайно переведя взгляд, он заметил слева от дома старенькую часовню Инари и, непроизвольно сделав шаг за ограду, подошел к молодой женщине лет двадцати пяти, по-видимому хозяйке, сушившей во дворе бумагу.

В первую минуту, услышав о цели его визита, женщина, как видно, растерялась — слишком уж неожиданными были его слова... Но когда в доказательство он показал ей письмо, она, казалось, постепенно уразумела суть дела и, сказав: «Я ничего не знаю, спросите у свекрови...» — вызвала из дома старую женщину лет шестидесяти. Это была О-Рито — та самая, о которой шла речь в письме, — старшая сестра его матери.

* * *

Ошеломленная вопросами, старая женщина, шамкая беззубым ртом, постепенно разговорилась, как будто разматывая нить наполовину угасших воспоминаний. На некоторые вопросы она совсем не могла ответить, так как все позабыла, или путалась, ибо память ей изменяла, на другие, стесняясь, отвечать не хотела или давала невразумительный, противоречивый ответ. Иногда она бормотала

что-то невнятное, так что сколько Цумура ни переспрашивал, никак невозможно было понять, о чем она говорит, больше половины ему приходилось дополнять собственным воображением, но как бы то ни было, того, что ему удалось узнать, было достаточно, чтобы рассеять неизвестность, более двадцати лет окружавшую образ матери. Старуха твердила, что мать отправили в Осаку в годы Кэйю¹, ей было тогда одиннадцать или двенадцать лет, а самой О-Рито — четырнадцать. Но сейчас старой женщине уже шел шестьдесят восьмой год, значит, ясно, что мать продали уже после Реставрации Мэйдзи²... Выходит, мать провела в квартале Симмати года два или три, самое большее — четыре, после чего сразу вышла замуж в семью Цумура. Из слов старой О-Рито можно было понять, что хотя семья Комбу в то время очень нуждалась, но, будучи старинным семейством, берегла свое доброе имя; очевидно, они изо всех сил старались скрыть, что отправили дочь в такое место, и поэтому избегали общения с ней, не только пока она жила у хозяев — тут и говорить нечего, — но даже и после, когда она вышла замуж в богатую семью; им казалось, дочь будет стыдиться такой родни, да они и сами тоже чувствовали бы себя неловко у нее в доме. И правда, в те времена, кем бы ни стала девушка в веселом квартале — гейшей, прислужницей в чайном доме, жрицей любви, — обычай предписывал ей порвать всякую связь с родным домом. Стоило поставить печать на документе о продаже девушки в веселый квартал — и, что бы с ней ни случилось, родители теряли всякое право вмешиваться в ее судьбу. Тем не менее, как смутно помнилось старой женщине, их мать, кажется, ездила раз или два повидать дочь после того, как та вышла замуж, и, случалось, иногда с восторгом и удивлением рассказывала о дочке, ставшей теперь госпожой-хозяйкой в почтенном доме... Да, сестра звала ее тоже непременно приехать в Осаку, но она не решалась в убогом виде появиться в таком шикарном месте, а сестра как уехала, так с тех пор ни разу не бывала па родине, вот и вышло, что она никогда не видела сестру взрослой, а вскоре муж сестры умер, за ним умерла сестра, потом не стало родителей, с их смертью всякая связь с семьей Цумура уже полностью оборвалась.

Говоря о матери Цумуры, родной сестре, старая О-Рито почтительно именовала ее «ваша матушка», — отчасти из

¹ 1865—1868 гг.

² 1868 г.

вежливости по отношению к Цумуре, отчасти же потому, что, кто знает, может быть, уже забыла имя своей сестры. На вопрос — кто такая О-Эй, о которой упоминалось в письмо, она сказала, что О-Эй — это старшая дочь, затем идет сама О-Рито и, наконец, младшая О-Суми, мать Цумуры. Случилось так, что старшую выдали замуж в чужую семью, а для О-Рито приняли зятя в дом, чтобы он унаследовал фамилию Комбу. Сейчас ни О-Эй, ни мужа О-Рито уже нет в живых, глава семьи теперь ее сын Ёсимацу, женщина, с которой Цумура говорил во дворе, его жена. Пока жива была их мать, она, должно быть, хранила письма О-Суми и разные касающиеся до нее бумаги, но теперь, когда сменилось два поколения, почти ничего не осталось... Как будто о чем-то вспомнив, старая О-Рито открыла дверцы домашнего алтаря и достала фотографическую карточку, стоявшую рядом с поминальной дощечкой. Это была знакомая Цумуре фотография — поясной портрет его матери, снятый в последние годы ее жизни, у него у самого имелась такая же фотография.

— Да, да, это ее карточка... А из вещей вашей матушки и... — добавила старая О-Рито, словно вспомнив еще о чем-то, — было еще кото... Наша мать очень его берегла, говорила, что это память от дочки, живущей в Осаке. Давно мы это кото не доставали, не знаю, цело ли...

Кото хранилось где-то в кладовке, на чердаке. Цумура решил дожидаться, пока с поля вернется Ёсимацу и достанет инструмент с чердака, а сам тем временем пообедал в харчевне по соседству. Вернувшись в дом, он помог Ёсимацу с женой перенести на веранду, где было осветлей, тяжелый сверток, весь покрытый густым слоем пыли.

Странно было видеть такую великолепную вещь в скромном крестьянском доме... Из-под выцветшей от времени шелковой крышки появилось старое, но богато декорированное рисунком, покрытое лаком кото, длиной в шесть сяку. Рисунок украшал почти весь корпус, только возле колков, под струнами лак оставался гладким. Так называемые «берега» по обоим концам корпуса изображали пейзажи залива Сумиёси, с одного конца — храмовые ворота и круто изогнутый мостик на фоне сосен, на другом — высокий каменный фонарь, искривленные ветром сосны и волны, набегающие на берег. Вокруг «моря» и «драконьих рогов» вились целые стаи чаек, а под «камышовой тканью» и «дубовым листком» смутно просвечивали пятицветные облака и фигура небесной феи. Дерево павлонии, из которого был изготовлен корпус, потемнело

от времени, чуть потускневший лак и краски рисунка ласкали глаз изысканным, приглушенным цветом.

Отряхнув пыль, Цумура внимательно рассмотрел узор на покрывке из ткани «сиодзэ», — тяжелого шелка с рельефными горизонтальными линиями, — когда-то, очевидно, темно-синего цвета. С наружной стороны в верхней части виднелся герб — белый цветок махровой сливы на красном фоне, а пониже — китайская красавица играла на кото в высокой башне. На столбах башни виднелись две симметрично расположенные надписи: «Она играет лунной ночью на многострунной цитре...» и «Исчезают вдаль печальные, чистые звуки...». Рисунок на изнанке изображал вереницу летящих гусей на фоне луны, рядом можно было прочесть стихотворение:

Почудилось мне,
то диких гусей вереница
летит в облаках —
стройный ряд колков протянулся
меж тугими струнами цитры...

Цветок сливы... У семьи Цумуры герб был совсем другой. Может быть, то был герб приемных родителей матери или даже заведения в Симмати. Наверное, когда она вышла замуж, ей больше не понадобился этот инструмент, — напоминание о днях, проведенных в Симмати, — и она отслала его домой, в деревню. Или, может быть, в семье была девушка на выданье, для которой старуха-мать получила кото от младшей дочери. А может быть, мать Цумуры до самой смерти не расставалась с этим кото и завещала переслать его в родной дом после своей кончины. Но старая О-Рито и ее сын с женой ничего не знали об этом. Было, кажется, какое-то письмо, где что-то говорилось на этот счет, но оно затерялось... Они помнили только, как старшие говорили, что инструмент принадлежал «той, кого мы отправили в Осаку».

Тут же, в маленьком ящичке, лежали все дополнения, колки и плектры. Колки, изготовленные из темного твердого дерева, были покрыты лаком и украшены узором, изображавшим сливу, сосну и бамбук. Плектры выглядели изношенными от долгого употребления. Взволнованный при мысли, что мать надевала их на свои тонкие пальцы, Цумура не мог удержаться, чтобы не попытаться натянуть один из них на свой мизинец. Перед его глазами снова мелькнуло видение детства — изящная женщина, исполняющая мелодию «Зов лисы» в сопровождении учителя... Может быть, то была вовсе не его мать, и кото звучало

тогда, конечно, совсем другое, но и на этом кото, лежавшем сейчас перед его глазами, она тоже, конечно, не раз играла, когда пела ту песню. И Цумура решил привести инструмент в порядок, чтобы в годовщину смерти матери кто-нибудь из музыкантов исполнил «Зов лисы» под аккомпанемент этих струн...

Что касается маленького храма Инари в саду, то божество это считалось покровителем семьи на протяжении нескольких поколений, поэтому молодые супруги подтвердили все, что было написано об этом в письме. Вот только сейчас никто уже не умел вызывать лису. Ребенком Ёси-мацу слышал, что дед обладал этим искусством, но в один прекрасный день Белая Лиса, Мёбу-но-син, Перестала являться на его зов, и теперь сохранилась только старая лисья нора в тени дуба позади храма. Они повели Цумуру к этому месту — у входа в нору уныло висела священная соломенная веревка.

* * *

Все эти события относились к тому времени, когда скончалась бабка Цумуры, иными словами, случились за два-три года до того, как он рассказал мне о них, пока мы сидели на камнях в Миятаки. Старая О-Рито и ее дети были теми «родственниками в деревне Кудзу», о которых он писал мне в Токио. О-Рито была старшей сестрой его матери, то есть теткой Цумуры по материнской линии, ее семья была родней его матери, и с этого времени Цумура поддерживал с ними связь. Больше того, он помог им деньгами, построил для своей тетки отдельный маленький флигелек, расширил мастерскую, где изготавливали бумагу, так что семейство Комбу смогло теперь заниматься своим скромным кустарным промыслом гораздо успешнее.

VI

СИОНОХА

— Так зачем же все-таки ты приехал? — спросил я, когда рассказ Цумуры дошел до этого места. — У тебя какое-то дело, что ли, к этой твоей тетушке?

— Нет, я должен еще кое-что тебе рассказать...

Стало уже так темно, что глаз едва различал белую пену в стремительном потоке у наших ног, но все же я заметил, что при этих словах Цумура слегка смутился.

— Я уже говорил тебе, что когда в первый раз подошел к ограде тетушкиного дома, я увидел там девушку, она вымачивала в воде бумагу...

— И что же?

— Эта девушка... Понимаешь, она внучка другой моей тетки, покойной тети О-Эй. Она жила тогда в семье Комбу, пришла помогать в работе... — Голос Цумуры звучал все более смущенно. — Я уже говорил, это настоящая деревенская девушка, никакая не красавица... В такой холод ей все время приходится иметь дело с водой, поэтому руки и ноги у нее совсем загрубели. Но мне, наверное, вспомнились те слова из письма, и когда я увидел ее мокрые, красные руки, она удивительно мне понравилась. И знаешь, лицом она почему-то напоминает мне фотографию матери. Конечно, с виду она простенькая служанка, тут уж ничего не поделаешь, сказывается окружение, в котором она росла, но, может быть, если ее немного пошлифовать, она станет еще больше похожа на мою мать...

— Конечно. Так это и есть твой «барабанчик Хацунэ»?

— Да... Послушай, как твое мнение? Я хочу жениться на этой девушке.

Ее звали О-Васа. Дочь тетушки О-Эй вышла замуж за некоего Исиду, крестьянина из соседней деревни Касиваги, там родилась О-Васа. Жили бедно, и когда девочка окончила начальную школу, ее отдали в услужение в городок Годзё, но семнадцати лет она взяла расчет и вернулась в деревню, потому что дома понадобились рабочие руки. С тех пор она помогала семье, работая в поле, но с наступлением зимы, когда кончаются полевые работы, ее посылают к родственникам, в дом Комбу, помогать при изготовлении бумаги. Вот и теперь она должна скоро снова быть здесь, но покамест, наверное, еще дома... Поэтому Цумура решил сперва посоветоваться с тетушкой О-Рито и четой Ёсимацу, и, если они одобряют его намерения, девушку срочно вызовут или он сам отправится в деревню Касиваги, к ее родителям...

— Значит, если все пойдет гладко, я тоже увижу О-Васу-сан?

— Конечно. Оттого я и пригласил тебя в эту поездку, что хотел познакомить с О-Васой, услышать твое мнение... Понимаешь, слишком уж в разной обстановке мы выросли... Допустим, мы поженимся, но будем ли счастливы в конечном итоге? Я все-таки немножко тревожусь на этот счет. Нет, конечно, я уверен, все будет хорошо, но все же...

...А я все же встал с этих прибрежных камней и увлек за собой Цумуру. Было уже совсем темно, когда, наняв рикшу, мы вернулись в Кудзу, в дом Комбу, где условились провести эту ночь. Не буду описывать впечатление, которое произвела на меня тетушка О-Рито, вся ее семья, их жилище и мастерская, где изготовляли бумагу, — получилось бы слишком длинно, к тому же кое о чем я уже писал, так что незачем повторяться. Упомяну лишь то, что запечатлелось в памяти особенно ярко. Во-первых, тогда там еще не было электричества, и мы беседовали при свете керосиновой лампы, расположившись вокруг большого очага, как в настоящем горном жилище. Во-вторых, в очаге горели дубовые и тутовые поленья; тутовые дрова считаются самыми лучшими, жар от них мягкий и самый долгий, их щедро подбрасывали в огонь. Меня поразило такое роскошество, о котором не смеют и мечтать в городах... В-третьих, в свете ярко пылающего огня покрытые сажей балки и потолок над очагом блестели, как будто только что смазанные смолой... И наконец, необыкновенно вкусна была скумбрия Кумано, поданная на ужин. Мне рассказали, что эту рыбу ловят в заливе Кумано и потом несут на продажу через горные перевалы, нанизав на бамбуковые спицы. Дорога занимает несколько дней, а то и неделю, за это время рыба естественно обдувается ветром и становится вяленой. Случается иной раз, что в пути лисы воруют рыбу...

* * *

Наутро мы с Цумурой, посоветовавшись, решили на некоторое время расстаться, каждый будет действовать по своему плану. Цумура переговорит с семьей Комбу о своем важном деле и попросит их выступить в роли сватов. А я, чтобы не мешать, тем временем отправлюсь на несколько дней еще дальше, к истокам реки Ёсино, собирать материал для моего будущего романа, знакомиться с историческими местами. В первый день поклонюсь могиле принца Огуры, сына императора Го-Камэямы, в деревне Уногава, потом, через перевал Гося, пройду к селению Каваками и оттуда — в Касиваги, где заночую. На следующий день одолею перевал Обагаминэ и заночую в поселке Китаяма. На третий день побываю в Гототи, в храме Рюсэндзи, построенном на том месте, где некогда стоял дворец Небесного государя, затем поднимусь на вершину Одайгахара; ночевать придется в горах. В четвертый день

пройду к теплому ключу Госики и дальше, в ущелье Санноко, осмотрю Полянку Хатимана и Скрытную Полянку, если, конечно, удастся туда добраться. На пятый день вернусь в Касиваги и в тот же день или на завтра возвращусь в Кудзу. Таков, в общих чертах, был мой план, составленный по совету семейства Комбу. Договорившись с Цумурой о встрече и пожелав ему удачи, я отправился в путь. Перед тем как расстаться мы условились, что Цумура, смотря по тому, как пойдут у него дела, может быть, тоже поедет в Касиваги, в семью О-Васы, так что, когда я вернусь туда, мне следует на всякий случай заглянуть к ним, их дом находится там-то и там-то...

* * *

Мое путешествие продвигалось, в основном, в соответствии с намеченным планом. Говорят, недавно даже на таком труднодоступном отрезке пути, как дорога к вершине Одайгахара, открылось автобусное движение, так что теперь можно, не утруждая ног, добраться даже до Киномото в провинции К и и, — по сравнению с тем временем, когда я бродил в тех краях, мир поистине неузнаваемо изменился!.. К счастью, с погодой мне повезло, я добыл уйму материала, даже больше, чем ожидал, и в первые три дня мне все время казалось, что рассказы о трудностях пути по меньшей мере сильно преувеличены; но вот когда я по настоящему оробел, так это в ущелье Санноко...

Дорога шла вниз по течению реки Ёсино, берущей начало на вершине Одайгахара. В месте, называемом Ниномата, река разделяется надвое — один рукав течет к деревне Сионоха, другой сворачивает направо и устремляется в ущелье Санноко. Но если дорога, ведущая в деревню, безусловно заслуживает такого названия, то путь направо — всего лишь едва протоптанная тропинка в густом лесу. Вдобавок накануне шел дождь, уровень воды в реке резко поднялся, бревна, служившие мостками, где обвалились, где поломались, продвигаться вперед нужно было, прыгая по камням, вокруг которых бурлила стремительная река, а то и опускаясь на четвереньки. Еще ниже по течению встретилась речка Окутама, затем, перейдя вброд отмель Дзидзо, попадаешь, наконец, к речке Санноко. Отсюда дорога идет над крутым обрывом бог весть какой высоты и местами становится так узка, что нельзя поставить рядом обе ступни, а кое-где вообще обрывается — через провал перекинуты висящие в воздухе, кое-как скреплен-

ные бревна и доски без всякого ограждения, без намека на какие-либо перила. Таким манером дорога вьется вдоль скал, огибая бесчисленные уступы. Альпинист, наверное, без труда преодолеет такие преграды, но я еще в школе отличался полным отсутствием способностей к гимнастическим упражнениям, перекладина, конь и шведская стенка всегда вызывали у меня одни лишь слезы, а ведь тогда я был моложе и не так грузен... По ровному месту я легко могу пройти и восемь, и десять ри, но там, где приходится преодолевать опасные места на четвереньках, не имеет значения, сильные или слабые у вас ноги, там требуется общая ловкость... Честно говоря, будь я один, я давно повернул бы назад, пошел бы обратно от первого же бревна, перекинутого через речку Ниномата. Но я стыдился проводника, и потом, когда шаг вперед уже сделан, возвращаться назад так же страшно, как идти дальше... Делать нечего, я заставил себя продвигаться вперед на подгибавшихся от страха ногах.

По этой причине, к великому моему стыду, я не могу описать окрестный пейзаж (хотя он был, наверное, великолепен), ибо смотрел только себе под ноги, время от времени испуганно вздрагивая, когда прямо перед моим носом, хлопая крыльями, взлетали большие птицы. Зато мой проводник, как видно, привычный к такой ходьбе, без труда одолевал все преграды и, не выпуская из руки самокрутку из мелконарубленного табака, завернутого в листья камелии, заменявшие ему трубку, то и дело указывал пальцем куда-то в глубину ущелья, приговаривая при этом: «Это скала такая-то...», «А вот это такой-то камень...».

— А этот утес называется Годзэн-мосу, — сказал он. — А тот — Бэробэдо...

Я робко покосился в глубину ущелья, так и не разглядев, где Годзэн-мосу, а где Бэробэдо, но, по словам проводника, в ущелье, где живет государь, обязательно должны быть скалы с таким названием... Когда несколько лет назад сюда приезжал из Токио какой-то важный господин — не то ученый, не то какой-то университетский профессор или, может быть, чиновник, во всяком случае, *очень* важный господин, — и осматривал эти места, мой проводник тоже сопровождал его.

«А есть здесь скала под названием Годзэн-мосу?» — спросил этот господин. «Как же, имеется!» — ответил я и показал ему эту скалу. «А-а, да, конечно...» — сказал он и опять спрашивает: «А скала Бэробэдо?» Я опять отвечаю:

«Как же, имеется!» — и показал ему во-о-он ту скалу, а он и говорит: «Ну да, конечно! Значит, это безусловно то самое место, где обитал Небесный государь!» — и уехал, очень довольный...» Так рассказал мне мой проводник, но узнать происхождение этих странных названий мне так и не довелось.

Этот проводник знал и помимо этой истории множество легенд и преданий. Например: когда в древние времена каратели из столицы проникли в ущелье, они увидели эту речку. Глядь, а по воде течет золото... Они пошли вверх по течению и в конце концов отыскали дворец царя. А потом, когда государь переехал во дворец в Китаяме, он каждое утро выходил к реке умываться, и при этом его всегда сопровождали два двойника, так что преследователи никак не могли распознать, который из трех — настоящий. В это время мимо проходила старуха, каратели расспросили ее, и старуха сказала: «Тот, у кого дыхание выходит изо рта белым паром, тот и есть настоящий!» По этому признаку преследователям удалось узнать государя и снять ему голову, зато с тех пор у потомков этой старухи из поколения в поколение рождаются дети-уроды...

Я записывал в свой блокнот эти легенды, расположившись завтракать на Полянке Хатимана, куда мы добрались вскоре после полудня. До Скрытной Полянки оставалось еще примерно три с половиной ри в оба конца, но, к счастью, дорога оказалась намного лучше, чем до сих пор. Нет, как бы ни старались принцы Южной династии укрыться от людских глаз, ущелье это чересчур неудобно для обитания... Невозможно поверить, что принц Китаяма написал свое известное стихотворение в этих местах:

Мне шалаш из ветвей
стал приютом уединенным
в этом горном краю —
и сиянье луны созерцая,
очищаюсь, светлею сердцем!..

Думается, ущелье Санноко скорее всего источник легенд, а не хранилище исторических фактов...

* * *

Эту ночь мы с проводником провели в хижине дровосеков, на Полянке Хатимана, где нас угостили жареной зайчатиной, и на следующий день вернулись прежней дорогой в Ниномату, здесь я расстался с проводником и пошел один в деревню Сионоха. Оттуда было уже близко до Каси-

ваги, но мне сказали, что на берегу реки есть теплый источник, и я решил искупаться. Река Ёсино, вобрав в себя воды Ниноматы, становится здесь широкой, над водой перекинут висячий мост. Сразу за ним из прибрежной гальки вытекал теплый ключ, однако когда я опустил руку в воду, оказалось, что она всего лишь чуть теплая. Несколько деревенских женщин усердно мыли редьку в этой воде.

— Здесь купаются только летом. А в такое время, как сейчас, нужно начерпать воду в ту бочку и подогреть... — сказали мне женщины, указав на большую железную бочку, валявшуюся поодаль.

Я оглянулся посмотреть на бочку, как вдруг кто-то меня окликнул, и я увидел на мосту Цумуру и с ним какую-то девушку. То была, наверно, О-Васа. Они шли в мою сторону, и мостик слегка качался под их ногами. «Тук-тук-тук...» — разносился по долине стук их гэта.

* * *

Мой исторический роман так и не был написан, слишком уж много набралось материала. Зато О-Васа, которую я увидел тогда на мостике, стала теперь, разумеется, госпожой Цумура. В конечном итоге, для Цумуры путешествие завершилось удачней, чем для меня.

РАССКАЗ СЛЕПОГО

...Родился я неподалеку от Нагахамы, что в провинции Оми, в год Мыши, то бишь в 21-м году эры Тэмбун¹. Это сколько же, выходит, мне нынче лет?.. Ну да, шестьдесят пять... Нет, верно, уже шестьдесят шесть... Да, угадали, сударь, — я слепой на оба глаза, с четырех лет. Сперва, хоть и смутно, все же кое-что различал; до сих пор помню, например, как ярко сверкала в ясные дни голубая вода в озере Бива. Только и года не прошло, как совсем ослеп. Молился богам, да все напрасно... Родители мои были крестьяне, отец умер, когда мне исполнилось десять лет, а еще через три года скончалась мать, с тех пор пришлось уповать только на наших деревенских, их милостыней и жил, научился ремеслу массажиста, растирал людям ноги и поясницу, этим кое-как и кормился. Так и жил помаленьку, а тут — помню, было мне тогда лет восемнадцать или, может быть, девятнадцать — один добрый человек расхлопотал мне службу в замке Одани, его стараниями удалось там, в замке, и поселиться.

Вам, сударь, ясное дело, лучше меня известно, что замок Одани был вотчиной князя Нагамасы Асаи. Что много говорить, господин этот и возраста был самого что ни на есть цветущего, и полководцем был замечательным. В ту пору еще здравствовал его батюшка, старый князь Хисамаса; правда, болтали, будто отец и сын не ладят между собой. Молва твердила, что повинен в том старый князь, так что многие их вассалы, даже старшие советники-самураи вроде бы предпочитали служить молодому князю... А размолвка между отцом и сыном вышла вот по какой причине: в первую луну 2-го года Эйроку², когда князю Нагамасе исполнилось пятнадцать лет, справил он совершеннолетие, сменил детское имя Сиитаро на взрослое — Нагамаса и взял в супруги дочь Хираи, старшего вассала дома Сасаки, владевшего южными землями провинции Оми. Но люди говорили, что молодому князю вовсе не хотелось брать в жены эту девицу, отец силой его

¹ 1552 г.

² 1559 г.

принудил. В краю Оми между северными и южными княжествами с давних пор то и дело вспыхивали междоусобные распри, в ту пору, правда, вражда вроде бы поутихла, да кто знает, надолго ли? Вот и надумал старый князь, что если, мол, для упрочения мира заключить между Югом и Севером брачный союз, удастся навсегда избавиться от военных невзгод... Только молодому князю было вовсе не в радость стать зятем простого вассала дома Сасаки, да делать нечего — приказу отца, хочешь не хочешь, надо повиноваться, вот и пришлось ему согласиться. Однако, когда вслед за тем отец приказал ему отправиться во владения Сасаки, обменяться там с тестем ритуальными чарками сакэ, заключить с ним, как положено, союз отца с сыном, — этого молодой князь стерпеть уж никак не мог. Ему и так-то было обидно по воле отца сделаться зятем простого вассала, а тут еще приказывают первому ехать к тестю, заключать с ним кровный союз — это уж слишком! «Я родился в семье, посвятившей себя воинскому искусству, — заявил он, — а воин, подлинно достойный самурайского звания, должен стремиться раз навсегда покончить с военными смутами в государстве, утвердить свое знамя в Поднебесной и стать во главе правящего военного дома!» И даже не сказавшись отцу, он в конце концов отправил дочь Хираи назад, в родительский дом.

Что говорить, то был, конечно, чрезвычайно дерзкий поступок, отец вправе был гневаться, но, с другой стороны, чтобы пятнадцатилетний юноша обладал подобной решимостью, лелеял столь высокие устремления — на такое способен только человек, согласитесь, незаурядный! «Вот поистине выдающийся воин, от природы наделенный богатырским духом и нравом! Он похож на своего деда, покойного князя Сукэмасу, основавшего дом Асаи. Под началом такого господина дом Асаи будет процветать до скончания веков!» — с похвалой отзывались все вассалы о молодом Нагамасе и почти никто уже не хотел служить старому князю. Пришлось князю Хисамасе волей-неволей уступить главенство в княжестве сыну, а самому вместе с супругой, госпожой Инокути, удалиться на покой на Бамбуковый остров, Тикубу...

Но все эти события случились гораздо раньше, к тому времени, как началась моя служба в замке, отец с сыном, плохо ли, хорошо ли, но все-таки уже помирились, старый князь и госпожа Инокути вернулись с острова и проживали все вместе в замке. Князю Нагамасе исполнилось в ту пору лет двадцать пять, двадцать шесть, он уже был женат

вторым браком на госпоже О-Ити — эта его вторая супруга изволила быть родной младшей сестрой князя Нобунаги, главы могучего дома Ода. Брак был заключен по желанию самого Нобунаги, и вот по какой причине. Как-то раз, прибыв из своих владений, провинции Мино, в столицу, он сказал: «Князь Асаи хоть и молод годами, но сейчас во всех землях вокруг озера Бива он самый выдающийся воин!» — и захотелось ему сделать князя Нагамаса своим союзником. «Если мы соединим наши силы, — сказал ему Нобунага, — разгромим Сасаки, засевшего в своем замке Каннодзи, и вместе вступим в столицу, то навечно утвердим нашу власть в Поднебесной, вдвоем будем управлять государством. Если захочешь, я отдам тебе провинцию Мино... И еще: мне известно, что дом Асаи тесно связан узами долга с Асакурой, правителем земли Этидзэн, так обещаю тебе впредь никогда не посягать на его владения, все дела касательно провинции Этидзэн будут вершиться лишь с твоего ведома и согласия, в том я дам тебе письменное клятвенное обязательство!» — «Ну, коли так...» — согласился князь Нагамаса в ответ на столь ласковые слова, и брак был благополучно заключен. И то сказать — в свое время он напрочь отказывался взять в жены дочь Хираи, не желая склонять голову перед вассалом дома Сасаки, но совсем другое дело — получить столь лестное предложение: породниться с могущественным семейством Ода, оказаться желанным зятем для самого Нобунаги, который в ту пору покорял одно княжество за другим, как говорится, «на лету подстреливал птицу»... Конечно, воинскую удачу дарует Небо, но все же сам человек тоже должен стремиться к славе!..

Говорили, что первая супруга, которой он дал развод, прожила с ним не более полугода, какая она была — этого я не знаю, но что до госпожи О-Ити, так она еще задолго до свадьбы славилась как редкостная красавица. Супруги жили удивительно дружно, что ни год — один за другим рождались у них дети-погодки, помнится, к тому времени, как я поселился в замке, уже были у них и старший сынок, и дочка, двое или трое детей. Старшая девочка, госпожа О-Чача, была еще совсем малым дитем — кто угадал бы, что в будущем этой крохе суждено стать любимейшей супругой великого Хидзёси, матерью его наследника Хидзёри, прославленной госпожой Ёдогими? Поистине, непредсказуемы судьбы людские!.. Замечу, однако, что госпожа О-Чача уже в ту пору отличалась на редкость красивой внешностью, люди говорили, что чертами лица она как две

капли воды походит на мать — те же глаза, рот, форма носа — так что даже мне, слепому, и то чудилось, будто я хоть и смутно, а все же чувствую ее красоту.

И то сказать — какой рок судил мне, низкорожденному, состоять так близко на службе при столь благородных дамах?.. Да, да, конечно, сударь, я забыл рассказать вам, что вначале я занимался только тем, что лечил растиранием воинов-самураев, но когда случалось людям в замке соскучиться, они частенько просили меня: «Эй, слепой, побренчи-ка на своем сямисэне!» — и я пел им разные песенки, которые были тогда в ходу в народе. Толки об этом донеслись, наверное, до женских покоев, дескать, есть тут один потешный слепой, хорошо поет песни... Вот за мной и прислали, ступай, мол, желают послушать, как ты поешь, и я несколько раз представал перед госпожой. Как вы сказали?.. Нет, замок-то был громадный, кроме самураев, там служило множество всяческого народа, постоянно проживала труппа настоящих артистов. Не то чтобы я так уж угодил госпоже, а просто, наверное, такой знатной даме народные песни как раз и были в диковинку и потому интересны... К тому же в те времена сямисэн встречался еще нечасто, не то что теперь, в ту пору лишь немногие, самые любознательные люди, охочие до всяких новинок, понемножку учились на нем играть, оттого, наверное, и понравился необычный звук его струн... Угадали, сударь, — никакого учителя у меня не было. Просто, сам не знаю почему, с детства я любил музыку, бывало, как услышу мелодию, сразу запоминаю, и хоть толком ни у кого не учился, а как-то само собой получалось, что мог и сыграть, и спеть... Вот и сямисэном баловался время от времени просто так, для утехи, и незаметно выучился играть довольно сносно. Конечно, играл по-любительски, как умел, настоящим искусством, достойным внимания, такую игру не назовешь, но, может быть, как раз это мое несовершенство нравилось госпоже. Не знаю, только всякий раз, когда я для нее играл, она хвалила меня и дарила замечательные подарки. Времена были смутные, то в одном, то в другом краю непрерывно вспыхивали сражения, но, бывало, как начнется война, веселились тоже немало... Уедет господин куда-нибудь в дальний поход, женщинам делать нечего, вот и примутся играть на кото, чтобы развеять скуку. А то, бывало, во время долгой осады, когда приходится сидеть взаперти, нередко устраивали забавные представления, чтобы люди не унывали, не пали духом, — много было веселого, вовсе не одни лишь страхи да ужасы, как

теперь воображают... Госпожа была мастерица играть на кото, в свободные минуты всегда играла, тогда я тоже брал сямисэн и сразу подстраивался к любой мелодии; ей это, кажется, очень нравилось, она хвалила меня: «Молодец!» — и так получилось, что с тех пор я стал постоянно прислуживать в женских покоях. Госпожа О-Чача тоже все время лепетала: «Бонза, бонза!» (так она меня называла) — и целыми днями играла со мной в разные игры, а то, бывало, приказывает: «Бонза, спой песенку про тыкву!» Вот эта песня:

Как под крышей, под застрехой
Тыкву посадили,
Тыкву посадили!
Чтобы плети вверх тянулись,
Чтоб весь дом обвили,
Да, чтоб весь дом обвили!

А вот еще одна песня, другая:

Эх, красива была шляпа моя новая,
Вся солома расписная, лакированная,
Из Кавати моим милым привезенная.
 Эй-коро-эй-да!
 Эй-коро-эй-на!
Только шляпа та от времени треснула.
Увидала я — под ноги ее бросила,
 Тотора!
 Эй-горо-эй-да!
 Эй-горо-эй-на!¹

Было еще множество разных песен, мелодию-то я помню, а вот слова позабыл. Что поделаешь, как постарел, так память совсем отшибло...

* * *

А между тем у нашего князя вышла ссора с шурином его Нобунагой и началась между ними война. Когда, бишь, это случилось?.. Ну да, ведь битва при Анэгаве была в 1-м году Гэнки², верно? Вы, сударь, человек образованный, умеете читать книги, стало быть, все это вам лучше моего ведомо... Помню только, что вспыхнула эта распря вскоре после того, как началась моя служба при госпоже, а поссорились они потому, что князь Нобунага внезапно вторгся во владения соседа нашего Асакуры, ни единым словом не уведомив о том нашего господина. Вообще-то в минувшие

¹ Здесь и далее в этом рассказе перевод А. Долина,

² 1570 г.

времена, еще при князе Сукэмасе, эти князья Асакура помогли укрепиться дому Асаи, с тех пор наши господа считали себя вечными должниками Асакуры за это благодеяние. Оттого-то наш господин, породнившись с семейством Ода, взял с князя Нобунаги письменную клятву никогда не посягать на земли Асакуры, не вторгаться в край Этидзэн, его владения. Однако не прошло и трех лет, как Нобунага нарушил обещание, забыв о своем клятвенном обязательстве, словно то была пустая бумажка.

Больше всех разгневался старый князь Хисамаса, явился в покои сына и созвал туда всех вассалов, ближних и даже дальних. «Этот твой Нобунага — подлец, ничтожество! Негодяй!.. Еще немного, и он уничтожит дом Асакуры в Этидзэне, а потом нагрянет и сюда, в этот замок... Пока Асакура еще держится крепко, нужно соединенными силами вместе ударить на Нобунагу и навсегда с ним покончить!» — требовал старый князь и прямо кипел от гнева, но князь Нагамаса, да и вассалы некоторое время хранили молчание. Конечно, нарушить собственное клятвенное обещание — низость со стороны Нобунаги, но и Асакура тоже не без греха: в расчете на узы долга, связывающие его с нашим князем, ведет себя вызывающе дерзко по отношению к дому Ода... Зная прекрасно, что князь Нобунага часто приезжает в столицу совещаться о делах государства, сам ни разу па совет не явился — а ведь это оскорбительно не только для Нобунаги, но даже по отношению к императору и вельможам...

Многие вассалы высказывались в том смысле, что даже вместе с воинством Асакуры нет никакой надежды одолеть Нобунагу. Что, если ради соблюдения приличия отрядить в Этидзэн па подмогу Асакуре, скажем, тысячу человек, а с Нобунагой начать переговоры и как-нибудь с ним поладить?.. Но услышав такие речи, старый князь разгневался еще пуще.

— Вы, ничтожные, худородные самураи, как вы смаете нести такой вздор? Да будь Нобунага сам бог, сам дьявол, по-вашему, можно забыть благодеяния, которые оказал нам дом Асакура еще во времена наших предков, и в трудную минуту бросить наших благодетелей на произвол судьбы?! Если мы так поступим, навеки погибнет наша самурайская честь, опозорен будет весь род Асаи! Пусть я останусь совсем один, но таким неблагодарным трусом себя не выкажу! — Окидывая свирепым взором собравшихся, старый князь прямо кипел от гнева.

Напрасно заслуженные, потомственные вассалы угова-

ривали его, мол, не надо так горячиться, успокойтесь, тут надобно хорошенько все взвесить, старый князь знай твердил:

— Все вы негодяи, я, старик, всегда и во всем для вас помеха... Добиваетесь, чтобы я вспорол свое старое брюхо, этого вы хотите?! — И весь дрожа, в ярости скрежетал зубами.

Старые люди вообще крайне чувствительны, когда речь идет о вопросах чести и исполнения долга, понятно, что старый князь рассердился, но дело в том, что он давно уже вбил себе в голову, будто вассалы ни в грош его не ставят. К тому же сын его, Нагамаса, отверг супругу, Которую он самолично ему сосватал, и женился на госпоже О-Ити — старый князь до сих пор помнил эту обиду.

— Ну что, теперь убедились? А все оттого, что он ослушался отцовского приказания! Чего нам церемониться с этим лжецом Нобунагой, раз дело зашло так далеко?! С моим сыном до такой степени не считаются, а он молча отходит в сторону... Видно, из-за чрезмерной любви к жеманушке не решается поднять меч на семейство Ода! — отпуская он язвительные замечания и в адрес сына.

Князь Нагамаса молча слушал препирательства между отцом и вассалами, но затем сказал с тяжким вздохом:

— Отец прав. Я довожусь Нобунаге зятем, но это не заставит меня забыть благодеяния, которые оказал нам дом Асакура еще при жизни моего деда. Завтра же, рано утром, пошлю гонца к Нобунаге и верну ему письменную клятву, которую он сам мне дал в свое время. Как бы ни похвалялся Нобунага военной мощью, равной сноровке волка и тигра, если мы вдвоем с Асакурой сразимся с ним не на жизнь, а на смерть, не может того быть, чтобы не удалось его одолеть! — Ну, а коль скоро так решил князь Нагамаса, спорам пришел конец и все скрепились духом в чаянии предстоящих сражений.

Но и после, на каждом военном совете, мнения отца и сына не совпадали, так что дело никак не ладилось. Князь Нагамаса, прирожденный выдающийся полководец, известный своим твердым, отважным нравом, считал, что, имея противником Нобунагу, всегда стремительного, скорого на решения, нашему войску тоже ни в коем случае нельзя медлить; надо опередить Нобунагу, ударить первыми и навязать ему битву. Однако старый князь, как то свойственно старикам, чересчур осторожничал, ко всему придирался по мелочам и, в конечном итоге, погубил всех. Когда Нобунага временно прекратил наступление на Этид-

зэн и отвел свои отряды в столицу, опять повторилось то же: молодой князь считал, что нужно воспользоваться благоприятным моментом, соединиться с Асакурой, вместе вторгнуться в провинцию Мино — владения Нобунаги — и взять приступом его главную крепость Гифу. Получив такие известия, Нобунага немедленно помчится на выручку, однако на пути у него лежат южные земли Оми, а ведь это владения Сасаки — тот ни в коем случае не пропустит отряды Нобунаги легко и просто... Тем временем наши воины успеют вернуться назад из Гифу, устроят засаду неподалеку от Саваямы, навяжут сражение — и голова Нобунаги наша!.. Вот какой хитроумный план придумал князь Нагамаса и с тем отправил посланца к Асакуре, но у того, видать, в его замке Йтидзёотани, тоже засели изрядные тугодумы: дескать, идти походом за тридцать земель, в Мино, когда путь лежит через враждебные княжества, дело нелегкое... Никто, и главное, сам Ёсикагэ Асакура, не поддержал предложение нашего князя. «Лучше, мол, соберем всех наших воинов и явимся к вам на подмогу, буде случится, что Нобунага начнет осаду замка Одани...» — вот как они нас приветили, так что, к великому сожалению, весь мудрый план князя Нагамасы пошел насмарку.

— Стало быть, Асакура тоже вознамерился ждать и медлить? Теперь я понял, что он за человек... При таких проволочках нет никакой надежды одолеть Нобунагу, всегда скорого на решения... Только по приказанию отца связался я с этим никчемным Асакурой, и вот пришел мне конец!.. — сказал князь Нагамаса и, как видно, в душе уже приготовился к тому, что погибнет и сам, и весь дом Асаи.

* * *

Ну, а потом были битвы при Анэгаве, при Сакамото, на время наступил мир, по вскоре перемирие снова было нарушено, войска Нобунаги одну за другой занимали все паши земли. Поистине, так все и вышло, как предвидел наш господин. Всего два-три года понадобилось Нобунаге, чтобы овладеть крепостями Саваямой, Ёкоямой, Асадзумой, Миябэ, Ямамото, Оотакэ, и остался замок Одани — наша главная цитадель — одиноким, голым и беззащитным. Неприятель, числом более шестидесяти тысяч, плотным кольцом многократно окружил замок, так что даже муравей и тот не сумел бы выбраться из осады. Возглавлял войско сам князь Нобунага, под его началом сражались прославленные храбрецы — Кацуиэ Сибата, Город-

заэмон Нива, Сакума. Сам Хидэёси — в ту пору его звали еще попросту Токитиро Киносита, — построил укрепление на горе Тора-годзэн, оттуда как на ладони было видно все, что творилось в замке. У нашего князя, среди его вассалов тоже было немало выдающихся воинов, но постепенно даже те, на которых, казалось, можно было целиком положиться, один за другим, нарушив верность, сдавались на милость Оды, так что силы защитников замка слабели день ото дня. В замке находились заложники — женщины, дети, — были самураи, бежавшие из занятых неприятелем крепостей, народу стало больше обычного, и в первое время все были бодры духом, ночные вылазки совершались с песнями:

Недолговечны
В этом мире и горе, и радость.
Вскоре прозреешь,
Поймешь, что жизнь — сновиденье...

Но после того как господа Ситиро Асаи и Гэмба тайно снесли с Хидэёси и впустили врата в одну из башен, — а держали они оборону между башней, находившейся под началом старого князя, и главной цитаделью, которую оборонял князь Нагамаса, — все как будто разом пали духом. Именно в это время в замок прибыл посланец Нобунаги и по поручению своего господина передал: «Я рассорился с тобой, если говорить о причинах, только из-за Асакуры, а на тебя я никакого зла не держу. Сейчас я уже полностью покорил край Этидзэн и снял голову Асакуре, так что человека, с которым ты был связан узами долга, больше па свете нет. Мы ведь с тобой родня, прекрати же сопротивление, открой ворота замка, и, со своей стороны, я буду вполне удовлетворен. А если встанешь под мое знамя и будешь верой и правдой служить нашему дому Ода, я отдам тебе во владение край Ямато...» Любезное, добросердечное послание! Многие в замке радовались: «Вовремя пришло предложение о перемирии!», но были и другие, говорившие: «Нет, вряд ли таковы чистосердечные замыслы Нобунаги. Он хочет вызволить из замка свою сестру, госпожу О-Ити, а потом принудить нашего князя совершить харакири... Так что мнения были самые разные. Князь Нагамаса принял посланца. «Я тронут вашим добрым советом, — гласил его ответ Нобунаге, — но во имя каких радостей стал бы я дорожить жизнью, коль скоро я уже пал так низко? Единственное мое желание — принять смерть в честном бою. Так и передай своему господину!»

«Как видно, он мне не доверяет...» — решил Нобунага

и снова, и снова слал послов в замок: «Я говорю истинную правду. Оставь мысли о смерти и, ни о чем не тревожься, с легким сердцем сдавайся!» Но князь Нагамаса не хотел менять однажды принятого решения и, что бы ему ни советовали, не слушал. В двадцать шестой день восьмой луны он призвал преподобного Юдзэна из храма Успокоения, Бодай-ин, затем приказал высечь ступу из камня, взятого в долине Одани, и вырезать на нем свое посмертное имя, а на задней стороне ступы собственноручно написать молитвенное изречение. Двадцать седьмого числа, ранним утром, князь Нагамаса уселся на возвышение рядом с этой каменной ступой и, с благословения преподобного Юдзэна, велел всем вассалам по очереди зажигать на помин своей души курительные палочки, как по покойнику. Вассалы, понятное дело, отказывались, но приказ звучал так сурово, что в конце концов пришлось подчиниться... Ступу эту потом тайно вынесли из замка и погрузили глубоко на дно озера, примерно в восьми тё от Бамбукового острова, Тикубу. Тут уж все в замке дружно приняли единственное решение — храбро принять почетную смерть в бою.

* * *

Как раз в пятую луну этого года у супруги князя родился мальчик; утомленная родами, она примерно с месяца не показывалась на люди. Все последнее время я ходил за ней, лечил, растирал плечи и поясницу, всячески утешал, старался развлечь беседой о разных мирских делах... Да, именно, сударь, — уж на что суровым воином был князь Нагамаса, но с женой обходился чрезвычайно ласково, и хоть днем свирепо бился не на жизнь, а на смерть, но когда приходил на женину половину, всячески лелеял свою жену, во всем стараясь ей угодить, всегда был весел, пил сакэ, шутил с дамами ее свиты, даже со мной, как будто ничуть не тревожась о том, что десятки тысяч вражеских воинов плотным кольцом окружили замок. Конечно, трудно судить, каковы отношения между знатными супругами-даймё, даже когда близко состоишь при них в услужении, но думается, госпожа очень страдала, раздираемая между любовью к мужу и привязанностью к брату. Понимая это, князь Нагамаса старался как мог ободрить ее, чтобы она не мучилась из-за двойственности своего положения. В то время не раз, бывало, слышался его голос: «Эй, слепой, оставь-ка свой сямисэн, довольно... Лучше спляши и спой

нам что-нибудь повеселее, а мы под твою песенку выпьем!»
И я пел:

Лет в семнадцать — восемнадцать
хороши девицы,
Как шелка, что на шесте
вешают сушиться.
Тех шелков я коснусь —
Ох и гладки!
До девиц доберусь —
Ох и сладки!
Нежным шелком прильну
к тонкому стану,
Обнимать, миловать,
гладить стану!

При этом я неуклюже плясал, стараясь оживить их трапезу. Это шутовское представление я сам придумал; бывало, как дойду до слов «...обнимать, миловать...», сопровождаемая пение смешными жестами, зрители прямо умирали со смеху. Им было смешно глядеть, как слепой пляшет с забавными ужимками, и если среди общего смеха слышался голос госпожи, я думал: «Ага, значит, у нее стало немножко веселее на сердце...» Ради этого стоило постараться! Но по мере того как шло время, с наступлением горестных дней, сколько бы я ни плясал, сколько бы ни придумывал новых забавных жестов, она лишь чуть усмехалась, а вскоре все чаще случалось так, что даже этой короткой усмешки мой слух уже не мог уловить.

* * *

Как-то раз госпожа сказала, что у нее ужасно затекла шея, — помассируй немножко! — и, расположившись у нее за спиной, я стал растирать ей плечи. Госпожа сидела на подушке, опираясь на деревянный подлокотник, в какой-то момент мне даже показалось, что она дремлет, но нет, время от времени я слышал — она вздыхала. Раньше она часто беседовала со мной в такие минуты, но в последнее время лишь очень редко обращалась ко мне с какими-нибудь словами, поэтому я, со своей стороны, сохранял почтительное молчание, но на сердце у меня стало почему-то удивительно тяжело. У слепых вообще чутье развито куда сильнее, чем у зрячих, а уж тем более я, сотни раз лечивший госпожу растиранием, сразу мог уловить ее настроение. Все, что было у нее на душе, как бы само собой сообщалось мне через кончики моих пальцев; оттого-то, наверное, пока я молча растирал ей спину, скорбь целиком заполнила мою душу.

В ту пору госпоже было года двадцать два, двадцать три, она уже была матерью пятерых детей, но, красавица от природы, она к тому же вплоть до нынешних горестных обстоятельств ведать не ведала ни забот, ни печалей — ветерок, и тот, как говорится, не смел на нее дохнуть, и потому — осмелюсь, недостойный, сказать — тело у нее было такое нежное, мягкое, что даже через тонкую ткань ощущение в пальцах получалось совсем иное, нежели при лечении других женщин. Правда, на сей раз то были пятые роды, поэтому она все-таки несколько исхудала, но все равно была изящна на удивление. Я вот дожил до этих лет, долгие годы тружусь и кормлюсь лечебными растираниями, через мои руки прошло бесчисленное число молодых женщин, но ни разу не встречалось такого гибкого тела. А упругость ее рук и ног, гладкость и нежность кожи!.. Поистине, именно такую вот кожу называют «жемчужной»... После родов волосы у нее поредели — так она сама изволила говорить, — но по сравнению с волосами обычных женщин все еще были, можно сказать, даже слишком густыми; тяжелая масса этих тонких, прямых, без извивов волос, похожих на ровные пряди шелковых нитей, шурша об одежды, закрывала всю ее спицу, так что даже мешала растирать плечи. И тем не менее, несмотря на все ее совершенство, какая судьба ожидает эту благородную даму, если замок падет? Эта жемчужная кожа, эти черные, ниспадающие до пола волосы, эта нежная плоть, одевшая хрупкие косточки, — неужели все это обратится в дым вместе с башнями замка? Пусть так уж повелось в наш век бесконечных войн и междоусобиц — отнимать жизнь людскую, но мыслимо ли убить такое слабое, нежное, такое прекрасное создание? Неужели князь Нобунага не хочет спасти сестру, в жилах которой течет родная кровь? Конечно, я был всего лишь простым слугой, не мне, ничтожному, подобало тревожиться о ее благополучии, но судьба привела меня близко ей прислуживать. По счастью, я родился слепым, только поэтому довелось мне касаться тела такой госпожи, дозволено было утром и вечером растирать ей спину и плечи, и я считал, что ради одного этого уже стоило жить на свете... Но как долго придется мне по-прежнему оказывать ей эти услуги? Будущее не сулило ничего радостного; при этой мысли сердце у меня больно сжалось. В это время госпожа снова тяжело вздохнула и окликнула меня: «Яйти!» (В замке все звали меня просто «Слепой!», но госпожа сказала, что так негоже, и дала мне имя «Яйти».)

— Что с тобой, Яйти? — повторила она.

— Да, госпожа? — смутившись, испуганно спросил я.

— Совсем не чувствуется, как ты массируешь... Нажимай посильнее!

Я спохватился — очевидно, из-за непрошенных, бесплодных моих тревог руки у меня перестали работать. Опомнившись, я принялся усерднее растирать ей затылок и плечи. А надо вам сказать, что в этот день и шея, и плечи у нее были против обыкновения жесткими, на спине и на шее образовались комки величиной с ручной мячик, размягнуть их было нелегким делом. Мне было ясно, что эти затвердения появились, конечно же, оттого, что, снедаемая тревогой, бедняжка и ночью-то, наверное, как следует не спала... Тут она снова меня окликнула:

— Яйти, как долго ты думаешь еще оставаться в замке?

— Мне, госпожа, хотелось бы все время продолжать мою службу. Человек я убогий, пользы от меня никакой, но я буду вам благодарен, если, жалеючи меня, вы позволите по-прежнему вам прислуживать.

— Вот как?.. — только и сказала она в ответ и на какое-то время снова грустно умолкла. — Но все-таки, ты ведь знаешь, что многие уже покинули нас, в замке осталось мало народа. Если даже благородные самураи бегут, покидая своего господина, чего стыдиться тому, кто вовсе не принадлежит к сословию самураев? Тем более тебе... Ведь ты слепой, тебе опасно здесь оставаться.

— Спасибо за милостивые слова, но оставаться или бежать — это каждый решает по своему разумению. Зрячий может скрыться под покровом ночного мрака, но сейчас, когда замок со всех сторон окружен, даже если вы прогоните меня, мне все равно не уйти... Я всего лишь слепой калека, можно сказать, и в счет не иду, но все же не хотел бы попасть в руки врага и полагаться на его милость...

На эти мои слова она ничего не ответила, но, кажется, утерла слезу, потому что я уловил шелест бумажного платочка, который она достала из-за ворота кимоно. Сам не свой от тревоги, я думал не столько о себе, сколько о том, как собирается поступить сама госпожа, — решила ли она до конца оставаться с мужем или, может быть, из жалости к детям уже рассудила как-то иначе... Но прямо спросить о ее намерениях я не смел, а она ко мне больше не обращалась, и я, боясь шевельнуться, замер в почтительной позе, так и не закончив массажа.

Разговор этот происходил за день до того утра, когда князь заставил своих вассалов возжигать курения за его упокой; после вассалов в зал пригласили госпожу с детьми, дам ее свиты и даже нас, челядинцев. «Теперь вы все тоже помолитесь за мою душу!» — произнес князь. Но тут женщины, как видно, впервые с ужасом поняли, что судьба замка окончательно решена и господин собирается принять смерть в бою; потрясенные, все растерялись, никто не встал, не подошел, чтобы воскурить ритуальный дым.

В последние дни неприятель осаждал замок с особой яростью, шум сражения не затихал ни днем ни ночью, но в это утро силы неприятеля как будто все же несколько выдохлись и вокруг замка и в самом замке все было тихо, в большом зале стояла мертвая тишина.

Осень была уже на исходе; здесь, высоко в горах, на севере провинции Оми, в этот ранний предутренний час, когда ночь еще не полностью сменилась рассветом, холодный ветер пронизывал до костей. Тишину нарушало только громкое, неумолчное стрекотание цикад в траве и кустах в саду, как вдруг кто-то тихонько заплакал в дальнем уголке зала, а вслед за ним, не в силах сдержаться, заплакали остальные — отовсюду послышались приглушенные рыдания, так что даже несмышленишки-дети и те ударились в плач. Но госпожа сохраняла спокойствие даже в эти минуты.

— Это еще что! Ты старшая, не смей плакать! — строго прикрикнула она на госпожу О-Чачу и, подзвав нянюшку старшего сына, приказала: — Пусть наш сын первым зажжет курение!

Первым совершил обряд старший сын, господин Мампуку-мару, за ним — младший, в ту пору еще грудной младенец.

— А теперь ты, О-Чача! — велела госпожа.

— Нет, погоди! Почему ты сама не идешь раньше дочери? — строго прервал ее князь Нагамаса, но госпожа, не поднимаясь с места, лишь невнятно шептала что-то вместо ответа. — Ведь я столько раз все тебе обьяснял, — продолжал он. — Отчего же ты не повинешься? Или в такую минуту ты готова послушаться моего приказания?!

По госпожа, преисполненная решимости, отвечала только: «Я не достойна вашей милости!» — и не двигалась с места. Тогда, не на шутку разгневанный, князь Нагамаса сказал:

— Стало быть, ты забыла свой женский долг? После смерти мужа молиться за его упокой и растить детей — вот обязанность истинно достойной супруги. Если ты не способна уразуметь такую простую истину, ты больше мне не жена в будущей жизни! И меня своим мужем тоже впредь не считай! — резко бросил он ей. Громкий голос его долетел до самых дальних уголков зала, люди, вздрогнув, затаили дыхание от страха — что-то будет?.. Некоторое время не слышно было ни звука, но вскоре я уловил шуршание шелковой одежды о соломенные циновки — госпожа зажгла курение, хоть и против собственной воли; следом за ней совершили обряд старшая барышня, госпожа О-Чача, за ней вторая — О-Хацу, потом третья — Кого, а за ними в конце концов и все остальные. Ну, а каменную ступу, как я уже говорил, тайно вынесли из замка и погрузили в озеро.

В присутствии посторонних госпожа вынуждена была повиноваться, по по-прежнему все твердила:

— Зачем мне жить, если не станет моего господина? Не хочу, чтобы люди указывали на меня пальцем: «Вот вдова Нагамасы!» Прошу вас, пожалуйста, позвольте мне умереть вместе с вами! — Так всю ночь напролет жалобно умоляла она супруга, но люди рассказывали потом, что князь не внял ее просьбам.

* * *

На следующий, двадцать восьмой день, в час Змеи, в третий раз прибыл посланец Нобунаги; то был Фува, правитель земли Кавати. «Не хочешь ли изменить решение? Подумай в последний раз и сдавайся!» — передал он. «Я все обдумал, — ответил князь Нагамаса. — Конечно, мне жаль расставаться с жизнью, жаль покидать сей мир, но решение мое неизменно: я твердо решил вспороть себе живот здесь, в этом замке. Вот только судьба женщин, дочерей и жены, меня заботит. В жилах у них течет кровь, родственная князю Нобунаге, поэтому я постараюсь уговорить их покинуть замок. Если, явив великое милосердие, вы пощадите их жизни и в будущем позаботитесь об их участи, я буду безгранично вам благодарен!» С такой учливой просьбой обратился он к Нобунаге и с тем отправил назад его посланца, после чего, как видно, принялся снова уговаривать госпожу. Разумеется, князь Нагамаса не мог гневаться на жену, с которой жил в любви и согласии, за ее желание не разлучаться с ним даже после его кончины.

Прошло ведь, в сущности, всего лишь шесть лет с тех пор, как они сочетались браком, но и за этот короткий срок ни единого дня не довелось им прожить спокойно. В мире непрерывно царила смута, князь то и дело уезжал на войну, то в столицу, то в южные земли Оми, так что желание госпожи навечно соединиться с мужем в едином венчике лотоса, в пределах потусторонних, и пребывать там вместе с ним в покое и мире никак нельзя было счесть своеволием или простым капризом. Но князю Нагамасе, хоть был он суровый воин, не в пример многим, ведомы были и жалость, и сострадание. Не в силах жестоко обречь на смерть госпожу, совсем еще молодую, он стремился во что бы то ни стало спасти ее, в особенности же тревожился, наверное, о своих детях. В общем, он всячески ее уговаривал, и госпожа в конце концов согласилась вернуться в родной дом вместе с тремя дочерьми. Мальчики-сыновья были еще совсем младенцами, но очутиться в руках врагов было для них опасно, поэтому старшего, Мампуку-мару вместе с пажом Кимурой ночью, двадцать восьмого, тайно переправили из осажденного замка к надежному другу в край Этидзэн, в уезд Цуругу, а самого младшего, грудного младенца той же ночью отправили вместе с кормилицей под охраной самураев Огавы и Накадзимы в храм Благого завета, Фукудэндзи, в наших владениях. Рассказывали потом, что они причалили лодку к берегу неподалеку от храма и некоторое время предосторожности ради прятались там в зарослях камыша.

* * *

Всю ночь госпожа и князь Нагамаса прощались, в последний раз обменивались чарками сакэ, бесконечно сокрушаясь о предстоящей разлуке. Как ни долги осенние ночи, постепенно стало светать; когда же небо на востоке совсем посветлело, госпожа села в паланкин у главных ворот замка. Следом в трех паланкинах ехали ее дочери, каждая со своей нянькой. Паланкины окружала охрана во главе с самураем Фудзикакэ, служившим при госпоже еще с тех пор, как он прибыл из дома Ода, сопровождая ее свадебный поезд. Вместе с госпожой покидали замок и дамы свиты.

Князь Нагамаса вышел проводить жену к самому паланкину. В то утро он уже облачился в последний свой предсмертный наряд; по словам людей, то был панцирь, скрепленный черными кожаными ремнями, поверх кото-

рого князь набросил ритуальное оплечье «кэса». Когда носильщики подняли, наконец, паланкин, он звучным, твердым голосом произнес: «Прощай, береги себя и детей! Будь здорова и живи долго!»

— Ни о чем не тревожься, да сопутствует тебе слава! — так же твердо, без единой слезинки, ответила госпожа. Да, ничего не скажешь, она умела владеть собой! Младшие девочки были еще совсем малы, не понимали, что происходит, и спокойно сидели на руках кормилиц, но старшая О-Чача все время оглядывалась на отца и, громко плача, кричала: «Не хочу! Не поеду!» — и сколько ее ни успокаивали, не унималась, для окружающих это было мучительнее всего... Все три девочки впоследствии преуспели в жизни — О-Чача стала госпожой Ёдогими, О-Хацу — супругой князя Такацугу Кёгоку, а младшая, Кого, — страшно вымолвить, госпожой супругой теперешнего нашего сёгуна. Поистине, неисповедимы судьбы людские!..

* * *

Князь Нобунага встретил сестру и племянниц с искренней радостью. «Молодец, что догадалась покинуть замок! — ласково сказал он. — Я всячески советовал твоему мужу прекратить сопротивление и сдаться, но он меня не послушал. Доблестный воин, он дорожит своей самурайской честью... Я вовсе не хочу его гибели, но таков уж обычай воинского сословия, так что не держи на меня обиды! Воображаю, сколько лишений довелось тебе испытать за время долгой осады!..» Родная плоть и кровь, они долго беседовали обо всем без утайки. Князь Нобунага сразу же поручил госпожу О-Ити заботам младшего сына, Нобутаки, правителя земли Кодзукэ, приказав исполнять все ее пожелания.

* * *

В это утро боевых действий не было, но после того, как госпожа О-Ити покинула осажденный замок, дальше откладывать штурм было незачем, оставалось лишь взять крепость приступом и вынудить отца и сына Асаи вспороть себе животы. Князь Нобунага самолично поднялся на холм Цубурао, подал знак, и войско с устрашающим воинственным кличем пошло на штурм. К этому времени у старого князя Хисамасы осталось всего около восьмисот рядовых бойцов, они заняли круговую оборону, но наступавших были несметные полчища, их вел господин Кацуиэ Сибата,

он первый ухватился рукой за стену и мгновенно проник за ограду. Старый князь понял, что пришел его смертный час, приказал господину Инокути по возможности задержать противника и покончил с собой. «Последнюю службу» сослужил ему господин Фукудзюан. Был там еще артист Цурумацу-даю, большой искусник по части пляски, всегда безотлучно состоявший при князе. Рассказывали, что, обратившись к своему господину, он сказал: «Позвольте мне и на сей раз сопровождать вас!» — принял из рук князя прощальную чарку саке, а затем, убедившись, что господин его мертв, сослужил «последнюю службу» господину Фукудзюану, после чего спустился из зала пониже, на дощатый, не покрытый циновками пол, и там вспорол себе живот. Господа Инокути, Акао, Сэнда, Вакидзакэ тоже покончили с собой. Конечно, князь Хисамаса был уже стар годами, но все же горестна такая кончина... А только, если хорошо поразмыслить, выходит, сам же был во всем виноват. Надо было слушать советы сына и предоставить господина Асакуру его судьбе, пока дело еще не обернулось так плохо... А вместо этого он упорствовал, цепляясь за свое пресловутое чувство долга, не сумел должным образом оценить стремительно растущее могущество Нобунаги, и вот — погиб понапрасну, так кто же, выходит, в том виноват? Мало того, когда обсуждалось предстоящее сражение или вылазка из замка, ему, как старому человеку, надлежало бы держаться в тени, а он вмешивался в каждую мелочь, перечил князю Нагамасе или медлил там, где наверняка можно было выиграть битву, иными словами, прямо на глазах вел дело к поражению! И так бывало не раз, не два. Вот и случилось, что дом Асаи погиб, хотя и основатель дома, князь Сукэмаса, и внук его, Нагамаса, оба были одаренные полководцы, а вот среднее поколение, князь Хисамаса, не отличался прозорливостью, не умел по-настоящему, правильно оценить обстановку, оттого и навлек погибель на весь свой род... Но кого действительно жаль, так это князя Нагамасу. Если бы ему сопутствовала удача, он вполне мог бы править страной не хуже Нобунаги, а он безвременно сошел в могилу — все потому, что покорно следовал отцовским приказам. При мысли об этом даже мы, простые люди, и то готовы были скрипеть зубами от великой досады, не в силах смириться с гибелью князя. Каково же было госпоже, что творилось в ее душе? Но поскольку князь погиб из-за чрезмерной своей сыновней почтительности, стало быть, упрекать его не в чем...

Башня, которую оборонял старый князь, пала двадцать девятого, приблизительно в час Коня; после этого отряды Кацуиэ Сибаты, Киноситы — будущего великого Хидзэси, Маэды и Сасаки соединенными силами сразу пошли приступом на главную цитадель. Князь Нагамаса, во главе нескольких сот преданных воинов, обнажив меч, вышел за крепостную стену, рубил беспощадно, нанес немалый урон противнику, после чего опять проворно укрылся в замке. Наступающие яростно штурмовали крепость, но всех, кто пытался ухватиться за край стены, пронзали копьями и сбрасывали наземь; ни одному вражескому солдату не удалось проникнуть в башню. К ночи противник изрядно выдохся, наступил перерыв, но на следующий день, тридцатого, снова начался штурм. Только теперь князь Нагамаса узнал о смерти отца. «А что князь Хисамаса?» — спросил он, и кто-то из приближенных самураев ответил, что старый князь еще вчера покончил с собой. «А я и не знал! — воскликнул князь Нагамаса. — Больше мне незачем жить на свете! Осталось только отомстить за смерть отца и с честью погибнуть!» И около часа Змеи он снова повел сотни две воинов прямо в гущу врага, косил подряд всех и каждого, не отступая ни на шаг, но когда воинов осталось у него всего пять или шесть десятков, а у противников по-прежнему были тысячи, он проложил себе путь мечом прямо сквозь строй врагов и хотел снова укрыться в башне, но к этому времени противник уже проник в крепость, и ворота оказались заперты изнутри. Тогда князь пробился к усадьбе Асаи, правителя Хюги, расположенной слева от ворот, и там, ни секунды не медля, вспорол себе живот. Службу «помощника» исполнил сам правитель Хюги, покончивший с собой следом за господином. Вместе с ними добровольно приняли смерть Накадзима, Кимура, Вакидзаки и еще многие самураи. Говорят, будто враги старались во что бы то ни стало взять князя Нагамасу в плен живым, ибо таков был якобы приказ самого Нобунаги, но сделать это не удалось, одолеть столь могучего воина оказалось им не под силу.

А вот кому изменило военное счастье и пришлось изведать позор пленения, так это Асаи, правителю Ивами, и Акао, правителю Мимасаки с сыном Симбэем — их взяли живыми в плен и, связанных, как разбойников, притащили пред очи князя Нобунаги. «Все вы трое только и знали, что подстрекать князя Нагамасу к измене и непрерывно

строили против меня всевозможные козни», — сказал Нобунага, на что правитель Ивами, человек непреклонный, гордый, ответил: «Мой господин Нагамаса Асаи был чужд вероломству, не то что ты, князь!» Князь Нобунага рассвирепел, услышав такой ответ. «Болван! — крикнул он. — И ты еще смеешь рассуждать о вероломстве! Трус, павший так низко, что позволил взять себя в плен живым!» И он трижды ударил правителя Ивами по голове тупым концом своего копья, но тот, не выказав ни малейшего страха, язвительно молвил: «Или тебе в утеху избивать связанного? Настоящий военачальник никогда так не поступил бы!» Нобунага зарубил его тут же, на месте.

Акао, правитель Мимасаки, держался смиренно, но когда Нобунага сказал ему: «Ты с юных лет славился храбростью, я слышал, что воинской доблестью ты не уступишь демону или богу... Как же случилось, что ты не покончил с собой вместе со своим господином?» — он ответил: «Я уже стар, вот и вышло, что замешкался по старческой немощи!» — «Я подарю тебе жизнь, если поступишь ко мне на службу!» — предложил князь Нобунага, но правитель Мимасаки ответил: «После всего пережитого ничто не привлекает меня на этом свете!» — и просил только об одном: отпустить его на все четыре стороны.

«В таком случае, пусть мне послужит твой сын Симбэй», — снова предложил князь Нобунага, но правитель Мимасаки, оглянувшись на сына, крикнул: «Нет, нет, не соглашайся! Не будь трусом и не поддавайся на обман!»

Князь Нобунага громко рассмеялся: «Старая развалина! Отчего ты все сомневаешься? Неужели ты считаешь меня таким лжецом?» Впоследствии он и в самом деле взял господина Симбэя к себе на службу.

* * *

Услышав, что муж погиб, госпожа заперлась у себя и целыми днями молилась за его упокой. Князь Нобунага пришел навестить сестру. «Я слышал, у тебя был сын, мальчик, — сказал он. — Если он цел и невредим, я хотел бы взять его к себе, вырастить и со временем сделать наследником покойного Нагамасы!»

Поначалу госпожа, не умея толком понять, что на уме у брата, отвечала, что ей неизвестна судьба ребенка, но князь продолжал: «Нагамаса был мне врагом, но ребенок ни в чем не виноват. Он приходится мне племянником, я

спрашиваю только из любви к мальчику!» Постепенно госпожа успокоилась — стало быть, он заботится о ребенке — и рассказала, где спрятали господина Мампуку-мару. Тотчас же снарядили в край Этидзэн, в уезд Цуругу, гонца с приказанием пажу Кимура доставить мальчика. Однако Кимура, поразмыслив, ответил, что на свой страх и риск зарубил ребенка. Тем не менее гонцов слали снова и снова; госпожа решила, что, коль скоро брат проявляет такую заботу о судьбе ее сына, нехорошо пренебрегать его добротой, он сочтет ее просто неблагодарной. «Я и сама тоже хочу как можно скорее увидеть моего мальчика живым и здоровым. Привези же его без промедления!» — торопила она Кимуру. А тот, рассудив, что раз все равно местопребывание ребенка уже известно, ничего другого не остается, хоть и с тяжелым сердцем, прибыл вместе с господином Мампуку-мару в третий день десятой луны в селение Госю-Киномою. Там их встретил Токитиро Киносита, принял ребенка и доложил об этом князю Нобунаге.

— Убей мальчишку, а голову пусть вздернут на острие копья и выставят на всеобщее обозрение! — приказал князь.

Тут опешил даже Токитиро Киносита.

— Не чересчур ли это?... — сказал он, но князь обрушился на него с гневной речью, и, делать нечего, пришлось поступить, как было велено. А головы князей Нагамасы Асаи и Ёсикагэ Асакуры, когда плоть уже полностью истлела, приказано было покрыть слоем красного лака и для вящего веселья подать на лакированном подносе на показ всем знатным даймё во время новогоднего пира. Да, видно, крепко ненавидел князь Нобунага покойного Нагамасу! А все оттого, что сам же поступил вероломно, собственную клятву превратил в пустую бумажку. Подумай он хоть немножко о горе своей сестры, не следовало бы так обращаться с останками того, кто, в сущности, доводился ему близкой родней. Но в особенности жестоко было, играя на родственных чувствах, обмануть госпожу О-Ити, вздеть на острие копья голову ни в чем не повинного ребенка — это страшное злодеяние! Вот я и думаю — когда летом 10-го года Тэнсё¹ князь Нобунага погиб недостойной смертью на постоялом дворе при храме Хоннодзи, причиной была, наверное, не только измена Мицухидэ Акэти — то была кара за гнев и скорбь множества загубленных им людей... Да, грозен неотвратимый закон возмездия!

¹ 1582 г.

...Тем временем все быстрее пошел в гору Токитиро Киносита, будущий великий князь Хидэёси. Многие знатные самураи, и первый среди них — Кацуиэ Сибата, совершили славные подвиги при осаде замка Одани, но особенно отличился Токитиро, так что князь Нобунага был им чрезвычайно доволен и в награду пожаловал ему во владение замок Одани, уезды Асаи и Инугами и половину уезда Саката, поручив, таким образом, надзор и охрану всех северных земель провинции Оми. Однако господин Токитиро сказал, что замок Одани трудно охранять с малочисленным гарнизоном, и перенес свою резиденцию в Нагахаму, мое родное селение, — в те времена звалось оно Имахама, это Токитиро переименовал его в Нагахаму...

Ну, это так, к слову, а вот любопытно, с каких пор господин Токитиро стал заглядываться на мою госпожу? Покидая замок Одани, она милостиво сказала мне: «Жаль, что я не могу взять тебя с собой... Но если ты выберешься отсюда, можешь рассчитывать на меня!» А я уже решил про себя, что жизнь для меня окончилась, но после таких ее слов суетный мир показался еще желаннее, я замешался в толпу ее провожатых, а потом несколько дней прятался в призамковом городе, ожидая, когда окончится битва, после чего отправился в лагерь правителя Кодзукэ. Мне повезло: госпожа сказала, что я — ее любимый слепой слуга, никто не причинил мне вреда, и я опять стал ей прислуживать. Поэтому я часто дежурил в соседнем покое, когда господин Киносита приходил к ней с визитом.

В первый раз он распростерся в нижайшем поклоне на почтительном расстоянии и скромно представился: «Токитиро Киносита...» Госпожа приветливо кивнула в ответ и воздала должное его ратным подвигам.

— Несмотря на то что у меня нет никаких военных заслуг, князь Нобунага пожаловал мне владения покойного господина Асаи, — сказал он. — Я, ничтожный, стал преемником его достояния — незаслуженная честь для меня! Ныне мечтаю лишь об одном — упрочить мир в северных землях Оми, следуя заведенному покойным порядку и во всем подражая его примеру! Здесь в боевом лагере, — продолжал он, — вам, наверное, приходится терпеть множество неудобств в обиходе... Прошу вас, приказывайте без всякого стеснения, я доставлю все, что вам нужно! — Осталось лишь удивляться его любезности. В особенности

ласково обращался он с девочками, всячески стараясь им угодить.

— А вы, маленькая госпожа, старшая? — сказал он. — Ну-ка, подите сюда, дайте я обниму вас! — И посадив госпожу О-Чачу на колени, гладил ее по головке, спрашивал, сколько ей лет, как зовут и тому подобное.

Но госпожа О-Чача сидела, надувшись, у него на коленях и не хотела отвечать — должно быть, детским своим умишком сообразила, что этот человек — главный среди злых людей, отнявших у отца замок, и сердилась за это. Потом вдруг уставилась прямо ему в лицо и сказала:

— А ты и вправду похож на обезьяну!

При всем своем самообладании господин Киносита все же несколько растерялся.

— Правильно, я смахиваю на обезьяну... Зато маленькая госпожа как две капли воды похожа на свою матушку! — сказал он, засмеявшись, чтобы скрыть смущение. Он и потом часто навещался к госпоже и всякий раз преподносил ей подарки, одаривал даже девочек — одним словом, проявлял такую заботливость и внимание, что госпожа постепенно стала относиться к нему с доверием. «На Токитиро можно положиться...» — говорила она. Теперь-то я понимаю, что редкостная красота госпожи О-Ити уже тогда, наверное, его покорила и в душе он тайно в нее влюбился. Конечно, она была сестрой князя Нобунаги, его господина, вассал даже помыслить о ней не смел, иными словами, этот цветок цвел на недосягаемой для него вершине, так что в те времена он вряд ли рассчитывал на успех. Но все же недаром то был Хидэёси — с таким человеком всегда следовало быть начеку... А что до разницы в положении, так изменчивость — непреложный закон нашего мира, в особенности в смутные времена. Расцвет и увядание, гибель и возвышение сменяют друг друга... Так что, кто знает, возможно, втайне он лелеял надежду, что со временем все же добьется своего. Мне, заурядному смертному, не дано проникнуть в помыслы великого человека, но все же думается, то была не простая фантазия с моей стороны...

Оттого-то, когда князь Нобунага приказал ему зарубить господина Мампуку-мару, Хидэёси пришел в великое замешательство. Люди рассказывали потом, что он всячески старался спасти ребенка.

— Пощадите его, какой вред может причинить такой маленький мальчик? Ведь он еще совсем дитя! Осмелюсь сказать — лучше сделайте его наследником князя Асаи, и пусть он навеки будет вам благодарен! Таким поступком

вы укрепите мир в Поднебесной, проявите истинное понимание законов человеколюбия и справедливости! — сказал он, но князь Нобунага не захотел его слушать. — В таком случае, прошу вас поручить это дело кому-нибудь другому, — не в пример обычной своей покорности осмелился возразить Хидээси, но князь Нобунага рассердился еще сильнее.

— Похоже, ты чересчур возгордился из-за недавних твоих успехов. Да как ты смеешь давать мне непрошенные советы, мало того — не слушаться моих приказаний! «Поручите другому...» — это что за слова такие? — сурово отчитал он вассала. Тот удалился с тяжелым сердцем и в це концов казнил юного господина.

Ясно, что господин Хидээси, наверное, страдал при мысли, что госпожа О-Ити возненавидит его за убийство Мампуку-мару, и убийство-то непростое — приказ гласил выставить напоказ голову мальчика, надетую на копье. По иронии судьбы, из всех вассалов Нобунаги именно Хидээси пришлось выполнить это поручение. Годы спустя, соперничая с господином Кацуиэ Сибатой из-за руки госпожи О-Ити, он опять оказался в проигрыше и в конце концов погубил обоих, превратившись в их заклятого врага, — начало всех этих событий восходит к этому времени...

* * *

Князь Нобунага приказал скрывать от госпожи О-Ити гибель сына, поэтому, ясное дело, ни один человек не осмелился бы рассказать ей об этом, но так как голову выставили на всеобщее обозрение, слухи о казни все-таки просочились или, может быть, она сама, как говорится, почувяла что-то сердцем и поняла, что случилось. Видно было, что на душе у нее лежит какая-то тяжесть. Теперь, когда приходил Хидээси, она выглядела еще более удрученной. И все-таки однажды она прямо его спросила:

— В последнее время нет никаких известий из Этидзэна. Что с моим сыном? Мне снятся дурные сны, я тревожусь...

— Мне ровно ничего не известно. Что, если вам еще раз послать туда человека? — как ни в чем не бывало ответил он.

— Но люди говорят, что именно вы ездили встречать мальчика! — сказала она, и хоть говорила тихо, но тон был резкий. Прислужницы рассказывали потом, что в этот миг

она побледнела как полотно и с гневом взглянула на Хидэёси. С тех пор он чувствовал себя неловко в ее присутствии и постепенно вообще перестал бывать.

* * *

А князь Нобунага в короткий срок завоевал множество княжеств, покоренные земли все без исключения присоединил к своим владениям, всех своих сподвижников наградил, издал всевозможные указы в назидание потомству и в девятый день девятой луны уже справлял Праздник хризантем у себя, в замке Гифу. Каждый год там устраивали пышные празднества, но мне рассказывали, что на сей раз великолепие было исключительное. Все князья-даймё, и знатные, и худародные, в роскошных нарядах явились благодарить князя, зрелище было настолько ослепительное, что даже описанию не поддается, — твердили все в один голос. Госпожа велела передать, что чувствует себя нездоровой, и некоторое время оставалась в провинции Оми, пребывая в полном уединении, а примерно в десятый день той же луны решила возвратиться в родной край, в замок Киёсу. В то время замок Гифу был главной резиденцией Нобунаги, так что госпожа предпочла выбрать для своего местожительства тихий, уединенный замок Киёсу. Она сказала, что хочет по дороге поклониться храму на Бамбуковом острове, Тикубу, слуги ехали с пей, и вот все мы вместе отплыли из Нагахамы.

* * *

В горах уже выпал снег, на воде было еще прохладнее, но утро было погожее, так что, наверное, ясно виднелись и ближние, и дальние горы. Дамы, держась за поручни, грустили, расставаясь с местами, где прошли долгие годы. Клики гусей, пролетающих в небе, шум крыльев чаек наводили на печальные размышления, шелест прибрежного тростника под порывами ветра и даже силуэты рыб, мелькавших в воде, — все навевало грусть. Когда лодка подплыла к Бамбуковому острову, госпожа приказала ненадолго остановиться. Сперва все удивились, — зачем? — а она поставила на носу лодки подставку для сутры, молитвенно сложила ладони и, протянув их к воде, стала молиться — очевидно, мы находились в том месте, где погрузили в озеро ступу. Тут мы поняли, с какой целью она изъявила желание посетить Бамбуковый остров. Лодка тихо покачивалась на волнах, госпожа зажгла курение и,

закрыв глаза, казалось, всецело ушла в молитву, повторяя посмертное имя мужа. Она молилась так долго, что люди испугались — уж не собралась ли она броситься в воду, чтобы похоронить себя вместе с мужем, — и украдкой держали ее за край одежды, но до меня доносилось только едва уловимое шуршание четок в пальцах у госпожи и дивное благоухание курений.

Потом она сошла на берег и провела всю ночь в одиночестве за молитвой, а на следующий день мы прибыли в Саваяму, где госпожа отдохнула денек-другой, после чего снова отправилась в путь и без всяких происшествий благополучно прибыла в замок Киёсу. В родном замке ее ожидала радушная встреча, для нее приготовили прекрасное помещение, почтительно именовали «госпожой Одани» и проявляли всяческую заботу — госпожа ни в чем не нуждалась. Тем не менее делать ей было совсем нечего, разве лишь день за днем следить, как растут ее дочери. Никто не навещал госпожу, она жила так одиноко, как будто стала настоящей отшельницей. Еще недавно вокруг нее всегда толпилось много народа, ее ждало множество развлечений, теперь же она проводила целые дни, не выходя из своих покоев, — при такой жизни даже короткие зимние дни тянутся бесконечно долго. Не удивительно, что госпожа всецело погрузилась в воспоминания о прошлом, в памяти вставал образ покойного супруга, вспоминалось то одно, то другое, и глубокая скорбь стала ее уделом. Рожденная в семье самураев, она умела стойко терпеть любые невзгоды и не показывать людям слезы, но теперь, когда ее окружали только близкие слуги, душевные силы ее, казалось, иссякли и она всецело предалась безутешному горю. Не знаю, что вспоминалось ей в ее пустынных покоях, но проходя случайно по галерее, часто можно было услышать приглушенные рыдания: во всяком случае, много дней она провела в слезах.

* * *

Так, словно сон, прошел год, за ним — другой... Чтобы рассеять грусть госпожи, ей предлагали полюбоваться весенним цветением сакуры, осенью устраивали прогулки под красными листьями клена, но она всегда отвечала: «Ступайте сами, я не пойду...» — и вела жизнь, далекую от мирской суеты. Только с дочерьми она как будто бы оживала, видно, они были ее единственным утешением, только в такие часы голос ее звучал веселее. К счастью,

все три девочки были здоровы, росли не по дням, а по часам, даже самая младшая, госпожа Кого, уже ковьяляла без посторонней помощи и лепетала первые словечки. «Если б покойный муж мог их видеть!» — глядя на дочерей, думала госпожа, и горе становилось еще острее. Но больше всего страдало ее материнское сердце при мысли о смерти господина Мампуку-мару, о нем она не забывала ни на минуту, особенно потому, что сама, по собственному своему недомыслию, оказалась виновной в его горестной гибели. Обидно, мучительно было сознавать, что ее обманули, к людям же, совершившим этот обман, она питала жгучую ненависть, не в силах смириться со смертью сына. Кроме того, ее терзала тревога за судьбу младшего мальчика, отправленного в храм Фукудэндзи, хотя она никогда ни слова об этом не говорила. К счастью, князь Нобунага не знал о существовании этого ребенка, благодаря чему тот покамест избежал смерти. Но она рассталась с мальчиком, когда тот был еще грудным младенцем, и с тех пор ничего о нем не слыхала. Наверное, не проходило ни единого дня, когда бы она не думала о нем, не тревожилась о том, что с ним стало. Оттого она еще нежнее любила дочерей, им досталась вся любовь, принадлежавшая сыновьям.

* * *

Господину Такацугу Кёгоку было в то время, наверное, лет тринадцать. Впоследствии он служил Нобунаге, а до совершеннолетия его определили па жительство в замок Киёсу. Вы, сударь, конечно, знаете, что этот мальчик был наследником дома Сасаки-Кёгоку, некогда владевшего северной половиной провинции Оми; в те времена дом Асаи находился у них в вассальной зависимости, так что, в сущности, именно этот мальчик был исконным хозяином северных земель Оми. Но потом, при жизни его деда Такакиё, дом Асаи захватил владения своих господ, а дом Кёгоку захирел и впал в нищету. Однако после падения замка Одани князь Нобунага заинтересовался этим ребенком, решил взять его к себе на службу, со временем передать под его начало северную часть Оми и таким образом сделать благодарным союзником... Да, правильно, сударь, — это тот самый Такацугу Кёгоку, который годы спустя, в шестую луну 10-го года Тэнсё¹, присоединился к изменнику Мицухидэ Акэти, напал на замок Нагахана, а еще поз-

¹ 1582 г.

же, в пятый год Кэйтё¹, снова предал своих соратников в битве при Сэкигахаре... Но мальчиком, в Киёсу, он ничем не проявлял такого вероломства своей природы; происхождения он был самого благородного, однако из-за того, что с младенческих лет рос в нужде и опале, держался как-то робко, смиренно, было в нем что-то унылое, хотя тринадцать лет — это возраст, когда мальчики бывают самыми отчаянными сорванцами... Даже приходя к госпоже, он всегда был так молчалив, что я, да и другие слуги зачастую не могли уловить — то ли он здесь, то ли нет... Правда, мать этого мальчика была младшей сестрой покойного князя Нагамасы, так что маленьким барышням он доводился двоюродным братом, а госпоже — хоть и неродным, но племянником. Помня о господине Мампуку-мару, она жалела этого мальчика.

— Я замену тебе мать! В свободное время всегда приходи к нам в гости! — ласково говорила она. «Мальчик молчалив, но духом он тверд и, конечно, очень умен!» — добавляла она про себя.

...Да, верно, сударь, — потом он женился на госпоже О-Хацу, но это случилось гораздо позже, лет через семь или восемь, а в то время барышня была еще маленькой девочкой, так что о свадьбе и речи быть не могло. Но этот мальчуган тайно мечтал не столько о госпоже О-Хацу, сколько о ее старшей сестре О-Чаче, и, похоже, приходил для того, чтобы лишний раз украдкой на нее поглядеть. Никто не замечал этого, но я уверен — не без причины просиживал он час за часом подле госпожи, почти ни слова не говоря, всегда такой тихий, сдержанный, прямо как взрослый. А иначе зачем бы ему приходиться туда, где не было для него никаких забав, и молча сидеть, скучая? Но кроме меня, никто не догадывался, что приходит он неспроста. Когда я шепнул другим слугам: «Мальчик, похоже, заглядывается на госпожу О-Чачу!» — меня подняли на смех и сказали, что это моя фантазия, оттого, мол, что я слепой. Никто не принял мои слова всерьез.

* * *

Итак, госпожа жила в Киёсу, начиная с осени 1-го года Тэнсё², когда пал замок Одани, и вплоть до осени, когда погиб князь Нобунага, иными словами, почти полные де-

¹ 1600 г.

² 1573 г.

сять лет. Правильно говорят, что время летит стрелой; когда оглядываешься назад, видишь, как справедливы эти слова, но когда живешь тихой, уединенной жизнью вдали от мирской смуты и суеты, не ведая даже, где и какие происходят сражения, тогда десять лет кажутся очень долгим сроком. Постепенно горе госпожи поутихло, она снова стала играть на кото, чтобы развеять скуку, а вслед за ней я тоже опять принялся в свободные часы петь и играть на сямисэне, ведь это было моим любимым занятием... Нет, конечно, не только поэтому — я усердно шлифовал свое мастерство, потому что старался угодить госпоже.

Зимнему граду, первому снегу,
Инею ты сродни —
Таешь, вкушая сладкую негу,
В ночь, когда мы одни...

Или такие вот песни:

Вот ведь до чего ревнива,
ду до чего ревнива!
Не швыряйся же подушкой —
право, некрасиво!

Или:

Подарил тебе я пояс,
Пояс златотканый,
А для тебя он, значит, старый,
Поношенный, рваный?
Да зачем же тебе новый,
Такой кошке драной!..

Сейчас эти песни в стиле Рютацу совсем забыты, но одно время были в большой моде, их пели все — и знать, и простой народ, и слуги, и господа. Сам князь Хидэёси, присутствуя на представлении театра Но в замке Фусими, пригласил господина Рютацу на сцену и слушал, как он поет, а вельможа Юсай сопровождал его пение ударами в барабанчик. Но когда я жил в замке Киёсу, эти песни еще только входили в моду. Сперва я пел тихонько, отбивая такт веером, только для прислужниц госпожи, чтобы немножко повеселить их, женщинам это нравилось, и я учил их петь мои песни, а когда дело доходило до тех забавных слов, которые я только что вам пропел, они прямо покатывались со смеху. Уж не знаю, как вышло, что госпожа узнала об этом. «Научи меня тоже!» — приказала она. Я отказывался: «Такие песни недостойны вашего слуха!» — но она настояла: «Нет, обязательно научи!» И с тех пор я очень часто пел для нее. Ей очень нравились слова:

Дождик весенний,
Как он тихо льется —
Ни один цветок на вишне
И не шелохнется!

Эту песню она очень любила и готова была слушать сколько угодно раз. Она вообще, по-видимому, больше любила грустные, задушевные мелодии. Я часто пел ей:

Дождь покапал и прошел,
Выпал — и растаял снег.
Только я, томясь любовью,
Слезы вечно лью...

Или:

Милая, знаю,
ты любишь меня —
людям об этом не говори,
только, любовь в тайне храня,
меня не забудь, смотри!

Может быть, оттого, что песни эти были как-то созвучны тому, что таилось в моем собственном сердце, я пел их особенно выразительно, чувствуя, словно какая-то непонятная сила возникает из глубины моего существа, и как-то само собой получалось, что мелодия приобретала особую плавность и даже голос звучал по-другому, гораздо лучше, так что моя слушательница всегда бывала растрогана. Я и сам невольно увлекался собственным пением, и тяжесть, лежавшая на душе, улетучивалась сама собой. Вдобавок я придумал интересные мелодии для сямисэна, наигрывал их в паузах между куплетами, и песня становилась еще чувствительней. Не подумайте, что я хвастаюсь, но я первый придумал исполнять эти песни под аккомпанемент сямисэна. Я уже говорил вам, что в те времена пение обычно сопровождалось только ритмическим постукиванием в барабанчик.

* * *

...Что-то я слишком разговорился о музыке. Добавлю только, что самыми счастливыми людьми на свете я всегда считал тех, у кого от природы красивый голос и умение искусно исполнять песни. Взять, к примеру, господина Рютацу — ведь он был простым аптекарем из города Сакаи, но благодаря своему таланту удостоился внимания со стороны великого Хидэёси, его осыпали почестями, ему аккомпанировал сам вельможа Юсай. Конечно, Рютацу — выдающийся мастер, создатель собственного, оригинального стиля, в сравнении с ним я, можно сказать, ничто. Но

если на протяжении десяти лет жизни в замке Киёсу я безотлучно находился при госпоже, сопровождал ее при любовании лунным сиянием или цветением сакуры и был взыскан многими ее милостями, так только благодаря тому, что хоть и плохо, но все-таки немножко умел музицировать. У разных людей разные мечты и стремления, не берусь судить, в чем каждый видит наибольшее счастье... Найдется, наверное, немало таких, которые жалеют меня за мое увечье... А для меня не было времени радостней и прекрасней, чем эти десять лет в замке Киёсу. Поэтому я ни в малой степени не завидую господину Рютацу. Я был гораздо счастливее его, когда пел для госпожи ее любимые песни или аккомпанировал ей, когда она играла на кото, смягчая звуком струн ее сердечную боль. Ее похвала была для меня во сто крат отраднее, чем одобрение самого великого Хидэёси! И как подумаю, что все это стало возможно только благодаря тому, что я родился слепым, так вплоть до сего дня еще ни единого разу не пожалел, что я калека...

* * *

Знаете поговорку: «Небо внимлет мольбе даже малого муравья...» Жалкий слепой музыкант тоже способен хранить верность и преданность не хуже любого зрячего. Я всей душой стремился служить госпоже, хоть немного облегчить ее горе, утешить, развеселить и молился об этом богам и буддам. Может быть, по этой причине — нет, конечно, вряд ли только поэтому — она постепенно вновь воспрянула духом. Мало-помалу она стала опять такой же цветущей, как раньше, хотя одно время очень уж исхудала. Когда она прибыла в родной замок Киёсу, на спине у нее, между лопатками и верхними ребрами, образовались настоящие впадины, шея и плечи стали чуть ли не вдвое тоньше против прежнего, и она все продолжала худеть, так что во время массажа слезы невольно выступали у меня на глазах, но примерно на третий или четвертый год она с каждым месяцем стала набирать силы, а еще через два-три года сделалась прекраснее и полнее, чем даже в бытность свою в Одани, просто не верилось, что эта женщина — мать пятерых детей... Щеки опять округлились, худое, вытянутое лицо вновь обрело прежний безупречный овал. Прислужницы говорили, что когда на эти щеки падали две-три пряди выбившихся из прически волос, госпожа казалась такой прекрасной, что даже женщи-

ны не в силах были отвести глаз... Белизна была свойственна ей, разумеется, от природы, но после долгих лет, безвыходно проведенных в затененных покоях, кожа у нее стала ну буквально прозрачной, как снег в глубине ущелья, куда не заглядывает луч солнца; люди говорили, что в сумерки, когда, погруженная в думы, она сидела одна где-нибудь в полутьме, иной раз даже жуть пробирала при виде ее белоснежного лица... Мы, слепые, обладаем особой чуткостью, осязание помогает нам многое уловить, я знал, какая у нее белоснежная кожа, даже если б не слышал все эти толки. У многих женщин бывает светлая кожа, но у высокородной дамы белизна тела совсем особая... Госпожа уже приблизилась к тридцати годам, но, по мере того как она становилась старше, красота ее с каждым годом расцветала все ослепительней, лицо и фигура становились все более совершенными. Черные волосы, блестящие, как будто обрызганные росой, лицо, подобное цветку лотоса, гибкое тело, вновь обретшее прежние формы, — все в ней было прекрасно! Мягкие шелковые одежды ниспадали с плеч, как струи воды, она казалась даже более изящной и утонченной, чем в юные годы. И такая красавица обречена на раннее вдовство, в одиночестве проводит тоскливые ночи, и ничей взор не любит ее ослепительной красотой! Говорят, что в горной глуши цветок благоухает сильнее, чем тот, что растет на равнине, в открытом поле... Не знаю, но думаю, что если бы кто-нибудь, а не только соловей, поющий весной в саду, или месяц, осенней ночью клонящийся к гребням гор, увидел бы ее облик в глубине покоев, занавешенных драгоценными тканями, так любой человек, пусть и не такой герой, как Хидэеси, загорелся бы жгучей страстью, но судьба, увы, распорядилась иначе...

* * *

Так шла жизнь; казалось, для госпожи снова наступила пора цветения, но все же она, как видно, не забыла страданий и обид, пережитых в минувшие годы. Мне это достоверно известно, сейчас скажу почему; случилось это единственный раз и никогда больше не повторялось. Однажды, когда я растирал ей плечи и она, как обычно, беседовала со мной, я вдруг услышал совсем неожиданные слова. В тот день госпожа, казалось, сперва была на редкость в хорошем расположении духа, вспоминала время, когда жила в замке Одани, говорила о покойном муже, о

разных событиях прошлого и, между прочим, рассказала, как много лет назад ее брат, князь Нобунага, впервые встретился с ее мужем в замке Саваяма. Это было вскоре после ее замужества, очевидно, в середине годов Эйроку¹, в те времена крепость Саваяма принадлежала князьям Асаи. Князь Нобунага специально прибыл туда из своей вотчины Мино, а князь Нагамаса выехал встретить его к самому перевалу Сурихари и сразу же проводил в замок, где после церемониальных приветствий был устроен в честь гостя роскошный пир в богато разукрашенном зале.

— В мире сейчас неспокойно, — сказал на следующий день князь Нобунага. — Незачем зря тратить время на разъезды туда-сюда... Поэтому разрешите мне устроить ответный пир в вашу честь здесь, в вашем замке, хозяином буду я, а вы — моим гостем! — И он пригласил князя Нагамасу с отцом и там же, в замке Саваяма, потчевал их разными угощениями. Он подарил им на память от дома Ода меч работы Мунзэси, много золота, серебра, щедро одарил всех, вплоть до вассалов, а князь Нагамаса в ответ преподнес ему меч работы Канэмицу, переходивший из поколения в поколение в роду Асаи, а также свиток стихов Фудзивары Тэйка, воспевающих прославленные красотой пейзажи провинции Оми, и сверх того — коня чалой масти, хлопчатую вату, которой славится земля Оми, и много других подарков, а свите — новые мечи и кинжалы. Госпожа тоже специально приехала в Саваяму, чтобы встретиться с братом, которого давно не видала.

Князь Нобунага остался чрезвычайно доволен. Призвав всех заслуженных, старых вассалов дома Асаи, он обратился к ним с такими речами: «Слушайте все, что я скажу вам! Сейчас, когда ваш господин стал моим зятем, вся Япония скоро нам покорится! Служите нам, не щадя сил, и каждого из вас я со временем сделаю владетельным князем-даймё!» Пир длился целый день, а вечером Нобунага и Нагамаса проследовали в покои госпожи и продолжали пировать там втроем, в согласии и дружбе. Чтобы угостить гостя, закинули сети в бухту Саваяма, наловили множество пресноводной озерной рыбы — окуней, серебряных карасей и еще целую уйму различной живности. Эта рыба тоже пришлась Нобунаге очень по вкусу, ведь то было редкостное местное угощение, какого не получишь у него в провинции Мино, он даже сказал, что на

¹ 1558—1570 гг.

обратном пути непременно возьмет с собой такой рыбы в подарок своим домашним...

Наконец наступило время отъезда. Накануне снова был устроен прощальный пир, и князь Нобунага пустился в обратный путь в самом прекрасном расположении духа.

— В то время мой брат и покойный муж были искренними друзьями, всегда приветливо улыбались друг другу, а уж я-то как была рада! — рассказывала мне госпожа. — Теперь я вижу, что эти десять дней были самыми счастливыми в моей жизни!

Иными словами, в ту пору не только госпоже, но и никому из вассалов даже в голову не могло прийти, что между двумя домами вспыхнет вражда, все веселились в чаянии грядущих побед. Но впоследствии я слышал, что некоторые вассалы уже тогда не одобряли поступок князя Нагамасы и говорили, что не следовало дарить Нобунаге фамильный меч, драгоценное сокровище предков, — это, мол, дурное предзнаменование, означающее, что дом Асаи погибнет от руки князей Ода... Впрочем, всегда легко осуждать других. Несомненно, князь Нагамаса отдал столь дорогой предмет, потому что необычайно высоко ценил свою супругу и ее брата, своего шурина. Нелепо говорить, что из-за этого он погиб. Люди, которым толком ничего не известно, часто любят болтать языком, а потом, увидев, как обернулось дело, по-своему толкуют события... Госпожа согласно кивнула в ответ на такие мои слова.

— Да, ты п р а в , — сказала о н а . — Никто не выдаст за муж родную сестру за человека, с которым собираются воевать... В то время мой брат пожаловал к нам в гости издалека, ехал с немногочисленной свитой через враждебные земли, такое путешествие — нелегкое дело! Что ж удивительного, если в знак благодарности мой муж преподнес ему такой дорогой подарок, ведь он всегда был щедр по натуре... Но были среди наших вассалов и нечестные л ю д и , — продолжала о н а . — Одного из них звали, если не ошибаюсь, Эндо... Мы возвращались в замок Одани, когда он верхом на коне догнал нас и сказал: «Сегодня князь Нобунага ночует в Касивабаре, это удобный случай, надо напасть на него и убить!» Все это он тихонько нашептал в уши мужу, от меня по секрету. Князь засмеялся: «Перестань болтать вздор!» — и, разумеется, оставил без внимания его слова.

...Проводив гостя до перевала Сурихари, князь Нагама-са распрощался со своим шурином и приказал троем своим вассалам, в том числе Эндо, сопровождать гостя до местечка Касивабара. Прибыв в Касивабару, Нобунага остановился на ночлег в монастыре Великого Просветления, Дзёбодай-ин. «Во владениях князя Нагамасы я могу быть спокоен!» — сказал он, и, оставив при себе только несколько человек дежурных, разрешил самураям охраны провести ночь в местечке. Увидев это, господин Эндо внезапно повернул коня и, нахлестывая его что было мочи, примчался в замок Одани. Удалив посторонних, он сказал князю: «Все эти дни я внимательно наблюдал за Нобунагой — он скор на внезапные, неожиданные решения, проворен и быстр, словно обезьяна, перепрыгивающая с ветки на ветку. Это страшный военачальник, от которого можно всего ждать в будущем. Между вами неизбежно возникнет спор, в этом не приходится сомневаться. Но нынче вечером он настроен миролюбиво, при нем — десятка полтора человек, не больше, вот я и думаю: самое разумное — покончить с Нобунагой сегодня же ночью. Решайтесь же поскорее, пошлите туда отряд и уничтожьте князя Ода и его свиту! Затем надо штурмом овладеть его замком Гифу, и тогда оба края, Овари и Мино, будут в ваших руках. Не переводя духа, тут же, следом, разгромите Сасаки в южных областях Оми, затем идите в столицу, расправьтесь там с князьями Миёси, и в одно мгновение вся Поднебесная будет ваша!» Так па все лады убеждал он князя Нагамасу, но тот ответил:

— Существуют установления, согласно которым должен действовать полководец. Прекрасно ударить на врага в соответствии с заранее обдуманном плане, но подло напасть на того, кто, доверившись тебе, сам пришел в гости. Нобунага со спокойной душой собирается провести ночь в моих владениях, и если мы внезапно нападём на него, воспользовавшись его доверием, Небо в конце концов обязательно нас покарает, даже если мы добьемся временного успеха. Если бы я собирался убить его, я мог бы покончить с ним, когда он гостил в Саваяме, но мне претит даже самая мысль о таком вероломстве!

— Что ж, в таком случае ничего не поделаешь... — сказал Эндо. — Но попомните мое слово: неизбежно наступит время, когда вы пожалеете, что не послушались моего совета! — И он возвратился в Касивабару, ужинал там как

ни в чем не бывало вместе со всеми, а на следующий день благополучно проводил князя Нобунагу до равнины Сэкигахара. Обо всем этом госпожа подробно мне рассказала, а в заключение добавила:

— Но, как теперь вижу, в словах Эндо все-таки была доля правды! — Тут голос у нее вдруг задрожал, и я тоже невольно ощутил дрожь волнения. А она продолжала: — Когда одна сторона соблюдает веления долга, а другая — их нарушает, к добру это не приводит... Неужели, чтобы властвовать в государстве, нужно быть подлым, хуже скотины? — проговорила она, словно обращаясь к самой себе, и умолкла. Казалось, она близка к слезам.

Взволнованный, я невольно опустил руки, и, не помня себя, склонился перед ней в земном поклоне.

— Госпожа, простите меня за дерзость... Я сострадаю вам всей душой!

Но она как будто вовсе не услышала моих слов.

— Ну, спасибо за труд! Можешь идти! — сказала она.

Я поспешно удалился в соседний покой; сквозь раздвижную перегородку до меня донеслись тихие, приглушенные рыдания. Еще недавно она была так весела, отчего же настроение у нее вдруг так резко переменялось? Отчего вырвались такие слова? Сперва она просто предавалась воспоминаниям, а потом, быть может чересчур увлекшись, вспомнила то, о чем вспоминать себе запрещала? Не такой была женщиной госпожа, чтоб делиться сокровенными думами с ничтожным слугой, свои переживания она всегда таила глубоко в сердце, терпела все молча, а тут вдруг, сама не отдавая себе отчета, внезапно высказала терзавшие душу сомнения... Подумать только, ведь прошло уже почти десять лет со времени падения замка Одани, а ненависть к врагам, — в особенности к князю Нобунаге, родному брату, — до сих пор с такой силой все еще пылает в ее душе! Впервые я понял, как страшен гнев женщины, у которой отняли мужа, матери, потерявшей детей, и долго еще не мог унять невольную дрожь страха и сострадания.

* * *

Можно еще много рассказывать о жизни госпожи в замке Киёсу, но боюсь вам наскучить; послушайте лучше, как бесславная, нелепая гибель князя Нобунаги привела к вторичному замужеству госпожи.

О смерти князя Нобунаги вам все хорошо известно и

без моих рассказов. В 10-м году Тэнсё, в год Коня, в ночь на второе число шестой луны, на него внезапно напали в храме Хоннодзи. Что тут скажешь... Ни единому человеку даже во сне не снилось, что может случиться такое невероятное происшествие... Вдобавок погиб его старший сын — он вспорол себе живот, когда солдаты изменника Акэти окружили его в замке Нидзё. Второй сын Нобунаги находился в это время в провинции Исэ, третий — в городе Сакаи, заслуженные вассалы Сибата и Хидзёси ушли с войсками в дальний поход, так что замок Адзути, главную резиденцию Нобунаги, где проживала госпожа супруга князя и ее дамы, охранял только господин Гамо с немногочисленным гарнизоном. Узнав о гибели князя, он тут же отправил в призамковый город верхового самурая, велел разъезжать по улицам, призывать население к спокойствию и всячески успокаивать жителей, но те, боясь, что изменник Акэти вот-вот нагрянет в город, впали в совершенную панику — кто плакал, кто кричал... Сам господин Гамо сперва решил было запереться в замке, но потом, видимо опасаясь, что стены там ненадежные, внезапно переменял решение и вместе с госпожой супругой и ее дамами бежал в Хинотани, собственную свою усадьбу-крепость. Они покинули замок Адзути в час Зайца, на третий день после убийства Нобунаги, а уже на пятый день, рано утром, Акэти подошел к замку, без труда захватил его, похитил все брошенные там сокровища, все золото-серебро подчистую забрал себе, а частью раздал вассалам. В замке Гифу и у нас, в замке Киёсу, все чуть с ума не сошли от страха — раз такое произошло в Адзути, значит, и сюда, того и гляди, нагрянет изменник... В самый разгар переполоха в Киёсу примчался бежавший из замка Гифу господин Гэнъисай Маэда; он доставил в Киёсу супругу старшего сына Нобунаги с сыночком. Этот малыш был прямым наследником убитого князя, его старшим внуком, в то время ему было всего два года, звали его господин Самбоси. Он жил с матерью в замке Гифу, возле горы Инаба. Отец его, старший сын Нобунаги, перед тем как совершить харакири, распорядился, чтобы жена с сыном поскорее укрылись в Киёсу, ибо оставаться в Гифу было опасно. Вассал его Гэнъисай тотчас же тайно выбрался из столицы, помчался в Гифу и оттуда — в Киёсу, причем всю дорогу сам держал мальчика на руках. Тем временем мятежные отряды Акэти покорили все земли вокруг озе-

¹ 1582 г.

ра Бива, захватили замки Саваяму и Нагахаму и подступили к усадьбе Хинотани, где укрывался господин Гамо. Господин Китабатакэ, находившийся в Исэ, спешно двинулся на выручку по дороге, ведущей в Оми, но на пути повсюду взбунтовались крестьяне, при таких обстоятельствах не могло быть и речи о том, чтобы быстро оказать помощь, так что одно время мы и впрямь опасались за их судьбу.

Однако вскоре мы услышали, что третий сын Нобунаги соединился с отрядами Городзаэмона Нивы; в сражении у Осацкого перевала был убит зять мятежника Акэти, Ситибэй. Узнав об этом, Акэти поручил осаду Хинотани своим вассалам, а сам вернулся в свой боевой лагерь близ Сакамото; тринадцатого числа произошла битва при Ямадзаки, а уже на следующий день, четырнадцатого, князь Хидэési, устроив свою ставку в монастыре Миидэра, приказал составить вместе тело и отрубленную голову Акэти и распять мертвеца на кресте в столице, в Аватагути. Ну и прославился же он такой молниеносной победой! В этом сражении участвовали многие господа — и третий сын Нобунаги, и Городзаэмон Нива, и правитель земли Кии Икэда, все действовали заодно с Хидэési и тоже потрудились на славу, но особенно отличился сам Хидэési. Поспешно замирившись с князем Мори, он уже утром одиннадцатого числа прибыл в Амагасаки — быстротой своих действий он поистине превзошел и демонов, и богов... Так само собой получилось, что Хидэési сделался главным среди всех полководцев, а после его молниеносной победы слава и величие его так возросли, что никто из вассалов покойного Нобунаги уже не мог с ним сравниться. К нам, в замок Киёсу, тоже доносились вести обо всех этих событиях, и все ликовали; во всяком случае, теперь можно было с облегчением перевести дух!

* * *

Между тем все военачальники, и знатные, и худародные, один за другим постепенно примчались в Киёсу. К этому времени замок Адзути уже сгорел дотла, сожженный отступающими мятежниками, в замке Гифу никого не осталось, к тому же, что ни говори, замок Киёсу был исконным родовым гнездом дома Ода, а теперь и господин Самбоси тоже здесь находился, так что каждый прежде всего спешил с поздравлениями в Киёсу. Господин Кацуиэ Сибата тоже был среди прибывших. Весть об убийстве

Нобунаги застала его в провинции Эттю. Тотчас заключив перемирие с князем Кагэкацу, он поспешно двинулся в столицу, чтобы покарать врагов покойного господина, но оказалось, что Акэти уже убит, и господин Кацуиэ, не выезжая в столицу, сразу прибыл в Киёсу. К шестнадцатому — семнадцатому числу все уже были здесь — второй и третий сыновья Нобунаги — Нобукацу и Нобутака, Городзаэмон Нива, правитель земли Кии Икэда с сыном, Хатия, правитель земли Дэва, Дзэнкэй Цуцуи и другие. Князь Хидэёси, похоронив в столице своего господина, ненадолго заехал в свой замок Нагахана и тоже вскоре прибыл в Киёсу. При жизни князь Нобунага то и дело переносил свою ставку, чаще жил не в Киёсу, а в Гифу, потом постоянным местопребыванием его стал замок Адзуги, в Киёсу он бывал очень редко, так что долгое время здесь царили тишина и покой.

Давно уже не видал старый замок собрания таких выдающихся полководцев. Все это были старые заслуженные вассалы, во главе со старшим — господином Сибатой, делившие с покойным господином опасности и тяготы военных походов; к этому времени все они уже стали полноправными господами своих земель, владельцами своих собственных замков, а некоторые даже сделались могущественными правителями не одной, а нескольких провинций и многих замков. Богато разодетые, прибывали они один за другим, горделиво красуясь друг перед другом нарядным убранством и пышной свитой, так что в призамковом городке вдруг стало тесно и многолюдно, и, несмотря на траур по убитому господину, общее настроение было уверенное и спокойное.

* * *

Ну, а в замке, начиная с восемнадцатого числа, даймё стали ежедневно держать совет в главном зале. Подробностей я, конечно, не знаю, но судя по всему, обсуждался вопрос о наследнике покойного Нобунаги и о том, кому отойдут земли мятежника Акэти. На этот счет у каждого имелось свое особое мнение, так что никак не удавалось прийти к согласию, совещания шли день за днем, нередко до поздней ночи, иной раз дело доходило до споров и даже ссор. По правде говоря, господин Самбоси был, конечно, прямым наследником, но летами еще младенец, поэтому некоторые настаивали, чтобы до его совершеннолетия дом Ода возглавил второй сын Нобунаги, господин

Нобукацу, не все, однако, были с этим согласны. Наверное, по этой причине и возникло расхождение во взглядах, но в конце концов вопрос о главе рода решился все-таки в пользу господина Самбоси.

Между князьями Сибатой и Хидээси с самого начала отношения не ладились, казалось, они ссорятся по каждому поводу. Дело в том, что во время недавних событий наибольшие подвиги совершил Хидээси, и многие даймё тайно склонялись на его сторону, зато господин Кацуиэ Сибата был старшим самураем дома Ода, после родных сыновей покойного князя ему принадлежало первое место среди всех остальных вассалов, так что по всем вопросам он стремился диктовать собравшимся свою волю. А главное, когда распределяли земли, господин Сибата своим единоличным решением отдал князю Хидээси провинцию Тамба, а себе взял владения у озера Бива, ранее принадлежавшие Хидээси, — замок Нагахаму с землей, приносившей шестьдесят тысяч коку риса. Говорили, что это решение в особенности усилило их взаимную неприязнь. Но только скажу я вам, оно лишь на поверхности так казалось, на самом же деле они оба были равнодушны к госпоже О-Ити и каждый стремился получить ее в жены, с этого и началась их вражда, я в этом совершенно уверен.

Еще до этих раздоров господин Кацуиэ, прибыв в Киёсу, сразу же нанес визит госпоже и приветствовал ее почтительно и любезно, а несколько дней спустя, судя по всему, по секрету обратился к господину Нобутаке с просьбой быть его сватом. И вот в один прекрасный день господин Нобутака посетил госпожу свою тетку и, похоже, стал склонять ее сочетаться вторым браком с господином Сибатой. Ну, а госпожа, что бы там ни было в прошлом, привыкла всегда и во всем полагаться на покойного старшего брата; конечно, обида на него не угасла в ее душе, но все-таки, когда он погиб, она очень горевала, забыла прежний свой гнев и целиком ушла в молитвы за упокой его души. О себе она не заботилась, но ее тревожило будущее трех ее дочерей, и, наверное, она чувствовала растерянность, не зная, на кого же отныне ей опереться. Возможно поэтому она благосклонно отнеслась к предложению господина Кацуиэ. Вернее сказать, не то чтобы благосклонно, но, во всяком случае, по-видимому, и не враждебно... Конечно, какое-то время она колебалась — во-первых, ей хотелось остаться верной памяти покойного мужа, а во-вторых, она не могла не думать о том, подобает ли вдове князя Асаи стать женой вассала дома Ода, погубившего дом Асаи...

Однако не прошло много времени, как она получила еще одно точь-в-точь такое же предложение — на этот раз от имени Хидэеси. Не знаю, кто выступил тут посредником, — скорее всего, господин Нобукацу. Дело в том, что господин Нобукацу был не полным, а только единокровным братом господина Нобутаки, он родился от другой матери, и хотя они оба были, разумеется, родными сыновьями покойного Нобунаги, отношения между братьями были прохладные, поэтому один держал сторону господина Кацуиэ, другой же усиленно советовал принять предложение Хидэеси. Конечно, ничего определенного утверждать не берусь, но, прислушиваясь краем уха к тому, о чем то и дело шептались дамы, я думал про себя: «Стало быть, Хидээси мечтал о госпоже еще с тех пор, как она жила в замке Одани... Значит, то была не пустая фантазия с моей стороны, я уже тогда это понял!..» Подумать только, что на протяжении долгих десяти лет, среди непрерывных войн и сражений, постоянно занятый бранным делом, покоряя крепости, осаждая замки, он по-прежнему лелеял в душе прекрасный образ госпожи!.. В те далекие времена она находилась на недостижимой для него высоте, но теперь, когда в сражении при Ямадзаки он отомстил за покойного господина, он стал человеком, который — если судьба и впредь будет к нему благосклонна, — возможно, будет властелином всей страны. Теперь он наконец открыто высказал то, что давно таилось у него в сердце.

Короче говоря, предложение Хидэеси не показалось мне неожиданным, а вот то, что господин Кацуиэ, суровый воин, помышлявший, казалось, лишь о бранных делах, тоже, оказывается, таил в груди нежные чувства, — этого я никак не предполагал. Впрочем, тут, пожалуй, сыграла роль не только любовь; возможно, господин Кацуиэ, а также господин Нобутака, давно уже разгадали тайные помыслы Хидээси и, сговорившись между собой, решили ему помешать. Пожалуй, были и такие причины...

Но даже если бы никто не мешал, брак госпожи с Хидээси все равно никак не мог состояться. «Уж не собирается ли Токитиро сделать меня своей наложницей?!» — сказала она, получив его предложение, и негодованию ее не было предела. В самом деле, у князя Хидээси уже давно имелась законная супруга, госпожа Асахи, так что если бы наша госпожа приняла его предложение, то, сколько бы он ни твердил, что она войдет в его дом законной женой, фактически она оказалась бы, конечно, на

положении наложницы. Мало того, ведь при осаде замка Одани больше всех отличился именно Токитиро, все владения князя Асаи захватил опять же Токитиро, обманом заманив господина Мампуку-мару, убил его и приказал вздеть его голову на острие копья все тот же Токитиро, ужасные эти поступки все были делом рук Токитиро Хидэеси; весь гнев, который госпожа испытывала по отношению к брату, теперь, когда князя Нобунаги уже не было на свете, она перенесла на Хидэеси, сосредоточив на нем всю свою ненависть. И уж тем паче мыслимо ли было ей, старшей дочери дома Ода, стать наложницей безродного выскочки, неизвестного, темного происхождения, пусть и добывшегося в последнее время громких успехов? Если уж нельзя ей до конца жизни оставаться вдовой, так лучше выйти за господина Кацуиэ, чем за Хидэеси, — правильно рассудила госпожа.

Госпожа еще не высказала какого-либо определенного решения, но слухи об этом уже распространились по замку, и, разумеется, взаимная неприязнь господина Кацуиэ и Хидэеси стала еще сильнее. Господин Кацуиэ досадовал, что Хидэеси лишил его возможности совершить подвиг — отомстить за смерть господина, ведь именно на нем, как на старшем вассале, лежал долг мести. А князь Хидэеси терзался ревностью из-за соперничества в любви, гневался за отобранные поместья... Взаимная ненависть владела ими, и во время совета они все время спорили — стоило одному выступить с каким-либо предложением, как другой, со сверкающим злобой взором, возражал: «Нет, это куда не годится!» В результате и сыновья Нобунаги, и все остальные даймё разделились, одни поддерживали Кацуиэ, другие — Хидэеси. Передают, что именно по этой причине в самый разгар совещаний господин Кацумаса Сибата отозвал князя Кацуиэ в укромный уголок и принялся напештывать:

— Пока не поздно, нужно напасть на Хидэеси и раз навсегда с ним покончить! Если он останется в живых, это не пойдет вам на пользу! — Но, разумеется, господин Кацуиэ не согласился.

— Мы выставим себя на посмешище, если начнем драться между собой сейчас, когда нам всем нужно сплотиться вокруг юного господина! — ответил он.

Не знаю, правда ли, но говорят, будто князь Хидэеси тоже был начеку и всякий раз, когда ночью вставал по нужде, Городзаэмон Нива поджидал его в галерее и тоже говорил ему такие же речи: «Убейте Кацуиэ, если хотите

завладеть Поднебесной!» Но Хидэёси тоже не соглашался: «Зачем же превращать его во врага?..» Однако едва лишь совещания закончились, как он, никому не сказавшись, тайно, среди ночи, покинул замок Киёсу — возможно, решил, что далее оставаться здесь бесполезно, — и возвратился к себе в Нагахаму, так что покамест все окончилось миром.

Решено было, что господин Самбоси поселится в замке Адзути под опекой князей Маэды и Хасэгавы и вплоть до совершеннолетия будет получать тридцать тысяч коку риса с земель у озера Бива; замок Киёсу достался господину Китабатакэ, а замок Гифу — князю Нобутаке. Затем все даймё обменялись торжественными письменными клятвами в верности и разъехались по домам.

* * *

Вопрос о вторичном замужестве госпожи окончательно решился поздней осенью того же года. Поскольку сватом выступал господин Нобутака, госпожа приехала к нему в замок Гифу; туда же прибыл из своих владений, провинции Этидзэн, князь Кацуиэ. После свершения свадебной церемонии муж с женой и с ними три юные барышни отбыли на север, в Этидзэн. Об этой свадьбе и об отъезде ходили разные толки, но я находился в свите, сопровождавшей свадебный поезд, и потому мне, в основном, хорошо известно все, что тогда происходило. В то время упорно держался слух, будто князь Хидэёси, узнав о замужестве госпожи, сказал, что не позволит князю Кацуиэ беспрепятственно возвратиться в Этидзэн и выставит на дороге боевой заслон, ожидая, когда свадебный кортеж приблизится к Нагахаме, но что будто бы вассалу его, Икэде, удалось отговорить господина от этого замысла. Другие утверждали, что все это — ни на чем не основанные, вздорные слухи. Правда, сам Хидэёси не приехал на свадьбу, однако прислал своего приемного сына Хидэкацу передать поздравления — дескать, отец мой, князь Хидэёси, сожалеет, что не смог сам приехать, ибо у него случились к тому помехи, но когда вы будете возвращаться домой, отец встретит вас на дороге, надеется вас приветствовать, устроить пир в вашу честь и в знак своей радости обменяться чарками сакэ... Князь Кацуиэ с удовольствием принял это изъявление гостеприимства и обещал принять приглашение, но в это время из Этидзэна примчались его люди встречать господина и привели с собой многочисленный воору-

женный отряд. Состоялось какое-то важное совещание, после чего к Хидэкацу отправили посланца с отказом от приглашения и без промедления, глубокой ночью выехали в далекий северный Этидзэн. Так что в самом ли деле собирался Хидэеси напасть на свадебный поезд — это мне неизвестно, знаю лишь то, о чем сейчас рассказал.

* * *

...С каким настроением пустилась в путь госпожа? Какой бы пышной ни была свадьба, второй брак всегда отмечен какой-то грустью. Когда госпожа выходила замуж за князя Асаи, свадьба тоже наверняка была очень пышной, ну, а сейчас она была женщиной тридцати с лишним лет, матерью троих детей и уезжала в погребенный под снегом край Этидзэн. И ведь вот как распорядилась судьба — ее путь лежал по тем самым местам, что и в прошлый раз, после равнины Сэкигахара потянулись северные земли провинции Оми, и ей пришлось проезжать мимо дорогого сердцу замка Одани! Насколько мне известно, впервые она приехала в замок Одани весной, в год Дракона, 11-й год Эйроку¹, с тех пор прошло уже больше пятнадцати лет. А сейчас, хотя была еще только осень, здесь, на севере, уже наступила зима. Тем более, поскольку отъезд состоялся так поспешно, в глухую полночь, ничего праздничного, торжественного не было в этом свадебном поезде, многие дамы свиты дрожали от страха, сбитые с толку слухами о намерении Хидэеси силой похитить госпожу. А уж каким трудным был этот путь! С горы Ибуки, как на грех, дул ураганный холодный ветер, чем дальше пробирались мы по дороге среди отвесных скал, тем становилось все холоднее, после Киномота и Янагасэ хлынул дождь пополам с ледяной крупой, пар от дыхания людей и коней клубился в холодном воздухе, так что можно себе представить, какая робость охватила, должно быть, сердца барышень и прислужниц. Путешествия всегда были для меня мукой, но больше всего я болел душой при мысли о госпоже, вынужденной пересекать под этими холодными небесами один горный перевал за другим, ехать в чужой, незнакомый край, который ей и видеть-то никогда раньше не приходилось, и я молился лишь об одном, чтобы супруги жили в согласии, не разлучаясь до седых волос, чтобы дом их процветал долго-долго.

¹ 1569 г.

К счастью, князь Кацуиэ оказался сверх ожидания добросердечным, с женой обращался бережно, как и подобало по отношению к родной сестре покойного господина, о чем он не забывал: к тому же он знал, что получил ее в борьбе с соперником, — одно это заставляло его нежно ее любить. По прибытии в замок Китаносё госпожа с каждым днем становилась веселее и спокойнее, радуясь заботливому вниманию мужа. Таким образом, хотя погода на дворе стояла холодная, в замке царило весеннее настроение, ну, а раз так — значит, и впрямь имело смысл заключить этот второй брак, — рассуждали мы, слуги, и впервые за десять лет у нас отлегло от сердца. Но так продолжалось, увы, недолго, в том же году опять началась война. Поначалу князь Кацуиэ собирался предать забвению все недавние споры и помириться с Хидэёси. Вскоре после свадьбы он отправил к нему в столицу своих вассалов с посланием: *«Не пристало враждовать прежним соратникам, это было бы непростительно по отношению к памяти нашего покойного господина. Давайте же отныне жить в дружбе!»* Князь Хидэёси тоже, казалось, обрадовался такому посланию. *«Мне самому хотелось того же, вы прислали ко мне посольство, как раз когда я думал об этом. Я взволнован и тронут!»* — ответил он, как всегда находчиво и любезно. Посольство он всячески обласкал и отпустил с миром. Не только князь Кацуиэ, по и все обитатели замка вздохнули с облегчением, услышав о примирении двух домов: больше не придется изнывать от тревоги, и за судьбу госпожи тоже можно отныне не беспокоиться... Но не прошло и месяца, как князь Хидэёси во главе многотысячного войска вторгся в северные земли провинции Оми и осадил замок Нагахаму. Кто его знает, по какой такой причине это случилось, некоторые считали, будто бы князь Хидэёси догадался о тайных замыслах нашего господина... Дело в том, что здешний край зимой буквально утопает в снегах, передвижение войск невозможно, поэтому, дескать, князь Кацуиэ притворился, будто желает жить с Хидэёси в мире, а на самом деле ждет весны, когда растают снега, и тогда намерен двинуться против Хидэёси в земли, прилегающие к столице, в сговоре с князем Нобутакой из замка Гифу, и такой сговор будто бы уже состоялся... Ну, а как оно было на самом деле — таким ничтожным людишкам, вроде меня, разумеется, неизвестно.

В то время в замке Нагахамы сидел приемный сын кня-

зя Кацуиз, правитель Ига, болтали, будто он давно уже питал недобрые чувства по отношению к князю, — он мгновенно переметнулся на сторону Хидэёси, открыл ворота и без боя сдал замок. Отряды Хидэёси, как волны прилива, хлынули в провинцию Мино и осадили замок Гифу.

Сообщения о вторжении в Мино прибывали в замок Китаносё одно за другим, словно зубья частого гребня, но стояла одиннадцатая луна, самое холодное время года, все кругом было погребено под снегом. День за днем в превеликой досаде глядел князь Кацуиз на этот снег.

— Проклятая обезьяна! Он обманул меня, негодяй! Если б только не этот снег, я разгромил бы его войско так же легко, как разбивают яичную скорлупу! — в ярости скрежетал он зубами, пиная ногами снежные сугробы во дворе замка, так что госпожа и все дамы трепетали от страха. А тем временем войска Хидэёси с сокрушительным напором растущего бамбука всего за пятнадцать — шестнадцать дней покорили большую часть провинции Мино и отрезали замок Гифу от внешнего мира, так что господину Нобутакэ не осталось ничего другого, как объявить, что он сдается и просит мира. Хидэёси пощадил его — что ни говори, ведь то был сын покойного господина, — но взял в заложники его престарелую мать, перевез ее в замок Адзуты и с победным кличем возвратился в столицу.

* * *

Пока происходили эти события, окончился старый год, наступил новый, 11-й год Тэнсё¹, но здесь, на севере, все еще держались сильные холода, снег и не думал таять, князь Кацуиз то бранил «проклятую обезьяну», то ругался: «Проклятый снег!» — и все время пребывал в раздражении, так что новогодние празднества отметили лишь для вида, праздничного настроения совсем не чувствовалось. А Хидэёси, как видно, решил расправиться со всеми нашими союзниками, пока не растаял снег, — стало известно, что сразу после Нового года он опять с огромными силами вступил в провинцию Исэ, уже захватил владения господина Такигавы и там все время идут бои. Значит, хотя у нас, на севере, пока еще все спокойно, но, как только придет весна, здесь тоже неминуемо начнется сражение... Все в замке пришло в волнение, начались спешные приготовления к войне. В такой обстановке я ничем не мог быть

¹ 1583 г.

полезен и проводил время, целыми днями уныло сидя в одиночестве у огня, не зная, чем бы заняться. Сердце болело при мысли о госпоже. Только было она отдохнула душой, как опять даже нет возможности спокойно побеседовать с мужем... Уж лучше бы она оставалась в Киёсу... Хорошо, конечно, если победят наши, ну, а если этот замок тоже станет ареной кровавой битвы? Что, если опять будет так, как в замке Одани?.. Не один я так думал, прислужницы тоже то и дело говорили о том же. «Нет, нет, наш господин обязательно одержит победу! Не надо заранее унывать...» — ободряли и успокаивали они друг друга.

* * *

Как раз в это время в замок Китаносё в поисках убежища и в надежде на помощь госпожи явился господин Такацугу Кёгоку. Когда-то в замке Киёсу это был несовершеннолетний юнец, но за эти годы он успел превратиться в блестящего молодого человека и, если бы в мире все шло законным порядком, уже был бы знатным военачальником, а вместо этого, предав своего благодетеля — покойного князя Нобунагу, он связался с изменником Акэти и потому считался теперь тягчайшим преступником, которого, как гласит поговорка, отвергают Земля и Небо... Князь Хидэси учинил за ним строжайший розыск, так что он вынужден был скрываться, перебираясь с места на место по всей провинции Оми, но по мере того как обстановка на севере Оми становилась все тревожнее и напряженнее, ему и вовсе стало негде приклонить голову, оттого, наверное, он и надумал прибегнуть к покровительству своей неродной тетки. В соломенном плаще и широкополой шляпе, переодетый простым крестьянином, пробрался он в замок Китаносё через горы, по глубоким снегам, в сопровождении всего лишь одного-двух спутников. Говорили, что, когда он явился в замок, его невозможно было узнать, таким он был измученным, исхудалым.

— Умоляю вас, приютите несчастного беглеца! И жизнь и смерть моя в ваших руках! — сказал он, представ перед госпожой, но госпожа, окинув его долгим взглядом, ответила: «Мне стыдно за тебя!» — и некоторое время молчала и только плакала. Уж не знаю, что и как говорила она потом мужу, но только благодаря ее заступничеству князь сжалился над ним, а может быть, сыграло роль и то, что хоть был он сообщником изменника Акэти, но теперь его преследовал Хидэси... Так или иначе, но князь

сказал: «Хорошо, простим его, пусть послужит!» — и позволил остаться в замке. Вот тогда-то и состоялось его обручение с барышней О-Хацу. Об этом обручении я слышал любопытный рассказ от одной из светских дам госпожи; не берусь судить, насколько этот рассказ правдив. Как я и думал, господин Такацугу хотел получить в жены госпожу О-Чачу, но она напрочь его отвергла, заявив: «Терпеть не могу таких отщепенцев!» Госпожа О-Чача с детства отличалась высокомерием и была чрезвычайно своенравна, может быть, потому, что мать чересчур ее избаловала, так что, вполне возможно, была способна произнести такие слова, но господину Такацугу, которого обозвали «отщепенцем», было, конечно, оскорбительно это слышать. Не потому ли годы спустя, в сражении при Сэкигахаре, он опять изменил, перейдя на сторону Иэясу, что не забыл свой позор и втайне гневался на госпожу Ёдогими?.. Может быть, я опять грешу, приписывая ему свои нечистые домыслы, но сдаётся мне, что и прибежал-то он в замок Китаносё не столько потому, что уповал на госпожу свою тетку, сколько оттого, что стосковался по госпоже О-Чаче, в которую влюбился еще подростком, когда жил в замке Киёсу... А иначе зачем бы ему стремиться в далекий Этидзэн, когда его собственная родная сестра была замужем за князем Такэдой, владельцем земли Вакаса? А наша госпожа хоть и доводилась ему теткой, но ведь не родной, а всего лишь по первому покойному мужу и тем более была теперь снова замужем за князем Кацуиэ, — как последыш изменника Акэти, он никак не мог рассчитывать на сочувствие князя, — какое там сочувствие! — одно неверное слово, и слетела бы с плеч его голова! И все-таки, рискуя жизнью, он прибежал сюда, по таким непролазным снегам, потому что любил О-Чачу с детства, как говорится — «с колодезного сруба»... Ради нее он рисковал жизнью, но все его мечты и стремления оказались напрасными — это ли не позор? Он не собирался брать в жены госпожу О-Хацу, просто обстоятельства так сложились, так уж оно вышло, как бы в силу момента... Впрочем, в то время это был только сговор, скромно отмеченный в узком семейном кругу всего лишь праздничной чаркой...

* * *

Это единственное радостное событие среди тревоги, царившей в замке, произошло в конце первой луны или, может быть, в начале второй, когда передовые отряды князя

Кацуиэ под предводительством господина Гэмбы Сакумы, попирая снег копытами своих коней, уже выступили в поход, направляясь в северные области Оми. Князь Хидзэси, бросив свой лагерь в провинции Исэ, прискакал в Нагахаму и уже на следующий день, рано утром, переодевшись рядовым пешим воином, в сопровождении старых заслуженных вассалов поднялся на возвышенность и оттуда внимательно рассматривал каждое укрепление, возведенное отрядами князя Кацуиэ.

— Судя по тому, что я вижу, — сказал он, — легко и просто их сломить не удастся. Ничего другого не остается, как получить укрепить наши позиции и начать длительную осаду...

Он тщательно укреплял свой лагерь и, казалось, не собирался перейти в наступление. Прошла вся третья луна, наступила четвертая, а враждующие стороны так и стояли друг против друга, и тут наконец сам князь Кацуиэ двинулся к Янагасэ. Даже у нас, на севере, уже отцвела сакура, настало время, когда с грустью видишь, что весна уже позади. То был первый после свадьбы отъезд мужа в поход, и госпожа с особым усердием позаботилась об угощении для прощального пира. Были приготовлены разного рода лакомства — устрицы, каштаны, морская капуста, — и в большом зале торжественно отпраздновали «выступление в поход». Князь Кацуиэ пил сакэ в хорошем расположении духа, говорил, что разобьет врага в первой же битве, срубит голову мерзавцу Токитиро и, вот увидите, в этом же месяце победоносно вступит в столицу! «Жди хороших вестей!» — сказал он, направляясь к главным воротам. Госпожа его провожала, но когда, опираясь на лук, князь хотел сесть верхом, конь внезапно заржал, и мне рассказывали потом, что госпожа побледнела.

* * *

Во всяком случае, князь Нобутака, сидевший у себя, в замке Гифу, по-видимому, находился в тайном сговоре с нашим господином и тоже должен был выступить против Хидзэси. Другой союзник нашего недруга, господин Дзюнкэй Цуцуи из провинции Ямато, тоже должен был через несколько дней перейти на нашу сторону. Добавлю к этому, что, хотя Хидзэси несомненно был талантливым, опытным полководцем, князь Кацуиэ славился исключительной храбростью и в совершенстве владел военным искусством. Кроме того, в прошлом старший вассал семейства

Ода, он вел за собой многих блестящих воинов. Кто мог подумать, что его ожидает столь сокрушительный разгром? Не буду распространяться о битвах при Ягагасэ и Сидзугатакэ — историю этих сражений знают даже малые дети, скажу только, что нельзя без великой досады вспоминать о безрассудном непослушании господина Гэмбы. Если бы он выполнил приказ князя Кацуиэ, немедленно отступил и укрепил свою оборону, господин Дзюнкэй Цуцуи успел бы прийти на помощь, а наши союзники в провинции Мино ударили бы по неприятелю с тыла. Конечно, кто знает, как обернулось бы дело даже и в этом случае, но факт тот, что Гэмба обозвал князя Кацуиэ, своего дядю, выжившим из ума стариком и полностью игнорировал его предостережения, хотя князь чуть ли не семь раз посылал к нему нарочных, все высокопоставленных самураев. В итоге все многочисленное воинство Гэмбы было уничтожено. А между тем ведь лагерь Гэмбы находился всего в пяти-шести ри от ставки князя, это если в обход, а напрямик — так их разделяло и вовсе не больше одного ри. Говорили, будто князь Кацуиэ ужасно разгневался на племянника, но если это правда, так почему же он сам не помчался туда и не заставил господина Гэмбу, хотя бы силком, отвести свое войско? Такое поведение как-то не вяжется с его бурным, решительным темпераментом... Нет, дело не в том, что он постарел... Но может быть, любовь к жене-красавице как-то размягчила его непреклонный нрав... Слишком уж обидно все это кончилось, вот и полчается, что даже я и то готов во всем его обвинять...

* * *

Двадцатого числа пятой луны в замке Китаносё получили известие, что господин Гэмба разгромил укреплений врага и снял голову Сакёэ-но-дзэ Накагаве. Все радовались, посчитав это хорошим предзнаменованием. А тем временем к северу от озера Бива на всех окрестных холмах и горах и по дороге, идущей вдоль побережья со стороны провинции Мино, в ту же ночь небо озарилось светом бесчисленных факелов, затмивших сияние луны, и постепенно стало этих огней так много, словно на празднике Десяти тысяч фонарей. Князь Хидэеси примчался из своей ставки, скакал без передышки всю ночь, очевидно меняя коней, и уже на рассвете двадцать первого числа по ту сторону озера послышался шум сражения и поползли слухи, будто войску господина Гэмбы грозит опасность. Го-

нец, доставивший эту весть, прибыл в замок в тот же день, на исходе часа Овна, но к этому времени сюда уже стали одна за другой стекаться группы бегущих солдат, искавших убежища в стенах замка. Наши войска были разбиты наголову, передавали, что опасность угрожает самому князю. «Да как же это возможно?..» — думали ошеломленные, перепуганные обитатели замка. А к концу дня в замок вернулся князь Кацуиэ в ужасном виде, призвал господ Яэмона Сибату, Кодзиму, Бункасаю Накамуру, Токуана и прочих и сказал:

— Гэмба Моримаса не выполнил моих приказаний, я тоже допустил промах... Погибла слава всей моей жизни. Такова, наверное, моя карма! — Было видно, что он уже смирился со своей участью и принимает ее с мужеством, достойным такого замечательного воина.

Никто не знал, уцелел или погиб его сын Гонроку в сумятице тяжелого, беспорядочного сражения. Сам князь тоже хотел найти смерть в бою, но вмешался его вассал Кацуноскэ Кэккэ и уговорил его отступить: «Хотя бы возвратитесь домой, там вы сумеете в спокойной обстановке покончить с жизнью... А здесь я все беру на себя». Князь согласился и передал ему свой жезл полководца. По дороге он заехал к господину Тосииэ Маэде, в его замок Футю, где наскоро подкрепился чашечкой риса, и оттуда спешно прискакал в замок Китаносё. Господин Маэда хотел сопроводить его, но князь Кацуиэ настоял, чтобы тот с полдороги возвратился к себе; минуто спустя, однако, он вернулся его и сказал:

— Ты издавна был в хороших отношениях с Хидэёси, не то что я, а клятву в верности, которую ты мне дал, ты уже выполнил до конца. Заклучи теперь мир с Хидэёси, чтобы владения твои остались в покое и благоденствии. А за то, что помог м н е , — благодарю! — И, говорят, распрощался с Маэдой очень тепло.

* * *

Все это произошло вечером двадцать первого, а на следующий день, двадцать второго, первая волна вражеских войск во главе с Таро Хирохисой прихлынула вплотную к замку Китаносё, вскоре сюда же прибыл князь Хидэёси, поднялся на вершину Атаго и оттуда руководил войсками , — они окружили замок плотным кольцом, без малейших зазоров. К этому времени в замке остались только те, кто твердо решил принять смерть в его стенах, поэтому ни-

какой паники не было, все хранили спокойствие. Князь Кацуиз еще накануне призвал вассалов и объявил:

— Я намерен встретить врагов лицом к лицу здесь, в этом замке, сразиться с ними в последний раз, а затем вспороть себе живот. Кто хочет остаться со мной, пусть остается, но у многих из вас еще живы родители-старики, у других дома остались жена и дети. Пусть такие люди без малейших укоров совести как можно скорее возвращаются по домам, я не хочу ненужных смертей! — С этими словами он отпустил всех, кто пожелал уйти, даже заложников, и хотя в замке осталось мало народа, зато все это были люди, ценившие честь дороже жизни, в том числе, разумеется, такие выдающиеся воины, как господин Яэмон или господин Кодзима. Но что сказать, например, о Сингоро, восемнадцатилетнем сыне господина Кодзимы? Прикованный болезнью к постели, он тем не менее поспешил в паланкине явиться в замок и написал на главных воротах:

«Я, Сингоро, сын Кодзимы, правителя Вакасы, не участвовал в сражении при Янагасэ по причине болезни, но ныне прибыл в замок, дабы исполнить долг верности». Были даже еще более молодые, господину Дзюдзо Сакуме было четырнадцать лет, он был зятем князя Маэды, владельца замка Футю, и, кроме того, был еще слишком молод.

— Укройте в замке у т е с т я , — уговаривали его вас а л ы , — совсем не обязательно вам сидеть здесь в осаде! — Но он отвечал:

— Во-первых, я всем обязан князю Кацуиз за его милости, он с детских лет моих заботился обо мне и пожаловал мне обширные земли. Я мог бы остаться жить, чтобы выполнить сыновний долг по отношению к матери, но это было бы малодушием. Во-вторых, я считаю низостью цепляться за жизнь, пользуясь тем, что я в родстве с князем Маэдой. В-третьих, уронить свое имя означало бы оскорбить память предков. Вот три причины, по которым я хочу разделить со всеми общую участь. — И он твердо решил сложить голову в осажденном замке.

Назову еще господина Мацууру, ревностного приверженца секты Хоккэ. Он построил небольшую келью для некоего святого праведника; когда этот отшельник услышал, что господин Мацуура остался в осажденном замке, он сказал: «Связь между вами и мной, недостойным монахом, была глубока в этой жизни. Чтобы отплатить за ваши милости и отблагодарить за благодеяния, я непременно

пребуду с вами также в мире ином!» — и, не слушая уговоров господина Мацууры, тоже заперся в замке. Был еще некто по имени Гэнку. Этот человек, правда, с детских лет был приближен к князю, но после того, как однажды получил тяжелое ранение в бою, сказал: «С таким увечьем я больше не смогу служить вам, поэтому ухожу. Больше я не самурай, стану теперь простым горожанином!» — «Вот как? — ответил князь, — в таком случае, будь торговцем, торгуй соевой пастой!» — и каждый год посылал ему сто мешков соевых бобов. «Вот и на сей раз останусь с вами, чтобы по-прежнему снабжать вас соевой пастой в мире ином!» — сказал этот Гэнку и пришел из города в замок. Были еще актеры — танцовщики Вакадаю, Итиросай Ямагути, Камидзака, — они тоже остались. Но были и плохие люди — например, господин Токуан, все считали его одним из самых верных монахов-воинов князя, а он тем не менее выкрал одного из заложников и вместе с ним бежал в замок Футю, понадеявшись на князя Маэду, но тот его не принял, назвав бесчестным негодяем, так что расчеты его не оправдались. Не знаю, что с ним стало потом, никто не хотел с ним знаться, рассказывали, будто встречали его в столице, он блуждал там по улицам, совсем как опустившийся нищий...

А вот господин Рокудзаэмон Мураками оставался все время в замке, одетый в саван, но князь приказал ему тайно вывести из замка свою сестру госпожу Суэмори с дочерью и скрыться где-нибудь вместе с ними. Господин Мураками просил поручить это кому-нибудь другому, но ответ гласил: «Нет, я поручаю это тебе. Это и будет доказательством твоей верности!» Делать нечего, сопровождая обеих дам, он укрылся с ними в селении Такада, но когда двадцать четвертого числа, в час Обезьяны, они увидели столбы дыма над главной башней замка, все трое покончили жизнь самоубийством...

Вот примерно те, кого я запомнил. В то время их имена были у всех на устах, так что вы, сударь, тоже, конечно, все это знаете...

* * *

...Вы спрашиваете, как сам-то я спасся? Я — маленький человек, не то что эти замечательные люди, никакой пользы от меня при осаде быть не могло... В минувшие годы, когда пал замок Одани, моя жизнь уцелела, так что теперь я смирился с мыслью, что на этот

раз мне не избежать смерти, и оставался в замке, но, честно говоря, мне все еще было неясно, что будет с госпожой, и я решил, прежде чем расстаться с жизнью, сперва убедиться, что с нею станет, а там будь что будет... Вы можете посчитать меня большим трусом, но посудите сами — не прошло еще даже года с тех пор, как госпожа вышла замуж за князя Кацуиз и поселилась здесь. В замке Одани она прожила в супружестве целых шесть лет и тем не менее, из любви к детям, решила на горестную разлуку с мужем. Значит, теперь и подавно такая возможность не исключалась. Может быть, и сам князь уже говорил с ней об этом... Ведь он пощадил и отпустил даже врагов-заложников, так неужели захочет, чтобы она сошла с ним в загробный мир? Конечно, она ему жена, но ведь они были вместе совсем недолго, к тому же ведь она — родная сестра, а ее дочери — родные племянницы его покойного господина, которому он столь многим обязан... Или, может быть, из упрямой гордыни он не хочет, чтобы его любимая жена досталась князю Хидэеси? Нет, нет, недаром же это благородный князь Кацуиз, у него не может быть таких низменных побуждений... Таков в общих чертах был ход моих рассуждений; дело не в том, что я хотел спастись с а м , — нет, я решил, что жить или умереть — все зависит от того, что будет с госпожой, в любом случае я хотел разделить с пей ее судьбу.

* * *

Неприятель начал штурм с первыми петухами утром двадцать второго числа. Враги предали огню все приамковые посадки и поселки вдоль дорог, густые клубы дыма заволокли все кругом, так что солнечный свет померк; куда ни кинь взгляд, вся местность представлялась сплошным морем тумана — говорили мне люди. Под этой туманной завесой неприятель, стараясь не издавать ни звука, не производил шума, скрытно приблизился к замку, прикрываясь кто чем мог — связками бамбука, циновками, дощатыми щитами. Тем временем немножко посветлело — они были уже у края рва, похожие на ползущие полчища муравьев. Из замка непрерывно палили из мушкетов и в этой стороне поубивали всех. Неприятель слал все новые цепи воинов, наши яростно отбивались, видно было, что на этом направлении прорвать оборону замка нипочем не удастся. В этот день сражение так и закон-

чилось, обе стороны отступили, имея множество раненых и убитых.

На рассвете следующего, двадцать третьего дня в неприятельском лагере внезапно смолк барабанный бой, призывающий к наступлению, воцарилась полная тишина, и, пока мы дивились, что сие означает, на той стороне рва появились несколько самураев верхом на конях и что было сил закричали:

— С прискорбием извещаем вас, что вчера мы взяли живыми в плен сына вашего князя, господина Гонроку Сибату, и господина Гэмбу Сакуму!

Когда в замке услышали это, все разом пали духом и уж только кое-как старались оборонять главные ворота, стрельба из мушкетов тоже прежнего успеха не приносила. А я, признаться, втайне надеялся, что от князя Хидэеси вот-вот придёт какой-нибудь посланец, непременно должен прибыть, если князь все еще помнит о госпоже... Я не ошибся — в это время и в самом деле прибыл посол, кто именно — я уже позабыл, помню только, что то был не самурай, а какой-то монах.

«С прошлого года князь Хидээси оказался в состоянии войны с князем Сибатой; к счастью, ему сопутствовала военная удача, и вот он здесь, у этих пределов. Но князь Хидээси не собирается требовать смерти князя Сибаты, ведь оба они — бывлые соратники, некогда вместе служившие великому покойному господину. Хотя князь Сибата первый начал эту войну, князь Хидээси считает, что победа или поражение находятся во власти судьбы, все переменчиво в нашем мире, таков удел лук и стрелы держащих, и потому готов предать забвению бывлые распри. Пусть князь Сибата передаст ему этот замок и удалится к подножию горы Коя. В этом случае князь Хидээси пожалует ему владения с доходом в тридцать тысяч коку риса до конца его дней».

Но кто мог бы поручиться, что таковы искренние намерения Хидээси? Не только у нас, но и во вражеском лагере люди шептались, что Хидээси прибег к такому маневру, чтобы заполучить госпожу О-Ити, поэтому никто не принял всерьез его предложение. А уж князь Кацуиз — тем более...

— Негодяй! Как он смеет предлагать мне такое?! — обрушился он на посланца-монаха. — Давно известно, что победа и поражение зависят лишь от судьбы. Уж не собирается ли он просвещать меня, поведав мне эту истину? Если бы в мире все вершилось по справедливости,

если бы счастье оказалось на моей стороне, это я гнал бы сейчас эту мерзкую обезьянью рожу и уж позаботился бы, чтобы он, а не я вспорол бы себе живот! Я проиграл битву при Сидзугатакэ, потому что Гэмба Сакума не выполнил моих приказаний, — горько сознавать, что пришлось опозориться перед этой обезьяной! Теперь мне осталось лишь поджечь эту башню, чтобы грядущие поколения брали пример, как нужно кончать жизнь! Но знайте — здесь в замке хранится запас пороха, накопленный в течение десяти лет. Когда он взорвется, будет много убитых, так что пусть ваши воины отступят подальше, я говорю это потому, что не хочу напрасных убийств! Так и передай Хидэеси! — И сказав это, князь Кацуиэ встал и вышел. Посланец помчался прочь, его миссия полностью провалилась.

* * *

Когда я услышал об этом, рухнула моя последняя надежда, я был вне себя от отчаяния, и горько мне было, и зло меня разбирало, но раз уж так получилось, раз надежда на спасение госпожи исчезла, мне осталось только сопровождать ее к Трем потокам в подземном царстве, чтобы вечно служить ей на том свете. Единственное, о чем я теперь молился, это стать зрячим в будущей жизни, чтобы Любоваться ее прекрасным, как луна, ликом. Вот единственное, о чем я тогда мечтал, и смерть стала казаться мне, напротив, даже желанной.

Потом князь Кацуиэ сказал:

— Как ни больно очутиться в таком безвыходном положении, горевать бесполезно. Давайте же проведем нашу последнюю ночь все вместе, веселясь и пируя, а наутро исчезнем вместе с рассветными облаками! — Он распорядился сделать приготовления к пиру, приказал слугам достать все оставшиеся бочонки сакэ, а также нагромоздить целые охапки сухой соломы на главной башне и в других важнейших помещениях замка. Пока шли эти приготовления, быстро наступил вечер. Враги несколько ослабили кольцо осады и отступили на дальнейшее расстояние — наверное, поняли, какой решимости преисполнены люди в замке.

— Ага, видите, недаром сторожевые огни противника горят теперь далеко! Хидэеси знает, что я не бросаю слов на ветер! — спокойно сказал наш князь, и голос его звучал как-то по-особому проникновенно.

Вечером, примерно в час Петуха, начался пир. Подали сакэ не только господам, но и на все сторожевые башни; князь распорядился, чтобы повара на кухне постарались на славу — угощение было редкостное, роскошное, повсюду в замке шел пир горой. В женских покоях, в большом зале, на возвышении, покрытом медвежьей шкурой, сидел сам князь, рядом с ним — госпожа и три ее дочери. Пониже расположились господа Бункасай, Яэмонно-дзё, правитель Вакаса и другие, самые прославленные, заслуженные вассалы. Первую чарку князь передал госпоже. По его указанию, дамы свиты и все мы, слуги, тоже удостоились чести присутствовать и почтительно занимали места поблизости от господ. Все понимали, что собралось сегодня в последний раз, поэтому и сам князь, и все самураи облачились в парадные кафтаны и разноцветные доспехи, соперничая друг с другом роскошью и блеском мечей и остального убранства. Женщины тоже надели яркие кимоно, стараясь перещегоолять друг друга нарядами, и самая прекрасная среди них была госпожа. Белила и румяна она наложила ярче обычного, густо умастила волосы ароматическим маслом. Мне рассказали, что под стать ее белой, как снег, коже на ней было белое кимоно узорного шелка с широким поясом из золотой парчи, а сверху наброшено одеяние из китайского атласа, затканного золотыми, серебряными и разноцветными нитями.

— Пить сакэ молча — радости мало, — сказал князь, когда чарка обошла круг. — Враги будут насмеяться над нами и, чего доброго, вообразят, будто мы совсем приуныли из-за того, что завтра расстанемся с жизнью... Давайте же, па удивление недругам, проведем этот вечер с песнями, плясками и прочими изящными развлечениями! — Не успел он это сказать, как на одной из башен раздались звуки веселой песни:

Я за тысячу ри, от тебя вдалеке грущу,
Утешения только в чарке сакэ и щу... —

затем послышались удары в барабанчик, отбивающий ритм, — очевидно, там кто-то уже плясал.

— Слышите, они нас опередили! Не будем же отставать! — сказал князь и сам, первый запел арию Ацумори:

Что наша жизнь, ничтожные полвека,
Коль их сравнить с величьем Поднебесной?

Это была любимая ария покойного князя Нобунаги, он пел ее во время битвы при Окэадаме, когда одержал

победу над господином Имагавой, ария эта считалась чуть ли не священной в семействе Ода.

Что наша жизнь, ничтожные полвека,
Коль их сравнить с величьем Поднебесной?
Всего лишь наважденье, краткий сон.
Увы, кому из наделенных жизнью,
Кому из человеческого рода
Уничтоженья избежать дано?..

Я слышал, как он пел громким, чистым голосом эту песню, и мне до боли ясно вспомнились времена, когда был еще жив повелитель всех этих мужественных, одетых в доспехи воинов. Слезы невольно выступали у меня на глазах при мысли о том, как быстротечно все в нашем мире, и сидящие в ряд самураи тоже увлажнили слезами рукава своих панцирей.

* * *

Затем господа Бункасай и Итиросай в свою очередь спели арии из театральных пьес, господин Вакадаю исполнил пляску, нашлись и другие господа, весьма искусные в пении и танцах. По мере того как снова и снова наполнялись чарки, каждый стремился в последний раз блеснуть своим мастерством. Ночь постепенно сгущалась, а в зале становилось все оживленнее, веселью не видно было конца. Но вот чей-то звучный голос запел: «Как ветка абрикосовых цветов...» — и весь зал невольно затаил дыхание, прислушиваясь к дивному пению, — пел Тёрокэн, монах-самурай. Господин этот, искусный во всех делах, на лютне и сямисэне тоже играл отлично, это нас сблизило, я был хорошо с ним знаком и давно уже восхищался также и его пением. Теперь я слушал, как он поет, — оказалось, он выбрал арию из пьесы «Дама Ян».

Как ветка абрикосовых цветов,
дождем обрызганных, ее краса,
как орошенные дождем цветы на ветке,
так хороша она.
И соком напоенный свежий лотос,
тюльпаны алые и зелень нежных ив
ее красою превзойти не могут.
Средь женщин при дворе ей равных нет,
среди красавиц ни одна так не прекрасна.
Все меркнет перед ней!¹

Это была хвала госпоже, ее красоте, я мог только так воспринимать эту песню, хотя господин Тёрокэн, конечно, не имел в виду ничего такого. Даже в этом миг, когда приближался наш смертный час, я все еще не мог сми-

¹ Перевод А. Е. Глускиной.

риться с мыслью, что сегодня вечером этот прекрасный цветок цветет в последний раз и неминуемо обречен увянуть... В это время господин Тёрокэн сказал:

— Слепой хорошо играет на сямисэне. С разрешения госпожи, пусть он сыграет нам и споет!

Вслед за тем послышался голос князя:

— Спой, Яйти! Не смущайся!

А я и не собирался отнекиваться, мне как раз очень хотелось спеть, я тотчас взял в руки сямисэн и спел ту самую маленькую песенку: «...только я, томясь любовью, слезы вечно лью...»

— Да, он, как всегда, большой искусник... Ну-ка, попробую теперь я... — сказал господин Тёрокэн и взял у меня сямисэн.

К ночи кончился прилив,
В бухте Сига нет волны,
Щечка с ямочкой прелестной —
Ясный лик луны...

«Любопытные слова!» — подумал я, весь обратившись в слух: между словами он вставлял длинные пассажи аккомпанемента. Эти места звучали очень красиво, но вдруг я заметил, что среди музыкальных фраз дважды повторяется какая-то причудливая мелодия. Нех, я не ошибся я, — нам, слепым музыкантам, всем прекрасно это известно... Дело в том, что каждая струна сямисэна имеет шестнадцать ладов, а так как струн — три, получается ровнехонько сорок восемь. Поэтому, когда начинают учиться игре на сямисэне, каждый из сорока восьми ладов обозначают определенным знаком нашей слоговой азбуки и даже надписывают, чтобы легче было запомнить, так что всем музыкантам известно это соотношение, в особенности слепым, — читать знаки они не могут, зато запоминают их наизусть. К примеру, гласному «и» соответствует звук, так и обозначенный «и», а если произносят слог «ро», сразу вспоминается звук, обозначенный знаком «ро». Поэтому, когда слепые хотят в присутствии зрячих незаметно обменяться какими-нибудь словами, они пользуются звуками сямисэна, чтобы тайно сообщить друг другу свои мысли. И вот теперь я явственно уловил: «Нельзя ли как-нибудь спасти госпожу? Обещана награда...»

«Нет, наверное, мне почудилось... Откуда взяться здесь человеку с такими мыслями? Ну, пусть не почудилось — просто из случайного сочетания звуков сами собой сложились такие слова...» — не доверяя сам себе, мысленно твердил я, а в это время господин Тёрокэн опять запел:

Как же быть мне, милая?
Уж ты меня прости —
Горная застава
На моем пути,
Стражники, стражники не дают пройти!

И хоть мелодия этой песни была совсем другая, в паузах между словами опять звучали те, прежние фразы... Вот оно что! Выходит, господин Тёрокэн — неприятельский лазутчик, шпион, тайно проникший в замок! Или пусть даже не шпион — значит, в эти последние дни сумел каким-то способом снестись с неприятелем... В любом случае он действует по приказанию князя Хидэёси, пытается передать госпожу целой и невредимой в руки врагов. Вот уж поистине неожиданная помощь — и подошла неожиданно!.. Стало быть, князь Хидэёси все еще не теряет надежды добиться своего. «Да, вот это любовь!» — думал я, чувствуя, как от волнения учащенно забилося сердце, а тем временем Тёрокэн со словами: «Ну-ка, Яйти, сыграй нам еще разок!» — опять передал мне мой сямисэн.

Но почему он так полагается на меня, жалкого слепого музыканта? Когда и как успел он заглянуть в самую глубину моей души и, к стыду моему, понять, что ради госпожи я готов в огонь и в воду? Правда, хоть и слепой, я единственный мужчина, который вместе с женщинами служит в ее покоях. Вдобавок я лучше любого зрячего знаю все бесчисленные залы, галереи и закоулки в замке, так что в решительную минуту мог бы отыскать путь быстрее мыши. Да, господин Тёрокэн не ошибся — если я до сих пор не решился прервать бесполезную жизнь свою, так единственно потому, что все еще надеялся как-нибудь спасти госпожу, сослужить ей именно эту службу. «Ну, а не удастся — что ж, тогда исчезну с ней вместе в том же пламени и дыму!» — мгновенно созрела решимость в моем сознании. Я взял сямисэн и, отбросив последние колебания, запел:

Если б мог я хоть на миг
Моей милой показать
Рукава в слезах горячих,
Сердце в злой тоске!.. —

а сам в то же время, дрожащими пальцами перебирая струны, тайным шифром сообщил ему: «Как только заметишь дым, немедленно беги к главной башне...» Разумеется, люди в зале слышали только песню и звуки струн и никак не могли предположить, что мы тайно обмена-

лись словами. Между тем в голове у меня сложился план спасения госпожи. Мы знали, что с наступлением утра князь с супругой поднимутся на самый верхний, пятый ярус главной башни, чтобы спокойно, без помехи, покончить там с жизнью самоубийством, после чего вассалы должны поджечь заранее заготовленные охапки соломы. Я решил улучшить момент, чтобы успеть поджечь солому, пока они еще не совершили самоубийства, и, воспользовавшись переполохом, который поднимется, когда вспыхнет пожар, впустить наверх Тёрокэна с его людьми. Вклинившись между супругами, они смогут, хотя бы в силу численного своего превосходства, оттеснить князя от госпожи...

* * *

Вообще-то я человек робкого десятка, и не потому, что слепой, а таков уж я от природы, ни разу в жизни никого не обманывал и теперь весь трепетал от страха, но если я отважился вступить в стговор с вражеским шпионом, собрался поджечь замок и, в довершение всего, похитить госпожу, то единственно из желания спасти ее от неминуемой смерти. «А это и есть подлинная вассальная верность...» — рассудил я. Тем временем стало светать — летние ночи коротки; в саду, в дальнем храме, запела кукушка, и госпожа, взяв лист бумаги, написала стихотворение:

Прощальный привет
ты нам посылаешь, кукушка, —
и в летнюю ночь,
этот призрачный мир покинув,
мы сегодня уснем навеки...

Вслед за ней написал стихи князь Кацуиэ:

Остается от нас
в мире бренном, как сон летней ночи,
только имени звук —
пусть же он к небесам вознесется
в дальней песне кукушки горной!..

Господин Бункасай прочел вслух оба стихотворения.
— Я тоже сложу стихи! — сказал он и написал:

Верен клятве святой,
хладный путь я пройду вслед за вами,
чтобы в мире ином
так же ревностно и беззаветно
господину служить вовеки!

Нужно было обладать поистине утонченной душой, чтобы слагать стихи в такую минуту.

После этого все разошлись по своим местам, чтобы готовиться к харакири, а женщины, и я вместе с ними, направились к башне, сопровождая князя с супругой. Правда, нас допустили только до четвертого яруса, на пятый ярус с господами поднялись только барышни и господин Бункасай, но я, понимая, что близится решающий миг, украдкой взобрался примерно до середины лестницы, ведущей наверх, затаив дыхание, спрятався там и поэтому слышал все, что происходило наверху.

— Открой-ка все окна, Бунка! — были первые слова князя; он приказал открыть все окна со всех четырех сторон. — А-а, какой приятный ветерок! — опускаясь на циновку, сказал он и торжественным, строгим тоном произнес: — А теперь обменяемся прощальными чарками только своей семьей, между родными! — И предложил Бункасаю разлить и поднести чарки с с а к э . — Госпожа О-Ити! — обратился он к жене, когда обмен чарками был закончен. — Я благодарен тебе за сердечную доброту, с которой ты относилась ко мне все это время. Если бы я предвидел, как обернется моя судьба, я не должен был затевать свадьбу с тобой минувшей осенью. Но теперь поздно об этом толковать. Я всегда считал, что супруги не должны разлучаться, но сейчас, рассудив хорошенько, думаю по-другому. Ты — сестра моего покойного господина и, кроме того, вот эти сидящие здесь девицы — дочери покойного князя Нагамасы. Долг повелевает мне спасти вас. Подлинный самурай, готовясь к смерти, не обязан тащить за собой на тот свет жену и детей. Если я убью тебя здесь, люди, пожалуй, скажут, что в припадке гордыни Кацуиэ забыл заповедь долга и сострадания. Постарайся же понять мои доводы и покинь этот замок! Возможно, мои слова покажутся тебе неожиданными, но я все хорошо обдумал, прежде чем сказать их тебе! — Вот какие речи я вдруг услышал...

Можно не сомневаться, что сердце говорившего разрывалось от боли, но голос звучал твердо, без малейших признаков дрожи, он говорил спокойно, без запинки, без пауз, — да, не зря считался он сильным духом, мужественным воином! Недаром сказано, что истинному самураю ведомо сострадание!

«О, я, недостойный! — думал я, заливаясь благодарными слезами, — а я-то роптал на него, не доверяя его великодушью! Это потому, что не у него, а у меня низменная

натура!» В это время послышался голос госпожи:

— В такую минуту вы обращаетесь ко мне с такими речами! — рыдания помешали ей продолжать. — Даже при жизни брата я всегда считала себя принадлежащей к семейству мужа, а не к семейству О да, — продолжала она некоторое время спустя. — А теперь, когда я больше не могу полагаться на помощь брата, если вы покинете меня, куда мне идти? По горькому опыту знаю, что остаться в живых означало бы для меня стать беззащитной перед унижением, а это для меня хуже смерти. Вот почему решила — на сей раз я больше не допущу, чтобы меня разлучили с мужем. Наша брачная жизнь длилась недолго, всего полгода, но если вы позволите мне, как вашей жене, умереть вместе с вами, полгода или целая жизнь — разница не имеет значения... Больно слышать, как вы говорите мне: «Уходи!» Не требуйте этого от меня, прошу вас! — Слова долетали до меня прерывисто и невнятно, как будто она прижимала к лицу рукав, чтобы скрыть слезы.

— Но разве тебе не жаль дочерей? — сказал князь. — Если они умрут, род Асаи прервется... Это нарушение долга по отношению к покойному князю Асаи!

— Как вы заботитесь об Асаи! — воскликнула госпожа и, заплакав еще громче, сказала: — Я останусь с вами, но воспользуюсь вашей добротой, чтобы эти дети смогли молиться за упокой своего отца, а также и за мою душу после моей кончины... — Но тут О-Чача закричала:

— Нет, нет, мама, я тоже останусь здесь!

— Я тоже! Я тоже! — закричали обе младшие барышни, с обеих сторон прильнув к матери, и все четверо залились слезами.

В минувшие годы, когда пал замок Одани, ее дочери были еще мальми детьми, не понимали трагедии, выпавшей на их долю, но теперь даже самой младшей, госпоже Кого, исполнилось уже больше десяти лет, и не было никакой возможности как-нибудь успокоить или утешить их. Госпожа была так потрясена при виде слез своих девочек, что при всей своей твердости духа была не в силах сдерживать рыдания. За все годы ни разу не случилось мне слышать, чтобы она так убивалась. «Чем же все это кончится?» — думал я, по тут вмешался господин Бункасай.

— Ну, ну, барышни, вы плохо себя ведете! Вы мешаете вашей матери выполнить свой долг! — сурово прикрикнул он и, протиснувшись между девочками и госпожой, пытался силой оттащить их от матери.

Я понял, что медлить больше нельзя. Вытащив пучок из вороха соломы, приготовленного под лестницей, я поднес к нему пламя светильника. К этому времени на четвертом ярусе башни находились только фрейлины госпожи; одетые в ритуальные одеяния, они были всецело поглощены молитвами к Будде, так что никто не заметил моего поступка. Пользуясь этим, я подносил светильник к лежавшим повсюду связкам соломы, поджигал все подряд — бумажные оконные ставни, рамы, перегородки, разбрасывал горящие пучки сена...

— Пожар! Горим! — закричал я, сам едва не задыхаясь в дыму.

* * *

Солома оказалась сухой на славу, к тому же наверху, в пятом ярусе, окна были распахнуты настежь и ветер взметнулся снизу, как по трубе. Послышался громкий зловеющий треск горящего дерева; вопли и стоны перепуганных женщин, метавшихся в поисках спасения, смешались со свирепым свистом разгорающегося пламени. Внезапно большая группа мужчин, с криком: «Измена! Наш господин в опасности! Берегитесь изменников!» — взбежала сквозь дым вверх по лестнице, и я очутился в гуще беспорядочной схватки между защитниками замка и людьми Тёрокэна. Меня толкали из стороны в сторону, полыхавший жаром ветер то и дело осыпал меня жгучими искрами, трудно было дышать. «Раз все равно умирать, умру вместе с госпожой, когда огонь пожрет нас...» — решил я, очутившись в этом аду Раскаленном, но только начал было пробираться к лестнице, ведущей наверх, как кто-то — я так и не узнал, кто, — крикнул мне: «Яйти! Вынеси вниз эту госпожу!» — и посадил мне на спину юную девушку.

— Госпожа О-Чача! — воскликнул я, мгновенно узнав ее. — Что с вашей матерью? — я непрерывно окликал ее, звал по имени, но она не отвечала и, казалось, потеряла сознание в крутящихся клубках дыма. Но почему этот самурай доверил ее мне, слепому? Наверное, решил до конца выполнить долг верности и умереть здесь вместе со своим господином... Я тоже чувствовал, что должен до конца оставаться с госпожой, а не бежать прочь. Но как будет гневаться мать, если я не спасу ее дочь!.. «Куда ты дел мое драгоценное дитя, Яйти?» — упрекнет она меня на том свете, и мне нечего будет сказать в свое оправдание... И еще мне почудился перст судьбы в том, что ее

вот так, неожиданно, посадили ко мне на спину... Но сильнее всех этих мыслей было какое-то странное, сладкое чувство близости, охватившее меня в тот момент, когда обеими руками я подхватил госпожу О-Чачу, бессильно прикишую к моей спине. Ее юная прелесть живо напомнила мне тело ее матери в молодости, каким я ощущал его когда-то под моими руками, и меня охватило давно забытое, удивительно теплое чувство. Как могло такое прийти мне в голову в миг, когда малейшее промедление грозило опасностью сгореть заживо? Поистине, причудливые мысли приходят в голову человеку в самые неподходящие мгновения! Стыдно сказать, но мне вдруг вспомнилось, как меня впервые призвали к госпоже О-Ити, когда я только начал службу в замке Одани, — ее руки и ноги были тогда точь-в-точь такими же полными и упругими... Да, как пи прекрасна была моя госпожа, ее тоже не пощадило время... Я вдруг осознал это, и дорогие воспоминания воскресли в памяти одно за другим, как разматывается клубок ниток... Но не только воспоминания — ощутив нежную тяжесть тела госпожи О-Чачи, мне вдруг почудилось, будто ко мне самому каким-то необъяснимым образом тоже вернулась молодость. Я вдруг подумал, что служить этой юной госпоже будет совершенно то же, что служить госпоже О-Ити, и при этой мысли во мне снова вспыхнула жажда жизни, как ни низко это было с моей стороны...

Возможно, вам покажется, что я колебался долгое время, однако на самом деле все эти мысли промелькнули в моем сознании в одну секунду, и не успел я еще толком их осознать, как уже бежал сквозь дым и огонь, расталкивая встречных, сколько хватало сил. «Дайте дорогу! — во весь голос кричал я. — Я несу одну из молодых барышень!» Слепой, я бегом спускался по лестнице, прокладывая себе дорогу прямо по головам, грубо отталкивая, наступая на людей...

* * *

Не я один пытался спастись. Люди толпой стремились прочь из замка, осыпаемые дождем свирепых искр. Я бежал вместе с ними, увлекаемый людским потоком. Когда я миновал мост, переброшенный через ров, позади раздался долгий, оглушительный грохот.

— Это рухнула башня? — спросил я.

— Да, — отвечал какой-то человек, бежавший рядом со мной. — В небо взметнулся целый столб огня!.. Очевидно, огонь добрался до порохового погреба.

— Что стало с госпожой О-Ити и двумя другими ее дочерьми? — спросил я у этого человека.

— Дети спаслись, — сказал он, — но госпожа О-Ити, увы, погибла!

Потом я узнал подробно о том, что произошло в башне, а тогда этот человек рассказал мне, что Тёрокэн первым добрался до верхнего яруса, но Бункасай, сразу разгадав его умысел, тут же на месте зарубил его и спихнул вниз. Люди Тёрокэна дрогнули, а тем временем много защитников замка прорвалось наверх, так что у вражеских лазутчиков не только не было никакой возможности похитить госпожу О-Ити, но и большинство их погибло от меча или сгорело в огне. Три дочери все еще цеплялись за мать, но Бункасай, стремясь как можно скорее удалить их из башни, вытолкнул их в толпу воинов, крикнув: «Самую верную службу сослужит тот, кто спасет этих девиц и доставит их во вражеский лагерь!» Самураи подхватили девочек и вынесли из огня.

— Наверно, князь Кацуиэ с госпожой покончили с собой в огне пожара... — сказал этот человек. — Я не успел при этом присутствовать.

— А где обе другие дочери? — спросил я.

— Должно быть, наши люди ушли с ними вперед, — сказал он. — Та, которую ты несешь, упрячилась больше всех, до последнего цеплялась за рукав матери и ни за что не хотела отпускать. Но в конце концов ее все-таки оторвали и передали тому самураю, который потом отдал ее тебе, а сам бросился обратно в огонь... Такой самурай достоин восхищения, пусть даже был не из наших...

Слова «не из наших» показались мне странными, но потом я сообразил, что воины Хидэси уже проникли за внутреннюю ограду замка и подступили к самому основанию башни, готовые по сигналу Тёрокэна ринуться за госпожой О-Ити, и, стало быть, тот, кто бежал сейчас рядом со мной, был либо изменник, либо вражеский пехотинец.

— Во всяком случае, — продолжал он, — как ни старался князь Хидэси одержать победу в этой войне, это не помогло ему заполучить госпожу, которой он добивался. Наверяд ли он доволен стараниями Тёрокэна. Так что для того даже лучше, что его уже нет в живых... — Он ненадолго умолк, потом добавил: — Но тебе повезло, что ты спас эту девицу, так что я буду держаться с тобою рядом...

Опираясь на его руку, я продолжал идти так быстро, как только мог, хотя дышал тяжело и чувствовал, что силы

мои на исходе. К счастью, начальник вражеских пехотинцев пришел искать нас, с ним прибыли носилки, куда он велел тотчас же уложить госпожу О-Чачу.

— Эй ты, слепой! — сказал о н . — Ты что, все время нес ее?

— Да, господин! — ответил я и рассказал все как было.

— Хорошо, — сказал о н , — ступай за носилками! — И я пошел вместе с ними.

Миновали один боевой лагерь, потом другой, пока наконец не добрались до вражеской главной ставки.

* * *

К этому времени О-Чача, казалось, уже очнулась, но еще не скоро пришла в себя, и вокруг нее хлопотали слуги. Князь Хидэёси пожелал ее видеть, как только она оправится, и призвал ее вместе с сестрами. Это было, конечно, вполне естественно, но удивительно, что он вспомнил даже обо мне. Когда я распростерся ниц у порога его покоя, я услышал, как он сказал:

— Помнишь мой голос, Яити?

— Да, господин, — ответил я, — я прекрасно помню ваш голос!

— В самом деле? — сказал о н . — Прошло немало времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз... Сегодня ты совершил поступок, удивительный для слепого. В награду я исполню любое твое желание, говори, чего ты хочешь?

Это было похоже на сон — все закончилось лучше, чем можно было мечтать.

— Я очень благодарен вам за вашу доброту, — сказал я, — но стоит ли награждать труса, позорно покинувшего свою госпожу после того, как я столько лет пользовался ее милостями и благодеяниями? Сердце обливается кровью при мысли о том, какая судьба постигла госпожу О-Ити этим утром. Для меня было бы величайшим счастьем по-прежнему прислуживать ее дочерям. Вот единственное мое желание.

Князь Хидэёси сразу же согласился.

— Разумная просьба! — сказал о н . — Я исполню ее, назначу тебя к ним в услужение... Я весьма сожалею о смерти госпожи О-Ити, — добавил он после паузы, — и отныне намерен заменить ее, заботясь об этих детях! Но как они выросли! Ведь эта О-Чача сидела, бывало, у меня на коленях! — И он добродушно рассмеялся.

* * *

Так случилось, что вместо участи бесприютного скитальца мне выпало счастье остаться на службе у молодых барышень. Но по правде сказать, в тот день, — двадцать четвертый день пятой луны 11-го года Тэнсё¹, когда погибла госпожа, — моя жизнь тоже, можно сказать, окончилась. Больше я никогда не был так счастлив, как, бывало, в замке Одани или Киёсу. Дело в том, что барышни, очевидно, узнали, что это я устроил пожар и впустил предателей в башню, и стали относиться ко мне все хуже и хуже. В особенности госпожа О-Чача. Иногда она нарочно говорила так, чтобы я слышал: «Этот слепой мужик спас меня вопреки моей воле и предал в руки заклятого моего врага!» Состоять при них в услужении было все равно что сидеть на иголках. «Лучше б я умер, когда представился к тому случай...» — сокрушался я о моей несчастной судьбе. Разумеется, я сам заслужил свое наказание, винить было некого, кроме самого себя. Не сумев вовремя умереть, я не смел теперь последовать за госпожой О-Ити и предстать перед ней на том свете. Опозоренный, я продолжал жить в бесчестье, все меня сторонились. Прошло немного времени, и других слуг стали звать аккомпанировать барышням, когда те играли на кото, или растирать им плечи и поясницу. В конце концов, мне стало вовсе нечего делать.

К этому времени госпожа О-Чача вместе с сестрами переехала на жительство в замок Адзути, и если мне вообще еще позволяли оставаться в числе их слуг, так только потому, что таково было приказание князя Хидэёси. Зная их неприязнь, было нестерпимо больно сознавать, что меня всего лишь терпят только благодаря его покровительству. И вот в один прекрасный день, ни с кем не простившись, я потихоньку выбрался из замка и пошел прочь, сам не зная куда...

* * *

Мне было тогда тридцать два года. Конечно, если б я направился в Киото, пошел на прием к самому регенту Хидэёси и все ему рассказал, я мог бы рассчитывать на

¹ 1583 г.

пособие, достаточное, чтобы жить безбедно до конца моих дней, но я твердо решил понести наказание за свой грех и остаться в неизвестности, нищим, каким вы меня сейчас видите... С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня я скитался от одной почтовой станции до другой, растирал ноги и поясницу усталым путникам на постоялых дворах или старался развеять их дорожную скуку неумелым бренчанием на сямисэне. Так прожил я больше тридцати лет, наблюдая со стороны за переменами в мире, и, как видите, все еще живу на свете — видно, так уж судил мне рок...

О-Чача, питавшая такую ненависть к Хидээси, «заключенному своему врагу», как она его называла, вскоре покорила ему и уехала в замок Ёдо. С того самого дня, как пал замок Китаносё, я знал, что рано или поздно это случится. Рассказывали, что Хидээси пришел в ярость из-за неудачной попытки похитить госпожу О-Ити, но когда он призвал меня, то, вопреки ожиданию, не выказал ни малейшего гнева, напротив, он меня обласкал — потому что, как только он увидел О-Чачу, настроение у него разом переменялось... Иными словами, он ощутил те же чувства, которые владели мной в те минуты, в огне пожара, — возможно, великие люди, в сущности, ничем не отличаются от нас, простых смертных... Разница только в том, что мне из-за одного-единственного ошибочного поступка пришлось до конца моих дней разлучиться с госпожой О-Чачей, в то время как регент Хидээси — человек, погубивший ее отца, убивший мать и приказавший вздернуть на пику голову ее брата, — вскоре сделал ее своей наложницей, удовлетворив страсть, которую некогда питал к матери, а теперь перенес на дочь, страсть, тайно пылавшую в его душе со времени далеких дней в замке Одани.

* * *

Невольно задаешься вопросом, какая карма внушила Хидээси такую тягу к женщинам той же крови, что текла в жилах Нобунаги, его покойного господина? Я слышал, что он домогался также жены Удзисато Гамо, правительницы Хиды, — она была дочерью Нобунаги, племянницей моей госпожи, и лицом походила на свою тетку, этим сходством и объясняется, наверное, его интерес к этой женщине. Мне рассказывали, что много лет назад, когда она овдовела, Хидээси посылал к ней человека сообщить о его намерениях, но вдова даже слушать его не пожелала; напротив,

она так оплакивала своего мужа, что постриглась в монахини. Говорили, будто Хидэеси оттого и отнял земли, принадлежавшие дому Гамо в провинции Аидзу, что был разгневан ее отказом.

Как бы то ни было, повзрослев, О-Чача, надо думать, достаточно поумнела, и если покорилась могуществу Хидэеси, так не только в силу веления времени, а прежде всего рассудив, что так будет лучше для нее самой. Как я был счастлив, когда узнал, что владелица замка Ёдо, особа, почтительно именуемая госпожой Ёдогими, — старшая дочь князя Асаи! Ее мать так долго и так много страдала, зато девочка ее купается в блеске славы, — думал я, и хотя бесполезная жизнь моя протекала теперь вдали, я по-прежнему был предан ей всей душой, как если бы продолжал ей служить, и молился, чтобы ей никогда не пришлось испытать горестей, выпавших на долю ее матери. Вскоре до меня дошел слух, что у нее родился сын, и я окончательно успокоился за нее, уверенный, что отныне судьба уж конечно будет ей улыбаться до конца ее дней. Но, как известно, осенью 3-го года Кэйтё¹ князь Хидэеси скончался, а вскоре после того произошла битва при Сэкигахаре и снова все в мире переменялось, и каждый день приносил О-Чаче все новые треволения. Может быть, то была кара за то, что она предала память матери и отца и стала наложницей их врага... Невольно задумаешься над странной судьбой, судившей двум поколениям, матери и дочери, покончить с собой в осажденном замке!

* * *

...Ах, если б я мог оставаться у нее на службе вплоть до этой войны в Осаке! Пусть я ни на что не гожусь, но я мог бы хоть немножко приободрить ее, как утешал, бывало, ее мать в замке Одани, и уж на этот раз ушел бы вместе с ней на тот свет, чтобы просить там прощения у ее матери. А вместо этого я вынужден был проводить дни, не находя себе места, терзаясь душой, и, прислушиваясь к грохоту ружейной пальбы, оплакивать свою горестную судьбу.

Как постыдно вели себя иные из прежних вассалов Хидэеси, перешедшие на сторону Иэясу при осаде Осацкого замка! Вспомните господина Катагири, палившего из пушек прямо в покои госпожи О-Чачи и ее сына, князя

¹ 1598 г.

Хидэёри! Этот господин, прославленный в прошлом как один из самых доблестных воинов в битве при Сидзугатакэ, с тех пор пользовался особым покровительством Хидэёси, покойный князь осыпал его благодеяниями. Всем известно, что, умирая, князь призвал его и на смертном одре поручил заботиться о молодом Хидэёри... Даже мы, простые люди, выполнили бы такую просьбу, как велит долг! А он, по секрету скажу вам, забыв о прежних благодеяниях, думал только о том, чтобы подольститься к сёгуну Иэясу, и только притворялся, будто хранит верность прежнему господину, на самом же деле тайно сносился с Иэясу. Нет, что бы кто ни говорил, это именно так и было! Конечно, при желании можно по-разному толковать поведение господина Катагири, но даже если, допустим, его поставили командовать вражеской артиллерией, все равно — как мог он слать пушечные ядра как раз туда, где — подумать только! — находились юный сын и супруга его покойного господина? И это называется верность?! Я, отрешившийся от мира, слепой массажист, и то разбираюсь в таких вещах! Поэтому в то время я всей душой ненавидел господина Катагири, так ненавидел, что, будь бы я только зрячим, пробрался бы к нему в лагерь и утолил бы свой гнев ударом меча...

* * *

Раз уж зашла об этом речь, так величайшего осуждения заслуживает и поведение господина Такацугу Кёгоку, изменившего в решающую минуту во время битвы при Сэкигахаре. Подумайте, ведь он был обручен с госпожой О-Хацу, а бежал из замка Китаносё еще до начала штурма и укрылся в семействе Такэда, в провинции Вакаса, а когда князь Такэда вскоре после того погиб, не стало ему пристанища во всех Трех мирах, и он скитался по всей стране, боясь собственной тени. В конце концов, князь Хидэёси внял его мольбам о прощении и принял в число дайкё — а благодаря кому, как по-вашему? Да, конечно, супруга князя Такэда тоже за него заступалась... Но главное в том, что он состоял в родстве с госпожой О-Чачей. В прошлом он уже уцелел однажды, припав к стопам своей тетки, госпожи О-Ити, затем снова прибегнул к помощи ее дочери, они дважды спасали его от смерти, а теперь, позабыв, как пробирался когда-то по непролазным снегам в замок Китаносё, он изменил в самую решающую минуту, окончательно подорвав своей изменой дух защит-

ников Осацкого замка... Но что толку ворошить теперь все эти события! Не счесть тяжелых воспоминаний, но сейчас, когда и господин Такацугу, и Катагири, и даже сам сёгун Йэясу уже ушли в мир иной, все прошедшее кажется пустым, мимолетным сном... Теперь, когда все благородные дамы и господа, которых я когда-то знавал, сошли в могилу, я невольно спрашиваю себя, долго ли еще суждено мне, старику, влачить свою бесполезную жизнь? Я долго живу на свете, со времен годов Гэнки и Тэнсё¹, и единственное, что мне теперь осталось, — это молиться о блаженстве в загробной жизни. Но все-таки я мечтаю, чтобы мне представился случай рассказать кому-нибудь обо всем, что пришлось пережить...

* * *

...Как вы сказали, сударь? Вы спрашиваете, помню ли я голос госпожи? Еще бы! Я помню звук ее голоса, когда она обращалась ко мне, и как дивно она пела, когда играла на кото. У нее был чудесный голос, звонкий и в то же время удивительно теплый, богатый, голос, сочетавший в себе звонкую трель соловья и грудное воркованье голубки. У О-Чачи голос был точь-в-точь такой же, слуги всегда путали, кто зовет... Я вполне понимаю, почему Хидээси так обожал ее. Все знают, каким великим человеком он был, но только я один с самого начала догадался, что у него на сердце. Подумать только, я один разгадал самую сокровенную тайну его души, я, которому судьба даровала честь спасти от смерти будущую госпожу Ёдогими, мать его наследника Хидээри! Так о чем же, спрашивается, мне еще жалеть в этой жизни?

...Нет, сударь, спасибо, не надо больше сакэ. Я и так уже выпил чересчур много и слишком долго докучал вам своими глупыми стариковскими рассказами. Дома у меня жена, но я никогда не рассказывал ей того, о чем поведал вам нынче вечером. Хотелось бы только, чтобы вы, по доброте душевной, записали кое-что из того, что я рассказывал, — пусть грядущие поколения узнают, что жил когда-то на свете такой бедняга-слепой...

А теперь, прошу вас, прилягте еще на минутку, сударь. Дайте-ка я еще немножко разотру вам спину, пока еще не так поздно...

1931

¹ Годы Гэнки — 1570—1573; годы Тэнсё — 1573—1592.

ИСТОРИЯ СЮНКИН

Кото Модзюя, известная под именем Сюнкин, родилась в семье осакского аптекаря в квартале Досёмати. Скончалась в 14-й день десятой луны 19-го года Мэйдзи¹ и похоронена в буддийском храме, принадлежащем секте Дзёдо. Храм расположен в Осаке, в квартале Ситадэра.

Недавно мне довелось побывать в этих местах. Решив посмотреть могилу Сюнкин, я осведомился у служителя, как к ней пройти. «Могилы господ Модзюя — вон там», — ответил монах и провел меня к задней стене главного павильона. Здесь, в тени раскидистых камелий, я увидел могилы многих поколений рода Модзюя, на среди них не было могилы Сюнкин. Я объяснил служителю, о ком идет речь. Подумав немного, он сказал: «Что ж, тогда ее могила, наверное, та, что наверху», — и повел меня к ступенькам, уходящим вверх по склону крутого холма с восточной стороны храма.

Как известно, к востоку от Ситадэры на возвышенности стоит синтоистское святилище Икутама, и дорожка из храма привела нас прямо на этот холм. Вершина сплошь заросла деревьями, что несколько необычно для Осаки, а могила Сюнкин находилась на маленькой расчищенной площадке у обрыва.

На каменной плите я прочитал высеченные слова: «Обретшая сладостный покой и осиянная славой Сюнкин». Ниже шла надпись, гласившая: «Здесь похоронена Кото Модзюя, по прозванию Сюнкин, скончавшаяся 14-го дня десятой луны 19-го года Мэйдзи в возрасте 58 лет». Сбоку на плите было добавлено: «Воздвигнуто учеником Сасукэ Нукуи». Хотя Сюнкин при жизни и носила имя Модзюя, известно, что они жили с «учеником» Нукуи как муж и жена — должно быть, поэтому ее могила находилась вдали от места захоронения прочих членов семьи.

По словам служителя, род Модзюя давно пришел в

¹ 1886 г.

упадок, так что сейчас лишь изредка является кто-нибудь почтить память предков, да и то обычно идут не к могиле Сюнкин. Однако, когда я предположил, что могила совсем заброшена, бонза решительно возразил: «Одна старушка лет семидесяти, что живет при чайном павильоне Хаги, приходит сюда раз или два в год. Она и ухаживает за могилой. Тут есть еще другая, — сказал он, показывая на небольшую могилку по левую сторону от надгробья Сюнкин, — так вот на эту она тоже приносит цветы, жжет там благовонные курения и молится. И нам она платит за чтение сутр».

Я подошел взглянуть на могилу, указанную служителем. Надгробная плита была раза в два меньше, чем на могиле Сюнкин. В верхней части плиты были выбиты иероглифы: «Почтенный праведник Киндай», а ниже: «Сасукэ Нукуи, по прозванию Киндай, ученик Сюнкин Модзуя. Скончался 14-го дня 10-й луны 40-го года Мэйдзи в возрасте 82 лет»¹. Так вот где покоится слепой музыкант!.. Могила была чисто прибрана — старушка из павильона Хаги позаботилась и о ней. Однако само надгробье по сравнению с тем, что стояло на могиле Сюнкин, было намного меньше, да еще это слово «ученик» в надгробной надписи — все говорило о желании верного Сасукэ остаться и в смерти почтительным к любимой учительнице.

Закатное солнце заливало багряным сиянием гранитные плиты. Я стоял на холме, любясь панорамой огромного города, открывавшейся передо мной. Должно быть, вид длинной гряды холмов, что протянулась к западу до самого храма Тэнно, ничуть не изменился со времен старой Нанива. Сейчас трава и листья поблекли, убитые дымом и копотью: большие деревья стоят засохшие, покрытые пылью, но во времена, когда появились эти могилы, все выглядело по-иному. Однако и в наши дни это уединенное кладбище остается одним из самых мирных уголков города, откуда можно в тишине полюбоваться прекрасным видом Осаки. Волею судеб здесь, на холме, спят вечным сном учительница и ее верный ученик, а под ними раскинулся самый большой промышленный город Востока, с его огромными зданиями, смутно проступающими в вечерней мгле. Ныне Осака так переменялся, что не осталось даже преданий о слепых музыкантах, и лишь эти каменные стелы стоят как напоминание о негасимой любви Сасукэ и Сюнкин.

¹ 1907 г.

Семья Нукуи всегда принадлежала к последователям секты Нитирэн, и все ее члены похоронены на родине, в храме городка Хино провинции Госю. Сам же Сасукэ, следуя велению чувства, отказался от веры предков и иступил в секту Дзэдо только затем, чтобы и в могиле не разлучаться с Сюнкин. Все распоряжения касательно похорон — о записи имен, о положении надгробных плит и об их пропорциях — были сделаны заранее, еще при жизни Сюнкин. Высоту надгробного камня для могилы Сюнкин сам Сасукэ определил в шесть сяку, в то время как его собственный не превышал и четырех.

Обе глыбы помещались на низких каменных постаментах. Справа от могилы Сюнкин росла сосна, и ее зеленые ветви простирались над гранитной плитой. Могила Сасукэ находилась в двух-трех сяку левее — как раз там, где оканчивались ветви сосны. С виду надгробие напоминало преданного слугу, стоящего на коленях. Глядя на эти могилы, я представил себе, как преданно служил Сасукэ своей учительнице при жизни, повсюду, словно тень, следуя за ней, и мне подумалось, что у камней тоже может быть душа, а если так, то Сасукэ и сейчас находит радость в своем служении.

Я с благоговением преклонил колени перед могилой Сюнкин, а затем, положив руку на надгробие Сасукэ и ласково поглаживая шероховатую поверхность камня, оставался на холме до тех пор, пока солнечный диск не исчез вдаль, за городскими кварталами.

* * *

Незадолго до посещения кладбища мне в руки попала небольшая книжечка под названием «Жизнеописание Модзюя Сюнкин». Книга — всего страниц шестьдесят — была напечатана большими иероглифами на белейшей рисовой бумаге. Вероятно, Сасукэ поручил кому-то составить биографию своей учительницы, чтобы впоследствии раздать несколько экземпляров в узком кругу друзей и родственников на третью годовщину смерти Сюнкин. Хотя содержание изложено старописьменным языком, а сам Сасукэ упоминается в третьем лице, есть основание полагать, что все материалы подобраны им, а может быть, он-то и является истинным автором книги.

Как явствует из «Жизнеописания», «семья Сюнкин на протяжении многих поколений содержала аптечную лавку под вывеской «Ясудзаэмон Модзюя». Жили Модзюя в осаке-

ском квартале Досё-мати и вели торговлю лекарственными травами. Отец Сюнкин, унаследовавший дело, был седьмым в роду. Мать происходила из семейства Атобэ, обитавшего в Киото, в квартале Фуятё. Выйдя за Ясудзаэмона, она родила ему двух мальчиков и четырех девочек. Сюнкин, бывшая второй дочерью, родилась в 24-й день 5-й луны 12-го года Бунсэй¹.

Рассказывается также, что «уже в раннем детстве Сюнкин отличалась необычайной одаренностью; к этому следует добавить несравненную благородную красоту и врожденное изящество. Когда с трех лет ее начали обучать танцам, плавность движений и законченность жестов давались ей без труда, как бы сами собой. Пластичности ее рук могла бы позавидовать любая танцовщица. Учитель частенько говорил, прищелкивая языком: «Эта малышка с ее внешностью и способностями могла бы прославить свое имя как прекраснейшая гейша Поднебесной. Как знать, к счастью или к несчастью она родилась в хорошей семье...» Читать и писать Сюнкин научилась очень рано и вскоре намного обогнала даже своих старших братьев».

Учитывая, что все приведенные записи оставлены Сасукэ, который боготворил Сюнкин, трудно судить об их достоверности. Однако немало других источников подтверждает, что внешность, доставшаяся в удел Сюнкин, действительно «отличалась красотой и благородством».

В те времена женщины были маленького роста, и Сюнкин, как свидетельствует «Жизнеописание», ростом была не более пяти сяку. Черты ее лица, руки и ноги были чрезвычайно миниатюрны и изящны. При взгляде на фотографию Сюнкин видно, что ее овальное лицо имело классическую форму «тыквенного семени», а нос и чудесные, с бесподобным разрезом глаза были как бы любовно вылеплены пальцами скульптора. Все же, поскольку фотография сделана в начале эпохи Мэйдзи и кое-где выступили пятна, в целом воспринимается она как смутное напоминание о далеком прошлом. Возможно, именно поэтому фотография Сюнкин произвела на меня столь слабое впечатление: ведь на ней нельзя было различить ничего, кроме лица женщины из зажиточной купеческой семьи — красивого, но без какой-либо отчетливо выраженной индивидуальности. По виду ей можно было дать как тридцать шесть лет, так и двадцать шесть.

¹ 1829 г.

Хотя фотография сделана более двадцати лет спустя после того, как Сюнкин лишилась зрения, на снимке она выглядит скорее как человек, прикрывший глаза, чем как слепая. Харуо Сато однажды заметил, что глухие обычно кажутся дураками, а слепые — мудрецами. Причина здесь довольно проста. Глухие, стремясь уловить сказанное, веч-но морщат брови, разевают рты, выпяливают глаза, вытягивают шеи — все это придает им вид людей не вполне нормальных. В то же время слепые, сидящие с чуть склоненной головой, словно поглощенные какой-то мыслью, производят впечатление мудрецов, погруженных в глубокое раздумье. Не знаю, возможно, мы слишком привыкли к полуприкрытым глазам Будды и бодхисатв, которыми они созерцают все живое, и потому закрытые глаза могут содержать для нас большую привлекательность, нежели открытые. К тому же Сюнкин казалась такой мягкосердечной, что в ее прикрытых глазах, словно во взоре милостивой бодхисатвы Каннон со старинной картины, угадывалось сострадание.

Насколько мне известно, ни до, ни после этого Сюнкин ни разу не фотографировалась. Когда она была ребенком, искусство фотографии еще не проникло в Японию, а затем, в тот самый год, когда был сделан снимок, Сюнкин неожиданно постигло такое несчастье, после которого она ни за что не позволила бы себя сфотографировать. Итак, остается лишь представить себе ее образ по дошедшему до нас расплывчатому фотопортрету. Читатель, должно быть, останется не удовлетворен тем впечатлением о внешности Сюнкин, которое он вынес из моего рассказа, сочтя последний неполным и невразумительным. Но если бы он и собственными глазами увидел фотографию, ему так же трудно было бы составить ясное представление об оригинале, поскольку сама фотография была еще более тусклой и выцветшей, чем в моем описании.

Сопоставляя факты, можно предположить, что в тот же год, когда была сделана фотография Сюнкин, то есть когда ей было тридцать шесть лет, Сасукэ тоже ослеп. Вероятно, поэтому его последние воспоминания о том, как выглядела Сюнкин, близки к этому снимку. И не был ли облик, сохранившийся в памяти Сасукэ к старости, таким же потускневшим, как ветхая карточка? Или, может быть, воображение восполняло слабеющую память, создавая полностью отличный от действительности образ дорогой ему женщины?

Далее «Жизнеописание Сюнкин» повествует: «Отец и мать смотрели на маленькую Кото как на свое сокровище и были к ней более нежны, чем к остальным пяти дочерям и сыновьям. Когда же с девочкой в восемь лет случилось несчастье и она, заразившись глазной болезнью, вскоре совершенно ослепла, родители были безутешны. Мать Сюнкин, обезумев от страданий дочери, прокляла небо и возненавидела людей. С этого времени маленькая Сюнкин оставила танцы и решила целиком посвятить себя изучению тонкостей игры на кото и сямисэне, ступив на стезю служения музыке».

Неясно, какого рода глазной болезнью страдала Сюнкин, и «Жизнеописание» не дает об этом никаких сведений. Правда, Сасукэ как-то раз обронил такое замечание: «Поистине, высокое дерево открыто ветру. Учительница превосходила других красотой и талантом. Из-за этого она дважды в жизни стала жертвой завистников, отсюда берут начало все ее невзгоды». Его слова позволяют заключить, что здесь кроется какая-то тайна.

Сасукэ утверждал, что Сюнкин перенесла гнойную офтальмию. Откуда взялась эта болезнь? В детстве Сюнкин избаловали чересчур мягким воспитанием, но она всегда была занимательна в беседе, добра к слугам. Характер у нее был ровный и веселый, и потому она всегда со всеми ладила, дружила с братьями и сестрами — словом, была общей любимицей. Однако у младшей ее сестры была кормилица, которая злилась, что родители отдадут предпочтение другой девочке, и в глубине души ненавидела Кото.

Известно, что гнойной офтальмией называется заразное заболевание, которое вызывает воспаление слизистой оболочки глаза, и Сасукэ намекает, что нянька могла прибегнуть к какому-нибудь средству, чтобы, заразив Сюнкин, лишить ее зрения. Впрочем, трудно сказать, располагал ли Сасукэ достаточными основаниями для такого предположения или же то были беспочвенные домыслы.

Для тех, кто знал вспыльчивый нрав Сюнкин в последующие годы, было очевидно, что слепота оказала решающее воздействие на формирование ее характера. Нельзя безоговорочно доверять версии Сасукэ, ибо, оплакивая Сюнкин, он был склонен подозревать и ни в чем не повинных людей. Возможно, все его обвинения по адресу

няньки — всего лишь плод возбужденной фантазии. Но не будем понапрасну вдаваться в выяснение причин слепоты Сюнкин, достаточно просто помнить, что в восемь лет она потеряла зрение.

Итак, «с этого времени Сюнкин оставила танцы и решила полностью посвятить себя изучению тонкостей игры на кото и сямисэне, ступив на стезю служения музыке». Она всерьез занялась музыкой в поисках забвения, стремясь уйти хоть на время от постигшего ее несчастья. Однако сама Сюнкин любила повторять Сасукэ: «Настоящее мое призвание — танец. Те, что хвалят мою игру на кото или сямисэне, просто не знают еще, на что я способна. Ах, если бы не мои глаза, я бы никогда не обратилась к музыке». Заявление это звучит достаточно претенциозно, так как Сюнкин словно подчеркивает, сколь многого удалось ей добиться даже в области, к которой она не чувствовала особого влечения. Впрочем, не исключено, что Сасукэ сильно преувеличил, приняв за чистую монету случайную фразу, брошенную Сюнкин в минуту запальчивости, и вложив в нее особый смысл, свидетельствующий о необычайной одаренности его учительницы.

Упомянутая выше женщина из «чайного павильона» Хаги по имени Тэру Сигисава, в свое время обучавшаяся игре на кото по правилам школы Икута, до старости преданно служила Сюнкин и Сасукэ. Когда я передал ей приведенные слова Сюнкин, она поделилась со мной своими соображениями: «Говорят, госпожа действительно была искусна в танце, но играть на кото и сямисэне она тоже начала рано, лет с трех-четырёх. Когда ее отдали в обучение к мастеру Сюнсё, занималась она очень старательно, и неправда, будто она пристрастилась к музыке только после того, как потеряла зрение. Да, в те времена все девочки из хороших семей начинали заниматься музыкой совсем маленькими, но говорят, в восемь лет госпожа запомнила со слуха сложную мелодию «Ущербная луна» и сама переложила ее для сямисэна. Вот уж поистине дар божий! Ведь простому человеку разве такое под силу! А когда госпожа ослепла, она еще больше времени стала отдавать музыке — других-то развлечений у нее не было. По моему, она всю душу вкладывала в музыку».

Возможно, Тэру права, и у Сюнкин в самом деле с детства проявились незаурядные музыкальные способности. Что же касается танцев, то тут ее таланты вызывают определенное сомнение.

Хотя Сюнкин, судя по уверениям Тэру, «вкладывала в музыку всю душу», по-видимому, сначала она отнюдь не намеревалась избрать профессию музыканта, так как заботы о хлебе насущном ее не волновали. Только впоследствии и совсем из иных соображений она увлеклась преподаванием и постепенно стала учительницей игры на кото. Однако и тогда доходы от занятий были очень незначительны. Во всяком случае сумма, которую она ежемесячно получала из родительского дома в Досё-мати, была несравненно больше, но и этих денег не хватало на удовлетворение всех прихотей Сюнкин и ее стремления к роскоши.

Таким образом, поначалу Сюнкин усердно оттачивала свое мастерство для собственного удовольствия, не строя каких-либо далеко идущих планов на будущее, и ее природный талант расцветал, согретый пылом молодости. Нет сомнения и в правдивости «Жизнеописания», которое гласит: «В четырнадцать лет Сюнкин так преуспела, что намного опередила своих товарищей по занятиям. Ни один из учеников в группе не мог с ней сравниться». По словам Тэру Сигисавы, «госпожа часто говорила, что учитель Сюнсё, который вообще был очень строг с учениками, ее никогда не ругал, а только хвалил. Госпожа еще говорила, что учитель сам задавал ей упражнения, а спрашивал всегда мягко и ласково, так что она его не боялась, как другие ученики. Должно быть, и впрямь у госпожи была искра божья, если ей удалось выучиться без всяких мучений и стать такой знаменитой».

Не следует упускать из виду, что Сюнкин принадлежала к почтенному семейству Модзюя, и, как бы ни был строг учитель, он никогда бы не посмел обращаться с девочкой так же, как с детьми простых актеров и музыкантов. К тому же мастер Сюнсё, вероятно, глубоко сочувствовал своей маленькой ученице, рожденной в богатстве, но утратившей зрение по воле злого рока. Однако более всего Сюнкин снискала расположение и любовь старого музыканта своим талантом. Сюнсё заботился о ней больше, чем о собственных детях: если девочка пропускала урок по болезни, он немедленно посылал кого-нибудь к ней домой, в Досё-мати, узнать, как обстоят дела, а иногда и сам заходил навестить больную.

Все знали, что мастер гордится Сюнкин. Он частенько внушал другим ученикам, детям артистов, когда те соби-

рались у него на урок: «Все вы, негодники, должны брать пример с маленькой госпожи Модзюя в искусстве игры. (Замечу кстати, что в Осаке и поныне к молодой госпоже обращаются не: «о-дзёсан», как принято, а «ито-сан» или «то-сан», а младшую сестру в отличие от старшей называют «които-сан» или — в просторечии — «кои-сан», то есть «маленькая госпожа». Так как Сюнсё обучал старшую сестру Сюнкин и вообще считался другом дома, он мог позволить себе назвать Сюнкин без излишних церемоний.) Скоро вам придется зарабатывать своим ремеслом на пропитание, а ведь куда вам тягаться с этой крошкой, которая занимается вместе с вами только из любви к искусству!»

Однажды, когда кто-то из учеников заявил, что мастер чересчур снисходителен к Сюнкин и строг к остальным, старик Сюнсё ответил: «Не говори глупостей. Чем строже учитель во время занятий, тем лучше для ученика. Если и не ругая малышку, так от этого ей должен быть только вред. Но она, видишь ли, так преуспела в музыке и так хорошо понимает, сколь труден путь к истинному совершенству, что — брани я ее, не брани — она все равно будет усердно учиться. Да пожелай я вбить ей всю науку в голову побыстрее, она бы сделала такие успехи, что вам, будущим музыкантам, было бы стыдно. Просто Сюнкин из богатой семьи, она ни в чем не нуждается — вот я и не учу ее, как должен бы, все силы отдаю вам, дуракам. А вы еще недовольны!»

* * *

Дом учителя Сюнсё находился в Уцубо, на расстоянии около десяти тё от лавки Модзюя в Досё-мати, и Сюнкин, держа за руку поводыря, каждый день отправлялась в Уцубо на урок. Поводырем у нее был мальчик по имени Сасукэ, прислуживавший в лавке, — тот самый Сасукэ, который прославился впоследствии как музыкант Нукуи. С этого времени и началось его знакомство с Сюнкин.

Как уже сообщалось ранее, Сасукэ родился в деревне Хино провинции Госю. Его семья содержала небольшую аптекарскую лавчонку. И отец, и дед Сасукэ обучались в торговом доме Модзюя, так что мальчику господи Модзюя приходились как бы исконными хозяевами. Сасукэ был на четыре года старше Сюнкин, а службу свою в учениках начал с двенадцати лет. Его «маленькой госпоже» как раз исполнилось восемь лет, и в тот же год лишились света

ее прекрасные глаза. Сасукэ всегда считал себя счастливым, что ему не довелось видеть Сюнкин до того, как она ослепла. Ведь если бы он знал ее прежде, то красота ее лица впоследствии могла показаться ему ущербной, сейчас же он находил внешность Сюнкин безупречной. С самого начала лицо ее представлялось ему безукоризненно совершенным.

В наши дни зажиточные осакские семьи переселяются в пригороды. Девушки из этих семей увлекаются спортом, они вырастают под лучами солнца, дышат вольным воздухом полей. Давно уже исчез тип оранжерейной красавицы, воспитанной в уединении внутренних покоев. Однако до сих пор городские девушки более изящны и хрупки, чем деревенские, лица у них заметно бледнее, чем у крестьянок. Они более утонченны, а проще говоря — более болезненны, чем жительницы деревень, и это отличие характерно не только для Осаки, но и для всех больших городов.

Если в Эдо женщины гордятся легкой смуглотой, то в Киото и Осаке в старых купеческих семьях особенно ценят белизну кожи. Даже юноши там имеют женоподобный облик — настолько изнеженными, хрупкими и изящными они выглядят. Только когда им перевалит за тридцать, лица начинают загорать и грубеть, они быстро жиреют и вскоре приобретают внешность, достойную процветающего дельца. Однако до тех пор они полностью уподобляются женщинам — не только белизной кожи, но во многом и нарядами. Каким же чудом, должно быть, выглядела в глазах деревенского мальчишки Сасукэ «маленькая госпожа» — девочка, родившаяся в те далекие времена в семье зажиточных горожан и возвращенная в затворничестве, с ее прозрачной бледностью и аристократическим изяществом.

В то время старшей сестре Сюнкин минуло одиннадцать, а младшей — пять лет. Сасукэ, только что приехавшему из провинции, все четыре девочки представлялись необычайно красивыми, но более всего он был поражен странной прелестью слепой Сюнкин. Затянутые пеленой вечного мрака глаза Сюнкин казались ему прекраснее и светлее, чем глаза ее сестер. Сасукэ инстинктивно сознавал, что лицо ее — законченное совершенство, что оно просто не может выглядеть иначе.

Говорят, Сюнкин считалась самой красивой из четырех сестер. Если даже допустить, что эти слухи не преувеличены, остается вероятность пристрастной оценки со стороны тех, кто сочувствовал ей из-за физического изъяна,

хотя Сасукэ решительно отвергал подобные предположения. Уже в преклонные годы ничто не ранило его так сильно, как сплетни, будто он любил Сюнкин из жалости. Он говорил, что люди, распространяющие эти гнусные домыслы, сами достойны жалости. «Когда я люблюсь лицом учительницы, мне и в голову не придет пожалеть ее, — пояснял Сасукэ. — Разве ее лицо, вся ее божественная красота нуждаются в жалости? Нет, это она, госпожа, по праву жалеет меня и зовет «бедный Сасукэ-дон». Мы с нами — обыкновенные людишки, глаза и нос у нас на месте, но куда нам равняться с госпожой! Не мы ли и есть настоящие калеки?»

Но так он рассуждал много позже, а вначале Сасукэ оставался лишь преданным слугой, хотя пламя тайной страсти уже разгоралось в его сердце. Вероятно, он еще не вполне понимал, что влюблен, — ведь Сюнкин была не просто невинной маленькой девочкой, а дочерью его хозяина. Сасукэ почитал за величайшее счастье уже то, что ему разрешили в чем-то помогать Сюнкин и каждый день провожать ее на урок.

Может показаться странным, что мальчишке-новичку доверили такую драгоценность, как крошка Сюнкин, но дело в том, что поначалу он был не единственным среди домашних. Иногда Сюнкин отводила на занятия служанка, пока однажды девочка не заявила: «Хочу с Сасукэ!» С того времени ее целиком препоручили заботам Сасукэ, которому уже исполнилось тринадцать лет. Гордясь оказанной ему честью, Сасукэ ежедневно проходил все десять тё до дома Сюнсё, сжав маленькую ручку Сюнкин в своей ладони, дожидаясь окончания урока, а затем вел свою подопечную обратно.

По дороге Сюнкин почти не открывала рта, и Сасукэ, пока госпожа не соизволит заговорить с ним, шел молча, сосредоточив все внимание на выборе более безопасного пути. Когда Сюнкин задавали вопрос: «Почему маленькая госпожа выбрала Сасукэ?» — она неизменно отвечала: «Потому что он ведет себя скромно и не надоедает болтовней».

Как я уже отмечал, Сюнкин в детстве была очень приветлива и прекрасно ладила с окружающими, но потеряв зрение, она стала своенравна и угрюма, почти никогда не смеялась и редко говорила не повышая тона. Возможно, поэтому ей и нравилось, что Сасукэ без лишних слов, ничем не докучая, добросовестно исполняет свои обязанности. (По слухам, Сасукэ не любил смотреть на лицо Сюн-

кин, когда она смеялась. Скорее всего, ему было неприятно это зрелище из-за того, что лицо слепого от смеха делается жалким и глупым.)

* * *

Однако только ли потому Сюнкин отдала предпочтение Сасукэ, что он не обременял ее разговорами, или же она начинала смутно ощущать его обожание и, даже будучи ребенком, получала от этого удовольствие? Такое предположение может показаться нелепым в отношении девятилетней девочки, но, если принять во внимание необычайное умственное развитие Сюнкин и ее быстрое созревание, разве не могло у нее в результате слепоты развиться некое шестое чувство? По здравом размышлении такая возможность кажется вполне реальной. Самолюбивая Сюнкин и впоследствии, уже в полной мере осознав свое чувство, никому не изливала душу и долго запрещала Сасукэ затрагивать эту тему.

Итак, хотя полной ясности мы не можем добиться, вероятно, вначале Сюнкин вела себя так: будто вообще не замечала существования Сасукэ — во всяком случае, так казалось самому Сасукэ. Когда ему приходилось вести Сюнкин на урок, он поднимал левую руку на уровень ее плеча, так что кисть ее правой руки покоилась на его ладони. Для Сюнкин весь Сасукэ был не более чем услужливой рукой. Когда ей что-то было нужно от него, она ограничивалась жестом, гримасой или оброненным шепотом, как бы про себя, словечком. Она давала ему задания, похожие на шарады, никогда не говоря прямо: сделай то-то и то-то. Если же мальчик чего-нибудь не замечал или не понимал, Сюнкин страшно раздражалась, так что он вынужден был неотрывно следить за малейшими изменениями в ее лице. Казалось, Сюнкин проверяет его на внимательность. Взбалмошная, избалованная воспитанием и ставшая решительно невыносимой под влиянием слепоты, она не давала Сасукэ ни минуты передышки.

Однажды, когда они дожидались своей очереди на урок в доме мастера Сюнсё, Сасукэ вдруг заметил, что его подопечная исчезла. Взволнованный, он начал обшаривать окрестности и обнаружил, что Сюнкин потихоньку вышла в уборную. В подобных случаях Сюнкин всегда молча вставала и выходила, а Сасукэ должен был спешить за ней следом, чтобы довести до двери уборной и затем, дождавшись, когда она выйдет, полить ей воду на руки. Однако

в тот день он немного отвлекся, и вот Сюнкин пошла одна, на ощупь. Когда Сасукэ прибежал, она уже протягивала руку к ковшу в тазике с водой. «Я очень виноват!» — дрожащим голосом сказал он. Сюнкин в ответ, качнув головой, бросила: «Ничего», но Сасукэ знал, что в такой ситуации ее «Ничего» означало «Ах вот ты как!» и что потом ему несдобровать. Ему оставалось только взять у нее ковш, хотя в этом уже не было необходимости, и полить ей на руки.

В другой раз, когда они ожидали очереди на урок и Сасукэ по обыкновению скромно сидел чуть позади Сюнкин, она вдруг произнесла одно-единственное слово: «Жарко». «В самом деле жарко», — выжидательно подтвердил он, но Сюнкин ничего не ответила и лишь через некоторое время повторила: «Жарко». Догадавшись в чем дело, он достал веер и начал обмахивать ее из-за спины, чего она, очевидно, и ожидала, но стоило ему на минуту ослабить рвение, как она снова недовольно повторяла: «Жарко».

Таковы примеры своенравия и упрямства Сюнкин, но все свои капризы она приберегала в основном для Сасукэ, а с другими слугами вела себя более сдержанно. Поскольку Сасукэ всегда потакал ее прихотям, с ним Сюнкин могла давать себе полную волю, и кто знает, возможно, как раз желание ни в чем себя не стеснять и побудило ее выбрать Сасукэ в поводыри. Сам же Сасукэ не только не обижался на госпожу, но, наоборот, был очень доволен, считая ее придирки знаком особого расположения, принимая их как некую милость свыше.

* * *

Мастер Сюнсё давал уроки в одной из дальних комнат на втором этаже. Когда подходила очередь Сюнкин, Сасукэ провожал ее на место, усаживал перед учителем, затем клал рядом кото и сямисэн и спускался вниз ждать, пока кончится урок. К этому моменту он должен был снова подняться, чтобы встретить Сюнкин, так что бедняге приходилось все время быть настороже, прислушиваясь, не кончился ли уже урок, чтобы немедленно, не дожидаясь зова, бежать наверх. Естественно, он поневоле разучил несколько мелодий из тех, что играла Сюнкин. Так в Сасукэ начал пробуждаться вкус к музыке.

Учитывая, что в дальнейшем Сасукэ стал большой знаменитостью, можно предположить и наличие у него врож-

денного таланта, но если бы не возможность прислуживать Сюнкин, если бы не пылкая любовь, заставившая его стараться во всем подражать госпоже, Сасукэ, вероятно, был бы вскоре принят в дело торговым домом Модзюя и окончил бы свои дни как заурядный аптекарь. Даже в старости, уже будучи слепым и слывя превосходным музыкантом, Сасукэ продолжал утверждать, что его искусство не идет ни в какое сравнение с мастерством Сюнкин и что всеми своими достижениями он обязан только ей, учительнице.

Разумеется, нельзя понимать буквально слова Сасукэ, всегда неимоверно принижавшего себя и превозносившего до небес учительницу, но тем не менее, как бы ни оценивать их способности, вряд ли приходится сомневаться в том, что Сюнкин была отмечена подлинной гениальностью, а Сасукэ обладал большей усидчивостью и упорством.

Когда Сасукэ пошел четырнадцатый год, он решил тайно приобрести сямисэн и начал откладывать деньги из тех, что получал на содержание от хозяина и чаевые за мелкие услуги. Следующим летом он наконец смог купить дешевый сямисэн для упражнений. Крадучись, чтобы не заметил старший приказчик, он принес сямисэн в свою комнатку в мансарде и с тех пор по ночам, дождавшись, когда все уснут, в одиночестве разучивал упражнения.

Однако вначале у Сасукэ не было намерения полностью посвятить себя музыке, избрав ее своей профессией и забросив дело своих предков. Только преданность Сюнкин и любовь ко всему, что нравилось ей, заставили его в конце концов заняться музыкой. А что Сасукэ не видел в музыке легкого средства заслужить благосклонность госпожи, явствует хотя бы из того факта, что он скрывал свои занятия даже от Сюнкин.

Сасукэ делил тесную, низенькую комнату, где нельзя было даже распрямиться во весь рост, с пятью-шестью другими учениками и приказчиками. С ними он договорился, что не будет мешать им спать, а они, со своей стороны, обещали держать язык за зубами. Все товарищи Сасукэ по комнате были в том возрасте, когда, сколько ни спишь, все мало, так что стоило им добраться до постели, как они тут же засыпали беспробудным сном. Тем не менее, хотя среди его соседей не было ябед, Сасукэ дождался, пока все крепко уснут, а затем вставал и, уединившись в уборной, разучивал свои упражнения.

Сама комнатуха в мансарде была жаркой и душной, но в плотно закрытой уборной духота летней ночи казалась особенно невыносимой. Правда, в этом месте было и определенное преимущество: звон струн не был слышен снаружи, а внутрь не проникали храп и сонное бормотанье соседей.

Чтобы играть тише, Сасукэ пришлось отказываться от дощечки-медиатора, и он, не решаясь зажечь огонь, в крошечной тьме перебирал струны пальцами на ощупь. Однако Сасукэ не испытывал особых неудобств от окружающей его темноты, так как представлял себе мир вечной ночи, в котором живут все слепые, — а значит, и его госпожа играет на сямисэне в таком же мраке. То, что он, Сасукэ, тоже мог погрузиться в царство тьмы, было для него наивысшим блаженством. Даже впоследствии, когда Сасукэ получил возможность заниматься открыто, он по привычке, взяв и руки музыкальный инструмент, закрывал глаза, говоря при этом, что хочет все делать, как маленькая госпожа.

Сам обладая способностью видеть, он хотел испытать те же трудности, которые выпали на долю слепой Сюнкин, пытаясь ввести, насколько было возможно, в свою жизнь все неудобства, с которыми сталкиваются слепые. Временами казалось даже, что Сасукэ завидует слепым, и когда он действительно потерял зрение, в этом не было особой неожиданности — можно было подумать, что он отдал дань заветной мечте своего детства.

* * *

Вероятно, одинаково сложно научиться хорошо играть на любом музыкальном инструменте, но труднее всего для начинающего скрипка и сямисэн, потому что на них нет ладов, и каждый раз перед выступлением их нужно настраивать заново.

Этими инструментами труднее всего овладеть самостоятельно. Во времена, когда не существовало ни самоучителей, ни нотной грамоты, обучение игре на кото даже с учителем занимало, говорят, три месяца, а на сямисэне — три года. У Сасукэ не было денег на покупку такого дорогого инструмента, как кото, и, кроме того, он не мог бы незаметно пронести в дом такой громоздкий предмет, поэтому начинать ему пришлось с сямисэна. То, что Сасукэ с самого начала мог без посторонней помощи правильно подобрать мелодию, говорит о его природном музыкальном

даровании, но одновременно показывает, насколько внимательно он прислушивался к упражнениям учеников в доме Сюнсё, сопровождая Сюнкин на уроки. Тонкости настройки, слова песен, многочисленные мелодии — все он должен был доверить своей памяти, так как больше рассчитывать было не на что.

С того лета, когда ему пошел пятнадцатый, Сасукэ упорно занимался музыкой, стараясь не обнаруживать своего увлечения даже перед товарищами по комнате. Но вот однажды зимой случилось нечто непредвиденное. Перед рассветом, часа в четыре, когда на улице было еще темно, госпожа Модзуя, мать Сюнкин, вышла в туалет и вдруг услышала доносящуюся откуда-то песню «Снежок».

В те времена у музыкантов было принято иногда проделывать так называемые «упражнения на холоде». Для этого нужно было встать на заре и играть на улице при холодном утреннем ветре. Однако такой деловой квартал, как Досё-мати, с его аптечными лавками и рядами солидных магазинов отнюдь не походил на улицы, заселенные бродячими музыкантами и актерами. Пожалуй, во всем Досё-мати не нашлось бы и одного увеселительного заведения. К тому же на дворе еще стояла ночь — время слишком раннее даже для любителей «упражнений на холоде». Едва ли то вообще могли быть «упражнения на холоде»: музыкант играл тихо, легко касаясь струн пальцами, и все время повторял одно место, как бы отработывая его. Больше всего это напоминало усердные занятия начинающего.

Госпожа Модзуя в тот раз, хотя и была сильно удивлена, не придала особого значения услышанному и ушла спать. Тем не менее после описанного происшествия она еще несколько раз, вставая ночью, слышала странные звуки, да и другие домашние поговаривали, что, мол, слышат по ночам музыку и что вроде бы она не похожа на шутку барсука-оборотня, который колотит себя в брюхо, как в барабан. Для всех членов семьи, которые не догадывались спросить приказчиков, возникла загадка.

Все было бы хорошо, если бы Сасукэ продолжал заниматься в уединении, но, поскольку никто как будто не обращал на него внимания, он наконец осмелел. Как-никак, ведь он выкраивал время для упражнений от своего досуга, от сна — и вот постепенно начало сказываться недосыпание. В своем закутке Сасукэ вскоре начинал дремать. Тогда с конца осени он избрал для занятий сушильную площадку, размещавшуюся на крыше, и стал играть там.

Спать он обычно ложился в четвертую вечернюю стражу, то есть в десять часов, затем просыпался часа в три на рассвете и, прихватив сямисэн, выходил на свою площадку. Окруженный ночной прохладой, он в одиночестве продолжал занятия, пока небо на востоке не начинало светлеть. Тогда он снова возвращался в постель. В такие часы его и услышала мать Сюнкин. Так как сушильня, куда украдкой пробирался Сасукэ, находилась на крыше лавки, то его могли слышать не только спавшие внизу приказчики, но и все домашние, когда, проходя по коридору, отодвигали перегородку, закрывавшую выход во внутренний дворик.

Хозяева в конце концов всерьез обратили внимание на странную музыку, все работники лавки подверглись допросу, и секрет Сасукэ вскоре выплыл наружу. Старший приказчик вызвал мальчика к себе, дал ему изрядный нагоняй, строго-настрого запретил впредь заниматься подобными вещами и отобрал сямисэн — чего, собственно, и следовало ожидать. Но тут совершенно неожиданно ему протянули руку помощи: господу объявили, что желают послушать Сасукэ, и сама Сюнкин заступилась за него.

Сасукэ был уверен, что маленькая госпожа будет оскорблена, узнав о его ночных занятиях. Он, мальчик на побегушках, который должен был бы скромно довольствоваться отведенной ему ролью поводыря, вздумал обмануть судьбу! Сасукэ мучили опасения. Пожалеет ли его Сюнкин или посмеется над ним — ни то ни другое не сулило ничего хорошего.

При словах Сюнкин: «Ну-ка, сыграй нам что-нибудь», — Сасукэ совсем оробел. Конечно, он был бы счастлив, если бы его искреннее чувство тронуло сердце маленькой госпожи, но на это он не смел и надеяться. Скорее всего, повинувшись очередной своей прихоти, Сюнкин просто решила выставить его на посмешище. К тому же Сасукэ вообще не хватало уверенности для выступления перед аудиторией. Тем не менее Сюнкин продолжала настаивать, чтобы он играл, а потом к ней присоединились мать и сестры. Наконец он был позван во внутренние покои и там, страшно волнуясь, продемонстрировал все, чему самостоятельно научился.

В то время Сасукэ освоил пять-шесть мелодий, и когда его попросили исполнить все, что он может, он, собравшись с духом, тронул струны. Играть он старался как можно лучше, но мелодии шли без всякой очередности, несколько вещей подряд — от легкой лесенки «Черные во-

лосы» до сложной — «Сборщики чая». Само собой разумеется, все эти песни Сасукэ запомнил и разучил на слух.

Вероятно, вначале члены семьи Модзуя, как и предполагал Сасукэ, собирались над ним посмеяться. Однако, послушав его, они поняли, что для человека, обучавшегося самостоятельно, да еще столь короткое время, и техника игры, и голос просто замечательны. Все были восхищены способностями Сасукэ.

* * *

«Жизнеописание Сюнкин» повествует: «Тогда Сюнкин проявила участие к Сасукэ за его рвение и сказала ему: «За такое усердие впредь я буду обучать тебя сама, можешь считать меня своим учителем. Теперь ты должен все свободное время посвящать занятиям». Когда же и Ясудзаэмон, отец Сюнкин, разрешил такие уроки, Сасукэ почувствовал себя на седьмом небе. Каждый день ему отводились определенные часы, когда он был свободен от всех поручений в лавке и мог отправляться на урок к Сюнкин. Так между десятилетней девочкой и четырнадцатилетним мальчиком, кроме отношений хозяйки со слугой, возникли, к их обоюдной радости, новые узы, соединяющие учителя и ученика».

Отчего же своенравная Сюнкин внезапно проявила такую симпатию к Сасукэ? Некоторые предполагают, что инициатива исходила не от самой Сюнкин, что окружающие постарались внушить ей такую мысль. Ведь слепая девочка, даже живя в полном благополучии, была очень одинока, часто грустила, и тогда все — от родных до последней служанки — должны были возиться с ней, ломая голову, как бы ее получше развлечь. И вот стало известно, что Сасукэ во всем угождает прихотям маленькой госпожи. Наверняка слуги, не раз обжигавшиеся на крутом нраве Сюнкин, только и мечтали облегчить свою участь. Они не упускали случая поболтать в присутствии Сюнкин, какой, мол, Сасукэ замечательный, и как прекрасно было бы, если б маленькая госпожа взялась его обучать, и уж как бы он сам был этому рад.

Впрочем, так как речь идет о Сюнкин, ненавидевшей грубую лесть и заискивание, вероятно, вовсе не вмешательство слуг сыграло решающую роль. Может быть, она наконец перестала презирать Сасукэ и где-то в глубине души у нее, словно внешние воды, поднялось новое чувство? Как бы то ни было, когда Сюнкин заявила, что берет

Сасукэ в ученики, довольны были и родители, и сестры, и прислуга.

Никто даже не спрашивал, может ли десятилетняя девочка при всем ее таланте действительно научить кого-нибудь музыке. Достаточно было того, что скука ее рассеется и у домашних поубавится хлопот. Другими словами, у Сюнкин появилась как бы новая игра в «школу», где Сасукэ предназначалась роль ученика. Подразумевалось, что вся эта затея будет полезнее для Сюнкин, чем для Сасукэ, но, как мы увидим, Сасукэ извлек для себя неизмеримо больше пользы.

В «Жизнеописании» сказано: «Каждый день ему отводились определенные часы, когда он был свободен от всех поручений в лавке». В действительности же Сасукэ уже в тот период ежедневно прислуживал маленькой госпоже по нескольку часов как поводырь, а если сюда добавлять те часы, когда его вызывали в комнату Сюнкин на урок, станет ясно, что времени для работы в лавке у него совсем не оставалось.

Видимо, Ясудзаэмон чувствовал за собой вину перед родителями мальчика, которого он принял на воспитание, пообещав сделать из него купца, а сам превратил в игрушку своей дочери. Однако хорошее настроение Сюнкин значило для него больше, чем будущее какого-либо ученика, да к тому же и Сасукэ был не против. Таким образом, отец Сюнкин дал молчаливое согласие на все происходящее.

Именно с той поры Сасукэ начал называть Сюнкин «госпожа учительница». Хотя обычно она позволяла называть себя «маленькая госпожа», но во время уроков требовала, чтобы к ней обращались «госпожа учительница», и сама называла его не Сасукэ-дон, а более просто — Сасукэ. Сюнкин во всем старалась подражать мастеру Сюнсё, установив жесткие правила отношений учителя с учеником.

Итак, дети играли в «школу», как и рассчитывали взрослые. Находя развлечение в игре, Сюнкин забывала про свое одиночество. Месяц за месяцем пролетел год, но ни «учительница», ни «ученик», казалось, и не думали расставаться со своей забавой. По прошествии нескольких лет стало очевидно, что оба они постепенно вышли за границы обычной игры.

Сюнкин каждый день около двух часов пополудни отправлялась в Уцубо на урок к старому Сюнсё и проводила у него полчаса, иногда час, а затем, вернувшись домой, до темноты разучивала заданные упражнения. Поужинав,

она, если была в духе, приглашала к себе, на второй этаж, Сасукэ. В конце концов они стали заниматься ежедневно, без перерывов, причем нередко Сюнкин задерживала его до девяти-десяти часов.

Порой служанки внизу только поеживались от страха, слыша, как госпожа во весь голос гневно отчитывает своего ученика. «Сасукэ! — кричала она. — Разве этому я тебя учила?! Не так, опять не так! Сиди и упражняйся хоть всю ночь, пока не сыграешь как надо!» Бывали случаи, когда маленькая учительница доводила бедного Сасукэ до горьких слез. «Бестолочь, ну почему ты не можешь запомнить?!» — ругалась она, колотя его плектром по голове.

* * *

В старину, как известно, учителя изящных искусств проделывали со своими учениками такие вещи, что у тех буквально искры из глаз сыпались. Физическая расправа считалась обычным явлением. Стоит хотя бы прочесть опубликованную в нынешнем году в воскресном выпуске «Асахи симбун» от 12 февраля статью известного актера Косидзи Ии «Кровавое обучение в кукольном театре дзё-рури». Меж бровей у этого человека, который после смерти Дайдзё Сэцуцу занимает ведущее место в нашем театре, остался глубокий шрам в форме трехдневного месяца — напоминание о том дне, когда учитель сбил его с ног ударом плектра, воскликнув: «Да запомнишь ли ты наконец!»

Такой же шрам можно найти и на затылке у актера театра Бунраку — Тамадзиро Ёсида. История его такова. В молодости Тамадзиро ассистировал знаменитому Тамадзо Ёсиде в пьесе «Ворота прибоя». Сам мастер управлял куклой-героем, а Тамадзиро помогал ему, отвечая за движения ног. Почему-то Тамадзо не понравилось, как ученик справляется со своим делом. В мгновение ока он схватил кукольный меч с настоящим, стальным лезвием и, крикнув: «Дурак!», полоснул мальчика по затылку. Рубец хорошо виден и поныне.

Впрочем, и самому Тамадзо, который чуть не убил своего ученика, его учитель Кинси однажды раскроил голову той же куклой, Дзиробэем, да так, что вся кукла окрасилась кровью. Тамадзо выпросил у учителя залитые кровью отлетевшие ноги куклы, завернул их в шелковый лоскут и положил в шкатулку из неструганого дерева. Время от времени он доставал эти реликвии и молился, словно поклоняясь духу покойной матери. Со

слезами на глазах он говорил: «Ведь если бы меня не ударили этой куклой, так бы я и остался на всю жизнь ничтожным паяцем».

Покойного Дайю Осуми в период ученичества называли «тупицей», потому что соображал он туго, как вол. Игре на сямисэне он обучался у Дамбэя Тоёдзавы по прозвищу «Великий Дамбэй». Как-то душным летним вечером Осуми разучивал в доме учителя песню «Деревня Мибу» из пьесы дзёрури «Битва под сенью деревьев». Ему никак не удавалось правильно спеть фразу «Готова сеть врага опутать». Сколько ни повторял он это место, слов одобрения не было слышно.

Укрывшись за москитной сеткой, учитель Дамбэй молча слушал, а Осуми все играл и пел одно и то же — сто, двести, триста раз. Уже почти захлебываясь кровью, он без конца повторял свое упражнение, пока не забрезжило утро. Даже учитель, утомившись, как будто бы задремал, но Осуми с упрямством настоящего тупицы решил не отступать, изо всех сил стараясь петь лучше, пока не дожидется от учителя заветного слова. И вот наконец из-под москитной сетки раздался голос Дамбэя: «Верно». Учитель, который, казалось, мирно спал, на самом деле всю ночь не смыкал глаз, внимательно слушая Осуми.

Существует бесчисленное множество подобных историй о певцах дзёрури и кукловодах, равно как и об учителях игры на кото и сямисэне. Дело в том, что большинство преподавателей музыки — слепые. Среди них встречается немало таких, которые наделены присущими физически неполноценным людям качествами: вздорностью и склонностью к жестоким поступкам. Таков был и Сюнсё, наставник Сюнкин, известный своим крутым нравом. С учениками, многие из которых, как и учитель, были слепы, он зачастую давал волю не только языку, но и рукам. Обычно, когда он набрасывался на кого-нибудь из учеников, бедняга от страха тихонько пятился назад, пока в конце концов с шумом и грохотом не скатывался по лестнице, прижимая к себе сямисэн.

Впоследствии, когда Сюнкин сама стала преподавать игру на кото и у нее появились свои ученики, она тоже прославилась строгостью, причиной чему, вероятно, было стремление подражать учителю. Впрочем, началось все с того времени, когда она приступила к обучению Сасукэ. То, что было лишь заложено в маленькой учительнице, постепенно развилось и приобрело четкие формы.

Известно много случаев, когда ученики терпели побои

от своих наставников, но мало найдется примеров, чтобы женщина-преподаватель хлестала и колотила своих учеников, как это делала Сюнкин. Некоторые считают, что у нее просто была склонность к садизму и уроки музыки она использовала как средство для получения извращенного сексуального наслаждения. Сейчас уже трудно судить, насколько такая версия справедлива. Только одно можно сказать наверняка: дети в своих играх всегда стараются походить на взрослых. Хотя старый музыкант любил Сюнкин и никогда ее не наказывал, она слишком хорошо знала его обычную манеру обращаться с учениками. Своим детским сердечком Сюнкин усвоила, что именно так должен вести себя учитель. Играя с Сасукэ, она, естественно, начала подражать мастеру Сюнсё, а затем привычка постепенно укрепилась, превратившись во вторую натуру.

* * *

Вероятно, Сасукэ от природы был плакса. Во всяком случае, стоило Сюнкин его ударить — и он уже готов был разреваться во весь голос, да так жалобно, что слуги только головами качали: «Опять маленькая госпожа разошлась».

Родители, намеревавшиеся сперва лишь порадовать Сюнкин новой забавой, были весьма обеспокоены таким оборотом дела. Не говоря уж о том, что им доставляло мало удовольствия каждый вечер допоздна слушать упражнения на сямисэне и кото, жизнь становилась просто невыносимой, когда до глубокой ночи в ушах звенело от громкой брани Сюнкин, дававшей своему ученику очередную взбучку, а к ней еще добавлялись рыдания Сасукэ.

Порой служанки, жалея Сасукэ и думая, что самой маленькой госпоже от такого поведения тоже пользы не будет, прибегали в комнату Сюнкин и начинали ее утешать: «Госпожа, что вы делаете, перестаньте! Разве можно так обращаться с мальчиком!» Но Сюнкин только гневно вскидывалась на них: «Прочь! Вы ничего не понимаете. Я ведь не играю, а учу его по-настоящему. Это все для него же. Пусть занимается до седьмого пота, а уж бранить и наказывать его буду как хочу — учеба это или не учеба! Ну что, не доходит до вас?»

«Жизнеописание Сюнкин» передает ее подлинные слова: «Вы что же, думаете, я просто глупая девчонка? Да вы

же покушаетесь на святость искусства! Даже если маленький ребенок берется за обучение, он должен вести себя как учитель. Уроки с Сасукэ для меня никогда не были игрой: ведь он, бедняжка, так любит музыку, а заниматься с хорошим музыкантом не может, потому что прислуживает у отца в лавке. Вот я и стала его учить, хотя мне еще далеко до настоящего мастера. Я хочу ему помочь, а вы ничего не понимаете. Ну-ка, убирайтесь все отсюда!» — решительно заявляла она. Слушатели, пораженные и пристыженные уничтожающей отповедью Сюнкин, молча удалялись.

Из приведенного эпизода можно заключить, какой незаурядной силой воздействия обладала Сюнкин. Сасукэ, которого она постоянно доводила до слез, всякий раз, слыша такие речи, испытывал к своей наставнице безмерную признательность. Его слезы были не только слезами боли, но и слезами благодарности за то, что эта девочка, ставшая для него одновременно госпожой и учительницей, не жалея стараний, заставляет его заниматься.

Как бы ему ни доставалось от Сюнкин, он никогда не пытался уйти от наказания и, даже обливаясь слезами, все-таки исполнял упражнение до конца, пока маленькая учительница не останавливала его словом «хорошо».

Что касается настроения, то у Сюнкин день на день не приходился. Периоды веселья сменялись глубокой меланхолией. Не так страшны бывали минуты, когда она раздражалась жестокой бранью, — гораздо хуже было, если она молча хмурила брови и с силой тренькала третьей струной сямисэна или же предоставляла Сасукэ играть одному и слушала его, не делая вообще никаких замечаний. В такие-то дни Сасукэ и проливал больше всего слез.

Однажды вечером, когда они разучивали вступление к песне «Сборщики чая», Сасукэ был очень рассеян и никак не мог сыграть правильно. Много раз он повторял одну музыкальную фразу и все время ошибался. Потеряв терпение, Сюнкин опустила свой сямисэн и стала отбивать ритм, резко хлопая правой рукой по колену и напевая мелодию: «...я-а-тири-тири-ган, тири-ган, тири-ган, тири-ган, тири-ган, ти-гэн, тон-тон-тон-тон-рун, я-а, ру-рутон...» Наконец она оставила и это, погрузившись в мрачное молчание.

Сасукэ ничего не мог поделать, но и остановиться он тоже не решался, а поэтому решил продолжать играть, хотя уже не надеялся услышать от Сюнкин слов одобрения. Наоборот, он начал делать все больше и больше оши-

бок. По всему телу у него выступил холодный пот, и постепенно он стал играть как придется, забыв о правилах.

Сюнкин продолжала упорно хранить молчание, лишь крепче сжимая губы да все больше хмурясь, так что складка у нее на лбу врезалась все глубже и глубже. По прошествии двух часов госпожа Модзюя поднялась наверх в ночном кимоно и попыталась урезонить дочь. «Есть предел всякому усердию, — сказала она, заставляя их разойтись. — Подумай, ведь это вредно для здоровья».

На следующий день родители вызвали Сюнкин для серьезного разговора. Вот что они ей сказали: «Очень хорошо, что ты взялась обучать Сасукэ, но бранить и бить ученика могут позволить себе только те, кто имеет на это право, — например, мы или же какой-нибудь известный музыкант. Ты же, как бы велико ни было твое мастерство, сама еще занимаешься с учителем. Если ты с детских лет будешь так себя вести, то станешь тщеславной и заносчивой, а ведь в искусстве самомнение не дает достигнуть настоящих высот. К тому же не годится девушке из хорошей семьи бить мужчину или называть его болваном и другими грязными словами. Больше так не делай и впредь, пожалуйста, назначай определенное время для занятий, чтобы заканчивать до наступления ночи. Плач Сасукэ звенит у всех в ушах и не дает спать».

Отец и мать Сюнкин, никогда не ругавшие любимую дочь, сделали ей внушение так мягко, что даже своенравная Сюнкин выслушала их не возражая. Однако то была лишь обманчивая видимость, а на самом деле беседа с родителями не внесла особых изменений в поведение Сюнкин. Бедному Сасукэ она едко заметила: «Эх, Сасукэ, никакой у тебя нет силы воли. По каждому пустяку ревешь, как теленок. Вот и меня из-за тебя отругали. Если уж ты стал на путь искусства, то должен все вытерпеть — хоть зубы разжуй, а если не можешь, то и я больше не буду тебя учить». С тех пор Сасукэ никогда не плакал, как бы плохо ему ни приходилось.

* * *

Супруги Модзюя, как видно, были весьма озабочены поведением дочери. И в самом деле, характер Сюнкин, сильно испортившийся после того, как девочка лишилась зрения, стал совершенно невыносимым, когда она начала давать уроки Сасукэ. В том, что партнером она выбрала именно Сасукэ, были свои плюсы и свои минусы. Родители

были благодарны Сасукэ за то, что он поддерживает у их дочери хорошее настроение, но в глубине души они опасались за будущее Сюнкин. Ведь Сасукэ потакает малейшим ее прихотям, а это со временем может еще больше развить в девочке дурные наклонности, и во что тогда превратится ее характер!

С зимы того года, когда Сасукэ исполнилось семнадцать, он, по решению хозяина, стал брать уроки у самого мастера Сюнсё, что положило конец его занятиям с Сюнкин. Вероятно, родители сочли, что подражание манерам учителя для Сюнкин слишком вредно и оказывает пагубное влияние на ее характер. Их решение определило и дальнейшую судьбу Сасукэ: с этого времени он был полностью освобожден от обязанностей приказчика и стал посещать дом мастера Сюнсё не только как поводырь Сюнкин, но и как ее соученик. Стоит ли говорить, что сам мальчик всей душой жаждал учиться музыке. Ясудзаэмон порядком потрудился, чтобы добиться согласия родителей Сасукэ. Да, он действительно посоветовал мальчику отказаться от ремесла аптекаря, но он, Ясудзаэмон, и впредь не оставит Сасукэ, позаботится о его будущем, — убеждал он стариков.

Вероятно, уже тогда родителями Сюнкин завладела одна мысль: подыскать для дочери подходящую партию. Поскольку девушке с физическим изъяном трудно было рассчитывать на выгодный брак с равным по положению, родители рассудили, что Сасукэ был бы ей неплохим мужем. Каково же было их удивление, когда два года спустя (Сюнкин исполнилось в то время пятнадцать, а Сасукэ девятнадцать лет), впервые заговорив с дочерью о замужестве, они встретили резкий и категорический отказ. «В муже я вообще не нуждаюсь и замуж в жизни не выйду, — кричала обозленная Сюнкин, — а уж о таком, как Сасукэ, и вовсе подумать не могу!»

Тем не менее, как это ни странно, мать вдруг стала замечать в фигуре Сюнкин подозрительные перемены. Она пыталась убедить себя, что такого просто не может быть, но чем дольше наблюдала, тем больше укреплялась в своих подозрениях. Тогда госпожа Модзуя решила, что, как только все станет заметнее, слуги тут же разболтают о случившемся каждому встречному-поперечному и потому нужно срочно спасать положение. Ничего не говоря отцу, она попыталась исподволь выяснить у Сюнкин обстоятельства дела, но та заявила, что не понимает, о чем речь.

Считая неудобным продолжать расспросы, мать пере-

ждала еще месяц, до тех пор, пока положение Сюнкин уже невозможно было отрицать. Теперь Сюнкин не отрицала, что беременна, но, как ее ни расспрашивали, наотрез отказалась назвать имя любовника. Когда ее все-таки принудили отвечать, Сюнкин сказала, что они поклялись не выдавать друг друга. В ответ на вопрос, не замешан ли здесь Сасукэ, она с возмущением воскликнула: «Как вы могли подумать! Этот ничтожный приказчик!»

Конечно, каждый бы заподозрил прежде всего именно Сасукэ, но для родителей, слышавших в прошлом году слова Сюнкин о замужестве, такое предположение казалось маловероятным. Да если бы между ними и существовали недозволенные отношения, это не укрылось бы от глаз домашних. Неопытный мальчик и неискушенная девочка не могли бы не выдать себя. Кроме того, с тех пор как Сасукэ начал заниматься с учителем Сюнсё, у него уже не было повода засиживаться допоздна наедине с Сюнкин. Лишь изредка она помогала ему, как старший товарищ по классу, подготовить трудное задание, а в остальное время оставалась надменной молодой госпожой, для которой Сасукэ — не более чем жалкий слуга-поводырь. Никто из прислуги не допускал, что между этими двумя могут существовать отношения другого рода. Скорее наоборот, они были склонны думать, что оба слишком резко подчеркивают неравенство госпожи и слуги.

Если бы Сасукэ согласился толком отвечать на вопросы, возможно, что-нибудь и прояснилось бы. Супруги Модзуя были уверены, что виновник — кто-либо из учеников мастера Сюнсё, но Сасукэ твердил, что знать ничего не знает и ведать не ведает. «Представить невозможно, кто бы это мог быть», — говорил он. Однако, будучи вызван на строгий допрос к хозяевам, Сасукэ повел себя крайне странно: он смущался, мялся и выглядел таким виноватым, что подозрения родителей Сюнкин возросли. Чем пристрастнее его допрашивали, тем больше он запутывался. Наконец, расплакавшись, он сказал, что, если во всем признается, маленькая госпожа будет сердиться. «Да нет же, нет, — настаивали родители. — Конечно, хорошо, что ты всегда выгораживаешь Сюнкин, но почему же ты не слушаешь нас, своих хозяев? Ведь если ты не расскажешь всей правды, твоей маленькой госпоже будет очень плохо. Пожалуйста, назови нам его имя».

Однако, несмотря на все уговоры, Сасукэ не сознавался, и в конце концов родители с изумлением поняли, что виновником является не кто иной, как он сам. Говорил

Сасукэ так, словно, пообещав Сюнкин ничего не открывать, он хотел в то же время, чтобы родители обо всем догадались. Делать было нечего, и супруги Модзюя, увидев, что речь идет о Сасукэ, заключили, что ситуация еще не столь безнадежна. Но почему же во время их беседы о замужестве в прошлом году Сюнкин отвечала, что слышать не хочет о Сасукэ?

«Вот ведь скверная девчонка, никогда не угадаешь, какую еще штуку она выкинет», — рассуждали между собой родители, хотя и огорченные, но уже почти успокоившиеся. Теперь, конечно, нужно было как можно скорее поженить молодых людей, пока не разнеслись сплетни об их связи. Тем не менее, когда отец с матерью снова завели с Сюнкин разговор о замужестве, та, как и раньше, предложила им не тратить понапрасну времени. «Я уже говорила вам в прошлом году: такой, как Сасукэ, мне не пара. Пусть я слепая, калека, но я еще не пала так низко, чтобы отказаться от свободы и выйти замуж за слугу. К тому же тогда я буду виновата перед отцом ребенка, которого н о ш у», — сказала она, покраснев. Родители еще раз попытались выяснить, кто же все-таки настоящий отец ребенка, но Сюнкин только отмахнулась: «А об этом, пожалуйста, не спрашивайте. Во всяком случае, замуж я за него не собираюсь».

Но тогда слова Сасукэ оказывались выдумкой. Родители были в затруднении, не зная, кому верить, на чьей стороне истина. В сущности, не было никаких оснований подозревать кого-либо, кроме Сасукэ. Возможно, Сюнкин отрицала все из-за одного лишь упрямства?

Прекратив дальнейшие расспросы, родители немедленно отправили Сюнкин на воды в Ариму, где ей предстояло провести срок, оставшийся до родов. Шел пятый месяц того памятного года, когда Сюнкин исполнилось шестнадцать. Сасукэ остался жить в Осаке, а Сюнкин с двумя служанками уехала в Ариму и пробыла там вплоть до девятого месяца, то есть до того момента, когда она благополучно разрешилась от бремени. Так как личиком ребенок был вылитый Сасукэ, казалось, что загадка наконец разгадана. Тем не менее Сюнкин не только не желала слушать советы о замужестве, но и упорно отказывалась признать Сасукэ отцом ребенка.

Когда оба предстали перед родителями, Сюнкин держалась высокомерно и заявила, обращаясь к Сасукэ: «Послушай-ка, мой милый, что это ты тут плетешь? И всем морочишь голову, и мне доставляешь неприятности. Не-

медленно говори правду, пусть все знают, что ты тут ни при чем». Услышав столь недвусмысленное указание, Сасукэ весь сжался и забормотал, что, мол, разумеется, для него такое просто невозможно. Речь-то ведь идет о бесчестье молодой госпожи, а сам он с детских лет обязан хозяевам за бесконечные милости, так что ему и помыслить страшно о подобной неблагодарности. Тем самым Сасукэ поддержал версию Сюнкин, категорически отрицавшей их связь, и дело еще больше запуталось.

«Неужели ты не любишь своего ребенка! — увещевали Сюнкин родители. — Ведь если ты откажешься выйти замуж, нам придется отдать кому-нибудь незаконнорожденного, как бы нам ни было жаль его». Однако уговоры несколько не тронули сердце Сюнкин. «Пожалуйста, отдавайте куда хотите. Я ведь всю жизнь собираюсь жить одна, без мужа, так что ребенок для меня только обуза», — холодно отвечала она.

* * *

Во втором году Кока¹ ребенок Сюнкин был отдан на воспитание. Неизвестно, жив ли он сейчас и в какое именно место его отослали, но можно предположить, что родители Сюнкин позаботились о материальном обеспечении внука. Итак, Сюнкин удалось настоять на своем и замять скандал с незаконнорожденным. Вскоре она снова с беззаботным видом ходила на уроки музыки, а поводом у нее по-прежнему был Сасукэ.

К тому времени их отношения с Сасукэ уже ни для кого не были тайной, но на все предложения оформить наконец свой союз оба отвечали, что между ними ничего нет и быть не может. Хорошо зная характер своей дочери и не будучи в силах повлиять на нее, родители, по-видимому, были вынуждены примириться с созданным положением. Странные и неестественные отношения между молодыми людьми, бывшими одновременно госпожой и слугой, соучениками и любовниками, продолжались несколько лет, пока Сюнкин не исполнилось девятнадцать. В это время скончался мастер Сюнсё, и Сюнкин, обретя независимость, сама занялась преподаванием.

Покинув родительский дом, Сюнкин обосновалась в Ёдоябаси, и верный Сасукэ последовал за ней. Старый музыкант при жизни очень ценил способности своей уче-

¹ 1845 г.

ницы, и перед смертью он, вероятно, как водится, завещал Сюнкин учительскую лицензию. Мастер Сюнсё сам выбрал для нее и прозвище Сюнкин (что означает «Весенняя лютня»), включавшее первый иероглиф его собственного имени. Сюнсё приложил немало усилий, чтобы помочь любимой ученице добиться признания в музыкальном мире: он выступал с ней дуэтом на публичных концертах, поручал ей ведущие партии, и поэтому не было ничего неестественного в том, что после смерти учителя Сюнкин сама стала давать уроки. Однако, учитывая ее возраст и такое особое обстоятельство, как слепота, трудно предположить, чтобы у Сюнкин возникла действительная необходимость в столь раннем отделении. Скорее всего, решающую роль сыграли ее отношения с Сасукэ. Вероятно, родители решили, что если ее сомнительной и теперь для всех уже очевидной связи с Сасукэ суждено продолжаться, служа дурным примером для всей челяди, то уж лучше им двоим уехать и поселиться в другом месте, да и сама Сюнкин едва ли была против.

Конечно, положение Сасукэ и после переезда в Ёдоябаси ничуть не изменилось: он по-прежнему выполнял обязанности поводыря. Теперь, когда старый мастер умер, Сюнкин как бы вновь приобрела права учителя. Она без стеснения требовала, чтобы Сасукэ называл ее «госпожа учительница», а сама, не церемонясь, обращалась к нему просто «Сасукэ».

Сюнкин решительно противилась тому, чтобы их с Сасукэ считали мужем и женой; неукоснительно требовала, чтобы сожитель проявлял к ней должное почтение как слуга и как ученик. Она установила для Сасукэ целую иерархию вежливых форм речи, вплоть до мельчайших оттенков значения слова. Если же какое-либо из ее установлений нарушалось, она делала бедняге строжайшее внушение за грубость и не скоро соглашалась принять извинения, каким бы жалким и смущенным он ни выглядел. Вот почему новые ученики не сразу понимали, что Сюнкин и ее покорного раба соединяют еще какие-то невидимые узы. А слуги в доме Модзюя шептались между собой: «Интересно, как маленькая госпожа обращается с Сасукэ в постели. Вот бы взглянуть!»

Почему же Сюнкин столь странно вела себя со своим сожителем? Дело в том, что, когда речь заходит о браке, жители Осаки проявляют куда большую щепетильность в вопросах семьи, благосостояния и положения в обществе, чем, например, токийцы. Осака издавна славится свои-

ми солидными торговыми домами, а насколько завиднее была жизнь купечества в феодальные времена, до Мэйдзи!

Нетрудно догадаться, что такая девушка, как Сюнкин, должна была рассматривать Сасукэ, чьи предки из поколения в поколение были слугами ее семьи, как существо низшего порядка. К тому же, с присущим слепым болезненным самолюбием, она старалась ни в чем не обнаруживать слабости и никому не дать себя одурачить. Возможно, она считала, что, взяв в мужья Сасукэ, покроет себя несмываемым позором или вообще как-то уронит честь своего рода. Может быть, от физической близости с низшим по положению она испытывала чувство стыда, и ее чрезмерная холодность с Сасукэ была как бы защитной реакцией. А что, если она видела в общении с Сасукэ всего лишь физиологическую необходимость? По здравом размышлении напрашивается вывод: таково и было ее истинное отношение к Сасукэ.

* * *

«Жизнеописание» повествует: «Сюнкин отличалась чистоплотностью в быту. Она никогда не надевала даже чуть запачканное платье, ежедневно меняла и отдавала в стирку нижнее белье, строго следила за тем, чтобы в ее комнатах делали уборку утром и вечером. Перед тем как сесть, она проводила кончиками пальцев по татами — настолько ненавистны ей были даже малейшие следы пыли.

Однажды к Сюнкин пришел ученик, страдавший несварением желудка. Не понимая, что у него дурно пахнет изо рта, он устроился напротив учительницы и стал показывать заученные упражнения. Сюнкин, по своему обыновению, резко звякнула третьей струной сямисэна, потом отложила инструмент и нахмурилась, не говоря ни слова. Ученик, не догадываясь в чем дело, спросил, почему госпожа учительница сердится. Когда он повторил свой вопрос в третий раз, Сюнкин ответила: «Правда, я слепа, но ведь нос-то у меня на месте. Убирайся и пойдй прополощи рот, невежа!»

Может быть, именно слепота явилась причиной необычайной чистоплотности Сюнкин. Во всяком случае, когда такой человек, как она, к тому же лишен зрения, заботам тех, кто за ним ухаживает, нет конца. Быть поводырем Сюнкин означало не только водить ее за руку, но и следить за мельчайшими моментами ее повседневной жизни:

за тем, как она ест, пьет, встает, ложится, умывается, ходит в уборную, и прочее, и прочее. Так как Сасукэ с детства находился при Сюнкин, исполняя все эти обязанности и подстраиваясь ко всем ее прихотям, то никто, кроме него, не мог ей угодить. Можно даже сказать, что он был скорее необходим ей в этом смысле, нежели просто как объект удовлетворения плотских желаний.

Живя в Досё-мати, Сюнкин еще как-то прислушивалась к мнению родителей, братьев и сестер. Когда же она стала полноправной хозяйкой собственного дома, ее болезненная чистоплотность и своенравие заметно возросли, а обязанности Сасукэ соответственно умножились.

Тэру Сигисава сообщила мне некоторые подробности, пропущенные в «Жизнеописании».

«Госпожа учительница, даже выйдя из уборной, никогда сама не мыла руки, потому что сызмальства не приучена была делать такие вещи. Все — от сих до сих — выполнял за нее Сасукэ. Он даже купал ее. Говорят, знатные дамы вообще не считают зазорным, чтобы их мыл слуга, ну а госпожа учительница вела себя с Сасукэ как знатная дама. Правда, может быть, тут еще примешивалась ее слепота, но скорее всего она с детства привыкла так держаться с Сасукэ, а уж потом и вовсе не придавала никакого значения условностям.

Госпожа еще очень любила покрасоваться. После того как она ослепла, смотреться в зеркало она уже не могла, но у нее навсегда осталась уверенность в своих чарах. На одевание, прическу и грим госпожа тратила ничуть не меньше времени, чем любая другая женщина, — рассказывала Тэру. — У госпожи была прекрасная память, и она, наверное, хорошо помнила, как миловидна была когда-то, в восьмилетнем возрасте. Кроме того, постоянно выслушивая похвалы своей красоте, восхищенные комплименты окружающих, она все более проникалась сознанием собственного совершенства и не жалела усилий для ухода за внешностью. Госпожа держала у себя в доме несколько соловьев и использовала их помет, смешанный с рисовыми высевами, как питательный крем для кожи. Еще она употребляла для растирания сок тыквы-горлянки. Она до тех пор не чувствовала себя спокойной, пока лицо и руки не станут совершенно гладкими, — больше всего на свете ей была отвратительна шершавая кожа.

Люди, играющие на струнных инструментах, прижимают струны к грифу, потому им обычно приходится подстригать ногти на левой руке. Госпожа этого не делала,

но зато она всегда следила за тем, чтобы каждые три дня ногти у нее на обеих руках и ногах были аккуратно подпилены и отполированы. Хотя за такое короткое время ногти еще не могут отрасти на видимую глазом величину, госпожа хотела, чтоб они всегда были совершенно одинаковы. Всякий раз после маникюра она тщательнейшим образом ощупывала ноготок за ноготком, чтобы не допустить ни малейшей разницы. Уход за ее ногтями был тоже в ведении Сасукэ. В свободное от таких вот забот время она давала Сасукэ уроки, а иногда ему доводилось замещать госпожу учительницу в занятиях с учениками».

* * *

Физическое общение между людьми может быть достаточно разнообразно. Сасукэ, например, изучил тело Сюнкин до мельчайших деталей. Их связывали узы настолько тесные, что о подобной близости не могли бы мечтать ни нежные любовники, ни обычная супружеская пара. Не удивительно, что впоследствии, когда сам Сасукэ уже был слеп, он без труда продолжал ухаживать за телом своей госпожи.

До конца дней своих Сасукэ так и не женился. С ученических лет и до глубокой старости (а умер он в 82 года) он не знал ни одного существа другого пола, кроме Сюнкин. На склоне лет, уже оставшись в одиночестве, он не уставал рассказывать всем и каждому, какая у нее была нежная кожа, какие изящные ручки и ножки. Бывало, он вытягивал руку и говорил, что ножка госпожи как раз умещалась у него на ладони, или хлопал себя по щеке и приговаривал, что даже пятка ее была глаже, чем у него вот тут.

Ранее я отмечал, что Сюнкин была миниатюрного сложения, однако тело у нее было вовсе не столь худощаво, как могло показаться под одеждой — в обнаженном виде ее формы являли взору неожиданную округлость и пышность. Кожа была белая, гладкая, и ее бархатную свежесть Сюнкин удалось сохранить до преклонного возраста. Возможно, этим она была обязана своим гурманским наклонностям, столь необычным для женщины той эпохи. Воздавая должное в равной степени блюдам из птицы и рыбы, в особенности окуневому филе, она любила и вино, никогда не забывая пропустить за ужином чашечку-другую сакэ. (Слепой человек за едой выглядит как-то неприятно и вызывает чувство жалости, тем более если речь идет о

юной и прелестной девушке. Возможно, Сюнкин знала это, — во всяком случае, она не позволяла никому, кроме Сасукэ, присутствовать при своей трапезе. Будучи приглашена в гости, она держалась очень церемонно и, казалось, только из вежливости притрагивалась к палочкам для еды, снискав тем самым репутацию весьма утонченной особы.

В действительности же Сюнкин любила хорошо поесть. Ее нельзя было назвать обжорой: она довольствовалась всего двумя чашечками риса, добавляя к ним по маленькому кусочку от всех прочих блюд, но зато этих блюд должно было быть изрядное количество. Ее заказы словно нарочно были придуманы, чтобы ставить в тупик Сасукэ. Постепенно он стал весьма искусен в разделывании вареного окуня, в очистке креветок и крабов, а из такой рыбы, как морской лещ, мог вынуть все кости, не повредив при этом туловища.)

Волосы у Сюнкин были густые, пышные и шелковистые, руки маленькие и изящные, кисть хорошо прогибалась, а пальцы от постоянного соприкосновения со струнами окрепли, так что если она давала кому-нибудь пощечину, было и впрямь больно. Сюнкин страдала головокружениями. Будучи очень чувствительной к холоду, она даже в разгар лета никогда не потела, а ноги ее оставались ледяными. Круглый год она спала под толстым двойным пуховым одеялом, обтянутым сатином или шелковым крепом, рукава ночного кимоно длиннее обычного, ноги тщательно закутаны в длинный подол. Такая форма одежды на ночь никогда не нарушалась.

Опасаясь приступа головной боли, Сюнкин не согревалась с помощью жаровни-котацу или грелок с горячей водой. Когда же становилось особенно холодно, Сасукэ ложился с нею и прятал ноги госпожи к себе за пазуху, под кимоно. Правда, согревал он их недостаточно, но сам успевал промерзнуть до костей.

Когда Сюнкин принимала ванну, то окна в ванной комнате даже зимой должны были быть распахнуты настежь, чтобы не скапливался пар. Много раз она залезла в бочку с чуть теплой водой, сидела там минуту-две и снова вылезала. От долгого сидения в горячей ванне у нее начиналось сердцебиение, а от пара кружилась голова, поэтому ей приходилось париться как можно меньше и почти сразу же начинать мыться.

Чем больше подобных вещей мы узнаем о Сюнкин, тем яснее становится, сколько хлопот доставляла она Са-

сукэ. Между тем получаемое им материальное вознаграждение было ничтожно: складывалось оно из случайных подачек, которых порой и на табак не хватало. Платье он получал от госпожи, по старинному обычаю, дважды в год — на праздник Бон в середине лета и под Новый год. Иногда ему случалось замещать учительницу на уроках, но никакими особыми правами он не пользовался, а ученикам и служанкам было приказано называть его просто «Сасукэ-дон». Когда ему случалось сопровождать Сюнкин на дом к ученику, он должен был, как слуга, ожидать ее у ворот.

Однажды у Сасукэ разболелся зуб и правая щека ужасно распухла. С наступлением ночи страдания его стали невыносимы, но он, собрав все силы, терпел, не показывая, что ему больно. Время от времени он украдкой споласкивал рот и, прислуживая Сюнкин, старался не дышать в ее сторону. Наконец она улеглась в постель, приказав Сасукэ помассировать ей спину и плечи. Через несколько минут она сказала: «Довольно, теперь согрей-ка мне ноги». Сасукэ послушно лег в ногах на футон, распахнул кимоно и прижал ледяные пятки к своей груди. Однако, хоть грудь его совсем ооченела, погруженное в покрывало лицо пылало по-прежнему, а зубная боль становилась все неистовой. Изнемогая от мучений, он осторожно переложил одну ногу с груди на свою распухшую щеку, как вдруг Сюнкин, словно говоря «Нет!», резко пнула его пяткой прямо в злополучный зуб. Обезумев от боли, Сасукэ с воплем вскочил. Тогда она сказала ему: «Хватит, можешь быть свободен. Я тебе велела отогреть мои ноги грудью, а не лицом. Думаешь провести меня, потому что я слепая? Как бы не так! Я знаю, что у тебя весь день болит зуб. Для слепого невелика разница — глаза или пятки. Я и пяткой прекрасно могу определить, что правая щека у тебя распухла и болит, потому что она отличается от левой и температурой, и объемом. Уж если тебе так больно, можно было сказать об этом раньше — я ведь не истязая своих слуг. Ты все хвастаешься, какой ты верный слуга, а сам-то хотел охладить больной зуб телом своей госпожи! — негодовала она. — Какая дерзость!»

Так относилась Сюнкин к Сасукэ. Особенно ее раздражало, когда он был внимателен к молоденьким ученицам, помогал им с заданиями. Чем больше Сюнкин старалась скрыть свою ревность, тем хуже приходилось Сасукэ, а в подобных случаях ему доставалось больше всего.

Когда женщина, да еще слепая, живет в одиночестве, всем ее прихотям есть предел, и даже если она привыкла к роскоши в одежде и пище, ее приобретения обходятся сравнительно недорого. Однако в доме Сюнкин, где вместе с хозяйкой жило еще пять-шесть слуг, месячные расходы составляли изрядную сумму.

Нетрудно понять, почему Сюнкин требовалось столько денег и столько рабочих рук: разгадка кроется в ее увлечении певчими птицами, среди которых она предпочитала всем прочим соловьев. В наши дни соловей с красивым голосом стоит до десяти тысяч иен, да и в те времена, должно быть, стоил не меньше. Правда, сейчас по сравнению со стариной вкусы любителей соловьиного пения и их оценки сильно изменились. Так, например, теперь больше всего ценятся соловьи, которые, кроме своей обычной песни «хоо-хо-кэ-кё», могут вывести еще так называемую волнистую трель долины: «кэ-кё, кэ-кё, кэ-кё» — и протянуть высокие ноты: «хоо-ки-бэ-ка-кон». Дикие соловьи такой мелодии воспроизвести не в состоянии, у них в лучшем случае получается грубое «хоо-кии-бэ-тя». Чтобы освоить красивые серебристые звуки «бэ-ка-кон» и «кон», они нуждаются в длительном обучении.

Для этого обычно ловят птенца дикого соловья, пока он еще не оперился, и подсаживают его к соловью-учителю. Подсадку нужно делать обязательно до того, как у птенца появятся хвостовое оперение, иначе он затвердит примитивные трели дикого соловья — и тут уж ничем не поможешь. Соловьев-учителей с самого начала растят в искусственных условиях, причем наиболее отличившиеся из них получают почетные прозвища: например, Феникс или Друг навеки. Когда становится известно, что у кого-нибудь в доме живет такая прославленная птица, владельцы соловьев съезжаются отовсюду, чтобы поучить своего питомца у знаменитости, в надежде, что «учитель передаст голос ученику».

Обучение начинается рано утром и продолжается несколько дней без перерыва. Иногда клетку с соловьем-учителем помещают на специально отведенное место, а соловьи-ученики располагаются вокруг — прямо как в настоящем кружке пения. Разумеется, разные соловьи по-разному выводят рулады и коленца, с большим или меньшим искусством берут высокие и низкие ноты, поэтому найти первоклассного соловья совсем не просто. А поскольку

при продаже учитывается и плата за обучение, цена такой птицы бывает чрезвычайно высока.

Сюнкин назвала лучшего из своих соловьев Тэнко, то есть «Небесный барабан», и с утра до вечера наслаждалась его пением. Голос у Тэнко был и в самом деле замечательный. Он мастерски вытягивал высокий звук «кон», а чистотой тонов его песни напоминала скорее музыкальный инструмент, чем голос птицы. Трели его всегда звучали звонко и залиvisto. Обращались с Тэнко очень бережно, а пуще всего следили за его кормом.

Вообще корм для соловьев представляет собой довольно сложное блюдо. Его готовят из сушеных соевых бобов и неочищенного риса, смешивая их, перетирая и добавляя рисовые высевки. Получается так называемая «белая смесь». Затем нужно растолочь сушеного карпа или ельца, чтобы приготовить «рыбную смесь». После этого оба порошка смешиваются в равной пропорции и заливаются соком из протертой ботвы редьки. Кроме того, чтобы улучшить голос соловья, ему обязательно нужно ежедневно добавлять в пищу несколько жучков эбидзуру, водящихся на стеблях дикого винограда. У Сюнкин было с полдюжины птиц, требующих такого ухода, и они постоянно находились на попечении одного, а то и двоих из ее слуг.

Соловьи никогда не поют в присутствии людей, поэтому их клетки помещают в специальные ящички из дерева павлонии, называемые «ведерко», и плотно задвигают бумажные окошки-сёдзи, так что снаружи доходит лишь едва заметный тусклый и рассеянный свет. Сёдзи, как правило, обрамлены сандаловым или эбеновым переплетом с тончайшей резьбой или же покрыты золотым (иногда серебряным) лаком и инкрустированы перламутром. Встречаются прелюбопытные и весьма искусно выполненные изделия, за которые в наше время частенько платят немалые деньги — сто, двести, даже пятьсот иен.

У Тэнко «ведерко» было привезено из Китая и было большой редкостью. Рамы были из сандалового дерева, в нижней части помещены нефритовые панели с миниатюрными инкрустациями в стиле «дворцы под вишнями меж гор и вод». То была действительно очень ценная вещица.

Сюнкин держала клетку с Тэнко в своей комнате, чтобы всегда слышать его чарующий голос. Трели соловья приводили ее в хорошее расположение духа, и потому слуги всячески старались заставить Тэнко петь почаще, порой даже брызгая на него холодной водой. Поскольку

пел соловей больше в ясные дни, настроение Сюнкин соответственно ухудшалось вместе с погодой. Чаще всего пением Тэнко можно было наслаждаться в конце зимы и весной, летом же он постепенно начинал петь все реже и реже, а Сюнкин становилась все мрачнее и мрачнее.

Соловьи, если за ними правильно ухаживать, могут прожить долго, но для этого требуется постоянное и неотступное внимание. Стоит поручить уход человеку неопытному, как соловей зачахнет. После смерти своего питомца любители обычно спешат купить ему на смену нового. У Сюнкин ее Тэнко умер в возрасте семи лет. Вскоре Сюнкин решила подыскать ему преемника, но равного Тэнко так и не нашла. Лишь через несколько лет ей удалось вырастить прекрасного соловья, не уступавшего своему предшественнику. Назвала она его тоже Тэнко и очень к нему привязалась. Тэнко-второй обладал голосом столь изумительным, что мог бы посрамить своим пением райскую птицу Карёбинка.

Сюнкин днем и ночью держала клетку с Тэнко подле себя. Когда соловей пел, Сюнкин говорила ученикам: «Ну-ка, послушайте эту птицу!» Затем она обращалась ко всем присутствующим, как бы увещевая их: «Прислушайтесь получше к голосу Тэнко. Ведь раньше он был самым обыкновенным птенцом, но с самого детства неустанно упражнялся — и вот теперь его песни по красоте намного превосходят голоса диких соловьев».

Может быть, некоторые возразят мне, что это красота искусственная, что она никогда по сравнению с природным очарованием, что ей далеко до дивной соловьиной трели, внезапно прозвучавшей в тумане над ручьем, когда бредешь узкой тропкой по лугу, собирая весенние цветы. Но я с ними не соглашусь. Только волшебство моста и времени заставляет песню дикого соловья звучать с такой прелестью. Стоит вслушаться повнимательнее — и станет ясно, что этому голосу далеко до совершенства.

И напротив, когда вы слушаете божественный голос Тэнко, вам чудится шелест ветра в чарующем безмолвии межгорных лоцин, слышится журчание потоков, бегущих с гор, перед вашим мысленным взором проплывает сакура в белом облаке цветения. Да, в его голосе вы находите и цветы, и рассветную дымку, позабыв, что вокруг раскинулся огромный пыльный город. Сила искусства спорит с картинами живой природы — не здесь ли кроется глубочайшая тайна музыки?

Часто Сюнкин стыдила отстающих учеников: «Даже

маленькие птички постигают секреты искусства, а вы хоть и рождены людьми, но куда вам тягаться с этой пичужкой!» В словах Сюнкин, конечно, содержалась доля истины, но вряд ли столь нелестные сравнения с талантами соловья были приятны Сасукэ, не говоря уж о прочих учениках.

Кроме соловьев, Сюнкин питала слабость к жаворонкам. Инстинкт влечет эту птицу ввысь, к небесам; даже в клетке она всегда взлетает как можно выше. Вот почему клетки для жаворонков делали узкими и высокими — в три, четыре, а иногда и все пять сяку высотой. Для того чтобы по-настоящему получить удовольствие от пения жаворонка, нужно выпустить его на волю и слушать с земли его трели, когда маленький певец, взмывая и кружась в небе, устремляется все выше, к облакам, пока не скроется из виду. Это называется наслаждаться «рассечением облаков». Обычно жаворонок, пробыв в небе какое-то время, возвращается назад, в клетку, причем в воздухе он всегда остается на определенный срок — от десяти до тридцати минут. Чем дольше жаворонок задерживается в воздухе, тем лучше считается птица.

На состязаниях жаворонков клетки ставят в ряд, а затем одновременно распахивают дверцы и выпускают участников. Побеждает тот жаворонок, который вернется последним. Жаворонки похуже ошибаются и возвращаются не в свою клетку, а те, что хуже всех, опускаются на расстоянии в один-два тё от места пуска, но, как правило, жаворонки все-таки прилетают обратно в свои клетки. Дело в том, что взлетают они вертикально вверх и, покружив в воздухе на одном месте, опускаются так же вертикально вниз, попадая, вполне естественно, в собственную клетку. Хотя само зрелище и называется «рассечение облаков», жаворонки вовсе не врезаются в облака, стремясь пролететь сквозь них, — просто создается такое впечатление, потому что облака проплывают мимо.

Ясными весенними днями те, кто жил неподалеку от дома Сюнкин в Ёдоябаси, часто наблюдали, как слепая красавица, выйдя на крышу, на площадку для сушки, выпускает в небо жаворонка. Ее всегда сопровождали Сасукэ и служанка с клеткой. По приказу Сюнкин служанка открывала дверцу, и жаворонок радостно устремлялся ввысь, напевая свое «цун-цун», пока очертания его не затеряются в весенней дымке. Сюнкин, подняв голову, незрячими глазами следила за полетом птицы, а потом с упоением слушала доносящуюся из облачных далей пес-

ню. Временами к ней присоединялись другие любители со своими жаворонками, и тогда она развлекалась, устраивая состязание. В таких случаях жители окрестных домов, поднявшись на крыши, тоже слушали пение жаворонков, но среди них больше было таких, кто не столько интересовался птицами, сколько жаждал взглянуть на прекрасную учительницу музыки.

Хотя все молодые люди в квартале имели возможность смотреть на Сюнкин круглый год, все же находились глупцы, которые, едва заслышав пение жаворонка, готовы были спешить на крышу с единственной мыслью: «Увидеть ее!» Возможно, их привлекала слепота Сюнкин, растрavляя их любопытство и превращаясь в некую притягательную силу. А может быть, она была особенно красива, когда наслаждалась пением жаворонков, — она бывала оживлена, улыбалась и весело беседовала со всеми в отличие от тех минут, когда в строгом молчании шествовала на урок к ученику, крепко держась за руку Сасукэ.

Еще Сюнкин держала малиновок, попугаев, овсянок и других птиц, порой по пять-шесть разных. Обходились они недешево.

* * *

Сюнкин была из тех людей, что «показывают зубки у себя дома». На людях же она была чрезвычайно мила. Глядя на ее изящные манеры и привлекательную внешность, никто из тех, к кому Сюнкин бывала приглашена в гости, в жизни не заподозрил бы, что дома она издевается над Сасукэ, бьет и бранит учеников. Для поддержания хорошего мнения о себе в обществе она не скупилась на показательные эффекты: щедро, не считаясь с установленным этикетом, одаривала слуг в праздник Бон, на Новый год и в других случаях, как бы демонстрируя качества, которые должны быть присущи члену почтенного рода Модзюя. Слуги и служанки, носильщики паланкина и рикши — все получали от Сюнкин на удивление большие чаевые.

Можно предположить, что Сюнкин была всего лишь беспечной расточительницей, но по здравом размышлении такое предположение окажется неверным. Один писатель в своей книге «Осака и осакцы, как я их видел» пишет о бережливости обитателей Осаки. Их вкусы, утверждает автор, отличаются от стремления к показному великолепию, присущего жителям столицы. Осакцы, хотя и любят

роскошь, на первое место ставят порядок в расчетах и делах. Везде, где это можно сделать, не привлекая особого внимания, они стараются хоть что-нибудь сэкономить.

Почему же, спрашивается, Сюнкин, которая родилась и выросла в Досё-Мати, в купеческой семье, допускала такие странные промахи в этой области? Дело в том, что в характере Сюнкин сильнейшая тяга к роскоши и комфорту соединялась с непомерной скарденостью и жадностью. Ее душу жгло одно желание — никому не уступать в экстравагантности и блеске. Кроме этой цели, больше она ни на что зря денег не тратила и вообще была из тех, кто на собственные похороны полушки не даст. Сюнкин терпеть не могла попусту сорить деньгами и все свои вложения старалась делать так, чтобы они принесли какой-то доход. В подобных вопросах она была расчетлива и осторожна.

Иногда ее страсть к деньгам превращалась в неприкрытое стяжательство. Например, месячную плату с учеников она брала как прославленные мастера, вовсе не считаясь с тем, что ей больше пристало равняться на преподавателей-женщин. Это бы еще ничего, но Сюнкин без стеснения постоянно напоминала своим ученикам, что ожидает от них подарков в середине лета и на Новый год, и чем больше, тем лучше.

Как-то к ней начал ходить слепой ученик. Он был из бедной семьи и поэтому все время запаздывал с месячной платой за обучение. Богатые подношения тоже были ему не по карману, и вот на праздник Бон в середине лета он в простоте душевной, купив коробку рисовых пирожков, обратился к Сасукэ: «Пожалуйста, попросите госпожу учительницу принять этот ничтожный подарок, снизойдя к моей бедности». Сасукэ, пожалев мальчика, робко попытался вступить за него перед Сюнкин, но та, изменившись в лице от гнева, заявила: «Ты что же, думаешь, я так строго слежу за месячной платой и этими подарками только из жадности? Деньги меня меньше всего интересуют, но, если раз и навсегда не установить какие-то нормы, невозможны будут правильные отношения между учителем и учеником. Этот мальчик даже месячную плату не вносит, а теперь он еще имеет наглость явиться ко мне с коробочкой пирожков вместо праздничного подарка! Здесь не может быть двух мнений — он непочтителен к своей учительнице. К тому же, как бы он ни старался, при такой бедности ему нечего мечтать о настоящем успехе в искусстве. Конечно, при иных обстоятельствах я могла бы взяться за его обучение и вовсе бесплатно — но для

этого он должен быть кладезем талантов, как детеныш волшебного зверя Цзилинь. Очень мало таких людей, которым удается, преодолев нищету, добиться успеха в искусстве. Какая дерзость — просить снизойти к его бедности! Чем досаждать другим и позорить себя, лучше бы уяснил, что на этом пути ему делать нечего. Если он все-таки хочет учиться, то в Осаке и без меня достаточно хороших учителей, так что пусть идет куда угодно, но ко мне чтобы больше не показывался!» Как ее ни упрашивали, как ни извинялись, Сюнкин оставалась непреклонной и действительно выгнала бедного мальчика.

Когда же кто-то из учеников однажды принес ей особенно ценное подношение, Сюнкин, обычно столь строгая на занятиях, смягчилась. Весь день она улыбалась ему и расхваливала его до тех пор, пока похвалы госпожи учительницы не начали его пугать.

Сюнкин все подарки, один за другим, изучала сама, вплоть до малюсенькой коробочки конфет. Так же тщательно она проверяла свои месячные счета, позвав Сасукэ и заставляя его все пересчитывать на соробане. Сюнкин была очень сильна в математике, особенно в устном счете: стоило ей раз услышать цифру, как она надолго запоминала ее. Спустя несколько месяцев она твердо помнила, сколько тогда-то уплатила торговцу рисом, сколько — торговцу сакэ.

В сущности, ее пристрастие к роскоши было глубоко эгоистичным. Деньги, потраченные на удовлетворение своих прихотей, она старалась компенсировать, экономя на чем-либо, и в конечном итоге жертвами ее экономии оказались слуги. Она одна из всех обитателей дома вела жизнь даймё, а Сасукэ и все слуги перебивались с риса на воду, как говорится, собственные ногти жгли вместо лучины, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Зачастую даже дневная порция риса бывала так мала, что все оставалось голодными. Слуги за спиной Сюнкин перешептывались: «Госпожа говорит, что соловьи и жаворонки ей больше преданы, чем мы. Что же, ничего удивительного — она ведь о птицах заботится куда больше, чем о нас».

* * *

Пока был жив отец Сюнкин, старый Ясудзаэмон, она получала ежемесячно столько денег, сколько просила, но после смерти отца, когда во главе дома стал старший

брат, получать ссуды стало не так-то просто. В наши дни пристрастие к роскоши не чуждо состоятельным независимым дамам, но в старину даже мужчины из уважаемых зажиточных семей наравне с отпрысками древних аристократических фамилий привыкли воздерживаться от излишеств и жили скромно, не желая, чтобы знать презрительно сравнивала их с нуворишами.

Отец и мать Сюнкин, подчиняясь родительскому чувству, мирились подчас с непомерными запросами дочери, так как тяжелый физический недостаток лишал ее многих других радостей жизни. Когда же хозяйство перешло в руки старшего брата, тот отнесся к поведению Сюнкин весьма неодобрительно и установил некую небольшую сумму как максимальный предел ее месячного содержания; все просьбы о дополнительных дотациях оставались без ответа. Не исключено, что этим и объясняется отчасти скупость Сюнкин. Однако и тех денег, что поступали от брата, с лихвой хватило бы на жизнь, так что Сюнкин могла и не обременять себя преподаванием музыки. Естественно, что, не будучи заинтересована в уроках, она могла позволить себе любые вольности с учениками. Всего несколько человек посещало занятия Сюнкин, поэтому она вела замкнутый и одинокий образ жизни, располагая свободным временем для развлечений со своими птицами.

Однако то, что Сюнкин была одним из лучших исполнителей на кото и сямисэне среди осацких музыкантов того времени, не является плодом ее тщеславных вымыслов. Это единодушно признавали и друзья и враги. Даже люди, не выносившие ее заносчивости, в душе тайно завидовали искусству Сюнкин или просто боялись его.

Один старый музыкант, знакомый автора, в молодости несколько раз слышал, как она играет на сямисэне. Хотя сам старик был аккомпаниатором на сямисэне в театре дзёрури, и, следовательно, специализация его тоже была несколько иной, он клялся, что на земле нет человека, который мог бы сравниться с Сюнкин в изяществе исполнения. Он рассказывал, что однажды в молодости Дамбэй, прослушав выступление Сюнкин, сокрушенно заметил: «Как жаль! Родись она мужчиной, она могла бы играть на большом сямисэне и наверняка стала бы великим мастером». Что хотел сказать Дамбэй? Может быть, он считал большой сямисэн лучшим из всех музыкальных инструментов и жалел, что Сюнкин лишена возможности играть на нем? Или же тем самым он хотел похвалить ее талант и, полагая, что подлинной силы и глубины чувства

в музыке может достигнуть лишь мужчина, жалел, что Сюнкин родилась женщиной? Наверное, в руках Сюнкин сямисэн действительно звучал так, словно на нем играл мужчина. Мой знакомый, старый музыкант, говорил, что, слушая игру Сюнкин, он иногда закрывал глаза, и тоны были так чисты, что казалось, действительно играет мужчина. Но секрет очарования крылся не столько в чистоте звуков, сколько в их неисчерпаемом богатстве. Порой Сюнкин удавалось извлечь из струн мелодию, проникающую до глубины души. Видимо, для женщины она обладала поистине неслыханным талантом.

Если бы Сюнкин вела себя скромнее с людьми менее способными, чем она сама, то, по всей вероятности, ее имя приобрело бы широкую известность. Однако, воспитанная в довольстве и роскоши, не зная забот о хлебе насущном, она всегда следовала только собственным прихотям и причудам, оставаясь, таким образом, чуждой для окружающих. Ее одаренность повсюду создавала ей врагов. Она была осуждена на полное одиночество, но этот приговор являлся, в сущности, лишь воздаянием за ее грехи. Такова была трагедия Сюнкин.

Ее учениками становились те, кого покорила сила ее мастерства, те, кто пришел добровольно, решив, что не доверятся больше никакому иному учителю, те, кто ради чести учиться у Сюнкин готовы были примириться с самой жестокой дисциплиной, выносить брань и побои. И все же мало кто оставался у нее, большинство вскоре уходило, не в силах терпеть мучения. Любители, не собиравшиеся стать профессиональными музыкантами, не выдерживали и месяца.

Можно предположить, что методы обучения, избранные Сюнкин, — методы, выходявшие за границы обычной строгости и превратившиеся в злобное глумление над учениками, доходящее порой до садизма, — своим происхождением обязаны твердой уверенности Сюнкин в собственной гениальности. Другими словами, поскольку ее нрав ни для кого не был секретом, а все обращавшиеся к ней заранее знали о жестоких порядках в доме учительницы, она, должно быть, считала, что чем больше будет наказывать учеников, тем весомее подтвердит свою славу мастера. Постепенно все больше распоясываясь, она в конце концов совершенно потеряла контроль над собой.

Тэру Сигисава свидетельствует: «У госпожи было совсем немного учеников. Некоторые из них пришли учиться только из-за красоты госпожи, и среди любителей

таких, пожалуй, было большинство». Красавица, незамужняя, да еще дочь состоятельных родителей — не удивительно, что она притягивала внимание мужчин. Говорят, ее чрезмерная резкость в обращении с учениками отчасти служила средством для отпугивания не в меру назойливых поклонников. Последние же, как это ни парадоксально, вероятно, находили некую прелесть и в ее жестокости.

Идя дальше, я допускаю, что и среди наиболее серьезных учеников были такие, которых куда больше, чем занятия, привлекало странное приятное ощущение, пережитое под плеткой слепой красавицы. Возможно, некоторые из них испытывали чувство, родственное тому, о котором упоминает Жан-Жак Руссо в своей «Исповеди».

Итак, настало время перейти к рассказу о втором несчастье, постигшем Сюнкин. К сожалению, так как «Жизнеописание» не дает ясного представления о случившемся, мне трудно с точностью указать причину несчастья, равно как и назвать его виновника. Наиболее естественно предположить, что своим жестоким обращением Сюнкин вызвала жгучую ненависть кого-нибудь из учеников, который и отплатил ей за все с лихвой. Одним из возможных виновников был сын богатого торговца зерном Кубэя Миноя из Тосабори — по имени Ритаро — юноша крайне развращенный и к тому же уверенный в исключительности своего музыкального таланта. С некоторых пор он пришел на обучение к Сюнкин и стал заниматься в ее классе. Гордясь отцовским богатством и привыкнув вести себя как барчук, Ритаро имел дурное обыновение всюду похваляться деньгами своего родителя. На соучеников он смотрел как на приказчиков в отцовской лавке. Хотя Сюнкин этот молодой человек с самого начала пришелся не по душе, его подарки и подношения всегда были настолько щедрь, что она и не думала порицать его в глаза, а наоборот, во всем старалась с ним ладить.

Вскоре Ритаро, пользуясь своей безнаказанностью, начал распускать слухи, будто строгая учительница к нему равнодушна. К Сасукэ он относился с подчеркнутым презрением, отказываясь с ним заниматься, когда тот заменял Сюнкин, и не успокаиваясь до тех пор, пока на место Сасукэ вновь не приходила госпожа учительница. Постепенно самонадеянность и дерзость Ритаро настолько возросли, что с ними стало трудно мириться.

Однажды во вторую луну Ритаро пригласил Сюнкин на пирушку по случаю праздника любования цветущей сливой, выбрав для этой цели уединенный чайный павильон Тэнка, выстроенный на манер беседки по заказу его отца, Кубэя, в тихом саду под сенью старых сливовых деревьев. Все устроил сам молодой повеса, пригласив гейш и нескольких приятелей. Сюнкин, разумеется, явился в сопровождении Сасукэ.

В тот день Ритаро и его помощники то и дело подносили Сасукэ чарки с вином, так что бедняге пришлось нелегко. Ведь Сасукэ, хотя и привык в последнее время понемногу выпивать за ужином вместе с Сюнкин, никогда не был большим любителем спиртного, а уж вне дома ему и вовсе не разрешалось даже пригубить сакэ. Понимая, что в пьяном виде он не сможет выполнять свои обязанности поводыря, Сасукэ только притворялся, будто отхлебывает из чашечки, и это не укрылось от глаз Ритаро. Наклонившись к Сюнкин, он сказал ей шепотом, но так, чтобы слышали все вокруг: «Госпожа учительница, Сасукэ-дон не пьет без вашего позволения. Дайте ему выходной — сегодня ведь праздник любования цветущей сливой. А если он потом не сможет вас проводить, так здесь найдется не один желающий заменить его». С вымученной улыбкой Сюнкин ответила: «Ну что ж, если только чуть-чуть. Но, пожалуйста, не давайте ему пить слишком много, а то он начнет задирать нос». Получив разрешение, Ритаро с приятелями принялись усердно потчевать Сасукэ вином, ежеминутно поднося ему чашечку то с одной стороны, то с другой. Однако Сасукэ держался стойко, ухитряясь ловко выливать большую часть в стоявший рядом кувшин.

Наверное, среди собравшихся в павильоне гуляк и сейш, которые уже не раз слушали о знаменитой учительнице музыки, не было ни одного человека, оставшегося равнодушным, когда Сюнкин предстала перед ними. Молва не преувеличивала: зрелая красота ее форм была безукоризненна, а лицо пленяло глубокой одухотворенностью. Все наперебой превозносили Сюнкин, и хотя, возможно, некоторые старались польстить ей, только чтобы угодить Ритаро, Сюнкин, без сомнения, была и в самом деле очаровательна. С таким чудесным, юным лицом она выглядела лет на десять моложе своих тридцати шести. Один взгляд на ее шею и плечи заставил бы любого мужчину задрожать от восторга. Она сидела, скромно сложив на коленях нежные, белые ручки, слегка наклонив головку

вперед, и прелесть ее незрячего лица приковывала к себе взоры присутствующих, вызывая всеобщее восхищение.

И тут гости решили пошутить. Когда все отправились гулять в сад, Сасукэ тоже повел Сюнкин за руку, стараясь идти помедленнее, отводя в сторону ветви и заботливо предупреждая ее: «Осторожно, вот тут еще дерево». Перед каждой развесистой сливой они останавливались, и Сасукэ направлял руку Сюнкин, чтобы она могла пощупать ствол.

Все слепые убеждаются в существовании вещей с помощью осязания. Точно так же Сюнкин привыкла наслаждаться цветением деревьев. Тогда один из кутил, видя, как любовно Сюнкин поглаживает корявый, шероховатый ствол старой сливы, воскликнул дурашливым тонким голоском: «О, как я завидую этому дереву!» Другой тотчас же забежал вперед и стал перед Сюнкин в неприличную позу, раскорячившись, растопырив руки и ноги, с воплем: «Я тоже сливовое дерево!» — так что все покатались со смеху.

Все это, разумеется, было своеобразным выражением восхищения, и у шутников не было намерения обидеть Сюнкин или поиздеваться над ней. Однако утонченная Сюнкин, не привыкшая к пьяным забавам веселых кварталов, почувствовала себя не в своей тарелке. Она всегда требовала, чтобы с ней обращались как с нормальным, зрячим человеком, и подобные шутки, подчеркивающие ее физический изъян, очень больно ее задевали.

Наконец спустились сумерки. Гости вернулись в павильон после перемены циновок и приготовились продолжать пиршество. Ритаро обратился к Сасукэ: «Эй, Сасукэ-дон, ты небось устал. Я пока позабочусь о госпоже учительнице, а тебя в соседней комнате ждет хороший ужин. Пойди закуси и выпей сакэ за наше здоровье». Полагая, что будет неплохо подкрепиться, пусть даже не слишком налегая на вино, Сасукэ покорно ушел в другую комнату и раньше всех остальных гостей уселся за угощение. «Мне бы немного р и с а», — попросил он, но оказавшаяся рядом немолодая гейша с бутылкой сакэ вместо этого принялась наливать ему чарку за чаркой, приговаривая: «Ну, дружок, еще одну, а ну-ка еще одну!» Таким образом, Сасукэ провел за едой гораздо больше времени, чем рассчитывал, но и закончив, он должен был ждать, пока его позовут.

Между тем в зале творилось что-то неладное. Сюнкин встала и попросила позвать Сасукэ — наверное, ей нужно

было выйти в уборную, и она хотела, чтобы Сасукэ ее проводил. Однако просьбы ее были тщетны: Ритаро преградил ей путь и сказал, что если нужно только слить воду на руки, то он и сам прекрасно может ее проводить. Сюнкин ни за что не соглашалась. «Нет-нет, позовите Сасукэ!» — умоляла она, а когда Ритаро попытался силой ее вывести, она резко оттолкнула его, и тут на крик прибежал Сасукэ. Одного взгляда на выражение ее лица было достаточно Сасукэ, чтобы понять ситуацию.

Сюнкин считала, что после этого случая Ритаро больше не осмелится показаться у нее, но она ошиблась. Повидимому, Ритаро не мог вынести такого удара по своей репутации неотразимого кавалера. Во всяком случае, на следующий день он как ни в чем не бывало явился на урок. Тогда Сюнкин решила переменить тактику, рассудив про себя так: «Что ж, если он и вправду хочет учиться, я уж постараюсь вбить ему в голову эту премудрость — пусть терпит, если сможет». С тех пор она была с ним беспощадна на занятиях.

И вот Ритаро стал заниматься до седьмого пота, так что некогда было вздохнуть, но если прежде Сюнкин не разубеждала его в безукоризненности его мастерства, то теперь она только зло высмеивала горе-ученика, указывая ему на бесчисленные ошибки и промахи. Постоянно слыша от Сюнкин язвительную критику в свой адрес, Ритаро мало-помалу начал охладевать к занятиям, которые раньше служили ширмой для других его устремлений. Чем настойчивее и взыскательнее Сюнкин его учила, тем меньше мастерства и души вкладывал он в игру. Наконец, однажды Сюнкин не выдержала и, воскликнув: «Болван!» — ударила его наотмашь плетром, оставив глубокую ссадину меж бровей. Ритаро только охнул: «Ой больно!» Потом, утирая кровь, капающую со лба, он пробормотал: «Ну ладно, ты меня попомнишь», — и, разъяренный, выбежал из комнаты. С тех пор Сюнкин его больше не видела.

Согласно иной версии, человеком, изувечившим Сюнкин, мог быть отец одной девочки, жившей в северном квартале Синти. Эта девочка готовилась стать гейшей и пошла в ученицы к Сюнкин, снося все ее капризы, в надежде получить от обучения немалую пользу. Но однажды Сюнкин и ее ударила плетром по голове, так что девочка, плача, убежала домой. Поскольку от ссадины остался заметный рубец, то больше, чем сама девочка, рассердился ее отец. Вне себя от гнева он отправился за объяснением.

Судя по всему, он и впрямь доводился девочке родным отцом, а не приемным. «Можете что угодно твердить о порядке, но нельзя же так мучить ребенка! — резко заявил он. — Это возмутительно! Вы ей поранили лицо, а в нем для бедной крошки все ее состояние. Что вы теперь намерены делать?»

Сюнкин, в которой от его речей пробудился дух противоречия, надменно ответила: «Всем известно, что я не даю спуска на уроках — поэтому ко мне и приходят заниматься. А вы что, не знали этого? Зачем же тогда вы отдали мне в учение свою дочь?» Взбешенный отец возразил, что, если нужно, то не грех и отругать или даже шлепнуть ребенка, «но когда бьет незрячий человек, это просто преступление. Он ведь не разбирает, какое увечье и на каком месте может нанести. Слепому и надо вести себя как пристало слепому!» Окончательно распалившись, он уже готов был и сам перейти к действиям, так что потребовалось вмешательство Сасукэ, которому с большим трудом все-таки удалось убедить разгневанного родителя оставить их дом и вернуться восвояси. Тем временем Сюнкин сидела, сильно побледнев, вся дрожа, и упорно молчала, до самого конца не проронив ни единого слова извинения.

Некоторые утверждают, что этот человек в отместку за рану дочери и изуродовал внешность Сюнкин. Однако след от ссадины на лице девочки вряд ли мог быть чем-то большим, чем еле видимый шрам на лбу или за ухом. Даже для отца, переживающего за свою дочь, было бы слишком невероятной жестокостью из-за подобного пустяка навсегда загубить красоту Сюнкин тяжким увечьем. А так как объект его мести был слеп, то, даже если бы красота ее внезапно превратилась в уродство, это не должно было бы послужить настолько уж страшным ударом для Сюнкин.

Если бы злодей хотел расправиться с одной лишь Сюнкин, он мог бы найти более чувствительный для нее способ мести. Правильнее предположить, что действия его были направлены сразу против двоих: не ограничиваясь мучениями Сюнкин, негодяй рассчитывал одновременно заставить страдать и Сасукэ, что в конце концов еще усугубило бы душевные муки его жертвы. Если согласиться с таким предположением, то подозрение падает скорее все же не на отца девочки, а на Ритаро.

Никто не может точно сказать, до каких пределов разгорелось вожделение Ритаро, но хорошо известно, что мо-

лодые мужчины предпочитают неопытным девушкам зрелых женщин значительно старше себя по возрасту. Вероятно, слепая красавица обладала для Ритаро особой привлекательностью уже хотя бы потому, что неутоленная страсть его подогревалась решительными отказами. Если даже вначале он собирался просто поразвлечься с Сюнкин, то уже одно то, что ему пришлось перенести от нее побои, что она посмела ударить его, мужчину, по голове, могло заставить Ритаро искать беспощадной мести.

И все же, так как Сюнкин имела слишком много врагов и мы не знаем, кто еще и по каким причинам ее ненавидел, нельзя с полной уверенностью заключить, что виновником был именно Ритаро. К тому же, вовсе не обязательно здесь была замешана любовная интрига; возможно, мотивом преступления послужили деньги — ведь Сюнкин выгнала немало учеников из-за их бедности, как того слепого мальчика, который запаздывал с месячной платой. Кроме того, среди учеников были и такие, кто, хоть и не столь открыто, как Ритаро, ревновал ее к Сасукэ.

То, что Сасукэ занимает в доме странное положение «поводыря», не могло долго оставаться тайной, и скоро слухи об этом распространились среди учеников. Юноши, влюбленные в Сюнкин, тайно завидовали Сасукэ и в то же время презирали его за столь безропотное послушание. Если бы Сасукэ был ее законным мужем или если бы Сюнкин хоть обращалась с ним как с любовником, не было бы никакого повода для сплетен. Но внешне Сасукэ оставался для всех лишь ее поводырем, слугой. Как преданный раб, он выполнял для нее любые работы, вплоть до таких гигиенических процедур, как массаж и мытье в бане. Для тех, кто знал о другой стороне их жизни, беспрекословное раболепство Сасукэ должно было казаться чем-то унижительным. Многие шутили: «Что ж, хоть и достается тут работы, но побыть таким поводырем я бы тоже не отказался».

Те, кто ненавидел Сасукэ, могли рассуждать так: «Любопытно, какую гримасу состроит этот бездельник, когда увидит однажды утром вместо прекрасной Сюнкин страшную образину. То-то интересное будет зрелище!» Вполне вероятно, что решающую роль здесь сыграло враждебное отношение к Сасукэ.

В общем, существует так много версий, что из них трудно выбрать наиболее близкую к истине. Есть еще одно достаточно правдоподобное предположение, совершенно неожиданное и направляющее все подозрения в другую

сторону. Согласно этой версии, злоумышленником был не ученик Сюнкин, а кто-то из ее конкурентов, профессиональных преподавателей музыки. Хотя нет никаких доказательств, подтверждающих такой вариант, все же именно он может оказаться самым достоверным. Ведь Сюнкин, всегда отличавшаяся большим самомнением, считала, что в игре на кото ей нет равных, и публика была склонна ее поддерживать в таком убеждении. Это, разумеется, больно задевало тщеславие других музыкантов, а порой и представляло для них серьезную угрозу конкуренции. Собственно, звание мастера слепому музыканту (мужчине) жаловалось в старину императорским двором, находившимся в Киото, и обеспечивало особое, привилегированное положение, в том числе разрешение на специальную одежду и паланкин. Прием, который оказывала таким мастерам публика, тоже сильно отличался от того, как принимали простых музыкантов. Когда же в народе разнеслась молва, что всем мастерам вместе взятым далеко до искусства Сюнкин, те уже в силу особых качеств, присущих слепым, могли почувствовать неприязнь к незваной сопернице и придумать какое-нибудь дьявольское средство, чтобы разом покончить с ее искусством и всеми слухами о нем. Недаром часто можно услышать истории, как музыканты из профессиональной ревности травили своих собратьев ртутью. Впрочем, коль скоро Сюнкин не только играла, но и пела, чрезвычайно гордясь своей внешностью, завистник мог ограничиться тем, что изуродует ее так, чтобы она никогда больше не решилась выступить публично. Если же виновником был не музыкант-мужчина, а какая-нибудь учительница музыки, то ей ненавистно было прежде всего упоение Сюнкин собственной красотой, и уничтожить эту красоту явилось бы для нее величайшим наслаждением.

Итак, видя, сколько возникает объектов для подозрений, можно сделать вывод, что рано или поздно кто-нибудь обязательно решил бы свести счеты с Сюнкин. Сама того не замечая, она сеяла вокруг себя семена беды.

* * *

Это случилось месяца полтора спустя после описанной пирушки на празднике любования цветущей сливой в павильоне Тэнка, а именно в конце третьей луны, ночью, в восьмую стражу, то есть часа в три ночи.

«Сасукэ, разбуженный стопами Сюнкин, прибежал из соседней комнаты и торопливо зажег светильники. Вглядевшись, он понял, что кто-то открыл ставни и пробрался в спальню, но, видимо услышав, что Сасукэ проснулся, злодей бежал, ничего с собой не прихватив. Сейчас уже и след его простыл. Однако вспугнутый вор успел схватить подвернувшийся под руку чайник и швырнуть его в голову Сюнкин, так что на ее прекрасную белоснежную щеку брызнуло несколько капель киятка.

От ожога остался шрам. И хотя шрам был не больше, чем пустяковое пятнышко на белой стене, а лицо ее, ничуть не изменившись, оставалось по-прежнему прекрасным, как цветок, Сюнкин стеснялась даже такого маленького изъяна и с тех пор всегда прятала лицо под шелковой вуалью. Целыми днями просиживала она взаперти, не смея показаться людям. Даже близкие родственники и ученики вряд ли видели ее лицо, что порождало самые различные слухи и домыслы». Так говорится в «Жизнеописании Сюнкин».

Далее «Жизнеописание» продолжает: «В сущности, след от ожога был совсем незначительный и почти не повредил ее божественной красоты, но Сюнкин, со свойственным ей вниманием к своей внешности и болезненной чистоплотностью, а также с присущей слепым склонностью к преувеличениям, вероятно, считала этот рубец чем-то постыдным».

Повествование гласит: «Затем, по странному совпадению, спусти несколько недель у Сасукэ началась катаракта, и вскоре он ослеп на оба глаза. Когда все начало расплываться и тускнеть у него перед глазами и он постепенно перестал различать очертания предметов, Сасукэ неверными шагами человека, только что лишившегося зрения, добрался до комнаты Сюнкин и в безумном радостном волнении объявил: «Госпожа! Сасукэ ослеп. Теперь мне до конца моих дней не видеть шрама на вашем личике. Поистине, как вовремя я стал слепым! Конечно же, это воля небес». Выслушав его, Сюнкин долгое время оставалась задумчива и печальна».

Тем не менее, если принять во внимание глубокое чувство, владевшее Сасукэ, и его стремление утаить истину, нельзя не догадаться, что приведенная в «Жизнеописании» история целиком вымышлена. Трудно поверить, что Сасукэ внезапно заболел катарактой; не верится также, что Сюнкин, при всей ее болезненной любви к опрятно-

сти и склонности к преувеличениям, могла бы кутать лицо в платок и избегать общения с людьми только из-за какого-то пустякового ожога, который не нанес никакого ущерба ее красоте. Дело в том, что ее прекрасное, как яшма, лицо было жестоко изуродовано.

Судя по сведениям, полученным от Тэру Сигисавы, и по рассказам еще нескольких человек, злодей заранее пробрался на кухню, развел огонь и вскипятил воду. Затем с чайником в руках он проскользнул в спальню, наклонил носик чайника прямо над лицом Сюнкин и аккуратно вылил весь кипяток. С самого начала он поставил себе именно такую цель. Совершенно очевидно, что это был не простой вор и действовал он совсем не в растерянности и не в испуге.

В ту ночь Сюнкин надолго потеряла сознание от боли. Утром она наконец пришла в себя, но рана была так серьезна, что потребовалось более двух месяцев, чтобы обожженная кожа слезла и заменилась новой. Так объясняются многочисленные странные слухи об ужасной перемене в наружности Сюнкин, и не стоит пропускать мимо ушей как безосновательные сплетни разговоры о том, что часть волос у нее выпала и левая половина головы облысела.

Сасукэ, который вскоре сам ослеп, возможно, и не видел, как выглядела Сюнкин после той злополучной ночи, но могло ли быть так, что «даже близкие родственники и ученики вряд ли видели ее лицо»? Невероятно, чтобы она наотрез отказывалась показаться всем без единого исключения, и уж кто-нибудь вроде Тэру Сигисавы просто не мог не видеть лица своей госпожи. Однако Тэру из уважения к воле Сасукэ ни за что не соглашалась открыть тайну обличья Сюнкин. Я тоже попробовал однажды напрямик спросить у нее об этом, но она так ничего и не ответила, заметив только: «Сасукэ-сан считал госпожу учительницу несравненной красавицей, и я сама всегда о ней так думаю».

* * *

Сасукэ лишь более десяти лет спустя после смерти Сюнкин поведал своим ближайшим друзьям о подлинных событиях той ночи, и по его рассказу можно составить довольно точное представление о том, что же в действительности произошло.

Итак, в ночь, когда Сюнкин подверглась злодейскому

нападению, Сасукэ, как всегда, находился в комнате, прильнувшей к ее спальне. Услышав шум, он проснулся и увидел, что ночные светильники погашены. В крошечной тьме из комнаты Сюнкин доносились стоны. Сасукэ, пораженный и напуганный, вскочил, тут же зажег фонарь и поспешил к ложу Сюнкин, которое помещалось за ширмой. Позолота ширмы блеснула под лучом. В неверном свете фонаря он огляделся вокруг, но обстановка комнаты казалась нетронутой, только возле изголовья Сюнкин валялся брошенный чайник. Сама Сюнкин тоже как будто бы спокойно лежала на спине, укрытая одеялом, но почему-то громко стонала. Сасукэ вначале подумал, что ее мучат ночные кошмары, и попытался ее разбудить, наклонившись к ложу со словами: «Что случилось, госпожа?» Когда он уже было собрался приподнять ее и встряхнуть, Сюнкин вдруг вскрикнула от ужаса и прижала руки к глазам. Переменяя слова стопами, она твердила: «Сасукэ, Сасукэ, я стала безобразной. Прощу тебя, не смотри на мое лицо!» Извиваясь от боли, она бессознательно старалась закрыть лицо ладонями.

Сасукэ успокаивал ее, повторяя: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я не смотрю на ваше лицо, у меня глаза закрыты», — и он отставил подальше фонарь. Услышав это, Сюнкин, казалось, успокоилась и впала в беспамятство, но затем, уже в забытии, она продолжала шептать: «Не показывай никому мое лицо... Храни все в тайне...» Сасукэ пробовал утешить ее: «Не волнуйтесь так, не надо, — когда ожог пройдет, вы будете выглядеть по-прежнему». Однако, придя в себя, Сюнкин была безутешна: «Разве может ничего не измениться после такого огромного, страшного ожога?! Полно меня утешать. Лучше просто не смотри на мое лицо».

Никому, кроме врача, — даже Сасукэ, — она не соглашалась показать, в каком состоянии находится рана. Когда нужно было менять повязки и пластыри, все попросту изгонялись из комнаты. Вероятно, в тот момент, когда Сасукэ ночью подбежал к ложу Сюнкин, он увидел мельком ее ошпаренное лицо, но зрелище было настолько ужасно, что он тут же отвернулся, и память сохранила лишь смутное видение — нечто далекое от человеческого облика в колеблющихся бликах света под фонарем. А затем он мог видеть только ее ноздри и рот, оставшиеся свободными от бинтов. Если Сюнкин боялась быть увиденной, то Сасукэ сам не меньше боялся увидеть ее — и потому, приближаясь к постели больной, всегда крепко

зажмуривался или отворачивался. Таким образом, он действительно не знал, какие перемены произошли во внешности Сюнкин, и сам избегал возможности узнать.

Однажды, когда здоровье Сюнкин уже шло на поправку и ожог почти зажил, она выбрала момент и с давно скрываемым волнением обратилась к Сасукэ, сидевшему у изголовья: «Скажи, Сасукэ, ты, наверное, видел мое лицо?» — «Нет, что вы! — ответил о н . — Ведь вы мне приказали не смотреть, разве мог я послушаться!»

Тут даже мужественная Сюнкин не выдержала, утратив всю свою силу воли: «Но ведь рана скоро заживет, и повязку придется снять, и доктор больше не будет приходить. Тогда кто-нибудь обязательно должен будет увидеть это страшное лицо, пускай даже ты один...» Что было совсем уж невероятно, слезы ручьем лились у нее из глаз, и она вытирала их бинтами. Сасукэ тоже не находил слов от горя, и они плакали вместе. Наконец он сказал твердым голосом, как будто приняв какое-то решение: «Успокойтесь, я сделаю так, чтобы никогда больше не видеть вашего лица».

Прошло несколько дней, и Сюнкин стала вставать с постели. Делать было нечего — настало время снимать повязки. Тогда Сасукэ как-то рано поутру, незаметно взяв в комнате служанок швейную иглу и зеркало, унес их в свой уголок. Затем он сел на кровать и, глядя в зеркало, вонзил иглу себе в глаз. Он вовсе не был уверен, что если уколеть иглой глаз, то обязательно ослепнешь, но предполагал, что это наиболее безболезненный и легкий способ добиться слепоты. Сначала он попытался нанести укол, целясь в левый зрачок, но уколеть зрачок иглой оказалось делом нелегким: мешал слишком плотный белок. Ему пришлось повторить попытку несколько раз, пока наконец он не попал в цель. Игла, как ему показалось, вошла суна на два. Тут же все глазное яблоко затуманилось, и он понял, что теряет зрение. Не было ни крови, ни жара; боль тоже почти не ощущалась. По всей вероятности, он повредил линзу хрусталика, вызвав травматическую катаракту. Затем Сасукэ применил уже опробованный способ на правом глазу — и вот уже оба глаза были приведены в полную негодность. Правда, еще дней десять после этого он мог различать смутные контуры предметов, но вскоре ослеп окончательно.

Позже, когда Сюнкин проснулась, он ощупью добрался до ее комнаты и, склонив голову, сказал: «Госпожа, я

ослеп. Теперь я никогда в жизни не увижу больше вашего лица». — «Правда, Сасукэ?» — только и промолвила Сюнкин. Потом она долго молчала, как видно обдумывая что-то. Никогда в жизни Сасукэ не испытывал такого счастья, как в эти минуты молчания.

Известно, что в древности Кагэкиё Акуситибёэ был настолько поражен меткостью Ёритомо, своего соперника в стрельбе из лука, что, отчаявшись добиться победы, поклялся никогда больше не смотреть на торжествующего врага и вырвал себе оба глаза. Конечно, Кагэкиё руководствовался совсем иными побуждениями, но Сасукэ, во всяком случае, не уступал ему в силе духа и решимости.

И все же такова ли была воля Сюнкин? Действительно ли своими слезами она говорила Сасукэ: «Раз со мной случилось такое несчастье, я хочу, чтоб и ты ослеп»? Трудно с уверенностью судить об этом, но Сасукэ показалось, что в коротком восклицании «Правда, Сасукэ?» голос ее дрогнул от радости. Позже, когда оба сидели друг против друга, шестое чувство, присущее только слепым, подсказало Сасукэ, что в сердце Сюнкин его поступок не встретил ничего, кроме искренней и глубокой благодарности. До сих пор даже в мгновения физической близости их разделяла бездонная пропасть — сознание неравенства между учителем и учеником. Впервые Сасукэ почувствовал, что сердца их слились в единое целое. В его памяти всплыли воспоминания детских лет о мраке, царившем в уборной, где он разучивал упражнения на сямисэне. Сейчас ощущение было совсем другое.

Большинство слепых может различать направление, откуда падает свет. Слепые живут в тускло мерцающем мире, а не в мире крошечного мрака, как полагают некоторые. Сасукэ понял, что теперь взамен способности видеть внешний мир у него открылись глаза на внутреннюю сущность вещей. «А, — подумал о н, — так вот каков тот мир, в котором живет моя госпожа! Наконец-то мы будем жить в нем вместе». Его ослабевший взор уже не мог отчетливо различать ни обстановку комнаты, ни облик Сюнкин — перед ним смутно вырисовывался лишь бледный, расплывчатый контур лица, закрытого бинтами, но о бинтах он и не думал. В неясном свете он видел то прекрасное лицо Сюнкин, каким оно было всего два месяца назад, — похожее на лик Будды, улыбающийся праведнику.

«Это было не больно, Сасукэ?» — спросила она. «Нет, — ответил он, повернувшись к едва различимому смутному диску, бывшему лицом Сюнкин. — Разве может это сравниться с тем, что пришлось вынести госпоже! Я не могу простить себе, что заснул той ночью, когда негодяй пробрался в дом. Ведь моя обязанность — быть в соседней комнате и охранять вас. И все же я цел и невредим, а вы из-за меня перенесли такие муки! Днем и ночью я молился душам предков, чтобы они послали и мне какое-нибудь несчастье, — ведь больше ничем я не мог искупить свою вину. И вот, благодарение богам, мое желание исполнилось. Когда я встал сегодня утром, то почувствовал, что слепну. Боги услышали мою просьбу и сжалились надо мной. Госпожа! Дорогая моя госпожа! Я не вижу никакой перемены в вашем лице. Сейчас передо мной только то милое, прекрасное лицо, которое вот уже тридцать лет запечатлено глубоко в моем сердце. Прошу вас, позвольте мне служить вам, как прежде. Правда, я совсем недавно ослеп и еще не привык — наверное, я не смогу делать все как надо, но я так хочу по-прежнему заботиться о вас, выполнять все ваши желания!»

Лицо Сюнкин просияло от счастья. «Твое решение так великодушно, Сасукэ, — сказала она. — Я не знаю, кто так возненавидел меня, что решился на это черное дело... Признаюсь тебе: даже если бы другие и видели сейчас мое лицо, больше всего я боялась, что его увидишь ты. Я так благодарна тебе за то, что ты все понял!»

«Ах, — отвечал Сасукэ, — потерять глаза для меня ничто в сравнении со счастьем услышать вашу благодарность. Не знаю, кто внес в нашу жизнь столько горестей, но, кто бы он ни был, если этот злодей хотел, обезобразив ваше лицо, нанести удар и мне, то он просчитался. Из его гнусного замысла ничего не вышло, потому что я больше не вижу! Да, я стал слепым, и теперь для меня все по-прежнему, как будто с вами ничего не случилось. Разве это несчастье? Наоборот, никогда я не был счастливее, чем сейчас. Сердце просто рвется из груди от радости, как подумаю, что я все-таки посрамил этого подлого труса!»

«Сасукэ, не надо, не говори больше ничего!» — воскликнула Сюнкин, и, обнявшись, они зарыдали.

Из тех, кто знал о подробностях дальнейшей совместной жизни Сасукэ и Сюнкин после того, как они превратили свою беду в счастье, осталась одна Тэру Сигисава. В этом году ей исполнилось семьдесят, а когда она стала ученицей и одновременно служанкой Сюнкин, ей не было еще и одиннадцати лет.

Изучая в основном под руководством Сасукэ игру на струнных инструментах, Тэру помогала слепой чете в самых различных вещах, будучи и поводырём для обоих, и неким связующим звеном между ними. Конечно, они нуждались в такой помощи: ведь Сасукэ ослеп недавно и еще плохо ориентировался в пространстве, а Сюнкин, хоть и лишилась зрения еще в детстве, всю жизнь прожила в роскоши и никогда пальцем не пошевелила, чтобы заняться какой-нибудь работой. Поэтому они решили нанять скромную девочку, которая бы их не стесняла, и после того, как Тэру была принята в услужение, ее честность и старательность произвели хорошее впечатление на хозяев, завоевав полное доверие обоих. Рассказывают, что Тэру прослужила в доме Сюнкин много лет, уже после смерти госпожи помогая Сасукэ по хозяйству, вплоть до 23-го года Мэйдзи¹, когда ему было пожаловано звание мастера.

В 7-м году Мэйдзи², когда Тэру впервые поселилась у своих новых хозяев, Сюнкин было уже сорок пять лет. Молодость осталась позади — даже со времени постигшего ее несчастья минуло уже девять лет. Тэру было сказано, что госпожа по определенным соображениям никому не показывает лица и она, Тэру, тоже никогда не должна пытаться его увидеть. Сюнкин носила двойное кимоно с гербом, а голову и лицо плотно укутывала крепдешинным платком песочно-серого цвета, так что был виден только кончик носа. Края платка нависали над глазами, скрывая также щеки и рот.

Сасукэ, когда он выколол себе глаза, было сорок лет. Нелегко ослепнуть на пороге старости, а ведь он к тому же один должен был обслуживать Сюнкин, выполнять все ее желания и капризы, устранять малейшие неудобства, даже не помышляя о том, чтобы пренебречь каким-нибудь поручением. Что и говорить, здесь нужны были зрячие глаза, но Сюнкин больше никому не доверяла заботы о своем

¹ 1890 г.

² 1874 г.

туалете, повторяя: «Зрячие вовсе ни к чему, чтобы ухаживать за мной. Дело только в привычке, а он приходит с годами. Сасукэ ведь все знает лучше других — он управится один». Сасукэ занимался ее одеванием, купанием, массажем, он провожал ее в уборную и чего только еще не делал.

Итак, услуги Тэру сводились, в общем, к обслуживанию Сасукэ, а непосредственно к телу Сюнкин она и не притрагивалась. Однако по части приготовления пищи Тэру была незаменима, а кроме того, она занималась покупками и кое в чем помогала Сасукэ, когда тот прислуживал Сюнкин. Например, она провожала их до дверей ванной и оставляла там, пока Сасукэ, как было условлено, не позовет ее хлопком в ладоши. К тому времени Сюнкин уже успевала вылезти из бочки и накинуть легкий халат с капюшоном — только тогда Тэру выходила навстречу. До этого момента Сасукэ все делал сам. Каким образом одному слепому удавалось купать другого слепого? Должно быть, он прикасался к ней так же осторожно, так же нежно, как Сюнкин в свое время гладила шершавый ствол старой сливы. Без сомнения, это было нелегкое дело.

Люди только дивились, почему Сасукэ мирится со всеми ее причудами и как это они так хорошо уживаются друг с другом. Но Сасукэ и Сюнкин, казалось, наслаждались самыми трудностями своего существования, безмолвно упиваясь глубоким взаимным чувством любви. Наше воображение не в силах представить, какие радости приносила любящей чете, лишенной дара зрения, способность осязать друг друга. И нет ничего удивительного в том, что Сасукэ столь ревностно прислуживал Сюнкин, а Сюнкин столь настоятельно требовала именно его услуги, равно как и в том, что оба никогда не утомляли друг друга.

Так повелось, что Сасукэ, как бывший помощник Сюнкин, в свободное время стал обучать детей и женщин музыке. (Сюнкин в эти часы уединялась в своей комнате.) От Сюнкин он получил прозвище Киндай и не раз пользовался ее советами относительно ведения занятий. На табличке у входа в дом рядом с именем Модзюя Сюнкин иероглифами поменьше было выведено: «Нукуи Киндай».

Верность и благородство Сасукэ завоевали ему симпатию соседей, и к нему приходило куда больше учеников, чем бывало раньше у Сюнкин. Пока Сасукэ вел урок, Сюнкин обычно в полном одиночестве слушала у себя в комнате соловьиное пение. Когда же ей что-либо было нужно, она без стеснения, даже в самый разгар занятий, могла

позвать: «Сасукэ, Сасукэ!» — и Сасукэ, все бросив, опроретью бежал к ней. Беспokoясь о Сюнкин, он даже откаывался давать уроки на стороне, принимая учеников только у себя дома.

Надо сказать, что дела торгового дома Модзюя к тому времени сильно пошатнулись, и потому ежемесячное пособие Сюнкин все более и более урезалось. Если бы не это, разве стал бы Сасукэ заниматься преподаванием! Ведь и так он использовал каждую свободную минутку, чтобы забежать проведать Сюнкин, даже во время занятий сгорая от нетерпения поскорее вновь оказаться рядом с ней. Как видно, и Сюнкин очень тосковала без Сасукэ.

* * *

Чем же объясняется, что Сасукэ так и не оформил свой брак с Сюнкин, несмотря на то что он в сущности взял на себя все обязанности по преподаванию и даже вел хозяйство, испытывая немалые трудности из-за своего увечья? Или ее гордость все еще восставала против этого? По словам Тэру, Сасукэ признавался, что ему больно чувствовать, какой подавленной и несчастной стала Сюнкин. Он просто не мог привыкнуть к мысли, что ее нужно жалеть, как любую обыкновенную женщину.

Вероятно, лишив себя зрения, Сасукэ вообще хотел закрыть глаза на действительность и целиком устремился к своему прежнему неизменному идеалу. В его сознании реально существовал только мир прошлого. Если бы характер Сюнкин изменился из-за постигших ее бедствий, она уже не могла бы оставаться для Сасукэ кумиром. Он хотел всегда видеть в ней былую Сюнкин, гордую и высокомерную, — иначе образ прекрасной Сюнкин, созданный его воображением, был бы разрушен.

Следовательно, у Сасукэ было больше оснований противиться женитьбе, чем у Сюнкин — возражать против замужества. Так как Сасукэ стремился через посредство реальной Сюнкин вызвать к жизни образ Сюнкин вымышленной, он избегал вести себя с ней на равных и во всем неукоснительно старался придерживаться правил отношений слуги с госпожой. Он прислуживал ей с еще большим самоуничижением, нежели прежде, чтобы помочь ей быстрее позабыть о перенесенном несчастье и снова обрести уверенность в себе.

Как и много лет назад, он довольствовался ничтожным жалованьем, скудной пищей и убогой одеждой слуги, от-

давая все заработанные деньги на нужды Сюнкин. Вдобавок в целях экономии Сасукэ сократил число слуг, но, идя на определенные ограничения в других вопросах, он всегда следил, чтобы ни одна мелочь не была забыта, когда речь шла об удовлетворении капризов Сюнкин. Таким образом, с тех пор как Сасукэ ослеп, работы ему прибавилось вдвое.

Из рассказов Тэру видно, что ученики, сочувствуя жалкому обличью Сасукэ, не раз советовали ему проявлять побольше внимания к своей внешности. Однако Сасукэ их не слушал и, больше того, до сих пор запрещал ученикам называть себя «господин учитель», требуя, чтобы к нему обращались просто «Сасукэ-сан», но это требование приводило учеников в такое смущение, что они вообще избегали обращаться к учителю по имени или по званию. Только Тэру, которая прислуживала по хозяйству и не могла обойтись без имени, величала его «Сасукэ-сан», а Сюнкин — «госпожой учительницей». После смерти Сюнкин Тэру была единственной женщиной, с которой Сасукэ доверительно беседовал: должно быть, она пробуждала в нем воспоминания о покойной госпоже.

Впоследствии, когда он был официально удостоен звания мастера и все ученики теперь уже единогласно называли его «господин учитель», а в обществе он был известен не иначе, как «учитель Киндай», ему доставляло большое удовольствие, если Тэру обращалась к нему по-прежнему «Сасукэ-сан», и он не позволял ей называть себя более почтительно. Однажды Сасукэ сказал ей: «Мне кажется, все считают слепоту страшным несчастьем, но я, с тех пор как ослеп, никогда не испытывал такого чувства. Скорее наоборот, этот мир превратился для меня в обитель блаженства, где я жил вместе с госпожой, словно Будда в цветке лотоса.

Только ослепнув, начинаешь замечать множество вещей, которые оставались невидимы, пока ты был зрячим. Став слепым, я впервые по-настоящему понял, какая красота заключена в лице госпожи, впервые я до конца постиг изящество ее тела, нежность кожи, волшебное звучание ее голоса... «Почему же я никогда так хорошо не чувствовал всего этого, будучи зрячим?» — удивлялся я. Но более всего, лишившись зрения, я был поражен ее искусством игры на сямисэне. Конечно, я всегда знал, что талант госпожи не идет ни в какое сравнение с моими скромными способностями, но только теперь я в полной мере оценил всю глубину его превосходства.

«Как мог я, глупец, не понимать этого раньше?» — спрашивал я себя. И если бы боги предложили вернуть мне зрение, я бы отказался. Ведь только потому, что мы с госпожой оба были слепы, нам довелось испытать счастье, недоступное вам, зрячим».

Трудно сказать, насколько соответствовало действительности столь субъективное признание Сасукэ. Однако, что касается мастерства Сюнкин, то разве не могло постигшее ее второе несчастье послужить неким отправным пунктом, стимулом к достижению еще более полного совершенства в музыке? Как ни велики были врожденные способности Сюнкин, никогда ей не удалось бы постигнуть святая святых искусства, не изведав бед и невзгод на жизненном пути. С самого детства все баловали ее и всячески ублажали. Строго требуя с других, она никогда не знала ни тяжкого труда, ни горечи унижения, и не находилось человека, который мог бы хоть немного сбить с нее спесь. Наконец само небо послало Сюнкин суровое испытание, поместив ее на грань между жизнью и смертью и сломив ее непомерную гордыню. Мне представляется, что несчастье, погубившее красоту Сюнкин, обратилось для нее во благо: и в любви, и в искусстве ей открылись такие глубины, о которых прежде она не могла и мечтать.

Тэру рассказывает, что Сюнкин часто подолгу сиживала, перебирая струны сямисэна и вслушиваясь в их звучание, а рядом, склонив голову, весь обратившись в слух, пристраивался Сасукэ. Бывало, ученики, зачарованные волшебными звуками, доносившимися из внутренних покоев, перешептывались, что это совсем не похоже на обыкновенный сямисэн. В то время Сюнкин не только совершенствовала искусство игры, но и занималась сочинением музыки. Даже по ночам она иногда тихонько наигрывала новые мелодии. Тэру запомнились две ее песни: «Соловей весной» и «Шесть цветков». Как-то я попросил Тэру сыграть эти песни для меня — мелодии привлекали своеобразием и свежестью, не оставляя никаких сомнений в таланте композитора.

* * *

Сюнкин тяжело заболела в первую декаду шестой луны 10-го года Мэйдзи¹. За несколько дней перед этим они вдвоем с Сасукэ вышли прогуляться в садик перед домом и там, открыв клетку с любимым жаворонком Сюнкин, вы-

¹ 1877 г.

пустили его в небо. Тэру видела, как учительница и ее верный ученик стояли рука в руке, подняв головы, устремив невидящие взоры ввысь, и слушали доносившиеся издалека трели. Весело распевая, жаворонок поднимался все выше и выше, пока не исчез в облаках. Он так долго не возвращался, что Сасукэ и Сюнкин начали беспокоиться. Они прождали больше часа, но жаворонок так и не вернулся в клетку. С той поры Сюнкин была безутешна, ничто не могло ее развеселить. Вскоре у нее началась бери-бери, к осени состояние резко ухудшилось, и в 14-й день десятой луны она скончалась от сердечного приступа.

Кроме жаворонка, Сюнкин держала еще соловья, Тэнко-третьего, который пережил свою хозяйку. Сасукэ, многие месяцы горевавший по Сюнкин, плакал каждый раз, когда слышал пение Тэнко. Он подолгу возжигал благовонные курения перед поминальной табличкой Сюнкин, а иногда, взяв кото или сямисэн, наигрывал «Соловей весной». Эта песня, начинающаяся со слов «Соловей сладкоголосый трель рассыпал на холме», — наверное, лучшее творение Сюнкин, в которое она вложила всю свою душу. Хотя текст песни и короток, в ней есть некоторые очень сложные инструментальные пассажи. Сюнкин пришла на ум мелодия «Соловья», когда она слушала пение Тэнко, и звучит песня как бы напоминанием о словах: «Лед соловьиных слез теперь растает». При этих словах нам чудится журчание вздувшегося горного ручья, когда начинается таяние снегов на вершинах, чудится шелест сосновых крон, дуновение восточного ветерка, аромат сливовых цветов, укрывших белой дымкой горы и доли, облака распутившейся сакуры — и соловей, перелетая из долины в долину, порхая меж ветвей деревьев, приглашает всех насладиться прелестью весны...

Когда Сюнкин начинала играть свою песню, Тэнко радостно запевал, словно споря со звоном струн ее сямисэна. Должно быть, песня напоминала ему о зелени родной лощины, звала к свободе и солнечному свету. А куда устремлялся душой Сасукэ, когда играл «Соловей весной»? Может быть, он, долгие годы знавший Сюнкин лишь по слуху и осязанию, восполнял музыкой свою утрату. Люди помнят об умерших, пока их образ окончательно не изгладится из памяти, но для Сасукэ, который и при жизни видел свою возлюбленную только в мечтах, возможно, не существовало четкого рубежа между жизнью и смертью...

У Сасукэ и Сюнкин, кроме того ребенка, о котором упоминалось в начале повествования, родились еще девочка и два мальчика. Девочка вскоре после рождения умерла, а мальчики были отданы на воспитание одному крестьянину в Кавати. Сасукэ даже после смерти Сюнкин не проявлял к сыновьям никакой привязанности и не стремился забрать их обратно, да и сами ребята не хотели возвращаться к своему слепому отцу. До конца своих дней он жил один, без жены и детей, и умер глубоким стариком, окруженный учениками, в 14-й день десятой луны 40-го года Мэйдзи в возрасте восьмидесяти двух лет¹. Этот день пришелся на годовщину смерти Сюнкин. Вероятно, за двадцать лет, проведенных в одиночестве, Сасукэ мысленно создал для себя другую Сюнкин, совсем не похожую на ту, настоящую, которую он знал в былые дни.

Когда преподобный Гадзан из храма Тэнрю услышал историю о самоослеплении Сасукэ, он восхвалил его за постижение духа Дзэн. Ибо, сказал он, с помощью духа Дзэн удалось этому человеку в одно мгновение изменить всю свою жизнь, превратив безобразное в прекрасное и совершив поступок, близкий к деяниям святых. Не знаю, согласятся ли с таким суждением читатели.

1933

¹ 1907 г.

КОШКА, СЁДЗО И ДВЕ ЖЕНЩИНЫ

«Ёсико-сан, пожалуйста, простите меня. Я пишу Вам это письмо от имени Юки-тян, но на самом деле я не Юки-тян. Вы, конечно, догадываетесь, кто я такая. Едва вскрыл конверт, Вы сразу все поняли. «Так значит, это она», — подумаете Вы брезгливо: как некрасиво писать под чужим именем. Но поймите меня правильно: если бы я написала на конверте свое настоящее имя, он, конечно, перехватил бы мое письмо. А я очень хочу, чтобы Вы его прочитали, вот и пришлось прибегнуть к такой уловке. И не беспокойтесь, пожалуйста: я не буду оскорблять Вас или пытаться разжалобить. На мою долю выпало много переживаний, и они закалили меня. Не думайте, что я все время плачу. Да, мне часто хочется плакать, мне бывает очень горько, но я твердо решила больше не думать об этом и жить как можно веселее. Судьба переменчива, когда и что с кем станется, нам знать не дано, так что глупо завидовать и злиться на чужое счастье.

Я, конечно, женщина необразованная, но я хорошо понимаю, что с моей стороны неучтиво обращаться к Вам непосредственно. Да и Цукамото-сан все время говорит мне об этом. Но ведь он ни за что не станет меня слушать, вот мне и не остается ничего другого, как обратиться со своей просьбой к Вам. Нет, нет. Вы не думайте, что просьба какая-нибудь особенная, ничего обременительного в ней нет. Я хочу от Вас только одного. Нет, не думайте, что я потребую вернуть мне его. Дело совсем пустяковое, суцая мелочь: мне нужна Лили. Цукамото-сан говорит, что он согласился бы отдать Лили, да Ёсико-сан не хочет. Скажите, Ёсико-сан, это действительно так? Неужели Вы будете против того, чтобы исполнилось мое одно-единственное желание? Ну подумайте, Ёсико-сан: я отдала Вам человека, который мне дороже жизни. Да что там, я покинула свой счастливый домашний очаг, который мы с этим человеком построили. Я не увезла с собой ни единой чашки, я даже не прошу, чтобы Вы вернули мне мое прида-

ное. Ведь я ничего не требую. Прошу только об одном — отдайте мне Лили, хотя ее присутствие будет скорее печальным воспоминанием, чем радостью. Вы унижали меня — я все терпела. И в награду за это я всего-то и прошу — одну кошку. Неужто это чересчур дерзкая просьба? Для Вас она всего-навсего маленькая зверушка. Вам и дела до нее нет, а мне она так скрасила бы одиночество... Я не плакса, но порой бывает так тоскливо, а если бы рядом была Лилишка... Никого у меня нет, кроме кошки, ни единого человека. Что же, Вам непременно нужно и это у меня отнять? Неужели Вы такая бессердечная и Вам ни-сколочко не жаль несчастной, обездоленной женщины?

Нет, я знаю, Вы не такая. Это не Вы отказываетесь отдать мне Лили, это он, я уверена. Он очень любит Лилишку. Он всегда говорил: «С тобой я, пожалуй, и разошелся бы, а вот с киской нет». И как за стол садиться, и как спать ложиться — всегда она ему была милее, чем я. Но зачем же он не скажет прямо: не отдам, а ссылается на Вас? Пожалуйста, поразмыслите об этом... Он выгнал меня, нелюбимую, женился на Вас, на любимой. Ну так пока он жил со мной, Лили ему была нужна, а теперь, я так понимаю, только мешает. Или, может быть, ему и теперь плохо без Лилишки? Может быть, и теперь кошка ему дороже Вас? Впрочем, извините, я совсем не то хотела сказать... Нет, это, конечно же, глупость, такого быть не может; но что, если у него все-таки совесть неспокойна, иначе зачем бы ему скрывать истинную причину и сваливать всю ответственность на Вас?.. Ах, что это я, ведь все это меня уже не касается. Но будьте осторожны, глядите в оба, не то как бы он и Вас на кошку не променял. Я не хочу никого обидеть, я не о себе думаю, а о Вас. Постарайтесь поскорее разлучить его с Лили, а если он не согласится, не кажется ли Вам, что это подозрительно?..»

Держа в памяти каждое слово и каждую строчку этого письма, Ёсико как бы невзначай следит за Сёдзо и за Лили. Сёдзо не торопясь потягивает сакэ и закусывает маринованными ставридками. Отпив глоток, он ставит чашечку и зовет: «Лили!», а сам ухватывает палочками ставридку и высоко поднимает ее над столом. Лили стремглав бросается к нему и, став на задние лапы, а передние уперев в край низенького овального столика, неотрывно смотрит на тарелку с рыбой, напоминая не то посетителя у стойки бара, не то химеру Нотр-Дама. Лили мгновенно

раздувает ноздри, устремив на лакомый кусочек свои большие, умные глаза, широко раскрытые и оттого совсем круглые, как у чем-то удивленного человека. Однако Сёдзо не спешит бросать ей рыбку.

— А ну-ка! — говорит он и подносит ставридку к самому носу кошки, но затем отправляет ее к себе в рот. Он высасывает из рыбы уксус и перекусывает твердые косточки. Теперь лакомство для киски готово, он снова подцепляет его палочками и водит ими туда-сюда. Лили отрывает передние лапы от столика и, прижав их к грудке, наподобие рук у привидения, неловко ходит на задних лапах вслед за лакомством. Наконец Сёдзо задерживает руку прямо у Лили над головой; она нацеливается и прыгает что есть сил, вытянув в прыжке передние лапы, чтобы вцепиться ими в рыбу. Мимо! Она тут же прыгает еще раз. С каждой рыбкой эта игра продолжается минут пять, а то и десять.

Сёдзо готов играть так сколько угодно. Скормив очередную рыбку, он отпивает чуть-чуть сакэ, зовет: «Лили!» — и все начинается снова. Из дюжины ставридок, поданных к столу, сам он съедает всего три-четыре. Из остальных он только высасывает уксус, а самих рыбок отдает кошке.

— Ай, ай, больно же! Ах, чтоб тебя! — внезапно вскрикивает Сёдзо. Лили неожиданно вскочила ему на плечо и выпустила когти. — Слезай! Слезай, тебе говорят!

Идет вторая половина сентября, дни уже не такие жаркие, но Сёдзо, не выносящий жары и потливый, как все толстяки, вынес столик на веранду, грязную от недавнего наводнения, и сидит в одной рубашке с короткими рукавами, заправленной в шерстяное харемаки, и в легких коротких штанах. Вспрыгнув к нему на толстое, вроде круглого холма, плечо, Лили вцепилась в него когтями, чтобы не соскользнуть. Когти прорвали тонкую рубашку и впились в кожу.

— Ой, больно, больно! — вопит Сёдзо. — Слезай немедленно! — Он трясет плечами, чтобы сбросить кошку на пол, но она вцепляется в него еще сильнее, и на рубашке проступает кровь. Однако Сёдзо не сердится, только ворчит добродушно: — Экая дура.

Лили ничуть не обижается и трется щекой о его щеку, подлизываясь. Как только он отправляет рыбку в рот, она утыкается мордочкой прямо ему в губы. Тогда Сёдзо языком выталкивает рыбку изо рта, она мгновенно схватывает и глотает ее, а потом с довольным видом начинает ли-

зять хозяина вокруг губ. Впрочем, иногда Сёдзо не разжимает зубы, и тогда хозяин и кошка тянут рыбку каждый в свою сторону. В таких случаях Сёдзо бурчит что-нибудь вроде «У-у-у!», или «Э, э!», или «Я тебя!», злится и плюется, но видно, что ему так же приятно, как и Лили.

— А? Что такое? — Сёдзо, довольный и разомлевший, не глядя, передал пустую чашечку жене, но вдруг обеспокоенно посмотрел на нее. До сих пор все как будто было как обычно, но теперь жена, даже и не подумав налить ему сакэ, стояла, сложив руки на груди, и пристально глядела прямо ему в глаза.

— Что, кончилось сакэ, что ли? — он отвел руку с чашечкой назад и перепуганно заглянул ей в лицо.

— Надо поговорить, — коротко ответила Ёсико, ни сделав в его сторону ни малейшего движения.

— О чем это? Что стряслось?

— Отдай кошку Синако-сан.

— С какой стати? — Он раздраженно заморгал: что это за новости, ни с того ни с сего? — Что это ты вдруг?

— Ничего. Отдай кошку. Завтра же позови Цукамото-сан, и пускай отвезет.

— Да в чем дело-то?

— Ты что, отказываешься?

— Ну постой. Объясни хоть. Что тебе не так, а?

«Ревнует к Лили? — подумал о н . — Но это вздор какой-то, она же сама всегда любила кошку».

Еще в те времена, когда Сёдзо жил с прежней женой, Синако, и та иногда заявляла ему, что ревнует к кошке, Ёсико смеялась над ней и говорила, что это нелепо. Так что когда она выходила за него, она ничего против Лили не имела и даже сама привязалась к ней. Лили делила с супругами завтрак, обед и ужин за этим самым столиком, и до сих пор Ёсико ни разу не оспаривала этот порядок. Более того, Сёдзо всегда играл за ужином с Лили, потягивая вечернее сакэ, и Ёсико охотно любовалась этим редкостным, прямо-таки цирковым зрелищем, а то и сама бросала кошке угощение или заставляла ее прыгать за ним. Словом, присутствие Лили только сблизало новобрачных и разряжало атмосферу за столом, мешать же ничуть не мешало. Так что же тогда произошло? Еще вчера, да что там вчера, и сегодня в начале ужина, пока он не выпил пятую или шестую чашечку, все было в порядке, ситуация изменилась прямо на глазах. Очевидно, жену за-

дела какая-то мелочь. Или, может, ей стало жалко Синако, раз она просит отдать ей кошку?

Вообще-то, когда Синако уходила отсюда, то в качестве одного из условий развода она заявила свои права на Лили и впоследствии неоднократно через Цукамото передавала свое требование. Однако Сёдзо не принимал ее притязаний всерьез и каждый раз отвечал отказом. По словам Цукамото, Синако и рада бы не грустить о таком ненадежном мужчине, который выгнал законную спутницу жизни и взял постороннюю женщину, но на самом деле она все еще не может забыть Сёдзо. Она пыталась разлюбить и возненавидеть его, но это ей не удалось, и теперь она хочет иметь что-нибудь, что напоминало бы ей о нем, потому и требует Лили. Когда они жили вместе, Синако ее не выносила и обижала, потому что муж был уж слишком к ней привязан, но теперь ей дорого все, что было вокруг нее в том доме, и особенно дорога Лилишка. Для нее Лилишка что-то вроде ребенка Сёдзо, и она хотела бы о ней заботиться, это скрасило бы ее горькую, одинокую жизнь.

— Ну ладно, Исии-кун, подумаешь, кошка? Надо бы отдать, раз просит.

— Мало ли что она там скажет, не верю я ей, — всякий раз отвечал Сёдзо.

Она женщина хитрая, у нее всегда свое на уме, нельзя ее слова принимать на веру. Упрямая, гордая, все эти сентиментальные речи, будто она грустит о нем, соскучилась по Лили, — очень подозрительны. С чего бы ей вдруг любить Лили? Небось хочет заполучить, чтобы мучить, срывать на ней злость... Или думает отобрать у него любимую зверушку, чтобы ему насолить. Да что там, это все еще пустяки, она и не на такое способна, он человек бесхитростный, как ему догадаться, что там она задумала? От этой мысли делалось жутковато и накатывал гнев. И вообще не слишком ли много разных условий она ставит? Он ведь и так во многом пошел ей на уступки, во-первых, перед ней он как-никак виноват, во-вторых, хотелось, чтобы поскорее убралась. Но отбирать у него Лили — это уж чересчур. Так что сколько бы раз Цукамото ни приходил все с той же просьбой, Сёдзо всякий раз уклонялся от ответа под каким-нибудь благовидным предлогом, на что он был мастер, и Ёсико, конечно, полностью соглашалась с мужем.

— Ну объясни: зачем? Не могу понять: с чего это она вдруг? — Сёдзо сам пододвинул к себе бутылку, сам налил

сакэ и выпил. Потом, хлопнув себя по ляжке, беспокойно огляделся по сторонам и спросил, словно обращаясь к себе самому: — Где у нас палочки от москитов?

Смеркалось, на веранде уже гудели москиты, пора было зажигать курительные палочки, Лили, наевшись до отвала, свернулась под столиком в клубок, но как только разговор зашел о ней, тихонько спустилась в сад, пролезла под забором и куда-то скрылась. Вышло забавно — как будто она ушла из деликатности, но на самом деле она всегда сразу исчезала после сытного угощения, Ёсико молча встала, пошла на кухню, нашла москитные палочки, зажгла и поставила под столик. Потом сказала, теперь уже чуть помягче:

— Что, ставридок всех кошке отдал? Сам съел штуки две, ну три от силы.

— Не помню.

— А я помню, я считала. На тарелке было тринадцать штук, Лили съела десять, значит, тебе досталось три.

— Ну и что из того?

— Не понимаешь? А ты подумай. Мне на эту кошку наплевать, к кошкам не ревнуют. Но я тебе приготовила маринованную ставридку, потому что ты попросил, сказал, что любишь, я-то ее терпеть не могу. А ты сам ничего не ел, все скормил животному...

Дело было вот в чем. В маленьких городках Нисино-мия, Асия, Уодзаки, Сумиёси, между Осакой и Кобэ, почти всегда можно купить ставридку и иваси, только что выловленные местными рыбаками. «Иваси-горэ-горэ! — кричат разносчики. — Покупайте иваси! Покупайте ставридку!» Рыба совсем свежая, только что выловлена. Стоят эти рыбешки десять — пятнадцать сэн чашка, этого как раз хватает на семью из трех-четырёх человек, так что товар самый ходовой. Но летом и ставридка, и иваси мелкие, всего сантиметра три в длину, подрастают они только к осени, а мелочь не годится ни для жарки в сухарях, ни для запекания с солью, приходится жарить прямо так или подавать под уксусом, заправив имбирем, и есть прямо с косточками. В последнее время Ёсико отказывалась мариновать ставридку, поскольку сама ее не любила. Она говорила, что любит еду горячую, жирную, а маринованная рыба — холодная, застревает в горле, гадость какая-то...

«Опять она со своими капризами», — думал Сёдзо и предлагал:

— Ну и готовь себе что любишь, а мне вот хочется ставридки, могу и сам себе приготовить. — И когда появлялся разносчик со своими рыбешками, он самолично зывал его и покупал порцию-другую.

Ёсико приходилась своему мужу двоюродной сестрой и потому не слишком стеснялась свекрови. С первого же дня замужества она держалась весьма независимо, но не глядеть же ей было, в самом деле, как муж сам стряпает. Волей-неволей приходилось мариновать ставридку и через силу есть вместе с Сёдзо. А тут еще новость: дня два назад она заметила, что рыбу, которую она готовит и подает на стол исключительно из супружеского долга, Сёдзо почти что и не ест, а всю скармливает кошке. Ну, ясно, быстро сообразила она: ставридка мелкая, косточки у нее такие мягкие, что и чистить не надо, стоит она дешево, к тому же холодная: самый подходящий корм для кошки. Иными словами: не Сёдзо, а кошка любит ставридку. Выходит, в этом доме муж, не считаясь со вкусом жены, составляет меню на потребу кошки! Жена готова все терпеть ради мужа, а ей, оказывается, вместо благодарности досталась роль служанки при любимом животном.

— Да ничего подобного, я для себя прошу приготовить, а Лили все просит еще да еще, ну, я и даю ей одну-другую...

— Вот и неправда. Вовсе ты не любишь эту ставридку, ты с самого начала собирался всю скормить Лили. Кошка тебе дороже, чем я.

— Ну что ты такое городишь! — с преувеличенным жаром запротестовал Сёдзо, но тут же смолк, больше не найдя что сказать.

— Так значит, я все-таки дороже?

— Ну конечно! Не мели ерунду!

— Это ты только на словах так говоришь, нет, ты докажи на деле, иначе не поверю.

— С завтрашнего дня не покупаю больше никакой ставридки. Ну, довольна?

— Это все пустое, ты отдай Лили насовсем. Главное, чтоб кошки здесь не было.

Сёдзо не верилось, что жена говорит всерьез, но наотрез отказать ей было рискованно, она могла заупрямиться, а это уже было бы опасно. Волей-неволей он уселся по-прямей, подчеркивая свою покорность, и только после этого решился жалостно попросить:

— Может быть, все-таки не стоит ее отсылать, ты же

знаешь, ей там плохо придется. Не будь такой жестокой, а? Ну пожалуйста...

— Ага, значит, все-таки кошка дороже. Так вот, если ты не отдашь Лили, то придется уйти мне.

— Ну послушай!

— Не хочу, чтобы меня вынуждали жить вместе с животным.

Видимо, Ёсико очень уж разозлилась, потому что неожиданно для самой себя вдруг залилась слезами и в крайнем возмущении повернулась к мужу спиной.

* * *

Утром, получив письмо Синако, скрывшейся под чужим именем, Ёсико в первый момент подумала: «Вот негодяйка, да она попросту хочет поссорить нас. Ну нет, на эту удочку меня не поймаешь. Очевидно, Синако рассчитала так: я напишу письмо, Лили надоест Ёсико, и она, пожалуй, отправит ее ко мне. Тогда я скажу: смотри-ка, над другими ты насмеялась, а теперь сама ревнуешь к кошке, выходит, тебя тоже муж не так уж горячо любит, то-то я порадуюсь и вдоволь над тобой посмеюсь. А если даже до этого не дойдет, все равно из-за этого письма у вас в доме поднимется буря, а мне только того и надо. Ладно же, я оставлю Синако в дураках: постараюсь жить с мужем еще дружнее, покажу ей, что ее дурацкое письмо насколько нас не обеспокоило... Пускай видит, что мы оба одинаково любим Лили и не собираемся с ней расставаться». Так твердо решила Ёсико.

К сожалению, письмо пришло не ко времени. Дело в том, что в последние дни Ёсико была не в духе из-за злополучной ставридки и как раз собиралась разок проучить мужа. К кошке она относилась совсем не так любовно, как думал Сёдзо. Ее прежняя нежная привязанность к Лили объяснялась желанием понравиться Сёдзо и одновременно уязвить Синако — она уверовала в эту привязанность и внушила эту веру другим. Все началось еще в ту пору, когда она только собиралась стать хозяйкой в этом доме и вступила в тайный сговор с будущей свекровью О-Рин с целью изгнать Синако. Став женой Сёдзо, она по-прежнему ласкала Лили и притворялась большой любительницей кошек, но постепенно ей опротивело присутствие этой маленькой твари. Да, кошка была прекрасной европейской породы, но раньше, когда Ёсико приходила сюда в гости и позволяла кошке располагаться у себя на коле-

нях, это существо приводило ее в восторг: пушистая, красивая, породистая киса, такую в наших краях не часто встретишь. Ну и чудачка эта Синако-сан, если кошка почему-то мешала ей, ясное дело, когда муж не любит тебя, так и кошка кажется виноватой... Ёсико и в самом деле так думала, но теперь она заняла ее место, и странное дело: не то чтобы муж был холоден к ней, как к первой жене, нет, ее любили, она это знала, но смеяться над Синако ей почему-то больше уже не хотелось. Может быть, потому, что привязанность Сёдзо к кошке казалась необычной, прямо-таки невиданной. Можно, конечно, любить животное, но чтобы давать рыбу изо рта в рот, притом на глазах у ж е н ы, — это уж полное бесстыдство! И вообще неприятно, когда кто-то посторонний втирается между мужем и женой, когда те ужинают. Свекровь, та умная, ужинает, отдельно у себя наверху, чему Ёсико очень рада: можно спокойно посидеть с мужем с глазу на глаз. А тут является эта тварь и буквально отнимает у нее мужа. Вот и сегодня, не успела она в душе обрадоваться, что кошки как будто не видать, как Сёдзо, словно назло, принялся громко звать: «Лили! Лили!» Пошел искать ее на втором этаже, обследовал черный ход, вышел звать на улицу. Она подала сакэ, говорит: да придет сейчас наша Лили, выпей пока чашечку, а он прямо сам не свой, только кошкой и занят, до жены ему дела нет. И еще Ёсико очень не нравится, что Лили приходит к ним спать. Сёдзо говорит, что до Лили у него было еще две кошки, но только одна Лили научилась залезать под москитную сетку — вот какая умная. Да, очень умная, распластается на татами и проскользнет под сетку, это у нее ловко получается. Хорошо еще, если она устроится только рядом с футоном Сёдзо, а то в холодные ночи забирается на футон, а потом так же ловко пролезает и под одеяло, так что этой кошке известны все супружеские тайны.

Правда, покамест у Ёсико не было конкретного повода заявить во всеулышание, что она не любит Лили, и она сдерживалась, успокаивая себя тем, что это все-таки всегo-навсего кошка. «Для мужа Лили просто игрушка, по-настоящему он любит только меня, я для него незаменимая и единственная. Корить его за кошку — значит унижать самое себя». Она изо всех сил старалась быть снисходительной, говоря себе, что глупо ненавидеть ни в чем не повинное животное, одним словом, старалась приноровиться к прихоти мужа. Но долго так продолжаться не могло, Ёсико не отличалась терпением. Раздражение по-

степенно накапливалось и все сильнее проступало наружу. История со ставридкой окончательно вывела ее из себя. Чтобы доставить удовольствие кошке, муж заставляет подавать на ужин еду, которую жена терпеть не может, да еще врет жене при этом, будто это его любимое блюдо, — ясно, что кошка ему милее жены. Она старалась закрывать на это глаза, но тут уж ее прямо, что называется, носом ткнули, волей-неволей все поймешь, больше себя уже не обманешь...

С одной стороны, письмо Синако основательно подхлестнуло ее ревность, но с другой — оно все-таки заставило ее сдерживать раздражение. Она не собиралась терпеть кошку больше ни одного дня и решила немедленно переговорить с мужем, чтобы тот отправил ее к Синако. Но после этого письма получалось, что она просто-напросто выполняет чужую просьбу, а это было бы для нее чересчур оскорбительно. Надо было решать: против кого ей действовать — против мужа или против Синако? Если показать письмо мужу и начать с ним советоваться, получилось бы, что Синако удалось натравить ее на мужа, а этого ей вовсе не хотелось. Поэтому письмо она пока что припрятала. Кто же все-таки больше всех виноват? И Синако отвратительно поступила, и с мужем терпенья нет... Но он-то каждый день перед глазами, есть отчего выйти из себя, к тому же ее сильно задела фраза из письма: *«Глядите в оба, не то как бы он и Вас на кошку не променял»*. Чуть, конечно, но все-таки будет спокойнее, если избавиться от Лили. Правда, Синако будет торжествовать, это, разумеется, ни к чему, она тут же возомнит о себе, ей только того и нужно, так что, может быть, все-таки лучше потерпеть кошку... Ёсико колебалась, не зная, как поступить, пока сегодня за ужином у нее на глазах муж не скормил кошке одну за другой все ставридки. Тут она и взорвалась, обрушив на мужа весь накопившийся гнев.

В сущности, поначалу она еще окончательно не решила выгнать Лили, но ее возмутила реакция Сёдзо. Это решило все дело. Ёсико считала себя безусловно правой, и все могло бы закончиться благополучно, если бы Сёдзо сразу признал себя виноватым и без всяких возражений согласился бы с нею. Тогда потом она, наверное, отошла бы, и, может быть, все окончилось миром. Но он стал оправдываться, увиливать... Вот и всегда он так: не согласен — так прямо и скажи, а он все увертывается, как угорь, пока не припрешь его к стенке; кажется, ну все, теперь уж он не отвертится, глядишь, а он опять вместо

ответа мямлит что-то невразумительное. Вроде бы уже совсем согласился, и все-таки ясного «да» от него не услышишь. Какой-то он ненадежный, все крутит, хитрит. Ёсико убедилась, что дело с кошкой обстоит не так просто, — обычно Сёдзо шел навстречу всем ее прихотям, а тут уперся и ни за что не соглашается, заладил одно и то же: «Так ведь это ж кошка, кошка, всего-навсего кошка». Очевидно, его любовь к Лили прочнее, чем думала Ёсико, он просто не в силах расстаться с кошкой.

— Послушай! — снова начала она ночью, когда залезла под москитную сетку. — Повернись-ка ко мне.

— Да ну тебя, я спать хочу, дай поспать...

— Не дам, пока не кончим давешний разговор.

— Отчего непременно сегодня, давай завтра Поговорим.

Четыре стеклянные двери, прикрытые лишь занавесками, пропускали в комнату свет наружного фонаря, выхватывавший неясные очертания предметов. Сёдзо лежал на спине, сбросив одеяло, но с последней фразой повернулся к жене спиной.

— Повернись ко мне! Тебе говорят!..

— Пожалуйста, дай заснуть, вчера я совсем не выпался, москиты налетели под сетку...

— Так ты выполнишь мою просьбу? Обещай, иначе не дам заснуть.

— Покою от тебя нет. Что обещать?

— Не притворяйся, пожалуйста, будто спишь... Отдашь Лили или нет? Давай решай!

— Завтра, давай завтра подумаем. — С этими словами он тут же сладко захрапел.

Ёсико вскочила, придвинулась к мужу и больно ущипнула его за ягодицу.

— Послушай-ка!

— Ай! Ты что! Больно!

— Когда тебя Лили царапала, ты и не пикнул, а я ущипнула — так больно, да?

— Перестань, больно!

— Погоди, сейчас я тебя всего расцарапаю: кошке можно, а мне, выходит, нельзя?

— Ай, ай, ай! — завизжал Сёдзо, вскочив и защищаясь от нападения жены. Кричать громко он боялся, чтобы не разбудить старуху мать, спавшую наверху. Но жена продолжала царапаться. Она била его в лицо, плечи, грудь, руки, ноги, и всякий раз, как ему удавалось уклониться и удар не достигал цели, по дому разносился гул.

— Ну как?
— Не надо, не надо больше!
— Что, проснулся?
— Еще бы! Ох, как больно, все тело прямо горит!
— Ну так отвечай же, отдашь Лили или нет?
— Ох, как больно... — Рассерженный Сёдзо гладил расцарапанные места, но не отвечал.

— А-а, опять дурака валять? Так вот тебе! — И тут же острые ногти с силой прошлись по его щекам. Взвизгивая от боли, он завопил во весь голос. Крик напугал даже Лили, поспешившую убраться из-под mosquito сетки.

— За что ты меня?

— За Лили, вот за что!

— Опять ты за свое!.. Сколько можно приставать с этим вздором?

— Буду приставать, пока не ответишь. Ну, отвечай, кого ты выгонишь, меня или Лили?

— Да кто ж тебя выгоняет?

— Значит, отдашь Лили?

— Отчего непременно так ставить вопрос?

— Оттого, что я так хочу. — Ёсико схватила мужа за ворот и принялась его колотить.

— Ну же, отвечай! Живо, слышишь?

— Ох, уймись ты, а?

— И не подумай! Ни за что. Отвечай живо!

— Ладно, так и быть, отдам Лили.

— Правда?

— Правда. — Сёдзо закрыл глаза с видом человека, решившегося на отчаянный шаг. — Но только, пожалуйста, потерпи ты еще неделю. Может, ты опять рассердишься, но сама подумай: ведь она прожила у нас десять лет. Самую последнюю скотину, и ту жалко так сразу выгнать. Я ее подержу еще недельку, чтобы она слишком уж не горевала, накормлю досыта напоследок, в общем, сделаю что могу! А? И ты тоже успокойся и будь с ней поласковей. Кошки, они добро помнят.

Отказать в такой прямодушной, трогательной просьбе было невозможно.

— Хорошо, еще неделю.

— Ладно.

— Дай руку.

— Зачем? — Прежде чем Сёдзо успел что-либо сообразить, он почувствовал, что мизинец жены крепко уцепился за его мизинец в знак нерушимости клятвы.

— Маменька!

Прошло, несколько дней. Ёсико не было дома, она ушла в баню, а Сёдзо остался в лавке.

— Маменька, у меня к вам просьба... — войдя в комнату, сказал Сёдзо и нерешительно присел у столика, за которым в одиночестве завтракала мать.

Мать сидела, совсем ссутулившись над своим маленьким столом, и ела чуть теплый, мягко разваренный рис, сдобренный соленой морской капустой, который каждое утро готовили ей на завтрак.

— Понимаете, Ёсико вдруг объявила, что терпеть не может Лили, и велит отослать ее к Синако...

— Не оттого ли шум-то был на днях?

— А вы, маменька, слышали?

— Среди ночи как не услышать. Я перепугалась, думала — землетрясение. Оттого и шумели, значит?

— Да... Вот, поглядите. — Сёдзо засучил рукава. — Сплошные синяки да царапины. И на лице тоже, вот, заметно еще.

— За что ж тебя так?

— Ревнует. К кошке ревнует, говорит, я ее слишком люблю. Ну откуда, скажите, берется такая чушь несусветная?

— Синако все время то же самое твердила. Ты такой кошатник, что любая женщина станет ревновать.

— Фу, маменька, — надулся Сёдзо, словно избалованный ребенок. Он с детских лет привык находить у матери поддержку и ласку и до сих пор привычку эту сохранил. — С вами слова нельзя сказать про Ёсико, всегда вы на ее стороне.

— А зачем ты с другими водишься? Все равно с кем, с кошкой ли, с женщиной... Вот молодая жена и обижается.

— И напрасно. Я очень Ёсико люблю. Больше всех.

— Раз любишь, так делай, как она хочет, дело-то пустяковое. Она уж мне говорила.

— Говорила? Когда?

— Вчера. Не могу, говорит, больше видеть эту Лили, он мне обещал через несколько дней отправить ее к Синако. Ты правда обещал?

— Правда. Обещать-то я обещал, только, может, как-нибудь обойдется, может, вы за меня заступитесь? Помогите, маменька!

— Она ведь говорит, что уйдет, если ты не сдержишь слово.

— Пугает, и все.

— Может, и пугает, но раз уж ты заговорил, так, по моему, лучше сделать, как обещал. А то она снова начнет шуметь.

Сёдзо обиженно надул губы и понурился. Попытка унять Ёсико с помощью матери провалилась.

— А если вправду уйдет? Вон как ее разобрало, может и в самом деле уйти. А я не допущу, чтобы моя невестка ушла из дома из-за кошки. Как мне после этого людям в глаза смотреть? Ты не о себе, ты обо мне подумай.

— Значит, вы тоже велите отдать Лили?

— Велю. Отправь ее потихоньку к Синако, жена тем временем успокоится. А там, глядишь, и пообреет, тогда заберешь обратно.

Было ясно, что отданное однажды обратно не вернут, и дома снова взять не позволят, но точно так же, как Сёдзо привык искать у матери утешения, так и она умела ловко успокоить его, словно маленького ребенка, какой-нибудь явной выдумкой. Добавим к этому, что ей всегда удавалось заставить сына делать только то, что ей было угодно.

Мать была маленькой, худощавой женщиной, носила поверх кимоно старомодную ватную безрукавку и выглядела тщедушной старушкой, но голова у нее работала на редкость четко, и суждения были безошибочны. «Бабка куда толковее сына», — говорили в округе. Изгнание Синако совершилось в конечном счете по ее воле, и многие считали, что Сёдзо до сих пор жалеет о первой жене. В округе старуху не любили, и всеобщее сочувствие было на стороне Синако, но она твердила, что если муж жену любит, то, что бы свекровь там ни говорила, такую невестку ей не выгнать, так что Сёдзо и сам, дескать, был сыт по горло. Так оно, правда, и было, но если бы она вдвоем с отцом Ёсико не приложила к этому делу руки, у одного Сёдзо ни за что не хватило бы духу выгнать первую жену, в этом можно было не сомневаться.

Мать и Синако не ладили с первых же дней. Гордая Синако очень следила, чтобы никто ни в чем не мог ее упрекнуть, и всячески старалась услужить свекрови. Но как раз это и раздражало старуху. «Невестка у меня исправная, — часто говорила она, — заботится, только мне ее забота ни к чему. А все оттого, что не от сердца это у нее идет, нет у нее жалости к старому человеку». Короче

говоря, нелады объяснялись тем, что обе, что свекровь, что невестка, были с характером. Правда, года полтора прожили вроде бы мирно, по крайней мере внешне, но затем О-Рин объявила, что ей невестка не по душе, и зачатила в Имадзу, где жил ее старший брат Накадзима, дядюшка Сёдзо. Она гостила у брата по несколько дней. Когда обеспокоенная Синако приезжала ее проведать, старуха говорила: «Поезжай домой, пускай за мной Сёдзо придет». Сёдзо ехал, дядя и Ёсико вместе удерживали его и допоздна не отпускали домой. Сёдзо уже догадывался, что тут кроется какой-то тайный умысел, Ёсико без устали таскала его за собой то на бейсбол, то на пляж, то в парк Хансин, и он, как на веревочке, следовал за ней. Во время этих беззаботных прогулок он почувствовал, что ее близость его волнует.

Дядя жил зажиточно, у него была маленькая кондитерская фабрика тут же, в городе Имадзу, и несколько доходных жилых домов вдоль автомагистрали, но с Ёсико он порядком намучился, возможно потому, что девочка рано осталась без матери. Во всяком случае, из школы высшей ступени ее не то исключили, не то она ушла сама, не захотела дальше учиться, и после этого какое-то время, что называется, никак не могла «найти себя». Раза два убегала из дома, ее имя даже попадало в скандальную газетную хронику. Пора было выдавать ее замуж, но женихов все не находилось, да в иную чопорную семью она и сама пойти бы не согласилась. Тут-то О-Рин и заметила, что отцу не терпится пристроить дочь куда-нибудь в хорошие руки. Ёсико была ей все равно что родная дочь, и нрав ее она знала прекрасно. Не велика беда, девчонка, конечно, непутевая, но уже ведь не маленькая, начинает кое-что соображать, выйдет замуж, так небось и дурить перестанет, да и что за грехи за ней такие особенные... Зато приданое у этой невесты — два доходных дома, а жильцы платят по шестьдесят три иены каждый месяц... Отец перевел дома целых два года назад на имя дочери; по подсчетам О-Рин, одного только основного капитала за это время набралось тысяча пятьсот двенадцать иен. Такое приданое, да плюс еще шестьдесят три иены каждый месяц, положить в банк, так через десять лет накопится целое состояние. Было ради чего стараться.

Правда, самой ей жить осталось не так уж долго, пользоваться этим добром ей вряд ли удастся, но как-то придется ее бестолковому Сёдзо, когда ее не станет? Она не может умереть спокойно, пока не обеспечит сына. По-

строили новую дорогу, провели электричку, старая дорога в Асию постепенно хиреет, долго ли еще продержится их лавчонка? А если придется переехать, значит, лавку нужно будет продать, и куда ж тогда податься? Сёдзо в таких делах полный неумеха, он будет голодать, а торговлю наладить не сумеет.

Мальчишкой он учился в вечерней школе и работал то в банке посыльным, то в гольф-клубе подавальщиком мячей, как стал постарше — учеником повара, но нигде не задерживался подолгу, работал спустя рукава. А тут умер отец, вот он и оказался владельцем мелочной лавки. На самом-то деле всю торговлю вела мать, а Сёдзо, даром что мужчина и должен бы, казалось, заняться делом, только и знал, что возиться с кошками, играть на бильярде и разводить карликовый садик, да еще заигрывать с девицами из дешевых кафе. Как-то раз, правда, попросил у дяди денег взаймы, хотел открыть кафе при дороге, но дядя его отчитал, на том дело и кончилось.

Четыре года назад, когда Сёдзо было двадцать шесть лет, он попросил Цукамото, продавца татами, найти ему невесту и женился на Синако, бывшей в услужении в одном доме в Азии. К этому времени торговля уже пошла из рук вон плохо, едва сводили концы с концами. Правда, были постоянные покупатели, еще с отцовских времен, какое-то время они выручали, но вот уже почти два года нечем стало платить за аренду участка, на котором стояла лавка. При цене пятнадцать сэн за цубо долг составил что-то около ста двадцати иен, выплатить его не было ни малейшей надежды. Синако, убедившись, что на Сёдзо рассчитывать не приходится, стала подрабатывать шитьем, бралась за любую работу, более того, пустила в дело собственные сбережения, накопленные в годы службы, от них тоже довольно скоро почти ничего не осталось. Конечно, выгонять такую невестку было несправедливо, понятно, что все соседи ее жалели. Но, по мнению О-Рин, тут уж, как говорится, было не до жиру, быть бы живу, к тому же развод облегчался тем, что Синако так и не понесла. Отец Ёсико тоже был рад одним махом и дочь пристроить, и племянника облагодетельствовать, а потому охотно содействовал О-Рин в ее затее.

Так, стараниями родителей, Сёдзо и сошелся с Ёсико. Впрочем, все относились к нему неплохо, он умел нравиться. Красавцем он не был, но, видимо, в нем привлекали добрый нрав и какая-то детская наивность. Когда он работал подавальщиком мячей, богатые игроки в гольф и

их жены привечали его и задаривали подарками на Новый год и праздник Бон, в разных кафе он имел говолокружительный успех и ухитрялся часами торчать там почти без денег; все это приучило его к праздной жизни.

И теперь, когда О-Рин ценой таких усилий раздобыла ему жену со средствами, никак нельзя было ее упускать; О-Рин знала, что та легка на подъем, так что лучше уж они с сыном будут приноравливаться к ее капризам. Таким образом, в истории с кошкой с самого начала все было ясно. Честно говоря, О-Рин самой эта кошка осточертела. Сёдзо привез Лили из Кобе, где одно время жил, работая в тамошнем ресторане. С ее появлением в доме стало невыносимо грязно. Сёдзо доказывал, что киска нигде не гадит и делает только в песочек. Это, конечно, было прекрасно, но она даже с улицы приходила делать в этот песочек, от него ужасно воняло, и вонь разносилась по всему дому. Вдобавок киска расхаживала с прилипшим к заднице песком, из-за этого все татами стали шершавыми, что твоя наждачная бумага. В дождливые дни воняло еще сильнее, буквально нечем было дышать, и когда кошка возвращалась с прогулок, то там и сям чернели следы от ее мокрых и грязных лап. Сёдзо очень гордился также тем, что Лили не хуже человека умеет открывать и двери, и фусума, и сёдзи — словом, все, что раздвигается. Но гнусной твари хватало разума только на то, чтобы открывать, а закрывать она уже не могла, и в холодное время все, что она пооткрывала, приходилось закрывать самим. Это бы еще полбеды, но из-за кошки бумага на сёдзи была вся в дырах, а двери и фусума в царапинах. Кроме того, нельзя было оставить без присмотра ни сырое, ни вареное, ни жареное, все мгновенно пожиралось, даже во время стряпни провизию приходилось прятать в мойку или под сетку от мух вплоть до самой подачи на стол. Но хуже всего было то, что частенько Лили рвало. Увлечшись своими акробатическими фокусами, Сёдзо перекармливал ее, и стоило ей отойти от стола, как ужин извергался из нее наружу, так что потом везде валялись рыбы головы и хвосты.

До появления Синако вся стряпня и уборка входила в обязанности О-Рин, она вдоволь натерпелась от Лили и сносила все это до сих пор только из-за одного случая. Как-то раз, лет пять или шесть назад, она уговорила Сёдзо отдать Лили одному зеленщику из Амагасаки. И вот примерно через месяц кошка сама прибежала обратно. Ну, собака — это еще понятно, но чтобы кошка проделала

путь длиной в пять-шесть ри в поисках любимого хозяина! После этой трогательной истории не только Сёдзо привязался к Лили вдвое крепче прежнего, но и О-Рин приоткрыла, то ли разжалобившись, то ли напугавшись. Когда же в доме появилась Синако, О-Рин стала обращаться с кошкой почти что ласково — по той же причине, что впоследствии и Ёсико: Лили давала прекрасную возможность насолить Синако. Поэтому Сёдзо был совершенно обескуражен, когда увидел, что мать неожиданно встала на сторону Ёсико.

— Ну хорошо, отдадим мы Лили, а она ведь все равно назад прибежит. Вон, из Амагасаки, и то вернулась.

— Верно, но теперь другое дело: знаем, кому отдаем, придет назад — опять отвезем. Нет, отдай, отдай!..

— Ох, прямо не знаю, как тут быть. — Сёдзо поминутно вздыхал и все пытался еще чего-то добиться от матери, но тут послышались шаги: Ёсико вернулась из бани,

* * *

— Уж ты поосторожнее, Цукамото-кун! Вези ее тихонько, не толкай, хорошо? Кошек тоже укачивает.

— Ну ладно, сколько раз можно повторять, я же понимаю.

— И еще в о т . — Сёдзо достал что-то маленькое и плоское, завернутое в газету. — Это ей на прощанье, хочется напоследок чем-нибудь вкусеньким побаловать, но боюсь давать перед дорогой, живот разболится. Она у нас, знаешь, курочку очень любит, я вот сам тут купил и сварил, ты там скажи, чтоб ей сразу дали, как привезешь, хорошо?

— Непременно. Доставлю самым лучшим образом, не беспокойся. Ну, я пойду?

— Еще минуточку. — Сёдзо открыл корзину, еще раз взял Лили на руки и прижался к ней щекой.

— Ты там слушайся. Она не будет тебя обижать, как раньше, будет беречь и любить, не бойся. Поняла?

Лили, не любившая сидеть на руках, выражала свой протест против чрезмерно крепких объятий беспорядочным дрыганием ног, но когда ее вернули в корзину, ткнулась разок туда-сюда и, поняв, что вылезти не удастся, затихла, что сделало картину расставания особенно щмящей.

Сёдзо собирался проводить Цукамото до автобусной остановки, но жена строго-настрого запретила ему с сего-

дняшнего дня отлучаться из дому куда-либо, кроме бани, и Цукамото со своей корзинкой ушел, а он остался сидеть в лавке, одинокий и подавленный. Ёсико велела ему сидеть дома из-за боязни, как бы в тоске о Лили ноги сами не привели его к дому Синако, да по правде сказать, Сёдзо и сам об этом подумывал. Только теперь, отдав Лили, опрометчивые супруги призадумались, чего же на самом деле добивалась Синако.

Ясно, кошка — это только приманка, хочет-то она залучить к себе его самого. Он появится, тут-то она его и подловит, примется уговаривать... Сообразив в чем дело, Сёдзо пуще прежнего возненавидел Синако за коварство и еще сильнее обиделся за Лили, которую использовали для такой неприглядной роли. Ему хотелось одного: чтобы из Рокко, где жила Синако, его киска опять прибежала назад, как тогда из Амагасаки. Цукамото, занятый ремонтом своего хозяйства после наводнения, хотел взять Лили вечером, но Сёдзо специально попросил его прийти утром в тайной надежде, что при дневном свете Лили запомнит дорогу и сумеет потом сбежать и вернуться. Ему вспоминалось утро, когда она вернулась из Амагасаки. Стояла осень. Однажды на рассвете Сёдзо проснулся от знакомого «мяу, мяу». Он был тогда еще холостым и спал наверху, а мать — на первом этаже. Было совсем рано, ставен еще не открывали, а между тем кошка мяукала где-то совсем близко, и, прислушиваясь к этому мяуканью сквозь сон, Сёдзо все явственнее узнавал голос Лили. Нет, это не могла быть Лили, потому что ее месяц назад отправили в Амагасаки, но чем дольше он слушал, тем более знакомым казалось мяуканье. Потом он услышал царапанье когтей по оцинкованной крыше. Скреблись у самого окна; вне себя от волнения, Сёдзо подбежал к окну и открыл ставни. За окном по крыше и в самом деле ходила сильно исхудавшая Лили.

— Лили! — позвал он, не веря собственным глазам.

Она ответила:

— Мяу! — и остановилась под самым его окном, глядя на него большими, радостно раскрытыми глазами. Он протянул руки, чтобы взять ее, но она увернулась и ловко отпрыгнула. Но не далеко.

— Лили! — снова позвал он.

— Мяу! — ответила она и опять подошла. Но когда он попытался поймать ее, она опять выскользнула у него из рук. Сёдзо ужасно любил кошек за такой нрав. Ведь прибежала, стало быть, любит хозяина, вернулась в знако-

мый, милый дом, соскучилась и рада увидеться — а в руки не дается. И приласкаться хочет, и отвыкла, смущается. Лили разгуливала по крыше, отвечая на каждый зов ласковым «мяу». Сёдзо сразу заметил, как она отошала, но теперь присмотрелся и увидел и другие подробности: шкурка у нее совсем потеряла прежний блеск, шея и хвост были все в грязи, и кое-где в шерсти торчали стебельки тростника. Забравший ее зеленщик говорил, что тоже любит кошек, и, наверное, с ней обращались неплохо, все это были следы полного испытаний путешествия от Амагасики до старого дома. Раз она появилась утром, значит, бежала всю ночь, может быть, даже и не одну, кто знает, когда она удрала от зеленщика, сколько суток блуждала и искала дорогу. Должно быть, она все время шла не только по улицам, среди человеческого жилья: об этом говорил тростник, застрявший в шерстке. А ведь кошки боятся холода, как же мерзла она, вероятно, на ночном ветру. К тому же в эту пору часто случаются ливни, и она наверняка пряталась от них в зарослях, скрывалась от собак в рисовых полях, страдала от голода. Представляя себе все это, Сёдзо тянул и тянул к ней руки, чтобы поскорее погладить и приласкать, и Лили со смущением, но все же наконец потерлась о ноги хозяина и покорно приняла его ласку.

Позже выяснилось, что Лили исчезла из дома зеленщика примерно неделю назад. Сёдзо до сих пор помнит, как она мяукала и как смотрела на него в то утро. Да и не только тогда: с этой кошкой случалось много разных историй, и каждый раз он мог точно вспомнить, какой у нее тогда был голос и какой взгляд.

Например, он хорошо помнил тот день, когда привез ее из Кобе. Он взял отпуск в ресторане, где работал, и поехал домой в Асию. Это было как раз в начале того года, когда ему исполнилось двадцать и когда умер его отец. К тому времени у него уже жила однажды трехцветная кошка, а когда она сдохла, он завел совершенно черного кота, которого так и звали — Куро, Черныш, и держал его при кухне ресторана. И вот однажды мясник, поставивший в ресторан провизию, предложил ему красивого котенка европейской породы, и он взял эту трехмесячную кошечку — это и была Лили. Черныша он и в отпускное время всегда оставлял при ресторане, а вот с кошечкой не расставался. Он посадил ее прямо в корзинку на двухколесный прицеп к велосипеду, позаимствованный у знакомого торговца, и отвез в Асию. Мясник говорил, что анг-

личане называют кошек такого окраса черепаховыми: на ее коричневой шкурке там и сям отчетливо чернели темные пятнышки, шерстка блестела и в самом деле напоминала отшлифованный панцирь черепахи. Никогда еще у Сёдзо не было такой красивой и симпатичной кошки. У европейских кошек грудь не такая крутая, как у японских, поэтому Лили выглядела элегантно, изящно, она напоминала грациозную женщину. У кошек японской породы мордочка обычно длинноватая, под глазами впадины, скулы торчат, а у Лили мордочка была круглая, правильного четкого контура, похожая на перевернутую раковину хамагури, с необычно большими, красивыми золотыми глазами и нервно подрагивающим носиком. Но Сёдзо любил этого котенка не за расцветку, не за мордочку или за грациозность. Что до внешности, так ему приходилось видеть и более красивых котов — персидских, сиамских. Лилишку он полюбил за чудесный нрав. Когда он привез ее в Асию, она была еще совсем крошечная, умещалась на ладони, но такая проказница и игрунья, прямо как маленькая шаловливая девочка. Тогда она двигалась проворнее, чем теперь. Прыгая вверх за едой, она легко доставала ему почти до груди, так что если он кормил ее сидя, она сразу хватала лакомство, и потому ему часто приходилось вставать из-за стола в середине ужина. В ту пору и зародились их акробатические трюки. Стоило ей допрыгнуть, как он поднимал руку выше, так повторялось несколько раз, и, наконец, она вцеплялась в полы кимоно, ловко взбиралась по его груди и плечам и, словно мышь по балке дома, добегала до цели по его руке. А иной раз она цеплялась за висевшие в лавке шторы и бегала по ним кругами, добираясь до самого потолка, и долго крутилась так наподобие мельничного колеса, пока не слезет по тем же шторам на пол. К тому же с самого младенческого возраста у нее была очень выразительная мордочка: глаза, движения носика выражали ее настроение совершенно так же, как мимика человека. Особенно хороши были большие блестящие глаза, менявшие выражение, когда она ластилась, когда шалила или когда за чем-нибудь охотилась. Забавнее всего она злилась. Совсем крошечная, она выгибала спину и топорщила шерсть, напрягала лапы и поднимала хвост трубой ничуть не хуже любой взрослой кошки. Это напоминало ребенка, копирующего взрослого. Невозможно было не улыбнуться при виде этого зрелища.

Не мог Сёдзо забыть и ее молящий, кроткий взгляд, ко-

гда она в первый раз окотилась. Это произошло примерно через полгода после того, как он привез ее в Асию. Однажды утром, чувствуя, что ждать осталось недолго, она стала ходить за ним с жалобным мяуканьем. Он взял пустой ящик из-под сидра, положил внутрь старую подушку-дзабутон, поставил ящик в глубь стенного шкафа и уложил ее туда. Некоторое время она лежала в ящике, но потом отодвинула дверцу шкафа, вылезла и снова стала ходить за ним, мяуча. Такого мяуканья он раньше не слышал. Теперь в ее «мяу» был какой-то новый особый смысл. Они звучали как растерянный вопрос: «Как мне быть? Почему мне вдруг стало плохо? Происходит что-то странное. Раньше такого не бывало. Что же, что со мной? Может быть, что-нибудь случилось?»

— Ничего особенного не случилось, не тревожься, — сказал Сёдзо, погладив ее по голове. — Просто ты скоро станешь мамой.

Она положила передние лапы к нему на колени, словно оперевшись на что-то надежное, и не переставала мяукать, уставясь на него своими круглыми глазами, как будто стараясь понять, что он говорит. Он опять положил ее в ящик и отнес в шкаф, ласково сказав:

— Посиди тут тихо, ладно? Не вылезай. Слышишь? Поняла?

Когда он задвинул дверцу шкафа, она опять жалобно замыкала, будто говоря: «Не уходи, побудь со мной, ну, пожалуйста». Прикованный к месту этим мяуканьем, он чуть приоткрыл дверцу. В самой глубине шкафа, высунув голову из ящика, Лили смотрела на него посреди свертков, корзин и прочих вещей. «Вот ведь животное, а какой любящий взгляд», — поразился тогда Сёдзо. Странное дело, эти горевшие в полумраке глаза уже не принадлежали тому шаловливому котенку, теперь это были глаза взрослой самки, полные невыразимой женственности, нежности и тоски. Ему не приходилось видеть, как это происходит у людей, но он подумал, что молодая, красивая роженица тоже звала бы мужа таким же горьким, полным страдания взглядом. Он несколько раз задвигал дверцу и уходил, но тут же возвращался и заглядывал внутрь, и всякий раз Лили высовывалась из ящика, как малыш, зовущий: «Где же ты?»

С тех пор прошло десять лет. Он женился на Синако четыре года назад, так что целых шесть лет Сёдзо прожил на втором этаже своего дома в Асии, если не считать матери, в обществе одной только этой кошки. И когда при

нем говорили, что кошки не так привязчивы, как собаки, что они недружелюбны и эгоистичны, он всегда говорил себе, что, не проведя с кошкой под одной крышей столько лет, сколько довелось провести ему, ни за что не узнаешь, какие славные это существа. Ведь кошки, они все немного застенчивые, они не станут на глазах у посторонних проявлять нежность к хозяину, пожалуй, даже будут держаться отчужденно. Вот и Лили в присутствии его матери никогда не отзывалась на зов, убегала, но наедине забиралась к нему на колени и ластилась без всякого стеснения. Она любила тыкаться мордочкой ему в лицо, шершавым язычком облизывать ему и щеки, и подбородок, и кончик носа. Ночью она всегда спала рядом с Сёдзо, а утром будила его все тем же способом — вылизывая ему лицо. В холодное время она забиралась к нему под одеяло: влезет со стороны изголовья и долго ищет уютного местечка, пристраиваясь то на груди, то у ног, то за спиной, пока наконец не устроится как надо, потом опять что-то станет ей не так, и перемещения начинаются заново. Больше всего она любила засыпать, спрятав мордочку у него на груди. Если Сёдзо хоть немного шевелился во сне, это, видимо, ей не нравилось, она начинала ерзать или вовсе уходила искать новое местечко. Поэтому, когда Лили забиралась к нему в постель, приходилось лежать смирно, стараясь не двигаться, пока она спит у него на руке, как на подушке. В таких случаях он свободной рукой почесывал ей шейку, там, где кошки любят, и она тут же начинала мурлыкать. А иногда кусала его за палец, впивалась когтями и обливала слюной, выражая свой восторг.

Если Сёдзо случалось пукать во сне, то спавшая поверх одеяла Лили просыпалась от испуга: очевидно, ей казалось, что под одеялом прячется и угрожающе рычит кто-то враждебный, и она в недоумении бросалась под одеяло искать этого врага. А однажды, когда он взял ее на руки против ее воли, она выпустила прямо ему в лицо струю омерзительно вонючего газа. Кажется, она только что перед тем поела, а Сёдзо нечаянно сдавил руками ее надувшийся живот. И надо же было так случиться, чтобы ее попка оказалась как раз под самым его лицом. От этой вони даже такой кошатник, как Сёдзо, невольно вскрикнул и с отвращением сбросил кошку на пол. Запах был стойкий, вероятно, вроде того, что оставляет за собой колонок-вонючка, и сколько Сёдзо ни вытирался и ни мылся, сколько ни тер лицо, вонь держалась весь день.

В те времена, когда Сёдзо ссорился с Синако из-за Лили, он часто в сердцах кричал ей: «Нас с Лилишкой модой не разольешь, мы друг у друга ветры нюхали». И в самом деле, ведь они прожили вместе целых десять лет. Конечно, это всего лишь кошка, но если подумать, то она в каком-то смысле дороже ему, чем Ёсико или Синако. В конце концов с Синако он и четырех лет не прожил, а с Ёсико на сегодняшний день едва какой-то там месяц. С Лили же его связывало множество воспоминаний, Лили была частью его прошлого. Естественно, что Сёдзо было горько с ней расставаться. И как только можно говорить, что эта его привязанность всего лишь причуда, помешательство, нечто ненормальное? А он так легко поддался напору Ёсико и уговорам матери, согласился отдать лучшего друга в чужие руки. Ему стало противно от собственной слабости и безволия. Почему он не решился прямо, открыто, по-мужски постоять за себя? Почему не захотел переупрямить жену и мать? Может быть, в конце концов все равно ничего не получилось бы, но теперь, не оказав должного сопротивления, он чувствовал себя виноватым перед Лили.

А если бы Лили не прибежала тогда обратно из Амагасаки? Наверное, он примирился бы с потерей, ведь он уже решил тогда ее отдать. Но в то утро, когда она мяукала на оцинкованной крыше, а он схватил ее и прижался к ней щекой, — в тот момент он не просто почувствовал себя подлецом и предателем, не просто дал себе слово ни при каких обстоятельствах никому не отдавать ее и держать в доме до самой смерти. Ему казалось, будто оба они с Лили обменялись тогда настоящей клятвой. И теперь его не оставляло ощущение, что, выгнав ее еще раз, он совершил что-то очень подлое и жестокое. Особенно жаль ее было оттого, что в последние несколько лет она заметно постарела, это заметно было и по ее движениям, и взгляду, и по потускневшему блеску шерсти. Конечно, иначе и быть не могло, ведь и сам Сёдзо в ту пору, когда он привез ее сюда в велосипедном прицепе, был двадцатилетним парнем, а на будущий год ему уже исполнится тридцать. Кошачий век недолог, и десять лет для нее, наверное, все равно что по человеческим меркам пятьдесят — шестьдесят. Ясно, что от нее уже не приходилось ожидать такой резвости, как в свое время, но у Сёдзо так живо стояла перед глазами маленькая кошечка, с легкостью долетающая по шторам до самого потолка, и, когда он замечал ее теперешнюю худобу, когда видел, как она ходит с опущен-

ной и трясущейся головой, ему становилось невыразимо печально при мысли о бренности всего сущего.

О том, что она состарилась, говорили многие признаки: например, она стала хуже прыгать. Котенком она легко подпрыгивала за едой чуть ли не на высоту роста Сёдзо. Да и не только за едой, она прыгала за всем, что ей ни покажи. Но с годами прыжки становились все реже и ниже, и в последнее время, когда ее на голодный желудок соблазняли чем-либо вкусным, она прыгала только в том случае, если удостоверялась, что это что-нибудь из числа ее самых любимых лакомств, да и то лишь не выше пояса. Если приманку Сёдзо поднимал повыше, она отказывалась прыгать и карабкалась за ней по его ногам и туловищу, а когда сил не хватало, то просто просительно поводила носом и смотрела на него своим особенным печальным взглядом. «Пожалей меня, пожалуйста. Я очень голодна и хотела бы прыгнуть, но состарилась и не могу больше прыгать так, как прежде. Прошу тебя. Не издевайся надо мной, покорми скорее», — говорила она глазами, отлично зная слабохарактерность хозяина. Синако тоже случалось грустно глядеть на него, но это его не слишком трогало, а во взгляде Лили он хорошо чувствовал какую-то особенную тоску.

Когда же веселый, ласковый взгляд котенка сделался таким печальным? Пожалуй, во время тех первых родов. С того дня, когда она беспомощно смотрела на него, высунув голову из ящика в глубине шкафа, — с того самого дня печаль осталась в ее глазах, и печаль эта становилась все глубже по мере того, как Лили старела. Временами Сёдзо думал, всматриваясь в ее глаза: ведь это просто маленькая зверушка, пускай и умная; почему же у нее такой осмысленный взгляд, может быть, ей известно что-то очень печальное? Его прежние кошки, и трехцветная, и Черныш, никогда так грустно не смотрели — должно быть, они просто были глупее. Причем характер у Лили вовсе не был каким-то особо меланхолическим. Котенком она была большая проказница, став взрослой, очень бурно злилась и бушевала. Но когда она нежилась на руках у Сёдзо или, скучая, грелась на солнышке, глаза у нее вдруг становились грустными и подёргивались влагой, как будто она плачет. Правда, раньше это выглядело даже красиво, но теперь, к старости, ее ясные зрачки стали туманиться, в уголках глаз скапливался гной, и во взгляде явно сквозила пронзительная тоска. Наверное, это у нее не от природы, наверно, это от жизни, от воздуха, ко-

торым она дышит, ведь когда человек страдает, у него меняется и лицо, и характер. Должно быть, и у кошек бывает что-то в этом роде, думал Сёдзо, и чувствовал себя еще более виноватым перед Лили. Да, конечно, все эти десять лет он любил ее, но как же скучно, и уныло ей жилось с ним. Когда он ее привез, они жили вдвоем с матерью и, само собой, у них было не так весело, как на кухне ресторана в Кобе. Матери она мешала, сыну с кошкой пришлось скромненько устроиться наверху. Прошло шесть лет, и появилась Синако, вторглась в их жизнь, и кошка стала для нее досадной помехой, тут уж Лилишке стало и вовсе неудобно.

И еще одна вина была за ним. Вместо того чтобы оставлять ей котят, дать ей их выкормить, он старался поскорее их раздать желающим, не оставлял ни одного. А приплод она приносила часто. За время, что другие кошки приносили котят раза два, она успевала окотиться трижды. Откуда брались отцы, никто не знал, котята рождались смешанной породы. Поскольку в них было кое-что от черепаховой кошки, брали их охотно, но все-таки иногда он потихоньку относил их к морю или в сосновую рощу у дамбы на речке Асиягава. Сёдзо избавлялся от них, главным образом чтобы не раздражать мать, но имел в виду и другую цель: когда кошки много рожают, они быстро стареют, и раз уж рожать им не помешаешь, то лучше не давать кормить, это задержит одряхление. И правда, с каждыми родами Лили на глазах старела. Когда живот у нее раздувался, словно у кенгуру, а в глазах появлялось страдание, Сёдзо всегда сокрушенно говорил:

— Вот дура, что ты все себе нагуливаешь, ты же так старухой станешь.

Ветеринар как-то объяснил ему, что кота можно было бы кастрировать, а кошек оперировать трудно.

— А нельзя ее рентгеном облучить? — спросил он. Ветеринар только рассмеялся. Но Сёдзо чувствовал: жестоко отнимать у кошки ее родную плоть и кровь. Конечно, он топил котят для ее же блага, он не хотел причинять ей боль, но зато теперь она и сделалась такой вот жалкой и унылой.

В общем, получалось, что он причинил Лили немало плохого. Ему-то было с ней хорошо, а вот ей, пожалуй, приходилось не так уж сладко. Особенно в последние год-два: супруги ссорились, хозяйство разваливалось, в доме все время было нервно, и на Лили это тоже действовало, она часто бродила растерянная, не находила себе ме-

ста. Когда мать присылала за ним из Имадзу, то не Синако, а именно Лили пыталась удержать его дома своим печальным взглядом, цепляясь за подол его кимоно. А когда он все-таки отрывал ее и уходил, она бежала за ним, как собака, целый квартал, а то и два. Он старался вернуться пораньше, тревожась больше о ней, чем о Синако, а если все-таки оставался там на два, на три дня, то на глаза ей снова набегала темная тень, — или это ему только казалось? В последнее время его не покидало предчувствие, что его кошке недолго осталось жить. Ему то и дело снилось, что она сдохла. Во сне он скорбел о потерянной Лили не меньше, чем о близком человеке, и даже плакал. Ему казалось, что если бы Лили и вправду не стало, то он оплакивал бы ее наяву так же горько, как и во сне. И при мысли о том, как подло он только что отказался от нее, он испытывал и отчаяние, и стыд, и гнев. Ему все время чудилось, что откуда-то из уголка на него осуждающе устремлен все тот же печальный взгляд Лили. Сделанного не воротишь, но как же он согласился так бессовестно выгнать ее, такую старую? Почему не дал ей умереть в этом доме?..

— Теперь ты понял, отчего Синако-сан вдруг захотела взять эту кошку? — смущенно спросила Ёсико тем же вечером, глядя, как муж удрученно облизывает краешек чашечки для сакэ за непривычно опустевшим обеденным столиком.

— Ну, отчего? — поинтересовался Сёдзо с деланным недоумением.

— Она думает, раз Лили теперь у нее, ты непременно пойдешь ее проведать. Да-да, точно тебе говорю.

— Да брось ты, вздор это.

— Точно говорю. Я сегодня сообразила. Ты не вздумай, пожалуйста, клюнуть на эту удочку,

— Я и не собираюсь.

— Правда?

— Угу, — усмехнулся Сёдзо. — Нашла о чем беспокоиться.

И он опять облизнул чашечку для сакэ.

* * *

— У меня дела, я заходить не стану, пойду, — сказал Цукамото и ушел, поставив корзину у входа. Синако с корзиной в руках поднялась по узкой крутой лестнице в отведенную ей на втором этаже комнатку в четыре с по-

ловиной дзё. Плотно прикрыв дверь и окна, она поставила корзину посреди комнаты и сняла крышку.

Как ни странно, Лили не сразу вылезла из тесной корзины, она лишь удивленно высунула голову и некоторое время осматривалась. Потом все же не спеша вылезла и, как делают в таких случаях многие кошки, стала принюхиваться к комнате, поводя носом. Синако несколько раз позвала ее: «Лили!», но та лишь равнодушно скользнула по ней взглядом и отправилась к двери, обнюхала ее, потом подошла к окну, обнюхала каждую створку и стала тщательно обнюхивать шкатулку для рукоделья, подушку-дзабутон, линейку, незаконченное шитье, словом, все, что было вокруг. Синако вспомнила, что Цукамото дал ей сверток с вареной курятиной, и, не разворачивая бамбуковых листьев, в которые было завернуто лакомство, положила его кошке поперек дороги. Та разок понюхала его, но не проявила никакого интереса. Зловеще шурша по татами, она завершила обход комнаты, снова направилась к двери и попыталась открыть ее лапой.

— Л и л и , — сказала С и н а к о , — ты теперь будешь жить со мной. Выходить никуда нельзя. — Она загородила кошке дорогу, и Лили волей-неволей снова зашуршала по комнате. Теперь она пошла к северному окну, забралась на ящик для доскутов и, вытянувшись всем телом, стала смотреть на улицу.

Сентябрь уже кончился, стояло по-настоящему осеннее, ясное утро. Дул довольно холодный ветер, трепетала листва тополей на пустыре, за ними высились вершины гор Мая и Рокко. Вид совсем не такой, как в Азии, там кругом сплошные дома, интересно, какое впечатление это производит на Лили? Синако вдруг вспомнилось, как часто она оставалась дома совсем одна с этой кошкой. Сёдзо с матерью уезжали в Имадзу и подолгу гостили там, в полном одиночестве Синако присаживалась перекусить, и тут к ней подходила Лили. Помнится, как-то раз она забыла накормить кошку, та проголодалась, и Синако, конечно, пожалев ее, положила ей поверх остатков своего риса мелкую рыбешку. То ли кошка привыкла к более изысканной пище, то ли еще что, но только она едва притронулась к этому угощению. Синако рассердилась, внезапная жалость к кошке мгновенно улетучилась. Вечером она стелила мужу постель: она, тоскуя, ждала, вдруг он нынче все-таки вернется. А кошка без всякого стеснения залезала на эту постель и беспечно потягивалась. Возмущенная Синако расталкивала уже засыпавшую кошку и гнала прочь.

Да, раньше она срывала свою злость на этой кошке, а теперь в наказание придется снова жить вместе с ней. Когда муж прогнал Синако и она поселилась у сестры в это» комнатке на втором этаже, она тоже в первое время часто сидела у окна, глядя на горы и стараясь привыкнуть к одиночеству. При виде Лили, смотревшей в окно, ей показалось, что она смутно понимает кошку. Вдруг она ожи-вилась.

— Лили, иди-ка сюда, поешь.

Открыв стенной шкаф, она достала заранее припасенное угощение. Получив вчера открытку от Цукамото, она решила получше встретить дорогую гостью и сегодня утром встала пораньше, купила на ферме молока, приготовила тарелку и чашку. Сообразив, что гостье потребуются песочек, она еще вечером поспешила купить глиняную миску, но песка было не достать, и она под покровом ночи утащила немного песка со стройки за несколько кварталов отсюда. Все это хозяйство она тайком пристроила у себя, в стенном шкафу. Теперь она достала оттуда тарелку с рисом, приправленным строганиной из сушеной макрели, облезшую деревянную чашку и бутылку с молоком, налила молока в чашку, расстелила газету посреди комнаты. Затем развернула сверток с вареной курятиной и присоединила к своему угощению.

— Лили! Лили! — несколько раз позвала она, постукивая бутылкой о тарелку, но кошка делала вид, будто не слышит, и словно прилипла к о к н у. — Ну Лили же! — загорячилась Синако. — Что ты все на улице глядишь! Неужели покушать не хочешь?

Синако знала от Цукамото, что Сёдзо, заботясь, как бы кошку в дороге не укачало, утром не решился ее накормить, стало быть, Лили с утра ничего не ела. Обычно на звон посуды она прибегала со всех ног, но сейчас этот звук не производил на нее ни малейшего впечатления. Что же, ей так не нравится здесь, что она даже про голод забыла?

В свое время Синако слыхала рассказы о том, как Лили прибежала из Амагасаки, и поэтому понимала, что в первое время с нее нельзя будет спускать глаз, но пусть она хотя бы ела и ходила в песочек, и то уже ладно, а тут такое с самого начала, глядишь, чего доброго, прямо сразу сбежит... Синако понимала: если хочешь приручить животное, не следует раздражаться, но все-таки ей очень хотелось, чтобы Лили поела у нее на глазах. Она оттащила кошку от окна, отнесла на середину комнаты и ткнула

носом по очереди во все приготовленное. Лили извивалась и царапалась, пришлось ее выпустить, и она опять направилась к окну и забралась на ящик для лоскутов.

— Лили, ну погляди же. Это все твое самое любимое; разве не видишь? — Разозлившись, она опять схватила кошку и стала упрямо совать ей под нос то курицу, то молоко, но сегодня аромат любимых кушаний не оказывает должного действия.

«Что это она, в конце концов, ведь мы же с ней жили под одной крышей больше трех лет, ели с одного очага, а то и оставались вдвоем сторожить дом по несколько дней. А может, все еще сердится, что я ее обижала, вот нахалка, даром что бессловесная тварь, — разозлилась Синако. — Но если кошка все-таки убежит, провалится весь план. То-то там, в Азии, повеселятся... Ладно, подождем, кто кого переупрямит. Надо ставить перед ней еду и песочек, покапризничает-покапризничает и проголодается, а у меня другие заботы, к вечеру нужно закончить работу, а я с утра и не бралась».

Синако уселась возле шкатулки для рукоделья подбивать ватой мужское кимоно, но не успела поработать и часа, как опять стала нервничать и поглядывать на Лили. Та свернулась в углу и лежала совершенно неподвижно. Казалось, она поняла безвыходность своего положения и теперь, словно буддийский монах, погрузилась в медитацию или приготовилась к смерти, как человек, когда он в полном отчаянии от чрезмерного горя. Синако стало как-то не по себе, она осторожно подошла, чтобы проверить, жива ли кошка, попыталась растормошить ее; Лили не сопротивлялась, а только съежилась наподобие моллюска в своей раковине, совершенно окаменев. Вот упрямое создание! Этак она не скоро приживется. Может быть, она просто хочет усыпить бдительность хозяйки? Сейчас бежать вроде не собирается, а уйдешь ненадолго — ее и след простыл, дверь открывать она умеет. Выходит, не кошке, а ей, Синако, никуда нельзя отлучаться — ни поест, ни в уборную.

Наступило время обеда, и младшая сестра Хацуко позвала снизу:

— Сестрица, кушать!

— Иду! — откликнулась Синако и встала, но не спустилась, а некоторое время, задумавшись, оглядывала комнату. В конце концов она связала вместе три шерстяных шнурка от кимоно и крест-накрест обвязала один конец вокруг шеи Лили, продев его под мышками, и тщательно

завязала сзади узлом — не слишком сильно, но так, чтобы освободиться было невозможно. Другой конец после некоторых колебаний привязала к шнуру лампы, свисавшей с потолка, и только после этого сошла вниз.

Но и за обедом она нервничала и, наскоро поев, побежала обратно наверх. Лили, привязанная, по-прежнему лежала в углу, еще сильнее сжавшись в комок. Синако надеялась, что, пока ее нет, Лили спокойно сделает все, что нужно: и поест, и песочком воспользуется. Не тут-то было: все стояло нетронутым. Синако удрученно причмокнула языком, с ненавистью взглянула на бесцельно торчащие посреди комнаты тарелку с едой и миску с совершенно сухим песочком и опять уселась возле своей рабочей шкатулки. Но тут же подумала, что кошке неудобно лежать связанной, встала, развязала ее, а заодно и погладила, попыталась взять на руки, еще раз, хоть и без особой надежды, предложила поесть, переставила песочек. Так повторялось несколько раз.

Между тем наступил вечер. Около шести Хацуко снова позвала ее к столу, и она снова пустила в ход шнурок. Получилось, что день целиком ушел на кошку, а работа так и осталась незаконченной. За окном по-осеннему рано стемнело.

Пробило одиннадцать, Синако навела в комнате порядок, снова привязала Лили, уложила ее на целых два дзабутона и поставила рядом еду и песочек. Потом постелила себе, погасила свет и легла с мыслью о том, как было бы хорошо, если бы Лили за ночь съела хоть что-нибудь — курицу или даже одно молоко. Утром она проснется, а тарелка пустая, песочек мокрый, вот славнo-то будет... Но спать не хотелось, и она стала прислушиваться к дыханию Лили. Стояла мертвая тишина. Это показалось ей странным, она приподняла голову: из окон проникал слабый свет, но в углу, где устроилась Лили, было совершенно темно, ничего не разглядишь. Встревожившись, Синако нащупала шнурок, потянула, шнурок напрягся. Но на всякий случай она все-таки включила свет. Кошка была тут, но лежала совершенно так же, как и днем, плотно свернувшись, так и не притронувшись к еде и песочку. Синако вздохнула и выключила свет. Кое-как подремав, она проснулась; оказывается, уже наступило утро; на песочке красовался большой комок, а чашка с молоком и тарелка с рисом были пусты. «Наконец-то», — подумала она, но, увы, это ей всего лишь приснилось...

Неужели приручать животных — такое хлопотное

дело? Или это только Лили такая упрямая? Впрочем, если бы это был неопытный котенок, тогда другое дело, он быстро привык бы, а для такой вот старой кошки, как и для человека, попасть в чужую обстановку — наверное, страшный удар. Когда Синако не без тайного умысла собиралась взять эту кошку к себе, она и не подозревала, что кошка доставит ей хлопоты, зато теперь она жестоко наказана за все зло, причиненное прежнему врагу, она даже лишилась сна, терпит разные неудобства — и все же, как ни странно, она не злилась на Лили. Ей стало жаль кошку и жаль себя. Ведь когда она приехала из Азии и уныло затворилась тут, наверху, ей тоже было невыносимо тоскливо, она все время плакала, каждый день, каждую ночь, стараясь, чтобы не видели сестра с мужем. Она тоже дня два или три ничего не могла делать, не ела, не пила. Вот и Лили тоскует об Азии, а как же иначе. Сёдзо-сан ее так любил, ясно, что и она к нему привязалась. И вообще, выгнали кошку, совсем старую, из обжитого дома, отдали нелюбимому человеку — каково ей? Если она и правда хочет приручить Лили, надо все это учесть и, главное, обращаться с кошкой так, чтобы она успокоилась и доверяла хозяйке. Если тебя насильно угощают, когда ты в такой тоске, — кто хочешь рассердится. А она еще сует песочек: «Не хочешь есть — пидай». Как это грубо, неуважительно! Это еще ладно, хуже всего то, что она ее связала. Если хочешь, чтобы тебе доверяли, прежде всего сама доверяй, а так только напугаешь. Кто же станет есть связанный?..

На следующий день Синако не стала связывать Лили; убежит — что ж делать, пускай убегает. Время от времени она нарочно уходила минут на пять — десять и оставляла ее одну; кошка по-прежнему упрямылась, но, к счастью, убегать как будто не собиралась. Более или менее успокоившись, Синако решила, что во время обеда посидит внизу подольше, надо же спокойно поесть.

Однако успокаиваться было рано: минут через тридцать на втором этаже что-то зашуршало. Она побежала наверх — дверь оказалась приоткрытой. Очевидно, Лили вышла в коридор, прошла в соседнюю комнату и через окно, некстати оставленное открытым, вылезла на крышу. Ее нигде не было видно.

«Лили!» — хотела было закричать Синако, но так и не закричала. Все труды пропали даром, кошка все-таки убежала, и не хотелось ее разыскивать, казалось, с нее свалился тяжкий груз и можно вздохнуть спокойно. Не умеет она приручать животных, кошка все равно рано или позд-

но сбежала бы, так лучше уж пораньше. Зато теперь она свободна, можно как следует поработать, выспаться хорошенько. Но все же Синако пошла на задний двор, некоторое время искала кошку в кустах и звала: «Лили! Лили!», хотя ясно было, что кошки уже здесь нет.

* * *

И в ночь после побега Лили, и на следующую, и на третью ночь Синако не только не смогла выспаться, но вообще не сомкнула глаз. Нервная по натуре, она и так спала слишком чутко для своих двадцати шести лет. Еще в бытность прислугой у нее, чуть что, сразу пропадал сон, и теперь, после переезда сюда, в дом сестры, должно быть, от перемены обстановки, она долгое время не спала больше трех-четырёх часов в сутки. Настоящий, нормальный сон вернулся к ней всего каких-нибудь десять дней назад. Но отчего же теперь сон опять не шел к ней? Может быть, оттого, что она слишком усердно взялась за шитье, стараясь наверстать упущенное за время возни с Л и л и , — а когда она напряженно работает, то быстро устает и сильно волнуется? И потом она боится холода, и хотя сейчас только начало октября, но у нее мерзнут ноги, и под одеялом ей долго не удается согреться.

Она вспомнила, что послужило непосредственным поводом для развода: виной всему было якобы то, что она сильно мерзла. Сёдзо засыпал на редкость легко, он едва успел залезть под одеяло и уже сладко спал, как вдруг его разбудило прикосновение холодной, как лед, ноги. Он вышел из себя и велел ей лечь поодаль. Так они и заснули отдельно. А в холодные ночи они часто ссорились из-за грелки. Дело в том, что Сёдзо, в отличие от нее, был очень горячий. Даже зимой он все жаловался, что ему жарко, и не мог заснуть, если не высовывал ноги из-под одеяла. Поэтому он терпеть не мог ложиться в подогретую грелкой постель, он в ней и пяти минут не выдерживал. Конечно, не это было главной причиной раздора, но такая разница в устройстве организма оказалась хорошим предлогом; словом, постепенно они перестали ложиться вместе.

У Синако окоченела правая сторона шеи и плечо. Она разминала их, ворочалась, пыталась поудобнее устроиться на твердом изголовье. Каждый год в начале осени, с переменной погодой, у нее начинал ныть больной зуб, с прошлой ночи его стало немного подергивать. Здесь, в Рок-

ко, с приближением зимы всегда дул холодный ветер с гор и было гораздо холоднее, чем в Азии; в эту пору ночью все сильно промерзло, и казалось, что она уехала не в соседний городок, а в какую-то далекую горную страну. Она скорчилась, как креветка, и терла друг о друга потерявшие чувствительность ноги. В Азии она закладывала в постель грелку, предмет супружеских ссор, не раньше конца октября, а теперь, пожалуй, до этих дней не дотянуть...

Потеряв надежду уснуть, она включила свет и открыла взятый у сестры последний номер журнала «Друг хозяйки», чтобы почитать в постели. Было около часа ночи. Через некоторое время вдали послышался шум ливня. Сначала он как будто прошел стороной, но вскоре вернулся, по крыше дробно застучало, потом все смолкло. Потом опять раздался далекий шум дождя. Где-то сейчас Лили? Хорошо, если дома, в Азии. А если нет? Если заблудилась, она же насквозь промокнет. По правде говоря, она пока не написала Цукамото, что кошка убежала. Это событие все не выходило у нее из головы. Она понимала, что ей полагается как можно скорее сообщить об этом, но противно было нарваться на вежливо-иронический ответ: «Рад уведомить, что кошка давно вернулась домой, так что не тревожьтесь. Спасибо за хлопоты, но в них больше нет нужды». Поэтому она все откладывала отправку письма. Но если кошка вернулась, то не он должен был бы ждать от нее весточки, ему самому полагалось бы написать, а между тем он молчит, может, просто замешкался? Из Амагасаки она в свое время прибежала через неделю, тут расстояние поменьше, и ехала она по этой дороге всего три дня назад, не должна бы заблудиться. Правда, теперь память у нее старческая, чутье ослабло, проворство уже не то, может быть, там, где раньше хватало бы трех дней, теперь ей понадобится четыре. Но все-таки, наверное, завтра, ну, послезавтра она добежит. То-то они обрадуются! Какое облегчение почувствуют! Даже Цукамото-сан скажет: «Глядите-ка, вот она какая, эта Синако, не только муж ее бросил, кошка и та сбежала». Да что там, даже сестра с мужем у себя внизу подумают так же, разве что вслух не скажут... Все будут над ней смеяться.

В этот момент по крыше опять с дробным стуком прошелся дождь, а вслед за этим звуком раздался другой: что-то ударилось в окно. «Ну и ветер», — подумала Синако, но тут удар повторился два раза подряд: бух, бух. Для ветра звук был слишком тяжелый. И откуда-то послыша-

лось слабенькое «мяу». «Не может быть, — вздрогнула она, — должно быть, показалось». Но, прислушавшись внимательно, убедилась: и правда «мяу». Она в растерянности вскочила, раздвинула шторы. Теперь за окном уже совершенно явственно раздалось мяуканье, и к стеклу со стуком прижалось что-то черное. Голос был хорошо знакомый. Пока они были вместе тут, наверху, Лили ни разу не издала ни звука, но это несомненно было то самое мяуканье, которое она столько раз слышала за годы жизни в Азии.

Поспешно открыв окно, оуа почти до пояса высунулась наружу и стала всматриваться в темноту, пытаясь при свете комнатной лампочки что-нибудь разглядеть, но ничего не было видно. Прямо под окном был карниз с перильцами; вероятно, Лили забралась туда и стала мяукать и биться о стекло, но как только Синако открыла окно, куда-то убежала.

— Лили! — крикнула она в темноту, не слишком громко, чтобы не разбудить спавших внизу супругов. Черепица крыши была мокрая и блестела, несомненно только что прошел дождь, но в то же время — в это почти не верилось — в небе сверкали звезды. Фонари канатной дороги на массивном черном склоне горы Мая уже погасли, но в ресторане на самой вершине еще горел свет. Она вылезла из окна, встав одним коленом на карниз, и позвала:

— Лили!

— Мяу! — послышалось в ответ, и во мраке к ней стала медленно приближаться пара круглых светящихся глаз: очевидно, Лили шла по черепице в ее сторону.

— Лили!

— Мяу!

— Лили!

— Мяу!

Синако звала ее, и Лили каждый раз отвечала, до сих пор такого никогда не бывало. Кошка хорошо знала, кто ее любит, а кто нет, на зов Сёдзо откликалась сразу же, а когда звала Синако, притворялась, будто не слышит. Теперь же она не только не считала за труд откликаться, но мяукала все ласковее, чтобы не сказать — лстивее. Уставившись на Синако горящими зелеными глазами, она то подходила совсем близко к самым перильцам, то снова отходила. Кошки мяукают так, когда просят прощенья у людей, которых прежде не жаловали и от которых теперь ждут ласки. Видимо, Лили изо всех сил старалась дать понять, что передумала и просит помощи. Услышав, что

этот зверь наконец-то ласково ей ответил, Синако обрадовалась, как ребенок. Она непрерывно звала Лили и даже пыталась взять ее на руки, но та не давалась. Тогда Синако нарочно отошла от окна, и довольно скоро Лили сама проворно скользнула в комнату. И, что было уж совсем невероятно, подошла прямо к постели, на которой сидела Синако, и положила передние лапы к ней на колени.

«Отчего бы это?» — изумилась Синако, а между тем Лили, устремив на нее тот самый полный тоски взгляд, уже оперлась ей на грудь и тыкалась лбом в воротник ее фланелевого ночного кимоно. Синако прижалась к кошке щекой, и та стала облизывать ей все подряд: щеки, нос, уши. Она как-то слышала, что кошки выражают свою любовь совсем как люди: целуются, трутся щека о щеку, когда остаются с человеком наедине. Стало быть, вот как ласкали ее мужа, когда никто не видел. Ее обдавало особым кошачьим запахом улицы, лицо скреб шершавый язычок. Внезапно она ощутила острую нежность и горячо прижала кошку к себе:

— Лилишечка!

На кошачьей шерсти кое-где блесело что-то холодное, и Синако только сейчас сообразила, что Лили вымокла под дождем.

Но почему же она пришла не в Асию, а к ней? Должно быть, убежала она с расчетом добраться до Азии, но сбилась с пути и вернулась. Каково ей было смириться, когда, проблуждав три дня, она убедилась, что не доберется до Азии, а ведь это недалеко, всего несколько р и , — значит, уже совсем состарилась, бедная зверушка. Нрав-то все такой же, а нюх уже не тот, и зрение не то, и память вполовину не та, что прежде, вот и не запомнила, как ее везли сюда, по какой дороге, в каком направлении, сунется туда, сунется сюда — нет, не то, вернется, начинает снова искать... Прежде она откуда хочешь выбралась бы, а теперь в незнакомых местах ей страшно, совсем одна — ноги не слушаются. Наверное, она так и не ушла далеко, крутилась где-нибудь поблизости. Может быть, и прошлой ночью, и позаванной в темноте украдкой подбиралась к этому окну, раздумывала, не попроситься ли обратно, высматривала, как тут обстоит дело. И сегодня, наверное, притаилась на крыше и долго размышляла, но тут вдруг зажегся свет и полил дождь, тогда она и запищала, и стала тыкаться в стекло. «Но все равно молодец, что вернулась! Конечно, вернулась только оттого, что лихо пришлось, но все-таки, значит, я для нее не чужая. И ведь

у меня тоже было какое-то предчувствие, раз я включила свет и стала читать. Да и все эти три ночи как следует не спала, все ждала: вдруг объявится». При этой мысли слезы навернулись на глаза Синако.

— Ах, Лилишечка, не убегай больше никуда, — прошептала она и снова прижала кошку к себе. Неслыханное дело — Лили не протестовала и охотно позволяла обнимать себя еще и еще. Теперь Синако удивительно хорошо понимала эту старую кошку с ее безмолвным печальным взглядом. — Ты, должно быть, проголодалась, но сейчас уже поздно. Может, на кухне что и найдется, но знаешь, я ведь тут не у себя дома, придется подождать до утра.

В последний раз прижавшись к Лили щекой, она спустила ее на пол, закрыла окно, о котором совсем забыла, постелила кошке дзабутон, достала песочек, так и стоявший с тех пор в стенном шкафу. Все это время Лили ходила следом и вертелась рядом с Синако. Стоило ей хоть ненадолго остановиться, как Лили подбегала и, наклонив голову набок, начинала тереться об ее ноги.

— Ну, будет, будет. Иди сюда, с п и . — Она перенесла кошку на дзабутон, поспешно погасила свет и, наконец, легла сама. Но не прошло и минуты, как у ее изголовья снова запахло улицей и под одеяло, вздымая его волной, полезло нечто мягкое, бархатистое. Забравшись со стороны изголовья, это нечто полезло к ногам, повозилось там немножко, полезло обратно и наконец уткнулось Синако за пазуху ночного кимоно, где и успокоилось, вскоре раздалось громкое удовлетворенное мурлыканье.

«Значит, вот так она всегда и мурлыкала в постели у Сёдзо», — с острой ревностью подумала Синако. Сегодня Лили мурлыкала особенно громко: то ли кошка очень уж в хорошем настроении, то ли у Синако такая постель, что громко слышно. Она ощущала у себя на груди прохладную влажность Лилишкиного носа и забавно пухлых кошачьих подушечек, это было странно, но приятно. В темноте она нащупала у кошки шею и стала почесывать ее. Лили замурлыкала еще громче и несколько раз легонько ухватила ее зубами за указательный палец, и хотя прежде Синако не испытывала ничего подобного, она поняла, что это знак особого довольства и восторга.

Наутро Лили и Синако были уже друзьями, целиком доверявшими друг другу. И молоко, и рис с макрелью — все охотно съедалось. Применялся по назначению и песочек, отчего в маленькой комнате воцарилась стойкая вонь.

Этот запах неожиданно вызвал у Синако множество воспоминаний, казалось, будто вернулись счастливые дни в Азии: там всегда пахло так, и днем и ночью. Пахло все: и фусума, и столбы, и стены, и потолок. Три года вместе с мужем и свекровью она вдыхала этот запах, терпя обиды и тоску. Но тогда она проклинала эту мерзкую вонь, а теперь та же вонь будила в ней сладкие воспоминания. Тогда за эту вонь она вдвойне ненавидела кошку, теперь за эту же вонь полюбила. По вечерам, засыпая в обнимку с Лили, она недоумевала, почему раньше это милое, послушное создание казалось ей таким противным, и приходила к выводу, что это она сама в ту пору была противной, сварливой и злой, как черт.

* * *

Тут пора объяснить, зачем Синако отправила Ёсико то язвительное письмо насчет кошки и зачем так настойчиво повторяла свою просьбу через Цукамото. Честно говоря, были тут и злость и ехидство, был отчасти и расчет залучить к себе Сёдзо, — вдруг захочет навестить любимую киску? — но была и значительно более отдаленная цель. Рано или поздно — может, через полгода, может, через год или два — у Сёдзо испортятся отношения с женой. На это Синако и рассчитывала.

Вообще-то она совершила большую ошибку, выйдя замуж по сватовству Цукамото, и может статься, ей даже повезло, что ее оставил такой ленивый, несобранный, ни на что не пригодный муж. Но Синако не давало покоя, что ее семейное счастье, пускай и сомнительное, пало жертвой махинаций посторонних людей. Разумеется, Цукамото и все прочие на это если и не сказали бы впрямую, то наверняка подумали бы: нечего валить на других. Ну конечно, тебя не любила свекровь, но ведь главное — с мужем-то отношения никак не ладилась. Ты считала его болваном, обращалась с ним как с недоразвитым ребенком, а ему была в тягость твоя настойчивость, вы все время ссорились, вот и вышло: не сошлись характерами. Если бы муж тебя действительно любил, никакие посторонние не заставили бы его завести себе другую.

Но надо же знать характер Сёдзо: если взять его в оборот, он хочет не хочет, а подчинится. Он размазня, слюнтяй, скажи ему: вот эта лучше той — он и сам не заметил как, а уже и правда думает, что эта лучше. Он слишком безволен, чтобы самому завести любовницу и

выгнать жену. А Синако хотя и не припомнит, чтобы ее так уж обожали, но противна мужу она тоже не была. Так что если бы со стороны его не науськивали и не подзуживали, он бы никогда ее не оставил. Своей горькой судьбой она целиком обязана козням этой публики: О-Рин, Ёсико и батюшки Ёсико. Если не побояться выпренных слов, то она себя чувствует деревом, которое срубили под корень. Стыдно жалеть о потерянном, но оставить это все как есть было бы просто нестерпимо.

Впрочем, она ведь кое о чем догадывалась, хитрости О-Рин не могли от нее ускользнуть, и, пожалуй, можно было бы как-то им противостоять. Даже в те дни, когда ее совсем уж собрались выгнать, не следовало сдаваться. Могла схватиться с О-Рин, раньше все считали, что она умеет за себя постоять. Но не стала, свернула знамена, сдала позиции, покорно позволила себя выгнать, что было совсем на нее не похоже. Были, были у нее кое-какие соображения. Правда, сама виновата, недоценила опасность: никак не верилось, что О-Рин хочет взять сыну в жены эту вертихвостку, эту бывшую хулиганку Ёсико, не верилось и в то, что у ветреной Ёсико хватит терпения. Тут она просчиталась, но все равно не похоже, что этот союз окажется долговечным. Правда, Ёсико молодая, хорошенькая; не слишком образованная, но все-таки года два школы высшей ступени за плечами у нее есть, а самое главное, есть приданое, так что Сёдзо не положит зубы на полку, покамест ему как будто везет. Но не надоест ли он молодой жене, не захочется ли ей новых приключений? Она далеко не однолюбка, что-то, а это известно, что-нибудь да случится и выплывет наружу, тогда даже добряк Сёдзо не стерпит, да и О-Рин махнет рукой. Про Сёдзо-то речи нет, а О-Рин, конечно, все понимает, она такая, только на сей раз ее замучила жадность, вот она и стала интриговать.

Поэтому Синако отнюдь не капитулировала, просто, по ее мнению, лучше было на время уступить, чем впустую огрызаться, а строить планы на будущее никогда не поздно. Но, разумеется, перед Цукамото она об этом и не заикалась. Внешне она старалась выглядеть понесчастнее, чтобы ее жалели, но в глубине души твердо поставила себе цель когда-нибудь вернуться хозяйкой в Асию и, больше того, — только и жила надеждой, что рано или поздно добьется своего.

К тому же Синако хотя и считала Сёдзо человеком надежным, но злобы к нему не питала. Бестолковый он,

ни в чем не разбирается, все вертят им как хотят, вот и сейчас он на поводу у этой публики, думала она, и ей становилось жалко этого рохлю, которого приходится водить за ручку, как малого ребенка. И впрямь было в нем что-то трогательно детское. Когда к нему относишься как ко взрослому мужчине, он то и дело злится, но если отнестись снисходительно, как к младшему, то видно, какой он мягкий и добрый, поневоле поддаешься и уступаешь. Вот она и поддалась, истратила все свои сбережения, осталась голая. Оттого, что она с такой готовностью все отдала, делалось еще обиднее. Ведь в последние года два все хозяйство почти целиком держалось на ее слабых руках.

По счастью, она умела шить, стала шить на соседей, тем и держались. А то пропали бы, как бы там матушка ни хорохорилась. А оплата счетов? О-Рин в округе не любили, а Сёдзо абсолютно не доверяли, любая задержка платы вызывала скандал, и если им давали отсрочку, так только из сочувствия к ней. А теперь эти неблагодарные мать и сын потеряли голову от жадности, затащили в дом такую бездельницу и думают, что сменяли быка на лошадь, что они в выигрыше. Это еще надо посмотреть, сумеет ли новая хозяйка с хозяйством управиться. Ну ладно, она с приданым. Так ведь раз с приданым, то станет еще больше капризничать. А Сёдзо в расчете на эти деньги совсем обленится. В конце концов они все увидят, что получили не то, что хотели, и миру в доме не бывать. Вот тогда-то они и пожалеют о первой жене, тогда они скажут: Синако была посерьезней, она на все руки мастерица была. Не только Сёдзо, но и матушка поймет, что прощитались. А та вертихвостка — вертихвостка и есть, повертит этим домом в свое удовольствие, и прости-прощай. Так все и будет, это точно, он-то, несчастный, об этом не догадывается, а мы-то знаем и в свое время еще посмеемся. Но до прихода этого времени Синако с присущей ей предусмотрительностью решила поддержать у себя Лили.

Она всегда болезненно ощущала свою необразованность в сравнении с Ёсико, которая хоть и недолго, но все же какое-то время посещала школу высшей ступени, но если всерьез подумать, кто умнее, Синако была твердо уверена, что умом не уступает ни Ёсико, ни О-Рин, и идея забрать к себе Лили привела ее в восхищение.

Если кошка станет жить у нее, Сёдзо, непрерывно вспоминая Лили, будет вспоминать и о ней, жалея Лили, незаметно для себя почувствует сострадание и к ней. Тогда между ними не порвется духовная связь, и когда нач-

нутся нелады с Ёсико, он все чаще станет тосковать о Лили, а заодно и о прежней жене. Если будет известно, что она ни за кого не вышла замуж и ведет безрадостную жизнь вдвоем с кошкой, можно рассчитывать не только на сочувствие окружающих: надо думать, ему это тоже неприятно не будет, и может быть, он станет хуже относиться к Ёсико. Таким образом, ей даже ничего не придется делать самой, а супруги поссорятся и возвращение мужа станет более вероятным. Это, конечно, было бы большой удачей, и Синако полагала, что это вполне возможно. Вопрос упирался в то, отдадут ли они Лили, но если сыграть на ревности Ёсико, то с этим нетрудно было справиться. Вот какие побуждения, а отнюдь не только ехидство и злость, руководили Синако, когда она писала свое письмо. Она была уверена: эти, прошу прощения, недалекие люди ни за что не догадаются о ее тайных намерениях. Разве что удивятся, зачем ей кошка, которую она никогда не любила, станут придумывать смехотворные отговорки, подымут дурацкий шум. Все эти соображения внушали ей трудно сдерживаемое чувство собственного превосходства.

Таким образом, ее отчаяние, когда Лили убежала, и радость, когда та неожиданно вернулась, — были чувства хотя и сильные, но в конечном счете продиктованные расчетом, связанным с ее тайным планом, о любви и нежности к кошке тут и речи быть не могло. Но вот они с кошкой стали жить вместе в ее комнатке наверху, и это принесло совершенно непредвиденный результат. Каждую ночь, засыпая в обнимку с этим пахнущим улицей зверьком, она испытывала муки совести: «Какие же они милые, эти кошки, и как только я раньше этого не понимала». Видимо, в годы жизни в Азии она с самого начала почему-то невзлюбила эту кошку и потому уже не воспринимала ее красоту, а все от ревности. Из-за этой-то ревности повадки Лили, в общем ведь симпатичные, казались ей отвратительными. Например, ей было противно, когда кошка в холодные ночи залезала к мужу в постель, и она злилась на мужа, хотя теперь ей ясно, что тут нет ничего противного и не на что злиться. Вот ведь сейчас она спит одна и хорошо знает, каково это — мерзнуть по ночам. А у кошек температура тела выше, чем у людей, и они мерзнут сильнее. Даже поговорка есть: кошке жарко только летом, и то всего три дня. А сейчас осень, как же старой Лилишке не греться в теплой постели. Да ей и самой с кошкой гораздо теплее! Обычно в это время

года уже не спишь без грелки, а в этом году грелка ей не нужна, Лили греет. Она теперь уже и сама не отпускает ее. Кроме того, раньше ей не нравилось, что кошка капризная, что она с одними ведет себя так, а с другими иначе, что ей нельзя верить. Но ведь это все оттого, что она, Синако, просто-напросто ее не любила. У кошки свой кошачий ум, она прекрасно чувствует настроение человека. В самом деле, когда Синако полюбила ее по-настоящему, она тут же вернулась — и вот прижилась. Учуяла настроение Синако раньше, чем та сама осознала.

Синако чувствовала, что не то что к кошкам — к людям она тоже никогда не испытывала прежде такого теплого чувства. О-Рин, да и многие другие называли ее бесчувственной, со временем она и сама привыкла так думать — может быть, именно поэтому так удивляло ее, откуда взялась у нее эта готовность стараться для Лили, где в ее душе таилась такая теплота и преданность.

Давно ли она возмущалась, когда Сёдзо, никому не доверяя забот о своей кошке, каждый день сам кормил ее, каждые два-три дня ходил далеко к морю менять песочек, а в свободное время искал у нее блох, вычесывал щеткой, беспокоился, не сухой ли у нее нос, не жидкий ли стул, не лезет ли шерстка, чуть что не так — сразу давал лекарство. Давно ли она говорила, что только бездельник станет всем этим заниматься. А теперь она сама делает то же самое. И к тому же она живет не у себя дома. За стол, правда, платит сестре с мужем из своего заработка, так что не совсем нахлебница, но кошку ей держать довольно неудобно. Если бы это был ее собственный дом, искала бы для нее на кухне какие-нибудь объедки — и все дела, а в чужом доме так нельзя, приходится делиться своим обедом или идти на рынок специально что-нибудь покупать. Да и вообще доходы у нее скромнее некуда, так что любая трата на Лили, даже самая пустяковая, — уже бедствие. И еще проблема: песочек. В Азии было удобно, там до пляжа всего несколько кварталов, а здесь море очень далеко. В первое время она еще обходилась, приносила песок со стройки, а теперь его, увы, нигде нет. А песок надо менять почаще, иначе так воняет, что эта вонь в конце концов проникает на первый этаж, и сестра с мужем косо смотрят. Делать нечего, приходится идти ночью с совком на улицу, приносить землю с соседских огородов или песок со школьной спортплощадки. На дворе ночь, собаки облаивают, нахальные типы пристают. Для кого она стала бы это проделывать, кроме как для

Лили? Но все-таки отчего в свое время в Азии она не ходила за этим зверьком, ну пусть бы с наполовину меньшей любовью? Тогда они и с мужем не разошлись бы, и не пришлось бы ей теперь так трудно. В сущности, тут никто не виноват, кроме нее самой. Муж потому ее и разлюбил, что она не смогла полюбить эту славную, ни в чем не повинную зверушку. Сама была плоха, вот он и стал искать на стороне кого-нибудь получше...

С наступлением ноября стало заметно холоднее, и ночами пронизывающий ветер с горы Рокко задувал во все щели, вымораживая дом. Синако и Лили еще теснее прижимались друг к другу под одеялом и все-таки дрожали от холода. Когда стало совсем невтерпеж, пустили в ход грелку, и восторгу Лили не было предела. Каждую ночь, согревшись в постели теплом грелки и близостью мурлычущей Лили, Синако шептала ей в ушко:

— Ты добрее меня, знаешь? — Или: — Это из-за меня ты скучаешь и мучаешься, бедняжка! — А иной раз: — Но теперь уже скоро. Потерпи еще немножко, и мы с тобой сможем вернуться в Асию. Тогда заживем дружно втроем.

И хотя в пустой, темной комнате никто, кроме Лили, не мог ее видеть, она стыдливо натягивала одеяло на голову, чтобы скрыть слезы, навертывавшиеся на глаза.

* * *

В пятом часу вечера Ёсико отправилась в Имадзу навестить отца. Не успела она уйти, как Сёдзо оторвался от своих орхидей, с которыми возился на веранде.

— Маменька! — крикнул в кухню.

Мать была занята стиркой и, очевидно, не слышала. Он снова позвал:

— Маменька! Приглядите за лавкой. Я схожу кое-куда.

Плеск воды прекратился, из-за сёдзи раздался деловитый голос матери:

— Ну что?

— Я схожу кое-куда...

— Куда это?

— Ну, кое-куда.

— Зачем?

— Мало ли зачем, что вы, в самом деле, — вспылил он, сердито засопев, но тут же взял себя в руки и своим обычным тоном балованного мальчика попросил: — Отпустите на полчаса поиграть в бильярд, а?

— Ты же обещал не играть.

— Я только разочек. Ведь я уже полмесяца не играл. Ну, пожалуйста! Можно?

— Откуда мне знать, можно или нельзя. Отчитаешься перед Ёсико, когда придешь.

— С какой стати!

Мать сидела на корточках у лохани возле черного хода и не видела Сёдзо, по по его недовольному голосу ясно представляла себе, какое у него сейчас капризное лицо: рассерженный, он всегда вел себя как капризный ребенок.

— С какой стати мне отчитываться перед женой! Можно, нельзя. Вы же не станете докладывать Ёсико, если я уйду без спросу?

— Докладывать не стану, а присмотреть она просила.

— Так что же вы, маменька, у Ёсико в соглядатаях, что ли?

— Не говори в з д о р . — Продолжения не последовало, и в кухне снова раздался плеск воды.

— В конце концов, чья вы мать, моя или Ёсико? А? Чья?

— Перестань, не ори, соседи услышат.

— Тогда отложите вашу стирку и подите сюда.

— Ладно, ладно, отстань. Иди куда хочешь.

— Нет, все-таки подите с ю д а . — Видимо, что-то надумав, Сёдзо вошел в кухню, схватил мать за мыльную руку и потащил в комнаты.

— Взгляните, маменька, сейчас как раз кстати, мы одни.

— Ну, что там еще у тебя?

— Вот, взгляните-ка. — В глубине степного шкафа в супружеской спальне, между плетеной корзиной и маленьким комодом, краснело что-то скомканное.

— Как вы думаете, что это там такое?

— Вон то, что ли?

— Это все ее грязное белье. Она все время вот так запикивает и, запикивает и ничего не стирает. Там уже места нет, все забито, у комода ящики не открываются.

— Странно. Она же все аккуратно относит в прачечную.

— А трусики не носит.

— Хм, это трусики.

— Вот именно. Женщина, а такая неряха. Я уж не знаю, как и быть. Маменька, вам же все известно, отчего вы ее не отругаете? Меня все браните, а Ёсико что угодно вытворляет, вы будто и не видите.

— Я же не знала, что у нее тут такое понапикиано.

— Маменька! — испуганно воскликнул Сёдзо: мать

влезла в стеной шкаф и начала штука за штукой вытаскивать грязное белье.

— Зачем это вы?

— Да приведу в порядок.

— Бросьте, гадость же... Бросьте!

— Ладно, дай уж я.

— Где это видано, чтобы свекровь обстирывала невестку! Я вас, маменька, не просил. Скажите Ёсико, пускай сама постирает!

О-Рин, не обращая внимания, вытащила из глубины полутемного шкафа пять или шесть скрученных вещей из красной английской фланели, охапкой отнесла их в кухню и положила в ведро для стирки.

— Стирать будете?

— Не твое дело, ты мужчина, знай себе смотри да молчи.

— Отчего вы не велите Ёсико самой постирать, это же ее белье?

— Отстань, я только замочу, она увидит и сама постирает.

— Ерунда, она никогда ничего не видит.

Мать, конечно, только так говорит, она явно будет все стирать сама. Сёдзо совсем расстроился. Даже не переодевшись, прямо в рабочей куртке, он обулся, сел на велосипед и выехал на улицу.

Он действительно собирался сходить поиграть в бильярд, но история с бельем вконец испортила ему настроение. Черт с ним, с бильярдом, подумал он и поехал куда глаза глядят, в полном расстройстве чувств трезвоня звонком.

Пешеходная дорожка вдоль реки Асиягава вывела его прямо на новую магистраль; переехав через мост, он повернул в сторону Кобе. Еще не было пяти, но осеннее солнце опустилось уже совсем низко и светило почти параллельно прямой, как стрела, магистрали. В красных лучах заката сновали мимо люди и машины, за ними тянулись невиданно длинные тени. Низко наклонив голову, чтобы не ослепнуть от блеска асфальта, сверкавшего как сталь, Сёдзо проехал мимо рынка, приблизился к остановке автобуса, но тут заметил, что за линией электрички, у ограды больницы установил свои козлы Цукамото. Тот всецело ушел в починку татами. Мгновенно оживившись, Сёдзо подъехал к нему и окликнул:

— Как работается?

— А - а , — отозвался Цукамото, не отрываясь от иглы:

надо было закончить работу до темноты. — Куда это ты направился?

— Да так, никуда. Просто решил проехаться.

— У тебя дело ко мне?

— Нет-нет, — неуверенно ответил Сёдзо, волей-неволей изобразив некоторое смутное подобие улыбки. — Так, проезжал, дай, думаю, окликну...

— А, понятно. — И Цукамото снова погрузился в работу, как бы давая понять, что ему некогда уделять внимание разным людям, торчащим тут со своими велосипедами.

Сёдзо возмутился. По его мнению, даже самый занятой человек мог бы вежливо спросить: «Как у тебя дела?», или: «Все еще скучаешь по Лили?». Дело в том, что в присутствии Ёсико свою тоску по Лили ему приходилось тщательно скрывать, даже произносить слова со слогом «ли» он и то боялся, тоска не находила выхода, и теперь, неожиданно увидев Цукамото, он так обрадовался возможности наконец-то поведать кому-нибудь о своем горе и хоть немного облегчить душу. И Цукамото, конечно, следовало бы сказать ему что-нибудь в утешение или хотя бы извиниться за то, что долго не подавал вестей. Ведь в свое время, когда он отвез Лили к Синако, он твердо обещал Сёдзо навещать ее и сообщать, как она там, как с ней обстояются. Разумеется, это был их сугубо секретный уговор, ни О-Рин, ни Ёсико ничего не должны были об этом знать. И он только с таким условием и согласился отдать любимую кису. А Цукамото с тех пор ни разу не выполнил обещания. В сущности, он просто ловко надул Сёдзо. Вот и теперь он вел себя как ни в чем не бывало.

...Впрочем, может, и не надул, может, просто у него очень много работы и ему не до того? Конечно, раз уж они встретились, стоило бы отругать его как следует, но он так усердно работает, что с ним как-то и не заговоришь про кошку, а если заговоришь, то он, пожалуй, на тебя еще и накричит. Сёдзо все стоял, зачарованно следя за полетом иглы Цукамото, сверкавшей в лучах закатного солнца. Вокруг было пустынно, жилья в этом месте почти не было, к югу виднелся пруд, где разводили лягушек для ресторанов, к северу — недавно воздвигнутое дорожной администрацией в память жертв автомобильных катастроф каменное изваяние бодхисатвы Дзидзо, покровителя путников. За больницей тянулись поля, а за ними складки гор, еще недавно так четко различимые в прозрачном воздухе, но уже подернутые густой дымкой сумерек.

— Ну, я поеду, пожалуй.

— Заходи как-нибудь.

— Непременно зайду. — Сёдзо поставил ногу на педаль и, подпрыгивая, уже отвел велосипед на несколько шагов, но, никак не решаясь окончательно распрощаться, снова вернулся. — Скажи... Цукамото-кун, прости, что я тебе мешаю, но скажи, пожалуйста...

— Что такое?

— Я тут думаю съездить в Рокко...

Цукамото только что закончил починку очередного татами и снимал его с козел, но от удивления позволил ему плюхнуться обратно.

— Зачем?

— Ну, я совсем не знаю, как она там...

— Ты это серьезно? Да брось ты, будь мужчиной!

— Это не так просто, Цукамото-кун... Легко сказать — брось.

— Помилуй, ты же сам мне тогда говорил, что, дескать, тебе эта женщина не дорога, она и некрасивая вовсе.

— Постой, Цукамото-кун! Я не про Синако, я про кошку...

— То есть как про кошку?..

— Ну да. Ты ведь обещал иногда узнавать, как Синако с ней обращается, помнишь?

— Обещал, вот как? Понимаешь, после наводнения работы уйма, я совсем замотался...

— Понимаю, понимаю. Потому я на тебя особо и не рассчитываю. — Сёдзо постарался вложить в эту фразу как можно больше иронии, но Цукамото, совершенно этого не заметив, поинтересовался:

— Ты что же, все никак не забудешь про эту кошку?

— Как тут забыть, я же беспокоюсь, может, Синако ее обижает, я ее каждую ночь во сне вижу. Да еще при Ёсико ни слова про нее не скажи, ну, совсем беда... — Сёдзо бил себя в грудь и чуть не плакал. — Главное что, я бы уже туда съездил, но меня скоро месяц как никуда не выпускают одного. И потом, мне вовсе ни к чему встречаться с Синако, нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы я познакомился с Лили по секрету от нее?

— Это сложно... — Цукамото в раздумье прикоснулся к лежащему на козлах татами, как бы давая понять, что тут уж ничего не поделаешь. — Никак не познакомиться. Будет выглядеть так, как будто ты пришел не к кошке, а к Синако-сан мириться, а это, сам понимаешь...

— Да, это ни к чему.

— Теперь все, раз отдал, обратно не возьмешь, а, Исии-кун?

— Скажи-ка, — не отвечая, спросил Сёдзо, — Синако живет наверху или внизу?

— Вроде бы наверху, но внизу тоже бывает.

— А отлучается?

— Ну, не знаю... Она же шьет, значит, по большей части сидит дома.

— В какое время она ходит в баню?

— Понятия не имею.

— Ясно. Ну, извини.

Цукамото снова взялся за татами, но вдруг окликнул уже успевшего отъехать Сёдзо:

— Исии-кун! Ты в самом деле туда поедешь?

— Пока не знаю. Во всяком случае, покручусь там поблизости.

— Поезжай, конечно, если хочешь, но только имей в виду — если будут неприятности, я тут ни при чем.

— А ты, будь другом, не говори ничего ни Ёсико, ни матери. — И Сёдзо, оглядываясь по сторонам, поехал через линию электрички.

* * *

Надо было бы отправиться туда прямо сейчас, но удастся ли повидаться с Лили потихоньку, так, чтобы не столкнуться ни с кем из обитателей дома? К счастью, там позади дома пустырь, остается только спрятаться за тополями в кустах и терпеливо ждать, может быть, Лили выйдет. Но вот беда, уже темно, если и выйдет, не заметишь. Кроме того, скоро, наверное, придет с работы муж Хацуко, на кухне займутся ужином, и у черного хода все время будет кто-нибудь торчать, не сидеть же там в кустах без конца. Лучше бы поехать в другой раз, пораньше, но и то уже хорошо, что удалось удрать от жены и можно спокойно поездить. Вообще-то если сегодня не ехать, то другой случай выпадет не раньше чем через две недели. Ёсико время от времени ездила к отцу выпрашивать деньги на мелкие расходы, это происходило, как правило, два раза в месяц, примерно первого и пятнадцатого. Там она обычно оставалась ужинать и возвращалась не раньше восьми-девяти. Так что сегодня Сёдзо мог наслаждаться свободой еще часа три-четыре, и если он не побоится холода и голода, то сможет просидеть там на пустыре по

меньшей мере часа два. Если Лили не отвыкла гулять после ужина, то, глядишь, он сможет ее увидеть. Лили имела привычку после еды отправляться куда-нибудь, где растет трава и есть зеленые листочки, поэтому пустырь внушал надежду.

С такими мыслями он доехал до магазина «Кокусуйдо». Тут он слез с велосипеда и, удостоверившись, что хозяин на месте, приоткрыл стеклянную дверь:

— Здравствуйте! Прощу прощения, не одолжите ли мне двадцать сэн?

— Двадцать сэн? Пожалуйста, — ответил хозяин не то чтобы уж очень неприветливо, но без особого желания вскакивать и рассыпаться в любезностях. Он достал из кассы две десятисэновых монетки и молча протянул ему. Сёдзо перебежал через дорогу, купил в лавке пакетик сладких булочек и кусок курятины, завернутый в листья бамбука, потом вернулся обратно и попросил:

— Можно, я воспользуюсь вашей кухней?

При всем своем обаянии Сёдзо был порядочным нахлом, поэтому на вопрос: «Зачем?» — он лаконично ответил: «Нужно!» — и с улыбкой проследовал па кухню. Здесь он развернул листья бамбука, выложил курятину в алюминиевую кастрюльку, зажег газ и сварил ее. Затем с многочисленными извинениями попросил одолжить ему еще и фонарь для велосипеда.

— Вот, возьмите, — хозяин вынес ему старый бумажный фонарик с надписью «Ресторан Миёси, город Уодзаки». Скорее всего, фонарик принадлежал раньше какой-то столовой, отпускающей обеды на дом.

— О-о, прямо антиквариат!

— Вот именно, смотрите, чтоб не пропал. При случае вернете.

На улице еще не совсем стемнело, поэтому Сёдзо прицепил фонарь к поясу. Доехав до станции Рокко, он оставил велосипед в чайной на углу и зашагал по крутой тропинке в гору. Дом был недалеко, он подошел к нему со стороны черного хода, присмотрел на пустыре подходящие заросли кустарника, забрался в них и присел на корточки, затаив дыхание.

«Посижу тут часика два, перекушу булочками, — думал он. — Если Лили выйдет, дам ей курочку, она заберется ко мне на плечи, облизнет губы, вот и получится у нас тайное свидание».

Поскольку Сёдзо вышел из дому просто так, без всяких особых планов, и ноги сами повели его в эту сторону, да

и Цукамото попался ему случайно, а решение поехать в Рокко было принято только в дороге, то одет он был совсем легко и довольно скоро замерз. Трясаясь мелкой дрожью, он глядел на небо, усыпанное звездами. Обувшись на босу ногу в деревянные сандалии, он ощутил прикосновение холодной воды и провел рукой по шапке, по плечам: они были мокрыми от обильной росы. «Холодает, — подумал о н, — если так сидеть тут два часа, то и простудиться недолго». Но с кухни донесся запах жареной рыбы, и Сёдзо решил, что Лили может почуять его и прибежать с прогудки: он весь обратился в слух.

— Лили! Лили! — позвал он негромко.

Нельзя ли как-нибудь подать знак, такой, чтобы поняла она, но не обитатели дома? Кусты, где он прятался, были густо обвиты травянистой лианой-пуэрарией, в ее переплетениях время от времени что-то поблескивало. Сёдзо прекрасно знал, что это капли росы отражают идущий из дома электрический свет, и все-таки каждый раз замирал от надежды: может, это кошачьи глаза? Ах, Лилишка, вот радость-то! Сердце начинало отчаянно колотиться, но в следующее мгновение надежда оказывалась напрасной. Смешно сказать: никогда в жизни он еще не ждал ни одно человеческое существо с таким волнением. Ну в самом деле? Были у него свидания с девушками из кафе; любовь? Ну, встречался с Ёсико втайне от первой жены, это было приятно, волнующе, держало в непривычном возбуждении. Но там все устроили родители, они их свели, они ловко обманывали Синако; там не надо было пускаться в трудный путь, мокнуть в ночной росе и всухомятку ужинать булочками. Не было того ощущения значительности происходящего, и не было такого горячего желания увидеться.

Сёдзо очень не нравилось, что и мать, и жена обращаются с ним, как с малым, неразумным ребенком, но поделиться обидой было не с кем, он страдал, чувствовал себя совершенно одиноким, беспомощным и поэтому еще сильнее любил Лили. Только Лили умела своими полными тоски глазами увидеть, как ему плохо, и успокоить его; этого не умели ни Синако, ни Ёсико, ни мать. Зато он тоже был уверен, что читает в кошачьем взгляде печаль бессловесной твари, понимает все, что она чувствует, но не умеет объяснить человеку. А теперь они были в разлуке уже сорок с лишним дней. Какое-то время он, правда, старался больше не думать о кошке и поскорей о ней забыть, но мать и жена сильно досаждали, досаду некуда было из-

лить, и его опять неудержимо потянуло к Лили. Еще бы, если тебя держат взаперти и требуют отчета за каждый шаг, как не затосковать по любимому существу, как забыть его? Вдобавок от Цукамото не поступало никаких известий. Ведь договорились, отчего же он молчит? Ладно, если загружен работой, а вдруг что-нибудь не так и он скрывает, не хочет тревожить Сёдзо? Может быть, Синако ее обижает, морит голодом, она совсем отоцала, может, убежала и пропала, или заболела и сдохла? В последнее время Сёдзо часто снилось нечто подобное, не раз он внезапно просыпался среди ночи, ему чудилось, что где-то жалобно мяукают, он делал вид, что идет в уборную, и открывал украдкой ставни. Когда такое повторялось слишком часто, ему начинало казаться, что это не сон, что это душа Лили: кошка сбежала и умерла где-нибудь под забором, а дух вернулся, и он содрогался от ужаса. Правда, он убеждал себя, что несмотря на всю злобность Синако и безответственность Цукамото, если бы с Лили действительно что-то произошло, то ему непременно сообщили бы, а раз не сообщают, значит, все в порядке, и он старался отмести свои опасения.

И все-таки если он на удивление точно соблюдал приказания Ёсико и ни разу даже не подумал побывать в Рокко, так не только потому, что за ним строго следили, но также и потому, что ему не хотелось попадаться в сети Синако. Он все еще не вполне понимал, зачем ей понадобилось забирать кошку, но склонен был подозревать, что Цукамото не спешил сообщать ему о Лили именно по ее наущению: вероятно, Синако решила заставить его поволноваться и тем завлечь к себе. Конечно, навестить Лили хотелось, очень хотелось; но при всем том не хотелось попадать в заготовленную этой женщиной ловушку, и тоже очень. Одно дело — повидаться с Лили, и совсем другое — оказаться в руках Синако. Она загордится: «Ага, пришел-таки!», задерет нос — подумать и то страшно... Сёдзо был по-своему хитроват и охотно пользовался в своих целях тем, что все считали его безвольным, легко поддающимся чужому влиянию. Так было и с Синако: выглядело все так, будто оп выгнал ее под напором О-Рин и Ёсико, но, пожалуй, она и самому ему порядком надоела. Теперь он был уверен, что поступил правильно, и ни о чем не жалел.

Она, конечно, сейчас вон там, у себя наверху, подумал он, глядя из своего укрытия на освещенное окно второго этажа, и поежился, представив себе характерное выражение ее лица: как будто она умнее всех, а тебя считает за

дурачка. Ведь для чего приехал-то: чтобы услышать, наконец, милое знакомое «мяу», хотя бы и в чужом доме, чтобы удостовериться, что никто его зверушку не обижает, больше ему ничего не надо. Сейчас подкрасться бы к черному ходу, заглянуть... если все спокойно, вызвать тихонько Хацуко, передать ей курятинку для Лили, выяснить, как и что... Но как посмотришь на этот свет в окне, сразу встает перед глазами ее лицо, и ноги цепенеют. Кто знает, вдруг Хацуко побежит звать сестру; во всяком случае, потом уж наверняка ей расскажет. То-то она загордится: отлично, мол, все идет как задумано. Нет уж, придется все-таки сидеть тут на пустыре, ждать, вдруг Лили случайно пройдет мимо, прошло уже часа полтора, и пора было подумать о том, как обставить возвращение домой. Мать-то ничего, а вот если Ёсико уже дома, быть ему сегодня в синяках. И это бы еще полбеды, а то ведь с завтрашнего же дня надзор усилится. Странно, однако, что за полтора часа он ни разу не услышал «мяу»: что, если сбылись его кошмарные сны и кошки тут больше нет? Если они давеча жарили рыбу на всю семью, наверное, и Лили кое-что досталось, тогда она обязательно пошла бы кушать травку, а ее нет — очень это подозрительно...

Не стерпев, Сёдзо вылез из кустов, крадучись пробрался к черному ходу, прислушался. Внизу ставни были закрыты; слышен был только голос Хацуко, видимо, она укладывала ребенка, больше никаких звуков. Если бы Лили хоть па миг появилась в окошке, пусть бы даже наверху — какая была бы радость, но в верхнем окне виднелась только белая занавеска, вверху — темнее, внизу — посветлее, должно быть, Синако опустила лампочку пониже и занималась своим рукоделем. Сёдзо представилась мирная картина: Синако усердно орудует иглой, а рядом, свернувшись уютным колечком, нежится Лили. Они одни в кругу немигающего электрического света, вся остальная комната погружена в полумрак... Уже совсем поздно, кошка чуть слышно сопит во сне, а женщина все так же молча шьет... Грустная, но трогательная сцена. Если там, за окном, и правда такой уютный мирок, — если произошло чудо и Лили подружилась с Синако, — не замучит ли его ревность при виде этой мирной картины?

Честно говоря, ему все-таки было бы досадно, если бы оказалось, что Лили забыла прошлое и вполне довольна настоящим. Конечно, хуже, если с ней плохо обращаются или если она сдохла, но все равно — так тоже невесело. Может быть, и к лучшему, что ему ничего не известно.

Сёдзо услышал, как часы на первом этаже пробили половину: бом... Половина восьмого, сообразил он и вскочил, как будто кто-то толкнул его, но, отойдя на несколько шагов, вернулся, вынул из-за пазухи сверток с курятиной и стал лихорадочно придумывать, куда бы его пристроить: то ли у двора, то ли, пожалуй, у мусорного ящика. Надо, чтоб гостинец лежал в таком месте, где его могла бы обнаружить только Лили, но в кустах его учуют собаки, а тут заметят обитатели дома. Что бы такое придумать? Нет, поздно этим заниматься. Если самое большее через полчаса он не будет дома... «Ну-ка, где ты был столько времени?» — прозвучал у него в ушах грозный окрик разгневанной Ёсико. Так ничего и не придумав, он развернул свой гостинец прямо в кустах, придавил края камешками, укрыл листьями и со всех ног помчался к чайной, где оставил велосипед.

* * *

В тот вечер Ёсико вернулась домой на час с лишним позже Сёдзо. Она была в прекрасном настроении, рассказывала, как ходила с младшим братом на бокс. На следующий день они с Сёдзо поужинали раньше обычного и отправились в Кобе развлекаться.

О-Рин заметила, что Ёсико всегда бывала весела после поездки в Имадзу — так продолжалось неделю, пока у нее водились полученные от отца деньги. Она тратила их не задумываясь, ходила в кинематограф, в оперетку, разок-другой могла пригласить и Сёдзо. В такие дни супруги отлично ладили между собой, но к концу недели Ёсико приходила в уныние. Начинала скучать, целыми днями без дела слонялась по дому или читала журналы и то и дело бранила мужа. Сёдзо, со своей стороны, пока жена была при деньгах, усердно изображал преданного супруга, но по мере того как тратить становилось нечего, все больше дулся и огрызался. Больше всех доставалось при этом матери, не вовремя попадавшей под руку. Поэтому всякий раз, когда Ёсико отправлялась в Имадзу, О-Рин втихомолку радовалась: вот и отлично, поживем спокойно.

Сейчас как раз начиналась одна из таких мирных недель. Однажды вечером, дня через три-четыре после поездки в Кобе, когда супруги, ужиная вдвоем, оба успели немного выпить, Ёсико, слегка покрасневшая от сакэ, сказала:

— Какая скучная была на этот раз картина. А ты как

считаешь? — и потянулась к бутылке, чтобы наполнить чашечку мужа. Но Сёдзо перехватил у нее бутылку и налил сам:

— Давай еще по одной.

— Мне нельзя... Я пьяная.

— Давай, давай, еще по одной.

— Дома пить неинтересно. Лучше пойдем завтра куда-нибудь, а?

— Неплохо бы.

— Деньги у меня пока есть... Мы тогда дома ужинали, в городе потратились только на картину. Так что я еще богатая.

— А куда пойдем?

— Лучше всего в театр Такарадзука. Что там сейчас дают?

— Оперетку, должно быть... Но раз ты такая богатая, может, придумаем что-нибудь получше?

— Что, например?

— Поедем в парк любоваться кленами.

— В Мино?

— В Мино не стоит, там после наводнения ничего не осталось. Вот, может, в Ариму... Давно там не были. Помнишь?

— А что... Слушай, когда же это было?

— Да уж с год назад. Хотя нет, постой, тогда ведь лягушки квакали.

— Верно, значит, не год, а полтора.

В ту пору, когда началась их тайная близость, как-то раз они однажды поехали в Ариму и полдня развлекались там в домике служителя императорской виллы под шум прохладной горной реки, перемежая пиво любовью. Этот счастливый летний день они и вспомнили теперь.

— Что ж, опять пойдем к тому служителю?

— Сейчас лучше, чем летом. Полюбujemy кленами, искупаемся в горячих источниках, поужинаем в свое удовольствие...

— Правильно, так и сделаем, решено.

На следующий день Ёсико с самого утра начала собираться в дорогу.

— Слушай, — сказала она мужу, — ты оброс.

— Очень может быть, я у парикмахера уже полмесяца не был.

— Сходи сейчас, только быстро. За полчаса.

— Ну, знаешь!

— Я не поеду с таким нестриженным. Давай живо!

Размахивая полученной от жены бумажкой в одну иену, Сёдзо дошел до парикмахерской. К счастью, посетителей там не было.

— Побыстрее, пожалуйста, — сказал он хозяину.

— Куда-нибудь собираетесь?

— Еду в Ариму любоваться кленами.

— Замечательно. И супруга с вами?

— Да, вместе едем. Хотим пораньше выехать, надо побыстренько постричься за полчаса.

Через тридцать минут, сопровождаемый доброжелательным напутствием парикмахера, Сёдзо отправился домой. Но не успел он войти в лавку, как замер у порога, услышав во внутренних комнатах возбужденный голос жены:

— Отчего же вы, маменька, до сих пор это скрываете? — Ёсико почти кричала, видимо, она была вне себя. — Отчего вы мне сразу не сказали, как только это произошло? Может, вы только на словах держите мою сторону, а сами все время позволяли ему это вытворять?

Мать была явно обескуражена напором невестки и лишь изредка ухитрилась вставить словечко вполголоса, чтобы Сёдзо не услышал. Но он все слышал.

— Как это! Как это — может быть, и не ездил! На чужой кухне варит курятину — для кого же это, как не для Лили? И вообще, когда он вернулся с этим фонарем, неужто вы, маменька, не поняли, куда он ездил?

Ёсико не часто разговаривала с матерью таким повышенным тоном, и Сёдзо сразу сообразил, что, пока он стригся, к ним пришли за тем самым старинным фонариком, который он одолжил в магазине «Кокусуйдо». По правде сказать, когда в тот вечер Сёдзо вернулся домой с фонариком на руле велосипеда, он, не заходя в дом, спрятал его в чулане, чтобы не попасться с ним на глаза жене. Вероятно, мать обнаружила фонарь и показала Ёсико. Но с какой же стати хозяин фонарика вдруг решил его забрать, ведь он же тогда сказал Сёдзо, что это не к спеху? Вряд ли ему стало жалко такого старья, наверное, послал сюда кого-то по делу и велел заехать по дороге. А может, он разозлился, что Сёдзо так и не вернул ему двадцать сэн? И потом, кто бы там ни приезжал, сам хозяин или посыльный, но зачем было болтать про курятину?

— Если бы он ездил только к Лили, я не стала бы возражать. Но он же не с кошкой видаться ездит! Вы что же думаете, маменька, я позволю ему стукнуться с этой мерзавкой и меня обманывать?

В ответ на это О-Рин, разумеется, не нашла что сказать и совсем притихла. Ей, конечно, было неприятно выслушивать эту брань, предназначенную, в сущности, сыну, но с другой стороны, похоже, она была даже отчасти рада: если бы Сёдзо сейчас был тут, он бы, конечно, не отделался такой легкой головомойкой. На всякий случай она заняла оборонительную позицию с таким расчетом, чтобы в случае чего мгновенно выскользнуть на улицу. Но тут Ёсико взвизгнула:

— Мне теперь все ясно! Раньше вы ее выставили, а теперь меня хотите выставить, да? Посылаете его в Рокко, чтобы сговориться! — Вслед за этим что-то грохнуло.

— Постой!

— Оставьте меня!

— Куда ты собралась?

— К отцу! Раз он меня не слушает, вас не слушает...

— Подожди! Сёдзо сейчас придет...

Снова что-то загрохотало, и пока женщины в пылу драки вылетели из комнат в лавку, Сёдзо выскочил на улицу и не помня себя пробежал пять или шесть кварталов. Остановившись перевести дух, так и не узнав, чем кончилось дело, он обнаружил, что очутился у автобусной остановки. В руке он все еще крепко сжимал сдачу, полученную в парикмахерской.

* * *

В этот день Синако в начале второго накинула поверх кимоно шерстяную шаль и пошла отнести заказчику законченную работу. Хацуко одна занималась на кухне стиркой. Вдруг сёдзи слегка раздвинулись и затаив дыхание в кухню осторожно заглянул Сёдзо.

— Ой! — отпрянула Хацуко, но Сёдзо, наспех поклонившись, улыбнулся ей:

— Хат-тян... — начал он, боязливо оглядываясь, и зашептал скороговоркой: — Слушайте-ка. Синако вышла, да? Я ее сейчас видел, только она меня не заметила. Я вон там за топодем прятался.

— У вас к ней дело?

— Да какое там! Пришел с Лили повидаться. — В голосе Сёдзо прозвучала неподдельная тоска. — Хат-тян, скажите, кошка у вас? Можно мне повидать ее?

— Была где-то тут.

— Я тут поблизости уже два часа торчу, она не появлялась.

— Тогда, может быть, наверху?
— А вдруг Синако придет? Куда она пошла?
— Работу отнести, это недалеко. Она скоро вернется.
— Ах, что же делать? Вот беда. — В полном отчаянии Сёдзо топнул ногой. — Хат-тян, умоляю вас... — Он молитвенно сложил руки и торопливо изобразил глубокий поклон. — Очень прошу. Я вам этого никогда не забуду. Принесите ее сюда, а?

— Да что вы собираетесь с ней делать?
— Ничего... Увидеть бы, что жива и здорова, и все.
— Вы не заберете ее?
— Да какое там заберу. Увидеть бы, и я уж больше не буду приезжать.

Хацуко долго и пристально глядела Сёдзо в глаза, раздумывая как поступить. Потом, очевидно приняв решение, молча пошла на второй этаж. Заглянув в комнату сестры, она повернулась и сказала ему с середины лестницы:

— Она там.
— Там она, да?
— Я ее не умею брать на руки, зайдите сами, взгляните.

— А ничего?
— Вы только побыстрее.
— Хорошо. Уж извините за вторжение.
— Поскорей, пожалуйста.

Сёдзо поднялся по крутой, узкой лестнице: сердце у него колотилось. Столько времени он об этом мечтал, и вот сейчас они увидятся, но как она теперь выглядит? Какое счастье, что не сдохла где-нибудь под забором, не пропала без вести, что живет себе спокойно в этом доме, по если вдруг ее обижают, если вдруг исхудала... Она, конечно, не забыла его за эти полтора месяца, но подбежит ли к нему, обрадуется ли? Или смутится, как бывало, и убежит прочь? В Азии, когда он возвращался домой после нескольких дней отсутствия, она всегда ласкала и облизывала его, словно просила никуда больше не уходить. Если так будет и сейчас, как же тяжело ему будет оторвать ее от себя!

— Вот ваша кошка...

Стоял ясный солнечный день, но на окнах были задернуты шторы — вероятно, аккуратистка Синако позаботилась об этом перед уходом, и в комнате стоял полумрак. В этом сумраке, возле фаянсовой жаровни-хибати, свернувшись на двух положенных друг на друга дзабутонах

и поджав под себя передние лапы, дремала милая его сердцу Лили. Она нисколько не похудела, и шерстка лоснилась, как полагается: очевидно, с ней обращались неплохо. В самом деле, Синако не только подстелила ей целых два дзабутона, но и дала на обед яйцо, о чем свидетельствовала яичная скорлупка и чисто вылизанная тарелка на газете в углу. А рядом стоял такой же песочек, как в Азии: Сёдзо уловил позабытый запах. Тот самый, который прежде исходил в его доме от столбов, от стен, от пола, от потолка: теперь он царил в этой комнате. На Сёдзо накатила тоска.

— Лили! — неожиданно хрипло прозвучал его голос.

Кошка услышала и открыла глаза, тусклые и печальные, бросила на Сёдзо недружелюбный взгляд — и больше ничего. Никаких эмоций. Она еще глубже поджала под себя передние лапы, зябко передернула спинкой и кончиками ушей — и снова сонно зажмурилась.

Погода была хотя и ясная, но холодная, и Лили, должно быть, не хотела покидать уютное местечко возле жаровни. К тому же она только что плотно поела и стала вдвойне тяжела на подъем. Сёдзо хорошо знал, как флегматичен этот зверек, и не слишком удивился такому холодному приему, но все же от него не ускользнуло, — или только показалось? — что глаза у кошки загноились и поза какая-то очень беспомощная: за это недолгое время она успела еще более одряхлеть, стала жалкой. Особенно щемящим было это выражение глаз. У Лили и прежде бывал такой сонный взгляд, но сегодня в нем чувствовалось полное бессилие, бесконечная усталость, как у подкошенного болезнью бесприютного путника.

— Не узнает уже. Животное, что с него взять.

— Нет, притворяется, она всегда так на людях.

— Вы думаете?

— Точно вам говорю. Вот что... извините, Хат-тян, вы не могли бы самую чуточку подождать вон там, я закрою дверь?

— А что вы будете делать?

— Ничего. Я только... Ну, возьму ее на руки.

— Боюсь, сестрица придет.

— Тогда будьте добры, Хат-тян, последите из той комнаты, крикните мне, когда она появится. Пожалуйста... — Говоря все это, Сёдзо потихоньку вытеснял Хацуко из комнаты и в конце концов закрыл за ней дверь. Только после этого, повернувшись к кошке, он снова позвал: — Лили!

Кошка недовольно заморгала, словно протестуя, что ей

не дают спокойно спать. Он вытер ей гной в глазах, посадил ее на колени, почесал за ушками. Она не сопротивлялась, покорно слушалась и скоро замурлыкала.

— Лилишечка, что с тобой? Плохо себя чувствуешь? Хорошо ли за тобой тут смотрят? — Он говорил ей нежные слова, изо всех сил стараясь, чтобы она вспомнила их прежнюю близость, ткнулась в него головой, облизала лицо, но Лили, как будто не слыша, лишь продолжала мурлыкать, не открывая глаз. Все же ему стало полегче; гладя кошку по спине, он осмотрелся в комнате. В каждой мелочи проглядывала тщательная, дотошная натура Синако. Вот, например, уйдет всего на минутку, а непременно задернет шторы. В маленькой комнате тесно, много вещей: зеркало, комод, швейные принадлежности, посуда для кошки — и все это аккуратнейшим образом расставлено в ряд. Уголь в хибати, на котором грелся утюг, присыпан красиво разровненной золой. Даже чайник блестел так, как будто его только что начистили. Странно выглядяла только эта яичная скорлупа. Синако сама зарабатывает себе на жизнь, ей явно живется нелегко, но, оказывается, при всей своей бедности она еще и Лили сама кормит. Или вот дзабутон себе положила потоньше, а ей потолще. Неужели она жалеет Лили, ведь раньше терпеть ее не могла?

Выходит, он, Сёдзо, изгнал прежнюю жену из дома, из сердца, даже кошке причинил столько горя, и теперь пришел сюда, потому что боится переступить порог собственного дома? Он слушал мурлыканье Лили, вдыхал вонь песочка и мало-помалу совсем приуныл. Было жалко и Синако, и Лили, но больше всего было жаль самого себя. Бесприютней всех был он сам.

Раздался звук шагов, и дверь открыла встревоженная Хацуко:

— Сестрица уже вон там, на углу!

— Ой, как же быть!

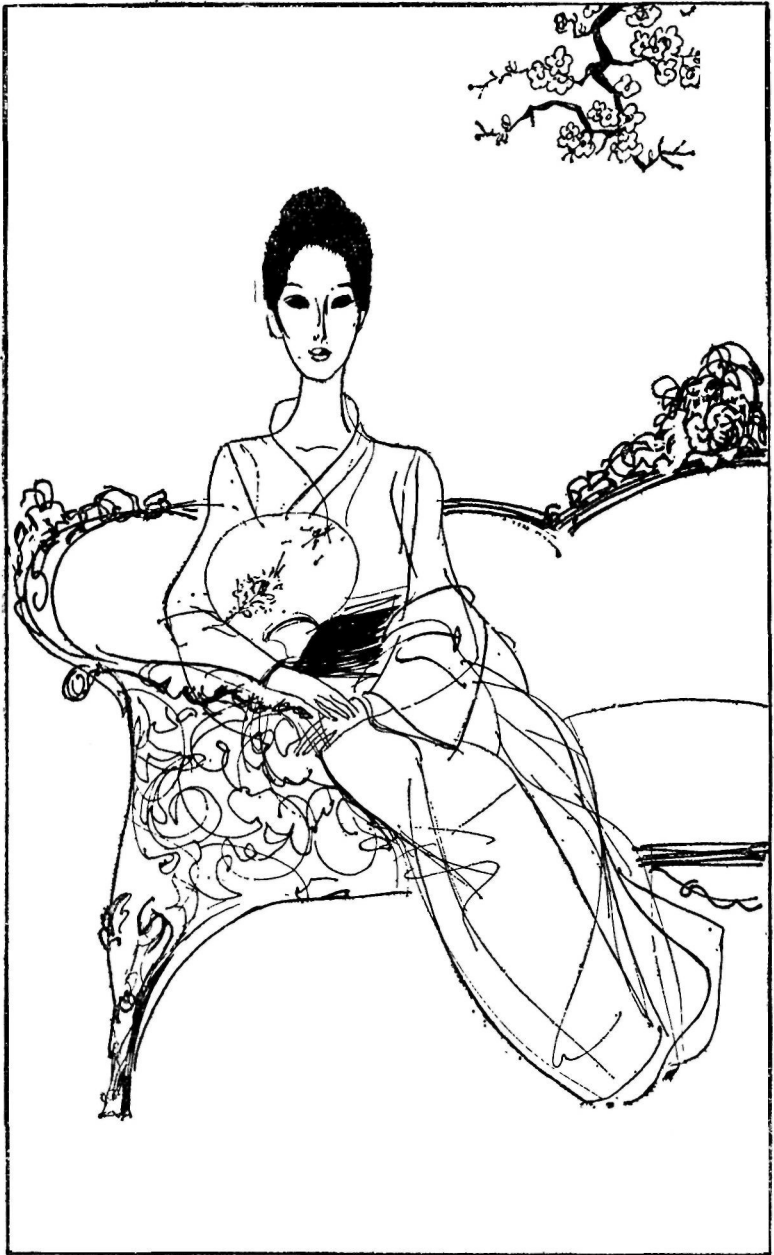
— Через черный ход нельзя... Через парадное давайте, через парадное! Обувь я принесу! Скорей, скорей!

Чуть не падая, он скатился по лестнице, помчался к парадной двери, надел брошенные рукой Хацуко деревянные сандалии. Как раз в тот момент, когда он крадучись выходил на улицу, Синако, едва не столкнувшись с ним, направилась к черному ходу. Заметив ее, он со всех ног бросился бежать в противоположном направлении, как будто сзади была погоня.

**ЛЮБОВЬ
ГЛУПЦА**

роман





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне хочется как можно более честно и откровенно рассказать все как есть о моих отношениях с женой — такие отношения не часто встретишь. Для меня это будет незабываемая драгоценная хроника, а читателям она тоже, возможно, пойдет на пользу.

С каждым днем растет в мире интерес к Японии. Все теснее становится ее связь с другими странами, все сильнее проникают в нее чужеродные идеи. Не только мужчины, но и женщины тянутся вслед за веком, и то, что произошло у меня с женой, возможно, будет уделом многих, очень многих. И все это может показаться чрезвычайно странным.

Теперь я вижу, что с самого начала все у нас сложилось необычно.

Впервые я встретил ее восемь лет назад. Конечно, месяца и числа я не помню. Она служила официанткой в кафе «Алмаз», неподалеку от квартала Асакуса, у ворот Каминари. Ей едва исполнилось пятнадцать лет. Она только что поступила на службу, еще не была настоящей официанткой и считалась как бы кандидаткой на должность «девушки из кафе».

Почему я, мужчина двадцати восьми лет, обратил внимание на эту девочку, я и сам до сих пор не могу понять. Быть может, вначале меня привлекло ее имя. Все звали ее просто «Нао-тян», но я узнал, что полное имя ее — Наоми.

Сначала я решил, что, если написать это имя латинскими буквами, оно будет похоже на европейское. Потом, посмотрев па девушку, я понял, что не только имя ее звучит по-европейски, но и сама она похожа на иностранку.

Наоми казалась умненькой, и я подумал, что будет жаль, если она так и останется официанткой в кафе.

Лицом она напоминала киноактрису Мэри Пикфорд. Да, она походила на иностранку. И это говорил не только я. Сейчас, когда она стала моей женой, многие подтверж-

дают мои слова. От ее обнаженного тела веет чем-то чужестранным. Разумеется, об этом я узнал гораздо позже. Тогда я только видел, как ловко сидело на ней кимоно, и смутно угадывал стройность ее рук и ног.

Чувства пятнадцатилетней девочки понятны лишь ее близким. Если вы спросите, какой характер был у Наоми в то время, я не смогу ответить. Пожалуй, сама Наоми тоже сказала бы, что плохо помнит ту пору, но со стороны она казалась задумчивой, молчаливой. Лицо у нее было бледное, прозрачное, пожалуй, даже болезненное. Может быть, такое впечатление создавалось оттого, что она была новенькой в кафе, не пудрилась, как другие девушки, пока не имела друзей среди сослуживцев и завсегдатаев кафе и потому держалась замкнуто, а когда посетителей было мало, забивалась в какой-нибудь укромный уголок. Возможно, поэтому она и казалась неглупой.

Теперь нужно рассказать о себе. Я служил инженером в электрической компании и получал сто пятьдесят иен в месяц. Родился я в Уцуномии, в префектуре Тотиги. Окончив на родине среднюю школу, я приехал в Токио, поступил в Высший промышленный институт Курамаэ и стал инженером. Каждый день, за исключением воскресенья, я ходил на службу из Сibaгути, где снимал комнату, в контору на улице Ои.

Я жил в городе один и при моем заработке ни в чем не испытывал нужды. К тому же и родным помогать не было необходимости: моя семья занималась сельским хозяйством и считалась довольно зажиточной. Отца уже не было в живых, старушка мать и дядя с семьей полностью справились с хозяйством, так что я был совершенно свободен от каких-либо обязательств. Но это не означает, что я вел свободный образ жизни. В те дни меня считали обыкновенным, заурядным «сэлэрименом»¹, скромным, серьезным, исполнительным, всегда и всем довольным. В конторе меня называли «праведником».

По вечерам я развлекался — отправлялся в кино или прогуливался по Гиндзе, изредка позволяя себе раскошиться, заходил в театр «Тэйкоку-гэкидзё». Конечно, я был холост, молод и, разумеется, не чужд желания сблизиться с женщиной. Но воспитанный в провинции, я был неловок и необходимелен. Поэтому у меня не было ни одной знакомой женщины. Наверное, потому меня произвели в «праведники». Но хотя со стороны я и казался

¹ Salaryman — человек, живущий на жалованье (англ.).

«праведником», в душе я отнюдь таковым не был; на улице или по утрам, когда ехал в трамвае на службу, я всегда обращал внимание на женщин.

И вот как раз тогда я неожиданно столкнулся с Наоми. Я знал, конечно, что есть женщины красивее ее: я встречал их в трамвае, в фойе театра «Тэйкоку-гэкидзё», на тротуарах Гиндзы. Но, думал я, о красоте Наоми пока еще трудно судить. Девочка в пятнадцать лет внушает и надежды и опасения. Поэтому сперва мне хотелось только взять ее к себе и заботиться о ней. Я хотел только хорошо воспитать ее, а потом, если захочу, можно будет и жениться на ней. Такие мысли возникли у меня отчасти потому, что я жалел девочку, отчасти же потому, что моя собственная жизнь была чересчур уж серой, однообразной и мне хотелось внести в нее хоть какие-то приятные перемены. Честно говоря, мне надоело все время снимать комнату в пансионе, хотелось, чтобы и мое жилье изменилось, наполнилось какими-то яркими красками, теплом, можно, например, посадить цветы или повесить клетку с певчими птичками на залитой солнцем веранде, нанять прислугу, чтобы она занималась стряпней и уборкой... Если Наоми будет жить у меня, она сможет выполнять обязанности служанки и в то же время станет для меня певчей птичкой... Таков, в общих чертах, был ход моих мыслей.

Но в таком случае, почему я не думал о женитьбе на какой-нибудь девушке из приличной семьи? Тогда я не имел для этого достаточно храбрости. Это нужно объяснить несколько более подробно.

Я — человек трезвых взглядов и не люблю, да и не способен ни на какие экстравагантные выходки. Но, как ни странно, взгляды мои на брак — самые передовые.

Обычно люди усложняют брак торжественным ритуалом. Начинается сватовство, узнают взаимные желания, потом устраивают смотрины и, если обе стороны согласны, опять посылают сватов и обмениваются подарками. Потом на пяти, иногда на семи, а то и на тринадцати тележках везут приданое невесты в дом жениха. Затем начинается свадебная церемония, свадебное путешествие и сатоказэри. Тянется томительная процедура. Я ненавидел все это! «Моя женитьба будет обставлена проще, свободнее...» — думал я.

Если бы я захотел жениться, в то время нашлось бы немало желающих выйти замуж за человека с твердым характером и отличной репутацией. Я пользовался доверием компании, и каждый отец был счастлив принять моих сва-

тов. Но «сватовство» мне претило. Можно ли за одну или две встречи во время смотрин узнать друг друга? Можно ли за час или два настолько узнать девушку, чтобы решиться сделать ее спутницей на всю жизнь?

Лучше всего, говорил я себе, воспитать девочку вроде Наоми и, когда она подрастет, жениться на ней, если она понравится. Я не хотел брать в жены образованную или богатую девушку, нет! Превратить девочку в своего друга, день и ночь следить за тем, как она растет, развивается, — это неоченимая радость, по-особому интересная. Мне не хотелось вести скучную семейную жизнь. А с Наоми мы жили бы беззаботно и вольно, вели бы, что называется, *simple life*...¹

В современной японской семье непременно должен быть комод, очаг, подушки для сидения — все на своих определенных местах. Обязанности мужа, жены и служанки точно разграничены, нужно поддерживать дружбу с родными и соседями. Это требует лишних расходов, все это сложно, безрадостно, и молодого «сэлэримена» ждут ненужные хлопоты. С этой точки зрения, я считал, что мои планы — своего рода выход из положения.

Обо всем этом я сказал Наоми месяца через два после нашего знакомства. Желая ближе узнать ее, я проводил каждый свободный час в кафе «Алмаз». Наоми очень любила кино, и по выходным дням я водил ее в парк глядеть кинофильмы. На обратном пути мы заходили в европейский или японский ресторан.

Наоми всегда предпочитала молчать и никогда не проявляла ни радости, ни недовольства. Тем не менее, когда я приглашал ее куда-нибудь, она никогда не отказывалась. «Да, хорошо...» — просто отвечала она и охотно ходила со мной повсюду.

Что она думала обо мне, почему ходила со мной — этого я не знал, она была еще совсем ребенком, ее глаза доверчиво глядели на мужчин. Мне казалось, что я был для нее просто «дяденькой», который водил ее в любимое кино и угощал вкусными кушаньями. Я, в свою очередь, в то время не хотел стать для нее кем-нибудь больше, чем добрым, любящим «дядей». Когда я вспоминаю те дни, нежные, как сон, мне чудится, что мы жили тогда как в сказке. О, если бы можно было повторить это сладостное время!..

— Тебе хорошо видно, Наоми? — часто спрашивал я, когда зал бывал переполнен и нам приходилось стоять.

¹ Вольная жизнь (англ.).



— Ничего не видно, — отвечала Наоми, изо всех сил пытаясь приподняться на цыпочках и смотреть поверх голов.

— Ты ничего не увидишь. Сядь на перила и держись за мое плечо. — Я поднимал ее и сажал на высокий барьер. Она садилась, ноги висели в воздухе, и, уцепившись одной рукой за мое плечо, впивалась глазами в экран. «Интересно?» — спрашивал я, и она отвечала: «Интересно!» Но никогда не восхищалась так, чтобы всплеснуть руками или прыгать от радости. Она молча смотрела на экран, и только по лицу ее, по широко открытым глазам можно было понять, что она любит кино.

Когда я спрашивал: «Ты не голодна, Наоми-тян?», она часто коротко отвечала: «Нет!», но если бывала голодна, без стеснения отвечала, что хочет есть, и откровенно говорила, что именно — европейское или японское блюдо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Наоми-тян, ты похожа на Мэри Пикфорд! — сказал я, когда мы сидели в европейском ресторане после кино, где смотрели фильм с участием этой актрисы.

— Да? — Казалось, Наоми вовсе не обрадовалась, а только удивилась моим неожиданным словам.

— А ты как думаешь?

— Не знаю, но все говорят, что я похожа на полукровку у, — серьезно ответила она.

— Охотно верю... Во-первых, имя у тебя необыкновенное. Наоми — звучит элегантно... Кто это дал тебе такое имя?

— Не знаю.

— Отец или мать?

— Кто их знает...

— Чем занимается твой отец?

— Он уже умер.

— А мать?

— Она жива.

— А братья или сестры у тебя есть?

— Есть... И старший брат, и сестры — старшая и младшая.

Я и потом расспрашивал ее о семье, но она всегда хмурилась, когда речь заходила о ее родственниках, и старалась замять этот разговор.

Мы часто уславливались встретиться в парке на скамейке или у храма Каннон. Наоми никогда не опаздывала,

являлась точно в назначенное время. Однажды я задержался и решил, что она уже ушла, но все-таки решил пойти посмотреть. Наоми ждала меня. Увидев меня, она пошла мне навстречу.

— Прости меня, Наоми-тян! Тебе долго пришлось ждать?

— Д о л г о, — промолвила она.

Но в ее ответе я не чувствовал недовольства.

Как-то раз она обещала ждать меня на скамейке. Внезапно полил дождь. У пруда под навесом маленького храма, посвященного какому-то божеству, Наоми ждала меня, как всегда. Я был ужасно тронут.

Ее платья были сшиты из старых тканей. По-видимому, они перешли к ней от старшей сестры. Наоми носила оби из муслина, причесывалась просто и мало пудрилась. Заплатанные белые носки плотно облегали ее маленькие ноги. Когда я ее спрашивал, отчего она причесывается только по-японски, Наоми неизменно отвечала:

— Дома так велят...

«Час уже поздний, я провожу т е б я », — часто говорил я, но она отвечала: «Не нужно, тут уже близко, одна дойду...» — и, отрывисто бросив на углу Хана-ясики: «До свиданья», — сворачивала на улицу Сэндзоку и пускалась бежать.

Да, конечно, ни к чему во всех деталях описывать то время, хочу только рассказать об одном разговоре с Наоми.

Произошло это в теплый дождливый вечер в апреле. В кафе было тихо и безлюдно. Я долго сидел за столиком и медленно тянул коктейль. Можно подумать, что я заправский пьяница, но на самом деле я трезвенник и просто для того, чтобы выиграть время, заказал слабый коктейль, какой пьют женщины, и медленно цедил его. Когда Наоми принесла мне еду, я, слегка захмелев, сказал:

— Наоми-тян, ну-ка, присядь ко мне.

— А что? — Она послушно села рядом. Я вынул папиросу, и она тотчас же поднесла мне зажженную спичку.

— Давай поболтаем. Сегодня ты, похоже, не очень занята?..

— Да, редкий случай.

— Обычно у тебя много работы?

— Очень. С утра до вечера. Даже книгу почитать времени нет.

— Вот как? А ты любишь читать?

— Люблю.

— Что же ты читаешь?

— Разные журналы... Я все читаю.

— Это похвально, но если ты так любишь читать, хорошо бы поступить в школу.

Я сказал это с умыслом и пристально взглянул на Наоми, но она холодно и сосредоточенно смотрела куда-то в угол — уж не рассердилась ли? Выражение лица у нее было явно печальное.

— Послушай, Наоми-тян, ты в самом деле хочешь учиться? Я мог бы тебе в этом помочь.

Она молчала.

— Отвечай же, Наоми-тян! Не надо молчать, скажи что-нибудь. Чему бы ты хотела учиться?

— Я хочу учить английский язык.

— Гм, вот как?.. Английский язык?.. И больше ничего?

— И музыкой хотела бы заниматься.

— Я буду платить за твоё ученье. Хочешь?

— Так ведь в школу поступать уже поздно. Мне уже пятнадцать.

— Почему поздно? Впрочем, если тебя интересует только английский язык и музыка, ты права, в школу ходить не стоит. Лучше брать частные уроки. Значит, ты серьезно хочешь учиться?

— Хочу, но... А вы правда стали бы за меня платить? — и Наоми прямо взглянула мне в глаза.

— Конечно. Так вот, Наоми-тян, здесь тебе больше служить нечего. Согласна? Надо бросить эту работу. Я возьму тебя к себе и позабочусь о твоём будущем. Я хочу, Наоми, чтобы ты стала замечательной женщиной!

Я услышал ясный и уверенный ответ:

— Да, это было бы очень хорошо...

— Ты бросишь службу?

— Брошу.

— А твоя мать, Наоми-тян, твой брат, они не будут возражать? Надо, наверное, посоветоваться с родными?

— Не беспокойтесь. Никто не будет возражать.

Она говорила спокойно, но я чувствовал, что мой вопрос взволновал ее. Она не желала, чтобы я познакомился с ее семьей. Впоследствии между нами не раз возникали разговоры об этом.

— Я хочу познакомиться с твоими родными, — говорил я.

— К чему? — обычно отвечала она. — Вам незачем с ними встречаться. Я сама все устрою...

Здесь нет необходимости перемывать косточки семье Наоми, рассказывать, в каком окружении она в то время

жила. Сейчас Наоми — моя жена, и я обязан оберегать честь госпожи Кавай, поэтому постараюсь по возможности меньше касаться этой темы. Читатели сами со временем все поймут. Нетрудно представить себе, какая это была семья, если вспомнить, что пятнадцатилетнюю девочку отдали служить официанткой в кафе и что она ни за что не хотела сообщать мне свой адрес... И не только это — в конце концов, я уговорил ее и смог повидаться с матерью и старшим братом, но оказалось, что они очень мало заботятся о добродетели своей дочери и сестры. Я сказал им, что девочка стремится к учению, поэтому было бы очень жаль, если бы ей пришлось долго работать в таком неподходящем месте, как кафе, и что если они не против, то не доверят ли мне позаботиться о Наоми? Конечно, большими возможностями я не располагаю, но дело в том, что я как раз намеревался нанять служанку. Наоми будет заниматься домашними делами — немного стряпни и уборки, а между делом получит образование... Разумеется, я откровенно рассказал им, что я — человек холостой, и услышал довольно безразлично звучащий ответ: «Да это для нее счастье...» В самом деле, Наоми была права — для таких переговоров не стоило встречаться с ее родными.

Я подумал тогда, как много еще родителей, совершенно безответственно относящихся к своим детям. И при этой мысли мне стало еще больше жаль бедняжку Наоми.

— Мы хотели сделать из девочки гейшу, но это ей не нравилось. Пришлось отдать ее в кафе — не могла же она вечно бездельничать, — сказала мать Наоми. Если кто-нибудь возьмет Наоми к себе и воспитает — она будет очень довольна и спокойна за дочку...

Мне стало ясно, почему Наоми так не любила свой дом, почему она старалась на все выходные дни куда-нибудь уйти, например, в кино, но и для Наоми, и для меня такая ее семья, напротив, оказалась удачей. Как только договоренность была достигнута, Наоми сразу же уволилась из кафе, и мы стали ежедневно бродить в поисках квартиры. Моя фирма находилась на улице Ои, я хотел сию же жилье так, чтобы было удобно ездить на службу. По воскресеньям мы рано утром встречались на станции Симбаси, а в будни, когда я выходил из конторы, — на улице Ои, объезжали предместья Токио — Комаду, Омори, Синагаву, Мэгуро, и центр города — Такаву, Тамати и Миту. На обратном пути где-нибудь ужинали и, если оставалось время, шли в кино или гуляли по Гиндзе. Потом она возвращалась к себе, на улицу Сэндзоку, а я шел к себе, в

свою комнату в Сibaгути. В то время отдельные дома сдавали внаем довольно редко, так что быстро найти подходящее жилище никак не удавалось, целых две недели ушли на поиски.

Что могли подумать люди, видя ясным воскресным утром в предместье Омори приличного мужчину, по виду — служащего какой-нибудь фирмы, шагающего рядом с причесанной по-японски, бедно одетой девочкой? Мужчина называл девочку «Наоми-тян», а она его «Кавай-сан». Их нельзя было принять за хозяина и служанку, брата и сестру и тем более за мужа и жену или за друзей. Несомненно, эта пара выглядела странно. Они как будто чуть смущенно беседовали, осведомлялись о номерах домов, изучали окрестный пейзаж, рассматривали цветы, растущие при дороге, за оградами и в садах. Счастливые, бродили они по окрестностям долгими весенними днями.

Наоми любила европейские цветы и знала их мудреные английские наименования, в ее обязанности входило составлять цветы в вазах на столиках в кафе, и она запомнила их названия. Проходя мимо какой-нибудь усадьбы и заметив во дворе оранжерею, она останавливалась и радостно вскрикивала:

— Вот красивые цветы!

— А какие цветы ты любишь больше всего? — спросил я.

— Тюльпаны.

Наоми выросла на пыльных улицах Сэндзоку и Асакусы. Не потому ли любила она цветы и широкие просторы полей и парков? На проселочных дорогах и тропинках она жадно и торопливо собирала и фиалки, и одуванчики, и бледный лотос, и, заметив их где-нибудь на меже в поле или на обочине дороги, она тотчас же срывала их. К концу дня руки у Наоми бывали полны цветов.

— Брось, ведь они уже завяли, — говорил я, но она не соглашалась:

— Ничего! Поставить их в воду — сразу оживут. Пусть Кавай-сан поставит их у себя на письменном столе.

Прощаясь, она всегда отдавала мне букет.

После долгих поисков и блужданий мы сняли весьма неприглядный европейский домик близ трамвайной линии в двенадцати — тринадцати тё от станции Омори: крутая красная крыша вышиной чуть ли не в половину дома, белые стены, кое-где прорезаны длинные стеклянные окна, как в спичечном коробке. Перед входом не сад, а пустырь. Так выглядел этот дом, пригодный, казалось, не столько

для жилья, сколько для мастерской живописца. Да оно и не удивительно, потому что построил его какой-то художник и, как нам сказали, жил здесь со своей натурщицей. Комнаты располагались очень неудобно. В нижнем этаже помещалось только огромное ателье, крохотная прихожая и кухня. Наверху имелись две комнаты в три и в четыре с половиной циновки, напоминавшие чердачные каморки, непригодные для жилья. По внутренней лестнице из ателье в эти комнаты можно было подняться на обнесенную перилами галерею, напоминавшую балкон в театре, откуда можно было смотреть вниз, в ателье.

Увидев этот дом, Наоми сразу сказала:

— Какой шикарный! Мне здесь нравится!

Я тотчас же решил его снять. Наверное, Наоми была по-детски очарована таким необычным жилищем, похожим на сказочный домик. Дом казался созданным для молодой пары, живущей счастливо и беззаботно. Наверное, художник и его натурщица тоже жили здесь весело. В самом деле, одного этого ателье и то было вполне достаточно для двоих, чтобы и спать, и есть, и проводить там время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На исходе мая я, наконец, взял к себе Наоми и поселился в «сказочном домике». Он оказался не таким уж неудобным, как я опасался. Из выходящих на солнечную сторону верхних комнат виднелось море, на пустыре перед домом, обращенном на юг, удобно было развести цветник. Правда, поблизости проходила электричка, но от дома железнодорожную линию отделяли рисовые поля, и шум не очень нас беспокоил, словом, это было идеальное жилище. К тому же оно не подходило для большинства японцев и поэтому стоило сверх ожидания дешево.

— Наоми-тян, называй меня не Кавай-сан, а Дзёдзи-сан. Ведь мы будем добрыми друзьями, правда? — сказал я ей в день переезда.

Я дал знать на родину, что уехал из пансиона и снял дом, а служанкой нанял пятнадцатилетнюю девочку. Но о том, что мы будем с ней «добрыми друзьями», я не упоминал. «Родные навещают меня редко, рассказать им всегда успею», — рассуждал я.

Некоторое время ушло на покупку мебели и вещей, подходящих для нашего необычного жилища. Мы расставляли и развешивали по стенам наши покупки — хлопотливое, но радостное время! Я старался по возможности разви-

вать вкус Наоми, при покупке даже самых мелких вещей никогда не решал сам, всегда спрашивал ее мнение. В нашем доме с самого начала не было неизбежных в каждом хозяйстве комода и жаровни, мы обставили комнаты по своему вкусу, купили дешевый индийский шелк, и Наоми неуверенными руками сшила занавеси. В магазине европейской мебели на улице Сibaгyти я отыскал старые плетеные стулья, диван, стол и кресла и поставил их в ателье. На стены мы повесили портрет Мэри Пикфорд и еще несколько фотографий американских киноактрис. Я хотел, чтобы спальни тоже были обставлены по-европейски, но две кровати стоили слишком дорого, к тому же я мог получить японские матрасы и одеяла — иными словами, все, что нужно для спальни — из деревни, так что в конце концов оставил мысль о европейских кроватях.

Но одеяло с китайским рисунком, присланное из деревни для Наоми, явно предназначалось для служанки и было тонким и холодным. Я был огорчен.

— Тебе будет холодно. Давай поменяемся, возьми мое одеяло.

— Нет, нет, мне довольно и одного, — воспротивилась она.

Она спала одна в комнате наверху. Я тоже спал наверху, в соседней комнате, побольше размером. По утрам, просыпаясь, мы переговаривались друг с другом:

— Наоми-тян, ты уже проснулась?

— Да. Который час?

— Половина седьмого. Сегодня я должен варить рис?

— Вчера варила я, а сегодня очередь Дзэдзи-сана.

— Ну что ж, делать нечего, сварю... А может быть, удовольствуемся хлебом? Не хочется возиться...

— Конечно, но только Дзэдзи-сан очень хитрый.

Мы варили рис в маленьком глиняном горшке и, не перекладывая в специальную посуду, ставили этот горшок прямо на стол и ели с консервами или с какой-нибудь другой закуской. А когда нам не хотелось возиться с рисом, мы питались молоком, хлебом и джемом, ели европейские сласти. Ужинать мы ходили в японский ресторан, а когда хотели немножко кутнуть, отправлялись в ближайший европейский.

— Дзэдзи-сан, закажите бифштекс, — часто просила Наоми.

После завтрака я покидал Наоми и шел на службу. До полудня она возилась в цветнике, а потом, заперев дверь на замок, уходила на уроки английского языка и музыки.

Я считал, что учиться английскому языку с самого начала лучше у настоящего европейца, поэтому Наоми через день ездила на улицу Мэгуро к старой американке мисс Харисон заниматься разговорным языком и чтением.

Как быть с музыкой, я совершенно не знал, но мне рассказали об одной женщине, которая несколько лет назад окончила музыкальную школу в Уэно и давала теперь уроки музыки и пения. Наоми ежедневно ходила к ней в квартал Сива на улицу Исараго и занималась в течение часа.

В темно-синих хакама из тонкой шерсти поверх легкого шелкового кимоно, в черных чулках и хорошеньких маленьких полуботинках Наоми выглядела как настоящая ученица колледжа — сбылись ее мечты, и это заставляло радостно биться ее сердце. Иногда я встречал ее на улице по дороге к дому — немыслимо было представить себе, что эта девушка росла на улице Сэндзоку и служила в кафе. Японской прически она больше не делала никогда: на спине спускалась коса, перевязанная лентой.

Вскоре Наоми похорошела, и характер ее сильно изменился. Она превратилась в жизнерадостную птичку. Ателье стало для нее поистине просторной, привольной клеткой.

Прошел май, наступило лето. На клумбах все пышнее и ярче распускались цветы. Когда по вечерам мы возвращались домой — я со службы, а Наоми с уроков, — солнечные лучи, просачиваясь сквозь легкий индийский шелк занавесей, все еще освещали белые стены комнат так же ярко, как днем. Наоми надевала легкое фланелевое кимоно и домашние туфли и, постукивая ими о дощатый пол, пела разученные песни или играла со мной в пятнашки и прятки, кружилась но ателье, вскакивала на стол, залезала под диван, опрокидывала стулья, бегала вверх и вниз по лестнице и проворно, как мышка, носилась по галерее. Как-то раз я даже превратился в коня и возил ее на спине по комнате.

— Но!.. но!.. н о ! . . — подергивая скрученное полотенце, изображавшее уздечку, которую я должен был держать в зубах, погоняла меня Наоми.

Однажды мы играли, как обычно. Наоми была весела, много смеялась и так быстро носилась по лестнице, что оступилась, покатилась с самого верха вниз и расплакалась.

— Как же ты это!.. Покажи, какое место ты ушибла, — говорил я, подымая ее.

Наоми, все еще всхлипывая, завернула рукав кимоно. Падая, она задела за гвоздь и оцарапала кожу на локте. Из ранки сочилась кровь.

— Это пустяк, не плачь. Иди сюда, я заклею царапину пластырем. — Я закрыл ранку клейким пластырем, а сверху завязал полотенцем. По лицу Наоми медленно текли крупные слезы: она напоминала обиженного ребенка.

Ранка не заживала и гноилась почти неделю. Каждый день я менял повязку, и всякий раз Наоми при этом плакала.

Любил ли я ее уже тогда, не знаю. Да, конечно, любил. Но в то время мне хотелось прежде всего воспитать ее, сделать из нее прекрасную, идеальную женщину, и я так искренне думал.

Летом я получил двухнедельный отпуск. До сих пор я всегда ездил в отпуск на родину. Я отправил Наоми домой, запер дом в Омори и уехал в деревню, но эти две недели показались мне нестерпимо длинными и тоскливыми. И тогда я впервые понял, что не могу жить без Наоми, что я ее люблю.

Под благовидным предлогом я уехал из деревни раньше срока.

В Токио я прибыл поздно вечером, взял такси и с вокзала Уэно помчался к Наоми.

— Наоми-тян, вот и я! На углу ждет машина, едем в Омори.

— Да, едем сейчас же!

Она оставила меня ждать у входной двери и скоро вышла с маленьким узелком в руках. Вечер был душный, знойный. Наоми была в легком светлом кимоно из муслина с бледно-лиловым узором винограда. Волосы ее были перевязаны широкой блестящей бледно-розовой лентой. Этот муслин я подарил ей недавно на праздник Бон, и в мое отсутствие дома ей сшили из него кимоно.

— Наоми-тян, как ты проводила здесь время? — спросил я, когда автомобиль выехал на шоссе.

— Я ходила в кино.

— Значит, особенно не скучала?

— Нет, не скучала... А Дзёдзи-сан вернулся раньше, чем я ожидала, — прибавила она, немного подумав.

— В деревне скучно, оттого и вернулся раньше срока. Что ни говори, а лучше всего в Токио! — сказал я, облегченно переводя дух и с наслаждением глядя на весело мелькавшие за окном такси сверкающие огни столицы.

— Я думаю, — сказала Наоми, — что летом в деревне хорошо!

— Смотря где... На моей родине природа скучная, никаких достопримечательностей нет, целый день жужжат мухи, комары, жара нестерпимая...

— Ах, неужели?

— Да.

Неожиданно в голосе Наоми прозвучали очаровательные нотки избалованного ребенка:

— Мне хотелось бы поехать на берег моря!

— Хорошо, поеду куда-нибудь, где прохладно. Куда ты хочешь, в Камакуру или в Хаконэ? — спросил я.

— Лучше к морю, чем на горячие источники. Нет, правда, мне так хочется к морю!

Услышав этот наивный голосок, я узнал прежнюю Наоми. Всего лишь за какие-то десять дней ее тело как будто расцвело, я невольно глядел украдкой на вырисовывавшиеся под муслиновым кимоно округлые линии ее плеч и груди.

— Это кимоно очень идет тебе. Кто тебе его сшил? — спросил я после некоторой паузы.

— Мама.

— А что сказали дома? Понравился мой выбор?

— Да, понравился... Говорят, что ткань хорошая, но рисунок слишком шикарный...

— Это твоя мама так сказала?

— Да... Но они там все ничего не понимают... — Наоми глядела куда-то в даль. — Все говорят, что я очень изменилась.

— В каком отношении?

— Стала ужасно шикарной...

— Пожалуй, я с ними согласен.

— Неужели? Меня уговаривали — причешись разок по-японски, но я не стала, мне не нравится...

— А откуда у тебя эта лента?

— Эта? Сама купила в магазине Накамисэ. Правда, красивая?

Ветер шевелил ее гладкие, не смазанные маслом волосы. Она подняла голову и показала мне развевавшуюся от ветра розовую ленту.

— Да, блестит красиво. Это гораздо лучше японской прически, — сказал я.

Она засмеялась с довольным видом. По правде сказать, смех ее звучал довольно вызывающе. Но в моих глазах это делало ее еще более очаровательной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наоми все время просила: «Поедем в Камакуру». И вот в начале августа мы отправились туда всего на два-три дня.

— Почему только на два-три дня? Если ехать, то на десять дней или хотя бы на неделю, — с недовольным видом сказала перед отъездом Наоми.

От родных я уехал под предлогом окончания моего отпуска, и мне было бы неприятно, если бы мать узнала, что я отправился на курорт. Но я подумал, что если скажу об этом Наоми, девочке будет неловко.

— В этом году тебе придется потерпеть. В будущем году поедем куда захочешь. Хорошо?

— Но почему только на несколько дней?

— Если ты хочешь плавать, можно научиться этому и недалеко от дома, в Омори.

— Я не хочу плескаться в грязной луже!

— Ну, ну, не капризничай! А вот если будешь хорошей девочкой, я тебе что-то подарю. Ты, кажется, хотела иметь европейское платье? Ну вот, получишь!..

На эту приманку она сразу попалась и успокоилась.

Приехав в Камакуру, мы остановились в довольно скромном отеле Кимпаро, в Хасэ. Теперь, вспоминая об этом, вижу, что все это вышло как-то странно. У меня в бумажнике хранилась большая часть наградных за полгода службы, так что в эти несколько дней на курорте нам, в сущности, можно было бы не скупиться. К тому же мы впервые отправлялись в поездку вместе, и мне хотелось, чтобы от этого первого путешествия у Наоми сохранились самые прекрасные воспоминания. Поэтому я решил не жалеть денег и остановиться в первом классе отеля. Но сев в поезд, шедший в Ёкосуку, мы почувствовали себя какими-то жалкими. В этом вагоне было много дам и барышень, ехавших в Дзуси и Камакуру, все они выглядели ослепительно. Я-то уж ладно, но одежда Наоми в таком окружении выглядела убогой. Разумеется, поскольку на дворе было лето, эти дамы и барышни не были одеты как-то особенно роскошно, но, сравнивая их внешность с тем, как выглядела Наоми, я подумал, что между людьми, принадлежащими к высшему обществу, и теми, кто родился в простой семье, бесспорно существует разница в самой манере себя держать. И хотя в кафе Наоми отличалась в лучшую сторону от других официанток, все же низкое происхождение и воспитание дают себя знать, думал я, и она,

безусловно, и сама это чувствовала. Каким жалким выглядело сейчас ее муслиновое кимоно с узором винограда, которое в иной обстановке имело такой щегольской вид! Наши соседки были одеты в простые хлопчатобумажные кимоно, но на пальцах у них сверкали драгоценные камни, говорившие о богатстве, тогда как руки Наоми блистали только гладкой кожей. До сих пор помню, как Наоми, подавленная, старалась прикрыть рукавом свой зонтик: в самом деле, хотя зонтик был новый, но с первого взгляда каждый увидел бы, что стоит он всего-навсего семь или восемь иен...

В нашем воображении рисовались пышные комнаты отелей «Мицухаси» или «Кайхин», но величественный вид подъездов подействовал на нас так угнетающе, что пройдя несколько раз по проспекту Хасэ, мы остановили свой выбор на второразрядном отеле «Кимпаро». Здесь всегда останавливалось много студентов, было шумно, беспокойно, и мы целые дни проводили на пляже. Увидя море, резвая Наоми сразу повеселела и забыла о дорожных огорчениях.

— Этим летом я во что бы то ни стало научусь плавать, — говорила она, уцепившись за мою руку и изо всех сил барахтаясь на мелководье.

Обхватив ее за талию, я учил ее плавать на животе, работать ногами и руками, держась за бамбуковый шест. Иногда я нарочно отнимал шест, и тогда она глотала горькую морскую воду, а когда это занятие нам надоедало, мы катались на волнах или, лежа на берегу, шутя перебрасывались песком, а вечером брали лодку и отправлялись в открытое море. Поверх купального костюма Наоми накидывала полотенце, садилась на корму, а иногда полулежала, опираясь головой о борт лодки, любовалась голубым небом. Никого не стесняясь, она пела в полный голос свою любимую неаполитанскую песенку «Санта Лючия»:

O, dolce Napoli,
O, sol bealo...

Ее сопрано разносилось далеко по морю. Очарованный ее пением, я тихонько перебирал веслами.

— Дальше, дальше... — ей хотелось бесконечно скользить по волнам.

Незаметно садилось солнце, в небе зажигались звезды, глядевшие в нашу лодку, в стущавшихся сумерках виднелся только силуэт Наоми, закутанной в белое полотенце. Звонкие песни не смолкали. Несколько раз повторялась «Санта Лючия». Затем Наоми пела «Лорелею», «Скиталь-

ца» и «Песнь Миньоны». Медленно двигалась лодка, и плавно лилась нежная песня...

Наверное, каждому приходилось переживать в молодости что-либо подобное, но для меня все это было ново. Я был инженером-электриком, далеким от литературы и искусства, и редко читал романы, но в один из таких вечеров мне вспомнилась повесть Нацумэ Сосэки «Изголовье из травы». Когда мы с Наоми, сидя в лодке, смотрели сквозь завесу вечернего тумана на колеблющиеся береговые огни, в моей памяти неожиданно всплыла фраза из этой книги: «Венеция тонет, Венеция погружается в воду...», и мне вдруг до боли захотелось уплыть вот так вместе с Наоми куда-то в бесконечную даль...

Для меня, грубого и неутонченного, испытать такие переживания было достаточно, чтобы эти три дня в Камакуре навсегда сохранились в памяти. Более того — эти дни подарили мне еще одно значительное открытие. Живя бок о бок с Наоми, я до сих пор не знал, как она сложена, проще сказать — никогда не видел ее обнаженной. Но теперь я это узнал. Когда Наоми показалась в первый раз на пляже Юйгахамы в купленной накануне отъезда на Гиндзе темно-зеленой купальной шапочке и костюме, плотно облегавшем ее тело, мое сердце переполнилось радостью при виде ее гибкой фигурки. Да, я был счастлив, потому что убедился, что не ошибся, еще раньше угадав стройные линии ее тела, даже когда оно было закутано в кимоно.

«Наоми, Наоми, моя Мэри Пикфорд, как прекрасно, как пропорционально ты сложена! Какие гибкие у тебя руки! А ноги прямые, стройные, как у юноши!» — невольно пронеслось в моем мозгу, и я вспомнил купальщиц в фильме Мак-Сеннета. Наверное, никому не хотелось бы чересчур подробно описывать тело своей жены, да мне тоже отнюдь не доставляет удовольствия сообщать всему свету во всех подробностях о той, кто стала потом моей женой. Но если бы я не сказал об этом, мой рассказ был бы неполным; проявить застенчивость даже в таком аспекте означало бы, в конечном итоге, лишить смысла эти мои записки. Поэтому я должен рассказать здесь хотя бы вкратце, какова была Наоми тогда, в Камакуре, когда ей было пятнадцать лет.

В то время Наоми была ниже меня ростом, пожалуй, всего на сун. От природы я крепок и мускулист, но ростом всего пять сяку и два суна, а Наоми с ее коротким туловищем и длинными ногами казалась очень высокой.

Как раз в те дни мы видели фильм «Морская царевна», в котором главную роль русалки играла знаменитая пловчиха Керман.

— Наоми-тян, ну-ка, попробуй, поплыви, как Керман! — говорил я. На мгновение она как будто застывала, приготовляясь к прыжку в воду, подняв руки и сдвинув ноги — между ними не было ни малейшего просвета, от бедер до щиколоток линии рисовали изящный, правильный треугольник.

— Правда, у меня очень прямые ноги, Дзёдзи-сан? — радостно спрашивала Наоми. Она прохаживалась по берегу, останавливалась или вытягивалась на песке, сама любясь своими ногами.

Еще одна особенность ее тела — прекрасная линия плеч и шеи. Плечи... Я очень часто прикасался к ее плечам, когда она надевала купальный костюм. «Дзёдзи-сан, застегните, пожалуйста!» — говорила она, подходя ко мне, и я застегивал ей пуговицы на плечах. Женщины с такими покатыми плечами и довольно длинной шеей, как у Наоми, обычно бывают очень худыми, но у Наоми, напротив, плечи были плотные и хорошо развитая грудь. Я пытался застегнуть пуговицы, а она глубоко втягивала в легкие воздух, двигала руками, так что по спине проходили волны, и купальный костюм, и без того такой тесный, что, казалось, ткань вот-вот треснет, с трудом удавалось натянуть на ее полные плечи. Одним словом, это были плечи, излучавшие энергию молодости и красоты. Я сравнивал ее со многими девушками, находившимися на пляже, но ни у кого из них не было таких красивых плеч, как у Наоми.

— Наоми-тян, стой спокойно. Если ты будешь так вертеться, я не смогу застегнуть! — говорил я, с трудом стягивая на ее плечах купальный костюм.

Не удивительно, что девушка такого телосложения любила спорт. Ее руки и ноги отличались замечательной ловкостью. За три дня в Камакуре она научилась плавать и потом каждый день прилежно упражнялась на побережье Омори. За это лето она полностью научилась плавать, занималась греблей, каталась на яхте. Нагулявшись, она к вечеру изнемогала от усталости. «Ох, устала, — говорила она, возвращаясь с мокрым купальным костюмом в руках, и чуть не падала в кресло. — И до чего проголодалась...»

Мы ленились готовить ужин, шли в европейский ресторан и, состязаясь друг с другом, поедали все, что нам подавали. Она просила свой любимый бифштекс и съедала три порции.

Если бы я вздумал описывать все удовольствия того лета, этим запискам не было бы конца. Скажу только, что с этого времени у меня вошло в привычку мыть Наоми.

Я тер ей спину, руки, ноги... Утомившись, Наоми ленилась идти в баню и каждый день мылась на кухне горячей водой, смывая резиновой губкой морскую соль.

— Нехорошо ложиться спать грязной, Наоми-тян! Тело станет липким от соли. Надо помыться, влезай-ка в чан! — говорил я, и она послушно позволяла мне мыть ее.

Мало-помалу мыться в европейской ванне вошло у Наоми в привычку, и так продолжалось и осенью, и зимой. Мы установили в ателье европейскую ванну, положили резиновый коврик и отгородили этот уголок ширмами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Многие чересчур сообразительные читатели уже из предыдущего рассказа сделают вывод, что нас с Наоми связывала не только дружба. Но они ошибаются. Конечно, по мере того как шло время, у нас обоих возникло своеобразное молчаливое согласие на этот счет, но что касается меня, то, как я уже писал, я был скромным «праведником», не имевшим никакого опыта в общении с женщинами. Больше того, я чувствовал себя ответственным за чистоту Наоми и ни разу не поддался минутной страсти, не переступил границ дружбы. Разумеется, я знал, что ни одна женщина, кроме Наоми, не может стать моей женой, а если бы даже и случилось такое, я никогда не оставил Наоми, хотя бы из жалости. Эта мысль все сильнее завладевала моим сознанием. Поэтому я не хотел прикасаться к ней.

Наоми стала моей лишь через год, когда ей исполнилось полных шестнадцать лет. Это случилось 26 апреля.

Я так отчетливо помню эту дату, потому что еще задолго до того, с тех пор как она стала купаться дома, я завел дневник, куда каждый день заносил все интересное, касающееся ее. В самом деле, с каждым днем Наоми заметно взрослела, и тело ее становилось женственнее. Как родители следят за ростом своего ребенка и радуются, когда он в первый раз улыбнется или заговорит, так и я внимательно наблюдал за развитием Наоми и записывал все в дневник. Я и теперь иногда просматриваю эти страницы. Вот что я писал 21-го сентября 192... года, иными словами, той осенью, когда Наоми было пятнадцать лет:

«В восемь часов она принимала ванну. Летний загар еще не прошел. Белыми остались только места, прикрытые купальным костюмом. У Наоми очень светлая кожа, поэтому загар бросается в глаза, и даже когда она голая, кажется, будто на ней купальный костюм.

— Ты полосатая, как зебра, — сказал я ей. Наоми это очень рассмешило.

Затем месяц спустя, 17 октября:

«Загар постепенно исчез, кожа больше не шелушится, тело стало еще белее и красивее, чем раньше. Я мыл ей руки, а она молча глядела на стекающую мыльную пену. «Красиво!» — сказал я. «Да, красиво, — сказала Наоми и добавила: — Это пена красивая...»

Далее, 5 ноября:

«Сегодня вечером Наоми в первый раз купалась в европейской ванне. С непривычки она скользила по металлическому дну и очень смеялась. Когда я сказал ей: «Большая «бэби-сан», — она ответила: «папа-сан»...

«Бэби-сан» и «папа-сан» после этого крепко укоренились в нашем быту. Выпрашивая у меня что-нибудь или капризная, Наоми кокетливо называла меня «папа-сан».

На обложке дневника я написал: «О том, как растет Наоми». Разумеется, я писал там только о ней, а вскоре купил фотографический аппарат, снимал Наоми, которая все больше напоминала Мэри Пикфорд, при разном освещении и в разных ракурсах и приклеивал карточки между записями. Кажется, я слишком много говорю о дневнике, но он свидетельствует: «26-го апреля наша связь стала неразрывной».

Правда, еще до этого, примерно на второй год нашей жизни в Омори, мы молча поняли друг друга, поэтому все случилось как-то очень закономерно. Я не соблазнял ее, и она меня нарочно не искушала, мы почти не говорили, все произошло в полном молчании.

Потом Наоми шепнула мне на ухо:

— Дзэдзи-сан не бросит меня?

— Нет, никогда... Будь спокойна. Ты знала о моих чувствах?

— Да, знала, но...

— С каких пор?

— Не знаю.

— Что ты подумала, когда я взял тебя к себе и стал заботиться о тебе? Поняла ли ты, что я хочу превратить тебя в идеальную женщину и потом жениться на тебе?

— Я подумала, может быть, у вас и в самом деле такие планы...

— Значит, ты тоже пришла ко мне, готовая стать моей женой? — Не дожидаясь ответа, я с силой сжал ее в объятиях. — Спасибо, Наоми-тян, спасибо, ты поняла меня... Я хочу поговорить с тобой откровенно. Признаться, я не думал, что ты будешь до такой степени соответствовать моим идеалам... Как я счастлив! Я буду любить тебя всегда... Только тебя... И никогда не буду относиться к тебе так, как большинство мужей относятся к своим женам... Знай, что я буду жить только для тебя... Буду исполнять все твои прихоти. Но ты тоже должна еще много учиться, чтобы стать прекрасной, замечательной женщиной...

— Я буду заниматься изо всех сил и непременно стану такой женщиной, которая нравится Дзэдзи-сану.

Слезы текли из глаз Наоми. Я тоже плакал. В тот вечер мы без конца разговаривали о будущем.

Вскоре после этого, однажды в субботу, я отправился на родину рассказать матери о Наоми, потому что она тревожилась, как отнесутся к ней мои родственники, и я хотел ее успокоить. Кроме того, мне хотелось придать нашему союзу законный характер, и я торопился как можно скорее обо всем поведать матери. Я честно изложил свои взгляды на брак, чтобы старой женщине они были понятны, и объяснил, почему хочу сделать Наоми своей женой.

Мать знала мой характер и доверяла мне.

— Если так, женись на этой девочке. Вот только, раз она происходит из такой семьи, смотри, чтобы потом не было неприятностей... — вот и все, что сказала она в ответ.

Мы хотели совершить брачную церемонию лишь через два-три года, но зарегистрировать Наоми в нашей семейной книге я решил сейчас же. Я отправился для переговоров на улицу Сэндзоку. Мать и братья Наоми всегда отличались беспечностью, так что там все уладилось без труда. Никаких корыстных требований они мне не предъявили.

Наша любовь росла с каждым днем, но пока об этом никто не знал. Внешне мы держались как друзья, хотя нам некого было стесняться — ведь мы были законными супругами.

— Наоми-тян, — однажды сказал я, — я хочу, чтобы мы были такими же друзьями, как прежде.

— И вы будете по-прежнему называть меня «Наоми-тян»?

— А ты хочешь, чтоб я называл тебя «госпожа супруга»?

— Ой, нет!..

— Значит, «Наоми-сан»?

— «Сан» мне не нравится, лучше «тян». Пока я сама не попрошу говорить «сан»...

— Значит, ты и впредь все время будешь называть меня «Дзёдзи-сан»?

— Да. И ничего другого не нужно!

Лежа на диване, Наоми обрывала лепестки розы. «Дзёдзи-сан...» — вдруг неожиданно прошептала она и, отбросив цветок, обвила мою шею руками.

— Моя любимая Наоми-тян, — твердил я, едва не задыхаясь в ее объятиях. — Моя любимая Наоми, я не просто люблю — я боготворю тебя! Ты мое сокровище! Ты бриллиант, который я сам нашел и отшлифовал, чтобы сделать тебя прекрасной, я куплю тебе все, что хочешь! Я буду отдавать тебе все мое жалованье!

— Зачем? Я и так буду старательно заниматься английским и музыкой.

— Да, да, занимайся, занимайся! Я скоро куплю тебе пианино. Ты станешь настоящей леди, ничем не уступающей даже европейцам! Я знаю, ты все сумеешь!

Я часто употреблял выражения «даже европейцы» или «как у европейцев». Это радовало Наоми.

— Что, похожа я на иностранку? — спрашивала она, вертась перед зеркалом.

В кино она внимательно следила за манерами актрис. Дома, распустив волосы, она принимала перед зеркалом различные позы, подражала улыбке Мэри Пикфорд, поводила глазами, как Пина Меникелли, склоняла голову, как Джеральдина Феррар. Она удивительно быстро перенимала жесты этих актрис.

— Ты очень способная. Не всякий актер может так подражать. Это оттого, что ты похожа на иностранку!

— Правда? Чем же я похожа?

— Твой нос и зубы...

— Зубы?..

И широко растянув губы, она разглядывала перед зеркалом свои зубы. Они у нее были действительно прекрасные, ровные, как зерна.

— Ты совсем не похожа на японку. Тебе нельзя носить обыкновенный японский костюм. Лучше одевайся по-европейски, а уж если в кимоно, так какого-то оригинального фасона.

- Какой же фасон мне нужен?
- Женщины теперь становятся свободнее, стеснительная и неудобная одежда больше им не нужна.
- Значит, мне можно носить кимоно с короткими рукавами и узенький мужской оби?
- Можно, но все же необходим какой-то свой, оригинальный стиль, так, чтоб непонятно было, какой он — японский, европейский или китайский...
- А вы мне купите такие наряды?
- Куплю, конечно! Я сделал бы тебе платья различных стилей. Я хотел бы, чтобы ты их меняла каждый день. Дорогих тканей не нужно. Из муслина и дешевого шелка можно сшить оригинальные вещи.

Этот разговор закончился тем, что мы стали ходить по магазинам. Не проходило воскресенья, чтобы мы не посетили универмаги Мицукоси и Сироки. Нас не удовлетворяла обыкновенная женская одежда, и было нелегко найти что-нибудь подходящее. В обычных магазинах нам ничего не нравилось, и мы ездили в Йокохаму, заходили во все лавки, где продаются пестрые шали, белье, ситец и европейские ткани, до изнеможения бродили по магазинам для иностранцев, по лавочкам в китайском квартале. На улице мы присматривались к европейцам, к их облику, к их одежде, останавливались у витрин магазинов, и, если замечали что-нибудь оригинальное, сразу входили в этот магазин, просили достать с витрины понравившуюся ткань, прикладывали ее к фигуре Наоми, так чтобы ткань закрывала ее всю от подбородка до самого пола или обматывала все тело. Одни эти прогулки и примерки доставляли нам огромное удовольствие.

В последнее время у японских женщин вошло в моду носить кимоно из жоржета, органди, тонкой шерсти. Но, пожалуй, именно мы с Наоми первыми обратили внимание на эти ткани. Наоми они шли удивительно. Кимоно с короткими рукавами или платья, похожие на спальный халат, а то и просто ткань, скрепленная кое-где застежками-брошками...

В таком виде она расхаживала по дому, гляделась в зеркало, принимая различные позы. Фигурка Наоми, облаченная в белые, розовые и бледно-сиреневые прозрачные, как шифон, ткани, казалась прекрасным живым цветком.

Наоми вертелась передо мной. Я заставлял ее садиться, вставать, ходить по комнате и долго любовался ею.

Гардероб Наоми рос с каждым днем. Своей комнаты ей

уже не хватало: платья висели повсюду, валялись скомканные, нужно было бы купить комод, куда их можно складывать, но все лишние деньги уходили на платья, кроме того, мы считали, что платья незачем особенно беречь. Их было много, но все дешевые, они быстро изнашивались. Поэтому удобнее всего было разбросать их на видном месте, чтобы менять, когда пожелаешь; да и комнате они придавали живописный вид... В ателье, как в гардеробной театра, платья лежали на всех стульях, валялись на полу, на диване, по углам, даже на лестнице, висели на перилах верхнего этажа.

Вдобавок Наоми стирала их редко и к тому же имела привычку надевать платье прямо на голое тело, так что все эти платья были несвежими.

Большая часть ее нарядов была чересчур экстравагантной, и Наоми не могла появляться в них на улице. Приемлемых для выхода туалетов было не так уж много. Особенно любила она атласное кимоно красновато-желтого цвета и хаори из той же материи и того же цвета. Оби тоже был атласный, тонкий, без ваты и очень узкий, она смело завязывала его высоко на груди. Чтобы ворот нижнего кимоно тоже казался атласным, она покупала ленты и пришивала их к обшлагу ворота. Пояс, шнурок для пояса, подкладка рукавов отливали бледно-голубым цветом. Когда она появлялась в этом ослепительном туалете в театре Юраку или Тэйгэки, все обращали на нее внимание. До нас долетали обрывки фраз:

- Кто эта женщина?
- Наверное, артистка!..
- Она иностранка?

А мы с Наоми нарочито горделиво прогуливались по фойе.

Но если даже такой наряд привлекал всеобщее внимание, то уж в еще более экстравагантном костюме совсем невозможно было выйти на улицу. Такие туалеты она надевала только дома — они служили словно бы для того, чтобы заставить меня снова и снова восхищаться ею, наподобие того, как любятся цветком, ставя его то в одну, то в другую вазу. Для меня Наоми была женой и в то же время редкостной, очаровательной куклой, дорогим сокровищем, так что удивляться тут нечему. Поэтому дома она почти никогда не одевалась просто и скромно. Самым дорогим, роскошным нарядом была, пожалуй, черная бархатная тройка — пиджак, брюки, жилетка, — которую она рассматривала в каком-то американском фильме. В этом костю-

ме, с волосами, спрятанными под кепи, она была грациозна и соблазнительна, как кошечка. Часто она разгуливала в одном мягком халатике или в купальном костюме, не только летом, но и зимой, для чего специально топила печку, чтобы в комнате было достаточно тепло. Одних лишь комнатных туфель, начиная с китайских вышитых шлепанцев, было не сосчитать... Чаще всего она обходилась и без таби, и без чулок, и носила эти туфли прямо на босу ногу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Угождая во всем Наоми, исполняя все ее прихоти, я в то же время не оставлял своего первоначального намерения сделать ее идеальной женщиной.

Смысла слова «идеальная» я и сам толком не понимал. По моим крайне наивным представлениям, это означало, наверное, современную, эффектную женщину, с которой не стыдно показаться где бы то ни было.

Сделать из Наоми «идеальную женщину» и в то же время всячески ее баловать — трудно совместимые занятия? Теперь-то я понимаю, как я заблуждался. Но тогда, ослепленный любовью, я этого не понимал.

— Наоми-тян, забавы — забавами, а занятия — занятиями. Если ты будешь прилежной, я куплю тебе много красивых вещей, — часто говорил я.

— Да, я буду учиться и непременно стану образованной, — с готовностью отвечала она.

Каждый день после ужина я примерно полчаса занимался с Наоми английским. Она надевала свой бархатный костюм или халат и, подбрасывая кончиком ноги ночную туфельку, развалясь, сидела на стуле, и как я ни старался делать вид, что сержусь, занятия превращались в забаву.

— Наоми-тян, ну, как ты себя ведешь? Во время занятий нужно быть посерьезней...

Наоми испуганно съеживалась и тоном маленькой девочки заискивающе тянула:

— Простите, учитель!..

Или:

— Учитель Кавай, не сердитесь на меня! — Искоса поглядывая на меня, она вдруг тыкала пальчиком мне в щеку.

Со своей стороны, «учитель Кавай» тоже не мог быть строгим с такой миленькой ученицей. Занятия кончались обыкновенно пустой болтовней и играми.

Не знаю, каковы были успехи Наоми в музыке, но английским языком она занималась с мисс Харисон уже два года и, казалось бы, уже должна была основательно его усвоить. Она прошла уже две трети хрестоматии по учебнику «English Echo», а грамматикой занималась по учебнику Канды Такэнобу «Intermediate Grammar». Это соответствовало программе третьего класса гимназии. Но, на мой взгляд, знаний у Наоми было не больше, чем у ученицы второго класса. Это показалось мне странным, и однажды я отправился к мисс Харисон.

— Вы ошибаетесь. Это удивительно умное и очень способное д и т я , — говорила мне, улыбаясь, толстая, добродушная старушка.

— Да, она способная девочка, но тем более странно, что английский язык она усвоила плохо. Читать она научилась, но переводить на японский язык не может, грамматику не понимает...

— Нет, нет, вы не правы, вы ошибаетесь, — твердила, прерывая меня, старая мисс. — Японцы только и думают, что о переводах и о грамматике... Это совершенно неправильно! При изучении английского языка никогда не нужно думать о грамматике и переводах. Нужно только читать и читать. У Наоми-сан прекрасное произношение, она читает отлично, и вот увидите, скоро она будет в совершенстве владеть английским...

Возможно, старая мисс в какой-то мере была права, но все-таки Наоми не знала грамматики, не умела употреблять прошедшее время, страдательный залог и, что самое главное, совсем не могла переводить с английского языка на японский. Она знала меньше самых плохих учеников школы. Как бы хорошо она ни читала, этого мало. Непонятно, чему же она научилась за эти два года?.. Тем не менее старая мисс, не обращая внимания на мой недовольный вид, успокоительно кивала головой и по-прежнему повторяла: «Удивительно умная девочка».

Может быть, это мне только кажется, но учителя-европейцы питают своеобразную слабость к японским ученикам. Достаточно им увидеть девочку или мальчика, чуть-чуть похожих на европейцев, хорошо одетых и с приятными личиками, чтобы тотчас же назвать их умными. Старые девы в особенности отличаются такого рода пристрастием. Оттого мисс Харисон и хвалила Наоми, она уже заранее решила, что Наоми очень умна. Кроме того, у Наоми действительно было хорошее произношение, тут

мисс Харисон была права. Что ж, у Наоми были прекрасные зубы, голос поставлен на занятиях по музыке, слушать ее было одно удовольствие, в этом отношении я со своим произношением в подметки ей не годился. Очевидно, Наоми обольстила мисс Харисон именно своим голосом, и старушка совсем растаяла. Старая мисс так любила девочку, что фотографии Наоми даже красовались на ее туалетном столике. В глубине души я был крайне недоволен методом мисс Харисон. Но в то же время ее похвала в адрес Наоми так обрадовала меня, как будто относилась ко мне самому. Но дело не только в этом — как и всякий японец, в присутствии европейца я терялся, не решаясь прямо высказать все, что думал, и когда старая мисс самоуверенно обрушила на меня свои речи на причудливо звучащем японском языке, я так и не сказал того, что намеревался сказать. «В конце концов, у нее свое мнение, у меня свое, я сам займусь с Наоми...» — решил я про себя, а вслух сказал: «Да, конечно, вы правы. Теперь мне все ясно. Я могу быть спокоен...» — и с тем вернулся домой.

— Дзэдзи-сан, ну, что сказала Харисон-сан? — в тот же вечер спросила меня Наоми. Она не сомневалась, что старая мисс привязалась к ней, — это чувствовалось по ее самоуверенному тону.

— Она сказала, что ты способная, но, видишь ли, иностранные учителя не понимают психологию японского ученика. Хорошего произношения и беглого чтения еще далеко не достаточно. У тебя прекрасная память, поэтому ты легко запоминаешь тексты. Но смысла ты не понимаешь: твердишь как попугай. Такое ученье никакой пользы не принесет.

Я впервые бранил Наоми. Не только потому, что меня взбесило нахальное выражение ее лица, как бы говорившее: «А, что, съел?», но прежде всего еще и потому, что впервые усомнился — получится ли из нее «идеальная» женщина? Взять хотя бы английский язык — если она неспособна постичь грамматические правила, дальнейшие перспективы обучения наукам внушают немалые сомнения...

Зачем обучают в гимназии мальчиков алгебре и геометрии? Вовсе не обязательно, чтобы впоследствии они применяли эти знания на практике, это делается для развития их умственных способностей, для тренировки мозга. Что касается девочек, то да, конечно, раньше от них не требовалось уметь аналитически мыслить, но теперь

женщинам такое умение необходимо. Тем более оно необходимо и даже обязательно для «идеальной» женщины.

Я немного ожесточился, и если раньше мы занимались полчаса, то теперь стали работать час, а то и полтора. При этом я решительно не допускал никаких шалостей и то и дело бранил Наоми. Хуже всего была ее непонятливость, поэтому я нарочно ничего не разжевывал, а только чуть намекал, чтобы дальше она разбиралась самостоятельно: например, когда мы проходили страдательный залог, я показывал ей, как его надо употреблять, и говорил:

— А теперь переведи это на английский язык. Если ты поняла то, что только что прочитала, у тебя должно получиться... — и затем молча, терпеливо ждал ответа. Услышав неправильный ответ, я не указывал, в чем ошибка, а говорил: — Выходит, ты не поняла? Ну-ка, прочти еще раз правило грамматики!

Я повторял с ней по несколько раз одно и то же. Но если и тогда она все же не понимала, я выходил из себя и повышал голос.

— Наоми-тян, почему ты не можешь уразуметь таких простых вещей? Сколько раз ты это повторяла и все-таки не поняла! Где у тебя голова? Харисон-сан говорила, что ты умна, а я вовсе так не считаю. Если ты даже этого не можешь усвоить, ты была бы самой последней ученицей в гимназии.

Наоми дулась и в конце концов принималась горько плакать.

Раньше мы с Наоми всегда жили дружно, душа в душу, ни разу не ссорились, но теперь, как только начинался урок английского языка, оба задыхались от злобы. Не проходило урока, чтобы я не сердился, а она не дулась. Казалось, вот только что все у нас было прекрасно, как вдруг оба ожесточались и глядели друг на друга чуть ли не как враги. В такие минуты я забывал о своем стремлении сделать Наоми образованной, меня раздражала ее тупость, я начинал ее ненавидеть.

Будь она мальчиком, я, не сдержавшись, наверняка дал бы ей затрещину. «Дура!» — непрерывно кричал я ей. Один раз я дошел до того, что стукнул ее по лбу костяшками пальцев. Но Наоми лишь заупрямилась еще больше, совсем перестала отвечать и упорно молчала, глотая слезы.

Наоми отличалась удивительным упорством, сладить

с ней было невозможно, и в конце концов в проигрыше всегда оказывался я.

Однажды произошел такой случай. Для образования длительного вида настоящего времени перед глагольной формой типа «going» необходимо употреблять в соответствующем лице глагол «to be». Сколько я ни объяснял это Наоми, она не понимала и по-прежнему твердила «I going» вместо «I am going». Я страшно злился, непрерывно кричал ей: «Дура!» — и до изнеможения подробно объяснял несложное правило, но, удивительное дело, Наоми не понимала. Я был взбешен.

— Дура! Ты просто дура! Я же тысячу раз объяснял тебе, что нельзя говорить «I going», а ты все еще не можешь уразуметь? Будешь учить это правило, пока не поймешь! Хоть весь вечер, всю ночь учи, слышишь! — И я с яростью швырнул карандаш и тетрадь. Наоми крепко сжала губы, вся побледнела и злобно, исподлобья взглянула на меня. Потом вдруг схватила тетрадь, разорвала ее в клочья, кинула на пол и опять уставилась на меня злобным взглядом.

— Ты что делаешь?! — На мгновение я растерялся, увидев этот злобный взгляд, но через минуту крикнул: — Так ты вздумала мне перечить? Не хочешь учиться? Где же твое обещание? Как ты смела разорвать тетрадь? Проси прощения! А не станешь — так я не хочу тебя больше видеть. Сегодня же уходи из моего дома!

Но Наоми упорно продолжала молчать, только губы ее слегка кривились, как будто она готова была не то засмеяться, не то заплакать.

— А, так ты не хочешь просить прощения? Ну и не надо. В таком случае сейчас же убирайся отсюда! Слышишь?! — И чтобы она не подумала, будто это пустая угроза, я вскочил, поднялся наверх, схватил несколько ее платьев, валившихся по углам, быстро свернул их в узел и, вынув из бумажника две ассигнации по десять иен, спустился вниз. Передавая ей узел, я сказал:

— Наоми-тян, здесь твои вещи. Возьми их и возвращайся в Асакусу. Вот двадцать иен на карманные расходы. После я поговорю с твоей матерью. А остальные вещи пришлю хоть завтра, поняла? Ну, что же ты молчишь?

Наоми сжалась от страха.

— Ты поступила плохо и должна извиниться. Но ты упорствуешь и потому уходи. Что лучше — извиниться или вернуться обратно в Асакусу?

Она отрицательно затрясла головой.

— Значит, ты не хочешь возвращаться?

Теперь она кивнула, как бы подтверждая мои слова.

— И попросишь у меня прощения?

— Да, — опять кивнула она.

— Хорошо, я согласен простить тебя. Делай, как положено, — руки — в пол, и поклон!

Наоми уперлась руками в стол и, глядя в сторону, нехотя поклонилась. При этом вид у нее все-таки был такой, будто в душе она издевается надо мной.

Не знаю, был ли у нее этот упрямый, капризный нрав еще до того, как мы встретились, или я сам чересчур ее избаловал, но ясно было одно — с каждым днем ее упрямство росло. Впрочем, нет, возможно, дело не в том, что Наоми становилась все более упрямой, просто, когда ей было пятнадцать — шестнадцать лет, я не придавал ее выходкам большого значения, принимая их за милые капризы ребенка, но теперь, когда она выросла, а капризы не прекращались, я уже не мог с нею сладить. Раньше, как бы она ни упрябилась, стоило мне разок прикрикнуть построже, и она слушалась, но в последнее время, когда ей что-нибудь не нравилось, она сразу начинала дуться. При этом, если бы она тихонько заплакала, это могло бы меня разжалобить, но часто бывало, что, как бы я ни сердился, как бы ни бранил ее, ни слезинки не выступало у нее на глазах, выражение лица было вызывающе-безразличное и появлялся этот упорный взгляд исподлобья, которым она меня буквально сверлила насквозь... «Если правда, что существует животное электричество, то во взгляде Наоми оно содержится в большом количестве...» — всякий раз думал я в такие минуты. Потому что глаза ее пылали такой свирепой, не женской злобой и при этом обладали таким своеобразным, необъяснимым очарованием, что, поймав этот взгляд, я зачастую невольно содрогался от страха.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Два противоречивых чувства боролись тогда в моей душе — любовь и разочарование. Даже ослепленный любовью, я не мог не признать, что ошибся в выборе и Наоми оказалась не такой, как я ожидал. Я убедился, что мое желание сделать ее идеальной женщиной стало теперь несбыточной мечтой. Наоми, получившая дурное воспитание в квартале Сэндзоку, не могла стать иной. Но в

то же время физически Наоми влекла меня все сильнее и сильнее. Я говорю — физически, потому что меня восхищали ее зубы, губы, кожа, волосы, глаза, меня влекло ее тело, а не душа. В умственном отношении она не оправдала моих надежд, но ее тело становилось прекраснее с каждым днем. Чем больше я говорил себе, что она глупая и пустая женщина, тем сильнее я против собственной воли был пленен ее красотой. В этом заключалось мое несчастье.

Я перестал думать о ее воспитании и в минуты отчаяния понимал, что ничего нельзя изменить.

Не все задуманное сбывается. Я желал, чтобы и душа Наоми стала такой же прекрасной, как тело. В одном я потерпел поражение, зато в другом разве результат не превзошел мои ожидания? Я никогда не предполагал, что она станет такой очаровательной. И разве эта удача не компенсирует поражения?

Я успокаивал себя этими мыслями.

— Дзёдзи-сан, вы теперь во время английских уроков перестали называть меня душой, — сказала мне Наоми вскоре после того, как произошел перелом. Хоть она и не отличалась сообразительностью в часы занятий, но мои мысли читала хорошо.

— Чем больше я говорю, тем больше ты упорствуешь. Раз мои слова не приносят никакой пользы, я решил вести себя по-другому.

Она усмехнулась.

— Это верно, вы непрерывно называли меня душой, так меня слушаться не заставишь... По правде говоря, я отлично все понимала, но нарочно прикидывалась непонятливой, чтобы позлить Дзёдзи-сана. А вы не догадывались?

— Вот как?

Я знал, что Наоми говорит это просто из самолюбия, но сделал вид, будто очень удивлен.

— Конечно! Чего ж там не понимать? А если Дзёдзи-сан думает, будто я не могу понять, значит, он сам дурак. Когда вы сердились, мне было так смешно, так смешно...

— Это для меня неожиданность. Ловко ты меня провела.

— Выходит, я немножко умнее вас?

— Умнее, умнее... Куда мне до тебя!..

Она осталась довольна и долго смеялась.

Читатели! Не смейтесь надо мной, если я неожиданно поведаю вам одну причудливую историю. Когда я

учился в школе, мы проходили по истории главу об Антонии и Клеопатре. Как известно, Антоний принял сражение в верховьях Нила с кораблями Октавия. Находившаяся вместе с Антонием Клеопатра, заметив превосходство сил Октавия, повернула свою галеру с половины пути и обратилась в бегство. Увидев, что малодушная царица покидает его, Антоний позабыл о том, что в этот день решалась его судьба, бросил сражаться и последовал за царицей.

— Господа, — сказал нам учитель истории. — Антоний пошел вслед за этой женщиной и умер из-за нее. В истории больше не встретишь таких глупцов. Испокон веков рассказ об этом вызывал только смех. Подумать только — герой, храбрый воин, и такой бесславный конец!..

В самом деле, это было очень смешно. Ученики смеялись. Разумеется, я смеялся вместе со всеми.

Но вот что важно: в то время мне казалось очень странным, как мог Антоний оказаться в плену чар этой коварной женщины. И не только Антоний — до него еще один герой — Юлий Цезарь позорно запутался в сетях Клеопатры. Можно было бы привести множество и других примеров. Так, в эпоху Токугава, во время возвышения и упадка отдельных провинций и родов, за кулисами всегда действовала колдовская рука какой-нибудь обольстительной и злой женщины. Эта рука искусно руководила всеми событиями.

Клеопатра была умна, но вряд ли умнее Антония или Цезаря. Не обязательно быть героем — каждый мужчина, если только будет настороже, может понять, насколько искренне относится к нему женщина, лжет она или говорит правду. И тем не менее позволить обманывать себя, понимая, что это приведет тебя к гибели, слишком уж малодушно! Если все это действительно так и было, возможно, так называемые герои вовсе не были такими уж замечательными людьми... Думая так, я безоговорочно соглашался со словами учителя, назвавшего Антония величайшим глупцом в истории.

Я и теперь, случается, вспоминаю эти слова учителя и то, как я смеялся вместе со всеми. И каждый раз остро сознаю, что теперь я прекрасно понимаю чувства, побудившие римского героя стать глупцом, покорной игрушкой в руках прекрасной, но коварной женщины. Я не только понимаю Антония, — я жалею его.

Часто говорят, что женщины обманывают мужчин. Но по собственному опыту я знаю, что вначале бывает совсем

наоборот. Вначале мужчине самому доставляет удовольствие чувствовать себя обманутым, когда он влюблен, ему одинаково приятно слушать и ложь и правду из уст любимой женщины. И утирая ей слезы, он думает: «Плутовка, ты стараешься обмануть меня. Как ты смешна и мила! Я вижу тебя насквозь и позволяю себя обманывать. Обманывай, обманывай, сколько хочешь».

Рассуждая так, мужчина чувствует себя великодушным, он сознательно позволяет обманывать себя, как взрослый старается потешить ребенка, он добровольно отдает себя во власть женщины и воображает поэтому, что вовсе не обманут. Напротив, он думает, что сам обманывает женщину, и посмеивается в душе.

Так было и у меня с Наоми. Говоря: «Я умнее Дзэдзисана», Наоми считала, будто обманывает меня. А я притворялся тугодумом и сознательно играл роль обманутого. Мне было гораздо приятнее видеть ее счастливое личико, чем разоблачать ее наивную ложь. Больше того, я видел в этом даже повод для некоего морального удовлетворения. Ведь даже если Наоми не умна, совсем неплохо внушить ей большую уверенность в себе. Главный недостаток японских женщин состоит в том, что им не хватает этой уверенности в себе, поэтому в сравнении с европейскими женщинами они очень проигрывают. Современная красавица должна обладать не столько прекрасной внешностью, сколько умом и умением себя держать. Если женщина уверена, что она умна и хороша собой, окружающие в конце концов тоже сочтут ее красавицей... Вот из этих-то соображений я не только не пресекал стремления Наоми считать себя умницей, но, напротив, всячески поощрял эти ее претензии.

Например, в то время мы часто играли в шахматы или в карты. Если бы я играл серьезно, то, конечно, всегда выигрывал бы, но я нарочно позволял Наоми брать верх, так что в конце концов она и впрямь вообразила, что играет куда лучше меня.

— Ну, Дзэдзи-сан, давайте сыграем... Я опять обыграю вас, — предлагала она, презрительно глядя на меня.

— Да, надо мне отыграться... Если бы я играл по-настоящему, ни за что бы не проиграл... Просто раньше я был недостаточно внимателен, думал, что играю с ребенком.

— Ладно, ладно, сперва выиграйте, а потом хвастайтесь...

— Идет! Теперь я непременно одержу победу. — И я опять нарочно плохо играл, чтобы, как обычно, проиграть.

— Ну, что? Досадно, наверно, что проиграли ребенку? Нет, что ни говорите, а вам меня не обыграть! Какое? Взрослый тридцатилетний мужчина, а не может обыграть восемнадцатилетнюю девочку... Дзэдзи-сан совсем не умеет играть! — говорила она и, постепенно теряя всякую сдержанность, заявляла: — Возраст тут ни при чем, нужно иметь голову на плечах! — Или: — Если башка не варит, как ни плачь, ничего не добьешься! — И громко смеялась своим обычным нахальным смехом.

Результат, однако, получился прескверный. Сначала я хотел всячески угодить Наоми, по крайней мере, таковы были мои намерения. Но по мере того как это повторялось изо дня в день, у Наоми и в самом деле появилась уверенность в себе, и теперь уже, как я ни старался, я и впрямь не мог ее обыграть.

Победа достигается не только умом, важную роль играет сила духа, заложенная в нас, иными словами, все дело в животном электричестве. Тем более при азартной игре Наоми мобилизовывала всю свою энергию, с самого начала была начеку, потому я всегда терпел поражение.

— Без денег играть неинтересно, давайте сделаем ставки, — окончательно вошла во вкус Наоми и уже не хотела играть без денег. Чем выше бывали ставки, тем больше я проигрывал. Хотя у Наоми совсем не было денег, она то и дело по собственному почину произвольно повышала ставки — десять сэн, двадцать сэн — и таким образом добывала себе деньги на карманные расходы.

— Ах, когда я накоплю тридцать иен, я смогу купить себе то кимоно... Давайте опять сыграем в карты! — говорила Наоми, вызывая меня на поединок. Случалось все же, что игра кончалась не в ее пользу. Тогда она прибегала к разным уловкам, стремясь во что бы то ни стало, любой ценой завладеть «банком». Для этого, садясь за карты, она почти всегда с нарочитой небрежностью набрасывала халатик. Если ей не везло, она садилась ко мне на колени, гладила меня по щеке, щипала за уголки губ, раскрывала ворот, выставляла ноги, одним словом, всячески старалась очаровать меня, и я поистине был не в силах противостоять этим уловкам. Наконец, она пускала в ход последнее средство — об этом, быть может, не следует здесь писать, — у меня темнело в глазах, и было уже не до игры.

— Что ты делаешь?.. Наоми-тян, хитрая!

— Ничего я не хитрая, это просто такой прием...

Все уплывало вдаль, покрывалось смутной завесой, сквозь нее слышался только голос Наоми и виднелось ее дразнящее лицо. Это лицо со странной улыбкой в уголках губ...

— Хитрая, хитрая, разве в карточной игре существуют такие приемы?

— Конечно! Когда женщина играет с мужчиной, она может пускать в ход разные чары. Я сама видела... В детстве я видела, к каким способам прибегала старшая сестра, когда играла в карты с мужчинами!

Наверное, вот так же Клеопатра одержала верх над Антонием. Он не мог сопротивляться и в конце концов оказался полностью в ее власти. Очень хорошо внушить любимой женщине уверенность в себе, но в результате сам теряешь власть над собой. И коль скоро это произошло, нелегко побороть в женщине сознание собственного превосходства над мужчиной. Отсюда — все несчастья, которых совсем не ждешь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Это случилось жарким октябрьским вечером. Наоми как раз исполнилось тогда восемнадцать лет. Освободившись от службы на час раньше и возвратясь в Омори, я неожиданно увидел в саду незнакомого юношу, разговаривавшего с Наоми. Юноша был одних лет с ней, может быть, на год старше. На нем было кимоно с черным рисунком на белом фоне, на голове — шляпа на манер янки, соломенная, с нарядной лентой. В руках он держал стек, слегка ударяя им по кончикам своих гэта. Лицо красноватое, густые брови. Черты лица неплохие, вот только портило его то, что он был угреват. Наоми сидела на корточках, за клумбой. Из-за цинний и канн смутно виднелся только ее профиль и волосы.

— Ну, пока... — сказал он Наоми, заметив меня, снял шляпу и, распрощавшись с ней коротким поклоном, сразу же быстро направился к воротам.

— До свиданья, — ответила Наоми, тоже поднявшись.

Проходя мимо меня, он слегка коснулся шляпы рукой и удалился.

Эта сцена показалась мне странной.

— Кто это? — спросил я скорее с легким любопытством, чем с ревностью.

- Это мой приятель, Хамада-сан.
- Когда же ты успела с ним подружиться?

— Давно уже. Он тоже ходит в Исараго учиться петь. Лицо у него некрасивое, все в прыщах, но поет он чудесно, у него прекрасный баритон. Недавно мы вместе пели в квартете, на музыкальном вечере.

Упоминание о прыщеватом лице, вовсе не обязательное, внезапно показалось мне подозрительным, и я взглянул ей прямо в глаза, но она спокойно выдержала мой взгляд.

- Он часто заходит к тебе?

— Нет, сегодня в первый раз. Сказал, что был тут неподалеку, оттого и зашел. Он говорил, что собирается организовать клуб салонных танцев и советует мне тоже обязательно записаться...

По правде сказать, все это мне не очень понравилось, но, слушая Наоми, я убедился, что она не лжет. В самом деле, когда я пришел, они мирно болтали в саду. Эта мысль успокоила меня.

- И ты согласилась?

— Я сказала, что подумаю, но... — И вдруг сладким, как мурлыканье кошечки, голосом, она продолжала: — А разве нельзя? Ну, пожалуйста, разрешите! Дзёдзи-сан тоже запишется в этот клуб, и мы будем заниматься вместе.

- Разве я тоже могу вступить?

— Конечно, каждый может. Преподает русская, знакомая моей учительницы Сугидзаки из Исараго. Она недавно в Японии, денег у нее нет, она очень нуждается, и вот, чтобы помочь ей, решили организовать этот клуб. Чем больше учеников, тем ей выгоднее. Давайте запишемся?

— Ты запишись, а мне научиться танцевать трудно.

- Глупости! Вы быстро научитесь.

- Но я ничего не понимаю в музыке...

— Когда поступите, быстро поймете, само собой все получится... Дзёдзи-сан, обязательно запишитесь! Даже если я и научусь, все равно одной мне на танцы ходить нельзя. А вместе мы будем с вами изредка ходить на танцевальные вечера... Хорошо? Ведь это же скучно — проводить все время только у себя дома...

Я смутно догадывался, что в последнее время Наоми начинает немного тяготиться однообразием нашей жизни.

В самом деле, прошло уже три года, как мы переехали в паше гнездышко в Омори. Мы затворились в нашем «сказочном домике» и, за исключением летнего отпуска, порвали всякую связь с внешним миром. Мы видели только друг друга, и какие бы ни придумывали «игры», они быстро надоедали. Не удивительно, что Наоми начинала скучать, тем более что ей вообще быстро надоедали всякие развлечения, хотя сперва она увлекалась ими до самозабвения. И карты, и шахматы, и подражание киноактерам — все это было скоро заброшено. Зато она стала усердно возиться в саду, сажать цветы, сеять семена, но и это длилось недолго.

— Ах, все надоело! Нет ли чего-нибудь интересно? — говорила Наоми, громко зевая, лежа на диване и читая роман.

Я чувствовал, что нужно как-то изменить эту монотонную жизнь вдвоем. И вот как раз в это время представился случай. Что ж, научиться танцевать тоже неплохо... Наоми уже не та, что три года назад, она переменялась со времени нашей поездки в Камакуру. Если она появится теперь нарядная, прекрасно одетая в обществе, то, пожалуй, не уступит другим женщинам. При этой мысли я испытывал невыразимую гордость.

Как я уже говорил вначале, у меня со школьных времен не было близких друзей, и я всегда избегал ненужных знакомств, но я любил общество. Я — провинциал, мне незнакомо искусство остроумной беседы и удачных комплиментов. Я не любил встречаться с людьми, но в душе я жаждал блестящего общества. Сделав Наоми своей женой, я хотел, чтобы все говорили: «Его жена — модная женщина», — и хвалили ее. Будучи от природы честолюбив, я вовсе не собирался посадить Наоми, как птицу, в клетку.

По словам Наоми, преподавательницу танцев зовут Александра Шлемская и она русская графиня. Муж ее бежал во время революции и пропал без вести. У нее двое детей, но где они сейчас находятся, неизвестно. Оказавшись в Японии, она испытывала нужду и немного оправилась только теперь, после того как начала давать уроки танцев. Учительница музыки Наоми, госпожа Харуэ Сугидзаки организовала клуб, где администратором стал Хамада, студент университета Кэйо.

Танцевальный зал помещался на улице Хидзиридка, в районе Мита, во втором этаже магазина европейских музыкальных инструментов Ёсимура. Госпожа Шлемская

бывала там два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Члены клуба могли приходиться в удобное для них время от четырех до семи часов вечера и заниматься в течение часа. Месячная плата равнялась двадцати иенам и вносилась в начале каждого месяца. Нам с Наоми нужно было платить сорок иен. Мне показалось это дорого, даже при том, что преподавательница — иностранка. Наоми же считала, что европейские танцы, так же как и японские, являются роскошью и такая плата вполне нормальна. Конечно, бездарному нужно учиться несколько месяцев, а способный и за месяц научится.

— Жалко эту Шлемскую, надо помочь ей. Она была графиней, а теперь так низко пала... Ну, как же ее не пожалеть? Хамада-сан говорит, что она преподает не только салонные танцы, но и классические. Она отличная преподавательница... — расхваливала Наоми эту женщину, ни разу ее не видев.

Мы записались в клуб. По понедельникам и четвергам Наоми после урока музыки, а я — прямо со службы, отправлялись к шести часам на улицу Хидзиридзака. В первый день Наоми встретила меня в пять часов на станции Тамати, и мы вместе отправились на занятия. В лавке было тесно, она была сплошь заставлена пианино, фисгармониями, граммофонами и другими музыкальными инструментами. Во втором этаже, вероятно, уже начались танцы. Слышалось шарканье ног и звуки граммофона. На лестнице, как сельди в бочке, теснились несколько студентов университета Кэйо. Они таращили глаза на меня и Наоми. Мне это не понравилось.

— Наоми-сан, — громко, дружеским тоном окликнул Наоми один из них, державший под мышкой мандолину, — здравствуй!

— Что же ты, Матян, не танцуешь? — развязно и не по-женски ответила Наоми.

— Не хочю. — Мужчина, которого звали Матян, рассмеялся и положил мандолину на полку. — Танцевать? Ну нет, слуга покорный! Шутка ли, двадцать иен в месяц! Слишком дорого!

— Ничего не поделаешь, надо же научиться.

— Зачем? Все научатся и меня научат. Для танцев такой учебы вполне довольно. Что, здорово я придумал?

— Какой ты хитрый, Матян. Слишком хитрый... А Хама-сан наверху?

— Да. Ступай туда.

Как видно, в этой лавке собирались все студенты, жив-

шие близости, и Наоми тоже сюда заглядывала. Продавцы тоже все ее знали.

— Наоми-тян, кто эти студенты? — спросил я, когда мы поднимались по лестнице.

— Они из клуба гитаристов университета Кэйо. Грубоваты, но неплохие люди.

— И все они твои приятели?

— Ну, не то чтоб приятели... Я ведь иногда прихожу сюда за покупками, вот и познакомилась...

— И танцами занимаются, в основном, они?

— Право, не знаю... Да нет, наверное, большинство — люди постарше. Сейчас сами увидим.

Танцевальный зал помещался на втором этаже. В зале несколько человек двигали в такт ногами, приговаривая «раз, два, три». Пол в обеих комнатах был дощатый, поэтому при входе можно было не снимать обуви. Хамада, бегая по залу, сыпал какой-то порошок, наверное для того, чтобы сделать пол более скользким. Жаркий сезон еще не кончился, и в обращенные на запад окна с раздвинутыми бумажными створками ярко светило вечернее солнце. На фоне красноватых лучей стояла женщина в белой шелковой блузке и синей юбке. Несомненно, это и была Шлемская. Судя по тому, что у нее двое детей, ей было не меньше тридцати пяти — тридцати шести лет, но по виду нельзя было дать и тридцати. Лицо у нее было аристократическое, гордое, наверное потому, что в жилах текла холодная голубая кровь. Глядя на ее надменное лицо, эlegantный костюм и драгоценные камни, сверкавшие на груди и на пальцах, никак невозможно было поверить, что эта женщина находится в тисках нужды.

В руке она держала хлыст и, строго сдвинув брови, следила за ногами своих учеников, тихим, но повелительным тоном отсчитывая «раз, два, три». Считала она по-английски, но «три» выговаривала с русским акцентом. Выстроившись в шеренгу, ученики старательно перебирали ногами. Все это выглядело так, будто женщина-офицер обучает солдат шагистике. Мне вспомнился фильм, демонстрировавшийся в кинотеатре «Кинрюкан» в Асакусе, «Женские войска идут в поход». Трое молодых людей в синих пиджачных парах, по всей видимости, не были студентами, двое остальных — девушки, — по-видимому, лишь недавно окончили женскую школу; скромно одетые, они усердно старались выполнять все движения. Они производили приятное впечатление, чувствовалось, что это приличные барышни. Когда кто-нибудь ошибался, Шлем-

ская сейчас же строго говорила «No!»¹, подходила и показывала, как надо двигаться, а если кто не понимал и ошибался, восклицала: «No good!»² — и то и дело ударяла хлыстом об пол, а то и без всякого снисхождения по ногам учеников.

— Она занимается с увлечением. Так и надо!

— Действительно, Шлемская любит свое дело! Японским учителям до нее далеко, а европейцы, даже женщины, очень строги. Это очень приятно! И посмотрите — она занимается без передышки и час, и два... В такое жаркое время это утомительно, я предложила ей мороженое, но она отказалась: во время занятий ей ничего не нужно...

— Удивительно, как это она не устает?!

— Европейцы прекрасно закалены физически, не то что мы. Но мне так жаль ее!.. Она была графиней, жила беспечно, а теперь вынуждена заниматься вот этим!

Так восторженно болтали между собой две дамы, сидя на диване и глядя на танцующих. Одной было лет двадцать пять — двадцать шесть, рот у нее был большой, губы тонкие, глаза на круглом лице выпуклые, как у китайской золотой рыбки, а волосы все зачесаны кверху; скрепленные огромной черепаховой булавкой, они торчали на макушке, как иголки ежа. Оби был шелковый с египетским рисунком, украшенный нефритовой пряжкой. Это она расхваливала и жалела Шлемскую. Другая женщина, беспрестанно кивавшая в знак согласия, из-за жары вспотела; наложенные густым слоем белила на лице распались, открывая грубую, в мелких морщинках кожу, — очевидно, ей было уже лет под сорок. Курчавые волосы с рыжеватым отливом были уложены узлом. Нарядно одетая, она тем не менее всем своим видом напоминала больничную сиделку.

Кроме этих двух женщин, еще несколько человек послушно ожидали своей очереди, другие уже кружились в танце. Распорядитель Хамада, то ли заменяя Шлемскую, то ли сам возложив на себя такую миссию, танцевал с ними, ставил пластинки в граммофоне и вообще проявлял необычайную активность. Женщины меня не интересовали, но, глядя на мужчин, я старался угадать, кто эти люди, специально пришедшие учиться танцевать. Как ни странно, нарядно одет был, пожалуй, только Хамада, ос-

¹ Нет! (англ.).

² Здесь: неправильно (искаж. англ.).

тальные по большей части выглядели как мелкие, невзрачного вида служащие в синих безвкусовых пиджачных парах. Правда, все они казались моложе меня, только одному можно было дать лет тридцать. На нем был смокинг, золотые очки с толстыми стеклами, и еще носил он старомодные, удивительно длинные усы. Ему никак не давались танцы, и Шлемская чаще, чем другим, кричала ему: «No good», — и ударяла хлыстом. Каждый раз он как-то глупо улыбался и под счет «раз, два, три» принимался повторять те же па.

Зачем понадобилось этому мужчине в его возрасте учиться танцам? Впрочем, разве я сам не похож на него? Когда я представил себе, как эта иностранка в присутствии этих дам ударит меня хлыстом, меня прошиб холодный пот, — ведь мне никогда не приходилось бывать в таком шумном обществе. Я со страхом ждал, когда очередь дойдет до меня.

— Входите, пожалуйста, — сказал Хамада, утирая платком вспотевший прыщеватый лоб. — Рад снова видеть вас... — На сей раз он вежливо поздоровался со мной и повернулся к Наоми. — Какая невыносимая жара! Нет ли у тебя веера? Быть ассистентом не так уж приятно!

Наоми вынула из-за пояса веер и подала ему.

— Зато Хама-сан искусен в танцах! Вы вполне можете быть ассистентом! Давно вы начали заниматься?

— Я? Уже полгода. Но ты способная и научишься быстро. В танцах ведет мужчина, а женщина должна лишь следовать за ним.

— Скажите, кто эти мужчины? — спросил я.

— Эти? — Хамада перешел на вежливый тон. — Большинство служат в акционерной компании «Тоё Сэкию». Родственник учительницы Сугидзаки — член правления этого общества, он их рекомендовал.

Служащие акционерного общества — и салонные танцы! Я вспомнил о странном человеке в очках и спросил:

— А что, джентльмен с усами тоже служит в этой компании?

— Нет, не совсем. Он врач.

— Врач?

— Да, он постоянный консультант фирмы. По его мнению, танцы полезны для здоровья, лучше всякого спорта.

— Как, Хама-сан, — вмешалась в разговор Наоми, — неужели танцевать так полезно?

— Конечно, если усердно заниматься танцами, так и зимой пот так прошибет, что рубашка насквозь бывает мокрой. Как спорт, танцы очень хороши. Особенно под руководством госпожи Шлемской, она тренирует учеников до упаду...

— Она понимает по-японски? — Я спросил об этом, потому что эта мысль уже некоторое время меня тревожила.

— Нет. По-японски почти ничего не понимает. Она говорит по-английски.

— По-английски... не знаю, как же мне... Я ведь говорю плохо...

— Не важно. Все знают одинаково. Шлемская сама говорит на ломаном английском, не лучше нас. Не беспокойтесь, во время занятий разговаривать не понадобится. «Раз, два, три!..» Все остальное вы поймете по жестам.

— О, Наоми-сан, когда вы пришли? — обратилась в это время к Наоми женщина с белой черепаховой булавкой, похожая на китайскую рыбку.

— А, сэнсэй!.. Это госпожа Сугидзаки... — сказала Наоми и, взяв меня за руку, подвела к ней. — Познакомьтесь, пожалуйста: это Дзёдзи Кавай...

— Вот как? — сказала госпожа Сугидзаки и, заметив, что Наоми покраснела, и, очевидно, поняв причину, поднялась и поздоровалась со мной, не дослушав. — Очень приятно. Разрешите представиться, Сугидзаки... Присядьте, пожалуйста. Наоми-сан, принесите-ка вон тот стул! — Она снова обратилась ко мне: — Пожалуйста, садитесь. Ваша очередь, правда, подойдет скоро, но если вы будете все время стоять, вы устанете.

Не помню, как я представился. Должно быть, просто пробормотал что-то себе под нос. Я был смущен оттого, что не знал, что она думает о наших с Наоми отношениях, насколько Наоми посвятила ее в характер нашей связи, — я забыл спросить об этом у Наоми, когда мы выходили из дома.

— Познакомьтесь, пожалуйста, — не обращая внимания на мое смущение, сказала она, указывая на женщину с курчавыми волосами. — Это супруга господина Джемса Броуни из Йокохамы. А это господин Дзёдзи Кавай из Электрической компании на улице Ои.

Ах, вот оно что, значит, эта женщина — жена иностранца! Окончательно растерявшись, я только молча кланялся.

— Простите, вы сегодня здесь *фоисто тайму*?¹ — сразу же принялась болтать эта курчавая, вовлекая меня в болтовню. Это *фоисто тайму* она произнесла с ужасно важным видом и к тому же такой скороговоркой, что я невольно переспросил: «Что?..» — и еще больше смутился.

— Да, в первый раз, — пришла мне на выручку госпожа Сугидзаки.

— Ах, вот как... Да, но... что я хочу сказать... Да... *Дженреманам моа-моа дификалт* чем *лэдий*...² Но если вы в первый раз, то сразу...

Это странное «моа-моа» я совершенно не мог понять, но наконец уразумел, что так она произносит слова «more-more». Вместо «gentleman» она говорила «дженремаи», вместо «little» — «ритуру» и непрерывно вставляла в речь английские слова в таком невероятном произношении. По-японски она говорила с каким-то странным акцентом, без конца прибавляя «...что я хочу сказать...», и болтала, не останавливаясь, со скоростью огня, пожирающего промасленную бумагу.

Затем снова начался разговор о Шлемской, о танцах, об иностранных языках, о музыке, о сонатах Бетховена, о Третьей симфонии, о том, какая фирма выпускает хорошие, а какая плохие граммофонные пластинки. Я окончательно сник и замолчал, и тогда из непрерывного потока ее слов, обрушившегося теперь уже на госпожу Сугидзаки, я уловил, что эта супруга мистера Броуна берет у нее уроки музыки. У меня не хватало ловкости улучшить момент, попрощаться и выйти на свежий воздух, я был вынужден, мысленно сокрушаясь о своей горестной участи, выслушивать всю эту болтовню, зажатый между этими двумя болтливыми сороками.

Когда окончились занятия с группой Акционерной компании «Тоё Сэкию», госпожа Сугидзаки подвела нас к Шлемской и представила сперва Наоми, потом меня. Наверное, так требовалось по европейскому этикету — дама всегда должна быть первой... Госпожа Сугидзаки представила Наоми как «мисс Кавай». Мне было любопытно, как будет вести себя Наоми в присутствии иностранки. Как ни была Наоми самоуверенна, но перед Шлемской она все-таки оробела, и когда та, сказав несколько слов, подала руку и на ее надменном лице показалась улыбка, Наоми, вся красная от смущения, робко пожала

¹ Первый раз (искаж. *англ.*).

² Джентльменам гораздо труднее, чем дамам (искаж. *англ.*).

протянутые пальцы. А я уж тем более — я просто не мог заставить себя взглянуть на это бледное точеное лицо и, потупившись, молча прикоснулся к руке, украшенной кольцом, сиявшим бесчисленными мелкими бриллиантиками.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я простой, грубый человек, но мне нравится все изысканное, и я, как уже известно читателям, во всем следую европейской моде. Если б я имел много денег, я, может быть, поселился бы за границей и женился на иностранке. Но я не могу себе этого позволить, поэтому сделал своей женой Наоми, которая среди японцев выглядит иностранкой. Но я мал ростом, лицо у меня смуглое, зубы скверные, и высокая, статная европейская женщина мне совсем не пара, поэтому я считал, что такая женщина, как Наоми, отвечает всем моим требованиям, что японец и японка больше всего подходят друг другу, и был вполне доволен.

Но знакомство с женщиной белой расы было мне приятно, больше того, оно вселяло в меня гордость. Честно говоря, с моим неумением держать себя в обществе и слабым знанием иностранного языка я уже потерял надежду на то, что в жизни мне представится случай познакомиться с иностранкой. В кино и в европейской опере я часто видел актрис, но их красота казалась мне нереальной. И вдруг, на уроках танцев, я смог познакомиться с европейской женщиной, да еще с графиней! Не считая старой мисс Харисон, я впервые в жизни удостоился чести поздороваться за руку с иностранкой. Когда госпожа Шлемская протянула мне свою белую руку, сердце у меня невольно затрепетало и я так смешался, что даже не знал, следует ли мне пожать протянутую руку.

Конечно, у Наоми руки тоже были красивые, с нежной, гладкой кожей и с длинными пальцами, у Шлемской пальцы были потолще, чем у Наоми, но тем не менее руки очень красивые, и при рукопожатии можно было почувствовать упругость кожи. Таково было мое впечатление. Кольцо с блестящим, большим, как глазное яблоко, камнем на руке японки, конечно, выглядело бы безвкусно; но на руке Шлемской, подчеркивая красоту пальцев, оно казалось изысканным и очень дорогим.

Но больше всего отличала эти руки от рук Наоми их необычайная белизна. Кожа была так прозрачна, что

бледно-голубые жилки казались тонким узором на мраморе. До сих пор, лаская руки Наоми, я часто говорил ей:

— У тебя красивые руки, белые, как у европейской женщины!

Но, увь, теперь я понял, что у Наоми руки совсем другие по сравнению с руками Шлемской, они были попросту смуглые... И еще мое внимание привлекли ногти Шлемской. Они напоминали ракушки и были розовые, блестящие, с заостренными — очевидно, по европейской моде — концами. Я уже говорил, что Наоми была ниже меня всего лишь на один сун, а госпожа Шлемская, хотя и считалась миниатюрной для иностранки, тем не менее была гораздо выше меня, и когда я танцевал с ней, моя голова — может быть, оттого, что Шлемская носила высокие каблуки, — приходилась как раз на уровне ее декольте. Когда впервые она мне сказала: «Walk with me¹», — и, обняв меня, начала показывать, как надо танцевать уанстеп, как я страшно боялся, чтобы моя смуглая физиономия не коснулась ее груди! Мне достаточно было издали любоваться ее гладкой светлой кожей. Держа ее за руку, я все время думал, как бы не причинить ей неприятность прикосновением своих липких пальцев, как бы не обдать ее своим горячим дыханием. Ее грудь отделял от меня лишь легкий шелк, и я боялся задеть его. Когда выбилась прядка ее волос, я вздрогнул.

От ее тела исходил какой-то сладкий аромат. Потом я слышал, как сплетничали о ней студенты из клуба гитаристов: «От нее пахнет потом». Впрочем, говорят, что от европейцев сильно пахнет потом и, чтобы заглушить этот запах, они употребляют духи. Но мне этот едва уловимый запах, смешанный с духами, сладкий и пьянящий, не только не был противен, а наоборот — в нем таилось непонятное очарование; вдыхая его, я грезил о невиданных заморских странах и фантастических садах.

«Это белое тело источает аромат...» — очарованный, мысленно твердил я и жадно вдыхал этот запах.

Почему я, такой неуклюжий, такой чуждый всей этой оживленной атмосфере танцев, прилежно занимался месяц и два, хотя и убеждал себя, будто делаю это ради Наоми? Сознаюсь честно: причиной была госпожа Шлемская. Мне доставляло удовольствие держать ее руку и каждый понедельник и пятницу, целый час, быть рядом с

¹ Здесь: давайте попробуем (англ.).

нею, прикасаться к ее руке. В ее присутствии я забывал о существовании Наоми. В эти часы меня как бы опьяняло крепкое, душистое вино.

— Дзёдзи-сан занимается усердно сверх ожидания! А я думала, вам скоро надоест!

— Разве?

— Вы же говорили, что не сможете научиться танцевать...

Всякий раз, когда об этом заходил разговор, я чувствовал себя виноватым перед Наоми.

— Я думал, что не сумею... А когда попробовал, мне понравилось. К тому же доктор постоянно твердит, что это прекрасная замена гимнастики.

— Ну вот видите! Всегда лучше попробовать на деле, чем рассуждать... — И не подозревая о моей тайне, Наоми громко смеялась.

Итак, после довольно долгого обучения, мы впервые отважились в ту зиму пойти па танцы в кафе «Эльдорадо» на Гиндзе. В те времена в Токио было еще не так много дансингов. За исключением двух лучших отелей, это кафе было единственным, где устраивали танцевальные вечера. Дансинги в отелях посещали преимущественно иностранцы. Там царил строгий этикет и нужно было быть одетым по-европейски, так что для начала мы решили отправиться в кафе «Эльдорадо». Все эти сведения где-то раздобыла Наоми, и именно она предложила начать с «Эльдорадо». Что до меня, то я вообще пока еще не решался танцевать в публичном месте.

— Глупости, Дзёдзи-сан! — сердито сказала Наоми. — Вы никогда не научитесь, если будете танцевать только на уроках. Надо смело танцевать при всех!

— Да, конечно, но вот этой-то смелости мне как раз и не хватает...

— Как хотите. Я пойду без вас... Меня приглашали и Хама-сан, и Матян.

— Матян? Из клуба гитаристов?

— Да, он никогда не учился, а не боится танцевать, всюду бывает и никого не стесняется. В последнее время уже прекрасно танцует. Нельзя стесняться, а то ничего не выйдет... Ну, пойдете? Я буду танцевать с вами, Дзёдзи-сан... Пожалуйста, пойдете... Ну, будьте хорошим мальчиком, Дзёдзи-сан, миленький!

Я уступил ей, и начались длинные совещания о том, что надеть.

— Дзёдзи-сан, какое лучше? — взволнованно спраши-

вала Наоми задолго до того, как мы должны были отправиться. Она притащила все свои наряды и по очереди надевала одно кимоно за другим.

Мне это в конце концов надоело, и, чтобы отделаться, я ответил невпопад:

— Лучше всего вот это...

— Это? А подойдет ли? — спрашивала она, вертясь перед зеркалом. — Нет, оно мне не нравится! — Сбросив его, она отшвырнула его ногой, словно какой-то мусор, и сразу надела другое. Она пересмотрела все свои кимоно и все отвергала. — Дзэдзи-сан, закажите мне новое кимоно! Для танцев ни одно не подходит. Для танцев нужно гораздо более нарядное! А в этих у меня никакого вида не будет. Ну, пожалуйста! Закажите, ведь мне необходим выходной туалет!

В то время моего жалованья уже никак не хватало на все причуды Наоми. Вообще-то я очень аккуратен с деньгами, когда я был холостяком, мои расходы на жизнь были точно распределены, а остаток, пусть незначительный, я всегда откладывал, поэтому, когда у меня появилась Наоми и собственный дом, я мог позволить себе кое-что лишнее. Я был влюблен, но это не мешало мне по-прежнему усердно работать в компании, быть образцовым, трудолюбивым, прилежным служащим. Доверие начальства ко мне росло, постепенно росло и жалованье. Вместе с наградными, которые я получал каждые полгода, я имел в среднем четыреста иен в месяц. Этих денег более чем достаточно, чтобы жить не нуждаясь, но нам никак не хватало. Кажется, я пускаюсь в излишние подробности, но все же упомяну, что на жизнь у нас ежемесячно уходило больше двухсот пятидесяти, а иногда и все триста иен. Из них за наем дома мы платили тридцать пять иен (за четыре года плата повысилась на пятнадцать иен), затем, за вычетом платы за газ, электричество, отопление, стирку европейской одежды, от двухсот до двухсот сорока иен в основном уходило на еду. Да оно и не могло быть иначе — Наоми, раньше довольствовавшаяся одним бифштексом в ресторане, начала привыкать к излишествам. Каждый день она хотела то одного, то другого. Кроме того, она терпеть не могла сама готовить, возиться на кухне и обычно заказывала еду в ближайшем ресторане.

— Ах, как хочется чего-нибудь вкусенького! — таков был обычный припев Наоми, когда она скучала. Раньше она любила исключительно европейские блюда, теперь же вкусы у нее изменились и она часто привередничала:

«Хочу суп из такого-то ресторана...» Или: «Надо попробовать заказать сасими там-то и там-то...»

Я обедал на службе, Наоми была одна, но с каждым днем становилась все расточительней. Вечером, вернувшись домой, я часто видел на кухне пустые деревянные ящички из-под еды, присланные из ресторана, или же европейскую посуду.

— Наоми-тян, ты опять что-то заказала из ресторана? Ведь это очень дорого стоит. И потом ведь ты одна, ты женщина, такая роскошь, пожалуй, немного чересчур, сама посуди!..

Сколько я ей ни говорил, она отвечала:

— Я беру оттого, что остаюсь одна. Неохота самой для себя готовить! — и недовольно отворачивалась.

В конце месяца счета из японского и европейского ресторанов, мясной, рыбной, кондитерской, овощной и фруктовой лавок достигали огромных размеров, так что оставалось лишь удивляться, как можно было съесть такое количество еды.

Крупные суммы уходили еще и на стирку в европейской прачечной. Наоми не желала стирать себе даже носки и все грязное отдавала в стирку. А когда я пытался сделать ей замечание, она обрывала меня на полуслове:

— Я не служанка. — Или же: — Если я буду стирать, у меня загрубеют пальцы и я не смогу играть на рояле. А вы мне что говорили? Что я — ваше сокровище... Как же вы отнесетесь к тому, что у меня огрубеют пальцы?

Вначале Наоми занималась уборкой дома и охотно работала в саду, но это продолжалось недолго — год, полтора от силы. Ладно, стирать она не хотела, но хуже всего было то, что в доме воцарились беспорядок и грязь. Одежда оставалась лежать там, где ее бросили, со стола никогда не убиралось. Везде валялись пустые блюда, чашки, блюдца, кружки для питья, грязное белье и нижние юбки. Стулья и столы, не говоря уж о полах, покрывал толстый слой пыли. Занавеси из индийского шелка стали неузнаваемы, они висели так долго, что пропитались сажей. Сказочный домик, бывший когда-то светлой «клеткой для птички», совершенно изменил прежний облик, в комнатах стоял резкий, неприятный запах. Даже я вышел, наконец, из терпения.

— Я сам все приберу и вычищу, а ты ступай в сад! — говорил я и начинал сметать пыль. Но сколько я ни чистил, пыли набиралось еще больше, я не мог с этим справиться. Делать нечего, несколько раз я даже пытался на-

нять служанок, но все они не выдерживали больше пяти дней. Кроме того, у нас не было помещения для прислуги и мы чувствовали себя неловко в присутствии постороннего человека. Получив прислугу, Наоми ленилась еще больше, не хотела ударить палец о палец и только и знала, что командовать: «Пойди туда, пойдй сюда, принеси то-то и то-то...» Ей даже не приходилось самой ходить за тем или иным блюдом в ресторан. В конечном итоге, держать прислугу оказалось для нас невыгодно, да и мешало «развлекаться», как мы привыкли.

Я хотел откладывать каждый месяц хотя бы по десять — двадцать иен, но расходы Наоми так выросли, что об этом нечего было и думать. Каждый месяц она обязательно покупала себе новое кимоно. Правда, это были дешевые шелка, но шила она не сама, а отдавала портнихе; поэтому кимоно обходилось в пятьдесят — шестьдесят иен. Если ей не нравилось какое-нибудь кимоно, она совала его в стенной шкаф и вовсе не надевала. Любимые кимоно она занашивала буквально до дыр, шкаф ломился от этих старых лохмотьев. А обувь!.. У нее было бесконечное количество японской обуви, как выходной, так и будничной. Она покупала гэта и дзори почти каждые десять дней, и хоть стоили они не так уж дорого, но при таком количестве это превращалось в изрядную сумму.

— Гэта непрактичны, лучше носить туфли, — сказал я ей. Раньше ей очень нравилось ходить в туфлях и в хакама, как настоящей школьнице, но теперь, даже идя на уроки, она не надевала хакама и жеманно говорила:

— И так сразу видно, что я настоящая уроженка Токио. Я могу быть одета как угодно, но обувь должна быть изящной! — подчеркивала она мои провинциальные взгляды. Чуть ли не каждый день она брала у меня три — пять иен на мелкие расходы: концерты, трамвай, учебники, журналы, книги... Кроме того, занятия английским языком и музыкой стоили двадцать пять иен, которые нужно было платить регулярно каждый месяц. При таких расходах нелегко было укладываться в четыреста иен.

Деньги — такая штука, что только начни их тратить, и они исчезнут в одно мгновение. За эти три-четыре года я истратил все свои сбережения и от них уже ничего не осталось.

Я человек, не способный делать долги. Если я сразу не плачу по счету, я не могу чувствовать себя спокойно. При приближении 31 декабря испытываю невыразимые муки.

— При таких тратах нам будет не на что жить... — пытался я урезонить Наоми.

— Ну и что? Разве нельзя сказать, чтобы подождали? — говорила Наоми. — Мы живем здесь четыре года, так почему бы им не подождать, пока мы заплатим? Скажем, что уплатим через полгода, и все охотно подождут. Нехорошо, что Дзёдзи-сан такой робкий и совсем не умеет изворачиваться! — говорила она. Однако все свои покупки предпочитала оплачивать наличными, зато плату по счетам хотела отсрочить, приурочив к выдаче наградных. В то же время она сама не умела отказывать кредиторам и придумывать разные благовидные предлоги.

— Я не люблю. Это мужское дело, — говорила она и, когда наступал конец месяца, неожиданно исчезала из дому.

Могу сказать, что я отдавал Наоми все, что зарабатывал. Моим заветным желанием было сделать Наоми красивой, избавить от нужды, чтобы она спокойно росла и развивалась; поэтому, каких бы трудов мне это ни стоило, я продолжал потворствовать ее прихотям. Значит, нужно было экономить на чем-то другом; к счастью, я ничего не тратил на себя, но все же иногда случалось, что коллеги по работе устраивали встречи, — тогда я старался всяческими способами уклониться, хоть это и было неблагородно. Я экономил на всех своих расходах — на одежде и на еде. Каждый день, садясь в электричку, я брал себе билет третьего класса; у Наоми был сезонный билет во второй класс.

Я тоже не любил стряпать, но кушанья из ресторана стоили дорого, поэтому я сам готовил себе еду. Наоми это не нравилось.

— Мужчина, а возитесь на кухне! Смотреть противно! — говорила она. — Дзёдзи-сан, ну почему вы круглый год носите один и тот же костюм? Надо быть более элегантным! Мне не нравится, что только я одета хорошо, а Дзёдзи-сан — плохо. Я не буду с вами появляться на людях!

Если бы она перестала появляться со мной в обществе, все мое счастье исчезло бы. Пришлось шить себе так называемый элегантный костюм и ездить вместе с Наоми во втором классе. Чтобы не уязвлять тщеславие Наоми, мне тоже пришлось шиковать. Таково было положение дел, я ломал голову, как свести концы с концами, а тут еще нужно было каждый месяц платить сорок иен госпоже Шлемской. Кроме того, нужно было купить костюм для

танцев. Наоми ничего не хотела слышать. Наступил конец месяца, у меня как всегда оказались деньги, и она, ни с чем не считаясь, потребовала, чтобы я ей их отдал.

— Неужели ты не понимаешь, что если я сейчас отдам тебе деньги, завтра нам нечего будет есть!

— Ничего, как-нибудь выкрутимся!

— Да как же?.. Никак не выкрутимся!

— Зачем же тогда брать уроки танцев? Хорошо, с завтрашнего дня мы никуда не будем ходить, — сказала Наоми, злобно посмотрев на меня своими большими, полными слез глазами, и внезапно замолкла.

— Наоми-тян, ты сердисься?.. Наоми-тян!.. Повернись ко мне!.. — в тот вечер, ложась в постель, сказал я, тряся ее за плечо. Она лежала, отвернувшись от меня, и притворялась спящей.

— Слышишь, Наоми-тян! Ну, повернись же на минутку ко мне!.. — Я ласково дотронулся до нее и повернул к себе; она не сопротивлялась и покорно дала себя повернуть, не открывая глаз.

— Что с тобой? Все еще сердисься?

Она молчала.

— Послушай... Э-э... Ну, зачем сердиться? Как-нибудь выкрутимся...

Молчание.

— Открой глаза... Ну, открой же! — с этими словами я пальцами приподнял ее веки с мелко дрожавшими ресницами. Словно спрятанные в раковинах моллюски, показались глаза, не только не сонные, но откровенно сердито смотревшие на меня.

— Хорошо, на эти деньги купи, что хочешь.

— Но ведь если я их истрачу, нам будет трудно...

— Ну и пусть... Что-нибудь придумаем!

— А что?

— Напишу на родину, попрошу прислать денег.

— А пришлют?

— Безусловно, пришлют. Ведь я впервые обращаюсь к родным. Несомненно, мать поймет, что жизнь вдвоем в собственном доме требует больших расходов.

— Но не тяжело ли будет вашей матери? — спросила Наоми с серьезным видом.

На словах Наоми как будто заботилась о моих родных, но в действительности в глубине души уже давно думала: «Мог бы попросить у матери...» Даже я смутно догадывался об этом.

— Нет, это ей не тяжело. Но я принципиально не люблю просить.

— Отчего же у вас вдруг изменились принципы?

— Оттого что, когда ты заплакала, мне стало тебя жаль.

— В самом деле? — грудь ее всколыхнулась, и на губах появилась застенчивая улыбка. — Разве я плакала?

— Еще как! Глаза были полны слез. Ты до сих пор остаешься капризным ребенком. Большая бэби-тян!..

— Мой папа-тян! Любимый папа-тян!

Наоми обвила мою шею руками и быстро покрыла мой лоб, нос, веки, короче говоря, сплошь все лицо отпечатками своих накрашенных губ, словно почтовый работник, когда он поспешно штемпелюет подряд почтовые отправления. Это было так приятно, как будто на меня падали бесчисленные лепестки камелии, тяжелые и в то же время нежные и влажные от росы, — мне казалось, я утонул в этих благоуханных лепестках.

— Что с тобой, Наоми-тян, ты совсем как безумная!

— Да, безумная... Сегодня вечером я, как безумная, люблю Дзедзи-сана!.. Или, может быть, это вам неприятно?

— Неприятно? О нет, я счастлив! До безумия счастлив! Для тебя я готов на любые жертвы!.. О, что это с тобой? Опять слезы?

— Спасибо, папа-сан! Как я вам благодарна! Поэтому невольно заплакала. Понимаете? А что, нельзя?.. Тогда сами вытрите мне глаза...

Наоми достала из-за пазухи бумажный носовой платочек и, не утирая глаз, сунула его мне. Ее полные слез глаза были прямо устремлены на меня. «О, эти влажные, прекрасные глаза! Эти слезы нужно было бы собрать и хранить, превратив в драгоценные кристаллы...» — думал я, сперва утерев платком ей щеки, а потом и вокруг глаз осторожно, чтобы не стряхнуть эти висевшие на ресницах слезы. Мои прикосновения передавались ресницам, и слезы дрожали, принимая форму то выпуклой, то вогнутой линзы, и, наконец, скатились опять, оставив блестящий след на только что вытертых щеках. Я снова вытер ей щеки, погладил все еще влажные веки, а затем, зажав ей платочком носик, сказал:

— А теперь высморкайся!

На следующий день Наоми получила от меня двести иен и отправилась за покупками к Мицукоси, а я в обе-

денный перерыв написал в конторе письмо матери, в котором впервые просил денег:

«Сейчас ужасная дороговизна, за два-три года все невероятно вздорожало. Расходы растут с каждым месяцем, хотя я не позволяю себе никаких излишеств. Жизнь в столице делается невыносимо трудной...» — писал я. Мне было почти страшно при мысли о том, до чего ж я обнаглел, что так лгу своей матери. Но получив через несколько дней ответ, я понял, что мать не только доверяет мне, но и к Наоми питает теплые чувства как к жене своего сына. В письмо был вложен перевод — мать посылала мне на сто иен больше, чем я просил. Приписка гласила: «На кимоно для Наоми».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Танцы в кафе «Эльдорадо» бывали по субботам. Они начинались в половине восьмого. Когда я вернулся в пять часов из конторы, Наоми уже приняла ванну и старательно подкрашивала лицо.

— А Дзэдзи-сан? Смотрите, уже готово! — сказала она, увидев меня в зеркале, и, повернувшись, указала на диван, где лежали срочно заказанные ею у Мицукоси кимоно и оби. Кимоно было из черного крепа с разбросанными по фону золотистыми и зелеными цветами. Оби был расшит серебристыми нитями, изображающими волны, на которых кое-где плыли, как на старинных гравюрах, разукрашенные челны.

— Ну что, хорош мой выбор? — спросила Наоми. Обеими руками она густо втирала жидкие белила в еще не успевшую остыть после горячей ванны кожу на плечах, на затылке, на шее.

Но, по правде сказать, к ее фигуре с полными плечами, широкими бедрами и выпуклой грудью не шел этот легкий, струящийся, как вода, шелк. Одета в муслин или дешевый шелк, Наоми напоминала метиску своей экзотической красотой, но, удивительное дело, чем строже, изысканнее бывала она одета, тем грубее выглядела, напоминала женщин из кабачков Йокохамы, и, странно, в строгих платьях казалась вульгарной. Мне не хотелось отравлять радость Наоми, но я не мог появиться с вызывающе одетой женщиной в трамвае или в танцевальном зале.

Окончив свой туалет, Наоми сказала:

— Дзэдзи-сан, а вы наденете темно-синий костюм.

Она вынула из шкафа мой костюм, вычистила и выгладила его, чего обычно не делала.

— Лучше я надену коричневый...

— Глупости! — сердито, по своему обыкновению, прикрикнула на меня Наоми. — На вечер обязательно надевают синий костюм или фрак... Воротничок должен быть не мягкий, а твердый. Таков этикет, запомните это!

— Неужели?

— Да, как же вы хотите быть джентльменом, а не знаете этикета! Правда, этот синий пиджак грязен, но для европейского костюма это не имеет значения, надо только, чтобы он был хорошо выглажен. Лишь бы не морщил... Я привела его в порядок, так что надевайте. Вам нужно как можно скорей приобрести смокинг, а то я не буду танцевать с вами...

Затем она прочитала мне целую лекцию — галстук должен быть синим или черным и завязан бабочкой, обувь — лакированная, а если ее нет, можно надеть простые черные полуботинки, но только не коричневые, носки непременно шелковые или в крайнем случае — гладкие черные... И где она только все это узнала? Она пеклась не только о своем туалете, но и о каждой детали моего костюма, так что прошло много времени, пока мы, наконец, вышли из дома.

Было больше половины восьмого, когда мы добрались до кафе. Танцы уже начались. Поднимаясь по лестнице, мы услышали грохот джаз-банда.

При входе в зал, откуда убрали стулья, висело объявление: «Special Dance, Admission: Ladies Free, Gentleman 3.00 yen»¹. Плату за билеты получал сидевший у входа бой. Разумеется, поскольку это было кафе, то, несмотря на громкое название «дансхолл», помещение отнюдь не выглядело роскошным. Я заметил, что танцующих пар было не больше десяти, но уже стоял сильный шум. В одном конце помещения были расставлены столы и стулья, наверное, для того, чтобы купившие билет могли отдохнуть и посмотреть на танцующих. Группами стояли незнакомые мне мужчины и женщины, оживленно болтавшие между собой. Когда Наоми вошла, они начали перешептываться, не то злобно, не то презрительно, бросая испытующие взгляды на ее вызывающе яркую фигуру.

¹ Танцевальный вечер. Вход для дам свободный, для мужчин — три иены (англ.).

«Гляди, гляди, вот она...»

«А что это за мужчина?..» — казалось мне, переговариваются они.

Я стоял, съежившись, позади Наоми, ощущая их взгляды не только на ней, но и на себе. В ушах гремел шум оркестра, перед глазами мелькали танцующие пары... Все они выглядели намного элегантнее, чем я. Я думал о том, что я мал ростом, что лицо у меня смуглое, как у простого мужика, и зубы скверны. Я чувствовал, что щеки у меня горят, меня бьет дрожь, и невольно думал, что лучше было бы вовсе не приходиться сюда.

— Я не хочу стоять здесь... Давайте сядем куда-нибудь за столик... — тихонько шепнула мне на ухо Наоми; очевидно, даже она смутилась.

— Но разве можно пробираться через танцоров?

— Конечно...

— А вдруг мы толкнем кого-нибудь?

— Не толкнем... Посмотрите, кто-то уже идет туда! Пошли!..

Я шел по залу позади Наоми, пробираясь через толпу, но ноги у меня дрожали, к тому же пол был скользкий, так что добраться до другого конца было нелегкой задачей. Один раз я поскользнулся и чуть не упал.

— Осторожней!.. — Я запомнил искаженное гневом лицо Наоми.

— Здесь свободно, сядем за этот столик, — сказала она, держась гораздо смелее меня и напуская на себя как можно более спокойный вид. Не обращая внимания на враждебные взгляды, она прошла к столу и села. Ей очень хотелось танцевать, но она не решилась сделать это сразу и, вынув из сумочки зеркальце, стала украдкой поправлять косметику на лице.

— У вас съехал галстук налево, — тихо заметила она, рассматривая танцующих.

— Наоми-тян, смотри, ведь это Хамада-кун.

— Не называйте меня Наоми-тян! Говорите мне «сан»!

И снова лицо Наоми стало недовольным.

— И Хама-сан здесь, и Матян тоже.

— Где?

— Там... — И тотчас же понизив голос, добавила: — Не указывайте пальцем, это неприлично! — Сделав мне выговор, она продолжала: — Тот, который танцует с девушкой в розовом европейском платье, — это Матян.

— А-а, привет! — В это время Матян, усмехаясь, при-

близился к нам вместе со своей дамой. Это была полная женщина в розовом европейском платье с аппетитными, длинными оголенными руками. Ее не столько густые, сколько взбитые черные волосы были острижены до плеч, мелко завиты и перевязаны лентой. Продолговатое лицо с красными щеками, большими глазами, толстыми губами, тонким длинным носом было типично японским — такие лица рисуют на старинных жанровых гравюрах. По-видимому, она считала себя очень несчастной оттого, что была слишком похожа на японку, и изо всех сил старалась походить на европейскую женщину. Внимательно взглянув на нее, я увидел толстый слой белил на ее коже и краску вокруг глаз. Щеки тоже были, без сомнения, накрашены. Да еще эта лента на голове... Увы, как ни жаль, но она выглядела чудовищем.

— Послушай, Наоми-тян, — прошептал я (и сейчас же поправился — «сан»). — Неужели это приличная барышня?!

— Да, вы правы... она похожа на проститутку.

— Ты с ней знакома?

— Нет, но слыхала о ней от Матяна. Видите, у нее лента на лбу. Это для того, чтобы скрыть свои настоящие брови, которые растут у нее чересчур высоко на лбу, а пониже она нарисовала другие. Видите, эти брови у нее фальшивые...

— Однако лицом она не так уж дурна. Она выглядит смешной оттого, что слишком нарядилась.

— Значит, дура!..

К Наоми постепенно вернулась ее самоуверенность, и она сказала своим обычным, не допускающим возражения тоном:

— И лицо у нее вовсе не красивое. По-вашему, она красавица?

— Ну, не красавица, но у нее прямой, правильной формы нос, и сложена она не плохо. Если б она не так сильно красилась, то выглядела бы неплохо.

— Ах, перестаньте! Вовсе нельзя было бы смотреть! Таких лиц кругом сотни! Хоть она и прибегает ко всяким ухищрениям, чтобы стать похожей на иностранку, это ей не удастся. Получается только смешно. Настоящая обезьяна!

— Мне кажется, что я где-то видел женщину, танцующую с Хамада-куном.

— Конечно, видели. Это актриса театра Тэйгэки — Ки-рако Харуно!

— Вот как? Хамада-кун знаком с Кирако?

— Да. Актрисы любят его, потому что он хорошо танцует.

Хамада в светло-коричневом костюме и спортивных ботинках шоколадного цвета выделялся в толпе ловкостью и грацией движений. Я был крайне шокирован, увидев, что щекой он прижимался к щеке партнерши, — или, может быть, таковы правила танца? Маленькая Кирако с пальчиками, словно выточенными из слоновой кости, казалось, вот-вот сломается, если ее крепче обнять, — в жизни была еще красивее, чем па ссепе. В кимоно из роскошного шелка и атласном оби с вышитыми по черному фону золотыми и бледно-зелеными драконами, она выглядела очень миниатюрной. Хамада, как бы вдыхая аромат ее волос, наклонял голову и прижимался ухом к виску Кирако. Она так крепко прижала свой лоб к его щеке, что возле глаза образовались морщинки.

— А вы могли бы так танцевать, Дзэдзи-сан?

— Не знаю, но, по-моему, это нехороший танец!..

— Да, очень вульгарный! — Наоми скорчила брезгливую мину. — Так нельзя танцевать в приличном месте. В Америке их живо попросили бы выйти. Хама-сан хорошо танцует, но так ломается, что противно смотреть!

— Но и женщина тоже хороша...

— Да, конечно, но ведь она актриса, они все такие. Сюда вообще не следовало бы пускать актрис. Если так будет продолжаться, настоящие леди перестанут здесь бывать.

— А в отношении мужских костюмов ты была слишком строга... В синих костюмах почти никого нет. Посмотри, как одет Хамада-кун!

Я заметил это с самого начала. Наоми, любившая показать, что все знает, наслушавшись где-то о так называемом этикете, почти насильно заставила меня надеть синюю пару, но оказалось, что так одеты лишь несколько человек, а в смокинге вообще не было никого. Большинство было в нарядных костюмах разного цвета.

— Да, но Хама-сан ошибается. Полагается надевать синюю пару.

— Ты так говоришь, а вот посмотри на того европейца, он тоже в костюме из букле. Значит, можно надевать что угодно.

— Неправда, люди должны приходиться одетыми как полагается. Это сами японцы виноваты, что европейцы приходят в таких костюмах. И потом такой хороший тан-

пор, как Хама-сан, может себе все позволить, а Дзёдзи-сан должен быть одет прилично!

Музыка на время умолкла. Раздались бурные аплодисменты. Оркестр перестал играть, но энтузиасты, хотевшие продолжать танцы, свистели и топали ногами, требуя продолжения. Снова заиграла музыка, и опять закружился поток танцоров. Так повторялось несколько раз, но, в конце концов, сколько ни кричали, музыка смолкла. Мужчины вместе со своими партнершами вернулись к столикам.

Хамада и Матян, с Кирако и девушкой в розовом, направились к столу, усадили своих дам и, извинившись перед ними, подошли к нам.

— Добрый вечер! Рад вас видеть, — сказал мне Хамада.

— Отчего же ты не танцуешь? — своим обычным фамильярным тоном спросил Матян, стоя позади Наоми и оглядывая сверху вниз ее ослепительный наряд. — Если ты свободна, я приглашаю тебя на следующий танец.

— Нет, Матян плохо танцует!

— Не говори глупости, я хоть и не платил денег за учебу, а танцую отлично! — Он рассмеялся, раздувая ноздри широкого, плоского носа. — Это оттого, что я от природы способный.

— Не зазнавайся! Когда ты танцуешь с этой особой в розовом платье, смотреть тошно!

Странное дело, когда Наоми обращалась к этому чело- веку, она сразу начинала употреблять несвойственные женщинам выражения.

— В самом деле? — Матян втянул голову в плечи и почесал подбородок. Затем бросил взгляд па сидевшую по- одаль за столиком девушку в розовом. — В нахальстве я с кем угодно потягаюсь, но перед ней я пасую. Явиться сюда в европейском платье!

— Настоящая обезьяна!

— Обезьяна?..— Матян расхохотался. — Хорошо сказа- но! И впрямь обезьяна!

— Вот как? Так ведь ты ее сам сюда привел! Нет, пра- во, Матян, надо быть поразборчивей... Она хочет походить на иностранку, но с ее физиономией ничего у нее не вый- дет... Как бы сильно она ни мазалась, — она японка... да, самая обыкновенная японка!

— Одним словом, напрасные усилия, да?

— Да, уж, действительно, напрасные усилия обезья- ны!..

Наоми рассмеялась.

— Кто похож на иностранца, тот и в японском платье будет похож! Короче говоря, как ты, Наоми!

Наоми, горделиво вскинув голову, радостно рассмеялась:

— Да, я похожа на полукровку!

— Кумагай-кун, — сказал Хамада (так он называл Матяна, видимо стесняясь меня и нервничая), — ты, кажется, еще не знаком с Кавай-саном?

— Нет, в лицо-то я его знаю и часто видел, но... — И Матян, названный «Кумагаем», по-прежнему стоя за стулом Наоми, бросил на меня недружелюбный взгляд. — Разрешите представиться: Масатаро Кумагай. Прошу любить и жаловать...

— Его полное имя Масатаро, а уменьшительное — Матян. — Наоми, подняв голову, взглянула на Кумагаю. — Ну же, Матян, представься как следует!

— Нет, нельзя, если я буду много болтать, обнаружатся мои недостатки... Подробности прошу узнать от Наоми-сан, она расскажет...

— Ах, какой нехороший!.. Откуда же мне знать подробности?..

Раздался общий смех.

Мне было неприятно находиться в компании этих людей, но, видя хорошее настроение Наоми, я вынужден был смеяться.

— Хамада-кун, Кумагай-кун, присаживайтесь, — сказал я.

— Дзёдзи-сан, я хочу пить, — сказала Наоми. — закажите какой-нибудь напиток! Хама-сан, что вы хотите? Лимонад?

— Мне все равно...

— А ты, Матян?

— Если вы меня угощаете, я предпочел бы виски с содовой.

— Фу! Терпеть не могу пьяниц. От них пахнет спиртным.

— Ничего. Некоторым женщинам это нравится.

— Например, Обезьяне?

— Что ж делать, если нет никого другого!

Наоми расхохоталась, раскачиваясь всем телом, ничуть не стесняясь окружающих.

— Дзёдзи-сан, позовите боя... Один стакан виски с содовой и три стакана лимонада!.. Впрочем, подождите, подождите! Не надо лимонада, лучше фруктовый коктейль.

— Фруктовый коктейль?

Я был удивлен, откуда Наоми знает этот напиток, о котором я даже не слышал.

— Но ведь коктейль — это, кажется, такое вино?

— Ничего подобного. Дзэдзи-сан не знает. Хама-тян, Матян, послушайте! До чего же он темный, этот человек!

Говоря «этот человек», Наоми слегка ударила меня по плечу указательным пальцем.

— Поэтому с ним так скучно! Он такой неуклюжий, что давеча поскользнулся и чуть-чуть не упал.

— Это оттого, что пол скользкий, — сказал Хамада, как бы оправдывая меня. — В первый раз со всяким может случиться... А когда привыкнешь, так прямо прирастаешь к дощатому полу...

— А я как же? Я ведь тоже еще не привыкла к дощатому полу!

— Вы — другое дело. Наоми-сан храбрая, у вас прямо талант быстро сблизиться с людьми.

— Да и у вас, Хамада-сан, тоже есть такой же талант!

— У меня?!

— Да, сумели же вы мигом подружиться с Кирако Харуно. Как ты считаешь, Матян?

— Верно, верно, — пробормотал Кумагай и, выпятив нижнюю челюсть, закивал в знак согласия. — Хамада, ты ухаживаешь за Кирако?

— Не болтай глупостей. Ничего подобного!

— А все-таки Хама-сан покраснел, значит, что-то есть. Послушайте, Хама-сан, позовите сюда Кирако! Ну, позовите! Познакомьте меня с ней!

— Опять вы смеетесь надо мной? У вас злой язык, не знаю, что и сказать...

— Да нет же, вовсе не смеюсь, позовите! Будет веселее!

— Не позвать ли и мне свою обезьяну?

— Отлично, отлично! — сказала Наоми, оглянувшись на Кумагаю, — Обезьяну тоже позови, Матян! Будем все вместе!

— Хорошо, но только танцы уже начались. Сперва потанцуем...

— Хотя ты и противный, но ничего не поделаешь, идем.

— Молчи, молчи, сама только-только научилась...

— Дзэдзи-сан, я пойду танцевать, а вы смотрите. Потом я буду танцевать с вами.

Наверное, у меня было странное и печальное выражение лица, когда Наоми встала и, взявшись за руки с Кумагаем, смешалась со вновь ожившим потоком.

— Седьмым номером, кажется, фокстрот? — сказал Хамада, оставшись со мною вдвоем и не зная, по-видимому, о чем говориться.

Он достал из кармана программу, посмотрел ее и, неловко поднявшись, пробормотал:

— Простите, я вас оставляю. Я пригласил на этот танец Кирако-сан.

— Пожалуйста, не стесняйтесь!

Я должен был уныло следить за танцующими, в одиночестве сидя за столиком, на котором стояли стакан виски с содовой и три стакана фруктового коктейля, — бой принес их, когда я уже остался один. Вообще-то мне вовсе не хотелось танцевать. Я хотел только посмотреть, как танцует Наоми, поэтому для меня так было даже лучше. Поэтому, облегченно переведя дух, я жадно следил глазами за Наоми, мелькавшей в толпе танцующих.

«Она изумительно танцует!.. Нет, она не осрамится... Значит, она действительно способная девочка!»

Когда она плавно кружилась на кончиках пальцев в своих прелестных маленьких дзори и белых таби, ее длинные нарядные рукава развевались. При каждом шаге легко, как бабочка, взлетала верхняя пола ее кимоно. Бело-снежные пальчики, уцепившиеся за плечо Кумагая тем жестом, каким гейши держат плектр для игры на кото, тяжелый сверкающий пояс, плотно охватывающий талию, лицо, то анфас, то в профиль, открытая сзади шея, похожая на стебель цветка, — все выделяло ее из этой толпы... — в самом деле, национальный японский наряд тоже может поспорить с любым другим! Больше того, если раньше в душе я тревожился, что она одета чересчур ярко, то здесь — может быть, оттого, что остальные женщины, начиная с той, в розовом, тоже были одеты экстравагантно, — наряд Наоми вовсе не казался вульгарным.

Когда танец кончился, она вернулась к столу и сейчас же придвинула к себе стакан с фруктовым коктейлем:

— Уф, жара!.. Ну как, Дзэдзи-сан, видели, как я танцую?

— Да, конечно! Просто невозможно подумать, что это в первый раз!..

— Угу. А теперь уанстеп я буду танцевать с вами, хорошо?.. Уанстеп — легкий танец.

— Где же остальные, Хамада-кун и Кумагай-кун?

— Сейчас придут вместе с Кирако и Обезьяной. Надо заказать еще два фруктовых коктейля!

— Послушай, эта в розовом, кажется, танцевала с европейцем?

— Да... Ну и смех... — Наоми поднесла стакан к пересохшим губам и быстро осушила его. — С этим европейцем она вовсе даже и не знакома. Он неожиданно подошел к ней и пригласил ее танцевать. Это же оскорбительно! Разве можно приглашать, не представившись? Ясно, он принял ее за проститутку!

— Почему же она не отказалась?

— Потому-то я и говорю — смех, да и только!.. Раз он иностранец, эта Обезьяна не решилась ему отказать! Настоящая дура! Прямо срам...

— Да, но почему ты так грубо выражаешься? Кругом люди...

— Ерунда! Я знаю, что говорю. Этой женщине полезно все высказать откровенно, иначе она и нас поставит в неудобное положение. Матян сам смущен и собирается ее отругать!

— Но, может быть, лучше мужчина сделает ей замечание...

— Пойдите, идет Хама-сан вместе с Кирако... Когда подходит леди, надо вставать...

— Позвольте представить, — сказал Хамада, останавливаясь перед нами, как солдат по стойке «смирно». — Госпожа Кирако Харуно...

Обычно в таких случаях я всегда сразу спрашиваю себя: хуже или лучше Наоми данная женщина? Я всегда считал Наоми образцом красоты. Кирако, с грациозными манерами и мягкой улыбкой в уголках рта, была года на два старше Наоми. Маленькая, живая, она выглядела такой же юной, как Наоми, а ее роскошный наряд, пожалуй, даже затмевал кимоно Наоми.

— Очень приятно!.. — скромно произнесла она, грациозно поклонилась, потупив свои большие, умные, лучистые глаза. Недаром она была актрисой, в ее манерах была та мягкость, которой не хватало Наоми, во всех своих речах и поступках часто переходившей границы живости и становившейся грубой. Наоми недоставало мягкости, ее речь звучала резко, вульгарно. Одним словом, по сравнению с Кирако Наоми казалась диким зверьком, а Кирако проявляла изысканность в каждом своем слове и жесте. Она производила впечатление драгоценного произведения искусства, тонкого и глубокого. Когда, сев за стол, она взяла

стакан, я увидел ее руки от ладони до кончиков пальцев. Они были так изящны и тонки, что, казалось, сгибались под тяжестью повисших на них рукавов. Сколько я ни вглядывался и ни сравнивал их лица, гладкость кожи и нежность цвета, я все-таки не мог решить, кто из них лучше. Наоми походила на Мэри Пикфорд, на «yankee girl»¹, а Кирако — на француженку или итальянку, -красавицу, полную неуволимого изящества и благородства! Это были два цветка, но Наоми выросла в поле, а Кирако — в комнате. Ее маленький нос на круглом лице был так прекрасен и так нежен, что казался прозрачным. Можно было подумать, что его выточили руки какого-то совершенного мастера. Но лучше всего были ее зубы — ровная нитка жемчуга, блестящая между альбами, как арбуз, губами.

Я чувствовал себя побежденным, но Наоми была тоже побеждена. После того как появилась Кирако, она утратила обычную самоуверенность, внезапно смолкла, и все общество пришло в уныние. Но Наоми не желала признать свое поражение, к ней скоро вернулось веселое настроение: в самом деле, она же сама просила позвать Кирако!

— Хама-сан, перестаньте молчать, расскажите что-нибудь! Кирако-сан, когда вы познакомились с Хама-саном? — бойко заговорила она.

— Я? — ответила та, подняв свои ясные глаза. — Недавно.

— Я смотрела, как вы танцевали, — вежливо проговорила Наоми, невольно поддаваясь любезной интонации Кирако. — Вы прекрасно танцуете. Наверное, вы долго учились?

— Да, когда-то, уже давно... Но я плохо танцую, я такая неуклюжая...

— Что вы! Вовсе нет! Правда, Хама-сан?

— Конечно, Кирако-сан прекрасно танцует, да это не удивительно, ведь она прошла основательный курс в Театральном училище.

— Оставьте! — смущенно потупилась Кирако.

— И все-таки вы отлично танцуете! Из мужчин лучший танцор Хама-сан, а из женщин — Кирако-сан...

— Что? Вы уже выдаете призы за танцы? Что ни говорите, а из мужчин лучший танцор я! — вмешался в разговор Кумагай, подходя вместе с девушкой в розовом.

Девушка — ее звали Кикику Иноуэ, как представил ее Кумагай, — была дочерью бизнесмена и жила в районе

¹ Американская девушка, настоящая янки (англ.).

Аояма. Ей было лет двадцать пять — двадцать шесть — критический для замужества возраст. Потом я узнал, что два-три года назад она вышла замуж, но недавно разошлась с мужем из-за того, что слишком любила танцы. Вероятно, ей хотелось выставить напоказ свои полные, голые до плеч руки, но сейчас, сидя напротив меня, она выглядела не столько полной, сколько просто-напросто толстой женщиной средних лет. Правда, европейский костюм идет полным женщинам больше, чем худощавым, но вот с японским лицом он никак не вяжется. У нее было совершенно неподходящее к европейскому туалету лицо, все равно как если бы к европейской кукле приставили голову японской. Было бы еще полбеды, если бы она оставила свое лицо таким, каким оно было ей дано от природы, но, стараясь придать ему как можно большее сходство с лицом иностранки, она прибегла ко всякого рода ухищрениям и этим только испортила свою внешность. В самом деле, лента прикрывала настоящие брови, а над глазами были нарисованы фальшивые. Синие тени век, румянец, подчеркнутая помадой линия губ, фальшивая родинка, — почти все на ее лице было искусственным.

— Матян, ты любишь обезьян? — неожиданно спросила Наоми.

— Обезьян?! — Кумагай еле удерживался от смеха. — Что ты еще придумаешь?

— Я держу двух обезьян дома. Если хочешь, я подарю тебе одну. Ну? Ты же любишь обезьян, да?

— Ах, вы держите у себя обезьян? — наивно спросила Кикучо, и Наоми, все более воодушевляясь, весело сверкнула глазами.

— Да, держу. А вы любите обезьян?

— Я всяких животных люблю. И собак, и кошек.

— И обезьян?

— Да, обезьян тоже.

Кумагай, отвернувшись, давился от смеха. Хамада тихо смеялся, уткнувшись в носовой платок. Даже Кирако улыбалась, по-видимому о чем-то догадавшись. Но Кикучо, против ожиданий, оказалась славной девушкой. Она и не подозревала, что над ней смеются.

— Она совсем дура! У нее чердак плохо работает! — не стесняясь даже присутствия Кирако, вульгарным тоном сказала Наоми, когда начался уанстеп и Кумагай с Кикучо ушли в зал танцевать. — А вы как думаете, Кирако-сан? — обратилась она к актрисе.

— О чем?

— Она выглядит совсем обезьяной. Потому-то я и завела разговор об обезьянах.

— О-о!..

— Все над ней смеялись, а она даже не поняла... Вот дуреха!

Кирако бросила на Наоми наполовину изумленный, наполовину презрительный взгляд и проронила только:

— О-о!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Дзэдзи-сан, идемте танцевать уанстеп! — позвала Наоми, и я наконец-то удостоился чести танцевать с ней. Я был рад — при всей моей робости, это была возможность показать свое умение на практике. К тому же партнершей была моя любимая Наоми. Ничего, пусть даже моя неуклюжесть вызовет смех, это, напротив, еще больше оттенит грацию Наоми... Это и было моим заветным желанием. К тому же во мне шевелилось своеобразное честолюбие. Мне хотелось, чтобы все говорили: «Кажется, он муж этой женщины», иными словами, хотелось похвалиться: «Эта моя женщина, глядите все на мое сокровище!» При мысли об этом меня охватывала какая-то праздничная, острая радость, вознаграждавшая меня за все жертвы, принесенные ради Наоми.

Сначала она, по-видимому, не собиралась танцевать со мной сегодня. Решила, наверное, подождать, пока я не стану танцевать лучше. Ну что ж, раз не хочет — не надо, я даже не предлагал ей танцевать, и когда я уже почти смирился с этим, она сама позвала: «Пошли танцевать!» — не могу передать, как это меня обрадовало.

Я помню все вплоть до того момента, когда я поднялся, взял Наоми за руку, дрожа как в лихорадке, сделал первые па уанстепа. Дальше все заволкло туманом — я перестал слышать музыку, перед глазами пошли круги, сердце заколотилось, ноги двигались не в такт. Здесь все было совсем иначе, чем на втором этаже музыкального магазина Ёсимуры, где мы танцевали под звуки граммофона. Я поплыл по волнам людского моря, сам не понимая, куда плыву.

— Дзэдзи-сан, вы дрожите! Спокойней, иначе у вас ничего не получится... — все время шепотом сердито наставляла меня Наоми. — Опять поскользнулись! Вы крутитесь слишком быстро. Потихе! Потихе!

Но от таких ее слов я еще больше растерялся. В тот вечер пол был натерт специально для танцев и был особенно скользким. А я привык на уроках к другому полу, поэтому то и дело оступался.

— Что с вами? Нельзя так поднимать плечи!.. Опустите плечи! Опустите! — шептала Наоми, время от времени вырывая у меня свою руку, которую я сжимал изо всех сил, и со злостью нажимая на мое плечо. — Зачем вы так стискиваете мне руку? Вы прямо вцепились в меня, я двинуться не могу!.. Ах, опять, опять плечи!

При таком обороте дел получалось, будто я танцую специально для того, чтобы выслушивать ее брань, но даже эти ее злые слова не доходили до моего сознания.

— Ну все, Дзэдзи-сан, хватит! — Наоми окончательно рассердилась. Публика требовала продолжения танцев, но она, оставив меня, вернулась к столику.

— Удивительно! Я все еще не могу танцевать с вами! Поупражняйтесь еще немного дома!

Вернулись Хамада с Кирако, пришел Кумагай, пришла Кикико, и за столом снова стало весело, а я, глубоко разочарованный, молча выслушивал насмешки Наоми.

— Послушай, при такой ругани робкий человек тем более танцевать не сумеет! — засмеялся Кумагай. — Ты лучше молчи и давай танцуй с ним.

Слова Кумагай задела мое самолюбие. «Давай танцуй с ним!..» — что это за слова? За кого он меня принимает, этот молокосос?!

— Вы вовсе не так плохо танцуете, как говорит Наоми и , — сказал Хамада. — Многие танцуют гораздо хуже. Послушайте, Кирако-сан, потанцуйте сейчас с Дзэдзи-саном фокстрот.

— С удовольствием... — Кирако с грацией актрисы наклонила голову. Но я торопливо замахал руками.

— Не надо, не надо! — повторял я, окончательно растерявшись.

— Почему не надо? Нельзя так стесняться. Правда, Кирако-сан?

— Конечно... Прошу вас!

— Нет, нет, не надо! Я попрошу вас танцевать со мной, когда я научусь.

— Если вас приглашают, нужно танцевать! — обратилась ко мне Наоми таким тоном, словно это была незаслуженная честь для меня. — Дзэдзи-сан хочет танцевать только со мной, куда это годится... А! Начали фокстрот! Ступайте! Нужно танцевать с разными партнерами!

— Will you dance with me?¹ — послышался чей-то голос в эту минуту, и к Наоми подошел стройный молодой европеец, с напудренным как у женщины лицом, тот самый, который раньше танцевал с Кикику. Он склонился перед Наоми и, улыбаясь, что-то говорил ей скороговоркой — наверное, комплименты. Я понял только слова, сказанные нахальным тоном: «Please, please...»² Наоми вспыхнула как огонь, но, не в силах сердиться, улыбалась. Она хотела отказать ему, но не знала, как поэлегантнее это сделать. Английский язык изменил ей. Европеец принял улыбку Наоми за выражение согласия.

— Yes...³ — сказала она и неуверенно поднялась. Щеки ее пылали.

— Вот так птица! Сама важничала, а перед европейцем раскисла! — засмеялся Кумагай.

— Эти иностранцы такие нахальные, вот и я так же растерялась, — сказала Кикику.

— Ну, так потанцуем? — услышал я голос Кирако.

Должен пояснить, что не только сейчас, но и никогда в прошлом для меня не существовало ни одной женщины, кроме Наоми. Конечно, увидав красавицу, я мог оценить ее красоту. Но мне всегда хотелось лишь издали любоваться ею, на расстоянии. Шлемская была исключением, но мое состояние влюбленности в нее было далеко от обычной страсти. Да и «страстью» то чувство нельзя назвать — это было что-то глубокое, неуловимое, как сон. Она была женщиной далекой, чуждой мне расы. Кроме того, она преподавала танцы, и оттого мне было легче танцевать с ней, чем с ослепительной Кирако, японкой и актрисой театра Тэйгэки.

Но против моих ожиданий, танцевать с Кирако оказалось легко. Тело ее было легким, как пух, и прикосновение рук нежно, как только что распустившиеся лепестки. Она хорошо улавливала все мои движения. Танцуя с таким партнером, как я, она точно следовала за мной, как чуткая лошадь улавливает намерения всадника. С ней я ощутил радость и легкость во всем теле. Ко мне вернулась бодрость, ноги сами выделявали быстрые па, и я кружился легко, будто на карусели. Я испытал невыразимое удовольствие.

¹ Позвольте пригласить вас? (англ.).

² Прошу вас, пожалуйста (англ.).

³ Да.. (англ.).

— О, вы прекрасно танцуете! С вами очень легко танцевать! — кружась, как водяное колесо, услышал я слова Кирако, ее нежный, тихий, ласковый голос.

— Нет, это потому, что со мной танцуете вы!

— О, что в вы!.. — сказала она немного погодя.

— Сегодня очень хороший джаз.

— Да.

— Под плохую музыку всякое желание танцевать пропадает.

Губы Кирако находились рядом с моим виском, волосы прически прикасались к моей щеке так же, как прежде к щеке Хамады, — очевидно, это была ее манера. Ласковое прикосновение ее нежных волос... Еле уловимый шепот... Мне, привыкшему к буйному нраву Наоми, она казалась невообразимо женственной. У меня было такое ощущение, будто любящей рукой у меня вынимают из раны занозу...

— Я хотела ему отказать, но он здесь один, без друзей, и мне стало жаль его, — вернувшись к столу, чуть смущенно оправдывалась Наоми.

Последним, шестнадцатым номером был вальс. Затем оркестр исполнил еще несколько номеров сверх программы. Танцы закончились, когда было уже половина двенадцатого. «Уже поздно, поедem на автомобиле!» — требовала Наоми, но мне удалось уговорить ее, и мы отправились пешком к Симбаси, чтобы успеть на последний поезд. Кумагай и Хамада, вместе с дамами, провожали нас по Гиндзе. В ушах у нас еще звенели звуки джаз-банда. Когда кто-нибудь затягивал мелодию, все тотчас же подхватывали мотив. Я не умею петь, потому все казались мне удивительно музыкальными. Я завидовал их чистым голосам.

— Ля-ля-ля-ля, — громко запела Наоми, шагая в такт. — Хама-сан, что вам нравится больше всего? Мне — «Караван»!

— О, «Караван»! — взвизгнула Кикукко. — Это великолепно!

— А на мой вкус, — сказала Кирако, — «Весна» тоже неплоха. Под нее хорошо танцевать.

— А разве «Чио-чио-сан» плоха? Я больше всего люблю эту мелодию. — И Хамада тотчас же стал насвистывать «Чио-чио-сан».

У входа на платформу мы распрощались. Мы почти не разговаривали, пока стояли в ожидании поезда на холодном зимнем ветру. Мне было почему-то грустно, как бы

вает, когда кончается веселье. Наоми, впрочем, ничего подобного, по-видимому, не чувствовала.

— Сегодня было очень интересно. Пойдем еще раз в ближайшие дни, — пыталась она заговорить со мной, но я все так же уныло молчал.

«Что это? Это и есть то, что называется танцами? Какая бессмыслица этот вечер, куда я так стремился! Этот вечер, купленный ценою стольких слез, ссор с Наоми, обмана матери! Какое гнусное сборище тщеславных, хвастливых и самоуверенных людей! Так зачем же я очутился среди них? Для того, чтобы выставлять напоказ Наоми? В таком случае, я так же тщеславен, как они. А это сокровище, которым я так гордился, как оно выглядело? Ну что, ахнул весь мир при виде Наоми, когда ты появился с ней, как тебе об этом мечталось?..» — не мог не подумав я, насмехаясь над самим собой.

«Слепые змей не боятся!» — эта поговорка как раз про тебя. Да, конечно, для тебя эта женщина — единственное сокровище. Но каким оно оказалось, это сокровище, при ярком освещении?.. «Тщеславное и самовлюбленное сборище!» Сказано хорошо, но разве эта женщина не самый типичный представитель этого сборища? Кто, потвоему, так нахально задирает нос, непрерывно ругал других и, если взглянуть со стороны, выглядел отвратительней всех? Разве одна Кикико так смутилась, что не сумела связать двух слов по-английски и была принята иностранцем за проститутку? А вульгарный язык этой женщины! Пусть она корчит из себя леди, но ведь ее речь оскорбляет слух! Кикико и госпожа Кирако намного воспитаннее ее!..

Печаль, досада, разочарование — трудно поддающиеся описанию тягостные чувства вплоть до самого возвращения домой теснились в тот вечер в моей груди.

В трамвае я нарочно сел напротив Наоми и решил еще раз рассмотреть повнимательней, за что же я так ее люблю. Может быть, нос? Или глаза? — мысленно перебирал я, и, как ни странно, лицо, которое всегда так притягивало меня, показалось мне в тот вечер незначительным и ничтожным. В моей памяти всплыл образ Наоми, служившей в кафе «Алмаз», когда я встретил ее впервые, — насколько лучше была она в те времена! Наивная, простая, застенчивая и меланхоличная девочка несколько не походила на эту грубую, крикливую женщину. Я был влюблен в ту Наоми и только как бы по инерции все еще продолжал любить ее, а ведь с некоторых пор она стала

просто невыносимой. Вот она сидит с высокомерным видом, как будто говорит: «Посмотрите, как я умна». На ее лице как будто написано: «Я первая красавица в мире, я самая элегантная женщина, я похожа на иностранку».

И никто не знает, что она слова по-английски сказать не может и не в состоянии постичь разницу между действительным и страдательным залогом. Но я-то знаю!

Такие ядовитые мысли бродили в моем мозгу.

Она сидела, чуть повернувшись, откинув голову назад. С моего места виднелись темные ноздри ее вздернутого носа, которым она больше всего гордилась (он казался ей похожим на европейский). Эти ноздри, похожие на два маленьких грота, были мне хорошо знакомы. Каждый вечер, обнимая ее, я видел их совсем близко как раз под этим углом, случалось, вытирал ей нос, а иногда наши носы скрещивались, как два клина. Я чувствовал, что этот нос — этот маленький комочек мяса посередине ее лица — часть меня самого, я никак не мог воспринимать его как нечто чужое. Но сейчас, когда я глядел на Наоми, ее нос казался мне отвратительным, гадким. Голодный с жадностью поглощает даже недоброкачественную пищу, но когда он насытится, внезапно ощущает тошноту и понимает, какую гадость он ел, его начинает рвать...

Нечто подобное происходило со мной. При мысли о том, что сегодня вечером я, как всегда, буду спать с ней и видеть ее лицо, этот нос, хотелось сказать: «С меня довольно!» — и к горлу подступала тошнота.

«Это наказание за мой грех перед матерью. Я обманул ее, хотел развлекаться, а к хорошему это не привело», — размышлял я.

Читатели, вы подумаете, что Наоми мне надоела? Нет! Я сам готов был подумать так, потому что до сих пор ни разу не испытывал к ней такого враждебного чувства. Но, когда, вернувшись в Омори, мы остались вдвоем, «сытые» настроения, владевшие мной в трамвае, постепенно куда-то улетучились, и все в Наоми — глаза, нос, руки, и ноги — вновь показалось мне соблазнительным. И снова она стала для меня самой прекрасной и совершенной.

С тех пор я часто ходил с Наоми на танцы. Каждый раз мне бросались в глаза ее недостатки, и на обратном пути у меня обязательно портилось настроение. Но всякий раз это скверное настроение длилось недолго. Любовь к Наоми переходила в ненависть, ненависть — снова в любовь, в течение одного вечера мои чувства менялись, как меняется цвет кошачьих глаз.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Хамада, Кумагай и их друзья, с которыми мы познакомились на танцевальном вечере, стали постоянно бывать в нашем тихом домике в Омори.

Приходили они почти всегда вечером, когда я возвращался со службы, и заводили граммофон. Начинались танцы. Наоми очень любила принимать гостей. У нас не было ни служанки, ни старших, которых нужно было бы стесняться. К тому же ателье было как нельзя лучше приспособлено для танцев, и они веселились, забыв о времени. Сначала они все-таки немного стеснялись и, когда наступал час ужина, хотели уйти, но Наоми силой удерживала их:

— Ну что вы, останьтесь! Почему вы уходите? Поужинайте с нами!

Как правило, в таких случаях мы брали ужин из европейского ресторана «Омори» и всех угощали.

Однажды вечером, в дождливый сезон, Хамада и Кумагай были у нас в гостях и проболтали до начала двенадцатого часа. Лил проливной дождь, с шумом ударяясь о стеклянные окна. Оба все время твердили: «Пошли, пошли», — но все же медлили, не решаясь выйти на улицу.

— Какая ужасная погода! Все равно вам нельзя идти. Оставайтесь ночевать, — вдруг сказала Наоми. — В самом деле, почему бы вам не остаться? Матян, согласен?

— Да мне-то все равно... Если Хамада пойдет домой, я тоже пойду.

— Хама-сан, право, оставайтесь... а? Хама-сан? — сказала Наоми, поглядев на меня. — Да не стесняйтесь вы, Хама-сан! Зимой постелей бы не хватило, но сейчас два лишних человека ничего не значат. К тому же завтра воскресенье, Дзэдзи-сан дома, можно спать сколько угодно.

— В самом деле, оставайтесь... Дождь такой сильный, — вынужден был сказать я.

— Да, оставайтесь! А завтра мы опять придумаем какие-нибудь забавы! Вечером можно будет пойти в Кагэцуэн...

В конце концов оба остались ночевать.

— А как быть с сеткой от москитов? — спросил я. — Сетка у нас одна...

— Раз сетка всего одна, можно улечься всем вместе. Так даже интереснее! Будет весело, — радовалась Наоми, как будто собиралась участвовать в студенческой экскурсии.

Этого я не ожидал. Я полагал, что мы уступим им сетку, а сами с Наоми ляжем спать в ателье на диване, отгоняя москитов дымом сэнка. У меня и в мыслях не было спать вповалку всем четверым в одной комнате.

Но Наоми хотела сделать по-своему, кроме того, нельзя же быть нелюбезным с гостями... И пока я мялся в нерешительности, она, как всегда, быстро решила.

— Ну, я иду стелить постель, а вы трое мне помогайте! — скомандовала она и первая поднялась наверх в комнату.

«Как она положит матрацы?» — думал я.

Сетка была слишком мала для того, чтобы четверо человек могли улечься в ряд. Поэтому три матраца помещались подряд, а четвертый в головах, под прямым углом к остальным.

— Так будет хорошо. Мужчины втроем устроятся рядом, а я буду спать одна в головах, — сказала Наоми.

— Вот так штука! — сказал Кумагай, заглядывая внутрь сетки. — Да здесь как в свинарнике: все вповалку!

— Ну и что, если даже вповалку? Не привередничай!

— Потому что удостоился приюта в вашем почтенном доме?

— Конечно! Все равно сегодня по-настоящему не удастся заснуть.

— Отчего же? Прекрасно засну. И даже буду храпеть! — И он с шумом бухнулся в постель, как был, в кимоно.

— А я все равно не дам тебе заснуть! Хама-сан, не давай Матяну спать! Если он уснет, я начну его щекотать!

— Душно! В такой жаре не уснешь! — Хамада, одетый по-европейски, остался в брюках и рубашке; он лежал на спине, подняв колени, справа от Кумагая, который все время ворочался с боку на бок. Хамада прикрыл лоб рукой, как бы прислушиваясь к шуму дождя. Шелест веера, которым он обмахивался другой рукой, еще усиливал жару.

— При женщине как-то не спится!

— Я не женщина, я мужчина! Ты же сам говорил, что не считаешь меня женщиной! Что, не правда?

В темноте, сквозь сетку, виднелась белая спина Наоми, надевавшей ночной халат.

— Конечно. Говорить-то я говорил, но...

— Значит, если я буду спать поблизости, ты все-таки будешь чувствовать, что я женщина?

— Да, пожалуй...

- Ну, а Матян?
- Мне безразлично. Я тебя за женщину не считаю!
- Если я не женщина, то кто же?
- Ты?.. Тюлениха, вот ты кто!
- Ха-ха-ха... А что лучше, обезьяна или тюлениха?
- От обеих прошу уволить! — сказал Кумагай нарочито сонным голосом.

Я лежал слева от него и молча слушал их болтовню. Меня интересовало, как ляжет Наоми, головой ко мне или к Хамаде. Свою подушку Наоми бросила на неопределенное место. «Не нарочно ли она так небрежно бросила ее, когда стелила постель?» — думал я.

Наоми подошла, переодевшись в розовый халатик.

- Свет гасить? — спросила она.
- Погаси, — послышался голос Кумагая.
- Ну, так я гашу...

— Ай, больно! — в ту же секунду вскрикнул Кумагай. Наоми неожиданно вскочила к нему на грудь и, воспользовавшись его телом, как подставкой, изнутри сетки повернула выключатель. Свет погас, но темно не было. Уличный фонарь на улице светил в окно, и в комнате было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть лицо и одежду каждого. Перешагнув через голову Кумагая, Наоми бросилась на свою постель, в ту же секунду я ощутил дуновение — это распахнулся подол ее кимоно.

— Матян, нет ли у тебя папироски?

По-видимому, Наоми не собиралась спать. Она уселась на подушку, по-мужски скрестив ноги, и смотрела на Кумагая:

- Ну же, повернись-ка сюда!
- Черт побери, я хочу спать!
- У-у-у. Повернись сейчас же ко мне! Повернись, все равно я тебе покоя не дам!
- Ой, больно! Перестань, перестань, слышишь!.. Я ведь живой, будь со мной немного повежливее. Если ты будешь делать из меня подставку, пинать ногами, я не выдержу, хоть и сильный!

Послышался смех Наоми.

Я смотрел на полог сетки и... не знаю точно, но, кажется, Наоми кончиками пальцев ноги несколько раз коснулась головы Кумагая.

— Ох, беда с тобой... — сказал Кумагай и, наконец, перевернулся на другой бок.

- Ты не спишь, Матян? — послышался голос Хамады.
- Не сплю. Меня тут терзают!

— Хама-сан, ты тоже поворачивайся сюда! Слушай меня, не то я стану и тебя мучить!

Хамада покорно повернулся и лег на живот. Затем стало слышно, как Кумагай вынимает спички из рукава своего кимоно.

Вспыхнувшая спичка осветила мое лицо.

— Дзёдзи-сан, вы тоже повернитесь ко мне! Что это вы все время молчите?

Я что-то невнятно пробормотал.

— Что такое? Вы спите?

— Гм... я немного вздремнул...

— Хитрый, притворяешься спящим! Что, угадала? А на душе, верно, кошки скребут, да?

Она прочла мои тайные мысли. Глаза у меня были плотно закрыты, но я почувствовал, что лицо залилось краской.

— Не бойтесь, все в порядке. Я просто шучу, так что можете спать спокойно. Или, если уж очень тревожитесь, можете смотреть, пожалуйста... Совсем не обязательно молча переживать...

— А может, он сам хочет, чтобы ты его мучила? — сказал Кумагай. Он закурил папиросу и глубоко затянулся.

— Нет, зачем его мучить?.. Не стоит! Я и так это делаю каждый день.

— Нечего сказать, приятное угощение! — сказал Хамада. Он сказал это неискренно, из желания угодить мне.

— Дзёдзи-сан, а все-таки, если вы хотите, могу вас помучить.

— О нет! С меня достаточно!

— Тогда повернитесь ко мне! Вы один все время молчите! Это неинтересно!

Я резко повернулся и поднял голову с подушки. Наоми сидела, скрестив ноги, касаясь одной ногой моего носа, другой — носа Хамады, а Кумагай поместил свою голову у нее между колен и неторопливо курил.

— Ну, Дзёдзи-сан, вам нравится такая картина?

— Хм...

— Что означает это «хм»?

— Я удивлен! Настоящий тюлень!

— Да, я тюлениха... Сейчас она отдыхает на льдине. А вы трое, лежащие в ряд, тоже тюлени, только самцы...

Низко, как грозовая туча, над моей головой нависла желтовато-зеленая сетка... Белое лицо, обрамленное длинными черными волосами... Небрежно накинутый халат,

обнажавший местами грудь, руки, икры... Это была одна из ее поз, всегда очаровывавшая меня. Приманка, на которую я кидался, как зверь. В полумраке комнаты я ощущал ее скверную усмешку, дразнящий взгляд, упорно направленный на меня.

— Не притворяйтесь, будто удивлены... Вы перед сном надеваете на меня халат, говорите, что не в силах терпеть... А сегодня терпите, потому что здесь посторонние, да?

— Не болтай глупостей!

— Ха-ха-ха... Не важничайте, сдавайтесь!

— Ой, потише! Отложите эту беседу до завтрашней ночи... — сказал Кумагай.

— Правильно, — поддержал его Хамада.

— Сегодня ночью все должно быть по справедливости! Чтобы никому не было обидно, я дала одну ногу Хама-сану, а другую Дзёдзи-сану!

— А мне что же?

— Матян — самый счастливый! Он ко мне ближе всех! Вон куда голову положил!

— Да, ты в самом выгодном положении!

— Послушай, ты же не собираешься просидеть так всю ночь? А как же, когда ты ляжешь?

— Вот уж не знаю... В чью сторону мне лечь головой? К Хама-сану? Или, может быть, к Дзёдзи-сану?

Наоми, «чтобы никому не было обидно», поворачивала ноги то ко мне, то к Хамаде и долго ворочалась на постели.

— Повернусь к Хамаде, — сказала она.

— А мне все равно, ложись головой куда хочешь!

— Ну нет, так дело не пойдет... Тебе хорошо, Матян, ты в середине, а мне так вовсе не безразлично...

— В самом деле? Хорошо, Хама-кун, тогда я лягу головой к тебе...

— Видишь ли, это тоже как-то неудобно... Ляжешь головой ко мне — Кавай-сан обидится, ляжешь к Кавай-сану — я буду волноваться...

— И потом, эта женщина спит ужасно беспокойно, — опять вмешался Кумагай. — Ночью она начнет пинать ногами того, к кому придутся ноги...

— Это правда, Кавай-сан? Она действительно так беспокойно спит?

— Да, очень...

— Эй, Хамада!

— Ну?

— Он спросонок ей подошвы лижет! — И Кумагай громко захохотал.

— Ну и что ж тут такого? Дзэдзи-сан всегда говорит, что ему больше нравятся мои ножки, чем даже лицо...

— Это своего рода фетишизм!

— Но это правда... Ведь правда же, Дзэдзи-сан? Вы больше всего любите мои ноги, да? — Затем, заявив, что все должно быть «по справедливости», она стала каждые пять минут вертеться на постели, ложась головой то в одну, то в другую сторону.

— А теперь черед Хама-сана! — говорила она, волчком вертясь на постели. Поворачиваясь, она поднимала ноги вверх, так что они упирались в сетку, швыряла подушку на другой конец матраца, вертелась с поистине тюленьей энергией, так что край сетки, из-под которого матрац и без того вылезал чуть ли не наполовину, загнулся, и в сетку налетело множество moskitov.

— О, черт! Кусаются! — Приподнявшись, Кумагай стал бить moskitov. Кто-то наступил на край сетки и повалил подставку. Чтобы поправить подставку и снова повесить сетку, потребовалось немало времени. Когда наконец закончился весь этот переполох, небо на востоке уже посветлело. Шум дождя, свист ветра, храп спящего рядом Кумагая...

Прислушиваясь к этим звукам, я, кажется, все-таки ненадолго задремал, по вскоре снова открыл глаза. В комнате, где было бы тесно спать даже двоим, стоял сладкий запах духов и пота, которым пропахла вся одежда Наоми. А сегодня, когда здесь улеглись еще двое здоровенных мужчин, и вовсе нечем было дышать, было душно и жарко, как бывает перед землетрясением.

Когда Кумагай время от времени поворачивался во сне, меня касалась то его потная рука, то колено. А Наоми? Ее подушка лежала у моей головы, но на подушке покоилась нога, а ступня другой, согнутой в колене, была подсунута под мой матрац, голова склонилась к Хамаде, руки широко раскинуты в стороны. Видно, даже эта вертушка устала и спала теперь крепким сном.

— Наоми-тян... — тихонько прошептал я, прислушиваясь к дыханию спящих, и осторожно погладил ее ногу, засунутую под мой матрац. О, эти ноги, эти сладко спящие прекрасные белоснежные ножки, они мои, да, конечно, мои, я каждый вечер мыл их с мылом в горячей воде с тех самых пор, когда она была еще девочкой. Эта мягкая кожа! За эти годы Наоми так быстро выросла, но ее

ножки остались все такими же маленькими и милыми, как будто совсем не увеличились в размере... Да, вот и большой палец — он все такой же. И мизинец, и округлая пятка, и высокий подъем — все прежнее, такое же, как и раньше. И я невольно прикоснулся к ноге губами...

Когда совсем рассвело, я, как видно, опять уснул, но вскоре меня разбудил громкий смех — Наоми совала мне в нос свернутую бумажную трубочку.

— Ну что, Дзэдзи-сан, проснулись?

— Да... Который час?

— Уже половина одиннадцатого. Но зачем нам вставать? Давайте спать, пока пушка не возвестит полдень!

Дождь прекратился. Воскресное небо было чистым и голубым, но в комнате все еще было душно.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Никто в компании не должен был знать о моей беспутной жизни. Моя жизнь отчетливо разделялась на две части: одну часть я проводил на службе, другую — дома. Конечно, образ Наоми не покидал меня даже во время работы, но это не мешало мне трудиться, да и другие ничего не могли бы заметить. Я думал, что в глазах сослуживцев я по-прежнему «праведник».

Но я ошибался. Однажды пасмурным вечером, в конце дождливого сезона, один из моих сослуживцев, инженер Намикава, перед отъездом в заграничную командировку устроил прощальный банкет в ресторане «Сэйёкэн», в квартале Цукидзи. Как всегда, я присутствовал только по обязанности, не больше. Когда кончился обед, прекратились тосты за десертом и все перешли в курительную, чтобы выпить ликер и поболтать, я поднялся, намереваясь уйти.

— Э, Дзэдзи-сан, присядьте-ка на минутку! — смеясь, окликнул меня С. Он был слегка навеселе. Несколько человек, сидевших на диване, бесцеремонно усадили меня в середину.

— Не удирайте! Вы, кажется, куда-то спешите, не смотря на проливной дождь? — сказал С. Он взглянул на меня и опять рассмеялся.

— Не в том дело, но...

— Так что же, прямо домой? — Это спросил Х.

— Виноват, но я должен проститься, — я живу в Омо-

ри. В такую погоду дороги плохи. Нужно поторопиться, иначе не достать рикшу.

— Хитро расписывает, — со смехом вмешался Т. — Ой, Кавай-кун, нам уже известны ваши проделки!

— О чем это вы?.. — спросил я. Что означало слово «проделки»? Я несколько растерялся.

— Ну и удивился же я! А я-то был уверен, что вы святой! — вытянув шею, произнес К.

— Вот так так! Ну, если уж Кавай-кун стал танцевать, значит, времена изменились!

— Ой, Кавай-кун! — зашептал мне на ухо С. — Кто эта красавица, которую вы сопровождаете? Познакомьте нас с ней.

— Нет. Это совсем не такая женщина! — сказал я.

— Но ведь говорили, что это актриса Тэйгэки... Разве нет? Говорили еще, что она — киноактриса... и как будто бы не японка? Расскажите же нам о ней! Пока не расскажете, не отпустим!

Я сделал недовольное лицо и плотно сжал губы. Не обращая на это внимания, С, вплотную придвинувшись ко мне, стал серьезно расспрашивать:

— Нет, вы скажите, ее можно приглашать только на танцы?

Еще немножко, и я обрутал бы его. Я думал, что никто ничего не замечал, но, к моему удивлению, они не только все пронюхали, но, судя по тону известного гуляки С., не считают нас мужем и женой и думают, что Наоми из тех женщин, которых можно позвать куда угодно...

«Болван! Как ты смеешь спрашивать про мою жену, можно ли ее «приглашать»?» — готов был закричать я при таком оскорблении. Я невольно изменился в лице.

— Эй, Кавай-кун, нет, серьезно, скажите нам! — и, пользуясь моим добродушием и окончательно обнаглев, Х. обернулся к К.: — Слушай, К., от кого ты слышал об этом?

— От студента университета Кэйо.

— И что же?

— Это мой родственник. Он помешан на танцах и бывает на всех танцевальных вечерах. Он знает эту красавицу.

— И как же ее зовут? — вмешался в разговор Т.

— Зовут?.. Э... ээ... странное имя... Наоми... Кажется, Наоми...

— Наоми? Так что же, она метиска? — как бы под-

дразнивая меня, спросил С. — Если метиска, значит, не актриса...

— Во всяком случае, говорят, распутная особа. Напропалую путается со студентами!

У меня дергались губы в какой-то странной, похожей на судорогу, усмешке. Но когда разговор дошел до этих слов, усмешка застыла у меня на губах и я почувствовал, как сощурились мои глаза.

— Гм, гм... Приятная особа! — радостно сказал С. — И что же, у твоего родственника тоже с ней что-то было?

— Нет, этого я не знаю, а вот из его товарищей двое или трое, как говорится, близко знакомы...

— Перестань, перестань! Кавай-кун сердится. Ого, какое у него лицо! — сказал Т., и все, взглянув на меня, рассмеялись.

— Ничего, ничего, пусть немножко посердится! Он хочет по секрету от нас один владеть красавицей. Нехорошо, Кавай-сан!

— Что, Кавай-кун, значит, святые тоже иногда сердятся?

Они смеялись.

Но я и сердиться уже не мог, и даже не слышал, кто что говорил. В ушах звучали только смеющиеся голоса. Я не знал, что делать: как вырваться отсюда, плакать или смеяться... Сказать что-нибудь? Но на меня обрушится новый град насмешек...

Не помня себя я выскочил из курительной комнаты. Я не чуял под собой ног до тех пор, пока не очутился под хлещущим холодным дождем на покрытом лужами проспекте. Я бежал до Гиндзы, как будто кто-то гнался за мной по пятам.

Дойдя до перекрестка на улице Овари, я пошел по направлению к Симбаси. Вернее сказать, ноги сами несли меня, и я видел только, как отражались яркие огни уличных фонарей на мокрых от дождя тротуарах. Несмотря на плохую погоду, было много прохожих. Прикрываясь зонтиком, прошла гейша, пробежала молоденькая девушка во фланелевом платье, прогремел трамвай, промчался автомобиль...

...Наоми распутная? Она путается со студентами?.. Возможно ли это? Возможно, конечно, возможно! Скорее было бы странно не верить этому, взглянув на теперешнюю Наоми. Я уже что-то подозревал и раньше, но ее окружало несколько мужчин, и это меня успокаивало. Наоми — ребенок, живой, резвый ребенок. «Я мужчина», —

часто говорила она. Поэтому она дружит с мужчинами и любит невинно дурачиться с ними. Даже если бы у нее было что-то дурное на уме, она не могла бы это скрыть, ведь кругом столько глаз... Неужели она... Нет, я не должен допускать такой мысли.

Однако верно ли это? Наоми стала дерзкой, но натура у нее благородная. Мне это хорошо известно. Внешне она пренебрегает мной, но она благодарна мне с пятнадцати лет за то, что я воспитал ее. Часто в постели она со слезами на глазах говорила мне, что никогда этого не забудет, и я не сомневался в искренности ее слов. А этот К. и другие... Может быть, они просто дразнят меня? Хорошо, если бы так, но... Кто этот студент, родственник К.? Он говорил, что двое-трое находятся с ней в связи. Двое-трое?... Хамада? Кумагай? Если подозревать кого-нибудь, то больше всего этих двоих. Но в таком случае, почему же они не передрались между собой? Они всегда приходят вдвоем, оба в хороших отношениях с Наоми, вместе веселятся — как же это понять? Может быть, это способ обмануть меня? Усыпить мою бдительность? Наоми хитра. Может быть, мужчины не знают друг о друге? Нет, все что угодно, только не это. Неужели Наоми так низко пала? Если она в связи с обоими, как могла она так бесстыдно вести себя во время нашей совместной ночевки? Но тогда она хуже проститутки...

Я пересек Симбаси и, пройдя по Сибагути, шлепая по грязи, дошел до Канасуги. Дождь не прекращался ни на минуту. Небо не прояснялось. Спереди и сзади, справа и слева сыпались капли дождя, стекая с зонтика, заливая плащ. В тот вечер, когда у нас ночевали Хамада и Кумагай, тоже шел дождь. В тот вечер, когда в кафе «Алмаз» я впервые открыл Наоми свое сердце, была весна, но шел такой же дождь, — думал я, как вдруг во мне зашевелилось внезапное сомнение: может быть, сейчас, пока я, промокнувший до нитки, расхаживаю по улицам, кто-нибудь опять пришел в наш дом в Омори? И там опять устроят совместную ночевку?

Я ясно представил себе безобразную сцену в ателье: Кумагай и Хамада непрерывно перебрасываются шутками, а между ними — Наоми...

«Да! Сейчас не время медлить», — подумал я и быстро побежал к станции Тамати. Одна минута, две, три... Поезд пришел через три минуты. Никогда еще три минуты не тянулись для меня так долго.

Наоми! Наоми! Зачем я покинул тебя сегодня! Ты все-

гда должна быть рядом со мной. Мне показалось, что, увидев Наоми, я успокоюсь. Услышав ее живой голосок, заглянув в ее ясные, невинные глазки, я освобожусь от моих подозрений.

А если она снова захочет устроить совместную ночевку? Или что-нибудь в этом роде? Что я должен тогда сказать? Как мне впредь держаться с ней, с Кумагаем, Хамадой и прочей дрянью? Должен ли я строго следить за ней, даже если это вызовет ее гнев? Хорошо, если она послушно примет такой надзор, а если нет?.. Нет, этого быть не может... Если я скажу ей: «Сегодня вечером мне пришлось выслушать оскорбления, ты должна вести себя осмотрительнее, чтобы люди не могли неправильно истолковать твои поступки...» — она обязательно прислушается к моим словам, ведь дело касается ее чести. Если же отнесется безразлично, не испугается ни сплетен, ни пятна на собственной репутации, значит, виновна... Но если это так...

Я старался как можно хладнокровнее, спокойнее размышлять о наихудшем варианте. Способен ли я простить ее, если не останется сомнений, что она меня обманывает? Честно говоря, я уже не мог бы прожить без нее ни одного дня. Я сам наполовину виноват в том, что произошло, и если она искренно раскается и попросит прощения, я не буду ее упрекать. Но меня волновало то, что она упряма и дерзка, в особенности со мной. Захочет ли она повиниться, даже перед лицом неоспоримых улик? И даже если повинится, это ничего не изменит; не считаясь со мной, она снова и снова будет совершать те же проступки... И если нам придется расстаться, потому что оба упрямы? Этого я боялся больше всего. По правде говоря, это тревожило меня больше, чем ее добродетель. Даже если я буду следить за ней, я должен заранее все для себя решить. Если она скажет: «В таком случае я ухожу», смогу ли я ответить: «Можешь идти...»?

Но я знал также, Наоми, живя со мной, привыкла к комфорту, и, если она бросит меня, куда ей идти, кроме убогого дома па улице Сэндзоку? Никто не будет баловать ее, разве что она и впрямь сделается проституткой? Для ее тщеславия, которое я развил в ней, это будет невыносимо.

Может быть, ее приютит Кумагай или Хамада, но она и сама должна понимать, что у студентов она не получит того комфорта и роскоши, к которым я ее приучил. Пожалуй, хорошо, что я ее так избаловал...

Да, конечно, когда она как-то раз порвала английскую тетрадь и я в сердцах крикнул: «Убирайся вон!» она сда-лась! Как я страдал бы, если б она тогда ушла. Впрочем, она пострадала бы еще больше. Все ее благополучие дер-жится на мне. Если она меня оставит — все, конец, она снова опустится на дно. И этого она боится больше всего на свете. Ей уже девятнадцать. Теперь она должна луч-ше разбираться во всем и, конечно, сможет правильно оценить ситуацию. Она может угрожать сколько угодно, но уйти не решится. Впрочем, она должна отлично пони-мать, что такими пустыми угрозами меня не испугаешь...

Пока я ехал в электричке, я понемногу успокоился. «Что бы ни случилось, нам с Наоми нет резона расста-ваться, это уж точно», — думал я.

Когда я подошел к дому, против всех моих мрачных ожиданий в ателье было темно. Очевидно, никаких гостей не было. Только в маленькой комнате наверху светился огонь.

«Ага, она дома одна. — У меня отлегло от сердца. — Вот и хорошо...» — невольно подумал я.

Я открыл входную дверь своим ключом и, войдя в ате-лье, быстро зажег свет. В комнате, как всегда, царил бес-порядок, но следов гостей не было.

— Наоми-тян... Здравствуй... Вот и я... — сказал я, но ответа не последовало.

Я поднялся по лестнице. Наоми, одна, спокойно спала в постели. В этом не было ничего странного, так как и днем и вечером, когда ей становилось скучно, она забира-лась в постель, читала романы и часто с книгой засыпала. Взглянув на ее невинно спокойное лицо, я окончательно успокоился.

«Эта женщина меня обманывает? Возможно ли?... Женщина, которая сейчас так безмятежно спит...»

Тихонько, чтобы не разбудить ее, я присел у изголовья постели и, затаив дыхание, некоторое время молча смот-рел на нее.

В старинной сказке рассказывается о том, как лиса, обратившись в прекрасную девушку, обманула мужчину, но во сне обнаружила свою лисью натуру и обман рас-крылся. Мне вспомнилась эта сказка, которую я слышал в детстве. Наоми всегда спала беспокойно и сейчас лежала нагая. Согнутая в локте рука покоилась на груди, другая была вытянута вдоль тела. Голова была повернута в сто-рону и почти свешивалась с подушки. Тут же валялась книга, которую она читала перед с н о м , — повесть «Потом-

ки Каина» Такэо Арисимы, самого замечательного, по мнению Наоми, писателя в современной литературе. Мои глаза перебегали с белых листков бумаги на белую кожу ее груди.

Кожа у Наоми имела свойство менять цвет, в иные дни она казалась слегка желтоватой, но когда она крепко спала или только-только вставала с постели, вот тогда ее кожа была особенно хороша. Обычно ночь ассоциируется с темнотой, я же, думая о ночи, всегда вспоминал белизну кожи Наоми. Это была не та яркая, прозрачная белизна, какую можно увидеть при свете дня, пет. Оттененная грязным, запачканным одеялом, как бы закутанная в лохмотья, эта белизна влекла меня неодолимо. Казалось, грудь Наоми при свете затененной абажуром лампы всплывает откуда-то из голубых, прозрачных глубин. Ее лицо, такое живое и веселое днем, выглядело сейчас таинственным и печальным, как будто она выпила какой-то горький напиток. Я очень любил смотреть на ее лицо, когда она спала.

— Ты совсем другая, когда спишь. Как будто ты видишь страшные сны, — говорил я ей и не раз думал, что в смертный час ее лицо тоже станет прекрасным. Пусть она лиса, но если ее истинный облик так прекрасен, я буду даже рад, если она меня околдует...

Так сидел я около тридцати минут, молча. Рука Наоми, лежавшая в полосе света, была повернута ладонью кверху. Я осторожно взял эту руку, бессильную, как увядший цветок, и ясно почувствовал биение ее пульса.

Вдруг она открыла глаза. Печальное выражение еще не сошло с ее лица.

— Когда вы вернулись?

— Недавно...

— Отчего же вы не разбудили меня?

— Я звал тебя, но ты не проснулась, и я не хотел тебя будить.

— Вы здесь сидели? Что вы делали? Смотрели, как я сплю?

— Да.

— Смешной человек! — Она весело рассмеялась и положила руку мне на колено. — Я сегодня весь вечер одна, было так скучно! Думала, что кто-нибудь зайдет, но никто не пришел... Ложитесь спать, папа-сан...

— Пожалуй, но...

— Спать, спать... Я спала голая, и меня искушали москиты. Вот, смотрите... Почешите-ка вот здесь... Вот спаси-

бо! Так чешется, так чешется, прямо терпенья нет... А теперь, прошу вас, достаньте, пожалуйста, мой ночной халатик и наденьте на меня, хорошо?

Принеся халат, я обхватил и приподнял Наоми. Когда я надевал ей халатик, она нарочно повисла у меня на руках, как мертвая.

— Повесьте сетку, и скорее, скорее спать, папа-сан!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я не стану подробно описывать наш разговор в постели в ту ночь. Когда Наоми услышала от меня о том, что произошло в «Сэйёкэне», она грубо выругала их:

— Вот негодяи, подлецы: говорят, ни черта не зная! — а потом рассмеялась.

...Одним словом, салонные танцы еще не получили всеобщего признания, и если мужчина танцует с женщиной и держит ее за руку, сразу же начинают болтать, что между ними есть какая-то порочная связь... Газеты, настроенные консервативно, тоже всячески поносят танцы и пишут всякие гадости, поэтому людям кажется, что танцы — это что-то плохое... Мы должны быть готовы к сплетням такого рода...

— Теперь я не буду ходить на танцы ни с кем, кроме Дзёдзи-сана, хорошо? — заключила она.

На танцы она будет ходить со мной, гулять — тоже. Если меня нет дома, никаких гостей она принимать не будет. Если кто придет, она скажет: «Сегодня я одна», — каждый постесняется и уйдет. Среди ее друзей нет невоспитанных людей!.. — говорила Наоми.

— Какой бы я ни была взбалмошной, но уж хорошее от плохого отличить могу. Если бы я хотела, я могла бы обмануть вас, но я этого никогда не сделаю. Все у нас будет открыто и честно. Я ничего от вас не скрываю, — продолжала она.

— Мне это отлично известно. Я хочу только сказать, что, когда о тебе плохо говорят, мне неприятно.

— Как же вы намерены теперь поступить? Бросить танцы?

— Можно не бросать, но надо вести себя осмотрительней, чтобы не создавалось ложное впечатление.

— А разве я веду себя неосмотрительно?

— Нет, поэтому я тебя ни в чем и не подозреваю.

— Главное, доверяйте мне, тогда не страшны ника-

кие сплетни. У меня злой язык, поэтому все меня ненавидят!

Она говорила, что ей важнее всего, чтобы я верил ей, любил ее, что она не такая, как все женщины, и поэтому вполне закономерно, что она дружит с мужчинами, мужчины гораздо проще, лучше, оттого она и предпочитает мужскую дружбу, но при этом не допускает и мысли о чем-то грязном, о какой-то любви или страсти...

И впадая в сентиментальный и нежный тон, твердила заученные слова, что не забыла моих забот о ней с пятнадцати лет и что я для нее и отец, и муж. При этом она горько плакала, а я вытирал ей слезы, и на меня сыпался непрерывный град поцелуев.

Мы долго так разговаривали, и странно, случайно или умышленно, но она ни разу не произнесла имени Кумагая или Хамады. А я, хотя мне и хотелось посмотреть на ее реакцию при упоминании о них, тоже не решился заговорить о них. Конечно, я верил не всему, что она говорила. Однако, если б она заметила, что я в чем-то сомневаюсь, еще не известно, что бы из этого получилось. Но и к чему разбираться в прошлом, лучше последить за ней в будущем... Несмотря на мое первоначальное решение быть с ней потверже, я в конце концов опять занял примиренческую позицию. Слезы вперемешку с поцелуями сделали свое дело, и я отбросил прочь терзавшие меня сомнения.

После этого случая я стал украдкой наблюдать за Наоми. Постепенно, так, чтобы это не бросалось в глаза, она изменила свое поведение. На танцы она ходила, но не так часто, как раньше, и если ходила, то танцевала немного и вовремя уходила домой. Гости также приходили не слишком часто. Когда я возвращался со службы, она всегда была дома одна, читала либо вязала, слушала музыку либо возилась с цветами.

— Ты была все время одна?

— Да, одна. Никто не приходил.

— Скучала, наверное?

— Нет, ведь я никого и не ждала. Я люблю не только шум, но и тишину. В детстве у меня совсем не было подруг. Я всегда играла одна.

— Да, в самом деле, в кафе «Алмаз» ты мало разговаривала со своими товарками, казалась даже немного грустной...

— Да, я выгляжу шалуньей, но на самом деле я грустная... Это плохо?

— Быть серьезной и тихой очень хорошо, но грустной — ни к чему.

— Но все же лучше, чем так шуметь и возиться, как недавно, да?

— В тысячу раз лучше!

— Я стала пайнкой, да? — И, вдруг обвив мою шею руками, она принималась так целовать меня, что у меня темнело в глазах.

— Мы давно не ходили танцевать. Не пойти ли нам сегодня вечером? — теперь уже я первый звал ее, но она равнодушно отвечала:

— Мне все равно. Если Дзэдзи-сан хочет... Давайте лучше пойдем в кино. Сегодня меня что-то не тянет танцевать...

И снова, как четыре года назад, у нас началась радостная, простая жизнь. По вечерам мы отправлялись в Асакусу, заглядывали в кино, на обратном пути заходили куда-нибудь в ресторан и за ужином говорили о прошлом, предаваясь дорогим сердцу воспоминаниям.

— Ты была тогда так мала, что смотрела на экран, сидя на перилах и держась за мое плечо, — говорил я.

— Когда Дзэдзи-сан в первый раз пришел в кафе, он все время молчал и только издали сердито поглядывал на меня, мне даже жутко было... — вспоминала Наоми. — В последнее время вы совсем перестали меня купать. А помните: раньше вы сажали меня в ванну и мыли?

— Да, да, это было когда-то...

— Помните? А сейчас вы не стали бы меня мыть? Теперь я уже выросла, и вам это не доставит удовольствия?

— Нет, почему же... Я и сейчас охотно бы тебя мыл, но, по правде говоря, как-то стесняюсь.

— Да? Ну тогда мойте меня! Я снова буду бэби-сан...

На мое счастье, вскоре после этого разговора наступило жаркое время. Я вытащил из кладовой заброшенную европейскую ванну, установил ее в ателье и опять стал мыть Наоми. «Большая бэби-сан», — когда-то говорил я при этом, но за эти четыре года Наоми прекрасно развилась и стала совсем взрослой. Роскошные распущенные волосы, подобные грозovým облакам... Ямочки на сгибах суставов... Плечи еще более округлились, грудь и бедра приобрели упругость, а стройные ноги, кажется, стали еще длиннее...

— Дзэдзи-сан, я выросла?

— Выросла. Теперь ты, пожалуй, одного роста со мной.

— Погодите, скоро я буду выше вас! Недавно я взвешивалась — оказалось, мой вес — четырнадцать канов...

— Неужели? А мой вес — без малого шестнадцать.

— Выходит, Дзэдзи-сан тяжелее меня? Такой карлик?

— Конечно, каким бы карликом мужчина ни был, скелет у него всегда крепче и тяжелее.

— А вы решились бы теперь опять покатать меня на спине, как лошадь? Помните, когда-то мы часто так забавлялись? Я взбиралась к вам на спину, брала полотенце вместо уздечки, а вы катали меня по комнате?

— Тогда ты была легкой. В тебе не было и двенадцати канов.

— А теперь я, пожалуй, задавлю вас!

— Ну уж, и «задавлю»! За кого ты меня принимаешь? Ну-ка, садись, посмотрим!..

После этого шутового разговора мы опять стали, как прежде, играть в лошадки. Я опустился на четвереньки, и Наоми уселась мне на спину всей тяжестью своих четырнадцати канов. Она сделала из полотенца поводья и, засунув их мне в рот, понукала: «Ах, какая маленькая кляча! Держаться крепче! Но! Но!..» — и, весело прищипывая мой живот ногами, стегала полотенцем. Выбываясь из сил, обливаясь потом, я метался по комнате, изо всех сил стараясь, чтобы она не прижала меня к полу. Она не прекращала этой забавы, пока я окончательно не выбывался из сил.

Наступил август.

— Дзэдзи-сан, не поехать ли нам в этом году в Камакуру? — сказала Наоми. — Давно мы там не были, хочется опять побывать там...

— В самом деле, с тех пор мы туда не ездили...

— Да. Поэтому давайте в этом году поедем в Камакуру! Ведь это такое памятное для нас место!

Слова Наоми доставили мне невыразимую радость. Да, наша поездка в Камакуру была настоящим свадебным путешествием! Каждый год, когда наступала жара, мы куда-нибудь уезжали, но совершенно забыли о Камакюре. Как прекрасно, что Наоми вспомнила прошлое!

— Поедем, непременно поедем! — сразу же согласился я.

Я взял на службе отпуск на десять дней, и, заперев наш дом в Омори, мы отправились в начале месяца в Камакуру. Там мы сняли отдельный флигель в Хасэ у садовника, по дороге к императорской вилле.

Сначала я намеревался остановиться в каком-нибудь уважаемом отеле, но, вопреки моим планам, мы сняли домик. Наоми сказала, что госпожа Сугидзаки рассказала ей об этом домике, очень удобном во всех отношениях. По словам Наоми, жить в отеле расточительно и не очень удобно, лучше снять отдельный флигелек. К счастью, родственник госпожи Сугидзаки, служащий Нефтяной компании, снял один дом, но не живет там и готов уступить его нам на лето.

— Не правда ли, как удачно все получилось? Он уплатил за июнь, июль и август по контракту пятьсот иен. Жил он там весь июль, но Камакура ему надоела, и он с радостью сдаст кому-нибудь этот дом. Ну, а благодаря посредничеству госпожи Сугидзаки, он вообще не хочет брать с нас никаких денег, — говорила Наоми. — Давайте поселимся в этом флигеле. Как удачно все вышло! Не придется тратить большие деньги. И можно будет прожить там целый месяц! — сказала она.

— Но я не могу позволить себе так долго отдыхать, у меня служба...

— Но ведь в Камакуру можно каждый день приезжать на пароходе. Не так ли?

— Ты еще не знаешь, понравится ли тебе этот дом.

— Завтра я поеду посмотреть. А если понравится, можно снять его?

— Можно, но бесплатно там жить неудобно. Надо договориться о плате.

— Это верно. Дзэдзи-сану некогда, поэтому я сама схожу к госпоже Сугидзаки и попрошу, чтобы с нас взяли деньги. Придется заплатить, наверное, иен сто или полтора...

Наоми энергично взялась за дело, проделала все сама, денежный вопрос тоже уладила — заплатила сто иен.

Вопреки моим опасениям, дом оказался лучше, чем я ожидал. Он был одноэтажный и стоял в стороне от хозяйского. Кроме двух комнат, одной — в восемь, другой в четыре циновки, имелась еще прихожая, ванная и кухня. На улицу можно было попасть прямо из сада, не встречаясь ни с кем из семьи садовника.

Впервые за долгое время я уселся на новые чисто японские циновки и, скрестив ноги, расположился возле хибати.

— Ах, как хорошо! Действительно отдыхаешь!

— Правда, хороший дом? Где лучше, здесь или в Омори?

— Здесь гораздо приятнее. Я мог бы прожить здесь сколько угодно!

— Вот видите, поэтому я и хотела снять этот дом! — радостно говорила Наоми.

Однажды (это было, кажется, на третий день нашего пребывания в Камакуре) мы пошли днем на пляж, плавали целый час, а потом лежали на пляже.

— Наоми-сан! — неожиданно раздался чей-то голос над нашими головами. Это был Кумагай. Казалось, он только что вышел из воды. Мокрый купальный костюм плотно облегал его тело, с волосатых ног стекала вода.

— А, Матян? Когда ты приехал?

— Сегодня. Я сразу подумал, что это ты. Так и есть... Эй! — подняв руку, закричал он в сторону моря.

— Эге-гей! — отозвался чей-то голос.

— Кто это? Кто там плавает?

— Хамада с приятелями — Накамурой и Сэки. Мы приехали четвером.

— О, шумная компания! В какой гостинице вы остановились?

— В гостинице?.. У нас в карманах пусто. Жара невыносимая, вот мы и приехали на денек...

Пока Наоми и Кумагай болтали, подошел Хамада.

— А, давно не виделись! Простите, долго не посещал вас... Что случилось, Кавай-сан? В последнее время вас совсем не видно на танцах. Бросили?

— Да нет, не в том дело... Наоми говорит, что ей надоели танцы.

— Да? Подозрительно! Давно вы здесь?

— Всего несколько дней... Сняли отдельный флигель у садовника в Х а с э, — ответил я.

— Место прекрасное! Благодаря госпоже Сугидзакки мы сняли дом на весь месяц, — сказала Наоми.

— Отлично сделали, — заметил Кумагай.

— Значит, поживете здесь некоторое время? — спросил Хамада. — В Камакуре тоже устраивают танцы. Сегодня, например, будут танцы в курортном отеле. Если бы у меня была партнерша, я бы пошел.

— А я не пойду, — коротко ответила Наоми. — В такую жару не до танцев. Станет прохладнее, вот тогда...

— Конечно, танцы — не лучшее развлечение, — сказал Хамада и обратился к Кумагаю: — Ну что, Матян? Пойдем, поплаваем еще, что ли?

— Нет, я устал. Пойду немного отдохну и отправлюсь в Токио.

— Куда это ты пойдешь? — спросила Наоми у Кумагаи.

— Да тут у дядюшки Сэки есть дача в Огигаяцу. Он всех нас туда тянет, обещает угостить ужином, но это как-то неудобно, поужинаю в Токио...

— Неужели ты так стесняешься?

— Ужасно! Придет служанка, начнет кланяться... Тут и угощение в горло не полезет. Пошли, Хамада! Поедем в Токио, там чего-нибудь перекусим. — Говоря это, Кумагай тем не менее не поднимался, а вытянул ноги и, зачерпнув горсть песка, начал сыпать его себе на колени.

Все трое — Наоми, Хамада и Кумагай — молчали.

— Может быть, поужинаете с нами? Раз уж приехали... — сказал я. Не предложить им ужин было неудобно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Давно мы не ужинали так шумно. Хамада, Кумагай и присоединившиеся к нам Накамура и Сэки уселись вокруг чайного стола и болтали до десяти часов вечера. Сначала мне не нравилась эта публика, но потом их жизнерадостность и безудержное молодое веселье увлекли меня. Наоми вела себя безусловно: была одинаково внимательна ко всем, сдержанна и в меру весела.

— Сегодня было очень весело. Совсем неплохо изредка встречаться с нами, — сказал я Наоми, когда мы возвращались летней ночью под руку с вокзала, проводив уехавших последним поездом гостей. Вечер был звездный, с моря веял прохладный ветерок.

— В самом деле? — спросила Наоми, как бы обрадованная моим хорошим настроением. И добавила, немного подумав: — Если поближе узнать их, они вовсе не такие уж плохие...

— Ты права. Совсем неплохие...

— Только не приедут ли они опять? Сэки-сан говорил, что у его дяди здесь дача, так что он намерен часто приезжать сюда с приятелями.

— Что ж! Не станут же они всякий раз являться к нам всей гурьбой.

— Если изредка, я не против, но если часто — это нас стеснит. В следующий раз не надо устраивать им слишком радушный прием. Без угощения они живо отправятся во свояси.

— Но не станешь же ты их выпроваживать...

— Ничего особенного! Скажу: «Вы мешаете, отправляйтесь-ка по домам!» Я их живо выпровожу.

— Гм, Кумагай будет над тобой насмехаться.

— Ну и пусть! По-моему, гораздо хуже лезть и мешать людям, когда они специально приехали в Камакуру отдохнуть!

Мы шли под сенью темных сосен. Наоми неожиданно остановилась.

— Дзэдзи-сан!

Я понял смысл этого молящего, тихого, сладостного голоса. Без слов я обвинил ее тело обеими руками. Я ощутил крепкий и горький вкус ее губ, как будто пил по каплям морскую воду.

Быстро промелькнули десять дней отпуска. Мы по-прежнему были счастливы. Сэки и вся компания сказали, что будут приезжать часто, но за всю неделю зашли всего один раз и больше не появлялись.

Я каждый день стал ездить на службу, мне нужно было спешно закончить кое-какие дела, и я возвращался поздно. Обычно я приезжал в семь часов и ужинал вместе с Наоми, но теперь я оставался в конторе до девяти и возвращался не раньше одиннадцати. Эта работа должна была занять дней пять-шесть.

Однажды мне предстояло остаться в конторе до девяти часов, но, быстро справившись с делами, я уже около восьми вышел на улицу. Как всегда, сел в трамвай на улице Ои, доехал до Йокохамы и пересел на пароход. Когда я приехал в Камакуру, не было еще десяти часов. Каждый вечер — впрочем, всего еще только три или четыре р а з а , — задержавшись на службе, я торопился поскорее увидеть Наоми и поужинать с ней, поэтому нанял рикшу и поехал по дороге к императорской вилле.

Я устал от конторской работы в жаркий летний день и от тряски в трамвае и на пароходе, и мне было невыразимо приятно прикосновение влажного, морского воздуха. После захода солнца наступили сумерки. Я чувствовал нежный запах, источаемый увлажненными росой соснами, травой, цветами. Кое-где поблескивали лужи, но песчаная почва сейчас же высыхала и покрывалась пылью. Шаги бегущего рикши звучали мягко, как будто он ступал по бархату. Изредка из-за ограды дач доносились звуки граммофона. Мелькали одинокие тени в светлых дачных кимоно. Я чувствовал, что обрел убежище от жары.

Отпустив рикшу у калитки, я направился через сад во флигель. Я ожидал, что Наоми, услышав мои шаги, сразу же раздвинет сёдзи и выйдет мне навстречу. Внутри горел свет, но Наоми не появлялась.

— Наоми-тян... — несколько раз позвал я, но ответа не последовало.

Я раздвинул сёдзи. Комната была пуста. Купальный костюм, шаль и летние платья, снятые с крючков на стене и вынутые из шкафа, чайная посуда, пепельницы, подушки для сидения — все это в страшном беспорядке было разбросано по комнате. Я ощутил какую-то особую тишину, которая встречает вернувшегося после долгого отсутствия хозяина.

«Ушла куда-нибудь... И притом уже часа два-три назад...»

Я заглянул в уборную и в ванную, на всякий случай зашел на кухню и зажег свет у раковины. Мне бросились в глаза остатки европейских блюд из ресторана и пустые пивные бутылки, очевидно, кто-то основательно здесь пировал. В самом деле, пепельница в комнате была полна окурков... Не иначе как нагрянула та компания...

Я побежал к дому садовника.

— Наоми, похоже, нет дома... Вы не знаете, где она? — спросил я у хозяйки.

— Ах, барышня?..

Хозяйка называла Наоми «барышней». Наоми была замужней женщиной, но хотела, чтобы все считали ее просто сожительницей или невестой. Если ее не называли «барышней», она сердилась.

— Барышня вернулась вечером. А после ужина опять изволила уйти вместе со всеми...

— Вместе со всеми?

— С этими... — хозяйка запнулась. — С этим молодым баринном Кумагаем и еще с кем-то. Все изволили уйти вместе.

Мне показалось странным, что хозяйка не только знает имя Кумагая, но и называет его «молодым баринном», но для расспросов не было времени.

— Вы говорите, вернулась вечером? Значит, днем она тоже была с ними?

— После обеда она одна изволила уйти купаться, а потом вернулась вместе с молодым баринном Кумагаем...

— Вдвоем с Кумагай-куном?

— Да...

До этой минуты я был спокоен, но в выражении лица

и в словах хозяйки сквозило какое-то замешательство, и это меня встревожило. Хотя мысль, что хозяйка прочтет мои мысли, была очень неприятна, я невольно заговорил еще более взволнованно:

— Как, значит, остальных не было, они были только вдвоем?

— Да, только вдвоем. Они сказали, что сегодня днем в отеле танцы, и ушли туда...

— А после?

— А вечером вернулись всей компанией.

— Ужинали дома?

— Да... Э-э... Очень веселились... — Заметив выражение моего лица, хозяйка смущенно улыбнулась.

— В котором часу они ушли?! После ужина?

— Пожалуй, было уже восемь часов, когда они изволили уйти...

— Значит, прошло уже два часа? — бессознательно вырвалось у меня. — Быть может, они в отеле? Вы ничего не слышали, хозяйка?

— Точно не знаю, но, может быть, они на даче?..

В самом деле, я вспомнил, что в Огигаяцу находится дача дяди Сэки-сана.

— А-а, значит, они ушли на дачу?.. Я пойду им навстречу. Вы знаете, хозяйка, где эта дача?

— Да тут, неподалеку, прямо на берегу Хасэ.

— Как в Хасэ?.. Я слышал о даче в Огигаяцу... То есть я говорю о даче, принадлежащей родственнику Сэки-сана, приятеля Наоми. Не знаю, был он сегодня здесь или нет...

При этих словах лицо хозяйки на мгновение выразило испуг.

— Вы говорите о другой даче? — спросил я.

— Да... это...

— Чья дача на побережье Хасэ?

— Родственников Кумагай-сана...

— Кумагай-куна?..

Я побледнел.

— От вокзала, пройдя Хасэ, свернете налево и пойдете прямо по дороге мимо курортного отеля. Дорога упирается в морской берег, и тут при выходе, сразу же на углу увидите дачу Окубо, родственника Кумагай-сана, — говорила мне хозяйка, но я впервые слышал об этой даче. Ни Наоми, ни Кумагай до сих пор даже не заикались об этом.

— Наоми часто ходит на эту дачу?

— Да как сказать...

Я заметил, что хозяйка смутилась.

— Но сегодня она, конечно, пошла туда не в первый раз? — настаивал я. Дыхание у меня участилось, голос дрожал, и я не мог с собой совладать.

Не знаю, испугал ли хозяйку мой взволнованный вид, но она тоже побледнела.

— Не бойтесь, неприятностей вам не будет. Скажите только откровенно: а вчера? Вчера она тоже уходила?

— Вчера... тоже, кажется, изволила уйти...

— А позавчера?

— Да...

— Да... тоже ушла?

— Да.

— А третьего дня?

— Да, и третьего дня...

— С тех пор, как я стал поздно приезжать, она каждый день ходит туда?

— Да... точно не помню, но...

— В котором часу приблизительно она возвращается?

— Большею частью... Э-э... Немного раньше одиннадцати...

Значит, с самого начала они вдвоем обманывали меня! Так вот почему Наоми захотела ехать в Камакуру! Целая буря поднялась у меня в душе. Со дна моей памяти мгновенно всплыли все до единого поступки и слова Наоми в последнее время. В одну секунду стала понятна вся механика ее лжи, какая и в голову не может прийти такому простодушному человеку, как я. Это был хитро спланированный и тщательно продуманный заговор, в котором участвовало несколько человек. У меня было такое чувство, будто я попал в западню, и меня внезапно столкнули в какую-то глубокую яму, и я в полной безысходности смотрю вверх, где стоят Наоми с Кумагаем и Хамадой и громко смеются.

— Хозяйка, сейчас я ухожу, но если они придут, прошу вас, пожалуйста, не говорите, что я был дома. У меня есть кое-какие соображения... — смущенно пробормотал я и выскочил на улицу.

Выйдя к курортному отелю, я медленно пошел по указанной мне дороге, прячась в тени. С обеих сторон тянулись большие дачи. Улица была тиха и безлюдна. К счастью, было темно. У какого-то фонаря под воротами я взглянул на часы. Было десять часов. Я хотел убедиться воочию, находится ли она на той даче наедине с Кумагаем

или вместе со всей шумной ватагой. Нужно было застать их с поличным, раскрыть обман. И желая захватить их на месте преступления, я ускорял шаги.

Я сразу увидел дом, который искал. Я прошел несколько раз перед ним, изучая фасад. За роскошными каменными воротами зеленели деревья, между ними тянулась в глубину, к входным дверям, усыпанная гравием дорожка. «Дача Окубо» — значилось на дощечке у ворот. Эта старинная дощечка и поросшая мхом массивная каменная ограда были более уместны для старинной усадьбы, нежели для дачи. Я никак не ожидал, что родственник Кумагая — владелец такой богатой дачи.

Я вошел в сад и направился к дому, ступая осторожно, чтобы гравий не шуршал под ногами. Дом стоял в глубине участка, и с улицы было трудно его разглядеть. Когда же я подошел к нему вплотную, то, к своему удивлению, обнаружил, что и парадный, и черный ход, и все окна в первом и во втором этаже были наглухо закрыты и ни в одном окне не было света.

«Должно быть, комната Кумагая в тыльной стороне дома», — подумал я и крадучись обошел дом кругом. И действительно, во втором этаже в одной из комнат и на кухне был свет.

Мне достаточно было одного взгляда, чтобы догадаться, что это комната Кумагая. Мог ли я не узнать его мандолину, прислоненную к перилам веранды, и хорошо знакомую мне тосканскую шляпу, висевшую на гвозде? Двери были распахнуты настежь, но разговора не было слышно. Очевидно, в комнате никого не было.

Двери, ведущие в кухню, тоже были раскрыты, и там, судя по всему, тоже никого не было. При слабом свете, проникавшем из кухни, в нескольких шагах от черного хода я разглядел еще одни ворота или то, что осталось от них, точнее — два старых деревянных столба. За ними виднелась белая пена волн, разбивавшихся о берег Юйгахамы, и доносился соленый запах моря.

«Конечно, они пошли к морю!» — подумал я и почти тотчас же явственно услышал голос Наоми. Раньше я не слышал голосов, по-видимому, потому, что ветер относил их в сторону.

— Подождите минутку! В туфли набрался песок, я не могу идти. Пусть кто-нибудь высыплет песок... Матян, снимите мне туфли!

— Нет, уволь. Я тебе не раб!

— Ах, так? Тогда я больше не буду тебя любить! То-

гда пусть Хама-сан, он гораздо любезнее... Спасибо, спасибо. Хама-сан лучше всех! Я люблю его больше всех!

— Черт возьми! Она пользуется моим добродушием! Не делай из меня дурака!

— Ха-ха-ха... Хама-сан, но зачем же щекотать мне ноги?

— Я не щекочу, песок налип, вот я и отряхиваю подошвы.

— Уж кстати и оближи их, как папа-сан, — сказал Сэки. Раздался дружный смех нескольких мужских голосов.

Совсем рядом с тем местом, где я стоял, на склоне песчаного холма, находился маленький чайный павильончик. Голоса доносились оттуда. Я был в легком коричневом костюме и в белой рубашке и, чтобы не быть замеченным, поднял воротник и застегнулся на все пуговицы. Соломенную шляпу спрятал под мышку. Согнувшись, почти ползком, я приблизился к задней двери павильончика и притаился в тени колодца. До меня донеслись голоса:

— А теперь пошли куда-нибудь еще!..

Один за другим они вышли и, не замечая меня, направились к берегу. Все четверо мужчин — Кумагай, Хамада, Сэки и Накамура — были в легких дачных кимоно. Я разглядел только, что Наоми куталась в черное манто и на ней были туфли на высоких каблуках. Я знаю, что ни манто, ни туфель в Камакуру она не брала, очевидно, все это она у кого-нибудь позаимствовала. Полы манто развевались от ветра, и она обеими руками придерживала их изнутри, так что при ходьбе отчетливо вырисовывались ее крутые бедра. Она шла, нарочно покачиваясь, как пьяная, задевая плечами идущих рядом мужчин.

Я сидел скорчившись и затаив дыхание, но когда расстояние между нами увеличилось и светлые кимоно смутно белели уже достаточно далеко, я поднялся и тихонько пошел за ними следом. Сначала мне показалось, что они направляются прямо по берегу в Дзаймокудзу, но на полпути они свернули влево и, поднявшись на песчаный холм, очевидно, пошли в поселок. Когда их фигуры скрылись за холмом, я бегом бросился догонять их. Я знал, что улица, к которой они выйдут, обсажена высокими густыми деревьями, в тени которых я смогу идти за ними следом. Как только я одолел холм, я услышал веселье голоса.

Кумагай шагал впереди, размахивая рукой, как дирижерской палочкой. Наоми шла все так же, раскачиваясь и задевая мужчин плечами. Мужчины, которых она тол-

кала, тоже покачивались в разные стороны, как будто плыли в лодке.

— Не толкайся так! Я об забор ударюсь!

Раздался стук. Это кто-то ударил стеком по забору. Наоми рассмеялась.

— Давайте теперь споем «Хонику».

— Идет: будем танцевать гавайский танец. Все будут петь и трясти задом! «Sweet brown maiden said to me...»¹ — Выкрикивая непонятные слова, они начали вертеть бедрами.

— Ха-ха-ха! Лучше всех трясет задом Сэки!

— Потому что я серьезно изучал эти танцы.

— Где?

— На Всемирной выставке в Уэно. В одном из павильонов танцевали негры. Я ходил туда десять дней подряд.

— Вот дурак!

— А ты лучше бы сам ходил туда, никто не отличил бы тебя от негра!

— Эй, Матян, который час? — спросил Хамада. Он был трезв и как будто серьезнее всех.

— В самом деле, который час? У кого есть часы?

— У м е н я, — сказал Накамура, зажигая спичку. — Ого, уже двенадцать минут одиннадцатого.

— Ничего, папа-сан раньше половины одиннадцатого не приезжает. Давайте пройдем разок по проспекту Хасэ и оттуда домой! Я хочу показаться в этом костюме публице.

— Одобряю, одобряю! — громко крикнул Сэки.

— Если ты пойдешь в таком виде, за кого тебя примут?

— За женщину — атамана шайки...

— Если я — атаманша, то все вы — мои подчиненные!

— Или, л у ч ш е, — четверо бродяг-разбойников!

— Значит, тогда я — Бэнтэн-Кодзо!

— Э-э... Атаманша... Наоми К а в а й, — начал Кумагай тоном рассказчика на киносеансе, — под покровом вечерней мглы, закутанная в черное манто...

— Перестань, у тебя такой противный голос!

— ...Окруженная четырьмя сорвиголовами, на берегу Юйгахамы...

— Перестань, Матян! Слышишь, сию же минуту перестань...

Размахнувшись, Наоми отпустила Кумагаю оплеуху.

¹ Та девчонка-шоколадка мне сказала... (англ.).

— Ай, больно!.. У меня от природы такой голос! Мир много потерял оттого, что я не стал исполнителем Нанивабуси!

— Мэри Пикфорд не может быть атаманшей..

— Тогда кто же я? Присцилла Дин?

— Вот-вот... Присцилла Дин!

— Ла-ла-ла, — запел Хамада и принялся танцевать. Когда он, кружась, повернулся, я быстро отскочил назад и спрятался в тень деревьев.

— Ой!.. — в тот же миг вскрикнул он. — Кто это? Это вы, Кавай-сан?

Все разом смолкли и остановились, вглядываясь в темноту.

«Попался!» — подумал я, но было уже поздно.

— Папа-сан?.. Это вы, папа-сан? Что вы здесь делаете? Идите к нам!

Наоми быстро подошла ко мне и положила руку мне на плечо. Манто неожиданно распахнулось, и я увидел, что под ним нет никакой одежды.

— Что ты наделала? Ты покрыла меня позором! Проститутка! Развратница!

От нее пахло вином. До сих пор я ни разу не видел, чтобы она пила вино.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Потребовалось два дня — тот вечер и весь следующий день, чтобы преодолеть упрямство Наоми, заставить ее раскрыть всю механику обмана и самой рассказать обо всем.

Как я и догадался, она пожелала ехать в Камакуру, чтобы встречаться там с Кумагаем. Родственник Сэки в Огигаяцу оказался мифом: на самом деле существовала только дача Окубо, дяди Кумагая. И даже флигель, в котором мы поселились, нам сдали благодаря Кумагаю. Садовник служил в усадьбе Окубо. Кумагай уговорил его — уж не знаю, как это ему удалось, — отказать прежним жильцам и отдать флигель нам. Само собой разумеется, это было заранее согласовано с Наоми. Содействие госпожи Сугидзаки, служащий Нефтяной компании — все это было наглой выдумкой. Жена садовника рассказала, что Наоми приехала в первый раз осматривать дачу вместе с «молодым баринном» Кумагаем. Она выдала себя за его родственницу. Хозяйку заранее уведомили об этом, и поэтому ей пришлось отказать прежним жильцам и сдать дом нам.

На следующий день я впервые в жизни не поехал на службу. Строго приказав Наоми не выходить из комнаты ни на шаг и забрав все ее платья, обувь и кошелек, я отнес их в дом к садовнику, а затем устроил допрос хозяйке.

— Хозяйка, извините, что впутываю вас в эту некресивую историю, но прошу вас, расскажите мне все, что знаете. Я ни в коем случае не собираюсь выдавать вас Кумагаю. Я только хочу узнать правду... они и раньше бывали здесь, когда меня не было дома?

— Да, постоянно... И молодой барин приходил к ней, и барышня уходила к нему.

— Кто вообще живет на даче Окубо-сана?

— В этом году никто, навещают лишь изредка. Большею частью здесь живет только молодой барин Кумагай.

— А его приятели? Они тоже иногда здесь бывали?

— Да, приходили.

— Все вместе или каждый в отдельности?

— Э-э...

Только впоследствии я вспомнил, что при этом моем вопросе хозяйка очень смутилась.

— Они приходили и по отдельности, и вместе с молодым барином. Всякое бывало...

— Кто еще бывал здесь один, кроме Кумагай-куна?..

— Этот... Хамада-сан. Потом другие... Кажется, и другие тоже бывали поодиночке...

— Они куда-нибудь ее приглашали? Куда-нибудь уходили?

— Нет, большей частью сидели дома.

Самым загадочным было именно это. Если справедливо подозрение относительно Наоми и Кумагай, зачем он таскает за собой приятелей, ведь это помеха для любовников... Почему они приходят поодиночке и Наоми их принимает? Если все они хотят сблизиться с Наоми, отчего же не возникают ссоры? Вот и вчера все четверо шутили и разговаривали вполне дружелюбно... Размышляя над этим, я опять становился в тупик и начинал сомневаться, действительно ли Наоми изменяет мне с Кумагаем...

Однако, когда вопрос заходил об этом, от Наоми трудно было добиться толку. У нее не было никаких особо дурных намерений, она просто хотела веселиться с друзьями и... — упорно твердила она. Когда я спросил ее, зачем же она так вероломно обманула меня, она ответила:

— Так ведь папа-сан не доверяет этим моим друзьям... Чтобы вы слишком не волновались!

— Зачем же ты мне сказала, что дача принадлежит родственнику Сэки? Какая разница, чья дача — Сэки или Кумагая?

На этот вопрос Наоми не сумела сразу найти ответа и молча исподлобья злобно сверлила меня взглядом. Она потупилась, прикусила губу.

— Вы больше всех подозреваете Матяна. Я думала, лучше я скажу, что это дача Сэки.

— Не смей называть его «Матян». У него есть фамилия — Кумагай!

Сколько я ни старался сдерживаться, но меня, наконец, прорвало. Когда она называла его «Матян», у меня от отвращения мурашки пробегали по коже.

— Ты близка с Кумагаем? Отвечай правду!

— Нет, не близка. Вот вы подозреваете меня, а доказательства у вас есть?

— Доказательств нет, но я и так все знаю!

— Откуда же?

Наоми была до жути спокойна. На губах даже мелькала злая усмешка.

— А что означало твое вчерашнее поведение? И после этого ты еще смеешь утверждать, что ни в чем не виновата!

— Они меня насильно напоили и заставили так нарядиться. Вся моя вина только в том, что я вышла из дома в таком виде.

— Прекрасно! Значит, ты продолжаешь утверждать, что не виновата?

— Да, не виновата!

— И ты можешь в этом поклясться?

— Да, могу. Клянусь.

— Ах, так? Ладно, помни же свою клятву. Я больше не верю ни единому твоему слову!

Больше я с ней не разговаривал.

Боясь, что она напишет Кумагаю, я отобрал у нее почтовую бумагу, конверты, чернила, карандаш, вечное перо и марки и спрятал вместе с ее вещами у жены садовника. Чтобы заставить Наоми безвыходно сидеть в мое отсутствие дома, я оставил ей лишь красный креповый халат. На третий день утром я уехал из Камакуры, притворившись, будто еду на службу. В поезде я все время думал, как собрать доказательства, и для начала решил заглянуть в наш дом в Омори, пустовавший уже целый месяц. Если у нее связь с Кумагаем, она, конечно, началась не этим летом.

Я поеду в Омори и пороюсь в вещах Наоми. Нет ли там писем или каких-нибудь других доказательств?

В тот день я против обычного опоздал на первый поезд и поехал со следующим. Было уже десять часов, когда я приехал в Омори. Открыв своим ключом входную дверь и пройдя через ателье, я поднялся прямо наверх, чтобы обыскать комнату Наоми, но в тот самый момент, как я открыл дверь и вошел, у меня невольно вырвался возглас удивления. Я остановился, как вкопанный, слова замерли на губах. На циновке лежал Хамада.

Увидев меня, он залился краской смущения и вскочил.

Некоторое время мы молча глядели друг на друга, словно желая прочесть, что на уме у каждого.

— Хамада-кун... Почему вы здесь?..

Хамада шевелил губами, словно хотел что-то сказать, но не находя слов, стоял передо мной, понурившись, как будто прося пощады.

— Ну, Хамада-кун... давно вы здесь?

— Я только что... только что пришел, — на этот раз внятно ответил он, как человек, понявший, что положение безвыходно и далее заператься бессмысленно.

— Но двери были заперты. Как вы вошли?

— С черного хода.

— С черного хода? Он тоже заперт...

— У меня есть ключ... — он говорил так тихо, что я еле слышал.

— Ключ! Откуда он у вас?

— Наоми-сан дала. Вы, конечно, уже поняли, наверное, зачем я сюда пришел...

Хамада медленно поднял голову и молча посмотрел на меня, онемевшего от изумления. На лице у него была написана готовность по-юношески честно встретить решительную минуту, сейчас он совсем не походил на испорченного мальчишку, каким он всегда мне казался.

— Кавай-сан, я тоже отчасти понимаю, почему вы так неожиданно пришли сюда сегодня! Я вас обманывал. И готов понести любое наказание. Странно говорить вам это теперь, но я уже давно собирался... сам рассказать вам о своем проступке, даже если бы вы его не обнаружили...

Слезы выступили у него на глазах и потекли по щекам. Все это было так неожиданно, что я молча таращил на него глаза. Я и верил его признанию, и в то же время многого все еще не мог уразуметь.

— Кавай-сан, прошу вас, простите меня!..

— Однако, Хамада-кун, я все еще чего-то не понимаю.

Зачем вы получили ключ от Наоми? Зачем вы пришли сюда?

— Потому что... потому что сегодня мы условились встретиться здесь с Наоми-сан...

— Что?! Встретиться с Наоми?..

— Да... И не только сегодня. Мы уже встречались здесь много раз...

Я узнал, что с тех пор, как мы переехали в Камакуру, Хамада уже три раза имел здесь тайные свидания с Наоми. Когда я отправлялся на службу, Наоми, пропустив один-два поезда, уезжала в Омори. Она приезжала обычно часов в десять утра и уезжала обратно в половине двенадцатого. В Камакуру она возвращалась не позже часа, так что в доме садовника никак не могли бы предположить, что за это время она успела побывать в Омори. Сегодня они тоже должны были встретиться часов в десять утра. Услышав мои шаги по лестнице, Хамада был уверен, что это пришла Наоми.

В первый момент это ошеломляющее признание привело меня в состояние полной растерянности. Я был так поражен, что не мог вымолвить ни слова. Напомню, что мне было тогда тридцать два года, Наоми — девятнадцать. Девятнадцатилетняя девочка так смело и бесстыдно обманывала меня! Я был не в силах — да нет, я и сейчас еще не в силах — примириться с мыслью, что эта маленькая девочка оказалась такой порочной!

— Когда вы сошлись с Наоми?

Прощать или не прощать Хамаду — об этом я не думал, я лишь горел желанием все узнать, все, до мельчайших деталей.

— Уже давно. Тогда вы меня еще не знали...

— Я встретил вас впервые, кажется, минувшей осенью. Я вернулся со службы, вы стояли в цветнике и разговаривали с Наоми.

— Да, верно. С тех пор прошло уже около года.

— Значит, еще с того времени?..

— Нет, еще раньше. С марта прошлого года я стал учиться играть на рояле у госпожи Сугидзаки и познакомился там с Наоми-сан. И потом сразу же в марте...

— Где вы тогда встречались?

— Здесь же. Она сказала, что до полудня всегда дома, очень скучает, и пригласила в гости, чтобы немножко развлечься. Я стал приходить.

— Значит, она сама, первая, пригласила вас?

— Да, о вас я тогда совершенно не знал, Наоми гово-

рила, что она приехала из провинции, живет у родственников в Омори и что вы — ее двоюродный брат. Я узнал, что это не так, только когда вы в первый раз пришли на танцы в «Эльдорадо». Но тогда... тогда уже было поздно...

— Это по уговору с вами Наоми поехала этим летом в Камакуру?

— Нет, это Кумагай посоветовал. — Сказав это, Хамада как будто собрался с духом. — Кавай-сан, не вы один обмануты. Я тоже обманут!

— Значит, Наоми и с Кумагаем...

— Да, теперь на первом месте Кумагай. Я уже давно подозревал, что Наоми-сан любит Кумагаю. Но я не мог себе представить, что, будучи близка со мной, она свяжется также и с Кумагаем. Она всегда говорила, что просто любит подурачиться с друзьями-мужчинами, и больше ничего...

Я вздохнул.

— Это ее обычные уловки. Она и мне твердила о том же, и я верил... Когда вы заметили, что она близка с Кумагаем?

— В тот дождливый вечер, помните, когда мы все ночевали здесь... Я тогда искренне вас жалел. Их наглое поведение навело меня на мысль, что между ними, безусловно, что-то есть. Чем больше я ревновал, тем больше я принимал вас.

— Вы говорите, что заметили что-то в тот вечер... Эту вашу догадку вы вывели только из их поведения тогда?

— Нет, были и другие факты, подтверждавшие это предположение. Не знаю, спали ли вы, но я не спал и видел, как они целовались.

— Наоми знает об этом?

— Знает. Я ей после сказал. Я просил ее порвать с Кумагаем. Я не хочу быть игрушкой... Я сказал, что иначе я не женюсь на ней...

— Женюсь?!

— Ах да. Я должен рассказать вам о наших планах. Я хотел обо всем откровенно рассказать вам и жениться на Наоми. Она говорила, что вы великодушный человек и, если мы расскажем вам о нашей любви, вы согласитесь. Я не знаю, как на самом деле, но, по рассказам Наоми-сан, вы хотели только дать ей образование и воспитать ее. Она говорила, что хоть и живет с вами, но вовсе не обязана выходить за вас замуж. Кроме того, между вами и Наоми-сан большая разница в годах, и поэтому она не уверена, будет ли она счастлива, если станет вашей женой...

— И это... это говорила Наоми?

— Да, и много раз твердо обещала в ближайшее время поговорить с вами, просила подождать еще немного, она все устроит, и мы поженимся. Обещала порвать с Кумагаем. Но все это была ложь. Наоми-сан с самого начала вовсе не собиралась выходить за меня замуж.

— Пожалуй, у нее и с Кумагаем такая же договоренность?

— Не знаю, но думаю, что нет... Наоми-сан все быстро надоедает, да и Кумагай — человек несерьезный. Он не так прост, как я...

Странно, с самого начала я не испытывал ненависти к Хамаде, а чем больше я его слушал, тем больше сочувствовал ему. «Больные одной болезнью страдают друг другу», — гласит известная поговорка. Тем большую ненависть я испытывал к Кумагаю.

— Хамада-кун, как бы то ни было, разговаривать здесь неудобно. Пойдемте куда-нибудь, пообедаем и поговорим за едой. Я хочу еще о многом от вас услышать!

В европейском ресторане обстановка неподходящая, и мы направились в ресторан «Мацуаса» на побережье Омори.

— Значит, вы не пошли сегодня на службу? — спросил Хамада. Он говорил уже гораздо спокойней, как будто у него, наконец, свалился камень с души.

— Да, вчера я тоже там не был. Сейчас в конторе много работы, и то, что я не являюсь, очень плохо, но позавчера я был в таком состоянии, что никак не мог работать...

— Наоми-сан знает, что вы поехали сегодня в Омори?

— Я ей сказал, что еду на службу. Вряд ли она догадывается, что я поехал в Омори. Я хотел обыскать ее комнату, может быть, найти любовные письма...

— А, вот как! А я думал совсем другое, — что вы пришли специально, чтобы поймать меня... А вдруг Наоми-сан поехала вслед за вами?

— Нет, насчет этого не беспокойтесь... Я не оставил ей ни одежды, ни денег. Она ни шагу не может сделать из дому. В таком виде она даже к воротам не может выйти.

— В каком виде?

— Вы, наверное, знаете ее красный халат?

— Ах, в этом!..

— Да, в одном халате. Я не оставил ей даже оби. Так что не беспокойтесь. Зверь заперт в клетке.

— Представляете себе, что было бы, если бы там, в

комнате, появилась Наоми-сан? Поднялась бы такая буря...

— Когда Наоми назначила вам свидание?

— Позавчера... В тот вечер, когда вы за нами следили. Я был тогда очень расстроен, и, чтобы утешить меня, Наоми сказала, что придет послезавтра в Омори. Конечно, я и сам виноват... Нужно было порвать или с Наоми-сан или с Кумагаем, но я не смог. Страдая от собственного малодушия, я совсем пал духом и уныло плелся за ними. Я обманут Наоми-сан по собственной глупости!

Мне казалось, будто это не Хамада говорит, а я сам. Войдя в помещение «Мацуасы» и усевшись напротив Хамады, я почувствовал к этому юноше даже нечто вроде симпатии.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Хамада-кун, вы честно рассказали мне обо всем, и у меня стало легче на душе. Давайте выпьем! — Я придвинул к нему бокал.

— Кавай-сан, вы простили меня?

— Простил или не простил — какое это имеет значение? Наоми обманула нас обоих. Раз вы не знали о моих отношениях с ней, значит, не виноваты. Вот и все!

— Благодарю вас! Вы меня успокоили.

Однако Хамада все еще казался смущенным. Я подошел к нему бокал, но он не пил...

— Простите, но разве вы не родственник Наоми-сан? — не глядя на меня, застенчиво спросил он.

— Нет, вовсе не родственник. Я уроженец Уцуномия, она же — чистокровная токиоска. Семья ее и теперь живет в Токио. Наоми хотела поступить в школу, но по семейным обстоятельствам не могла. Мне стало жаль ее, и, когда ей было пятнадцать лет, я взял ее к себе.

— А теперь вы женаты?

— Да, мы получили согласие родных и с той, и с другой стороны и проделали все формальности. Правда, Наоми было тогда шестнадцать лет, и я считал ее слишком молодой, было бы странно требовать от нее, чтобы она стала заправской замужней дамой. Она тоже не хотела этого. Мы решили некоторое время жить как двое друзей...

— Ах, вот как! Это и есть источник всех недоразумений... Никогда не подумаешь, что Наоми-сан замужем. А так как она сама не говорит об этом, мы и оказались обманутыми!

— Наоми виновата, но я виноват не меньше... Мне не нравились принятые в нашем обществе традиционные отношения между супругами. Я хотел свою жизнь построить иначе. Это было ужасной ошибкой с моей стороны, теперь надо эту ошибку исправить. Жизнь преподала мне жестокий урок.

— Это хорошо... Пожалуйста, не думайте, будто я как-то оправдываю себя, хочу только сказать, что Кумагай — дурной человек... Будьте начеку. Я говорю не из ревности. И Кумагай, и Сэки, и Накамура — все они дурные. Наоми-сан вовсе не такая плохая. Это они сделали ее дурной...

Голос Хамады дрожал, на глазах опять засверкали слезы. Подумать только, значит, этот юноша так глубоко любит Наоми? При мысли об этом я почувствовал к нему благодарность и даже в чем-то свою виновность. Если бы я не сказал, что мы с Наоми законные супруги, Хамада, наверное, попросил бы меня уступить ему Наоми. Более того, даже теперь, если бы раз навсегда отказался от Наоми, он тут же с готовностью взял бы ее в жены. В искренности его чувств невозможно было усомниться.

— Хамада-кун, спасибо вам за совет, в ближайшие же дни я приму кое-какие меры... Если Наоми порвет с Кумагаем, — хорошо, если же нет, — я не останусь с ней ни одного дня...

— Но, пожалуйста, не бросайте Наоми-сан! — прервал меня Хамада. — Если вы бросите ее, она падет окончательно. Наоми-сан не виновата...

— Спасибо, спасибо. Я от всей души признателен вам за доброе отношение... Ведь я заботился о ней с пятнадцати лет, и я вовсе не хочу бросать ее, даже если надолго будут смеяться... Она очень упряма, и я только думаю, как бы поделикатнее заставить ее порвать со своими дурными друзьями.

— Да, Наоми-сан очень упорна. Поссорится из-за пустяка — и уже нет возврата. Вы должны действовать тонко. Я не вправе вам советовать, но...

— Спасибо, спасибо, — твердил я Хамаде.

Не будь между нами такой разницы в возрасте и в положении, и если бы раньше мы ближе знали друг друга, я, наверное, обнял бы его и заплакал. Во всяком случае, я был близок к этому.

— Хамада-кун, приходите к нам в гости почаще. Без стеснения! — сказал я ему, расставаясь.

— Да, но только в ближайшее время я навряд ли смогу прийти... — с некоторой запинкой сказал Хамада, потупившись, как бы избегая моего взгляда.

— Почему?

— Я приду, когда... когда смогу забыть Наоми-сан... — Стараясь скрыть слезы, он надел шляпу. — Прощайте, — бросил он мне и быстро зашагал по направлению к Синагаве.

Я отправился на службу, но все валилось у меня из рук. «Что сейчас делает Наоми? У нее остался только ночной халат, так что выйти она уж никак никуда не сможет...» — думал я и все-таки не мог быть спокоен: в последнее время одна неожиданность следовала за другой, я был обманут, вдвойне обманут, и по мере того, как я понял это, нервы мои пришли в возбужденное состояние, воображение рождало одно предположение за другим. Мне даже стало казаться, что Наоми обладает какой-то непонятной, таинственной силой, которую я не в состоянии постичь. Кто ее знает, что она сейчас делает? Спокойным я оставаться не мог. Быть может, во время моего отсутствия что-нибудь произошло... Кое-как, торопливо покончив с делами, я поспешно отправился в Камакуру.

— Здравствуйте, — сказал я, увидя стоящую в воротах хозяйку. — Она дома?

— Дома.

У меня отлегло от сердца.

— Никто не приходил?

— Нет, никто.

— Ну... Как там? — спросил я, кивком головы указывая на флигель. Мне показалось, что за закрытыми окнами комнаты Наоми нет никого.

— Сегодня она весь день сидела дома.

— Вот как?.. Целый день не выходила из комнаты?..

Но все-таки почему же в доме уж слишком тихо? Как она меня встретит? Немного встревоженный, я тихонько поднялся на веранду и раздвинул сёдзи. Было уже больше шести часов вечера. В полутемном углу, куда не доставал свет из окон, небрежно разметавшись, крепко спала Наоми. Сетка от москитов не была повешена. Вокруг бедер Наоми обернула мой макинтош, но он прикрывал только низ ее живота. Из-под красного халата высовывались ее белые, как кочан капусты, руки и ноги. В тот момент — увы! — я почувствовал, как странно и сладостно забилося мое сердце. Я молча зажег свет, переоделся в кимоно и нарочно с шумом хлопнул дверцей стенового шкафа. Не знаю, слышала ли она этот звук или нет, но я по-прежнему слышал ее ровное сонное дыхание.

Я уселся за стол и сделал вид, будто что-то пишу; так прошло минут тридцать, наконец терпение мое иссякло:

— Встанешь ли ты? Ночь на дворе!

— Х м . . . — нехотя и сонно откликнулась она, после того как я несколько раз сердито крикнул:

— Вставай же!

— Х м . . . — снова пробормотала она, не поднимаясь.

— Что с тобой? Вставай!

Я поднялся и ногой толкнул ее в бок.

— А - а . . . — потянулась она. Выгнув обе руки со жгучими маленькими розовыми кулачками и не спеша приподнявшись, Наоми, подавив зевоту, украдкой взглянула на меня и, отвернувшись, начала расчесывать следы укусов москитов на ступнях, икрах и спине. Оттого ли, что она слишком долго спала или плакала, глаза у нее покраснели, волосы беспорядочно свисали по плечам, как у привидения.

Я пошел к хозяйке, принес кимоно и бросил его Наоми.

— Вот твоё кимоно, приведи себя в приличный вид!

Она молча оделась. За ужином никто из нас не проронил ни слова.

Во время этого долгого и тягостного молчания я думал лишь о том, как бы заставить эту упрямицу признаться и просить прощения. В ушах у меня еще звучало предостережение Хамады: «Наоми упряма, если поссориться с ней, все будет кончено»... Наверное, этот совет подсказал ему собственный опыт, я и сам знал, что хуже всего — это рассердить ее. Нужно сделать все так искусно, чтобы она пошла на уступки и не произошло ссоры. Ни в коем случае не следует допрашивать ее как судья: «Ты с Кумагаем то-то и то-то? С Хамадой — то-то и то-то?» Если начать так прямо давить на нее, она не из тех, кто оробеет и смиренно признается во всем. Она, конечно, начнет сопротивляться и упорно твердить, что знать ничего не знает... В конце концов, я тоже потеряю терпение и вспыхну. Если это случится, всему конец. Следовательно, не стоит ее допрашивать. Лучше я сам начну говорить обо всем, что сегодня узнал. Как бы она ни была упряма, она не посмеет сказать, что ничего не знает. Так и сделаю, — решил я а начал:

— Сегодня в десять часов утра я заехал в Омори и застал там Хамаду.

Наоми вздрогнула и, стараясь не встречаться со мной глазами, запрокинула голову.

— Тем временем подошло время обеда, и я пригласил Хамаду в «Мацуаса». Мы пообедали вместе.

Наоми не отвечала. Я все время следил за выражением ее лица и старался говорить с ней без всякой злобы. До самого конца Наоми слушала, опустив голову. По ее виду никак нельзя было заметить, что она чувствует себя виноватой, она лишь сильно побледнела.

— Хамада мне все рассказал, так что мне не нужно тебя ни о чем спрашивать, я знаю все. Не отпирайся. Скажи только, что признаешь себя виноватой. Этого мне достаточно. Ты признаешь свою вину?

Наоми молчала.

— Ну, так как же, Наоми-тян?— спросил я ее как можно ласковее. — Если ты признаешь свою вину, я больше не буду тебя ни в чем упрекать. Я вовсе не требую, чтобы ты просила прощения. Мне довольно, если ты поклянешься, что впредь не допустишь таких «ошибок». Поняла? Признаешь свою вину?

К счастью, Наоми кивнула головой.

— Поняла? Больше никогда не будешь встречаться с Кумагаем?

— Да.

— Наверное? Обещаешь?

— Да.

Таким путем мы пришли к соглашению, удовлетворившему нас обоих.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В ту ночь мы разговаривали в постели с Наоми, как будто ничего не случилось, но, по правде сказать, по-настоящему я ее не простил...

Наоми уже не чиста. Эта мысль не только мрачной тенью лежала у меня на душе, но больше чем наполовину лишала ценности мое сокровище — Наоми. А главная ее ценность заключалась в том, что я сам воспитал ее, сам сделал ее такой прекрасной женщиной, только один знал каждую частицу ее тела. Наоми была для меня как бы плодом, который я сам взрастил. Сколько усилий я потратил, как много труда вложил, чтобы сегодня она цвела так пышно! Отведать этот плод — такова была закономерная награда за этот труд, никому другому не могло принадлежать это право, и тем не менее пришел какой-то совсем чужой человек, очистил шкурку и надкусил плод...

Плод осквернен, и, как бы Наоми ни молила о прощении, прошлого не вернуть. На ее теле, бывшем для меня святыней, навечно оставили грязный след два вора. Чем больше я думал, тем больше скорбел об этом. Я не испытывал ненависти к Наоми, я ненавидел то, что случилось.

— Дзёдзи-сан, простите меня, — совсем другим тоном, чем днем, сказала Наоми, видя, что я молча лью слезы.

Все еще плача, я кивнул. Можно сказать «прощаю», но нельзя вернуть прошлого и нельзя подавить чувства горечи от сознания, что этого прошлого не вернуть.

Так печально закончилось наше лето в Камагуре, и мы возвратились в Омори. На душе у меня не стало спокойнее, воспоминания иногда всплывали, и отношения наши не налаживались. Внешне мы отлично ладили, но в душе я, конечно, не простил Наоми. На службе меня по-прежнему не покидала мысль о Кумагае. Меня тревожило, что делает. Наоми во время моего отсутствия, поэтому каждое утро, притворившись, будто иду на службу, я тихонько пробирался к черному ходу и в те дни, когда Наоми ходила на уроки английского и музыки, шел за ней следом, украдкой читал письма, приходившие на ее имя; постепенно я превратился в настоящего сыщика. Наоми, конечно, в глубине души смеялась надо мной, она молчала, но стала удивительно неприветлива.

— Наоми, — сказал я ей однажды вечером, глядя на ее злое лицо и тряся ее за плечи, когда она притворялась спящей (теперь я называл ее просто Наоми, не добавляя «сан» или «тян»). — Что это?.. Ты притворяешься спящей? Ты так меня ненавидишь?..

— Я вовсе не притворяюсь. Я собиралась заснуть и закрыла глаза.

— Так открой же глаза! Нечего закрывать глаза, когда с тобой говорят!

Наоми нехотя приоткрыла веки: из-под ресниц на меня взглянули злые холодные глаза.

— Ты меня ненавидишь? Скажи прямо...

— Зачем вы спрашиваете об этом?

— Я это чувствую. Мы не ссоримся все это время, но в глубине души ненавидим друг друга. И это называется муж с женой?

— Я не питаю к вам ненависти. Это вы меня ненавидите!

— Как ты, так и я... Ты ведешь себя так, что я не могу тебе верить, оттого я все время сомневаюсь...

Наоми иронически фыркнула.

— Итак, я слушаю. В моем поведении есть что-то подозрительное? А где доказательства?

— Доказательств у меня нет, но...

— Вы подозреваете и у вас нет доказательств? Какая нелепость! Вы не доверяете мне, лишаете меня всех прав жены, отняли у меня свободу и при этом хотите, чтобы мы жили, как настоящие муж с женой! Разве это возможно? Вы думаете, я ничего не знаю? Вы читаете чужие письма, бегаете за мной по пятам, как сыщик!.. Я отлично все вижу!

— Я виноват, но после всего случившегося у меня сдали нервы.

— Что же мне делать? Вы обещали не вспоминать прошлое!

— Я прошу тебя, чтобы я успокоился, будь искренней, люби меня от всего сердца.

— Но для этого нужно, чтобы вы верили мне...

— Ах, буду, буду верить. Я уже верю!

Здесь я должен признать всю низость мужчины. Днем я еще пытался бороться, но ночью я уже не мог устоять перед ней. Вернее сказать, живший во мне зверь безоговорочно ей подчинился. По правде сказать, я все еще не мог ей верить, и тем не менее этот зверь заставлял меня слепо ей покоряться, идти на любые уступки. Иными словами, Наоми уже перестала быть для меня сокровищем, которому я благоговейно поклонялся: из идола она превратилась в продажную женщину. У нас уже не осталось ни чистоты любовников, ни привязанности супругов. Увы, прежние грезы рассеялись! Вы спросите: почему же я по-прежнему был привязан к этой грязной, распутной женщине? Меня удерживали только чары ее тела. Падая, Наоми увлекала меня за собой. Ибо, отбросив мужскую честь, брезгливость, чистые чувства, забыв прежнюю гордость, я унижался перед продажной женщиной и не сознавал, насколько это постыдно... Больше того, я преклонялся перед этой развратницей и молился ей, как богине.

Наоми видела насквозь мое малодушие. Она понимала, что мужчина не властен бороться с чарами ее тела, что с наступлением ночи она победит меня, и днем выказывала мне удивительное равнодушие. Казалось, она продавалась мужчине только как «женщина», все остальное в этом мужчине ее насколько не касается и не интересует, она вела себя, как чужой человек, случайно встретившийся в

пути, молчала, а когда я обращался к ней, почти не отвечала. Лишь в случае крайней необходимости она говорила «да» или «нет». Мне было ясно, что таким способом она глухо сопротивлялась и выказывала глубокое презрение. Мне казалось, я читаю в ее холодном взгляде: «Да, я холодна, но вы не имеете права сердиться, разве вы не взяли от меня все, что можно взять? И разве вы не удовлетворены?»

«Как он противен! Он нуден, как назойливая собака! Я вынуждена терпеть его», — казалось, откровенно говорили ее глаза.

Однако так не могло продолжаться долго. Мы копались в душах друг друга и исподтишка вели войну. Каждую минуту можно было ожидать взрыва. И вот однажды вечером я позвал ее деланно ласковым топом:

— Наоми... Наоми, не пора ли нам перестать упорствовать? Не знаю, как ты, а я не могу больше выносить такую безрадостную жизнь...

— И что же вы намерены предпринять?

— Не пожениться ли нам по-настоящему? Давай попытаемся еще раз стать супругами. Мы оба ожесточились... Это никуда не годится... Мы не стремимся вернуть прежнее счастье.

— Я думаю, сколько ни стремиться, прежние чувства вряд ли вернуться.

— Может быть, но мне кажется, есть еще способ сделать нас обоих счастливыми. Если бы только ты согласилась...

— Что это за способ?

— Не хочешь ли ты родить ребенка, стать матерью? Если бы у нас был хотя бы один ребенок, наше супружество приобрело бы смысл, мы стали бы счастливы. Прошу тебя, исполни мою просьбу!

— Нет, не хочу, — в ту же минуту коротко ответила Наоми. — Вы сами говорили мне, чтобы я не рожала детей, все время оставалась как девушка. Разве не вы сами уверяли, что дети — самое страшное для любви?

— Да, было время, когда я так думал, но...

— Значит, вы уже не собираетесь любить меня по-прежнему? Значит, вам безразлично, что я стану старой и некрасивой? Нет, вы меня не любите!

— Ты ошибаешься. Раньше я любил тебя как друга, а теперь я буду любить тебя как настоящую жену...

— И вы думаете, что так можно вернуть прежнее счастье?

— Может быть, и нежнее, но, во всяком случае, настоящее.

— Нет, нет, с меня довольно, — не дав мне договорить, резко прервала она меня, качая головой. — Я хочу только прежнего счастья. А если это невозможно, не хочу ничего. Вы мне это обещали!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Раз Наоми ни за что не хочет ребенка, у меня имелось еще одно средство — оставить «сказочный домик» в Омори и создать серьезную, нормальную семью. Прельстившись красивыми словами о так называемой «simple life» — «вольной жизни», я поселился в этом причудливом, в высшей степени не приспособленном для жизни ателье художника. В нашем падении этот дом безусловно сыграл известную роль. Поселившись в таком доме, молодая чета, предоставленная самой себе, неизбежно начинает жить не вольно, а беспорядочно. Я решил взять горничную для наблюдения за Наоми во время моего отсутствия и кухарку. Чтобы можно было разместиться хозяевам и двум служанкам, мы переберемся не в так называемое «цивилизованное жилище», а в самый обыкновенный дом японского среднего буржуа, продадим европейскую мебель и заменим ее японской, а для Наоми я куплю пианино. Тогда можно будет попросить госпожу Сугидзаки давать уроки музыки у нас на дому, о том же договориться с мисс Харисон, и Наоми не придется уходить из дома. Для осуществления этого плана требовались деньги. Я написал в деревню и, решив ничего не сообщать Наоми о моих планах, пока я все не устрою, один стал подыскивать дом, мебель и утварь.

Из деревни немедленно пришел перевод на тысячу пятьсот иен. Я просил мать подыскать также и служанку. В конверте вместе с переводом имелась приписка матери. *«Со служанкой все устроилось как нельзя лучше — это Охана, дочка Сэнтаро, которая служила у меня. Ей пятнадцать лет, ты ее знаешь и можешь быть вполне спокоен. Кухарку я тоже ищу. Как только найду, отправлю ее в Токио».*

Наоми, похоже, смутно догадывалась, что я что-то затеваю, и относилась к этому подчеркнуто равнодушно, как будто говоря: «Посмотрим, что из этого выйдет». Однажды вечером, через несколько дней после того, как при-

шло письмо от матери, Наоми сказала мне сладким, умильным и в то же время до странного насмешливым тоном:

— Дзёдзи-сан, я хочу европейское платье, не купите ли вы мне?

Удивленный, я пристально взглянул на нее. «Ага, значит, она узнала, что пришел перевод... И теперь прощупывает почву...» — сообразил я.

— Если нельзя европейское, я согласна и на японское. Закажите мне зимнее выходное кимоно.

— Сейчас я тебе ничего не куплю!

— Почему?

— У тебя столько платьев, что они гниют.

— И пусть гниют. Они мне надоели. Я хочу новые!

— Впредь я категорически запрещаю такое транжирство.

— Вот как? Л па что же вы употребите те деньги?

А-а, вот оно что! Я притворился, будто не понимаю.

— Деньги? Какие?

— Дзёдзи-сан, я видела заказное письмо на книжной полке внизу. Ну и подумала: раз Дзёдзи-сан самовольно читает чужие письма, значит, я тоже могу поступить так же...

Этого я не ожидал. Я думал, что Наоми просто сообразила, что в полученном мною заказном письме может быть и денежный перевод, но уж никак не предполагал, что она прочтет письмо, спрятанное под книгами. Не могло быть сомнений, что Наоми решила выведать мой секрет и начала искать, нет ли чего в письме, а прочитав его, узнала и о сумме перевода, и о переезде, и о служанке.

— У вас так много денег, что могли бы, кажется, сделать мне одно кимоно. Что вы говорили когда-то? «Ради тебя я готов переносить какие угодно лишения, жить хоть в лачуге»... Вы уже забыли ваши обещания окружить меня роскошью? Как вы переменялись!

— Я не перестал любить тебя. Только люблю иначе.

— Тогда зачем же вы скрывали от меня, что намерены переехать? Разве так полагается? Даже не посоветовались! Один все решили!

— Если бы я нашел подходящий дом, я, конечно, посоветовался бы с тобой, — сказал я и по возможности мягко принялся объяснять: — Видишь ли, Наоми, я и сейчас хочу окружить тебя роскошью. Я хочу, чтобы у тебя были не только богатые платья, но чтобы ты жила в подобаю-

щем доме, как настоящая замужняя дама. Поэтому у тебя не может быть поводов для недовольства.

— Ах, как я вам признательна...

— В таком случае пойдем завтра вместе искать дом, хорошо? Подыщем дом более просторный, чем этот, такой, который тебе понравится, где бы он ни был.

— Но я хочу европейский! — заявила Наоми. — Я наотрез отказываюсь от японского! — И пока я колебался с ответом, добавила, всем своим видом как бы бросая мне вызов: — Служанку я подыщу дома, в Асакусе, а этой деревенщине откажу. Прислуга — для меня, а не для вас...

По мере того как учащались такие размовки, напряженная атмосфера в доме все более усиливалась. Часто мы целыми днями не разговаривали друг с другом. Последняя вспышка произошла в начале ноября, через два месяца после того, как мы вернулись из Камакуры, когда я получил неоспоримые доказательства, что Наоми продолжает встречаться с Кумагаем.

Не стану подробно описывать обстоятельства, позволившие мне убедиться в этом. Уже давно занятый приготовлениями к переезду, я интуитивно с подозрением поглядывал на Наоми и не прекращал слезки и вот в один прекрасный день застал их вместе, на обратном пути из гостиницы Акэбоно, где они тайно встречались.

В тот день утром мне показалось подозрительным, что Наоми наряжалась и красилась тщательнее, чем обычно. Выйдя из дому, я сейчас же вернулся и спрятался за мешками с углем в маленькой кладовке у черного хода. В то время я то и дело пропускал службу. Примерно в девять часов Наоми (в тот день ей не нужно было идти на уроки), нарядно одетая, вышла из дома и быстрым шагом направилась не на станцию, а в противоположную сторону. Я дал ей пройти вперед пять-шесть кэнов, затем с величайшей поспешностью вернулся домой, вытащил старую пелерину и шляпу, которые носил еще студентом, набросил пелерину поверх костюма, всунул босые ноги в гэта и, выбежав на улицу, двинулся следом за Наоми. Она вошла в гостиницу, а минут через десять туда прошел Кумагай. Я остался ждать, когда они выйдут.

Ушли они тоже порознь. Первой вышла Наоми. Было уже одиннадцать часов, когда она показалась на улице. Я бродил вокруг гостиницы битых полтора часа... Так же, как утром, Наоми шла быстро, не глядя по сторонам. Я шел за ней следом. Не успела она войти в дом, как на пороге появился я.

В ту же секунду я увидел полные бешенства глаза Наоми. Она застыла как вкопанная посреди комнаты и напряженно смотрела на меня. У ее ног лежали скинутые мною утром шляпа, пальто, носки и ботинки.

Очевидно, она все поняла, потому что страшно побледнела и на ее лице отразилось глубокое спокойствие, как бы покорность судьбе.

— Убирайся вон! — закричал я так громко, что у меня зазвенело в ушах.

Наоми ничего не ответила. Мы стояли друг против друга, как два врага с обнаженными клинками, с ненавистью глядя друг на друга. Наоми была прекрасна в эти минуты. Я узнал, что чем больше мужчина ненавидит женщину, тем прекраснее она ему кажется. Дон Хозе убил Кармен, потому что чем больше он ее ненавидел, тем она казалась ему прекрасней. Теперь я предельно ясно понял его переживания. Наоми смотрела на меня в упор, на лице ее не дрогнул ни один мускул, бескровные губы были крепко сжаты. Да, это был подлинный облик порочной женщины, само воплощение зла...

— Убирайся! — еще раз крикнул я и, весь во власти невыразимого гнева, страха, страсти, не помня себя, схватил ее за плечи и толкнул к выходу. — Убирайся! Сейчас же! Убирайся вон!

— Простите!.. Дзэдзи-сан!.. Больше я никогда...

Выражение лица Наоми внезапно изменилось, в голосе зазвучала мольба, глаза наполнились слезами. Встав на колени, она глядела на меня, как бы прося пощады.

— Дзэдзи-сан, я виновата, умоляю вас, простите меня!.. Простите, простите!..

Я не ожидал, что она будет на коленях просить у меня прощения, и я рассвирепел еще больше. Я сжал кулаки и несколько раз ударил ее...

— Животное! Собака! Дрянь! Я не хочу тебя видеть. Убирайся! Вон, вон!

Наоми сразу же поняла, что допустила ошибку, и, мгновенно переменяв тактику, встала.

— Хорошо, я уйду, — сказала она самым обычным, спокойным тоном.

— Да, уходи сейчас же!

— Сейчас уйду. Можно пойти наверх и взять одежду?

— Нет, уходи сию же минуту! После можешь прислать за вещами прислугу. Пусть она заберет все сразу!

— Но я так не могу. Мне сразу же понадобятся кой-какие вещи.

— Делай как хочешь. Только скорей!

Сказав, что она увезет вещи сейчас же, она поднялась вверх и принялась там что-то двигать. Уложив вещи в корзину и в узел, она сама пошла за рикшей.

— Будьте здоровы. Благодарю вас за все заботы, — в виде прощального приветствия коротко бросила мне Наоми.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Когда коляска рикши с вещами Наоми отъехала, я, сам не знаю зачем, вынул из кармана часы и взглянул на циферблат. Было ровно тридцать шесть минут первого... Когда она вышла из гостиницы, было одиннадцать часов. За это время произошла ссора, в несколько мгновений все совершенно изменилось, только что она была здесь, а теперь ее уже нет. А прошел всего час и тридцать шесть минут... Часто, когда умирающий испускает последний вздох или когда происходит землетрясение, люди невольно смотрят на часы. У меня в тот момент было такое же состояние. Эра Тайсё, год такой-то, ноября такого-то, тридцать шесть минут первого... — в этот день, в этот час я расстался с Наоми. Нить, связующая нас, порвалась, быть может, навсегда...

Наконец-то я сбросил бремя. Наконец-то вздохнул легко... Измученный постоянной скрытой борьбой, которую мы вели все последнее время, я устало опустился на стул и некоторое время сидел словно в оцепенении. Сейчас я ощутил облегчение. Наконец я свободен. До сих пор я страдал не только морально, но и физически, и мне хотелось попросту отдохнуть — этого действительно требовало мое тело. Наоми была для меня как бы крепким вином, и, понимая, что в больших дозах оно пагубно для меня, я все же не мог не пить, когда изо дня в день вдыхал его пряный аромат и видел бокал, наполненный до краев. И чем больше я вкушал этот яд, тем сильнее проникал он во все клетки моего тела, затылок наливался свинцом, голова кружилась, казалось, я вот-вот рухну наземь. Я постоянно чувствовал себя как бы с похмелья, у меня пропал аппетит, ослабла память, исчез интерес ко всему, настроение было всегда подавленное, как у больного. Меня преследовал призрак Наоми, мне мерещился запах ее духов, пота, кожи. И теперь, когда Наоми — моей

мучительницы — не стало, я почувствовал облегчение, как будто рассеялись дождевые тучи.

Но, как я уже сказал, это было лишь мгновенное ощущение, и длилось оно короткое время. Каким бы я ни был крепким, вряд ли мои силы восстановились за один час. Не успел я облегченно перевести дух, как мне представилось холодное лицо Наоми во время недавней ссоры. «Чем сильнее ты меня ненавидишь, тем я прекраснее», — как будто говорило это лицо. Я ненавидел эту женщину. Так ненавидел, что, кажется, даже всадив в нее нож, не утолил бы ненависть, и облик этот, навеки выжженный в моем мозгу, неотступно стоял передо мной, как бы я ни старался его забыть, больше того, по мере того как шло время, я все яснее ощущал на себе упорный взгляд Наоми, и ненавистный облик постепенно становился все более прекрасным. Никогда прежде Наоми не была такой чарующе прекрасной. Она казалась живым воплощением порока. Красота ее тела и души достигла высшего предела. Час назад, во время нашей ссоры я невольно был поражен этой красотой, воскликнув в душе: «Как она хороша!» О, почему я не бросился перед ней на колени? Как мог я, робкий и мягкий человек, прийти в такую ярость и бросить грязные упреки этой грозной богине! Как мог поднять на нее руку! Откуда взялась у меня такая безумная отвага? Я сам удивлялся, думая об этом, и постепенно все больше раскаивался в своем безрассудстве и смелости.

«Глупец! Что ты наделал? Да, было что-то тягостное, неприятное, по все это не идет в сравнение с этим ее лицом. Такая красота дважды не встречается на земле!»

Мне казалось, кто-то посторонний говорит мне эти слова. Да, конечно, я совершил ужасное безрассудство. Ведь я всегда был так осторожен с ней, так старался никогда не сердить ее, сам дьявол меня попутал... Такие мысли бродили в моей голове.

Всего час назад Наоми казалась мне тяжким бременем, и что же? Теперь я, проклиная ее существование, проклиная самого себя? Эта ненавистная женщина опять так дорога мне? Я сам не в силах был объяснить такую стремительную перемену чувств, наверное, разрешить эту загадку может только сам бог любви... Я вскочил со стула и начал ходить взад и вперед по комнате, размышляя о том, как исцелиться от этой любовной тоски. Но сколько я ни думал, я не мог ничего придумать, вспоминалась только ее красота, вспоминались разные эпизоды нашей совместной жизни в течение прошедших пяти лет, выраже-

ние ее лица, ее взгляд, и все это еще больше усиливало мою тоску. Особенно ярко помнилось мне, как каждый вечер, когда ей было пятнадцать лет, я сажал ее в европейскую ванну и купал. Или как я превращался в лошадь — катал Наоми по комнате на спине. Почему все эти глупости были так дороги мне? Не знаю, но если бы она вернулась ко мне, я снова посадил бы ее к себе на спину и возил бы по комнате. Какая это была бы радость! Я мечтал об этом, как о недостижимом счастье. Нет, я не только мечтал — меня охватила такая любовь к Наоми, что я невольно опустился на четвереньки и начал ползать по комнате, как будто Наоми и сейчас сидела на мне верхом. Потом (об этом стыдно писать) поднялся на второй этаж, вытащил ее старые платья, положил их себе на спину, надел на руки ее носки и опять стал ползать в таком виде по комнате на четвереньках.

Читатели, наверное, помнят, что я вел дневник. В нем я подробно описывал, как я купал Наоми, и как с каждым днем развивалось ее тело. В этом дневнике я рассказывал о том, как маленькая девочка Наоми постепенно становилась взрослой женщиной. Я вспомнил, что кое-где на страницах этого дневника наклеены фотографии Наоми, снятой в разных видах. Я извлек со дна моего книжного шкафа тетрадь, покрытую толстым слоем пыли, и начал перелистывать страницы. Ни один человек, кроме меня, не должен был видеть эти фотографии, поэтому я сам проявлял и отпечатывал их. Наверное, я недостаточно промыл их водой, и сейчас они были испещрены пятнами, как веснушками; под влиянием времени некоторые были темны, как старинные портреты, но это делало их лишь еще более привлекательными в моих глазах. Казалось, будто с того времени прошло уже десять, двадцать лет и передо мной проносятся грезы моей юности. Здесь запечатлелась Наоми в своих любимых платьях — необычных, воздушных, роскошных и смешных. На одной фотографии Наоми в бархатном мужском костюме, на другой стоит, как статуя, закутанная в полотняную ткань. А вот она в блестящем атласном хаори и кимоно с узким оби, повязанным высоко на груди, и обшлагом ворота, сделанным из шелковой ленты. Было еще много карточек, где она подражала киноактрисам — улыбке Мэри Пикфорд, взгляду Глории Свэнсон, резкости Полы Негри, жеманности Биб Дэниел. Я видел ее то резкой, то грустной, то очаровательной, то улыбающейся. Все говорило о том, как она восприимчива, талантлива, сообразительна.

Ах, как я мог отпустить от себя такую женщину! Вне себя, я затопал ногами в бессильной злобе. Просматривая дневник, я находил все новые и новые фотографии. Они становились все детальнее, подробнее. Крупным планом были сняты ее нос, глаза, губы, пальцы, округлые линии рук, плечей, спины, ног, запястья, лодыжки, локти, колени, ступни... Я снимал ее, как фотографируют греческие статуи или буддийские изваяния. Тело Наоми было для меня подлинным произведением искусства, оно казалось мне более совершенным, чем все статуи Нары. Когда я смотрел на нее, во мне возникало глубокое религиозное чувство. Ах, зачем я делал эти детальные снимки! Или, может быть, я предчувствовал, что когда-нибудь они послужат мне для печальных воспоминаний?..

Моя тоска по Наоми усиливалась с каждой минутой. Уже стемнело, на вечернем небе зажглись первые звезды. Стало холодно. С самого утра я еще ничего не ел, и у меня не хватало сил, чтобы развести огонь и зажечь свет. Я ходил по темному дому то вверх, то вниз, ругая себя дураком, и бил себя по лбу. «Наоми, Наоми», — звал я, обращаясь к стенам тихого и пустого ателье, и, без конца повторяя ее имя, прижимался лбом к полу. Нужно вернуть Наоми во что бы то ни стало, любой ценой. Я безоговорочно капитулирую перед нею, буду исполнять все ее желания, повиноваться ее воле. Да, но где она сейчас, что с ней?.. У нее так много багажа, с вокзала в Токио она наверняка поехала на автомобиле. Значит, прошло уже часов пять или шесть, как она прибыла домой, в Асакусу. Расскажет ли она откровенно своим домашним, за что я прогнал ее? Или же из обычного своего упрямства выдумает какие-нибудь небылицы и станет втирать очки сестре и брату? Она, всегда со стыдом думавшая о своей семье, об их презренной торговле в квартале Сэндзоку, она, считающая своих родных людьми низшей расы и так редко навещавшая их. О чем советуются сейчас эти недружные сестры и брат? Конечно, ей скажут, чтоб она просила прощения, а она ответит: «Я не пойду извиняться. Пошлите кого-нибудь за вещами». И со спокойным лицом, как будто ничего не случилось, начнет шутить и хвастаться, вставляя английские слова и демонстрируя свои модные платья. Она будет высокомерна, как благородная барышня, на минуту заглянувшая в лачугу бедняков...

Однако, как-никак произошло важное для нее событие, и кто-то должен немедленно прийти к ней на помощь.

Если она откажется просить прощения, быть может, вместо нее придет ее сестра или брат? А если никто из родных не станет заботиться о ней? Наоми была всегда холодна с ними, и они, со своей стороны, не чувствуют никакой ответственности по отношению к ней. «Мы всецело поручаем вам этого ребенка, — сказали они, отдавая ее мне, когда ей было пятнадцать лет. — Делайте с ней что хотите...» — казалось, говорили они всем своим видом. Так, может быть, и теперь они предоставят ей действовать по своему усмотрению? Но все-таки придет же кто-нибудь за ее вещами? «Когда приедешь домой, пошли сейчас же кого-нибудь забрать все твои вещи», — сказал я ей. Почему же никто не приходит? Хоть она и взяла с собой смену одежды и туалетные принадлежности, но нарядов (самое важное для нее в жизни) осталось еще много. Не станет же она сидеть взаперти в этом грязном квартале Сэндзоку! Нет, она будет каждый день выходить шикарно разодетая, чтобы поразить соседей. Значит, ей нужны все платья, без них жизнь для нее невыносима...

Однако, как долго я ни ждал, посланный от Наоми в тот вечер так и не появился. Я сидел в темноте, не зажигая света, и вдруг подумал, что посланный может по ошибке принять наш дом за нежилой. Я поспешно зажег свет во всех комнатах, пошел проверить, не упала ли дощечка с моей фамилией у ворот, принес к входной двери стул и сел, прислушиваясь к звукам шагов снаружи. Пробыло восемь часов, девять, десять, наконец одиннадцать... Мिनвал уже целый день со злосчастливого утра, а никаких вестей от Наоми так и не было. В полном отчаянии я строил всевозможные бессвязные предположения. Наоми не присылает за вещами — это доказывает, что она, пожалуй, легко смотрит на случившееся. «Ну, глупости, он в меня влюблен. Он без меня и дня не сможет прожить, я уверена, он сам приедет сюда за мной», — думает она и поэтому не спешит. Она отлично понимает, что не сможет жить у своих родных так привольно, как привыкла жить до сих пор. К какому бы мужчине она ни пошла, никто не будет так обожать ее и исполнять все ее капризы и желания, как я. Наоми все это сознает, и, хотя на словах упряма, в душе, наверное, с нетерпением ждет, чтобы я приехал за ней... Или, может быть, завтра утром придет ее брат или сестра, чтобы уладить наши отношения. Вечером они заняты в своей лавке, так что отлучиться из дома могут, пожалуй, только утром... Возможно, даже лучше, что сегодня никто не пришел... А если и завтра не будет изве-

ствий, я поеду за ней. Теперь уже не до самолюбия, пусть люди говорят что хотят. Пусть смеется надо мной ее семья, пусть Наоми видит меня насквозь. Я поеду, буду тысячу раз умолять ее простить меня, просить брата и сестру уговорить ее... «Ради всего святого, вернись!..» — скажу я. Тогда ее самолюбие не пострадает и она с легким сердцем вернется ко мне.

Всю ночь я почти не сомкнул глаз и ждал весь следующий день до шести часов вечера, но никто не пришел. Не в силах больше терпеть, я выскочил из дому и помчался в Асакусу. Я хотел поскорее увидеть ее. Лишь бы увидеть — и я сразу успокоюсь. «Умирать от любви» — только это выражение подходит к моему тогдашнему состоянию. В сердце у меня было только одно желание — встретиться с Наоми, снова увидеть ее.

В дом на улице Сэндзоку, находившейся в запутанном лабиринте переулков позади чайных домиков, я попал лишь в семь часов. Смущенный, я приоткрыл раздвижную дверь.

— Я из Омори, Наоми дома? — тихо спросил я, стоя в прихожей.

Из соседней комнаты выглянула сестра Наоми. Лицо ее выразило удивление.

— О-о, Кавай-сан!.. Наоми-тян? Нет, она не приходила.

— Странно, она должна была приехать. Она ушла вчера вечером, сказала, что едет к вам...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Сначала я предположил, что сестра скрывает от меня Наоми по ее просьбе, и всячески просил сказать правду, но из дальнейшего разговора понял, что Наоми и в самом деле здесь не была.

— Странно... она и вещей с собой взяла много. Куда же ей идти с таким багажом...

— Как, и вещи взяла?

— Корзину, узел и чемодан, большую часть вещей. Правду сказать, вчера мы немного повздорили.

— Она сказала, что поедет сюда?

— Она?.. Нет, это сказал я: «Как только вернешься в Асакусу, сразу же пришли за вещами». Я думал посоветоваться, когда кто-нибудь из вас придет.

— А-а, понятно... Но она к нам не приходила. Быть может, еще вернется...

— Но если она ушла вчера вечером... и с тех пор неизвестно, где... — входя в комнату, сказал брат Наоми. — Поищите ее где-нибудь поблизости. Раз ее до сих пор здесь нет, вряд ли она сюда придет.

— И потом, Наоми-тян давно уже не появлялась. Пожалуй, я уже месяца два ее не видела.

— Тогда вот что... Пожалуйста, если Наоми придет сюда, немедленно дайте мне знать.

— Да, конечно, мы не собираемся снова брать ее в дом; если она вернется, мы сразу же вам сообщим.

Некоторое время я в растерянности сидел у порога, прихлебывая поданный мне чай. Незачем было рассказывать о своих переживаниях сестре и брату, не выказавшим особого беспокойства, узнав о бегстве младшей сестры. Поэтому я попросил, если Наоми появится днем, тотчас же позвонить мне по телефону на службу. Если меня не застанут там (в последнее время я часто пропускал службу), я просил послать телеграмму в Омори, и я сразу за ней приеду, а до тех пор просил не выпускать ее из дому. Чувствуя, что на этих безалаберных людей нельзя положиться, я еще раз на всякий случай оставил им номер своего служебного телефона, свой подробный адрес в Омори и вышел.

Что делать? Куда пойти?

Я готов был заплакать — впрочем, возможно, и в самом деле плакал; выйдя на улицу, я бесцельно побрел в парк. Убедившись, что Наоми не вернулась к родным, я понял, что положение серьезнее, чем я ожидал.

«Она, конечно, у Кумагая. Убежала к нему», — решил я. Я вспомнил, что вчера, уходя, Наоми заявила, что ей сразу же понадобятся кое-какие вещи. Да, конечно, она там. Решила отправиться к Кумагаю и поэтому взяла так много вещей. А может быть, они уже заранее договорились. В таком случае положение осложняется еще больше. Он скверный мальчишка, но родители, кажется, люди порядочные и не допустят, чтобы сын поступил так неприлично. Но, может быть, он тоже ушел из дома и скрывается где-нибудь вместе с Наоми? Украл у родителей деньги и развлекается с ней...

Во-первых, я не знаю, где живет Кумагай. Ну, да это можно узнать, но вряд ли он будет держать Наоми в родительском доме. Я переговорю с родителями Кумагая и потребую их вмешательства. Конечно, он может не послушать родителей, но как только все деньги выйдут, им не на что станет жить... В конце концов, ему придется воз-

вернуться домой, а Наоми вернется ко мне. Кончится дело этим, но тем временем что будет со мной? Когда наступит конец моим мукам — через месяц, через два, через три или, может быть, через полгода? Нет, это ужасно! Возвращение затянется, а за это время она, чего доброго, может встретить еще какого-нибудь мужчину... Медлить нельзя... Если мы будем жить врозь, связь между нами ослабеет. С каждой секундой Наоми все больше отдаляется от меня. Черт возьми! Нет, я не позволю ей убежать! Я верну ее во что бы то ни стало!

Если бы я мог сейчас помолиться! Я не верил в богов, но в тот момент я вспомнил о них и взмолился, обращаясь к богине Каннон. «Сделай так, чтоб я скорей узнал, где Наоми, сделай так, чтоб она завтра же вернулась ко мне», — искренно молил я. Не помню, где я бродил потом. Обойдя несколько баров и безобразно напившись, я вернулся в Омори за полночь. Но, как ни пьян я был, мысль о Наоми не покидала меня. Я старался заснуть, но это не удавалось. Протрезвев, я снова стал тосковать все о том же. Как узнать, где Наоми? Действительно ли она убежала к Кумагаю? Остается только нанять сыщика, иначе ничего не узнаешь. Но тут я неожиданно вспомнил о Хамаде. Да, да, ведь существует же Хамада, я совсем позабыл о нем! Он будет на моей стороне. Когда мы расстались в ресторане «Мацуаса», я взял его адрес. Завтра же ему напишу. Письмо идет слишком долго, дам телеграмму... Нет, это уж чересчур! Может быть, у него есть телефон, позвоню ему и попрошу прийти. Нет, не нужно звать его к себе, лучше попросить, чтобы он, когда у него будет свободное время, сходил на разведку к Кумагаю, — сейчас важнее всего узнать, что собирается предпринять Кумагай. Хамада связан с ним, он сумеет разузнать все. В данное время только он способен понять мои страдания, помочь мне. Но, может быть, и эта моя надежда похожа на «молитву в час беды»...

На следующее утро я вскочил в семь часов и побежал к соседнему автомату. Взяв телефонную книжку, я, к счастью, нашел там телефон Хамады.

— Вам молодого барина? Они еще почивают... — ответила служанка.

— Простите, но у меня спешное дело, пожалуйста, передайте ему, — попросил я.

Через некоторое время я услышал голос Хамады:

— Кавай-сан? Из Омори? — спросил он сонным голосом.

— Да, Кавай. Из Омори. Простите, пожалуйста, за беспокойство. Конечно, очень невежливо звонить в такое время, но, понимаете, дело в том, что... Наоми сбежала.

Слово «сбежала» я невольно произнес, чуть не плача. Вышло холодное зимнее утро, я вышел, накинув только короткое ватное кимоно поверх ночного, и, сжимая телефонную трубку, не мог остановить дрожь.

— Ах, вот что?.. Я этого ожидал...

Я не думал, что Хамада отнесется к этому так спокойно.

— Вы уже знаете?

— Я видел ее вчера вечером.

— Наоми?.. Вчера вечером мы встречались с Наоми?

Теперь я не только дрожал всем телом, но у меня зуб на зуб не попадал.

— Вчера я ходил на танцы в Эльдорадо, и Наоми была там. Я особенно не расспрашивал, но она была какая-то совсем другая, и я подумал, что, наверное, что-то произошло.

— С кем она была? С Кумагаем?

— Не только с Кумагаем, с ней было еще несколько человек, в том числе один европеец.

— Европеец?..

— Да... И на ней было роскошное европейское платье.

— Когда она уходила из дому, она не взяла европейских платьев.

— Тем не менее на ней было европейское платье, роскошный вечерний туалет.

Ошеломленный, я так и застыл на месте, как человек, которого морочит лиса, и не знал, о чем еще спрашивать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Алло, алло, Кавай-сан, что с вами?.. Я слушаю...

Я долго молчал у телефона.

— Алло, алло... — повторял Хамада.

— А-а, да...

— Это вы, Кавай-сан?

— Да... да...

— Что с вами?

— Я... Я не знаю что делать...

— Нельзя же размышлять у телефона! Так вы ничего не придумаете.

— Я понимаю... Хамада-кун, я не знаю как быть... Я совсем потерял голову. С тех пор как она ушла, я страдаю, не могу уснуть. — Чтобы вызвать сочувствие Хамады, я продолжал как можно более жалобным тоном: — Хамада-кун, сейчас у меня нет никого, к кому обратиться. Простите, что беспокою вас, но я... я хочу как-нибудь узнать, где Наоми. У Кумагая она или у кого-то другого? Вот и осмелился просить вас об этом: не можете ли вы узнать? Я думал, что поскольку вы связаны с ним, то разузнаете обо всем лучше, чем я. Поэтому...

— Хорошо, это я сразу узнаю,— без запинки ответил Хамада. А у вас есть какое-нибудь предположение, где она может находиться?

— Я думаю, Наоми, конечно, у Кумагая. Вам я могу сказать. У меня есть доказательства, что Наоми по-прежнему тайно встречалась с ним. Это открылось, и поэтому мы поссорились. Я выгнал ее из дому.

— Гм...

— Вы сказали, что видели ее с европейцем и с другими мужчинами... В европейском платье?.. Это совсем сбивает меня с толку. Но если вы встретитесь с Кумагаем, то сможете узнать, как обстоит дело.

— Да, конечно, конечно, — перебил мои жалобы Хамада, — постараюсь во что бы то ни стало узнать.

— И прошу вас — поскорее! Если бы вы уже сегодня сообщили мне, я был бы вам так обязан...

— Хорошо, может быть, я узнаю сегодня же. Куда вам сообщить? Вы по-прежнему в конторе на улице Ои?

— Нет, с тех пор как это случилось, я не в силах ходить на службу. Мне все время кажется — вдруг Наоми вернется, а дома никого нет... И вот еще что: хоть это дерзко с моей стороны, но, видите ли, разговаривать по телефону несколько неудобно, хорошо бы нам встретиться... Если вы что-нибудь узнаете, не сможете ли вы приехать в Омори?

— Мне все равно. Я свободен.

— Вот спасибо! Я буду вам очень благодарен. — И мысленно представив себе, с каким нетерпением я буду его ждать, я торопливо добавил: — Когда приблизительно вы придете? Часам к двум, к трем, вы, вероятно, уже узнаете?

— Думаю, что узнаю, по наверное не могу сказать. Приложу все усилия, по, может быть, пройдут два-три дня...

— Ничего не поделаешь! Я буду ждать вас дома и завтра, и послезавтра.

— Хорошо. При встрече поговорим обо всем подробно. До свидания!

— Алло, алло... — Автомат было выключился, но я снова поспешно вызвал Хамаду. — Алло, алло... Э-э... Вот еще что... Это, конечно, зависит от обстоятельств, но если вы сами увидите Наоми и будете говорить с ней, пожалуйста, скажите ей, что... Я не обвиняю ее ни в чем, я понял, что тоже виноват в ее падении. Я был неправ и поэтому прошу у нее прощения. Я согласен на все условия, готов забыть все и прошу ее вернуться ко мне. Если она не согласится, то прошу хотя бы встретиться со мной один раз...

Я готов был сказать: «Если она прикажет мне валяться у нее в ногах, я с радостью сделаю это. Если прикажет бить лбом об пол, прося прощения, я согласен... Я согласен на все...» — но я все же постеснялся это сказать и добавил только:

— Если можно, передайте ей это, пожалуйста...

— Хорошо, если представится случай, непременно передам.

— Затем... у нее такой характер... я думаю, что даже если она хочет вернуться, она все равно станет упрямиться, так передайте ей, что я совсем пал духом. Приведите ее насильно!

— Понял, понял... Ручаться не могу, но постараюсь сделать все, что возможно.

Я был слишком назойлив, и Хамада, кажется, начал терять терпение, но я продолжал говорить до тех пор, пока в моем кошельке не осталось ни одной монеты в пять сэн. Чуть не плача, я говорил дрожащим голосом и, наверное, впервые в жизни так многословно и бессвязно. Но, повесив трубку, я не только не вздохнул с облегчением, но не находил себе места в ожидании Хамады. Он сказал, что, возможно, придет сегодня, но что делать, если сегодня ему прийти не удастся? Нет, не «что делать?», а «что со мной будет?». Сегодня остается только тосковать о Наоми. Ничего другого я делать не в состоянии, ни спать, ни есть, ни выйти из дома. Я должен сидеть взаперти и ждать сложа руки известий от постороннего человека, которого я заставил бегать и хлопотать ради меня. Вообще нет ничего мучительнее бездействия, а я вдобавок еще до смерти любил Наоми. Представьте себе, какая пытка, сгорая от тоски по ней, следить за стрелкой часов, вручив решение своей судьбы другому! Минуты тянулись бесконечно, время шло нестерпимо медленно. Шестьдесят этих бесконечных минут — всего лишь час, сто двадцать минут —

всего лишь два часа... А чтобы прошло три часа, придется сто восемьдесят раз вытерпеть, пока секундная стрелка с монотонным тиканьем обежит циферблат! А если это будут не три, а четыре часа, или пять, или шесть, а, может быть, день, два, три... От нетерпения и тоски я, несомненно, сойду с ума...

Я решил, что Хамада может прийти не раньше вечера, но часа через четыре после нашего разговора по телефону громко зазвенел входной колокольчик, и когда вслед за тем я услышал голос Хамады, то чуть не подпрыгнул от радости и бросился открывать дверь.

— Здравствуйте! Сейчас открою, ключ в д в е р я х , — сказал я.

Я не думал, что он придет так скоро. «Что, если он виделся с Наоми? Может быть, он видел ее, все рассказал, все устроил и привел с собой?» — подумал я, и сердце еще сильнее забилося от радости.

Дверь отворилась. Я огляделся кругом, волнуясь, не стоит ли Наоми за спиной Хамады, но никого не было. В дверях стоял один Хамада.

— Здравствуйте, здравствуйте... Ну, как? Узнали? — почти набросился я на него, но он держался спокойно и как бы с жалостью посмотрел на меня:

— Да, узнал, но... Кавай-сан, она уже погибла. Лучше всего, если вы забудете ее! — решительно сказал он и покачал головой.

— По... по... почему?

— Почему — это другой вопрос... Забудьте Наоми-сан, мой вам совет!

— Значит, вы ее видели?.. Разговаривали с ней? Она сказала, что не вернется?

— Нет, я не видел Наоми-сан. Я пошел к Кумагаю и от него узнал все. Это слишком ужасно. Я потрясен!

— Но, Хамада-кун, все-таки где же Наоми? Прежде всего скажите мне, где Наоми?

— Где она, сказать трудно. Определенного места нет. Она ночует где попало.

— Но где же? У нее не так много знакомых семей...

— Вы даже не знаете, сколько у Наоми-сан друзей-мужчин... Правда, сначала, после ссоры с вами, она приехала к Кумагаю. Он сказал мне, что, если бы она заранее предупредила его по телефону и приехала бы без шума, еще можно было бы как-нибудь все устроить, но она приехала с вещами на автомобиле, вошла через парадную дверь, дома всполошились — кто эта особа? Он

даже не мог пригласить Наоми войти и сам растерялся.

— А потом?

— Ну, а потом, делать нечего, пришлось оставить вещи в комнате Кумагая и вдвоем выйти из дома, отправиться в какую-то подозрительную гостиницу. Эта гостиница находится неподалеку от Омори и называется, кажется, «Акэбоно». Это то самое место, где они встретились утром в тот день, когда вы их накрыли. Отчаянные, правда?

— Значит, в тот день они снова пошли туда?

— Да, так он сказал. Кумагай с гордостью рассказывал об этой любовной интрижке, но мне было противно его слушать.

— Значит, в ту ночь они вместе там ночевали?

— Да нет, представьте, они пробыли там до вечера, а после пошли прогуляться по Гиндзе и расстались на углу улицы Овари.

— Но это очень странно! Не лжет ли Кумагай?

— Нет, слушайте дальше... При расставании Кумагаю стало жалко ее, и он спросил: «Где же ты будешь сегодня ночевать?» — а она ответила: «У меня много мест, где я могу ночевать. Поеду в Йокохаму». Потом сразу пошла по направлению к станции Симбаси.

— В Йокохаму?.. К кому же?

— Кумагай очень удивился и подумал, что, как ни много у нее знакомых, все же в Йокохаме никого нет, и она, наверное, вернется домой, в Омори. А на следующий день, вечером, она позвонила ему по телефону: «Жду тебя в Эльдorado, приходи сейчас же». Он поехал и увидел Наоми-сан в шикарном вечернем туалете, с веером из павлиньих перьев, на шее ожерелье, на руках сверкает браслет... Ее окружали мужчины, в том числе европейцы. Она веселилась вовсю.

Я слушал Хамаду. Ошеломляющие факты выскакивали в его рассказе, как из ящика фокусника. В первый вечер Наоми, кажется, ночевала у европейца в Йокохаме. Его зовут — Вильям Мак-Нейл. Это тот самый напудренный, женственный и наглый европеец, который, даже не представившись, пригласил Наоми танцевать в тот вечер, когда мы с ней впервые пришли в кафе Эльдorado. Но еще удивительней (это наблюдение сделал Кумагай) то, что до этого вечера Наоми вовсе не была так уж близка с Мак-Нейлом. Правда, — сказал Кумагай, — он уже давно был у нее на примете... Что поделаешь, у него такая внеш-



ность, которая нравится женщинам, он похож на актера,строен. У знакомых танцоров он слышет «сердцеедом». Наоми сама говорила, что у этого европейца хороший профиль, напоминающий Джона Бали (так она называет американского киноактера Джона Бальмора). Ясно, что она обратила на него внимание и, может быть, кокетничала с ним. Мак-Нейл, очевидно, тоже это заметил. «Кажется, я понравился...» — шутил он. Поэтому, когда она нагрянула к нему, хотя отношения были, в общем, еще далекие, Мак-Нейл решил, что к нему залетела занятая птица. «Оставайтесь у меня ночевать», — наверное, сказал он, и она ответила: «Отчего ж, можно».

— Как хотите, я не могу этому поверить! В первый раз прийти в гости к мужчине и в тот же вечер остаться ночевать!..

— Кавай-сан, для Наоми-сан это проще простого. Мак-Нейл тоже нашел это странным. На другой вечер он спрашивал Кумагая, кто она вообще такая.

— Но и он хозяин!.. Оставляет ночевать у себя совершенно неизвестную женщину... — начал я, но Хамада перебил меня.

— Не только оставляет ночевать, но и одевает ее в европейское платье, дарит ей ожерелье, браслеты. Это же поразительно! За одну ночь они так сблизились, что Наоми-сан называет его не «Мак-Нейл» или «Вильям», а просто — «Вилли, Вилли».

— Значит, он купил ей европейское платье и ожерелье?

— «Одолжил, как принято у европейцев, у своей приятельницы и временно отдал Наоми», — говорит Кумагай... Наоми-сан подольстилась к нему, сказала, что хочет одеваться по-европейски... Ну, а он теперь старается угодить ей. Похоже, что это не готовое платье. Оно сидит на ней как влитое... Туфельки лакированные, на высоких французских каблучках, украшены, кажется, блестящими пряжками — на них сверкали какие-то камни. Вчера вечером Наоми-сан была настоящая Золушка из сказки.

Я вдруг представил себе, как прекрасна должна быть Наоми-Золушка, и все всколыхнулось у меня в груди, но в следующее мгновение меня охватило какое-то невыразимое чувство, в котором переплелись гадливость, обида, горе. Уж лучше бы она ушла к Кумагаю! Как может женщина, еще вчера имевшая мужа, уйти к совершенно незнакомому европейцу, больше того, остаться у него ночевать и выпрашивать новое платье? Неужели та самая

Наоми, которая жила со мной много лет, — грязная проститутка?! Выходит, я до сих пор так и не сумел разгадать ее сущность и предавался глупым мечтам... Хамада прав: как бы я ни любил ее, я должен забыть о ней. Она меня опозорила, втоптала в грязь мое мужское достоинство...

— Хамада-кун, я рискую наскучить вам, но повторяю еще раз: верно ли все, что вы говорите? Это подтверждает не только Кумагай, вы тоже в этом уверены?

Увидев слезы, выступившие у меня на глазах, Хамада сокрушенно кивнул.

— Я прекрасно понимаю ваше состояние и сочувствую вам, но я сам видел ее вчера вечером и убедился, что Кумагай сказал правду. При желании я мог бы еще многое рассказать вам, так что сомневаться не приходится... Прошу вас, больше не спрашивайте меня, верьте мне на слово! Я ничего не преувеличиваю.

— Спасибо... Довольно и этого... Больше я ничего не хочу слышать.

Слова застряли у меня в горле, и внезапно крупные слезы одна за другой скатились из глаз. «Так не годится», — подумал я и вдруг, судорожно обняв Хамаду, уткнулся лицом ему в плечо. Рыдая, я не своим голосом выкрикивал:

— Хамада-кун! Я... я... забуду ее. Начисто забуду!

— Правильно! Правильно! — сказал Хамада. В голосе у него тоже звучали слезы. — По правде говоря, я пришел к вам сегодня сказать, что Наоми безнадежна. Быть может, когда-нибудь она еще явится к вам как ни в чем не бывало, но теперь уже никто не относится к ней серьезно. По словам Кумагай, все считают ее просто женщиной для развлечений и дали такое ужасное прозвище, что я не решаюсь его произнести. Сколько позора пришлось вам пережить, не догадываясь об этом...

Слова Хамады, когда-то так же, как я, любившего Наоми, обманутого и брошенного ею так же, как я, — эти слова, полные юношеского негодования и искреннего желания помочь мне, действовали, как острый скальпель, отсекающий пораженную гниением ткань. Все считают ее просто-напросто орудием наслаждений, ей дали ужасное прозвище, которое невозможно произнести... — это страшное открытие, как ни странно, успокоило меня. Слезы высохли, и с плеч спала тяжесть, как будто я очнулся после приступа лихорадки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Кавай-сан, не будем сидеть взаперти, пойдем прогуляемся, чтобы немного рассеяться!

— Тогда подождите немного, — ответил я, немного приободрившись.

Я уже два дня не брился, не чистил зубы. Побрившись и умыв лицо, я почувствовал облегчение. Было уже половина третьего, когда мы вышли с Хамадой на улицу.

— Сейчас хорошо за городом, — сказал Хамада.

— В таком случае, пойдем в ту сторону, — согласился я.

Мы пошли по направлению к Икэгами. Вдруг я остановился.

— Нет, не стоит, туда нам идти нельзя!

— Почему?

— На том углу находится гостиница «Акэбоно».

— А-а... Это не годится! Ну, тогда давайте выйдем на берег моря и пойдем в сторону Кавасаки.

— Да, так будет лучше, там мы в безопасности.

Мы пошли по направлению к вокзалу, по я подумал, что здесь тоже небезопасно. Если Наоми до сих пор бывает в «Акэбоно», то как раз в это время может выйти оттуда вместе с Кумагаем, а между Токио и Йокохамой мы можем встретить ее с тем европейцем. Стало быть, к станции тоже идти нельзя. Мы свернули в переулок и подошли к шлагбауму, пересекающему тропинку в поле.

— Сегодня я доставил вам много беспокойства, — рассеянно сказал я.

— Ну что вы, пустяки... Я предчувствовал, что рано или поздно случится нечто подобное, — ответил Хамада.

— Должно быть, я был очень смешон в ваших глазах?

— Но я тоже был смешон в свое время, так что не могу смеяться над вами. Но вот когда я охладел к ней, да, тогда мне стало вас очень жаль.

— Вы еще молодцы, а каково мне в тридцать с лишним лет попасть в такое глупое положение? Если бы не вы, я, наверное, еще долго оставался бы в дураках...

Мы вышли в поле. Осеннее небо, как бы на утешение мне, было высоким и ясным. Дул сильный ветер, пощипывающая распухшие от слез веки. Вдали, по рельсам, с грохотом мчалась среди полей электричка, на которой нам нельзя было ехать.

Некоторое время мы молчали.

— Хамада-кун, вы обедали? — спросил я.

— Нет еще, а вы?

— С позавчерашнего дня я только пил вино, но почти ничего не ел. Сейчас я очень проголодался.

— Представляю себе!.. Это вы зря... Нельзя истощать себя!

— Пустяки! Благодаря вам у меня открылись глаза, я буду вести себя разумно. С завтрашнего дня становлюсь другим человеком. Пойду на службу.

— Это отвлечет вас от печальных мыслей. Я вот тоже — когда разочаровался в любви, увлекся музыкой.

— Кто может заняться музыкой — в таких случаях это лучше всего. Но у меня нет никаких талантов, так что остается только усердно работать. Однако, как-никак мы голодны. Не пойти ли нам куда-нибудь поесть?

Разговаривая таким образом, мы доплелись до Рокуго и вскоре вошли в закусочную в городке Кавасаки, и, сидя у поставленной на огонь сковороды, так же, как некогда в «Мацуаса», заказали сакэ.

— Выпейте рюмку! — предложил я Хамаде.

— Нет, на пустой желудок вино ударит в голову.

— Ничего, пейте! Считайте, что поздравляете меня с избавлением от напасти... Выпейте! С завтрашнего дня я тоже бросаю пить, а сегодня можно выпить как следует!

— Ах, вот как? Хорошо, пью за ваше здоровье!

К тому времени как лицо Хамады раскраснелось, как огонь, от выпитого вина, я тоже изрядно опьянел и уже не соображал толком, грустно мне или весело.

— Хамада-кун, я хочу кое о чем спросить в а с . . . — сказал я, выбрав подходящий момент и придвигаясь к нему поближе, — вы сказали, что Наоми дали ужасное прозвище. Что это за прозвище?

— Нет, этого я вам не скажу. Оно слишком ужасно.

— Пусть даже ужасно... Она мне теперь совсем чужая, так что можете не стесняться! Ну же, скажите, как ее называют... Мне, наоборот, будет даже легче забыть ее, если я это узнаю.

— Может быть, но я никак не в силах это произнести. Быть может, вы сами догадаетесь, что это за прозвище. Правда, почему ее так прозвали — это я могу рассказать.

— Хорошо, расскажите...

— Но, Кавай-сан... Вот, право, незадача... — Хамада почесал затылок. — Это тоже, честное слово, ужасно. Когда вы услышите, у вас испортится настроение...

— Ничего, ничего, я спокоен. Говорите! Я хочу узнать все тайны этой женщины только из чистого любопытства...

— Ну, ладуо, немножко приоткрою вам эти тайны... Как по-вашему, сколько мужчин обладало Наоми-сан этим летом в Камакуре?

— Как? Были еще, кроме вас и Кумагая?

— Кавай-сан, не удивляйтесь! И Сэки, и Накамура тоже входили в это число.

Я был пьян, но почувствовал, что мое тело как будто пронизал электрический ток. Сам не отдавая себе отчета в том, что делаю, я опорожнил подряд несколько стоявших предо мной чарочек сакэ и только после этого вновь обратился к Хамаде.

— Значит, вся компания? Без исключения?

— Да... Знаете, где они встречались?

— На даче этого Окубо?

— В снятом вами флигеле, у садовника.

— О - о, — я замолчал. У меня перехватило дыхание. — Вот оно что... действительно... я поражен, — наконец с усилием простонал я.

— Хуже всего было тогда, пожалуй, положение жены садовника. Она не могла выгнать Кумагая, потому что он барин. Ее собственный дом превратился в притон. Беспредельно приходили и уходили разные мужчины. Соседи стали коситься. К тому же она боялась, что, если вы узнаете обо всем, может случиться что-нибудь ужасное, и очень тревожилась.

— А, понятно... Вот почему хозяйка так растерялась, когда я как-то расспрашивал ее о Наоми! Дом в Омори превратился в место тайных свиданий, а флигель садовника — в дом терпимости. А я ничего не знал... Да, ничего не скажешь, ужасно.

— Кавай-сан, не напоминайте мне об Омори. Я должен просить у вас прощения!

Я засмеялся.

— Да что там, не все ли равно, вы или другой, — все это дело прошлое и уже не имеет значения! Но как ловко обманывала меня Наоми! Блестящая, безукоризненная работа! Остается только рот разинуть от удивления.

— Да, такое чувство, будто тебя положили на обе лопатки искусным приемом в борьбе...

— Вот именно, вот именно... Значит, Наоми забавлялась со всеми этими молодцами, и они ничего не знали друг о друге?

— Нет, знали. Случалось даже, что иногда двое натыкались друг на друга.

— И не было скандала?

— Они заключили молчаливое соглашение и считали Наоми-сан общим достоянием. Они дали ей это ужасное прозвище и за глаза ее так называли. Вы были счастливы, не зная об этом, но я ужасно страдал, постоянно думая, как спасти Наоми. Я высказывал ей свое мнение, убеждал, но она сердилась и считала меня дураком. — Под влиянием этих воспоминаний Хамада говорил все более взволнованно. — Кавай-сан, тогда в ресторане я вам не все рассказал...

— Вы сказали тогда, что Наоми близка с Кумагаем...

— Да. И это была правда. Сошлись ли они характерами, но он был ей ближе всех. Он был для нее главным. Это он научил ее разным гадостям... Оттого я и сказал вам тогда о нем, но остального сказать не мог. Потому что тогда я еще молил богов, чтобы вы не бросили Наоми, чтобы вы вывели ее на честный путь.

— Но я не вывел Наоми, наоборот, сам последовал за ней.

— С любым мужчиной, который встретит Наоми-сан, будет то же самое!

— В этой женщине таится какая-то дьявольская сила.

— Да, правильно, именно дьявольская сила! Я тоже это почувствовал и понял наконец, что сближаться с ней опасно, — пропадешь!..

«Наоми, Наоми». — без конца повторяли мы ее имя. Оно служило как бы закуской к нашему сакэ. Мы ощущали его вкус на языке отчетливее, чем вкус говядины. Мы облизывались, произнося это имя.

— Ну, да ничего. С такой женщиной можно разок и обман стерпеть... — сказал я, весь во власти неизъяснимых чувств.

— Вы правы! Благодаря ей я узнал, что значит первая любовь... Пусть недолго, но я изведаль с ней прекрасные грезы любви... В сущности, я должен быть благодарен ей... — говорил Хамада.

— Но что будет с ней теперь? Что ее ждет?

— Думаю, постепенно она будет опускаться все ниже. Кумагай говорит, что у Мак-Нейла она долго не проживет, через несколько дней опять сбежит куда-нибудь... Кумагай говорит, что у него остались ее вещи, так что, может быть, явится к нему... А что, разве у Наоми-сан нет своей семьи?

— Ее семья держит кабак в Асакусе. Я никому не рассказывал об этом, потому что жалел Наоми.

— Вот как! Что ни говорите, происхождение все-таки

сказывается. По словам Наоми, ее предки были знатные самураи. Она родилась и жила в роскошной усадьбе на улице Симо-нибантё. В эпоху «Рокумэйкан» ее бабушка танцевала там на балах... Имя «Наоми» ей также дала бабушка. Не знаю, насколько все это правда... Во всем виновата ее семья. Сейчас я еще раз убеждаюсь в этом. В жилах Наоми течет порочная кровь, оттого она и стала такой, несмотря на то что вы взяли ее к себе!

Мы проболтали так часа три. Был уже восьмой час вечера, когда мы вышли на улицу, а мы все еще не наговорились.

— Хамада-кун, вы поедете электричкой? — спросил я, шагая с ним рядом по улицам городка Кавасаки.

— Конечно, пешком ведь не дойдешь...

— Да, но я поеду трамваем. Раз она живет сейчас в Йокохаме, электричкой ехать рискованно.

— Ну, тогда я тоже поеду трамваем... Но все равно, раз Наоми-сан так скачет то туда, то сюда, когда-нибудь непременно доведется столкнуться с ней...

— Выходит, нам и на улицу нельзя выйти...

— Наверно, она каждый вечер ходит на танцы. Район Гиндзы — самый опасный...

— В Омори тоже небезопасно... Ближе от Йокохамы, и потом там находится ресторан «Кагэцуэн» и эта гостиница «Акэбоно»... Пожалуй, брошу я этот дом и переберусь опять в пансион. Пока вся эта история не утихнет, не хочу ее видеть!

Мы вместе поехали на трамвае и расстались в Омори.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В то время как я страдал от одиночества и несчастной любви, произошло еще одно горестное событие. Моя мать внезапно скончалась от апоплексического удара.

Телеграмма с известием о тяжелой болезни матери пришла на третий день после моего свидания с Хамадой. Получив ее на службе, я тут же помчался на вокзал в Уэно и уже вечером был на родине, но застал мать уже без сознания; так и не узнав меня, она скончалась через несколько часов после моего приезда.

Мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать одна воспитывала меня, и теперь я впервые узнал, какое это великое горе — терять родителей, тем большее, что наши отношения с матерью были гораздо сердечнее, чем бывает обычно. Сколько ни вспоминал, я не мог припомнить ни

одного случая, чтобы я спорил с матерью или чтобы она бранила меня. Конечно, я очень уважал ее, но существовали и другие причины моей привязанности к матери: она всегда умела понять меня и была воплощенной любовью и добротой. Обычно, когда сын подрастает, он уезжает из провинции в столицу. Родители беспокоятся, боятся, как бы он не сбился с пути, и часто на этой почве между родителями и детьми возникает отчужденность, но когда я уехал в Токио, моя мать всегда доверяла мне, понимала все мои настроения и заботилась обо мне. Наверное, ей было и тяжело, и тоскливо отпустить в Токио единственного сына и остаться только с двумя младшими дочерьми, но мать никогда не жаловалась и сама настояла на моем отъезде. Поэтому, находясь вдали от нее, я еще сильнее чувствовал всю силу ее любви. Не могу забыть, что она всегда, в особенности после моей женитьбы на Наоми, исполняла все мои прихоти и горячо любила меня.

И вот теперь, когда мать умерла так внезапно и я стоял у ее гроба, мне казалось, словно я нахожусь в каком-то сне. Между тем человеком, кто еще вчера сходил с ума по Наоми, и тем, кто, держа в руке зажженное ритуальное курение, стоял на коленях перед покойницей, не было ничего общего. «Кто же из них настоящий «я», вчерашний или сегодняшний?» — скорбя и обливаясь горькими слезами, спрашивал я себя, и неизвестно откуда мне слышался голос: «Смерть матери не случайна. Мать предостерегает тебя. Следуй же ее наставлениям!» Я понял, что совершил непростительную ошибку, и снова залился слезами раскаяния. Стыдясь своих слез, я вышел из дому. Взобравшись на холм, я продолжал рыдать, глядя на растилавшиеся передо мной рощи, дорогу, поля, овечьи воспоминаниями детства.

Это тяжелое, большое горе как бы очистило меня и смыло грязь, налипшую на мое тело и душу. Не будь его, я, может быть, все еще страдал бы от несчастной любви, не в силах забыть ту развратную женщину. Я понял, что смерть моей матери исполнена глубокого смысла. По крайней мере, отныне я обязан жить так, чтобы ее смерть не оказалась бессмысленной. Я думал о том, что жизнь в городе мне уже опротивела. Карьера, успех?.. Но уехать в Токио и вести там легкомысленную, пустую жизнь — еще не означает преуспеть в жизни. В конце концов ведь я все-таки «провинциал», провинция мне больше подходит. Вернувшись туда, я буду ближе к родной земле. Буду ухаживать за могилой матери, дружить с соседями и стану

крестьянином, как мои предки. Меня обуяло это желание, но дядя, сестры и все родственники в один голос твердили:

— Ты решаешь слишком поспешно. Понятно, что сейчас ты пал духом, но нельзя же мужчине из-за смерти матери губить свое будущее! Теряя родителей, все сначала отчаиваются, но время проходит, и горе постепенно слабеет. Вот и ты, если уж решишь вернуться в деревню — что ж, возвращайся, но сперва обдумай все хорошенько. Во-первых, так внезапно уйти со службы — нечестно по отношению к компании! — «По правде говоря, дело не только в этом. Меня бросила жена...» — готово было сорваться у меня с языка, но я постеснялся рассказать об этом при всех и так ничего и не сказал. На вопрос, почему не приехала Наоми, я ответил, что она больна.

Через семь дней после первых поминок я поручил дяде управление хозяйством и, следуя совету всех родственников, уехал в Токио.

Я ходил на службу, но ничто меня не интересовало. Теперь на службе относились ко мне уже не так хорошо, как раньше. Я уже упомянул, что был всегда исполнитель, но из-за Наоми я очень себя скомпрометировал. И начальство, и сослуживцы перестали относиться ко мне с доверием, некоторые даже иронически замечали, что смерть матери станет для меня благовидным предлогом, чтобы опять манкировать службой. Ходить в контору становилось все тягостнее. Приехав на один вечер в деревню, на вторые поминки, я вскользь сказал дяде, что, наверно, все же оставлю службу. На следующий день я опять поплелся в контору. Днем, на службе было еще так-сяк, но по вечерам и с наступлением ночи я буквально не знал, куда себя девать. Я никак не мог решить, уехать ли мне на родину или остаться в Токио, поэтому все еще не перебрался в пансион и ночевал один в пустом доме в Омори.

После работы, опасаясь встретиться с Наоми, я избегал оживленных улиц и возвращался в Омори трамваем Токио — Йокохама. Кое-как поужинав в ближайшем ресторанчике, я не знал, на что убить время. От нечего делать я поднимался в спальню и ложился в постель, но сразу заснуть не удавалось. Проходил час за часом, а я все еще лежал с открытыми глазами. Спал я во втором этаже, в той самой комнате под крышей. Там и сейчас лежали ее вещи, за пять лет комната вся пропиталась запахом легкомыслия, разврата и беспорядка. Это был аромат ее тела. Неряшливая Наоми не стирала своих грязных вещей, а просто, скомкав, бросала их, и в плохо проветриваемой

комнате стоял этот специфический запах. Это было мучительно, и я перешел потом на диван в ателье, но и там я тоже засыпал с трудом.

Прошло три недели со дня смерти матери. С наступлением декабря я твердо решил в начале нового года уйти со службы. Правда, я ни с кем не советовался и все решил в одиночку, поэтому дома, в провинции, об этом еще не знали. Таким образом, оставалось потерпеть еще всего месяц, и я несколько успокоился, начал в свободное время читать или гулять, но, конечно, даже близко не подходил к «опасным» местам. Однажды вечером я дошел от скуки до Синагавы, и, чтобы убить время, мне захотелось пойти в кино. Шла как раз комедия е участием Гарольда Ллойда. Появившиеся на экране молодые американские актрисы вызвали бесчисленное множество воспоминаний, и я решил никогда больше не смотреть европейские кинофильмы.

Как-то раз, в середине декабря, воскресным утром, когда я спал во втором этаже (в ателье было холодно, и я опять перебрался наверх), внизу послышался шорох, как будто там кто-то ходил. «Странно, — подумал я, — ведь входная дверь заперта...», — как вдруг услышал звук хорошо знакомых шагов. Шаги приближались. У меня замерло сердце, и в ту же минуту раздался звонкий голосок:

— Здравствуйте! — Перед самым моим носом вдруг отворилась дверь, и вошла Наоми. — Здравствуйте, — повторила она и спокойно, как ни в чем не бывало, поглядела на меня.

— Зачем ты пришла? — не поднимаясь с постели, холодно спросил я. Я был поражен ее наглым появлением.

— Я? Я пришла за вещами!

— Можешь взять их. Как ты вошла?

— Через дверь! У меня был ключ.

— Оставь его.

— Хорошо, оставлю.

Я повернулся к ней спиной и замолчал. Она долго возилась у самого моего изголовья, увязывая вещи в узел. Мне послышалось, что она снимает оби, и я увидел, что она переодевается в другое кимоно, отойдя в угол комнаты, но так, чтобы оставаться в поле моего зрения. Когда она вошла, я сразу обратил внимание на ее кимоно. Оно было из незнакомого мне дешевого шелка. Оттого ли, что она носила его каждый день, — но оно было измятым, оттопыривалось на коленях, с засаленным воротником... Размотав пояс, она скинула грязное кимоно и осталась в одном нижнем, тоже грязном. Затем вынула креповое ки-

моно, легким движением накинула его себе на плечи и, вихляя всем телом, сбросила нижнее так, что оно упало на циновку, как сброшенная кожа. Сверху она надела одно из своих любимых шелковых кимоно и туго затянула нижний пояс в красную и белую клетку. Я подумал, что сейчас наступит черед повязывать оби, но она, повернувшись ко мне и присев на корточки, стала менять носки...

Сильнее всего меня всегда волновали ее обнаженные ноги. Я старался не смотреть в ту сторону, но глаза невольно тянулись к ней. Она, разумеется, заметила это и нарочно стала болтать ногами, как рыба плавниками, время от времени поглядывая, обращаю ли я на нее внимание.

Покончив с носками, она быстро подобрала сброшенную одежду и, сказав «до свидания», пошла к выходу, держа в руках узел.

— Ты уходишь? А ключ?

— Ах, да, да, — ответила она и вынула ключ из сумочки. — Я его оставляю, но я не могу сразу унести все вещи. Придется зайти еще раз!

— Можешь не приходиться. Я сам отправлю вещи в Асакусу.

— По некоторым обстоятельствам мне неудобно, чтобы вы отсылали вещи в Асакусу.

— Тогда скажи, куда отослать.

— Сейчас у меня нет определенного адреса...

— Если в течение этого месяца ты не заберешь все вещи, я все равно отошлю их в Асакусу. Они не могут оставаться здесь до бесконечности.

— Ладно, тогда я скоро приду за ними.

— Предупреждаю тебя: в следующий раз пришли кого-нибудь с рикшей, чтобы увезли все разом.

— Хорошо, так я и сделаю! — И она вышла.

Я думал, что на этом все кончится, но через несколько дней, часов в девять вечера, когда я читал в ателье вечернюю газету, снова послышался шорох, и кто-то вставил ключ в замочную скважину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Кто там?

— Это я...

Дверь с шумом отворилась, и какое-то темное, громоздкое, как медведь, существо ввалилось в комнату из уличной темноты. Мгновенно сбросив с себя какую-то черную хламиду, существо оказалось молодой европейской жен-

щиной в голубом платье из французского крепдешина, с обнаженными белыми плечами и руками. На полной шее сверкало, как радуга, ожерелье из горного хрусталя. Из-под черной бархатной шляпы, надвинутой низко на глаза, виднелись кончин белого носа, подбородок и ярко накрашенные губы таинственной незнакомки.

— Добрый вечер, — произнесла она.

Когда эта незнакомка сняла шляпу, я недоумевал: «Кто это?» — но потом, приглядевшись, понял, что передо мной Наоми. Может быть, читателям покажется странным, что я не сразу узнал ее, но она и впрямь до неузнаваемости изменилась. Нет, если бы изменилась только фигура, я, конечно, не обознался бы. Но главным образом ввело меня в заблуждение ее лицо: изменившееся, словно по какому-то волшебству, оно стало совсем другим, начиная с цвета кожи, выражения глаз и кончая овалом. Если бы не ее голос, я ни за что не узнал бы ее даже без шляпы. И потом — эта почти пугающая белизна кожи... Каждая частица ее пышного тела, скрытая европейским платьем, была белой, как мякоть яблока. Наоми и раньше не была смуглой, но такой белой кожи я у нее еще никогда не видел. Взглянув на ее обнаженные почти до плеч руки, невозможно было поверить, что они принадлежат японке. Когда в театре Тэйгэки гастролировала иностранная опера, меня привели в восторг белые руки молодых европейских актрис, но руки Наоми казались еще белее.

Наоми в своем легком голубом платье медленно подошла ко мне. На ногах ее были шевровые туфельки на высоких каблуках, спереди украшенные блестящими пряжками. Я вспомнил слова Хамады о том, что в этих туфельках она напоминает Золушку. Уперев одну руку в бок и выставив локоть, она вдруг бесцеремонно вплотную подошла ко мне, онемевшему от удивления.

— Дзэдзи-сан, я пришла за вещами!

— Можно было не приходить, я же сказал тебе, чтобы ты прислала служанку.

— Но мне некого прислать!

Тело Наоми ни на минуту не оставалось статичным, она все время переминалась с ноги на ногу, с серьезным видом топала по полу каблуками, каждый раз меняла положение рук и дергала плечами. Все мышцы ее тела были напряжены, как струна, каждый нерв дрожал. Мои нервы тоже напряглись, и я неотрывно следил за всеми ее движениями. Я обратил внимание на ее лицо; теперь я понял, почему она так изменилась, — она отпустила челку, спус-

кавшуюся на лоб, как у китайских девочек. По бокам волосы гладко лежали, прикрывая уши, наподобие черной шапочки. Эта новая прическа совершенно изменила овал лица. Брови тоже были не похожи на прежние. Ее природные брови были широкими и густыми, а теперь они вытягивались двумя слабо обозначенными, длинными, тонкими дугами. Я сразу понял, что это только искусная работа, но волшебной перемены глаз, губ и цвета кожи Наоми я никак не мог объяснить. Возможно, глаза стали так похожи на европейские из-за этих новых бровей, но, по видимому, были использованы еще и какие-то другие средства. Наверное, все дело в ресницах и веках, в них кроется какой-то секрет, подумал я, но в чем заключается этот секрет — отгадать не мог. Верхняя губа посередине разделялась надвое, как лепесток цветка вишни, губы были пунцовыми, но не от обычной губной помады, цвет был естественный, имел живой блик. Кожа стала белой, как у людей белой расы. Сколько я ни приглядывался, она была совершенно белой, но нельзя было заметить даже следов белил. Белым было не только лицо, но и все тело, от плеч до кончиков пальцев: выходит, Наоми покрыла белилами все тело... Эта загадочная, чарующая, непонятная женщина — нет, это не Наоми, это, быть может, сама ее душа, каким-то чудесным образом превратившаяся в видение идеальной красоты...

— Можно мне подняться наверх за вещами? — спросило видение.

Только услышав этот голос, я убедился, что передо мной не призрак, а живая Наоми.

— Да, конечно, конечно... но... — растерянно отвечал я и вдруг, невольно повысив голос, спросил: — Как ты открыла входную дверь?

— Как? Ключом!

— Ты же в прошлый раз оставила здесь ключ.

— У меня много ключей. — На ее румяных губах впервые вдруг мелькнула улыбка. Она бросила на меня чуть насмешливый взгляд. — Сейчас все объясню. Я заказала много ключей, так что без одного вполне могу обойтись.

— Однако меня это не устраивает. Если ты будешь часто приходиться...

— Не бойтесь, как только перевезу все вещи, больше не приду, даже если будете звать... — И повернувшись на каблуках, она проворно затопала вверх по лестнице...

Затем... не знаю, сколько минут прошло. Я сидел в ателье на диване и ждал, когда Наоми спустится вниз. Про-

шло пять минут, полчаса или, может быть, час. Я перестал замечать течение времени. В моей душе жил только образ Наоми, оставивший чарующее и радостное впечатление, как бывает после прекрасной музыки, необычайно высокой, чистой, словно долетевшей из неземных священных пределов... Я уже не ощущал страсти, влюбленности. Душа была полна какого-то безграничного, нелепого упоения. Сколько я ни думал, но сегодняшняя Наоми и та, друг а я, — грязная развратница, продажная женщина, которой мужчины дали мерзкое прозвище, — несовместимы. И такому человеку, как я, остается только преклоняться перед ней, обожать ее, она может быть только объектом моего благоговейного преклонения... Мне казалось, прикоснись она ко мне хотя бы кончиком своего белого пальчика, я испытал бы не радость, а трепет, страх... Как выразить читателям мое душевное состояние? Попробую объяснить...

Представьте себе человека, приехавшего из провинции в Токио и случайно встретившего родную дочь, давным-давно ушедшую из дому. Теперь она превратилась в блестящую городскую женщину и не узнала в грязном крестьянине своего отца. Отец узнал дочь, но их жизненные пути так разошлись, что он не решился подойти к ней и, потрясенный, — «Неужели это моя дочь?» — в смущении тихонько скрылся. Ему и грустно, и в то же время он рад за нее...

Или другой пример... Мужчину бросила невеста; прошли годы, и вот в один прекрасный день он стоит на пристани в Йокохаме и видит прибывающий пароход. На берег сходит толпа пассажиров. И вдруг он замечает в этой толпе ее. Значит, она вернулась из заграничного путешествия, думает он, но теперь уже не решается подойти к ней. Он по-прежнему беден, а она, судя по всему, уже не та простенькая девица, какой была когда-то, теперь она — элегантная женщина, привыкшая к роскоши Нью-Йорка и Парижа, их разделяет пропасть. В эти минуты он, брошенный ею, презирает себя и в то же время радуется, что ей так удивительно повезло...

Вряд ли я объяснил мое состояние достаточно ясно, но, в общем, я испытывал нечто сходное с такими переживаниями. До сих пор, сколько я ни старался стереть из памяти грязные пятна прошлого Наоми, казалось, они навсегда пристали к ней. Но сегодня вечером вместо этих пятен я увидел белоснежную, как у ангела, кожу, так что не хотелось даже вспоминать о былом, потому что теперь, напротив, это я чувствовал себя недостойным прикоснове-

ния хотя бы кончика ее пальца. Не сои ли это? Кто научил ее этому волшебству? Где усвоила она это колдовство? Она, всего несколько дней тому назад носившая грязное старое кимоно из дешевой ткани...

Топ-топ-топ... Снова раздались быстрые шаги по лестнице, и перед моими глазами возникли тифельки с блестящими пряжками.

— Дзёдзи-сан, на днях я приду еще р а з . — Она стояла передо мной, но нас разделяло расстояние не меньше трех сяку, ее легкое, как ветерок, платье было от меня далеко. — Сегодня я взяла только несколько книг. Я не могу забрать сразу большие вещи. К тому же, я в таком виде...

Я уловил слабый аромат, который где-то уже слышал. О, этот аромат... он заставлял грезить о странных, фантастических садах в далеких чужих краях!.. Графиня Шлемская, учительница танцев, — это ее кожа источала такой аромат. Наоми душилась теперь такими же духами...

Наоми говорила какие-то слова, но я только кивал в ответ и бормотал что-то неясное. И даже когда силуэт Наоми растаял в ночной темноте, я все еще пытался уловить смутный, постепенно слабеющий аромат, какое-то время еще витавший в комнате, как будто пытался догнать исчезающее видение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Из всего вышесказанного читатели, вероятно, угадали, что вскоре мы снова сошлись с Наоми. В этом нет ничего удивительного или странного, это случилось закономерно, читатели не ошиблись, но до этого было еще, сверх ожидания, много всяких переживаний. Я наделал еще много глупостей и перенес много бессмысленных страданий.

Вскоре мы с Наоми стали дружески разговаривать друг с другом. Вечером, на следующий день и все дальнейшие вечера Наоми приходила за какими-нибудь вещами. Войдя, она всегда поднималась на второй этаж и спускалась вниз с узелком, но в узелке всегда бывали завернуты какие-нибудь мелочи, и то только для вида.

— Что ты сегодня берешь? — спрашивал я.

— Это? Ничего особенного, пустяки, — звучал неопределенный ответ. — Пить хочется, не дадите ли чашку чая? — просила она и, садясь рядом, болтала минут двадцать — тридцать.

— Ты живешь где-то недалеко? — спросил я однажды вечером, когда, сидя за столом, мы пили чай.

- Почему вы об этом спрашиваете?
— А что, нельзя?
— Нет, почему же... Но зачем?.. С какой целью?..
— Просто так... Из любопытства... Так где же ты живешь? Не хочешь сказать?
— Да, не хочу.
— Почему?
— Я не обязана удовлетворять ваше любопытство. Если вам так хочется это знать, что ж, устройте за мной слежку. У Дзедзи-сана есть некоторый опыт по части сыска!
- Ну, это меня не настолько интересует. Просто я подумал, что ты, наверно, живешь где-то поблизости.
— Вот как? Почему вы решили?
— Так ведь ты каждый вечер приходишь за вещами!
— Если я прихожу каждый вечер, это вовсе не значит, что я живу близко. Существуют трамваи, автомобили!
— Значит, специально приезжаешь издалека?
— Может быть, — уклончиво сказала она и ловко перевела разговор: — Вам не нравится, что я прихожу так часто?
- Я этого не говорю... Даже если бы не правилось, ты же все равно будешь являться...
— Вот это верно! Я — злая, если скажете, чтобы не приходила, нарочно буду приходиться... Или, может быть, вы боитесь моих визитов?
— Пожалуй, да... до некоторой степени боюсь...
Она откинулась на спинку стула и, раскрыв свой пунцовый ротик, вдруг покатила со смеху.
— Не бойтесь! Я не сделаю вам ничего дурного. Забудем прошлое, будем друзьями, просто друзьями, хорошо? Ведь это можно?
— Что-то ты странное говоришь...
— Что же тут странного? По-вашему, странно, если люди, которые были когда-то мужем и женой, станут друзьями? Вот это и есть старомодный, отсталый взгляд на вещи... Нет, правда, я совершенно не придаю значения прошлому. Я и теперь, если бы захотела, легко сумела бы увлечь Дзедзи-сана, но я обещаю вам не делать этого. Мне жаль разрушать вашу решимость.
- Ах, вот как, ты, значит, жалеешь меня? Поэтому и предлагаешь стать друзьями?
— Я не так выразилась. Постарайтесь быть стойким, твердым, тогда ни у кого не будете вызывать жалость.
— Не знаю, не знаю... Сейчас я твердо решил быть

стойким, но вдруг, начав дружить с тобой, могу поколебаться...

— Фу, какой глупый... Значит, вы не хотите стать моим другом?

— Да, не хочу.

— Ах, так? Ну тогда я нарочно буду искушать вас, чтобы вся ваша стойкость вдребезги разлетелась, — усмехнулась Наоми не то в шутку, не то всерьез. — Итак, что вы предпочитаете: чистую дружбу или опять разные муки? Берегитесь, сегодня я угрожаю вам.

«Зачем этой женщине нужна моя дружба?» — думал я. Она приходит каждый вечер не только затем, чтоб дразнить меня, — несомненно, она что-то задумала. Сначала мы станем друзьями, затем она обедеет меня вокруг пальца, я капитулирую, и мы снова превратимся в супругов. Если ее цель такова, то я и без всяких хитростей с ее стороны легко согласился бы снова сделать ее своей женой, потому что в душе уже давно стремился к этому.

«Послушай, Наоми, бессмысленно становиться просто друзьями! Не лучше ли снова, как прежде, стать мужем и женой?» — хотел я предложить ей, выбрав для этого подходящий момент, но по поведению Наоми я заключил, что сегодня вечером не следует раскрывать ей душу, она, пожалуй, не согласится.

«Снова стать женой Дзэдзи-сана? Нет, благодарю покорно! Только друзьями! На другое я не согласна!» — скажет она, как только поймет, что у меня на сердце, и со свойственным ей азартом еще сильнее будет меня дурачить. Мне не хотелось услышать такой ответ. И главное, если Наоми вовсе не собирается снова становиться моей женой, а хочет быть свободной и обводить вокруг пальца всех мужчин, в том числе и меня, тем более неосторожным было бы открыть ей мои мечты. В самом деле, ведь она даже не сказала своего адреса; значит, и сейчас, надо полагать, живет у какого-нибудь мужчины, и если я в конце концов опять приму ее как жену, мне снова придется страдать. Тут мне внезапно пришла в голову новая мысль.

— В таком случае, нам и правда лучше быть просто друзьями. Я вовсе не хочу, чтобы ты мне угрожала! — сказал я с улыбкой.

Я подумал, что, став друзьями, мы будем часто встречаться и я смогу понять, что у нее действительно на душе. Если в ней еще живет настоящее чувство, только тогда я открою ей свое сердце и предложу снова стать моей женой. Может быть, мне удастся взять ее в жены на более

благоприятных условиях, чем теперь. Такие мысли бродили у меня в голове.

— Вы согласны? — спросила она, насмешливо глядя мне в глаза. — Но, Дзэдзи-сан, только друзьями. Не больше!

— Да, разумеется.

— И больше не будем вспоминать ни о чем неприятном?

— Безусловно. Мне это тоже тяжело.

— Х м . . . — Она рассмеялась знакомым коротким смешком.

После этого разговора она стала все чаще навеваться ко мне. Когда по вечерам я возвращался со службы, она, как ласточка, неожиданно влетала в дом со словами:

— Дзэдзи-сан, угостите меняужином? Это вполне допустимо между друзьями!

Она заставляла меня вести ее в дорогой европейский ресторан и, хорошенько поужинав, уходила, а однажды, дождливым вечером, явилась поздно и постучала в дверь моей спальни.

— Добрый вечер, вы уже спите? Если спите, можете не вставать. Сегодня я собираюсь здесь ночевать...

Она стелила себе постель на полу в комнате рядом с кухней. Случалось, вставая по утрам, я обнаруживал ее крепко спящей — я не слышал, когда она пришла.

— Ничего, ведь мы друзья... — то и дело повторяла она.

Вот когда я наконец понял, что она прирожденная проститутка, и вот почему: любвеобильная от природы, она без малейшего колебания охотно сходилась со многими мужчинами, но при этом знала, что в повседневной жизни надо тщательно прятать тело, и старалась, чтобы ни одна часть его просто так, без определенной цели не притягивала взгляда мужчины. Это свое тело, которое могло принадлежать каждому, она всегда заботливейшим образом кутала. На мой взгляд, в этом проявлялась психология проститутки, инстинктивно оберегающей свое тело. Ибо для проститутки именно тело — самый драгоценный «товар», бывает даже, что в определенных обстоятельствах она оберегает свое тело больше, чем добродетельная женщина, — иначе оно может постепенно упасть в цене. Наоми поистине в совершенстве усвоила этот секрет и тем тщательнее скрывала свое тело от меня, своего бывшего мужа. Однако довольно часто она нарочно переодевалась при мне, причем ее рубашка неизменно скользила и падала на пол.

— А й , — вскрикивала она и, прикрыв голые плечи ру-

ками, убегала в соседнюю комнату, или, раздеваясь перед зеркалом после ванны и притворяясь, будто только сейчас заметила меня, выгоняла из комнаты.

— Ой, Дзёдзи-сан, не входите сюда, уходите, слышите!..

Отдельные части ее тела — шея, локоть, икры, пятки, которые она демонстрировала мне, свидетельствовали о том, что ее тело стало еще прекраснее, чем прежде, — я не мог не заметить этого. И часто я мысленно раздевал ее догола и ненасытно любовался плавными линиями ее тела.

— Дзёдзи-сан, почему вы так смотрите на меня? — спросила она меня однажды. Она переодевалась, стоя ко мне спиной.

— Я смотрю на твою фигуру. Ты сложена, пожалуй, даже лучше, чем раньше!

— Ах, как не стыдно!.. Никто не должен видеть телосложение леди.

— Не должен, но сейчас вижу даже сквозь кимоно. Ты и раньше была не худенькая, а сейчас еще пополнела.

— Да, пополнела. Но ноги у меня по-прежнему стройные.

— Да, ноги у тебя с детства были очень прямые. Бывало, когда ты стоишь, они плотно примыкают одна к другой, без малейшего просвета... А как сейчас?

— И сейчас так же. — Она встала и туго запахнулась в кимоно. — Вот, точно прижаты...

Мне вспомнилась статуя Родена, которую я видел на фотографии.

— Дзёдзи-сан, хотите видеть мое тело?

— А если бы хотел, ты позволишь?

— Нет, ведь мы же только друзья. Я переодеваюсь, уходите отсюда! — И она со стуком захлопнула дверь за моей спиной.

Так Наоми постоянно разжигала мою страсть.

Она воздвигла между нами преграду, казалось, нас разделяет невидимая стеклянная стена. Как бы близко я ни был от этой женщины, я не мог преодолеть эту стену. Я протягивал руки и каждый раз ударялся о стекло. Сколько бы ни дразнила меня Наоми, мне не удавалось прикоснуться к ее телу. Иногда она делала вид, будто устраняет преграду, но, когда я думал, что время уже пришло, перед моим носом неизменно захлопывалась дверь.

— Дзёдзи-сан... пай-мальчик... я его поцелую разок, — полушутя сказала она.

Я знал, что Наоми шутит. Она протянула мне губы, но

в следующий миг она ускользнула. Очутившись совсем близко от моих губ, Наоми неожиданно дохнула мне в рот.

— Это дружеский поцелуй, — рассмеялась она.

Этот оригинальный «дружеский поцелуй» (при котором я должен был довольствоваться струей воздуха вместо прикосновения губ) вошел у нее в привычку. «До свидания, скоро опять приду», — говорила она, прощаясь, и подставляла мне губы. Я придвигался к ней и раскрывал рот, как будто принимал сеанс ингаляции. Она дышала, и я, закрыв глаза, глубоко втягивал ее дыхание. Оно было влажным и теплым и, казалось, исходило не из человеческих легких, а было сладко-благоуханным, как цветок.

Чтобы обольстить меня, Наоми украдкой душила рот, но в то время я, разумеется, не знал об этом секрете и думал, что такая чародейка, как она, возможно, всем отличается от обыкновенных женщин и что ее рот от природы наделен соблазнительным ароматом.

Все перепуталось в моей голове, я все больше становился игрушкой в ее руках. Теперь я уже не смел сказать ей, что хочу обладать ею только как законной моей женой и не допущу, чтобы она снова играла мной. Откровенно говоря, я должен был с самого начала понять, что дело кончится этим. Если б я действительно боялся ее чар, не нужно было снова встречаться с ней, а все эти мои рассуждения насчет того, что надо выведать ее истинные намерения или выждать для этого подходящий момент, были всего лишь самообманом. Уверяя себя, будто я боюсь ее чар, я — если говорить начистоту — страстно ждал, когда же она начнет по-настоящему искушать меня. Однако время идет, а она все продолжает эту дурацкую игру в «дружбу» и вовсе не пытается меня обольщать. Хотя она отрицает это, но, судя по всему, хочет раздражить меня как можно сильнее и потом, увидев, что наступила пора, сбросить маску «дружбы» и протянуть мне руку. Скоро, скоро она непременно протянет руку... Такая женщина, как она, обязательно это сделает. Она заставляет меня действовать согласно своему плану. Хорошо, я буду делать все, что она захочет, и, может быть, в конце концов, заслужу желанную награду...

Так, изо дня в день, тешился я надеждой. Но мои мечты никак не сбывались. Я надеялся, что, может быть, не сегодня завтра Наоми скинет маску, протянет руку, но в самую последнюю минуту она ловко от меня ускользала.

Теперь я дошел уже до крайней степени раздражения.

«Ты видишь, я больше не в силах ждать. Если ты за-

думала обольстить меня, так сделай же это поскорее...» — готов был сказать я, нарочно показывая ей свою уязвимость, свою душевную слабость и, в конце концов, сам всячески ее провоцируя. Но она не поддавалась.

— Что это значит, Дзэдзи-сан? Этак вы нарушаете нашу договоренность! — выговаривала она мне, словно непослушному ребенку.

— К черту эту договоренность... Я уже...

— Нельзя, нельзя!.. Мы друзья!

— Послушай, Наоми! Не говори так... Прошу тебя...

— Перестаньте надоедать! Говорю вам — нельзя! Давайте лучше вместо этого я вас поцелую! — И она обдавала меня своим дыханием. — Этого вам должно быть вполне достаточно. Хорошо? Такой поцелуй тоже, может быть, больше, чем просто «дружеский»... Но ради вас я делаю исключение!..

Однако эта «исключительная» ласка не только не успокаивала, но еще сильнее волновала меня.

«Проклятие! Сегодня я опять ничего не добился!..» — становился я нетерпеливее с каждым днем. Когда она, как ветер, вылетала из комнаты, я долго не мог приняться за работу, злился на себя, метался из угла в угол, как хищный зверь в клетке, швырял и бил все, что попадалось под руку.

Я буквально сходил с ума, меня мучили припадки своеобразной мужской истерики, и так как Наоми являлась каждый день, то припадки случались тоже регулярно. К тому же то была не обычная истерия: после припадка не наступало никакого облегчения. Напротив, когда я, наконец, успокаивался, мне еще яснее, еще настойчивее вспоминалась то ее нога, мелькнувшая из-под подола кимоно, когда она переодевалась, то ее губы, когда, подойдя ко мне совсем близко, она дышала мне в лицо. Я представлял себе все это даже яснее, чем когда она и впрямь находилась передо мной, эти очертания губ и линии ног постепенно разжигали мою фантазию, и перед моим мысленным взором удивительным образом, постепенно, как при появлении фотографической пленки, возникали даже те участки ее тела, которых я вовсе не видел. В глубине моей души возникал образ, похожий на мраморную статую Венеры. Мое сознание как бы превратилось в подмостки, где на фоне бархатных драпировок играла одна-единственная актриса — Наоми. Свет, лившийся на сцену со всех сторон, ярко освещал ее белое тело. Чем пристальнее я всматривался, тем ярче становился свет, освещав-

ший ее фигуру, иногда лучи приближались ко мне так близко, что почти обжигали. Каждая частица ее тела постепенно увеличивалась, виднелась все отчетливее и рельефней, как на крупном плане в кино. Этот призрак до такой степени рождал ощущение реальности, что его трудно было отличить от действительности, и если не считать того, что я не мог коснуться его, казался более живым, чем настоящая Наоми. У меня начинала кружиться голова, вся кровь прилиwała к вискам, пульс бешено стучал, и снова начинался истерический припадок. Я швырял стулья, срывал занавески, разбивал вазы.

Мои сумасбродные фантазии усиливались с каждым днем. Стоило мне закрыть глаза, как тотчас же из тьмы вставал силуэт Наоми. Я вспоминал аромат ее дыхания и, открыв рот, ловил губами воздух, как бы вдыхая этот аромат. На улице или сидя в одиночестве дома я тосковал по губам Наоми и жадно дышал, устремляя взор в небо. Повсюду мне мерещились ее алые губы и чудилось, будто воздух наполнен ее дыханием. Наоми заполняла собой весь мир. Как злобный дух, она неотступно преследовала меня, заставляла страдать и, слушая мои стоны, насмешливо наблюдала за мной.

— Дзэджи-сан стал в последнее время каким-то странным! Вы как будто немножко не в себе, что ли и... — однажды вечером сказала мне Наоми.

— Будешь тут не в себе... Когда ты меня так мучаешь. Она усмехнулась.

— Что это за усмешки?

— Я намерена соблюдать нашу договоренность.

— До каких пор?

— Всегда.

— Не шути! Если так будет продолжаться, я сойду с ума.

— Я дам вам хороший совет. Обливайтесь с головы до ног холодной водой!

— Послушай, ты...

— Опять начинается! У вас такие глаза, что мне еще больше хочется вас дразнить... Не подходите ко мне так близко, отойдите подальше, не смейте дотрагиваться до меня!

— Ну, ладно, делать нечего, тогда хотя бы поцелуй меня этим твоим «дружеским поцелуем»...

— Если вы будете хорошо себя вести, поцелую... Но вдруг после этого вы сойдете с ума?

— Не важно! Теперь мне уже все равно...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

В тот вечер Наоми сидела за столом далеко от меня (чтобы я «пальцем ее не тронул»), с любопытством поглядывая на мое искаженное ревностью лицо, и до поздней ночи болтала о пустяках. Когда пробило двенадцать, она сказала каким-то издевательским тоном:

— Дзэджи-сан, сегодня я останусь здесь ночевать, хорошо?

— Что ж, оставайся. Завтра воскресенье. Я весь день буду дома.

— Но только даже если я останусь, того, что вы хотите, не будет!

— Зачем же подчеркивать это? Ты, по-моему, не из послушных и кротких женщин.

— А вы хотели бы, чтобы я была кроткой? — Она рассмеялась. — Идите, ложитесь спать первым. И пожалуйста, не разговаривайте во сне...

Выпроводив меня на второй этаж, она вошла в соседнюю комнату и заперлась па ключ.

Конечно, мне нелегко было заснуть — я думал о том, что происходит в соседней комнате. Когда мы были мужем и женой, я никогда не бывал в таком нелепом положении, она всегда спала рядом. Думать об этом было нестерпимо обидно. За стеной Наоми — случайно или нарочно — шумно бросила матрац на пол, возилась, расстилая постель, вынимала подушку и приготавливалась ко сну. Я отчетливо слышал, как она расчесала волосы, потом сняла кимоно, надела спальный халат... Я отчетливо представлял себе все это. Затем она как будто завернулась в одеяло, и я услышал звук шлепнувшегося на постель тела.

— Ну и шум же ты подняла! — сказал я как бы про себя, но в то же время так, чтоб она услышала.

Из-за стены сразу же откликнулся голос Наоми:

— Вы еще не уснули? Не спитесь?

— Да, никак не уснуть. Размышляю о всякой всячине.

Она засмеялась.

— А я хотя и не спрашиваю, а знаю, о какой всячине думает Дзэджи-сан!

— Но, согласись, все-таки это странно! Ты спишь рядом, за стеной, а я так от тебя далеко!..

— Ничуть не странно! Когда-то ведь тоже так было... Помните, вначале, когда я только поселилась у вас. Сегодня мы спим так же, как тогда!

В самом деле, ведь было такое время, когда мы оба

были чисты, — при этом воспоминании мне захотелось плакать. Однако оно отнюдь не успокоило мою страсть. Наоборот, при мысли о том, какими крепкими нитями мы связаны друг с другом, я остро чувствовал, что покинуть эту женщину выше моих сил.

— В то время ты была чиста...

— Я и сейчас чиста. Это вы порочны.

— Можешь говорить что угодно. Я буду неотступно тебя преследовать.

Она рассмеялась.

Я вскрикнул и ударил кулаками в стену.

— Что вы делаете? Мы живем не в лесу. Люди услышат! Потихе, пожалуйста!

— Мне мешает эта стена. Я хочу разрушить ее!

— Перестаньте шуметь!.. Что-то сегодня ночью крысы слишком разбушевались.

— Еще бы, конечно, разбушевались. У этой крысы — приступ истерики...

— А мне не нравятся такие старые крысы.

— Не болтай глупостей! Какой я старый! Мне только тридцать два года.

— А мне девятнадцать! Для меня вы старик. Я вам дам хороший совет — найдите себе жену и женитесь, тогда вся ваша истерика прекратится! — В ответ на все мои слова Наоми только смеялась, а под конец сказала: — Я уже сплю! — и начала притворно всхрапывать, а вскоре и впрямь заснула по-настоящему.

Наутро, раскрыв глаза, я увидел Наоми в небрежно накинутом ночном кимоно, сидящую у моего изголовья.

— Что с вами, Дзёдзи-сан? Вчера ночью вы бог знает что вытворяли!

— Да, последнее время со мной иногда случаются такие припадки. Ты испугалась?

— Нет. Мне было интересно. Хочу еще раз привести вас в такое же состояние!

— Все уже прошло. К утру я выздоровел... А-а, какая чудесная погода!..

— Ну, так вставайте же! Уже больше десяти часов. Я уже час, как встала, ходила в баню.

Все еще не поднимаясь с постели, я взглянул на нее. «Женщина после в а н н ы», — вся ее настоящая красота выступает не сразу после купанья, а минут через пятнадцать — двадцать. Даже самое прекрасное женское тело слишком разогревается в горячей воде, вся кожа, вплоть до кончиков пальцев, краснеет, но когда тело остынет до

обычной температуры, только тогда кожа становится как бы прозрачной, похожей на застывший воск. Наоми только что вернулась из бани, по пути ее обвевал прохладный ветер, поэтому в эти минуты красота ее выступала предельно ярко. Нежная, тонкая кожа, как будто еще чуть влажная, была совершенно белой. На груди, скрытой воротом кимоно, лежали лиловатые блики, как мазки акварели. Лицо светилось, как будто покрытое тоненьким слоем желатина. Только брови были еще влажными, в окне над ее головой виднелось ясное зимнее небо, отливавшее голубым.

— Что это ты так рано надумала идти в баню?

— Это вас не касается... Ах, хорошо! — Она приблизилась ко мне свое л и ц о . — Посмотрите-ка хорошенько! Правда, у меня растут усы?

— Да, растут.

— Надо было бы зайти в парикмахерскую, привести лицо в порядок!

— Но ведь ты же не любишь брить лицо. Ты говорила, что европейские женщины ни в коем случае не бреют лица.

— Но в Америке это сейчас модно. Посмотрите на мои брови: все американки бреют их именно так!

— А-а, так вот отчего изменилось твое лицо и форма бровей!

— А вы только сейчас заметили? Как вы отстаете от моды! — И как бы подумав о чем-то другом, она вдруг спросила: — Дзёдзи-сан, а ваш припадок и вправду прошел?

— Да, прошел... А что?

— Если правда, я хочу о чем-то попросить вас... Парикмахерская отсюда далеко. Побрейте мне лицо, хорошо?

— Наверно, ты хочешь опять довести меня до припадка?

— Нет, что вы, я серьезно прошу, уж такую-то услугу можно мне оказать... Но только без припадков, это было бы ужасно: вы можете меня поранить...

— Я дам тебе безопасную бритву. Побрейся сама.

— Ничего не выйдет. С лицом я еще справлюсь, но я хочу побрить волосы на шее и на затылке.

— Это еще зачем?

— В вечернем платье все открыто вот до сих п о р , — ответила она, нарочно оголив плечи, — надо выбрить до сюда... Я сама не могу!

Она поспешно снова натянула одежду на плечи, и, хотя то была ее обычная уловка, я не мог устоять против со-

блзна. Я отлично понимал, что плутовке Наоми вовсе не нужно брить лицо или шею, она снова хочет дразнить меня, и даже в баню ходила только для этого. Предложение побрить ее — вызов на новый, еще небывалый поединок. Я смогу вблизи любоваться ее гладкой кожей, прикасаться к ней... У меня не хватило мужества отказаться.

Пока я делал различные приготовления, — согрел на газовой плитке воду, налил ее в тазик и вложил в бритву новое лезвие «жиллет», Наоми перенесла стол к окну, поставила зеркало, села, согнувшись и поджав ноги, и закрыла ворот кимоно большим белым полотенцем. Но когда, расположившись позади нее, я смочил водой мыло и уже собрался пустить в ход бритву, она сказала:

— Дзэдзи-сан, вы будете меня брить, но лишь при одном условии.

— Что такое?..

— Да, условно вполне выполнимое.

— О чем это ты?

— Я не хочу, чтобы вы трогали меня под предлогом бритья. Брейте, но только но прикасаясь к моему телу!..

— Но послушай...

— Что «послушай»? Вы отлично можете брить не прикасаясь! Мыло вы намыливаете кисточкой, бреете бритвой... Хорошие парикмахеры никогда не дотрагиваются.

— Ты сравниваешь меня с парикмахерами? Ну, знаешь!..

— Подумаешь, какой важный. А сами между тем очень хотите меня побрить. Если вам не подходят мои условия, я вас вовсе не заставляю, можете отказаться.

— Нет, я согласен. Ты могла бы не говорить этого. Видишь, я уже все приготовил...

Мог ли я ответить иначе, глядя на затылок и шею Наоми, открытые низко спущенным воротом?

— Значит, вы будете выполнять мое условие?

— Да.

— Не будете дотрагиваться?

— Не буду.

— Если хоть немного дотронетесь, я сразу же прекращаю... Положите вашу левую руку на колено!

Я сделал, как она сказала, и работал только правой рукой. Начал водить бритвой вокруг ее рта.

Она сосредоточенно глядела в зеркало, как будто испытывая удовольствие от прикосновения бритвы, и спокойно давала себя брить. Я слышал ее дыхание, ровное, как у спящей, видел, как пульсировала жилка на ее шее

под подбородком. Я был так близко от ее лица, что мог бы уколотся о ее ресницы. За окном, в сухом воздухе, ослепительно сияло утреннее солнце. Было так светло, что можно было сосчитать все поры на лице Наоми. Ни разу еще не случалось мне видеть лицо любимой женщины так отчетливо и подробно. Красота ее подавляла своей необычностью. Ее поразительно удлиненный разрез глаз, ее нос, возвышающийся подобно дивному зданию, две линии, соединяющие нос и губы, и, наконец, ярко очерченный алый рот, — все это составляло одно чудесное целое, все вместе было источником моих мук...

Я взял кисточку, сам не отдавал себе отчета в своих движениях, и густо положил на это лицо мыльную пену. Я с силой нажимал кисточку, но она двигалась мягко и упруго. Бритва ползла по нежному телу, как серебристое насекомое, с затылка переползла на плечи. Перед моими глазами предстала стройная, белая, как молоко, спина Наоми. Наоми может увидеть в зеркале свое лицо, но знает ли она, как прекрасна ее спина? Нет, наверно, не знает. Лучше всех это знаю я. Когда-то я каждый день обмывал эту спину горячей водой, так же, как сейчас, покрывал ее мыльной пеной. Мне казалось, я вижу на ее теле следы моей любви. Мои руки, мои пальцы свободно и радостно касались тогда этого прекрасного белоснежного тела. Быть может, и сейчас где-нибудь еще сохранился след моих прежних прикосновений...

— Дзэдзи-сан, вы дрожите. Держите себя в руках... — неожиданно раздался голос Наоми.

Я сам почувствовал, что голова моя затуманилась, во рту пересохло и все тело сотрясает какая-то странная дрожь. «Уж не схожу ли я с ума?» — со страхом подумал я. Я изо всех сил старался взять себя в руки, но меня бросало то в жар, то в холод.

Однако издевательства Наоми на этом не кончились. Когда я выбрил плечи, она откинула рукав, высоко подняла руку и сказала:

— А теперь под мышками.

— Под мышками?..

— Да, когда надеваешь европейское платье, нужно брить под мышками. Неприлично, если здесь видны волосы.

— Злодейка!

— Почему злодейка? Какой вы смешной... Мне холодно после бани, брейте скорее!

Я отбросил бритву и схватил ее за руку, вернее, вцепился в ее руку. Наоми, как будто ожидавшая этого, резко

оттолкнула меня этой рукой. Мои пальцы все же коснулись ее, но были скользкими от мыла. Она еще раз оттолкнула меня к стене.

— Что вы делаете? — сердито крикнула она, поднимаясь. Я, вероятно, был бледен, но она тоже побледнела не на шутку.

— Наоми, Наоми! Умоляю тебя, перестань издеваться надо мной. Слышишь! Я буду подчиняться тебе во всем!..

Не помню, что я тогда говорил. Я говорил торопливо, скороговоркой, словно в горячечном бреде. Наоми слушала молча, стоя неподвижно, как столб, и ошеломленно глядела на меня.

Я бросился к ее ногам:

— Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь! Если ты не будешь моей, лучше убей меня!

— Вы — сумасшедший!

— Да, сумасшедший... Ну и пусть сумасшедший!

— Кто же захочет жить с сумасшедшим?..

— Ну, сделай, прошу тебя, сделай меня лошадью, покатайся на моей спине, как прежде!.. Если ты ни за что не хочешь снова принадлежать мне, подари мне хотя бы это! — И я опустил на четвереньки.

Сперва Наоми как будто подумала, что я на самом деле сошел с ума. Лицо ее сделалось мертвенно-бледным, в глазах, обращенных ко мне, отражалось нечто похожее на страх. Но вдруг ее лицо изменилось, стало вызывающе дерзким, и она решительно опустилась мне на спину.

— Так хорошо? Да? — грубо спросила она.

— Хорошо!

— С этих пор вы будете слушаться меня, чего бы я ни потребовала?

— Да.

— Давать мне деньги, сколько бы я ни попросила?

— Да, да...

— Я смогу делать все, что мне захочется? Вы не будете вмешиваться в мою жизнь?

— Не буду.

— Вы станете называть меня не просто «Наоми», а «Наоми-сан»?

— Да...

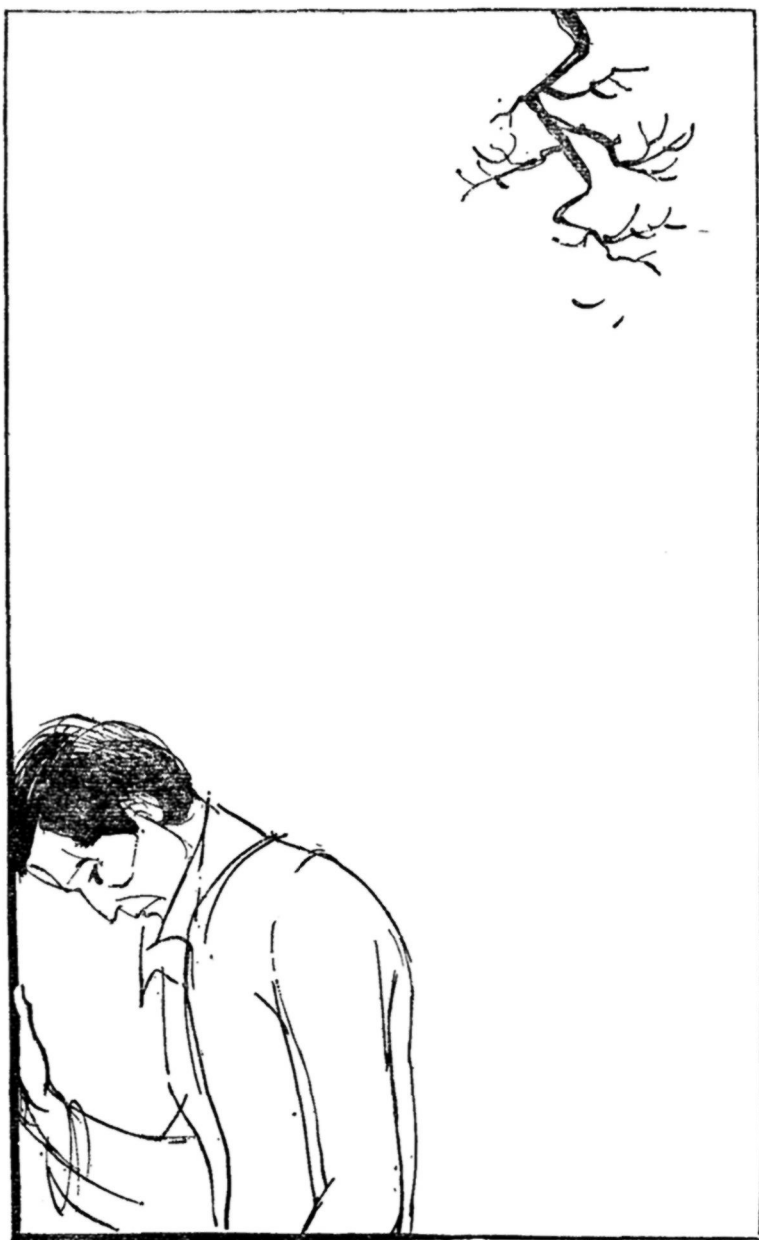
— Даете слово?

— Даю.

— Так и быть, буду обращаться с вами как с человеком, а не как с лошадью, потому что я вас жалею...

И я, и Наоми, мы оба перепачкались в мыле.

- Теперь наконец-то мы снова стали мужем и женой... Теперь ты уже не убежишь от меня, — сказал я.
- Вы так страдали из-за того, что я убежала?
- О да, страдал! Одно время я думал, что ты уже больше никогда не вернешься.
- Ну, что? Теперь вы узнали, какая я страшная женщина?
- Да, узнал, слишком хорошо узнал!
- Так помните же свое обещание — позволить мне делать все, что хочу... Если не будет по-моему, я опять убегу!
- Да, теперь мы будем просто «Наоми-сан» и «Дзё-дзи-сан».
- Иногда будем ходить танцевать?
- Да.
- И я буду встречаться с друзьями... Вы не будете упрекать меня, как прежде?
- Да...
- Правда, с Кумагаем я все порвала.
- Вот как...
- Да, отвратительный парень! Теперь мне приятнее дружить с европейцами, чем с японцами.
- С Мак-Нейлом из Йокохамы?
- У меня много знакомых европейцев. Мак-Нейл насколько не опасен.
- Как сказать...
- Ну вот, нельзя так подозревать всех и каждого... Раз я так говорю, значит, нужно мне верить. Хорошо? Ну, говорите, будете верить мне или нет?
- Буду, буду...
- Кроме того, у меня есть еще одно желание. Что вы собираетесь делать, когда уйдете со службы?
- Когда ты меня бросила, я хотел переехать в деревню, но теперь я этого не сделаю. Мы ликвидируем имущество в деревне и получим деньги наличными.
- Сколько это будет?
- Я думаю, тысяча двести — триста.
- Только-то?..
- Разве этого мало для нас двоих?
- И можно будет жить роскошно и развлекаться?
- Мне развлекаться нельзя. Ты будешь развлекаться, а я открою какую-нибудь контору. Я хочу вести самостоятельное дело.
- Я не хочу, чтоб вы вкладывали в него все деньги. Вы мне дадите определенную сумму. Хорошо?



— Хорошо.

— Половину. Если вы получите триста тысяч иен, то сто пятьдесят, если двести, то сто тысяч.

— Ты хочешь выяснить все до мельчайших подробностей?

— Конечно. Нужно с самого начала обговорить все условия. Ну, так как, согласны? Или вы не настолько хотите, чтобы я была вашей женой?

— Я уже говорил — я на все согласен...

— Если не хотите, так и скажите. Еще не поздно!

— Да говорят же тебе — согласен.

— Тогда вот еще что: этот дом нам не подходит, мы переедем в другой — моднее и шикарнее.

— Конечно.

— Я хочу жить в европейском квартале, в европейском доме, иметь красивую спальню и столовую, повара и боя!

— Да, но есть ли такие дома в Токио?

— В Токио нет, а в Йокохаме есть. Там в районе Яманотэ сдается один такой дом. На днях мы его посмотрим.

Я впервые понял, что с самого начала Наоми действовала по заранее обдуманному плану и вышла победительницей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Прошло несколько лет.

Мы перебрались в Йокохаму и сняли европейский дом в районе Яманотэ, который нашла Наоми, но жизнь паша становилась все роскошнее, и вскоре этот дом тоже стал для нас тесен. Некоторое время спустя мы купили в районе Хонмоку дом со всей обстановкой, который раньше занимала семья швейцарцев, и переехали туда. Во время Великого землетрясения район Яманотэ сгорел дотла, а в Хонмоку многие улицы уцелели. В нашем доме тоже всего лишь кое-где па стенах появились трещины, серьезных повреждений почти не было, так что, поистине, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.

Как я и решил, я ушел со службы, ликвидировал имущество в деревне и вместе с несколькими старыми друзьями открыл фирму по производству и продаже электрической аппаратуры. В нашей фирме я был главным акционером, поскольку почти весь капитал вложил я, зато фак-

тическую работу взяли на себя друзья, поэтому мне нет необходимости ежедневно бывать в конторе, но так как Наоми — не знаю почему — не любит, когда я целый день сижу дома, волей-неволей приходится раз в день заглядывать в контору. Обычно часов в одиннадцать утра я уезжаю из Йокохамы в Токио. Просидев час-другой в конторе, я часа в четыре еду домой. Когда-то я славился трудолюбием, по утрам всегда вставал рано, но в последнее время встаю не раньше половины десятого, а то и в десять часов. Поднявшись с постели, сразу же, в ночном кимоно, на цыпочках подхожу к спальне Наоми и тихонько стучу в дверь. Но Наоми любит поспать еще больше, чем я, и в этот час еще не проснулась. Иногда она спросонья что-то бормочет, а иногда продолжает крепко спать. Если она ответит, я вхожу в комнату и здороваюсь с ней, если ответа нет — ухожу и, так и не повидав ее, уезжаю в контору.

С давних пор мы спим в отдельных комнатах. Так хочет Наоми.

— Спальня женщины священна, даже муж не должен без разрешения туда вторгаться, — сказала она и взяла себе большую комнату, а соседнюю, маленькую, отдала мне. И хотя мы с ней соседи, но комнаты наши не сообщаются между собой. Их разделяет ванная комната и туалет.

Наоми просыпается каждое утро не раньше одиннадцати, но не встает, а дремлет или курит и читает газеты. Она курит тонкие сигареты «Димитрино», читает газету «Мияко» и журналы «Классик» и «Вог», да нет, не читает, а внимательно рассматривает фотографии — главным образом, европейские моды.

Прежде чем умыться, Наоми пьет в постели чай с молоком. В это время прислуга-китаянка приготовляет ей ванну. Встав, Наоми сразу же идет в ванную, после ванны опять ложится, и служанка делает ей массаж. Затем она причесывается, полирует ногти, разными снадобьями оснащает свое лицо и, наконец разрешив нелегкий вопрос — какое ей надеть кимоно, обычно выходит в столовую к половине второго.

После завтрака до самого вечера делать ей почти нечего. По вечерам мы или ходим в гости, или принимаем у себя, или отправляемся в отель на танцы — в общем, вечером мы всегда чем-нибудь заняты. Вечером Наоми еще раз красится и меняет туалет. Если мы приглашены на бал, приготовления совершаются еще более сложные — она опять принимает ванну, служанка помогает ей одеваться.

Друзья у Наоми теперь совсем другие. Хамада и Кумагай с тех самых пор больше не появляются. Одно время ей нравился Мак-Нейл, но его сразу же сменил другой европеец по фамилии Диган. После Дигана ее приятелем стал Юстас, еще более неприятный, чем Мак-Нейл. Он умел очень искусно угождать Наоми; один раз я, не стерпев, ударил этого типа прямо во время танцев. Разразился ужасный скандал, Наоми заступилась за Юстаса, кричала мне: «Сумасшедший!» — и ругала меня. А я, окончательно взбешенный, гонялся за Юстасом. Все пытались остановить меня, кричали: «Джордж!.. Джордж!..» (это мое имя «Дзэджи» европейцы так произносят на свой лад)... После этого случая Юстас перестал бывать у нас в доме, а Наоми предьявила мне новое условие, и мне не оставалось ничего другого, как покорно его принять. Конечно, после этого Юстаса был и второй и третий, но я теперь стал таким смиренным, что даже сам удивляюсь. Человек так устроен, что, однажды пережив страх, уже никогда не может его забыть — развивается своего рода мания преследования. У меня до сих пор жива память о тех страшных днях, когда Наоми бросила меня. В ушах до сих пор звучат ее слова: «Теперь вы поняли, что я — страшная женщина?» Я давно уже знал, что она капризна и легкомысленна, но без этих недостатков она потеряла бы для меня привлекательность. Чем больше я думаю: «Легкомысленная... Пустая...» — тем сильнее люблю ее и окончательно запутываюсь в ее сетях. Теперь я знаю, что если стану сердиться, то тем вернее дело кончится моим поражением.

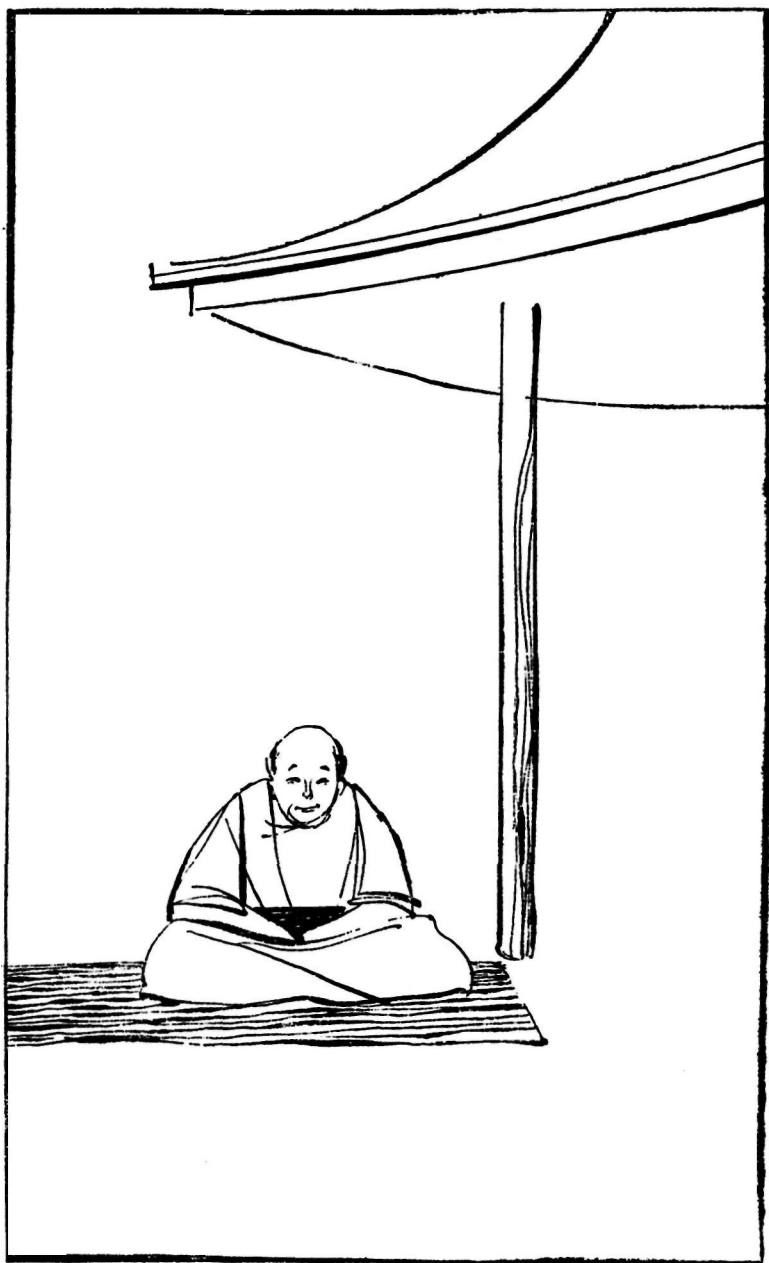
Если у человека нет твердой воли, остается только смириться.

Теперь она говорит по-английски гораздо лучше меня. Наверное, напрактиковалась, общаясь с иностранцами. Слушая, как на вечерах она трещит по-английски, любезничая с дамами и господами, я часто даже не понимаю, что она говорит. Впрочем, произношение у нее всегда было хорошее, удивительно похожее на речь европейцев... Слушается, она и меня зовет иногда на европейский манер — Джордж...

На этом кончается наша семейная хроника. Смейтесь надо мной те, кто считает все происшедшее глупостью. А тем, кто увидит в моей истории урок для себя, пусть она послужит предостережением. Ну, а я люблю Наоми, и мне все равно: можете думать что угодно...

ПОХВАЛА ТЕНИ

эссе



В наше время любителям домостроительства, задающим целью построить жилой дом в чисто японском стиле, приходится немало ломать голову над вопросом, как устроить электрическое освещение, газовое отопление, водопровод и т. п. Они вынуждены прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы это оборудование гармонировало с общим стилем японских комнат. Тот, кто не имеет собственного опыта в постройке таких домов, легко может убедиться в этом при посещении «домов свиданий», ресторанов, гостиниц и т. п. Если бы вопрос касался здесь только любителей чайной церемонии, которые из прихоти могут игнорировать дары цивилизации и воздвигать избушки на курьих ножках где-нибудь в глухих деревушках, не прибегая к современному оборудованию, то им и карты в руки, но лицам, проживающим в столице, если они к тому же обременены немалочисленной семьей, конечно, не приходится отказываться от необходимых в современных условиях жизни средств отопления и освещения и от санитарно-гигиенических удобств.

Приверженцам строго выдержанного стиля приходится ломать голову при установке даже какого-нибудь телефона — его стараются установить под лестницей, в углу коридора — в таком месте, где он меньше всего бросался бы в глаза. Электрические провода заземляют, чтобы они не висели над садом; выключатели в комнатах помещают в нишах для ставен; ламповый шнур, чтобы он был незаметен, проводят по тыльной части ширм.

Нередко бывает, однако, что излишняя предусмотрительность такого рода только приводит к неудаче: создается впечатление искусственности, нарочитости, которая неприятно режет глаз. В самом деле, наш глаз уже настолько привык к электричеству, что совершенно исключается необходимость в каком-то особом камуфляже: естественность, безыскусственность и простота, столь ценимые строгим японским стилем, могут быть достигнуты скорее

укреплением обыкновенного плоского абажура из молочного стекла, из-под которого выглядывает наружу простая электрическая лампочка. Когда в вечерний час вы любуетесь из окна вагона пробегающим мимо сельским пейзажем, крытыми соломой крестьянскими домами с раздвижными бумажными рамами, за которыми тусклым светом горят электрические лампочки под этими плоскими абажурами, кажушимися теперь каким-то анахронизмом, вы чувствуете в них своеобразное очарование.

Зато электрические веера с их гулом и несуразными формами все еще не могут достигнуть гармонии с японской гостиной. В обыкновенных семьях при желании без них можно, разумеется, и обойтись, но в тех домах, где гости служат источником дохода, положение складывается трагично: в летнее время здесь уже не приходится считаться с одними вкусами хозяев. Мой приятель, хозяин известного ресторана «Кайракуэн», чрезвычайно придирчивый там, где дело касается выдержанности архитектурного стиля, долгое время уклонялся от установки в гостиных электрических вееров, к которым питал ненависть, — но и он в конце концов вынужден был уступить требованиям гостей, каждое лето выражавших ему свое неудовольствие по поводу отсутствия электрических вееров.

Автор этих строк имел в прошлом такой же горький опыт. С разными архитектурными препонами ему пришлось столкнуться несколько лет тому назад при постройке дома, на который он затратил огромные, не соответствующие его положению денежные средства. Действительно, стоит только начать вникать во все мелочи оборудования и мебелировки дома, как тотчас же натолкнешься на самые разнохарактерные затруднения. Взять, например, бумажные раздвижные рамы — сёдзи. С точки зрения вкуса, застекление их казалось бы нежелательным. А вместе с тем, попробуйте быть последовательным до конца и употребить одну только бумагу — вы остановитесь перед такими затруднениями, как вопрос о подаче дневного света и вопрос о прочности запоров. Принужденные искать какого-то выхода, вы оклеиваете бумагой только внутреннюю сторону раздвижных дверей, вставляя в них стекла снаружи. Но это связано с необходимостью устраивать двойную решетчатую раму — внутреннюю и внешнюю, что значительно увеличивает расходы. Если вы не постояли перед расходами, то все-таки в конечном результате вы не достигнете желаемого эффекта: снаружи дверь кажется обыкновенной, стеклянной, внутренняя же ее сторона,

оклеенная бумагой, не дает впечатления настоящей бумажной раздвижной двери: свойственная бумаге мягкая плотность утрачивает свой вид, так как за бумагой чувствуется стекло, — впечатление получается плоское, вульгарное. Тогда приходит позднее раскаяние, начинаешь думать о том, что лучше было с самого начала делать двери стеклянными. В таких случаях еще можно посмеяться над другими, но когда попадаешь в подобные положения сам, то не находишь ничего лучшего, как пробовать одно средство за другим, пока не примиришься с чем-нибудь окончательно.

В настоящее время уже имеются в продаже электрические лампы, более или менее гармонирующие с японскими гостиницами: в виде фонарей висячих, в виде плоских октаэдров, в виде свечных канделябров и т. п. Тем не менее я долго не мог найти себе формы по вкусу — я специально ходил по антикварным магазинам, разыскивал старинные керосиновые лампы, японские фонари — «юмё», фонари-ночники, ставившиеся прежде у изголовья постельного ложа, — и, найдя нужную мне форму осветительного прибора, заставлял приделывать к нему электрическую лампочку.

Но больше всего хлопот доставили мне отопительные приборы. Дело в том, что все, что носит название печей, по своей форме совершенно не подходит к японской гостинице. Печки газовые иногда бывают удовлетворительны, но они неприятно шумят при горении, а без особой трубы тотчас же вызывают головную боль. Считающиеся идеальными в этом отношении печки электрические не удовлетворяют своей формой. Можно было бы пользоваться теми отопительными приборами, какие употребляются в трамваях, сделав их потайными, но они не способствуют созданию того домашнего уюта, тех зимних настроений, которые вызываются видом красного пламени. Я всячески ломал голову, пока наконец не придумал устроить в полу комнаты большой очаг, какие бывают в крестьянских домах, применив в качестве топлива «электрический уголь». Очаг оказался очень удобным как для кипячения воды, так и для обогрева комнаты. Если не принимать в расчет увеличения расходов, то в смысле удовлетворения требованиям стиля мою идею можно считать в общем удачной.

Итак, вопрос с отоплением может быть решен более или менее успешно, но далее на очереди стоит вопрос с ванной комнатой и уборной. Упомянутый выше хозяин

«Кайракуэна», не выносивший фаянсовой облицовки бассейна и пола ванной, имел для гостей ванную чисто японскую — деревянную. Однако, с точки зрения экономности и практичности, нечего и говорить, что облицовка ванны фаянсовыми изразцами имеет все преимущества. Правда, когда потолок, стоки и панель ванной комнаты сделаны из превосходного японского дерева и лишь в одной ее части употреблен фаянс с его неприятным глянецом, общая гармония комнаты нарушается. Это не так бросается в глаза, пока материал постройки еще нов, но с течением времени, когда дерево стареет, когда начинает проявляться красота его узора, фаянс же остается белым и глянцевитым, как прежде, создается такое впечатление, как будто к стволу сосны привили ветку бамбука. Впрочем, ванная комната еще допускает принесение соображений практичности в жертву вкусу, но когда дело доходит до уборной, то здесь перед строителем возникает новый ряд всяких осложнений.

* * *

Каждый раз, когда я бываю в храмах Киото или Нара и меня проводят в полутемные, но идеально чистые уборные, построенные в старинном японском вкусе, я до глубины души восхищаюсь достоинствами японской архитектуры. Комнаты для чайной церемонии тоже имеют свои хорошие стороны, но японские уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. Они непременно находятся в отдалении от главной части дома, соединяясь с ней только коридором, где-нибудь в тени древонасаждений, среди ароматов листвы и мха. Трудно передать словами это настроение, когда находишься здесь в полумраке, слабо озаренном отраженным от бумажных рам светом, и предаешься мечтаниям либо любишь через окно видом сада. Писатель Сосэки одним из наслаждений признавал времяпрепровождение в уборной утром и называл это разновидностью физиологического удовольствия. Для достижения этого удовольствия нет более идеального места, чем японская уборная, — здесь человек, окруженный тихими стенами с благородно простыми деревянными панелями, может любоваться через окно голубым небом и зеленой листвой. Но для этого, повторяю, непременно условиями являются некоторый полумрак, предельная чистота и такая тишина, чтобы ухо различало даже комариное пение. Находясь в такой уборной, я люб-

лю слушать шелест дождевых капель. В провинции Канто, где принято устраивать в уборных на уровне пола узкие и длинные раздвижные форточки для удаления через них выметаемого сора, мягкий звук капель, падающих с карниза и листвы к подножию каменных японских фонарей, слышится как-то особенно близко от уха: вам кажется даже, что вы различаете ухом, как эти капли увлажняют мох на каменных плитах, разбросанных на дорожке, и проникают в землю. Поистине уборная хороша и для того, чтобы слушать в ней стрекотанье насекомых и голоса птиц, и вместе с тем самое подходящее место для того, чтобы любоваться луной и наслаждаться разнообразными явлениями четырех времен года. Я думаю, что поэты старого и нового времени именно здесь почерпнули бесчисленное множество своих тем. Это позволяет мне утверждать, что ив всех построек японского типа уборная наиболее удовлетворяет поэтическому вкусу. Наши предки, которые не в состоянии были оставить что-нибудь неопэтизированным, из места, долженствующего быть самым нечистым во всем доме, создали храм эстетики, связанный с цветами, птицами, луной, красотами природы и трогательными ассоциациями. Я нахожу, что, сравнительно с европейцами, безо всяких обиняков находящими уборную нечистым местом и избегающими даже упоминать это слово в обществе, наше отношение к этому учреждению гораздо разумнее и несравненно эстетичнее. И если уж говорить о недостатках японской уборной, то можно лишь указать на удаленность ее от главной части дома, делающую неудобным сообщение с нею среди ночи и создающую возможность простудных заболеваний в зимнее время. Но еще писатель Рёкуу Сайто говорил, что «поэтический вкус — вещь холодная». Я считаю, что приятнее, когда в подобных местах стоит температура не выше температуры внешнего воздуха. Как неприятны европейские уборные в отелях с их паровым отоплением и постоянно нагретым воздухом.

Итак, любители стильных построек, считая уборную японского типа идеальной, явно предпочитают ее другим. Но японские уборные хороши в таких местах, как храмы, где в сравнительно просторном помещении немного обитателей и достаточно рук для содержания уборных в чистоте. Сложнее обстоит дело в обыкновенных квартирах, где труднее соблюдать чистоту постоянно, — особенно когда пол устраивается деревянный или же устланный циновками. Несмотря на все требования о соблюдении чистоты,

несмотря на поощрение частого протирания пола, он быстро загрязняется, и вид его неприятно режет глаз. Соображения гигиены и экономии трудовых усилий, естественно, заставляют выкладывать пол фаянсовыми плитками, устраивать сиденье промывного типа с баком для воды и т. п. Зато при таких усовершенствованиях нечего и думать об «эстетике», о цветах, о птицах, о луне. Режущий глаза свет и совершенно белые степы таких уборных, конечно, мало располагают к появлению того чувства физиологического удовольствия, о котором говорил Сосэки. Ровная белизна стен, сияющая во всех уголках, несомненно, имеет отношение к чистоте и опрятности, но сам собою напрашивается вопрос, нужно ли распространять столь придирчивое внимание вплоть до того места, куда отправляются выделения собственного тела. Подобно тому как невежливо выставлять перед людьми обнаженные ноги, даже если они принадлежат ослепительной красавице, точно так же неудобно пересаливать и в чересчур откровенной подаче света: чем чище и опрятнее выглядят части, выставленные напоказ, тем сильнее ассоциируются они с частями, не видимыми глазу. Места подобного рода лучше всего окутывать полумраком, завуалировав границу, где кончается чистое и начинается нечистое. Этими соображениями руководствовался и я при постройке собственного дома. Примирившись с установкой промывного оборудования, я все же решил отказаться от облицовки пола фаянсовыми плитками и в угоду японскому вкусу для настила пола воспользовался досками из камфарного дерева. Но я остановился в недоумении перед вопросом о сиденье. Дело в том, что сиденья промывной системы, как известно, изготавливаются из совершенно белого фаянса и снабжены ярко сияющими металлическими ручками. Я лично предпочел бы, чтобы эти сооружения, как для джентльменов, так и для дам, были деревянными. Отполированные воском, они были бы наиболее идеальными, но недурны и сделанные из некрашеного дерева, которое с годами темнеет, дает восхитительный узор и действует на редкость успокоительно на нервы. В особенности же идеальными представляются деревянные писсуары, набиваемые хвоей криптомерий: они не только дают приятное зрительное впечатление, но и безукоризненны в смысле восприятий звуковых. Не будучи в состоянии позволить себе подобной роскоши, я мечтал хотя бы о сосуде, сделанном по моему вкусу, к которому думал приспособить промывное устройство, но в конце концов должен был отказаться и

от этой мысли, так как выполнение такого сооружения по особому заказу было сопряжено с техническими трудностями и немалыми расходами. И тогда мне невольно пришла в голову следующая мысль: мы ничего не имеем против принятия всех современных достижений цивилизации в виде средств освещения и санитарно-гигиенических устройств, но почему же они не усовершенствуются к нашим привычкам и жизненным вкусам, которые, казалось бы, заслуживают несколько большего уважения к себе?

* * *

В последнее время вошли в моду электрические лампы, имеющие форму японских фонарей — «андон». С одной стороны, это результат того, что у людей снова открылись глаза на ту мягкость и теплоту, какими обладает забытая одно время японская бумага, с другой стороны, это доказывает, что такого рода фонари признаны более подходящими для японских домов. Что же касается оборудования уборных и печей, то до настоящего времени в продаже еще не обращаются такие модели их, которые вполне гармонировали бы с японской архитектурой. На мой взгляд, лучшим типом печи был бы очаг с электрическим углем, подобный устроенному мною, но даже и эта бесхитростная выдумка не находит себе применения (здесь не приходится говорить о так называемых электрических жаровнях, которые, как средство отопления, так же несовершенны, как и обыкновенные японские жаровни). То, что имеется в продаже, сводится все к тем же электрическим печкам европейского вкуса с их неуклюжими формами. Мне могут сказать, что заботы о мелочных вкусах в вопросе об одежде, пище и жилище являются ненужной роскошью, что достаточно иметь возможность защиты от холода, жары и голода и что о стиле в этом случае можно и не говорить. В самом деле, когда идет снег и тело коченеет от холода, воздержание, диктуемое вкусом, становится неуместным и всяческие рассуждения о стильности или нестильности отпадают сами собой. Волей-неволей тянешься рукой к благодетельным дарам цивилизации, находящимся тут же перед глазами. И все-таки при виде их я каждый раз невольно думаю о том, что было бы, если бы на Востоке получила развитие самобытная техническая культура, не имеющая ничего общего с западной. Как отличались бы тогда наши общественные формы от совре-

менных. Например, если бы у нас были собственные физика и химия, то не пошло ли бы совсем иным путем развитие техники и промышленности, основанных на них, не появились ли бы в повседневном употреблении машины, химикалии, технические изделия и пр., более отвечающие нашим национальным особенностям? Да и не только это. Возможно, что самые физика и химия были бы построены на совершенно иных началах, чем европейские, а наши представления о существе и действии света, электричества, атомов и т. п., почерпнутые нами в школе, может быть, приняли бы совершенно иной вид. Все это относится к области науки, в которой я очень мало смыслю и, следовательно, могу лишь только фантазировать, но нетрудно себе представить, что если бы изобретения практического характера развивались у нас самобытными путями, то они оказали бы широкое воздействие не только на формы одежды, пищи и жилища, но также и на формы политической и религиозной жизни, на искусство, на экономическую деятельность и т. д. — и тогда Восток раскрыл бы перед всеми совсем особый, самобытный мир. Возьмем простой пример. Несколько лет тому назад я писал в журнале «Бунгэй сюдзю» на тему о сравнительных качествах «вечного пера» и кисти. Я утверждал, что если бы «вечное перо» было изобретено в Японии или Китае, то на его конце сидело бы не металлическое перо, а волосная кисть, чернила были бы не синего цвета, какой мы знаем, а были бы заменены жидкостью, близкой по качествам к разведенной туши, которая посредством известного приспособления посылалась бы из ручки в кисть и напитывала бы последнюю. Тогда и бумага употреблялась бы не европейская, не приспособленная для писания кистью, а похожая на японскую, изготовляемая в массовом производстве, что-нибудь вроде японской кайрё банси. И если бы японская бумага, жидкая тушь и кисть получили такое распространение, то перья и чернила оказались бы в меньшем ходу, чем в настоящее время, и тогда едва ли столь громко звучали бы голоса в пользу латинизации японской письменности — наоборот, окрепли бы общие симпатии к иероглифам и знакам «кана». Даже больше. Возможно, что и наши идеи, и наша литература устремились бы не по пути подражания европейским образцам, а к новым, совершенно самобытным сферам. Когда представляешь себе все это, невольно в голову приходит мысль, сколь огромно влияние такой, казалось бы, незначительной вещи, как канцелярская принадлежность.

Возможно, что размышления о подобных вещах — не что иное, как плод досужей фантазии писателя. Для всякого ясно, что, раз вещи получили свой современный облик, нет смысла возвращаться к прошлому, для того чтобы начать все сызнова. Возможно, что говорить, как я, — значит мечтать о невозможном, брюзжать по поводу невыполнимого. Пусть так, но да позволено нам будет размышлять о том, какой ущерб несем мы в сравнении с европейцами. Ведь дело в том, что европейская цивилизация достигла современного уровня, развиваясь нормальным путем, в то время как мы, столкнувшись с превосходной цивилизацией и приняв ее, вынуждены были отклониться в сторону от того пути, каким шли несколько тысячелетий. Естественным поэтому было возникновение разных препятствий и неудобств. Правда, если бы мы так и остались предоставленными самим себе, возможно, что в области культуры материальной мы ушли бы недалеко от того, что было лет пятьсот тому назад. Ведь в деревнях Китая и Индии и в настоящее время жизнь протекает почти так же, как и во времена Шакья-Муни и Конфуция. Но зато направление развития тогда было взято отвечающим нашему национальному характеру. И кто знает, быть может, продолжая медленно идти своим путем, мы со временем дошли бы до открытия собственных, незаимствованных, приспособленных к нашим нуждам орудий цивилизации, заменяющих современные трамвай, аэроплан, радио и т. п. За примерами не далеко ходить. Возьмем кинематограф. Как резко отличаются друг от друга кино американское, французское и немецкое своей светотенью и расцветкой, не говоря уже об игре артистов и особенностях инсценировок. В самой фотосъемке мы можем в чем-то уловить, характерные национальные особенности, хотя фотосъемки и производятся теми же самыми аппаратами, с применением тех же химикалий. И вот приходит в голову мысль: а что, если бы у нас было собственное искусство фотографии? Как оно отвечало бы и цвету нашей кожи, и нашей наружности, и нашему климату, и нашему пейзажу? То же самое можно сказать о граммофоне и радио: если бы они были изобретены нами, то, несомненно, лучше передавали бы и тембр нашего голоса, и особенности нашей музыки. Наша музыка носит характер интимный, главное место в ней отведено настроению. Поэтому при записи на граммофонную пластинку, при передаче ее

путем звукоусилителя прелесть исчезает более чем наполовину. Такова же и наша ораторская речь: мы обладаем небольшим голосом, мы немногословны, в речевом потоке у нас важную роль играет пауза. В машинной же передаче эта пауза просто задавливается. Таким образом, наше заискивающее отношение к машине ведет лишь к тому, что мы искажаем свое собственное искусство. Совершенно иное мы видим у иностранцев: у них машина получила развитие в их собственной среде и, разумеется, была создана с учетом всех особенностей их искусства. В этом смысле мы несем большой ущерб.

* * *

Говорят, что бумага — изобретение китайское. В то время как в европейской бумаге мы видим только предмет практической необходимости, и ничего больше, при взгляде на бумагу китайскую или японскую мы воспринимаем от нее какую-то теплоту, доставляющую нам внутреннее успокоение. Одна и та же белизна носит совершенно иной характер в бумаге европейской, с одной стороны, и в бумаге японской хосё либо белой китайской тоси — с другой. Поверхность европейской бумаги имеет склонность отбрасывать от себя лучи, в то время как поверхность хосё и тоси мягко поглощает в себя лучи света, подобно пушистой поверхности первого снега. Вместе с тем листы этих сортов бумаги очень эластичны на ощупь и не производят никакого шума, когда их перегибаешь или складываешь. Прикосновение к ним дает то же ощущение, что и прикосновение к листьям дерева: бесшумности и некоторой влажности. Говоря вообще, при виде предметов блестящих мы испытываем какое-то беспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из серебра, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, мы же такого блеска не выносим. Мы тоже употребляем изделия из серебра: кипяильники, кубки, графинчики и т. п., но никогда не начищаем их до блеска. Наоборот, мы радуемся, когда этот блеск сходит с поверхности предметов, когда они приобретают налет давности, когда они темнеют от времени. В каких семьях не случается, что непонятливая прислуга начищает до блеска серебряные вещи, уже отмеченные знаком времени, и получает за это выговор от хозяев. В последнее время в китайских ресторанах всюду стали подавать на оловянной посуде — вероятно оттого, что китайцам нравится цвет, который эта посуда при-

обретает от времени. Пока она нова, она не производит хорошего впечатления, будучи похожей на алюминиевую. Но китайцы не оставляют ее в покое до тех пор, пока она не приобретает благородного отпечатка времени. Часто на такой посуде бывает выгравирован какой-нибудь стихотворный текст, который, по мере того как металл темнеет, все больше начинает гармонировать с его фоном. Таким образом, олово — дешевый легкий металл с ярким блеском — приобретает постепенно глубину, какая бывает свойственна красной туши, и матовую солидность. Китайцы любят также камень, называемый нефритом. Эта удивительная легкая муть, этот густой тусклый блеск, чувствуемый в самой глубине камня, где как будто застыл кусок старинного воздуха, слежавшегося в течение столетий, — прелесть всего этого дано чувствовать едва ли не одним лишь людям Востока. Нам, японцам, тоже не совсем понятно, что именно привлекает китайцев в этом камне, не обладающем ни цветом рубина и изумруда, ни блеском алмаза, но, когда мы видим его мутную поверхность, он кажется нам именно «китайским» камнем, мы чувствуем, что в этой мути, имеющей какую-то глубину, отложился осадок многовековой культуры, и мы уже не удивляемся тому, что китайцы так любят цвет, блеск и вещество этого камня. То же самое и с хрусталем. В последнее время хрусталь в больших количествах импортировался из Чили, но чилийский хрусталь по сравнению с японским имеет один недостаток: он чересчур прозрачен. Гораздо солиднее выглядит японский хрусталь, добываемый в Косю: в его прозрачности разлита легкая муть, а так называемый «хрусталь с прожилками» содержит в глубине примесь какого-нибудь непрозрачного твердого вещества — он очень ценится японцами. Даже стекло китайского производства, носящее название «ченлунского стекла», пожалуй, ближе к нефриту либо к янтарю, чем к стеклу. Искусство производства стекла уже давно было известно на Востоке, но оно так и не получило того развития, какое получил фарфор, что опять-таки связано с особенностями нашего национального характера. Я не хочу этим сказать, что мы не любим вообще ничего блестящего, но мы действительно отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути, которая неизбежно вызывает в представлении лоск времени, — безразлично, будет ли это натуральный камень или же из искусственного материала сделанный сосуд. Впрочем, выражение

«лоск времени» звучит несколько сильно, правильнее было бы сказать — «засаленность руками». В Китае есть слово «шоуцзэ», а в Японии — «нарэ». И то, и другое выражают понятие глянца, образовавшегося в течение долгого времени на предметах, которых касаются человеческие руки: от постоянного обращения одного и того же места в руках жировое вещество проникает и впитывается в материю предмета, в результате чего и получается именно «засаленность от рук». Таким образом, выражение «поэтический вкус — вещь холодная» можно перефразировать и так: «поэтический вкус — вещь нечистоплотная». Нельзя отрицать того, что в «художественную изящность», радующую наш взор, одним элементом входит некоторая нечистоплотность и негигиеничность. Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жестокой чистке. Мы же, наоборот, стремимся бережно сохранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Быть может, все это — аргументация стороны, просто не желающей сдавать своих позиций, но мы знаем, что причины рождают следствия: мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых отеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающие в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов, — они успокаивающе действуют на наши нервы. И я всегда думаю о том, что в больницах, поскольку они обслуживают японских пациентов, не следовало бы допускать ярко блестящих и совершенно белых цветов для больничных стен, операционных халатов и медицинских инструментов, а употреблять тона темные и мягкие. Если бы больные проходили курс лечения в японских комнатах с песчаной штукатуркой стен, лежа на циновках, то это, несомненно, вносило бы успокоение в возбужденное состояние больного. Отчего мы не любим ходить к зубным врачам? Оттого что не переносим этого неприятного звука бормашины, но в еще большей степени, я думаю, оттого, что видим чрезмерное изобилие стекла и блестящих металлических предметов, которые заставляют нас внутренне содрогаться. Во время жестокой неврастении я однажды почувствовал ужас от известия, что вернулся из Америки на родину зубной врач, вооруженный новейшими орудиями зубной техники. Я предпочитал ходить к отставшим от века дантистам, имеющим зуболечебные кабинеты в старинных японских домах, — таких врачей мож-

но найти в маленьких провинциальных городишках. Конечно, медицинские инструменты, потемневшие от времени, — вещь неприятная, по все же если бы в Японии получила развитие своя собственная медицина, идущая в ногу с веком, то, вероятно, были бы изобретены такое оборудование и такой инструментарий, которые вполне гармонировали бы с общим тоном японских помещений. Вот еще один пример того, в чем мы несем ущерб от заимствований.

* * *

В Киото есть известный ресторан «Варандзия». До последнего времени здесь не пользовались электрическим освещением, — ресторан был известен тем, что в его кабинетах горели свечи в старинных канделябрах. Я давно уже не был в этом ресторане, и когда весной этого года как-то зашел туда, то очень удивился, увидев в нем электрический свет, правда приспособленный к японским фонарям в стиле «андон». Я спросил, с какого времени здесь стали пользоваться электричеством. Мне ответили, что с прошлого года, притом против собственного желания, по настоянию многочисленных посетителей, находивших, что свечи дают слишком слабый свет. Впрочем, для гостей, предпочитающих прежнее освещение, по-прежнему предоставляется сидеть при свечах, и поэтому попросил заменить ими электрические фонари. Когда это было сделано, я вновь почувствовал, что красота японских лакированных вещей в полной мере выявляется в обстановке именно такого полутемного, неверного света. Комната в «Варандзии», где я сидел, была небольшим уютным помещением для чайной церемонии, площадью в 4½ циновки. Для почерневших от времени столбов пиши, где висит панно, и деревянного потолка был недостаточен свет даже от электрического фонаря «андон», но когда были принесены свечи, то в их слабом, колеблющемся, мигающем свете лакированный столик и расставленные на нем лакированные чашки приобрели совершенно новое обаяние, показав ту глубину и толщину глянца, которая чувствуется в дремлющей воде пруда. Глядя па эту обстановку, я понял, что изобретение нашими предками японского лака уруси и их пристрастие к блестящим, покрытым этим лаком предметам — совсем не случайность. Мой друг Саварвар рассказывал мне, что у них в Индии до настоящего време-

ни пользуются лакированной посудой, считая употребление посуды фарфоровой дурным тоном. У нас же в Японии наблюдается совершенно обратное явление: за исключением случаев чайной и других церемоний теперь употребляется почти всегда и везде фарфоровая утварь, исключение делается лишь для лакированных столиков и чашек для супа, — вся остальная лакированная посуда считается признаком дурного вкуса. Возможно, что частичную роль сыграл здесь яркий свет, принесенный современными средствами освещения. И действительно, можно смело сказать, что прелесть лакированной посуды немислима без одного привходящего условия: «темноты». В наши дни появилась лакированная посуда белого цвета, но в старое время обычным цветом ее был черный, коричневый или же красный — цвет ряда наслоений «темноты», естественно родившийся из окружающего мрака. Когда смотришь при дневном свете на лакированные блестящие шкатулки с яркой золотой росписью либо на такие же настольные пишотры для книг и этажерки — они кажутся безвкусными, лишенными спокойной солидности, иногда даже мещански пошлыми. Но попробуйте заменить окружающий их дневной свет темнотою, попробуйте направить на них не лучи солнца или электрических ламп, а слабый свет японского светильника «томё» либо свечи — и вся эта кажущаяся безвкусица спрячется куда-то глубоко на дно, вещь будет выглядеть строго и солидно. Несомненно, что старинные мастера, покрывая вещи лаком и нанося на них золотой узор, всегда имели в виду эту темноту комнат и предвидели тот эффект, какой должны дать лакированные вещи при слабом свете. Они не жалели позолоты, представляя себе, как будет выделяться золотой узор в темноте, как он будет отражать пламя слабого источника света. Короче говоря, золотая роспись на лакированных изделиях предназначалась не для того, чтобы ее можно было одним взглядом окинуть при ярком свете, а для того, чтобы показывать понемногу глубинный блеск небольшой ее части, скрывая большую часть роскошного рисунка в темноте. В этом чувствуется какой-то барственный вкус. Зеркальный блеск не покрытой золотом части предмета, обрамленный темным фоном, отражая колеблющееся пламя свечи, зовет к мечтательности, говоря о невозмутимой глади покоя, иногда посещаемой ветерком. Как потеряли бы в своем очаровании и этот мир грез, создаваемый призрачными бликами свечей или светильника, и это биение пульса ночи, вызываемое колебанием их пламени, если бы

в этой наполненной тенью комнате не было лакированных предметов. Глянцевые блики лакированных вещей создают впечатление то разбежавшихся по поверхности циновок веселых ручейков, то дремлющей в пруде воды, они то там то сям выхватывают из темноты лучи света, передают их тоненькими, робкими полосками, мелькающими искорками и как будто ткнут золотой узор для покрыва ночи. Для столовой посуды не плох и фарфор, но у фарфора нет той тени, нет той глубины, какую дает посуда лакированная. Прикосновение рукою к фарфору дает ощущение тяжести и холода. Кроме того, фарфор быстро нагревается и неудобен для помещения в нем горячего. Неприятно для уха и его звяканье. Лакированные же изделия дают ощущение легкости, мягкости и не издают тревожащих ухо звуков. Я ничего не люблю так, как эту живую теплоту и тяжесть супа, ощущаемые ладонью сквозь стенки лакированной суповой чашки, когда берешь ее в руки. Ощущение это подобно тому, когда держишь в руках нежное тельце новорожденного младенца. Вполне понятно, почему до настоящего времени посуда для супа делается из лакированного дерева: посуда фарфоровая не в состоянии вызывать таких ощущений. Когда вы снимаете крышку с фарфоровой чашки с супом, вы прежде всего сразу же различаете и его цвет, и все его содержание. В деревянной же лакированной чашке хорош именно этот первый момент, когда вы сняли крышку и несете чашку ко рту, любуясь, как на глубоком дне ее беззвучно покоится горячая влага почти того же цвета, что и стенки сосуда. Невозможно различить глазом, что именно скрыто во мраке внутри этой деревянной чашки, но тихое колыхание супа передается вашей руке, по капелькам пота, образовавшимся на верхнем крае стенок чашки, вы судите, что из нее поднимается пар; еще не прикоснувшись к ней губами, вы уже почувствуете вкус содержимого по тому аромату, который несет с собою тот пар. Как отличается восприятие этого момента от того, когда суп подается вам по-европейски, в плоской белой тарелке! В этом моменте есть даже что-то мистическое, что-то от настроений дзэн-буддизма.

* * *

Когда я сижу перед лакированной чашкой с супом, слушаю неуловимый, напоминающий отдаленный треск насекомых звук, льющийся из нее непрерывной струйкой в ухо, и предвкушаю удовольствие, какое получу сейчас

от того, что буду есть, — я чувствую, как чья-то невидимая рука увлекает меня в мир тончайших настроений. Состояние это, вероятно, аналогично тому, какое бывает у служителя чайного культа, когда он, слушая клокотанье котелка с горячей водой на очаге, вызывает в своем представлении звон горного ветра в сосновой хвое и уносится мыслью в тот мир, где собственное «я» совершенно растворяется. Говорят, что японские блюда предназначены не для того, чтобы их вкушать, а для того, чтобы ими любоваться. Я бы сказал даже — не столько любоваться, сколько предаваться мечтаниям. Действие, ими оказываемое, подобно беззвучной симфонии, исполняемой ансамблем из пламени свечей и лакированной посуды. Когда-то мой учитель, писатель Сосэки, в своем произведении «Подушка из травы» («Куса-макура») посвятил восторженные строки цветку японского мармелада ёкан. Не находите ли вы, что цвет его тоже располагает к мечтательности? Эта матовая, полупрозрачная, словно нефрит, масса, как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет, эта глубина и сложность сочетания красок, — ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных. В сравнении с цветом ёкана каким пустым и поверхностным, каким примитивным кажется, например, цвет европейского крема! А когда еще ёкан положен в лакированную вазу, когда сочетание его красок погружено в глубину «темноты», в которой эти краски уже с трудом различимы, то навеваемая им мечтательность еще более усугубляется. Но вот вы кладете в рот холодноватый, скользкий ломтик ёкана, и вам кажется, как будто вся темнота комнаты собралась в одном этом сладком кусочке, тающем сейчас у вас на языке. И вы чувствуете, что вкус этого не бог весть какого вкусного ёкана приобрел какую-то странную глубину и содержательность.

В любой стране обеденным блюдам стараются придать такое сочетание красок, чтобы оно гармонировало с цветом посуды и стен столовой. Японские кушанья особенно требуют такой гармонии — их нельзя есть в светлой комнате и на белой посуде: их аппетитность от этого уменьшается наполовину. При одном взгляде на суп, приготовленный из красного мисо, который мы едим каждое утро, вам становится ясно, что в старину это мисо получило свое развитие в полутемных домах. Однажды я был приглашен на чайную церемонию, где нам подали суп из мисо. До того времени я ел этот суп, не обращая на него особенного внимания, но когда я увидел его поданным

при слабом свете свечей в лакированных черных чашках, то этот густой суп цвета красной глины приобрел какую-то особенную глубину и очень аппетитный вид. Соя обладает такими же свойствами. В районе Камигата под названием «тамари» употребляют в качестве приправы к сырой рыбе, нарезанной ломтиками, а также к соленым и вареным овощам сою довольно густой консистенции. Эта липкая блестящая жидкость обладает богатую «тенью» и прекрасно гармонирует с темнотой. И даже такие блюда, как белое мисо, бобовый творог, прессованная вареная рыба камабоко, сбитый крем из одной разновидности картофеля тороро, сырая белая рыба и т. д., то есть блюда, имеющие белый цвет, также не дают надлежащего колористического эффекта в светлой комнате. Да и отваренный рис ласкает взор и возбуждает аппетит только тогда, когда он наложен в черную лакированную кадучечку и стоит в затемненном месте. Для кого из японцев не дорог вид этого белого, только что отваренного риса, наложенного горкой в черную кадочку, в момент, когда с него снята крышка и из-под нее поднимается кверху теплый пар, а каждая крупинка риса блестит, словно жемчужинка. Разве не говорит все это об одном: что наши национальные блюда неразрывно связаны с темнотой и основным тоном своим имеют «тень».

* * *

В архитектуре я не смыслю ничего. Говорят, что красота европейских храмов готического стиля кроется в их высоких заостренных кровлях, вонзающихся в небо. Храмы нашей страны являют в этом отношении полную противоположность. Отличие их заключается прежде всего в том, что верх здания покрывается большой черепичной кровлей, корпус же скрывается в глубокой и широкой тени, образуемой навесом кровли. Да и не только храмы — будь то дворец или дом простолюдина, безразлично, — в их внешнем контуре прежде всего бросаются в глаза большая кровля, крытая в одних случаях черепицей, в других соломой, и густая тень, таящаяся под нею. Под их карнизом даже среди белого дня бывает темно, словно в пещере: вход, двери, стены, балки — все погружено в густую тень. Вы не найдете в этом отношении разницы между величественными постройками, вроде храмов Тионьин и Хонгандзи, и крестьянскими избами в глухих деревнях. Когда вы сравниваете части здания старинной

постройки, находящиеся выше и ниже карниза, то вы уже при одном поверхностном осмотре убеждаетесь, насколько кровля тяжелее, громоздче и занимает большую площадь, чем остальная часть здания. Строя себе жилище, мы прежде всего раскрываем над ним зонт — кровлю, покрываем землю тенью и уже в тени устраиваем себе жилье. Европейские дома, конечно, тоже не обходятся без кровли, но у них назначение последней состоит скорее в защите от дождя, чем от солнечных лучей; можно даже усмотреть обратное стремление: не давать места тени, а дать возможно больший доступ свету внутрь здания. Об этом говорит один внешний вид европейских строений. Если японскую кровлю можно сравнить с зонтом, то кровлю европейскую можно уподобить головному убору, притом с очень небольшими полями, вроде кепи. Это позволяет даже отвесным лучам солнца освещать стены здания почти до самого края карниза. Длинные навесы у крыш японских домов обязаны своим происхождением, по-видимому, климатическим и почвенным условиям, а также особенностям строительного материала. Быть может, то обстоятельство, что раньше мы не пользовались ни кирпичом, ни стеклом, ни цементом, создало необходимость защищаться от ливней, захлестывающих сбоку, путем устройства далеко выступающих навесов. Вероятно, и японцы признавали более удобными не темные комнаты, а светлые, но сама необходимость заставила их отказаться от последних. Но то, что мы называем красотой, развивается обыкновенно из жизненной практики: наши предки, вынужденные в силу необходимости жить в темных комнатах, в одно прекрасное время открыли особенности тени и в дальнейшем приучились пользоваться тенью уже в интересах красоты. И мы действительно видим, что красота японской гостиной рождается из сочетания света и тени, а не из чего-нибудь другого. Европейцы, видя японскую гостиную, поражаются ее безыскусственной простотой. Им кажется странным, что они не видят в ней ничего, кроме серых стен, ничем не украшенных. Быть может, для европейцев такое впечатление вполне естественно, но оно доказывает, что ими еще не разгадана загадка «тени». Наши гостиные устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. Не довольствуясь этим, мы еще более удаляем от себя лучи солнца, пристраивая перед гостинными специальные навесы либо длинные веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату через бумажные раздвижные рамы, как бы стараясь, чтобы слабый дневной

свет только украдкой проникал к нам в комнату. Элементом красоты нашей гостиной является не что иное, как именно этот профильтрованный неяркий свет. Для того же, чтобы этот бессильный, сиротливый, неверный свет, проникнув в гостиную, нашел здесь свое успокоение и впитался в стены, мы нарочно даем песчаной штукатурке стен окраску неярких тонов. В глинобитных амбарах, на кухнях, в коридорах мы подмешиваем в штукатурку специальные блестки, но стены в гостиной покрываем обычно матовой песочной штукатуркой, ибо блеск стен уничтожал бы всякое впечатление от скудного, мягкого, слабого света. Нам доставляет бесконечное удовольствие видеть это гонкое неясное освещение, когда робкие, неверные лучи внешнего света, задержавшись на стенах гостиной, окрашенных в цвет сумерек, с трудом поддерживают здесь последнее дыхание своей жизни. Мы предпочитаем этот свет на стенах, вернее — этот полумрак, всяким украшениям — на него никогда не устанешь любоваться. Естественно, что штукатурка делается исключительно ровного цвета, без узора, для того чтобы не возмутить полусвета, отдыхающего на песочных стенах. Каждая комната имеет свою, отличную от других, окраску стен, но как незначительно и трудноуловимо это отличие! Это даже не цветовая разница, а разница в оттенках, — даже больше: разница в зрительном восприятии наблюдающих лиц. От этой едва уловимой разницы в цвете стен каждая комната приобретает и свой нюанс «тени». Впрочем, следует оговориться: наши гостиные пользуются и украшениями. В каждой гостиной устроена ниша, где висит на стене картина-панно и красуются в вазе живые цветы. Но эти картины и цветы не столько играют роль украшения залы, сколько придают глубину «тени». Вешая картину-панно, мы прежде всего обращаем внимание на то, гармонирует ли она с общим тоном ниши и стен. «Гармония ниши» чрезвычайно почитается нами. Поэтому, наряду с художественными достоинствами картины или же каллиграфической надписи, составляющих содержание панно, мы придаем такое же значение и их окантовке, так как если последняя нарушает «гармонию ниши», то вся ценность панно от этого пропадает, какими бы художественными достоинствами ни обладало самое письмо панно. И наоборот, бывает так, что, не имея большой самостоятельной художественной ценности, панно-картина либо панно-надпись, повешенные в нише чайной комнаты, чрезвычайно гармонируют с нею, и от этой гармонии выигрывает как

самое панно, так и комната. Чем же именно гармонирует с комнатой такое панно, само по себе не обладающее особыми достоинствами? Элементом гармонии является всегда «цвет давности», которым отмечены фон картины, оттенок туши и измятость окантовки. «Цвет давности» поддерживает соответствующий баланс с темнотою ниши или комнаты. Когда мы посещаем знаменитые храмы Киото или Нара, нам показывают сокровища этих храмов: панно, висят в глубоких нишах их больших аудиторий. Очень часто в этих нишах даже днем царит полумрак, мешающий разглядеть рисунок панно, и, лишь слушая объяснения гида, по полустертым следам туши представляешь себе, как прекрасна была картина-панно. И то, что время наложило свою руку на эту старинную картину, совсем не мешает целостности гармонии ее с полутемной нишей, даже наоборот: как раз самая неясность картины и дает это прекрасное сочетание. Картина в данном случае играет ту же роль, что и песочная стена, представляя художественную «плоскость», имеющую назначение улавливать и удерживать на себе неверный свет комнаты. Вот где кроется причина того, почему мы, выбирая панно, придаем такое значение его давности и строгости его стиля. Картины новые, будут ли они написаны тушью или же исполнены в бледных тонах акварелью, безразлично, при неудачном выборе могут только испортить теневой эффект ниши.

* * *

Если уподобить японскую залу картине, исполненной тушью, то бумажные раздвижные рамы будут ее самой светлой частью, а ниша — самой темной. Каждый раз, когда я смотрю на выдержанную в строгом стиле нишу японской залы, я прихожу в восхищение перед тем искусством распределения светотени, которое свойственно только японцам, постигшим тайну «тени». Здесь вы не увидите никаких ухищрений: комбинацией простого дерева с простыми стенами в глубине комнаты ограничено пространство, где лучи света, дошедшие извне, рождают неясную тень. Вы вглядываетесь в мрак, наполняющий пространство за выступом карниза над нишей, плавающий вокруг цветочной вазы, таящийся под этажеркой тигаидана, и, зная, что это только тень, вы тем не менее чувствуете, как будто это воздух тихо притаился здесь, как будто тишина вечности владеет этими темными углами. Я думаю, что «таинственность Востока», о которой так любят говорить

европейцы, связывается в их представлении именно с этой жуткой тишиной, свойственной мраку. В детские годы нам тоже приходилось испытывать неизъяснимый страх, когда мы всматривались в глубь ниши в чайной комнате или в кабинете. Где ключ к этой таинственности? Секрет ее в магической силе тени. Если бы тень была изгнана из всех углов ниши, то ниша превратилась бы в пустое место. Гений надоумил наших предков оградить по своему вкусу пустое пространство и создать здесь мир тени. Тень внесла настроение таинственности, с которым не могут соперничать ни стенная живопись, ни украшения. Фокус как будто бы простой, на самом же деле не всякому доступный. Круглый вырез окна сбоку ниши, глубина свисающего над нишей карниза, высота верхней балки ниши — все их пропорции создавались ценой усилий, незаметных глазу, но легко вообразимых. Особенно заслуживает быть отмеченным «кабинетное» окно — сёин, с его бумажными рамами, пропускающими слабый белесый свет. Стоя перед ним, я не замечал, бывало, как течет время. То, что мы называем «кабинетом», как показывает самое имя, в старину было комнатой для чтения и письма, и окно в ней было устроено именно с этой целью, но с течением времени оно превратилось в источник света для ниши. Впрочем, в большинстве случаев окно это служит не столько источником света, сколько фильтром, процеживающим сквозь бумагу боковые лучи внешнего света, заглядывающие в комнату, и в нужной мере ослабляющим их. Какой холодный, молчаливый оттенок имеет этот свет, отражающийся на внутренней стороне бумажных рам! Солнечные лучи, пронырнув из сада под навес кровли, пробравшись через веранду и с большим трудом проникнув сюда, уже бессильны освещать предметы — они словно утратили всю свою живительную энергию и способны только выделять белым пятном квадрат бумажных раздвижных рам. Я часто стаивал перед этими рамами и пристально вглядывался в их бумажную поверхность, светлую, но не режущую глаз. В залах больших храмов лучи света, гораздо более удаленные от сада, становятся еще слабее и почти не меняют своего слабого белесоватого тона ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни в ясную, ни в пасмурную погоду, ни утром, ни днем, ни вечером. И тень, окаймляющая узенькие, длинные полоски бумаги, заключенные между деревянными палочками частой решетки рамы, кажется недвижимой пылью, навсегда впитавшейся в бумагу.

В такие моменты я застываю, словно зачарованный, и, прищурив глаза, как сквозь сон, гляжу на этот свет. Я стою под впечатлением, как будто перед моими глазами поднимаются вверх дрожащие струйки воздуха и ослабляют силу моего зрения. Это свет, излучаемый белой бумагой. Бессильный разогнать мрак ниши и даже отбрасываемый им обратно, он создает какой-то свой призрачный мир, в котором трудно разграничить свет и тьму.

Не казалось ли вам, когда вы входили в такую залу, что плавающие в ней лучи света — не обыкновенные лучи, а лучи, имеющие какую-то особенную ценность, вес и значительность? Не приходилось ли вам испытывать какой-то безотчетный страх перед «вечностью», когда, находясь в такой комнате, вы вдруг переставали замечать время и вам казалось, что прошли целые месяцы и годы, что, выйдя на свет божий, вы увидите себя уже седьм стариком?

Бывали ли вы в залах, расположенных в самой глубине больших зданий, куда почти не достигает наружный свет и где стоят в темноте позлащенные ширмы и золотого цвета раздвижные бумажные двери? Они улавливают самые кончики световых лучей, едва-едва добравшихся сюда через целую анфиладу комнат, и стоят, отсвечивая слабым призрачным светом. Это отсвечивание озаряет окружающий мрак тем самым золотистым сиянием, какое бывает на горизонте после заката солнца. Я не знаю других случаев, когда цвет золота приобретал бы такую болезненную красоту. Проходя мимо этих золотых ширм и дверей, неоднократно оглядываясь на них, вы каждый раз смотрите на них новыми глазами, следя, как поверхность этой позлащенной бумаги отливает золотом, постепенно ширясь и давая какой-то глубинный свет. Это не суетливое мигание, а молниеносные вспышки света через большие интервалы. Они подобны меняющемуся выражению на лице великана. Иногда вы замечаете, что золотые крапинки, украшающие узор ширм и дверей, которые только что отливали тусклым блеском, вдруг вспыхивают, моментально загораясь, лишь только вы зайдете сбоку. И вы недоумеваете: каким образом эти золотые крапинки могут собирать в такой темноте столько лучей? Теперь я понимаю, отчего в старину так любили покрывать золотом изваяния Будды и стены комнат, где жили знатные люди. Современному человеку, живущему в светлом доме, такая красота золота неизвестна. Но люди, обитавшие в старое время в темных домах, вероятно, не просто любовались этой красотой, но и знали ее практическую ценность, пользуясь этими

золотыми поверхностями в темных комнатах как рефлекторами. Не одна только любовь к роскоши побуждала их к щедрому употреблению золотой фольги и золотого порошка — пользуясь их рефлекторными способностями, наши предки, вероятно, восполняли этим недостаток света в комнатах. Если так, то понятным становится, почему золото было прежде в таком необычайном почете: оно одно было в состоянии освещать мрак комнат, долгое время не утрачивая своего блеска, тогда как серебро и другие металлы быстро тускнели. Я уже говорил о том, что на золотую роспись лакированных изделий следует смотреть в темноте, — она делалась именно с таким расчетом. Но это положение касается не одной лишь золотой росписи, — то же самое можно сказать, например, и о тканях. Для старинных тканей в изобилии употреблялись золотые и серебряные нити. Из каких побуждений это делалось, мы лучше всего можем установить на примере одежд буддийского духовенства, пышно расшитых золотом. В настоящее время в большей части буддийских храмов, применительно ко вкусам современной городской публики, главный зал устраивается с хорошим дневным освещением. Но при дневном свете золотое облачение значительно теряет в своем благородстве и — какой бы высокой степени буддийский иерарх ни надевал его — не возбуждает в зрителе надлежащего чувства торжественности. Между тем, когда вы присутствуете в знаменитых старинных храмах на богослужениях, совершаемых по старинному буддийскому обряду, вы чувствуете, как вас охватывает торжественное настроение от гармонического сочетания пышных, шитых золотом облачений с цветом кожи на морщинистых лицах престарелых священников и мерцанием светильников перед буддийским алтарем. Точно так же, как и в случае с золотой росписью лакированных изделий, это настроение вызывается тем, что большая часть пышного узора золотого шитья окутана мраком, из которого время от времени проблескивают золотые и серебряные нити. Отмечу еще одно обстоятельство. Не знаю, быть может, это лишь мое личное впечатление, но мне кажется, что ничто не идет так к лицу японца, к цвету его кожи, как костюмы старинной хорео-мелодрамы Но. Как известно, костюмы эти отличаются своей пышностью — на них не жалеют ни золота, ни серебра. Артисты, исполняющие Но, совершенно не прибегают к гриму, особенно к пудре, составляя в этом отношении полную противоположность артистам классической драмы Кабуки. Свойственная япон-

цам коричневая, с красноватым отливом кожа тела в сочетании с желтоватым, цвета слоновой кости лицом редко создают такое очарование, как во время спектакля Но. Когда я бываю на этих спектаклях, я всегда прихожу в восторг от этого сочетания. Парчовые одежды оридаси, вытканные из золота и серебра, и расшитые елками утиги хорошо идут к лицам японцев, но еще лучше идут им темно-зеленые или цвета хаки суо и суйкан, белоснежные гладкие косодэ и огути. Если к тому же в роли артиста Но выступает юноша, то одежды эти еще более выделяют цвет его лица с плотной, молодой, глянцевитой и как-то поиному, чем у женщин, обворожительной кожей. При взгляде на лицо такого юного артиста становится понятным, отчего в старину владетельные князья даймё так прельщались иногда наружностью своих любимых дворовых мальчишек. В классической драме Кабуки, особенно в драме исторической и пантомимической, костюмы не уступают по своей красоте и пышности костюмам Но, а в смысле чувственного воздействия на зрителя, по общему мнению, даже превосходят последние. Но тот, кто одинаково часто посещал как драму Кабуки, так и Но, легко может убедиться в обратном. Бесспорно, на первый взгляд костюмы Кабуки кажутся и более эротическими, и более красивыми, но на самом деле это не так: оставляя в стороне вопрос, как выглядели костюмы Кабуки в старину, мы должны признать, что на современной сцене, применяющей европейское освещение, яркие цвета этих костюмов очень часто кажутся вульгарными и быстро надоедают. То же самое можно сказать и о гриме. Красота, наведенная гримом, так и остается красотой искусственной, не дающей эффекта подлинной красоты незагримированного лица. В противоположность этому артисты Но выходят на сцену, не налагая грима ни на лицо, ни на шею, ни на руки, оставляя свою кожу в натуральном виде. Если артист обладает от природы красивой наружностью, то его красота выглядит естественно, нисколько не обманывая нашего зрения. Поэтому у артиста Но не может быть такого положения, как у артиста Кабуки, выступающего в женских ролях: незагримированное лицо последнего вызывает зачастую сильное разочарование. Приходится иногда просто поражаться, насколько выигрывает наружность артистов Но в пышных одеждах в стиле феодальных времен, так как на первый взгляд кажется, что эти одежды никак не могут идти к цвету их кожи, такой же обыкновенной, как и у нас. Я видел артиста Ивао Конго в драме «Импера-

тор», где Конго выступал и роли красавицы Ян-гуйфэй. Я до сих пор не могу забыть красоты его рук, выглядывавших во время танца из широких рукавов его одежды. Глядя на них, я не один раз переносил свой взгляд на собственные руки, покоившиеся на коленях. Несомненно, впечатлению красоты содействовала отчасти и игра его рук — эти тонкие, трудноуловимые движения ладоней от запястья до кончиков пальцев и неподражаемая игра самих пальцев, — но меня приводило в недоумение, откуда берется этот блестящий цвет кожи, как будто просвечивающей изнутри. Я думал об этом с недоумением, потому что руки его были руками самого обыкновенного японца и ничем не отличались от моих рук, покоившихся у меня на коленях. И я снова принимался сравнивать и снова не улавливал никакой разницы между своими руками и руками игравшего на сцене Конго. А между тем как поразительно красиво выглядели эти руки на сцене и как обыденно — у меня на коленях! И это явление я наблюдал не только в случае с Конго. Во время исполнения Но из пышных одежд артиста выглядывает наружу лишь самая незначительная часть его тела: лицо, шея и руки от запястья до кончиков пальцев. В таких драмах, как «Император», где красавица Ян-гуйфэй танцует в маске, лица даже и не видно. А между тем какое поразительное впечатление производит на зрителя цвет кожи этой незначительно выдающейся части тела! Не только руки Конго, но и руки почти каждого артиста — самые обыкновенные руки японца, в которых нет ничего удивительного, — на сцене выглядят очаровательно и привлекают к себе восхищенные взоры. Повторяю, для этого артисту не нужно даже выступать в роли красивой девушки или юноши. То же самое можно сказать и о губах: в обыкновенной обстановке немислимо, чтобы мужские губы имели притягательную силу, но на сцене, во время спектакля Но, темно-малиновый цвет губ артиста и их влажный глянec кажутся даже обольстительнее накрашенных дамских губок. Отчасти это зависит от того, что артист, произнося нараспев монолог утаи, все время увлажняет свои губы, но, конечно, дело здесь не только в этом. Детский румянец на щеках артистов также бросается в глаза со сцены, особенно же, как я заметил, когда они играют в костюмах, в которых превалирует зеленый цвет. Разумеется, при светлом цвете кожи румянец выделяется явственнее, но у юных артистов со смуглым лицом румянец приобретает особый характер, сразу бросающийся в глаза. Объясняется это, по-

видимому, тем, что у детей светлолицых контраст белой кожи с румянцем выступает чересчур явственно, что при темных и глубоких тонах костюмов Но дает чрезмерно резкий эффект, тогда как при темно-коричневой окраске кожи у артистов смуглых румянец выделяется не столь сильно, гармонируя с цветом костюма. Строгий зеленый цвет одежды и строгий коричневатый цвет лица — эти промежуточные цвета удивительно идут один к другому. В гармонии красок цвет кожи, свойственный желтой расе, получает надлежащее место, привлекая взоры зрителей. Я не знаю других случаев, когда гармония красок создавала бы такую красоту. Я думаю, что если бы в драмах Но применялось современное освещение, каким пользуется театр Кабуки, то резкие лучи света уничтожили бы этот эстетический эффект. Подчиняясь естественному требованию, сцена для Но поэтому остается, как и в старину, слабо освещенной. Помещение для Но также подчиняется этому требованию: чем оно старше, тем лучше. Самым идеальным местом для Но будет такое, где полы приобрели уже натуральный блеск, столбы и доски потолка отливают черным глянцем и где тьма, начинаясь у потолочных балок и разливаясь во все стороны к карнизам, нависает над головами артистов, словно огромный колокол. В этом смысле перенесение постановок Но в такие помещения современного типа, как зрительный зал в здании газеты «Токио асахи» либо Общественное собрание в Токио, быть может, в каких-то отношениях и хорошо, но то особенное очарование, которое отличает Но, от этого теряется наполовину.

* * *

Темнота, входящая основным элементом в Но и рождающая своеобразную красоту, в наше время создает какой-то особый мир «тени», который можно увидеть лишь на сцене, но в старое время этот мир не был разобщен с реальной жизнью. Темнота, царящая теперь в Но, прежде царила в каждом жилище японца, а узор и окраска костюмов Но если и не были столь праздничными в быту, то в общем были схожи с узором и окраской одежды придворной аристократии и владетельных князей даймё. Когда я думаю об этом, я представляю себе, насколько красивее сравнительно с нами одевались прежние японцы, особенно в период междоусобных войн и в эпоху Момояма, когда представители военного сословия — буси — носили пыш-

ные, великолепные одежды. Рисуя в своем воображении эту эпоху, я всецело нахожусь во власти ее очарования. Поистине в драмах Но демонстрируется высшая форма нашей мужской красоты. Какой мужественностью, каким величием были проникнуты фигуры наших старинных воинов, выступавших на полях битв одетыми в эти пышные суо, даймон, камисимо, с цветом и блеском которых так гармонировали их черные с медно-красным отливом скуластые лица, отшлифованные ветрами и дождями. У всякого, кто наслаждается зрелищем Но, с этим чувством наслаждения связаны в какой-то степени и такого рода ассоциации. Представляя себе, как этот мир красок, развертывающийся на сцене, существовал когда-то в действительности, зритель черпает удовольствие не только в игре артистов, но и в том очаровании, какое навеивает старина. Рядом с драмой Но классический театр Кабуки в этом смысле представляет мир обмана, не имеющий никакого отношения к нашей подлинной национальной красоте. Кто может хоть на минуту поверить, что женщина в старину имела тот облик красоты, какой показывают нам на современной сцене Кабуки, — о красоте же мужской и говорить нечего. Правда, женские роли и в драме Но далеки от действительности, так как исполняются в масках, но женщины, выступающие в драмах Кабуки, совершенно не дают чувства реальности. В этом виновато чрезмерно яркое освещение современной сцены Кабуки. В старину, когда сцена освещалась не современными средствами, а свечами или керосиновыми лампами, дававшими слабый свет, женщины, выступавшие на сцене, казались, вероятно, более близкими к действительности. Часто приходится слышать сетования театралов на то, что в настоящее время нет уже таких артистов Кабуки, исполняющих женские роли, какие бывали прежде. Я думаю, что объяснение этого следует искать не в том, что снизились качества артиста или деградировала их наружность. Если бы знаменитых артистов старых времен Кабуки заставили играть в современных условиях ярко освещенной сцены, то твердые линии мужского лица давали бы себя знать так же, как и у современных артистов. Прежде эти линии скрадывались темнотой. Я почувствовал это особенно сильно, когда увидел артиста Байко в последнюю пору его жизни в роли девушки О-Кару. Мне стало ясно, что ненужный, излишний свет, подаваемый на сцену, убивает Кабуки. По словам одного моего знакомого из Осаки — знатока кукольного театра Бунраку, — в эпоху Мэйдзи,

когда еще долгое время пользовались ламповым освещением, оно создавало гораздо больше настроения, чем освещение электрическое, которым пользуется этот театр теперь. И все-таки для меня кажется гораздо более естественным даже лицо марионетки из кукольного театра Бунраку, нежели лицо артиста Кабуки, загримированного женщиной. А если бы действительно лицо куклы освещалось еще тусклым светом лампы, то присущая марионетке некоторая грубоватость черт лица смягчалась бы, а неизбежный глянec, которым отливает краска, покрывающая лицо куклы, был бы затушеван. Рисуя в своем воображении ту поразительную красоту, какая была свойственна старинной сцене, я не могу без горечи думать о переживаемом ею в настоящее время упадке.

* * *

Как известно, в кукольном театре Бунраку у кукол женского пола имеются только голова и оконечности рук. Тело и ноги отсутствуют, и отсутствие это скрыто под длинным одеянием. Куклы приводятся в движение руками артиста, просунутыми под их одеяние. На мой взгляд, в этом очень много реального: женщина в старину существовала лишь над воротом платья и снаружи рукавов, — вся остальная часть ее тела была скрыта в темноте. В то далекое время женщины, принадлежавшие к сословию выше среднего, в очень редких случаях появлялись на улице, а когда появлялись, то сидели в глубине повозки, не показываясь наружу. Можно поэтому сказать, что, находясь в своем тереме, в одной из комнат темного дома, они напоминали о своем существовании одним лишь своим лицом, так как все остальные части тела и днем и ночью были окутаны мраком. В силу этого и одежда у них была не такой яркой, как у мужчин, которые в то время одевались гораздо пышнее, чем теперь. В эпоху раннего феодализма дочери и жены лиц мещанского сословия одевались поразительно просто и неярко — одежда являлась как бы частью мрака и была призвана служить не чем иным, как промежуточным звеном между мраком и лицом. Обычай чернения зубов, являвшийся разновидностью косметики, преследовал, по-видимому, ту же цель: наполнить мраком все щели, оставив только одно лицо. С этой целью темнотою набивался даже рот. В настоящее время подобные явления женской красоты можно увидеть разве лишь в таких специальных местах, как квартал Симабара в Кио-

то. Тем не менее, когда я вспоминаю детские годы и вызываю в памяти образ матери, сидящей за шитьем с иглой в руках, при слабом свете из сада, в дальней комнате нашего темного дома в Нихонбаси, я отчасти представляю себе, какой должна была быть японская женщина в старину. В то время, то есть в девяностые годы прошлого столетия, дома горожан были очень темными, а женщины в возрасте моей матери или моих теток все чернили зубы. Какова была их домашняя одежда, я не помню, но выходящие платья были обыкновенно серого цвета с мелким узором. Мать моя была очень маленького — менее пяти футов — роста, но такой рост, по-видимому, был обычным для всех женщин того времени. Если не бояться впасть в крайность, то можно утверждать, что тогдашние женщины не имели тела. Кроме лица и рук, я смутно помню у матери лишь ее ноги, что же касается ее туловища, то оно не оставило в моей памяти никакого следа. Это обстоятельство вызывает в моем представлении туловище изваяния богини Авалокитешвара в храме Тюгудзи, оно мне кажется типичным для тела японской женщины прежних времен. Эта плоская, как доска, грудь с тонкими, словно лист бумаги, отвислыми грудями; этот тонко перехваченный живот; эта прямая, без всякого рельефа, линия спины, поясницы и бедер; все туловище, утратившее гармонию с лицом, руками и ногами, худосочное и плоское, производящее впечатление не тела, а палки, — не является ли оно прототипом женского тела старого времени? Да и теперь еще можно встретить женщин с таким телом среди старых дам в блюдущих древние традиции семьях и среди гейш. При виде их я невольно вспоминаю стержень, на котором держится кукла. Их тело и на самом деле имеет назначение служить лишь стержнем, на который надеваются одежды. Главную часть их бюста составляет облекающий его в несколько слоев покров одежды и ваты: если же совлечь этот покров, то останется, как и у куклы, один лишь неприглядный стержень. Но в старину такая комплекция имела и свои хорошие стороны. Для женщин, живших в темноте, было достаточно одного лица, блестящего во м р а к е, — в туловище необходимости не было. Я думаю, что лицам, воспевающим светлую красоту тела современной женщины, трудно представить эту мистически темную красоту женщины прежних времен. Быть может, некоторые скажут, что красота, завуалированная темнотой, не настоящая. Но я уже говорил, что мы, люди Востока, создавая «тень», творим красоту в местах самых про-

заических. В одной нашей старинной песне говорится: «Набери ветвей, заплети, завей — вырастет шатер. Расплети — опять будет пустовать лишь степной простор». Слова эти хорошо характеризуют наше мышление: мы считаем, что красота заключена не в самих вещах, а в комбинации вещей, плетущей узор светотени. Вне действия, производимого тенью, нет красоты: она исчезает подобно тому, как исчезает при дневном свете привлекательность драгоценного камня «ночной луч», блещущего в темноте. Так или иначе, но наши предки считали женщину неотделимой от темноты, как неотделимы от нее и лакированные изделия с золотой росписью или инкрустациями. Для того же, чтобы полностью погрузить ее фигуру в тень, они затеняли ее руки и ноги длинными рукавами и длинными подолами одежд, оставляя выделяться из темноты лишь одно место — ее голову. Быть может, и действительно, это асимметричное плоское туловище кажется безобразным рядом с телом европейской женщины. Но нам нет надобности рисовать в воображении то, что скрыто от взора. Те же, кто все-таки стремятся взглянуть на это безобразие, собственноручно изгоняют красоту, подобно тому как электрическая лампа в сто свечей, поднесенная к нише чайной комнаты, изгоняет красоту ниши.

* * *

Чем же объясняется, что склонность искать красоту в темноте свойственна одним лишь людям Востока? Ведь в Европе тоже было время, когда электричество, газ и керосин были неизвестны, но я ничего не знаю о пристрастии европейцев к тени. Быть может, в этом виновата моя слабая осведомленность? Японские привидения уже давно не имеют ног. Привидения же европейские, говорят, появляются с ногами, но зато тело у них совершенно прозрачное. Уже один этот мелкий факт говорит о том, что в нашем воображении неизменно присутствует темнота черного лака, в то время как воображению европейцев даже привидения рисуются светлыми, как бы сделанными из стекла. Во всякого рода художественных изделиях мы отдаем свои симпатии тем цветам, которые представляют как бы напластование тени, в то время как европейцы любят цвета, напоминающие нагромождение солнечных лучей. Серебряную и медную утварь мы любим потемневшей, они же считают такую утварь нечистой и негигиеничной и начищают ее до блеска. Чтобы не оставлять затем-

ненных мест в комнате, они окрашивают потолок и стены в белые тона. При устройстве сада мы погружаем его в густую тень деревьев, они же оставляют в нем простор для ровного газона. Откуда эта разница во вкусах? Мне кажется, что нам, людям Востока, свойственно искать удовлетворения в той обстановке, в какой мы очутились. Мы покорно миримся с существующим положением вещей. В силу этого мы не питаем чувства недовольства к темноте, примираемся с нею как с неизбежностью, оставляем слабый свет таким, как он есть, добровольно затворяемся в тень и открываем в ней присущую ей красоту. Что касается европейцев, то они, подвижные своим активным характером, всегда стремятся к лучшему. От свечи к керосиновой лампе, от керосиновой лампы к газовой, от газовой к электрической — так не прекращают они своего движения в поисках света, стремясь рассеять последние остатки тени. Разница характеров здесь играет несомненную роль, но какую-то роль играет и разница в окраске кожи, — ее нельзя упускать из вида. Надо сказать, что и мы всегда, с времен глубокой древности, отдавали предпочтение белому цвету кожи перед черным. И мы считали белую кожу красивее черной. Но белизна кожи у представителей белой расы и у нас не одна и та же. Среди отдельных индивидуумов нам попадутся и японцы, более белокожие, чем европейцы, и европейцы с более темной кожей, чем японцы, но в характере этой белизны и черноты существует разница. Утверждение это вытекает из личного опыта. Я жил некоторое время в Йокохаме, в европейском квартале Яманотэ, и вел обширное знакомство с резидировавшими там иностранцами. Я часто проводил время вместе с ними на банкетах и танцевальных вечерах. И вот еще тогда я обратил внимание на то, что белизна их кожи вблизи не выделяется так сильно, как издали: со стороны разница в окраске кожи японцев и европейцев особенно бросается в глаза. На этих собраниях японцы бывали одеты не хуже европейцев, некоторые японские дамы могли поспорить белизной кожи с любой из европейок, но стоило одной такой японской даме замешаться среди представительниц белой расы, как она сразу же бросалась в глаза издали. Все дело в том, что в японской коже, какой бы белизной она ни отличалась, чувствуется всегда слабое присутствие тени. Не желая отставать от европейских дам, японские женщины с большим усердием покрывали густым слоем белил все обнаженные части тела, начиная от спины и кончая руками до подмышек, Тем

не менее уничтожить темный цвет, сквозящий из-под кожного покрова, им не удавалось. Его можно было различить на взгляд так же легко, как легко бывает рассмотреть с высоты темное пятно на дне под прозрачную воду. Особенно заметно выделяется эта темная, похожая на налет пыли, тень между пальцами рук, около ноздрей, на шее и на линии спинного хребта. Внешний покров на теле европейца может иногда казаться мутным, но из-под него просвечивает ясное и светлое дно, — ни в одном уголке его тела вы не заметите этой грязноватой тени. Начиная с головы и до самых кончиков пальцев кожа у него сверкает чистой, беспримесной белизной. И когда хотя бы один из нас появляется на их собраниях, он так же режет глаз, как пятно слабо разведенной туши на белом листе бумаги. Для меня психологически понятно, почему в Америке питают такой антагонизм к цветным расам: мимо внимания белого человека, особенно человека с повышенной нервной впечатлительностью, конечно, не может пройти появление в общественном месте одного-двух представителей цветной расы, которые кажутся каким-то пятном на чистом фоне. Я не знаю, каково отношение к цветным людям в Америке в данное время, но нам известно, с какой ненавистью, с каким презрением относились американцы во время войны Севера с Югом не только к неграм, гонение на которых тогда достигало небывалого ожесточения, но и к их потомкам, происшедшим от смешанных браков негров с белыми, метисов с метисами, метисов с белыми и т. д. Гонению этому подвергались все лица с малейшим признаком негритянской крови: так называемые «половинки», «четвертушки», «восьмушки», «полувосьмушки» и т. д. От упорного подозрительного взгляда не ускользала ни малейшая тень чужого пигмента, скрывающегося в безукоризненно белом покрове кожи метиса, который имел несчастье иметь два-три поколения тому назад в своем роду одного негритянского предка, хотя он сам по виду мог ничем не отличаться от чистокровного белого человека. Все это говорит о том, какое глубокое отношение мы, люди Востока, имеем к тени. Никто по своей воле не захочет ставить себя в положение, вызывающее отвращение у других. Очевидно, были какие-то естественные причины, которые заставили нас пользоваться предметами домашнего обихода, имеющими затененную окраску, а наших предков — погружаться в атмосферу мрака. Наши деды, разумеется, не отдавали себе отчета в том, что в коже их таится «тьма». Они не знали о существовании людей с более

белой, чем у них, окраской кожи. Следовательно, не здесь следует искать объяснения вышеотмеченным явлениям. По-видимому, какая-то интуитивная колористическая восприимчивость расы была виновницей появления у наших предков этого своеобразного вкуса.

* * *

Ограничив пространство на светлой земле четырьмя стенами, полом и потолком, наши предки создали здесь мир «тени». Укрыв в глубине ее женщину, они стали считать ее самым белым человеком на свете. Если белизна кожи — необходимое условие женской красоты, то нам не оставалось делать ничего иного — в этом не было и ничего предвзятого. Белые люди имеют светлый цвет волос, у нас же волосы темные — так сама природа учила нас законам темноты. Следуя этим законам, древние люди безотчетно постигали искусство показывать в темноте желтое лицо белым. Я уже говорил об обычае чернения зубов у женщин старого времени. Ему сопутствовал обычай брить брови. И то и другое было, очевидно, средством для подчеркивания белизны женского лица. Но более всего меня приводит в восхищение краска, применявшаяся в старину для губ: она была того золотисто-травяного цвета, каким отливают крылышки одной породы жучков. Теперь ею почти не пользуются даже гейши из квартала Гион в Киото, а между тем в этой краске есть какая-то своя привлекательность, которую можно представить лишь в обстановке полумрака и колеблющегося пламени свечей. Женщины в старину намеренно скрывали альбидный цвет своих губ под слоем этой черно-зеленой краски, устраивая при этом на губах инкрустацию из мелких крапинок перламутра. Они сгоняли всякий признак румянца со своего обольстительного лица. Когда я представляю себе молодую японскую женщину, озаренную неверным, колеблющимся светом светильника ранто и улыбающуюся этими зелеными губами цвета «болотного огня», из-под которых черным блеском сверкают зубы, я не могу представить себе лица более белого. В том мире образов, который я себе рисую, эта белизна, бесспорно, превосходит белизну, присущую лицу европейской женщины. У представительниц белой расы эта белизна прозрачна, элементарно понятна и шаблонна — у японской женщины она в какой-то степени сверхчеловечна. Возможно, что такую белизну вы не увидите в природе. Возможно, что это лишь игра светотени,

капризная и мимолетная. Пусть будет так — для нас достаточно и этого. Мы не желаем большего. Когда я вызываю в своем воображении образ женского лица с этой специфической белизной кожи, мне одновременно представляется цвет «мрака», который его окружает. Я скажу о нем несколько слов. Я до сего времени не могу забыть одного «мрака», который мне пришлось видеть в ресторане «Кадоя» в Симбаре, куда я пригласил своего гостя, приехавшего из Токио. Насколько мне помнится, это было в большой комнате, носившей название «Мацу-но-ма», впоследствии сгоревшей от пожара. Надо сказать, что густота мрака в большой комнате, освещаемой небольшим числом свечей, совсем не та, что в комнате маленькой. Когда нас с приятелем провели в «Мацу-но-ма», мы увидели там пожилую горничную с бритыми бровями и выкрашенными в черный цвет зубами. Она только что внесла в комнату подсвечник и, поставив его перед большой ширмой, сама села перед ней на пятки в почтительной позе. Освещенной ширмой отгораживалось светлое пространство размером около двух циновок, вся же остальная часть комнаты за ширмой была погружена в густой одноцветный мрак, свисавший с потолка. Слабый свет свечи был бессилен пронизать эту толщу мрака и отскакивал от него назад, как от непроницаемой черной стены. Приходилось ли вам видеть такой «озаренный светом мрак»? Он представлял собой материю совсем иного свойства, чем ночной мрак на улице. Мне он показался наполненным мельчайшими крупинками похожего на золу вещества, каждая крупинка которого блестела всеми цветами радуги. Я невольно замигал, глядя на него, как бы боясь, чтобы мне не запылило глаза. В наше время, когда вошло в моду устраивать комнаты небольшого размера, площадью в десять, восемь или шесть циновок, такого цвета мрака вы уже не увидите даже при свечах. В прежние же время во дворцах и домах комнаты устраивались обыкновенно площадью в несколько десятков циновок, с высокими потолками и широкими, открытыми со стороны комнаты коридорами. В этих комнатах мрак нависал подобно туману. В его густой мути сидели погруженными до головы знатные дамы. В своих «Записках Кисёана» я уже писал о том, что современные люди, привыкшие к электрическому свету, забыли о существовании такого мрака. «Мрак, видимый глазу», в комнате способен вызывать галлюцинации зрения: он похож на дрожащее марево и кажется иногда более жутким, чем мрак уличный. Не из этого ли мрака возникали в древно-

сти лесные духи и привидения? Не были ли привидениями и сами эти женщины, жившие в этом мраке под глубокими пологими, окруженные несколькими рядами ширм и раздвижных бумажных стен? Мрак окутывал их своими пеленами, наполнял собою все щели: за воротниками, в рукавах, в месте соединения бортов кимоно. А может быть, наоборот, — это они, эти женщины, выпускали из себя — из своих ртов с черными зубами, с кончиков своих черных волос — этот мрак, подобно тому как выпускает из себя паук нити паутины?

* * *

Несколько лет тому назад писатель Такэбаяси Мусоан, вернувшись из Парижа, рассказывал, что ночной Токио или Осака несравненно светлее любого из городов Европы. В Париже, даже в центре Елисейских Полей, еще можно найти дома, освещаемые керосиновыми лампами, какие встречаются в Японии лишь в самых глухих горных деревнях. По его словам, нигде на свете не расточают электрическую энергию с такой щедростью, как в Америке и Японии, причем Япония в этом отношении, как и во многих других, является подражательницей Америки. Надо сказать, что слова Мусоана относятся ко времени лет пять тому назад, когда еще не было в таком ходу неоновое освещение. Воображаю, как поразился бы он теперь, вернувшись в Японию и увидев, насколько освещение здесь стало ярче. Мне вспоминается рассказ издателя журнала «Кайзо» Ямамото, несколько лет тому назад сопровождавшего в провинцию Кансай Эйнштейна. Они проезжали в поезде мимо одного из красивейших мест Японии — Исияма. Эйнштейн любовался из окна вагона чудным пейзажем. Вдруг он воскликнул: «Смотрите, какая неэкономность!» — «В чем дело?» — спросил Ямамото. Ученый в ответ показал пальцем на электрический столб, где среди белого дня горела электрическая лампочка. Рассказав это, Ямамото добавил: «Вот что значит еврейская натура — поражаться такими мелочами». Так или иначе, но, оставляя в стороне Америку, мы должны признать, что в Японии действительно электричество расходуется без всякого сожаления. Кстати, о городе Исияма. С этим названием у меня связано еще одно комическое воспоминание: как-то зашел разговор о том, куда поехать в этом году любоваться полнолунием в праздник осеннего солнцестояния. После долгого обсуждения остановились на храме Исияма-

дэра. Каково же было мое удивление, когда накануне праздника я прочел в газетах следующее сообщение: «Завтра вечером администрация храма Исияма-дэра, желая доставить удовольствие гостям, которые приедут полюбоваться луной, установит в храмовой роще громкоговоритель для передачи граммофонного концерта. Будет исполняться «Лунная соната» Бетховена». Это сообщение заставило меня тотчас же отказаться от мысли ехать в Исияма. На мое решение повлиял не только этот громкоговоритель, но еще и то соображение, что предусмотрительная администрация, вероятно, не преминет осветить всю гору Исияма электричеством и даже устроит иллюминацию, чтобы создать у наехавшей публики оживленное настроение. У меня уже был подобный горький опыт, испортивший мое лунное настроение в один из этих праздников. Однажды мы большой компанией задумали поехать полюбоваться луной в храмовый парк Сума, где имеется озеро: мы думали встретить восход луны на лодках. Захватив с собой корзинки со съестными припасами, мы отправились в путь. Каково же было наше разочарование, когда, достигнув озера, мы увидели, что оно окружено веселой цепью разноцветных электрических лампочек, от света которых совершенно померк свет луны. Сопоставляя все эти случаи, я прихожу к мысли, что электричество притупило нашу впечатлительность: мы уже не замечаем тех неудобств, какие создаются излишком освещения. Оставляя в стороне случаи с неудачным любованием луной, мы должны признать, что во всех «домах свидания», ресторанах, отелях и т. д. электрический ток расходуется у нас с непозволительной расточительностью. Быть может, для привлечения гостей это отчасти и необходимо, но что сказать о привычке зажигать электричество летом еще засветло. Помимо того что это неэкономно, это еще и не способствует прохладе. Куда бы вы ни пошли летом, вы повсюду наталкиваетесь на это неприятное явление. Снаружи уже наступила вечерняя прохлада, внутри же помещения стоит нестерпимая жара. И почти всегда причина этого лежит или в излишне сильном электрическом токе, или же в чрезмерно большом числе электрических лампочек. Я пробовал гасить часть лампочек, и тотчас же наступало освежение, но, как это ни удивительно, ни хозяин, ни гости не обращали на это никакого внимания. Вообще говоря, комнатное освещение следует усиливать только зимою, летом же лучше несколько затемнять его: во-первых, это создает впечатление прохлады, во-вторых, при-

влекает меньше насекомых. Но больше всего раздражает, когда зажигают ненужное количество электрических лампочек и, изнывая от жары, пускают в ход электрические веера. В японских комнатах температура еще как-то понижается боковой вентиляцией, но в европейских отелях, где нагреваются и пол, и стены, и потолок, которыми жар отражается во все стороны, бывает совершенно невыносимо. Немного неудобно ссылаться в качестве такого примера на отель «Мияко» в Киото, но те, кому приходилось выходить на веранду этого отеля летним вечером, я думаю, согласятся со мною. Отель находится на северном склоне холма, откуда открывается изумительный вид на гору Хиэйдзан с ее монастырями, на пик Нёигатакэ, на долину Куродани с ее пагодами, на леса, на зеленый покров всей цепи гор Хигасияма. Здесь все дышит свежестью и прохладой, все располагает к спокойному и радостному созерцанию красот природы. А между тем, когда вы выходите на веранду подышать вечерним воздухом, ваше настроение моментально испортится: над своей головой вы видите вделанные в потолок абажуры молочно-белого стекла, внутри которых неистовым светом горит электричество. Вы чувствуете, как эти огненные шары пылают у вас над головой, как на вас льется оттуда нестерпимый жар, действующий тем сильнее, что потолки в европейских постройках в последнее время стали устраивать очень низкими. Части тела, ближайшие к потолку, страдают особенно сильно: у вас такое ощущение, как будто вам поджаривают голову и шею. Для освещения всей веранды было бы вполне достаточно одного такого огненного шара, а между тем на потолке сверкают две или три большие лампы. Кроме этого, по стенам и колоннам горит бесчисленное множество лампочек меньшего размера, совершенно ненужных и только изгоняющих последнюю тень из углов. Что же этим достигается? Вся комната, лишенная малейшей тени, лезет в глаза, как свежеотпечатанная олеография, — своими белыми стенами, красными колоннами и пестрой мозаикой паркетного пола. От всего пышет жаром. Когда вы входите сюда из коридора, вы чувствуете ощутительную разницу температур. Волны ночной прохлады, наплывая сюда, бессильны что-либо сделать, так как тотчас же превращаются в горячее дыхание. В этом отеле я часто останавливался раньше и очень привык к нему. Это обстоятельство давало мне смелость делать замечания, исходившие из чувства симпатии. И действительно, как было не пожалеть о том, что этот чудес-

ный вид, все это место, приспособленное для спасения от летней жары, так много теряет от электрического освещения. Не говоря о японцах, даже любящие яркий свет европейцы — и те, я думаю, найдут, что жара здесь бывает несносна. А что она исходит именно от электрического освещения, становится понятным, лишь только вы без лишних объяснений притушите часть света. И это не единственный пример — таковы почти все отели. Даже отель «Империал» в Токио, пользующийся отраженным освещением, приятным в обычное время, и тот вызывает летом желание некоторого затемнения света. Так или иначе, но в наше время комнатное освещение уже давно перешагнуло границы, отвечающие требованиям чтения, письма, шитья и т. п. , — оно расходуется теперь на то, чтобы изгнать последнюю тень из углов комнаты. Но эта цель несовместима с понятиями красоты, присущей японскому дому. В частных домах, где электрическую энергию экономят, этот эстетический баланс как-то поддерживается, но в тех домах, которые рассчитаны на доход с гостей, дается слишком много света в коридорах, на лестницах, в вестибюлях, в саду, у ворот и т. д. Этот свет уничтожает впечатление глубины комнат, бассейнов и садовых устройств. Зимой это избыточное освещение, способствуя повышению температуры, может быть даже и приятным, но в летнее время вечером оно просто приводит в отчаяние, если находишься в самых глухих дачных местах, так как и там отели стараются не отставать от «Мияко». В результате этого опыта у меня составилось убеждение, что самый лучший способ наслаждения прохладой — это тот, когда вы открываете настежь все двери и окна в доме и сидите под сеткой от комаров в абсолютной темноте.

* * *

Несколько времени тому назад мне попала на глаза в каком-то журнале или газете заметка о том, как английские старухи жалуются на молодежь. «Мы, говорят они, в молодые годы берегли стариков, заботились о них, а теперешние девушки не обращают на нас никакого внимания, обращаются с нами, как с ненужной вещью, даже близко к себе не подпускают. Нет, совсем другие нравы стали у молодежи, чем прежде». Прочитав это, я подумал, что в любом государстве старики говорят об одном и том же. По-видимому, люди, старея, начинают по всякому поводу думать, что прежде жилось лучше, чем теперь. Сто

лет тому назад старики вздыхали по временам, которые были двести лет назад; старики, жившие двести лет назад, говорили, вероятно, как хорошо было триста лет тому назад. Одним словом, нет такого поколения, которое было бы довольно существующим положением вещей. Особенно это относится к нашему времени, когда развитие культуры идет вперед такими головокружительными темпами. Наше же государство находится еще в особом положении тех перемен, которые произошли у нас за сравнительно короткий период со времени Великой реставрации 1867 года. Все сказанное мною, быть может, напоминает старческое брюзжание и, как всякое брюзжание, вероятно, кажется смешным, но нельзя оспаривать того факта, что современные культурные достижения угрожают более вкусам молодежи, создавая эпоху, угрожающую старикам. Возьмите, например, систему сигнализации, установленную на перекрестках улиц. Теперь старикам нечего и думать о том, чтобы спокойно выйти на улицу. Хорошо еще тому, кто имеет возможность пользоваться автомобилем. Я же, например, когда приезжаю в Осаку, должен напрягать всю нервную систему лишь для того, чтобы перейти с одной стороны улицы на другую. Прежде всего, как можно располагать так сигнальные огни «вперед» и «стой»: они хорошо еще видны, когда устроены посередине перекрестка; но, когда зеленый и красный огни перемигиваются где-то наверху неожиданно вынырнувшего переулка, их прежде всего трудно заметить. Когда же переулок еще и широк, то очень часто боковой сигнал по ошибке может быть принят за фасадный. Если уж в Киото появились теперь на улицах полисмены, регулирующие движение, то положительно дальше некуда идти. В наше время чисто японский вид города можно лишь узреть в таких местах, как Нисимия, Сакаи, Какаяма, Фукуяма, и им подобных. В больших городах трудно стало даже найти кушанья по вкусу стариков. Не так давно у меня был корреспондент одной газеты, просивший меня рассказать о каком-нибудь вкусном и вместе с тем оригинальном блюде. Я поведал ему способ изготовления одного блюда, которое едят в глухой горной местности в Ёсино. Называется оно каки-но-ха-зуси, изготовляется же следующим образом. Отваривается рис с японским вином сакэ в пропорции на один сё риса один го сакэ. Сакэ вливается тогда, когда рис уже вскипел. После того как рис распарится, надо дать ему совершенно остыть и затем приступить к изготовлению крокетов. Крокеты крепко отжимаются в

руке, посыпанной солью. Необходимо следить за тем, чтобы рука была совершенно сухая. Весь секрет изготовления кроется в том, что отжимка крокетов делается с солью в руке. После того как крокеты изготовлены, нарезается тонкими ломтиками свежепросоленная кета. На каждый крокет накладывается по одному ломтику рыбы, и затем это вместе обертывается свежим листом дерева каки, который кладется глянцевой стороной внутрь. Как рыба, так и лист каки предварительно протираются досуха чистой тряпочкой. Затем изготовленные таким образом суси плотно укладываются один к одному в совершенно сухую кадочку для суси или для риса и накрываются крышкой, которую придавливают камнем. Кадочку оставляют в этом виде на ночь. Утром на следующий день суси уже можно есть. В этот день они особенно вкусны, но могут держаться 2—3 дня. Перед едой хорошо покропить суси уксусом из стебля травы тадэ. Изготавливать это блюдо научил меня приятель, которому пришлось быть в Ёсино. Пораженный необычайным его вкусом, он узнал секрет его изготовления. Блюдо можно приготовить в любом месте, лишь бы были свежепросоленная кета и листья каки. Важно не забывать одного: чтобы приготовление было совершенно сухое и чтобы рис вполне остыл. Я попробовал приготовить эти суси у себя дома и нашел, что они в самом деле очень вкусны. Кетовый жир и соль чудесно пропитывают рис, ломтики кеты становятся настолько мягкими, что напоминают свежую рыбу, все вместе создает непередаваемый вкус. С этим вкусом не могут поспорить даже нигиридзуси, изготовленные в Токио. Мне так понравилось это блюдо, что я питался им целое лето. Я восхищался изобретательностью жителей горных деревень, не избалованных обилием продуктов и нашедших такой изумительный способ приготовления соленой кеты. Если порасспросить о том, как и что едят в наших деревнях, подчас можно наткнуться на такие тонкости гастрономии, какие не придут в голову и жителям столицы. Это говорит о том, что в настоящее время деревня обладает гораздо более верным вкусом, нежели город. Недаром наши старики, уходя на покой, с легким сердцем расстаются с городской жизнью и переезжают в деревню. Но будет ли долговременным их покой и здесь — приходится невольно сомневаться, когда видишь, как деревня тянется за Киото и начинает обзаводиться гирляндами арочных электрических фонарей. Существует мнение, что в скором времени культура настолько шагнет вперед, что пути сообщения переместятся в воз-

дух и под землю, и тогда на улицах городов наступит древняя тишина. Но едва ли можно сомневаться в том, что к этому времени на голову стариков будут изобретены какие-нибудь новые усовершенствования. Быть может, старикам вообще рекомендуется не совать своего носа в новые дела? Быть может, им в удел оставлена одна лишь область: сидеть у себя дома, искать удовлетворения в собственноручно изготовленных по своему вкусу блюдах под рюмочку сакэ и слушать радиопередачи? Но нет, оказывается, не одни только старики ворчат в наше время. Недавно я прочел в газете «Осака-Майнити» негодующую статью г. Тэнсэй-Дзингоси по поводу того, что муниципалитет, задумав проложить в парке Миномо автомобильное шоссе, безжалостно вырубает деревья, обнажая склоны холмов. Прочитав эту статью, я почувствовал прилив бодрости, найдя себе единомышленника. В самом деле, какая необдуманность: уничтожать тень деревьев даже в отдаленных горах! Если дать этому волю, то все известнейшие места Японии, как, например, окрестности городов Нара, Киото, Осаки, в процессе дальнейшей вульгаризации дойдут до полного исчезновения растительности. Конечно, и эти lamentации в конце концов не что иное, как род старческого брюзжания. Конечно, и я согласен, что мы должны с благодарностью относиться к современности. Ведь, что бы ни говорили сейчас люди, раз Япония вступила на путь развития по линии европейской культуры, ей не остается делать ничего иного, как смело идти вперед по этому пути, оставив стариков на дороге. Но мы не должны забывать о том, что, до тех пор пока не изменится цвет нашей кожи, нам суждено вечно нести известный ущерб; с этим надо примириться. Впрочем, я должен оговориться: я задумал написать эту статью, исходя из предпосылки, что должна все-таки существовать такая область, как, например, литература или искусство, где мы могли бы компенсировать этот ущерб.

Я желал бы снова вызвать к жизни постепенно утрачиваемый нами «мир тени», хотя бы в области литературы. Мне хотелось бы глубже надвинуть карнизы над дворцом литературы, затемнить его стены, отнести в тень то, что слишком выставлено напоказ, снять ненужные украшения в его залах.

Я даже не претендую на то, чтобы это было сделано во всех домах. Достаточно хотя бы одного такого дома. Отчего бы не попробовать потушить в нем электричество и посмотреть, что из этого получится?

КОММЕНТАРИИ

ТАТУИРОВКА

Стр. 31. *Эдо* (ныне Токио) — столица военных правителей Японии династии Токугава (1601—1867).

Ёсивара, Тацуми — районы «веселых кварталов» в Эдо.

Стр. 32. ...*Укиё-э школы Тоёкуни и Кунисады* — гравюры жанрового характера, реалистически изображавшие жизнь и обитателей так называемых «веселых кварталов». Тоёкуни и Кунисада — художники, писавшие портреты актеров театра Кабуки (конец XVIII — нач. XIX вв.).

Эдокко — коренной житель Эдо. Считалось, что эдокко свойственны живой ум, находчивость, остроумие, умение не унывать в трудных обстоятельствах.

Стр. 36. *Рюкю* — архипелаг на юге Японии с главным островом Окинава, который в старину служил перевалочным пунктом в торговле между Японией и Китаем.

Дзёро — вид паука. По созвучию слово «дзёро» может означать также «гетера».

ЦЗИЛИНЬ

Стр. 39. *Цзилин* — древний тотем, мифический единорог с туловищем оленя и хвостом буйвола, покрыт панцирем и чешуей. Символизирует «жэнь» (человеколюбие) — главную из пяти конфуцианских добродетелей и служит благом знамением рождения праведника.

Эпиграф — песня блаженного Цзе-юя из страны Чу. В книге изречений древнекитайского мудреца и философа Конфуция (Кун-цзы, Кун-цю; VI—V вв. до н. э.) «Беседы и наставления» рассказано, как, услышав однажды эту песню у ворот своего дома, Конфуций хотел остановить Цзе-юя и поговорить с ним, но тот убежал.

Феникс — мифическая птица, в Древнем Китае считалась олицетворением благоденствия в стране и добродетели правителя. Считалось, будто эта пятицветная с разводами птица, похожая на петуха, водится на сказочной Горе Киноварной пещеры, изобилующей золотом и нефритом, откуда вытекает Киноварная река. Узор оперения на голове птицы напоминает иероглиф «дэ» (добродетель), на крыльях — «и» (справедливость), на спине — «ли» (благовоспитанность), на груди — «жэнь» (человеколюбие), на животе — «синь» (честность).

Цзо Цаю-мин (V в. до н. э.) — ученый-конфуцианец из княжества Лу.

Мэн Кэ (390—305? гг. до н. э.) — древнекитайский философ Мэн-цзы, последователь Конфуция, уроженец княжества Лу.

Сыма Цянь (145—86? гг. до н. э.) — выдающийся писатель и историограф ранней династии Хань (206—8 гг. до н. э.), автор знаменитых «Исторических записок».

Цзяо — ритуальное жертвоприношение из фруктов, сладкого вина, мяса яков, быков, кабанов, баранов и т. д., подносимое на специальном алтаре правителем страны для Верховного Владыки Шанди, духа Великого Единого, для пяти небесных императоров (Синего на востоке, Красного на юге, Желтого в центре, Белого на западе и Черного на севере), для духов Неба и Земли.

...достигли границ земли Лу, каждый с грустью обернулся на родную сторону... — намек на луского сановника Цзи Хуань-цзы, на три дня забросившего государственные дела из-за развлечений, что и побудило Конфуция покинуть княжество Лу. Княжество Ци, опасаясь усиления соседа, специально прислало в подарок правителю Лу восемьдесят танцовщиц и сто двадцать четыре коня и тем отвлекло Цзи Хуань-цзы от политики. «Не имея власти (топора), невозможно повлиять на сановника», — сокрушается Конфуций.

Стр. 40. *Ю* (542—481 гг. до н. э.; полное имя — Чжун-ю; наст. имя. Цзы-лу, букв.: «Путь мудреца») — ученик Конфуция.

Лао-цзы — прозвище древнекитайского философа Ли Даян (Лао Дань; VI—V вв. до н. э.), автора древнейшего даосского трактата «Дао дэ цзин».

Зовут его Линь Лэй... — Весь последующий отрывок является цитатой из знаменитого классического даосского трактата «Ле-цзы» (VI—IV вв. до н. э.).

Стр. 41. *Вэйский государь Лин-гун*. — Время правления — 534—493 гг. до н. э.

Башня духов. — Башни как элемент дворцовой архитектуры первоначально выполняли оборонные и ритуальные функции, а впоследствии стали служить площадкой для астрологических наблюдений и любования пейзажем.

Стр. 42. *Радуга-дракон*. — В дальневосточной мифологии радуга часто идентифицируется с небесным змеем или драконом, покровителем водной стихии.

Яо и Шунь (III тыс. до н. э.) — мифические императоры, идеальные правители древности.

Гао Яо — придворный министр Яо и Шуня, мудрый судья.

Цзы Чань — современник Конфуция, первый министр княжества Чжэн, отличался справедливостью и человеколюбием,

Цунь — мера длины в старом Китае; 3,2 см.

Юй (III тыс. до н. э.) — мифический император, в прошлом министр при дворе Яо и Шуня. Вырыв каналы, покончил с наводнениями, получил престол от Шуня и основал государство Ся.

Слова Ван Сунь-мая являются цитатой из «Родовых анналов Конфуция», входящих в «Исторические записки» Сыма Цяня. Так описал Конфуция, разминувшегося с учениками в княжестве Чжэн, некий местный житель. Далее в описании следуют слова: «Однако он кажется усталым и отчаявшимся, как бродячий пес».

У этого человека губы полны, словно у буйвола... — В описании внешности Конфуция использованы элементы традиционной портретной символики, сложившейся к I в. н. э. Когда-то это были признаки чудесного происхождения мифических персонажей и их родства с тотемными предками, но впоследствии они получили рационалистическое истолкование в метафорическом или физиогномическом смысле.

Лао Дань. — См. коммент. к с. 40.

Вэнь-ван (XII в. до н. э.) — правитель страны Чжоу, олицетворение мудрости и милосердия.

Чи — мера длины в старом Китае; 32 см.

Стр. 44. *Три правителя* — Юй-ван, правитель страны Ся; Тан-ван, правитель страны Инь; У-ван, правитель страны Чжоу. Иногда вместе с У-ваном называют и другого правителя страны Чжоу, Вэнь-вана (см. коммент. к с. 42).

Цзе и Чжоу — имена, ставшие нарицательными для правителей-тиранов, поплатившихся за свои пороки. Последний правитель страны Ся, жестокий властелин Цзе-ван (время правления — 1767—1718 гг. до н. э.) был в конце концов изгнан из страны иньским Тан-ваном. Чжоу-ван (время правления — 1154—1122 гг. до н. э.), последний правитель страны Инь, известный своим пристрастием к жестокой красавице Дань-цзи и бесчеловечным правлением, был убит чжоуским У-ваном.

Владыка мириад колесниц (букв.: «Десяти тысяч колесниц») — правитель, имеющий в своем распоряжении огромную армию; в переносном значении — Сын Неба, император.

Стр. 45. *Шесть искусств.* — В конфуцианстве — ритуал, музыка, стрельба из лука, управление колесницей, письмо и математика.

Стр. 46. *...простерся ниц в направлении севера.* — Дворец правителя располагался в северной части города, а трон — в северной части тронной залы.

Дань-цзи — любимая супруга иньского тирана Чжоу-вана, известная своим распутством и жестокостью. Впоследствии была убита У-ваном.

Бао-сы — любимая жена чжоуского Ю-вана. Для увеселения своей капризной супруги Ю-ван несколько раз зажигал сигнальные огни, заставляя свои войска собираться по тревоге, в минуту

же настоящего нашествия никто не поверил огням, Ю-ван был убит, а Бао-сы взята в плен.

Три царя. — В данном случае имеются в виду либо правители княжеств Ся, Инь и Чжоу (см. коммент. к с. 44), либо три мифических императора древности — Фу-си, Шэнь-нун и Хуан-ди.

Пять императоров — Шао-хао, Чжуань-сюй, Ку, Яо и Шунь. В различных источниках называются и другие имена.

Стр. 48. «*Греющая чаша*». — В китайских старинных книгах упоминается «тонкая, словно древесный лист, чаша сапфирно-голубого цвета с узором спутанных нитей и надпись наверху: «Цзы нуань бэй» (букв.: «самогреющаяся чаша»). Вино, налитое в нее, якобы вскипало само собой.

Стр. 50. «*Я еще не видел человека...*» — Это высказывание Конфуция встречается в «Беседах и наставлениях» дважды, что говорит об его значимости.

МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО

Стр. 51. *Кангакуся* — ученый-китаевед в феодальной Японии.

Стр. 55. *Ниномия Сонтоку* (1787—1856) — ученый-самоучка в области экономики сельского хозяйства, добившийся успеха в деле культивации непригодных или заброшенных земель и повышения урожайности сельскохозяйственной продукции. Его девизом были жестокая экономия и усердный труд.

Стр. 60. *Тайко Хидэёси.* — См. коммент. к с. 121.

ЛИАНЫ ЁСИНО

Стр. 73. *Провинция Ямато* — в феодальной Японии одна из пяти так называемых Ближних земель, т. е. областей, прилегающих к столице Киото (совр. префектура Нара).

Южная династия. — В 1336 г. император Годайго (1287—1338), пытавшийся восстановить власть императорского дома, отобранную военно-феодальными правителями, вынужден был бежать под ударами коалиции феодалов из столицы на юг в горы Ёсино, где установил свою резиденцию и продолжал вооруженную борьбу. Годайго и его потомство образовали так называемую Южную династию, в противовес Северной, которую поддерживала другая коалиция феодалов, посадившая на трон в Киото отпрыска другой ветви императорского дома. Эта чисто феодальная по своему характеру борьба за власть продолжалась пятьдесят шесть лет, с 1336 по 1392 год.

Император Камэяма (1259—1305). — От этого императора вела свою генеалогию Южная династия.

Сёгун Ёсимицу (1358—1408) — глава феодального дома Аси-

кага, поддерживавшего Северную династию. Третий по счету верховный правитель (сёгун) Японии из феодального дома Асикага. При нем в 1392 г. произошло «примирение» между воюющими сторонами. «Южный» император отрекся от престола в пользу «Северного».

Кусуноки Дзиро Масахидэ — феодал, внук ревностного приверженца Южной династии Кусуноки Масасигэ (1294—1336).

Император Цутимикадо (1442—1500). — Правильно: Го-Цутимикадо.

Три священные регалии — зеркало, меч и яшма, символизировавшие добродетели, необходимые императорскому дому, — храбрость, доброту, мудрость.

Гора Хизэй (яп. Хизэйдзан) — гора к северу от столицы Киото, на которой находился монастырь буддийской секты Тэндай, обладавший в средние века большой политической и военной силой.

Стр. 74. *«Повесть о Великом мире»* — феодальная эпопея, повествующая о войне между Южной и Северной династиями (XIV в.; авторы неизвестны).

Акамацу и Коцуки — феодальные дома; в 1441 г. (по яп. летоисчислению в 1 г. Какицу) Мицускэ, глава дома Акамацу, убил шестого по счету сёгуна из дома Асикага — Ёсинори, после чего дом Акамацу был уничтожен, Мицускэ с сыном покончили с собой.

Стр. 75. *Смута годов Какицу*. — Так именуются события, связанные с убийством сёгуна Ёсинори, и карательные меры, предпринятые правительством против феодального дома Акамацу.

...о бегстве принца Моринаги из Кумано. — Сын императора Годайго девятнадцати лет был назначен настоятелем монастыря на горе Хизэй. После неудачной попытки помочь отцу в борьбе против феодальных правителей Ходзё бежал в Кумано. Сложив с себя духовное звание и снова став мирянином, вернулся из Кумано и снова вступил в борьбу на стороне отца, но, оклеветанный перед Годайго, был арестован и в 1335 г. казнен.

Стр. 76. *Эн-но Гёдзя* — буддийский монах, отшельник, основатель монастырей Оминэ и Кимбусэн в горах Ёсино (конец VII — начало VIII вв.).

Стр. 77. *Бакин* (полное имя — Кёкутэй Бакин; 1767—1848) — писатель-прозаик, автор псевдоисторических приключенческих романов, пользовавшихся большой популярностью в первой половине XIX в.

Театр Кабуки — классический японский театр, возникший в начале XVII в. и существующий поныне.

Император Тэмму (622—686) — покровитель искусств и наук, способствовавший становлению японской государственности.

Стр. 78. *Монахи-ямабуси* — странствующие монахи-пилигримы.

Стр. 80. *Манъёсю* (букв.: «Собрание десяти тысяч лепестков») — поэтическая антология, в которую вошло более 4000 произведений народной и авторской поэзии (VIII в.).

Камигата (букв.: «Высокая, высшая сторона»). — Так с древних времен назывался район столицы (г. Киото) и ее окрестностей.

Пьеса «Имосэяма» (полное название: «Имосэяма, или Семейные наставления для женщин», автор — Тикамацу Хандзи; 1725—1783). Пьеса была написана для кукольного театра «дзёрури» в Осаке, впоследствии переделана для исполнения актерами в театре Кабуки. Юноша Коганоскэ и девушка Хинадори любят друг друга, но их семья разделяет вражда, непреодолимая, как река Ёсино, текущая через земли, на которых они живут. Молодые люди погибают (Коганоскэ принуждают сделать харакири, Хинадори отрубает голову), но их смерть примиряет оба семейства. В этой пьесе — своеобразном японском варианте «Ромео и Джульетты» — весьма эффектна сцена, когда актеры переговариваются между собой, стоя на двух «ханамити» — помостах, ведущих через весь партер на сцену (как правило, в спектаклях Кабуки используется только один помост), а декорация на сцене изображает текущую между ними реку Ёсино, по берегам которой цветет сакура. «Сэ» означает «возлюбленный, любимый», «имо» — «возлюбленная», «яма» — «гора». Коганоскэ живет у горы Сэяма, Хинадори — у горы Имояма. Название двух этих гор, соединенное в одно слово, может быть переведено как «Горы любящей пары» или «Горы влюбленных».

Стр. 83. «*Вишни Ёсицунэ*» (полное название: «Тысяча вишен Ёсицунэ», авторы — Намики Сэнрю и Такэда Идзумо; 1691—1756). — Пьеса написана в 1747 г. для кукольного театра «дзёрури» в Осаке, но уже полгода спустя переделана для актеров театра Кабуки. В настоящее время исполняются, как правило, наиболее эффектные сцены этой многоактной пьесы — «В горах Ёсино», «Лавка суси» и некоторые другие. В первой сцене на фоне гор Ёсино, сплошь покрытых цветами сакуры, выступает красавица Сидзука, профессиональная танцовщица и певица, покинутая в горах Ёсино своим возлюбленным, самураем Ёсицунэ Минамото, вынужденным спастись от врагов. Барабанчик, в который ударяет Сидзука, — непрменный атрибут певицы в эту эпоху (XII в.). На звук этого барабанчика появляется Таданобу — верный вассал Ёсицунэ, в действительности же, как оказывается, лис. Он помогает Сидзуке выбраться из горной глуши. Сцена завершается танцем обоих актеров.

В сцене «Лавка суси» главным героем выступает сын хозяина лавки «У колодца» Гонта, прозванный «Гонтой-Плутом» за беспутное поведение. Разгневанный отец, полагающий, что сын совершил предательство — выдал властям князя Корэмори, которые скры-

вается у него в лавке под видом работника Ясукэ, — убивает сына мечом. Однако вскоре выясняется, что Гонта не только не выдал властям беглеца Корэмори, но, напротив, пожертвовал для его спасения собой, своей женой и маленьким сыном. (Такое неожиданное «превращение» негодяя в положительного героя — распространенный прием драматургии Кабуки.) О-Сато — дочь хозяина, сестра Гонты, полюбила работника Ясукэ, не зная, что на самом деле он знатный самурай Корэмори. В пьесе действуют персонажи, фигурирующие в феодальном эпосе «Повесть о доме Тайра» (XIII в.), — Корэмори, Сидзука, Ёсицунэ, Таданобу. Однако весь сюжет целиком создан драматургами XVIII в.

«Две Сидзуки» (XV в.) — пьеса театра Но. Дух давно умершей Сидзуки вселяется в сборщицу трав у реки Нацуми. Пьеса заканчивается арией, в которой рассказывается о горестной судьбе Сидзуки, и танцем.

Стр. 84. *Эпоха Хэйан* — IX—XII вв.

Стр. 85. *Каса-но Канамура* — один из авторов, представленных в поэтической антологии «Мангёсю» (VIII в.).

Хитомаро (полное имя — Какиномото Хитомаро, ум. в нач. VIII в.) — поэт, один из наиболее ярких представителей авторской поэзии в антологии «Мангёсю».

Стр. 86. *Сайгё* (1118—1190) — известный поэт средневековья, проведший жизнь в странствиях (см.: Сайгё. Горная хижина. Перевод Веры Марковой. М., Художественная литература, 1979).

Стр. 88. *Эпоха Нара* — период с 710 по 784 гг., когда г. Нара был столицей Японии.

Смута годов Дзинсин — борьба за престолонаследие между императором Кобуном и его дядей Тэмму, закончившаяся победой последнего (672 г.).

Стр. 90. «*Восточное зеркало*» (конец XIII в.) — историческое сочинение неизвестного автора, подробно описывающее период с 1180 по 1266 гг.; «*Повесть о доме Тайра*» (конец XIII в.) — феодальный эпос, рассказывающий о борьбе феодальных домов Тайра и Минамото. О Сидзуке в «Повести» сказано очень кратко, упоминается только, что Ёсицунэ вынужден был покинуть ее в горах Ёсино.

...танцевала перед Ёритомо... — О дальнейшей судьбе Сидзуки подробно рассказано в «Повести о Ёсицунэ» (XV в.). Не сумев захватить Ёсицунэ, посланцы Ёритомо схватили Сидзуку и привезли ее в резиденцию Ёритомо, г. Камакуру, где она содержалась в темнице. Наслышанный об искусстве Сидзуки, Ёритомо заставил ее танцевать, несмотря на то что к этому времени она была уже на сносях. Поскольку родившийся вскоре ребенок оказался мальчиком (сыном Ёсицунэ), его тут же убили — согласно обычаю феодальной Японии, мужское потомство врага подлежало уничтожению.

Сидзука постриглась в монахини. Такова литературная версия судьбы Сидзуки, точные исторические сведения отсутствуют.

Журавлиный Холм, Цуругаока — название возвышенности в г. Камакура, где находится храм бога Хатимана. Здесь происходили все торжественные церемонии в XII—XIV вв.

Стр. 92. *Каибара Экикэн* (1630—1714) — конфуцианский ученый, автор исторических и этнографических трудов.

Таки — по-японски «водопад».

Мон — мелкая монета эпохи феодализма.

Стр. 96. *Кукольный театр Бунраку*. — Кукольный театр Бунраку возник в конце XVIII в. в г. Осака, продолжив традицию кукольных представлений (пьес «дзёрури»). В 1963 г. переименован в театр «Асахи».

Стр. 97. *Пьеса «Листок лианы»* — легенда о белой лисице, живущей в лесу Синода, превратившейся в женщину по имени «Листок лианы» и родившей сына, ставшего затем мудрецом Харуаки Абэ, изложена уже в самых старинных литературных памятниках Японии. Этот популярный сюжет неоднократно интерпретировался в кукольном театре «дзёрури» и в театре Кабуки.

Стр. 98. ...*шестой акт «Сокровищницы вассальной верности»*... — Пьеса «Сокровищница вассальной верности» (авторы: Такэда Идзумо, Миёси Сёраку, Намики Соскэ; 1748 г.), пьеса для кукольного театра «дзёрури», состоящая из одиннадцати актов, полное представление которых занимало несколько дней, была сразу же переделана для театра Кабуки и до сих пор считается одной из наиболее представительных пьес национального японского театра. В шестом акте юноша Кампэй пытается освободить свою возлюбленную О-Кару, которую ее отец Ёитибэй продал в «веселый квартал», чтобы выручить деньги, нужные для дела мести за господина.

Стр. 99. *Бог Инари* — в японской мифологии божество пищи, «пяти злаков», покровитель земледелия. С развитием торговли бога Инари стали широко почитать также и в городской среде, как приносящего обогащение, удачу в торговых делах. С Инари связан народный культ лисы, считающейся его посланцем или даже воплощением.

Стр. 100. *Сигэноу, героиня пьесы о погонщике Санкити...* — Речь идет о пьесе выдающегося драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653—1724) «Ночная песнь погонщика Ёсаку из Тамбы» (см.: Тикамацу. Драматические поэмы. Перевод Веры Марковой. М., Художественная литература, 1968).

Митиюки (букв.: «странствие», «путешествие») — термин, часто обозначающий заключительную сцену многих пьес «дзёрури», когда любящая пара, на пути к счастью которых жизнь поставила непреодолимые преграды, идет к месту, где они решили вместе покончить жизнь самоубийством.

Стр. 104. *Хиро* — мера длины, 1,81 см. В старину письма писали на узких полосках бумаги, свернутой в рулон.

Стр. 105. *...голос кукушки...* — Голос кукушки считается в поэзии Китая ж Японии исполненным грусти, тоски. По древней китайской легенде, правитель царства Шу (IV в. до н. э.) уступил свой престол другому, а сам стал отшельником. После смерти его душа превратилась в кукушку, но не переставала тосковать о земной жизни. Прилетая из царства мертвых, она грустно выкликает: «Лучше вернуться, хочу вернуться!» На протяжении веков образ печальной кукушки широко использовался японскими поэтами. («Прилечь я собирался нынче летом, // но голос плачущей кукушки услышал... // И вдруг — уже заря! // Сменилась ночь рассветом, // пока, забывшись, я внимал. Стихотворение Ки-но Цураюки (X в.). Перевод А. Глускиной. — Японская поэзия. М., ГИХЛ, 1956).

Стр. 106. *Реставрации Мэйдзи*. — Буржуазная революция на рубеже 1867—1868 гг. именуется в официальной японской истории «реставрацией», поскольку, свергнув военно-феодальную диктатуру дома Токугава, она формально «возвратила» власть императорскому дому.

Стр. 110. «*Море*», «*берега*», «*драконьи рога*» и т. п. — названия определенных участков на корпусе кото, музыкального тринадцатиструнного инструмента, который изготовляют из дерева павлонии.

Стр. 111. *Слива, бамбук, сосна* — три растения, символизирующие стойкость, долголетие, энергию. Изображение этих трех растений до сих пор излюбленный узор на различных бытовых предметах, тканях и т. п.

Стр. 112. *Священная соломенная веревка* — толстая веревка, сплетенная из соломы в виде жгута, непрменный атрибут синтоистских храмов; считается, что эта веревка преграждает путь силам зла.

Стр. 114. *Принц Огура* — потомок Южной династии, в начале XV в. делал безрезультатные попытки вернуть себе трон. Когда войска поддерживавших его феодалов были разбиты, вернулся в местность Огура, где принял постриг в храме Мандзюдзи. Еще одна попытка посадить на трон этого представителя Южной династии (1440) также не имела успеха.

РАССКАЗ СЛЕПОГО

Стр. 119. *Нагамаса Асаи* (1545—1573) — последний князь феодального дома Асаи.

Хисамаса Асаи (1524—1573) — отец князя Нагамасы.

Стр. 120. *Сукэмаса Асаи* (1495—1546) — основатель феодального дома Асаи.

...*Бамбуковый остров, Тикубу*... — остров в северной части озера Бива, известен древним храмом, посвященным богине Каннон.

Стр. 121. *О-Ити* — младшая сестра Нобунаги. По свидетельству современников, отличалась красотой и благородным характером. В 1583 г. покончила с собой вместе со своим вторым мужем, феодалом Кацуиз Сибатой, в осажденном замке Китаносё.

Нобунага Ода (1534—1582). — Восемнадцать лет возглавив феодальный дом Ода, Нобунага всю жизнь провел в непрерывных войнах, сперва против членов своего же семейства, представлявших потенциальную угрозу его единовластью, затем — против соседей-феодалов. Одаренный военачальник, Нобунага сумел разгромить своих противников и подчинить себе почти всю центральную и юго-западную Японию. Решительный и беспощадный, Нобунага выделялся жестокостью даже по меркам мрачной эпохи средневековья, однако объективно его деятельность положила начало процессу ликвидации феодальной раздробленности, способствовала консолидации власти и созданию абсолютистского феодального государства.

О-Чача (1569—1615) — дочь О-Ити от ее первого брака с Нагамасой Асаи, более известная под именем Ёдогими (букв.: «госпожа Ёдо», т. е. «хозяйка замка Ёдо»). Любимая жена диктатора Японии Хидэёси, известна в японской истории не только как волевая, властная женщина, но и как активная участница политических интриг после смерти Хидэёси (1598). Вместе со своим сыном Хидэёри покончила жизнь самоубийством в осажденном Осацком замке.

Хидэёси (1536—1598; полное имя — Тоётоми Хидэёси) — вассал и сподвижник Нобунаги. После смерти Нобунаги сумел постепенно оттеснить соперников в борьбе за власть и стать фактическим диктатором, тем самым продолжив дело превращения Японии из раздираемой усобицами страны в единое централизованное государство. Выходец из низов (его родители были простыми крестьянами, отсюда его «плебейское» имя — Токитиро Киносита), Хидэёси сумел выдвинуться и завоевать доверие Нобунаги благодаря своим незаурядным качествам военачальника и политика. Яркая личность и головокружительная карьера Хидэёси — исключительное явление в эпоху феодализма в Японии.

Хидэёри (1593—1615) — единственный сын и наследник Хидэёси. Покончил с собой в осажденном Осацком замке вместе со своей матерью Ёдогими.

Стр. 123. «*Бонза, бонза!*» — В средневековой Японии слепые наголо брили голову, как буддийские священники и монахи (бонзы). Поэтому О-Чача называла слепого рассказчика бонзой.

Стр. 126. *Ёсикагэ Асакура* (1533—1573) — глава старинного

феодалного дома Асакура. Проиграв войну против Нобунаги, покончил с собой вместе со всей своей семьей.

Стр. 128. *Ступа* — каменное, деревянное или глиняное сооружение конусообразной формы, которое воздвигалось над каким-либо священным захоронением. Верхушка ступы украшалась резьбой, узорами.

Стр. 133. *Час Змеи* — время от 10 до 12 часов дня.

Стр. 134. *...в едином венчике лотоса...* — В буддийском раю каждому праведнику уготовано прекрасное сиденье — благоуханная чаша лотоса. Любящие души могут поместиться там вместе. В особенности часто мечтают и молятся об этом любящие супруги.

Стр. 135. *Ритуальное оплечье «кэса»* — деталь одежды буддийского монаха, широкая полоса ткани, перекинута через левое плечо, сшитая из четырехугольных кусков ткани разной величины. «Кэса» символизирует одежду будды Шакья-Муни, который, дав обет бедности, подобрал выброшенные за негодностью тряпки и сшил себе из этих тряпок покров. Надев поверх панциря это оплечье, князь Нагамаса как бы показывает, что уже полностью отрешился от мирской суеты и готов к смерти.

Такацугу Кёгоку (1560—1609) — глава старшей ветви старинного феодалного дома Кёгоку. Служил Нобунаге, который выдал за него одну из своих племянниц (О-Хацу, дочь О-Ити от первого брака, сестру Ёдогими).

Сёгун (букв.: «военачальник, полководец»). — Так именовали князей династии Токугава, фактических правителей Японии, начиная с XVII в. и вплоть до буржуазной революции 1868 г. Сёгун, о котором в данном случае идет речь, — Хидэатада (1579—1632), второй сёгун династии Токугава.

Стр. 136. *«Последняя служба»*. — Чтобы избавить от физических страданий совершающего самоубийство путем хакари, его вассал или ближайший друг одним ударом меча должен был срубить ему голову, как только самоубийца вспорет себе живот. Это и называлось сослужить «последнюю службу», а выполнявший ее именовался «помощником».

Стр. 137. *Час Коня* — время от 12 до 2 часов дня.

Кацуиэ Сибата (1530—1583) — глава феодалного дома Сибата, вассал Нобунаги. После смерти последнего боролся с Хидэёси за верховную власть в стране, потерпел поражение и покончил с собой в осажденном замке Китаносё (совр. г. Фукуи). Вместе с ним покончила с собой его жена О-Ити и несколько десятков приближенных слуг и вассалов.

Стр. 139. *Мицухидэ Акэти* (1526—1582) — один из главных вассалов Нобунаги. В июне 1582 г. неожиданно напал на своего господина Нобунагу (к которому ввиду ряда причин давно питал ненависть), когда тот о малочисленной охране находился в хра-

ме Хонуодзи, поджег храм. В огне Нобунага погиб или покончил с собой. Акэти объявил себя верховным правителем, сёгуном, однако власть его продолжалась всего 13 дней. В битве при Ямадраки войско Акэти потерпело сокрушительное поражение от армии Хидэёси. Акэти пытался спастись бегством, но был схвачен и убит крестьянами.

Стр. 141. ...похож на обезьяну... — По свидетельству современников, Хидэёси отнюдь не отличался красивой внешностью и лицом напоминал обезьяну.

Стр. 147. *Рютацу* (полное имя — Такадзо Рютацу; 1527—1611) — поэт и музыкант, создатель множества песен и стихов, в основе которых лежит фольклор.

Театр Но — средневековый театр, возникший как своеобразный синтез фольклорного, народного действия, уходящего корнями в глубокую древность, и религиозных представлений-мистерий, культивировавшихся при синтоистских и буддийских храмах. Особенного расцвета театр Но достиг в XV—XVI вв.

Стр. 155. *Час Зайца* — время от 6 до 8 часов утра.

Стр. 157. *Нобукацу* (1558—1630) — второй сын Нобунаги.

Нобутака (1558—1583) — третий сын Нобунаги. Хидэёси вынудил его покончить жизнь самоубийством.

Стр. 166. *Сражение при Сэкигахаре*. — Здесь, на равнине у деревни того же названия в провинции Мино 21 октября 1600 г. произошло решающее сражение между коалицией феодалов во главе с Иэясу Токугавой (1542—1616) и бывшими вассалами Хидэёси, сторонниками его наследника Хидэёри. Несмотря на значительное численное превосходство противников Токугавы, последний одержал решительную победу. С этой даты начинается так называемая эпоха Токугава, продолжавшаяся более двух с половиной столетий, когда верховная власть в Японии принадлежала династии Токугава.

Кацуёри Такэда (1546—1582) — последний представитель могущественного феодального дома Такэда, в XVI в. грозного противника Нобунаги и Иэясу. Борьба закончилась, однако, поражением дома Такэда. Кацуёри и его сын Нобукацу покончили жизнь самоубийством вместе со всеми домочадцами.

...как говорится, «с колодезного сруба»... — В классической повести «Исэ-моногатари» (X в., авторство приписывается поэту Аривару Нарихира) говорится о юноше и девушке, друживших с детства, когда они вместе играли у колодезного сруба. Повзрослев, они полюбили друг друга. Повесть «Исэ-моногатари» была чрезвычайно популярна в феодальной Японии. Многие слова и выражения из этой повести превратились в крылатые. Так и слова «с колодезного сруба» означают любовь, зародившуюся еще в дет-

ские годы. (См.: Исэ-моногатари, гл. XXII, пер. Н. И. Конрада. М., Наука, 1979.)

Стр. 169. *Час Овна* — время с 2 до 4 часов дня.

Стр. 170. *Секта Хоккэ* — буддийская секта, основанная монахом Нитирэном в 1253 г. Приверженцы этой секты отличались воинственностью и фанатизмом.

Стр. 171. *Час Обезьяны* — время с 4 до 6 часов дня.

Стр. 173. *Гора Коя*. — На горе Коя, на полуострове Кию, находится монастырь буддийской секты Сингон, основанный в IX в. монахом Кобо-Дайси (774—835), основоположником этой секты. В средневековой Японии монастырь на горе Коя был традиционным местом ссылки, добровольной и принудительной.

Стр. 174. *...сопровождать ее к Трех потокам в подземном царстве...* — Согласно религиозным представлениям синтоизма, в подземном царстве, куда нисходят души умерших, течет река, имеющая три рукава-переправы, через один из которых предстоит перейти покойнику.

Стр. 175. *Час Петуха* — время с 6 до 8 часов вечера.

Ария Ацумори — ария из пьесы театра Но «Ацумори», в основу сюжета которой положен один из эпизодов феодального эпоса «Повесть о доме Тайра», рассказывающий о гибели юного Ацумори, одного из отпрысков этого феодального дома.

Битва при Окэхадзама. — В 1560 г. в местности Окэхадзама, в провинции Овари, Нобунага одержал победу над войском феодала Ёсимото Имагавы (1519—1560). С этой победы началось стремительное возвышение дома Ода.

Стр. 176. *Пьеса «Дама Ян»* — пьеса театра Но, сюжет которой основан на поэме великого китайского поэта Бо Цзюйи (XIII в.) «Песнь о вечной печали», рассказывающей о любви императора Сюань-цзуна к своей прекрасной возлюбленной Ян-гуйфэй.

Стр. 182. *Ад Раскаленный*. — Ад, как его описывают японские средневековые буддийские авторы, имел сложную структуру и разделялся на восемь сфер. Самыми страшными были последние три, Ад Раскаленный являлся предпоследним, седьмым.

Стр. 187. *Регент Хидзэси*. — Титул регента в течение долгих веков был наследственной привилегией придворных аристократических родов и в свое время, в особенности в IX—XII вв., означал фактическую верховную власть в стране. С приходом к власти военного дворянства-самурайства (конец XII в.), сохранившего формальную структуру императорского двора, все старинные придворные титулы и звания на деле превратились, так сказать, в «звук пустой», однако — возможно, в силу многовековой традиции — продолжали импонировать новым властям Японии — самураям. Не удивительно поэтому, что Хидзэси, сделавшись фактическим дик-

татором Японии, пожелал присвоить себе и этот старинный аристократический титул.

Карма — закон причины и следствия, один из кардинальных догматов буддийского мировоззрения, гласящий, что судьба человека всецело определяется его поступками в предыдущих рожденьях и, в свою очередь, от его поведения зависит его судьба в дальнейших перерождениях, которые уготованы ему после смерти.

Стр. 188. *Война в Осаке*. — В 1615 г. Иэясу Токугава окончательно разгромил последних своих противников, приверженцев дома Тоётоми Хидэёси, и после довольно длительной осады взял штурмом Осацкий замок, вынудил покончить жизнь самоубийством укрывавшихся в замке Хидэёри и его мать Ёдогими, сына и вдову Хидэёси.

Стр. 189. *...во всех Трех мирах* — распространенная буддийская формула. Имеется в виду прошедшее, настоящее и будущее.

ИСТОРИЯ СЮНКИН

Стр. 191. *19-й год Мэйдзи*. — Уже на самом раннем этапе своей истории в VI—VII вв. японцы заимствовали систему летосчисления из Китая. В Китае император, вступая на престол, избирал себе какой-нибудь многообещающий девиз. В Японии дело обстояло несколько иначе. Хотя новое название лет часто совпадало с воцарением нового императора, однако случалось, что под одним девизом царствовало несколько императоров. И наоборот — в царствование одного императора девизы могли меняться несколько раз. Обычно название годов изменяли из-за какого-нибудь «несчастливого происшествия» или стихийного бедствия, землетрясения, морового поветрия, засухи и т. п. Эта система летосчисления сохраняется в Японии (наряду с европейской) до сих пор с той лишь разницей, что после буржуазной революции 1868 г. названия годов стали точно совпадать с началом царствования нового императора.

Стр. 192. *Нанива* — древнее название местности и селения, где впоследствии (в XV—XVI вв.) возник город Осака.

Стр. 193. *Госю* — второе название провинции Оми в феодальной Японии.

Стр. 195. *Харуо Сато* (1892—1964) — известный поэт-символист, прозаик и критик.

Стр. 210. *Косидзи II*. — В Японии, начиная с эпохи феодализма, существовали актерские династии, в которых мастерство передавалось от отца к сыну.

Стр. 224. *Праздник Бон* — день поминовения умерших. Отме-

чается пятнадцатого июля и в ближайшие семь дней до и после пятнадцатого числа.

Стр. 227. *Карёбинка* (санскр. Калавинка) — мифическая птица с прекрасным человеческим лицом, обитающая в буддийском раю и улаждающая дивным пением священных сутр души праведников.

Стр. 228. *...рождены людьми...* — Согласно буддийским верованиям, умерший может перевоплотиться в другого человека или в животное — по закону кармы, воздаяния за дела в минувших рождениях.

Стр. 231. *Детеныш волшебного Цзилиня* (мифического животного) — идиома, соответствующая понятию «вундеркинд» (см. коммент/ к с. 39).

Стр. 234. *Жан-Жак Руссо* (1712—1778) — знаменитый деятель французского Просвещения, писатель и философ. В своей «Исповеди» он пишет, что чувствовал влечение к молодой учительнице, которая наказывала его розгами.

Стр. 245. *Кагэкиё Акуситибёэ был настолько поражен меткостью Ёритомо...* — Этот эпизод из средневекового эпоса о вражде феодальных домов Тайра и Минамото послужил основой для пьесы театра Но «Кагэкиё» и ряда баллад.

Стр. 252. *«Лед соловьиных слез теперь растает»* — фраза из поэтической антологии «Собрание старых и новых песен Ямато» («Кокин-вакасю», X в.). В традиционной поэзии этот образ символизирует наступление весны.

ЛЮБОВЬ ГЛУПЦА

В 1929 г. в связи с изданием романа в СССР, Дзюньитиро Танидзаки направил издательству «Прибой» письмо, которое под заголовком «От автора» было опубликовано в том издании. Ниже следует полный текст письма.

«Я узнал, что издательство «Прибой» выпускает на русском языке мой роман «Любовь глупца». Меня это очень обрадовало и, вместе с тем, немного смутило: все главнейшие произведения русской литературы XIX столетия напечатаны у нас, в Японии, и, по сравнению с ними, моя книга, конечно, вещь незначительная...

К сведению моих русских читателей я хотел бы только сказать, что в моем романе получила свое отражение современная Япония, главным образом, та часть японского общества послевоенной эпохи¹, которая воспитывается преимущественно в американских нравах и вкусах. И я буду рад, если советские читатели посмотрят на мою книгу именно с этой стороны.

Танидзаки Дзюньитиро».

¹ Имеется в виду первая мировая война 1914—1918 гг.

Стр. 316. *Гиндза* — центральный район Токио.

Стр. 317. *Сатокаэри*. — Согласно старинному японскому обычаю, вскоре после свадьбы молодая жена на некоторое время возвращалась в родительский дом.

Стр. 320. *Храм Каннон* — храм, посвященный богине Каннон, буддийскому божеству (санскр. Авалокитешвара), олицетворяющему милосердие, доброту. Богиня Каннон — заступница всех обиженных и несчастных.

Стр. 325. *...в три и в четыре с половиной циновки...* — Циновки (яп. татами), служащие для покрытия пола, имеют стандартный размер — немного больше 1,5 кв. метра.

...называй меня не Кавай-сан, а Дзёдзи-сан. — В Японии принято обращаться по имени только к близким. Предлагая Наоми называть себя по имени, Кавай подражает обычаю, принятому в Европе.

Стр. 337. *Пина Меникелли, Джеральдина Феррар* — популярные киноактрисы немого кино.

Стр. 338. *Мицукоси* — старинная торговая фирма, владеющая универмагами по всей Японии.

Сироки — старинная торговая фирма (ныне не существует).

Стр. 347. *Эпоха Токугава*. — См. коммент. к с. 166.

Стр. 353. *...развязно и не по-женски ответила Наоми...* — В японском языке женской речи свойственна специфическая лексика, которая отличается от мужской. Если женщина не придерживается такой лексики, речь ее производит вызывающе-грубое впечатление.

Стр. 354. *...при входе можно было не снимать обуви...* — В японский дом входят, обязательно сняв обувь в прихожей или прямо у входа во дворе.

Стр. 364. *При приближении 31 декабря...* — По давней и до сих пор соблюдаемой традиции, все долги должны быть непременно уплачены до наступления нового года. Последний срок расчетов — 31 декабря.

Стр. 412. *Бэнтэн-Кодзо* — имя героя популярной пьесы Кабуки, написанной в 1862 г. драматургом Каватакэ Мокуами (1816—1892), который считается последним классиком национальной японской драмы.

...тоном рассказчика на киносеансе... — В эпоху немого кино в Японии все фильмы комментировал специальный рассказчик, объяснявший зрителям происходящие на экране события и весьма эмоционально «сопереживавший» действию.

Стр. 413. *Нанива-буси* — старинные баллады, исполнявшиеся речитативом.

Присцилла Дин — популярная американская киноактриса эпохи немого кино.

Стр. 432. *Эра Тайсё* — 1911—1925 гг.

Стр. 434. *Глория Свенсон, Пола Негри, Биб Дэниел* — популярные американские киноактрисы немого кино.

Стр. 435. *Нара* — город в западной части Японии, так называемом районе Кансай, в VIII в. был первой постоянной столицей японского государства. Город известен сохранившимися там памятниками древней архитектуры, живописи, скульптуры.

Стр. 452. *Эпоха «Рокумэйкан»*. — «Рокумэйкан» — название клуба, созданного японским правительством в 1883 г. для внедрения европейских обычаев в аристократической среде. Здесь устраивались приемы, балы, концерты, на которые приглашали иностранных дипломатов и куда японские аристократы должны были являться в европейских костюмах со своими женами и дочерьми, тоже одетыми по-европейски, танцевать европейские танцы. Клуб просуществовал до 1933 г., но под эпохой «Рокумэйкан» подразумеваются 80-е гг. XIX в. — период наибольшего увлечения европеизацией, поощрявшейся правительством.

Стр. 454. *Через семь дней после первых поминок...* — Согласно буддийской религии, траур по умершему соблюдается в течение сорока девяти дней. Каждые семь дней устраивают поминки, на которые собираются родственники и близкие друзья.

Стр. 455. *Гарольд Ллойд* — популярный американский комедийный актер немого кино.

ПОХВАЛА ТЕНИ

Стр. 484. *Писатель Сосэки* (1867—1916) — Нацумэ (фам.) Сосэки (литературный псевдоним), видный японский писатель-прозаик, один из создателей современной японской литературы.

Стр. 485. *Рёкуу Сайто* (1867—1904) — Сайто (фам.) Рёкуу (литературный псевдоним), японский писатель.

Стр. 487. *Японские фонари «андон»* — легкий деревянный каркас четырехугольной формы, оклеенный белой бумагой, внутри которого помещали плоску с маслом и фитилем. Ставился на пол или подвешивался к опорному столбу в комнате.

Стр. 489. *Шакья-Муни* (санскр., букв.: «Святой из рода Шакьев») — земное воплощение Будды. Согласно буддийской религии, родился, жил и проповедовал свое учение в Индии в V в. до н. э.

Стр. 494. *Японский светильник «томё»* — тип лампы, который зажигают на домашнем алтаре перед изображением Будды на праздниках или при поминовении умерших.

Стр. 495. *Дзэн-буддизм* — буддийская секта «дзэн» (кит. чань) придавала большое значение медитации, углубленному самосозерцанию, тренировке духа, отрицала пышную обрядность и ритуалы,

характерные для других буддийских сект. Получила широкое распространение в феодальной Японии.

Стр. 505. ...в роли красавицы *Ян-гуйфэй*. — Все женские роли в классическом японском театре (Кабуки, «дзёрури», Но) исполняли актеры-мужчины.

Утаи (букв.: «пение») — исполнение нараспев текстов пьес театра Но.

Стр. 506. *Эпоха Момояма* — период примерно в двадцать лет в конце XVI в., когда правителем страны был Тоётоми Хидэёси. Это время отмечено расцветом искусства (архитектуры, живописи). Момояма — название района г. Киото.

Стр. 515. *Такэбаяси Мусоан* (1880—1962). — Такэбаяси (фам.) Мусоан (литературный псевдоним) — писатель и переводчик французской литературы.

Стр. 520. *Дерево каки* — японская хурма.

Нигиридзуси — см.: суси.

И. Львова

СЛОВАРЬ ЯПОНСКИХ СЛОВ

Бунраку — название кукольного театра, обобщенно — спектакли кукольного театра.

Го — мера емкости, 0,18 литра.

Гэта — японская деревянная обувь для улицы.

Даймё (букв.: «большое имя») — так именовались владетельные феодалы в средневековой Японии.

Даймон (букв.: «большой герб») — одежда, украшенная пятью вышитыми большими фамильными гербами.

Дзабутон — подушка для сидения.

Дзё — мера длины, 3,03 м.

Дзёрури — пьеса для кукольного театра.

Дзори — японские сандалии для улицы (плетенные из бамбуковой коры или соломы).

Дон — в старой Японии вежливая приставка к именам собственным при обращении к равным или к нижестоящим (напр., к слугам). В настоящее время вышла из употребления.

Иена — денежная единица Японии.

Коку — мера емкости для риса, 150 кг.

Камисимо — парадный мужской костюм в феодальной Японии.

Кан — мера веса, 3,75 кг.

Кана — японская слоговая азбука.

Косодэ — старинная женская одежда, кимоно с узким рукавом.

Кото — японский тринадцатиструнный музыкальный инструмент.

Звук извлекался с помощью изготовленных из рога плектров, надеваемых на пальцы.

Кун — вежливая приставка к мужским именам собственным при обращении к равным или к младшим (напр., между друзьями или при обращении учителя к ученику).

Кэн — мера длины, 1,81 м.

Мисо — густая бобовая паста, служит в качестве приправы и для приготовлении супов.

Оби — пояс.

Огути — очень широкие мужские штаны, в отличие от шаровар собранные внизу.

Оридаси — вытканый; тканый (об узоре).

Ри — мера длины, около 4 км (3927 м).

Сё — мера емкости, 1,8 литра.

Сёдзи — внешние раздвижные перегородки в японском доме. Легкие решетчатые деревянные рамы, оклеенные белой бумагой, в старину заменявшие оконные стекла.

Саку — рисовое вино, принято пить подогретым.

Сан — «господин», «госпожа», обязательная приставка к именам собственным при обращении и даже при упоминании имени отсутствующего.

Сасими — кушанье; нарезанные ломтиками деликатесные части рыбы (в сыром виде) с острой приправой.

Соробан — японские счеты.

Суйкан — старинная мужская одежда.

Сумо — вид японской борьбы.

Суо — мужская одежда, получившая распространение с XVI в. в городах феодальной Японии.

Суси — кушанье; колочки из вареного риса, покрытые рыбой, овощами, яйцом и т. п., приправленные соусом.

Сутра — священное писание буддизма.

Сэна — мелкая денежная единица, 1/100 иены (после 1945 г. отменена).

Сэнко — ароматичные курительные палочки.

Сэнсэй (букв.: «учитель») — вежливое обращение к уважаемым или старшим людям.

Сяку — мера длины, 30,3 см.

Сямисэн — трехструнный щипковый инструмент.

Таби — носки (как правило, белого цвета) с отделенным большим пальцем (наподобие наших рукавиц).

Татами — циновка, соломенный мат стандартного размера (несколько больше 1,5 кв. м), очень плотный, служит для настилки полов.

Тё — старинная мера площади, около 1 га.

Тигаидана — полка с отделениями разного уровня, вешается в нише в парадной комнате японского дома. На нее обычно ставят вазу с цветами, статуэтку или какое-нибудь другое украшение.

Тян — приставка к имени собственному при ласковом обращении (напр., к детям).

Утиги — женское кимоно с узкими рукавами в средневековой Японии, поверх которого, как правило, надевала широкие, заложённые у пояса в глубокую складку штаны-юбку (хакама) другого цвета.

Фусума — раздвижная перегородка между комнатами в японском доме.

Футон — ватное одеяло, но также и тюфяк для спанья.

Хакама — широкие штаны-юбка, заложённые у пояса глубокими складками. Надевались поверх кимоно. Так же как хаори, обязательная принадлежность мужского и женского официально-парадного костюма.

Хаори — верхнее укороченное (выше колен) кимоно, принадлежность японского мужского и женского выходного, парадного костюма.

Харамаки — набрюшник.

Хибати — жаровня, традиционное средство отопления в японском доме, отапливается древесным углем.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Львова. Предисловие</i>	5
Рассказы	
* <i>Татуировка. Перевод А. Долина</i>	31
<i>Цзилинь. Перевод В. Мазурика</i>	39
<i>Маленькое государство. Перевод И. Мотобрыцовой</i> . .	51
<i>Лианы Ёсино. Перевод И. Львовой</i>	73
<i>Рассказ слепого. Перевод И. Львовой</i>	119
* <i>История Сюнкин. Перевод А. Долина</i>	191
<i>Кошка, Сёдзо и две женщины. Перевод Е. Маевского</i>	254
* <i>Любовь глухца. Роман. Перевод Г. Иммерман</i> . .	313
* <i>Похвала тени. Эссе. Перевод М. Григорьева</i> . .	479
<i>Комментарии И. Львовой</i>	522
<i>Словарь японских слов</i>	540

Танидзаки Д.

Т18 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Рассказы; Любовь глульца: Роман: Похвала тени: Эссе: Пер. с яп. / Сост., предисл., коммент. и научн. подгот. текста И. Львовой; Худож. Б. Тржемецкий. — М.: Худож. лит., 1986. — 543 с.

Двухтомник всемирно известного японского писателя Дзюньитиро Танидзаки (1886—1965) выходит к столетию со дня рождения. Первый том включает роман «Любовь глульца», критикующий насаждение в Японии западной псевдокультуры, а также рассказы и эссе, в которых современность тесно переплетена с древними традициями страны.

Т 4703000000-228 187-80
028 (01)-86

ББК 84.5Я

ДЗЮНЪИТИРО ТАНИДЗАКИ
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор
И. Ким

Художественный редактор
С. Гераскевич

Технический редактор
Т. Фатюхина

Корректоры *Г. Верхогляд, Н. Пехтерева*

ИБ М 3875

Сдано в набор 01.10.85. Подписано в печать 22.05.86. Формат 84x108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,98. Уч.-изд. л. 31,26. Тираж 75 000 экз. Изд. № VIII-1617. Заказ № 1657. Цена 3 р. 20к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28